

БЕЛЛА

енрисс



2

Г БЕЛЛА

енрисс

2

Г. БЕЛЛЪ
сервис

Г БЭЛЛЪ

серия

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

А. В. КАРЕЛЬСКИЙ

Н. С. ПАВЛОВА

И. М. ФРАДКИН



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1990

Г БЭЛЛЪ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ТОМ ВТОРОЙ

РОМАН
ПОВЕСТИ
ПУТЕВОЙ ДНЕВНИК
РАДИОПЬЕСЫ
РАССКАЗЫ
ЭССЕ

1954 - 1958

Перевод с немецкого



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1990

**ББК 84.4Ф
Б43**

HEINRICH BÖLL

Составление

И. М. ФРАДКИНА

Комментарии

М. Л. РУДНИЦКОГО

Оформление художника

Ю. Ф. КОПЫЛОВА

Б $\frac{4703010600-188}{028(01)-90}$ Подписное

**ISBN 5-280-01217-3 (Т. 2)
ISBN 5-280-00825-7**

**© Состав, переводы, отмеченные в
содержании *, оформление. Из-
дательство «Художественная ли-
тература», 1990 г.**

ДОМ БЕЗ ХОЗЯИНА



роман

Перевод С. Фридлянд и Н. Португалова



HAUS OHNE HÜTER

Он сразу просыпался, когда среди ночи мать включала вентилятор, хотя резиновые крылья этой ветряной мельницы крутились почти бесшумно: приглушенное жужжание и время от времени остановка, если в лопастях застревал край гардины. Тут мать, тихо чертыхаясь, вставала с постели, высвобождала гардину и зажимала ее между дверцами книжного шкафа. Абажур настольной лампы был из зеленого шелка — водянистая зелень, а сквозь нее — желтые лучи, и ему казалось, что красное вино в стакане, стоящем на тумбочке у постели матери, очень похоже на чернила: темный, тягучий яд, который она потягивает маленькими глотками. Мать читала, курила и изредка отпивала глоток.

Из-под полуопущенных век он наблюдал за нею, не шевелясь, чтобы не привлечь ее внимания, и провожал взглядом дым сигареты, который тянулся к вентилятору; ток воздуха засасывал и дробил серые и белые облачка, а потом мягкие зеленые лопасти перемалывали их и выбрасывали вон. Вентилятор был большой — такие стоят в магазинах — добродушный ворчун, он за несколько минут очищал воздух в комнате. Тогда мать нажимала кнопку на стене, там, где над кроватью висела фотография отца: улыбающийся молодой человек с трубкой во рту, слишком молодой, вряд ли такой годился в отцы одиннадцатилетнему мальчику; отец был молод, как Луиджи в кафе Генеля, как робкий маленький новый учитель, гораздо моложе матери, а она выглядела так же, как матери всех остальных ребят, ничуть не моложе. Отец — это улыбающийся паренек, но вот уже несколько недель мальчик видит его во сне совсем не таким, как на портрете, — печально поникший

человек сидит на чернильной кляксе, будто на облаке, лица у него нет, но он плачет, потому что ждет уже миллионы лет; на нем мундир, но без знаков различия и без орденов; этот пришелец внезапно вторгся в сновидения мальчика, совсем не такой, каким ему хотелось бы видеть отца.

Самое главное лежать тихо, чуть дыша, с закрытыми глазами, тогда по шорохам в доме можно узнать, который час: если Глума уже не слышно, значит, половина одиннадцатого, если не слышно Альберта, значит, одиннадцать. Обычно он еще слышит Глума в комнате наверху — тяжелые, размеренные шаги, или Альберта в соседней комнате — Альберт насвистывает за работой. Бывает, что и Больда поздно вечером спускается на кухню и начинает возиться там — шаркающие шаги, осторожно щелкнувший выключатель, и все-таки почти каждый раз Больда натывается на бабушку, и из передней доносится глухой голос:

— Эх ты, ненасытная утроба, что ты затеяла стряпню среди ночи? Опять жаришь, паришь и варишь какую-нибудь дрянь?

И в ответ пронзительный смех Больды:

— Верно, старая карга, я проголодалась, хочешь чего-нибудь за компанию?

Снова пронзительный смех Больды и глухое, полное отвращения «тьфу!» бабушки. Иногда обе говорят шепотом, только время от времени слышен смех: пронзительный — Больды, глухой — бабушки.

То ли дело — Глум, тот ходит наверху взад и вперед и читает загадочные книги: «Догматы», «Богословие и нравственность». Ровно в десять Глум всегда идет в ванную, моется — шум воды, потом «пых!» — это он зажег газовую колонку, — и разом вспыхнуло множество язычков; потом Глум возвращается к себе, гасит свет и уже в темноте опускается на колени перед кроватью — молится. Слышно, если в доме всюду тихо, как Глум тяжело стучается коленями об пол и бормочет слова молитвы. Долго-долго молится Глум в своей темной комнате. Потом встает с колен, и тогда под ним взвизгивают пружины матраца, — это значит, что ровно половина одиннадцатого.

Остальные — кроме Глума и Альберта — твердых привычек не имели: Больда иногда спускалась вниз уже за полночь и варила себе снотворное — листья хмеля, которые она держала в коричневом бумажном

пакетике; случалось, что бабушка заходила на кухню, когда давно уже пробило час ночи, готовила себе целую гору бутербродов с мясом и, зажав под мышкой бутылку вина, уходила в свою комнату. Иногда среди ночи бабушка вдруг спохватывалась, что в сигаретнице не осталось сигарет — в красивой голубой фарфоровой сигаретнице, куда входило сразу две пачки. Тогда она бродила, шаркая ногами, по всему дому и, ворча, искала сигареты — большая, с очень светлыми волосами и розовым лицом; сперва она заходила к Альберту: один Альберт курил сигареты, которые были ей по вкусу. Глум всегда курил трубку, а мамины сигареты старухе не нравились: «Бабья забава — меня мутит, как я на них гляну»; у Больды в шкафу всегда было несколько смятых, завалывшихся сигарет, которыми она оделяла почтальона и монтера — над этими сигаретами бабушка всячески издевалась: «У них такой вид, будто ты их выудила из святой воды, а потом высушила, старая грязнуля, — они только для монашек хороши, тьфу!» А порой в доме не было никаких сигарет; тогда Альберту приходилось среди ночи одеваться и ехать на своей машине в город за сигаретами, иногда они вместе с бабушкой собирали по всему дому подходящие монеты для автоматов. Но уж тут бабушка не желала ограничиваться десятком или двумя — она требовала никак не меньше полусотни сигарет в ярко-красных пачках с надписью — *Томагавк. Натуральный виргинский табак* — очень длинные, белоснежные, очень крепкие сигареты.

— Только чтоб не лежалые, мой дорогой!

А когда Альберт возвращался, она прямо в передней обнимала и целовала его, приговаривая:

— Если бы не ты, мой мальчик, ах, если бы не ты... родной сын и тот не был бы лучше.

Потом наконец она уходила к себе, жевала свои бутерброды — толстые ломти белого хлеба, густо намазанные маслом и обложенные мясом, пила вино и покуривала.

Альберт был почти такой же точный, как Глум, — ровно в одиннадцать у него в комнате становилось тихо, — то, что совершалось в доме после одиннадцати, имело отношение только к женщинам: бабушке, Больде и матери. Мать ночью редко вставала с постели, зато она долго читала и курила слабые, сплюсненные сигареты, которые доставала из плоской желтой пачки

с надписью: *Мечеть. Натуральный Восточный табак.* Изредка мать отпивала глоток вина и каждый час включала вентилятор, чтобы прогнать дым из комнаты.

Но часто по вечерам мать уходила куда-нибудь или приводила с собой гостей, тогда его, сонного, переносили в комнату к дяде Альберту, и он притворялся, будто не слышит этого. Он терпеть не мог гостей, хотя любил спать в комнате дяди Альберта. Когда приходили гости, они засиживались очень поздно, — до двух, до трех, до четырех часов ночи, а то и до пяти, и дядя Альберт просыпал тогда утром и не с кем было позавтракать перед школой, — Глум и Больда уходили чуть свет, мать всегда спала до десяти, бабушка никогда раньше одиннадцати не вставала.

Хотя он всякий раз твердо решал больше не спать, он обычно опять засыпал, как только мать выключит вентилятор. Но когда она долго читала, он просыпался и во второй и в третий раз, особенно если Глум забывал смазать вентилятор — и тот медленно, со скрипом делал первые обороты. Только потом, набрав скорость, лопасти начинали работать бесшумно, но все равно от первых же скрипучих звуков он сразу просыпался и видел, что мать лежит все так же, подперев голову правой рукой, зажав сигарету в левой, а вина в стакане ровно столько же, сколько было раньше. Иногда мать читала даже Библию, порой он видел у нее в руках молитвенник в коричневом кожаном переплете, и неизвестно почему ему делалось от этого как-то не по себе. Он старался поскорей уснуть или начинал кашлять, чтобы мать знала, что он не спит. Это случалось поздно, когда все в доме спали. Заслышав кашель, мать тотчас вскакивала и подходила к его постели. Она щупала ему лоб, целовала его в щеку и тихо спрашивала:

— Ты не заболел, малыш?

— Нет, нет, — отвечал он, не открывая глаз.

— Я сейчас погашу свет.

— Да нет, читай.

— У тебя ничего не болит? Температуры как будто нет.

— Конечно, нет. Я здоров.

Она укутывала его одеялом до шеи, и он удивлялся, какие у нее легкие руки. Потом она возвращалась в свою постель, гасила свет и включала в темноте вентилятор, чтобы очистить воздух, а пока вентилятор крутился, она разговаривала с ним.

— Хочешь, мы переведем тебя в верхнюю комнату, рядом с Глумом?

— Нет, здесь лучше.

— Или в соседнюю? Ее тоже можно освободить.

— Да нет, я правда не хочу.

— Ну, а к Альберту? Альберт перебрался бы в другую.

— Нет.

Вдруг вентилятор начинал крутиться все медленнее, и тогда он знал, что мать в темноте нажала кнопку. Еще несколько последних оборотов, скрежет, и потом — тишина, вдали слышны поезда — лязг и грохот сцепляемых товарных вагонов, перед глазами встает надпись: *Восточная товарная станция*. Они с Вельцкамом как-то ходили туда, дядя Вельцкама работает кочегаром на маневренном паровозе, который подает вагоны на сортировочную горку.

— Надо сказать Глуму, чтобы смазал вентилятор.

— Скажу.

— Да, пожалуйста, а теперь давай спать. Спокойной ночи!

— Спокойной ночи!

Но после этого он уже не мог уснуть и знал, что мать тоже не спит, хотя лежит совсем тихо. Мрак и тишина, только издали слышен глухой грохот с Восточной товарной, только всплывают и встают в памяти слова, которые не дают покоя: слово, что мать Брилах сказала кондитеру, — это слово было нацарапано и на стене у лестницы, ведущей в квартиру Брилах, и еще новое слово: *безнравственно*, которое Брилах где-то подцепил и теперь все повторяет. Часто думал мальчик и о Гезелере, но тот был очень далеко, и когда он думал о Гезелере, то не чувствовал ни страха, ни ненависти, только какую-то тяжесть; он куда больше боялся бабушки, она постоянно вдалбливала в него имя Гезелера и при всяком удобном случае заставляла повторять его. Глум, слыша это, недовольно покачивал головой.

Потом он догадывался, что мать уснула, но сам никак не мог уснуть; в темноте он пытался представить себе лицо отца, но это ему не удавалось — тысячи глупых картин роем кружились в его голове — из фильмов, из иллюстрированных журналов, из учебников: Блонди, Хоппелонг Кессиди и Дональд Дак, — а отец не появлялся. И дядя Брилах, Лео, вставал

перед ним, и кондитер, и Гребхакке с Вольтерсом, это те двое, которые делали в кустах что-то бесстыдное: багровые лица, расстегнутые штаны, горьковатый запах свежей травы. Интересно, а бесстыдный — это все равно что безнравственный? Но отец, человек, который на фотографии выглядел слишком живым, слишком веселым, слишком юным для настоящего отца, отец так ни разу и не появился. Всем отцам обязательно подавали *яйцо к завтраку*, но с его отцом это как-то *не вязалось*. У всех отцов — *твердый распорядок дня*, свойство, которым в какой-то степени обладал дядя Альберт, но и *распорядок* никак не вязался с отцом. Распорядок — это: вставание, яйцо к завтраку, работа, возвращение домой, газета, сон. Но все это не вязалось с его отцом, зарытым где-то на окраине русской деревушки. Прошло уже десять лет, отец, наверное, похож теперь на скелет в медицинском музее. Кости, оскаленные зубы. Рядовой и поэт, как-то не подходит одно к другому. Отец Брилаха был фельдфебелем и слесарем. Отцы других мальчиков были: либо майор и в то же время директор, либо унтер-офицер и бухгалтер, либо старший ефрейтор и редактор, ни один из отцов не был рядовым, и ни один из них — поэтом. Дядя Брилаха, Лео, был вахмистром, вахмистр и кондуктор — цветная фотография на кухонном буфете между *саго* и *крупой*. Что такое *саго*? От этого слова веяло Южной Америкой.

Потом выплывали вопросы из катехизиса — водоворот цифр, и каждая обозначала вопрос и ответ.

Вопрос одиннадцатый: прощает ли Бог грешника, который покался? Ответ: да, Бог охотно прощает всякого грешника, который покался. И непонятное двестише: *Если ты, Господи, не отпустишь нам грехи наши, кто тогда останется праведным?* Никто не останется. По твердому убеждению Брилаха, все взрослые — *безнравственные*, а дети бесстыдные, мать Брилаха *безнравственная*, дядя Лео — тоже, кондитер, может быть, тоже; и его мать, которой бабушка шепотом выговаривает в передней: «Где ты только шляешься?» — тоже.

Есть, конечно, исключения, это признавал даже Брилах: дядя Альберт, потом столяр, который живет внизу, в доме Брилаха, фрау Борусьяк и ее муж, Глум и Больда. Но лучше их всех фрау Борусьяк — у нее низкий, глубокий голос, и она распевает над комнатой Брилаха чудесные песни, даже во дворе слышно.

Думать о фрау Борусьяк очень приятно и успокоительно. *Я выросла в краю зеленом*, — часто пела фрау Борусьяк, и когда она так пела, ему все казалось зеленым, словно к глазам поднесли бутылочное стекло — все-все становилось зеленым, даже теперь, в постели, ночью, когда он с закрытыми глазами думал о фрау Борусьяк и слышал ее песню: *Я выросла в краю зеленом*.

Хороша еще песня про долину скорби: «Привет тебе, звезда в зените». И от слова «зенит» тоже все зеленело. В какое-то мгновение он все-таки засыпал — где-то между пением фрау Борусьяк и словом, которое мать Брилах сказала кондитеру, — это слово дяди Лео, — слово, которое мать прошипела сквозь зубы в пахнущем сдобой, теплом подвале пекарни, слово, значение которого ему разъяснил Брилах: это слово про сожительство мужчин и женщин, имеющее отношение к шестой заповеди, безнравственное слово, и сразу на память приходит стих, который его очень занимает: «Если ты, Господи, не отпустишь нам грехи наши, кто тогда останется праведным?» А может быть, сон приходил к нему, когда он вспоминал про Хоппелонг Кессиди — лихого ковбоя с лихими приключениями, чуть глуповатого, как все гости, которых мать приводила в дом?

Так или иначе, но слышать дыхание матери было приятно: ее постель часто пустовала, иногда несколько ночей подряд, и тогда в передней бабушка укоризненно шептала:

— Где ты только шляешься?

Мать не отвечала. Утреннее пробуждение тоже таило в себе некоторую опасность. Если Альберт будил его, уже надев чистую рубашку и галстук, все проходило благополучно: они устраивали тогда в комнате Альберта настоящий завтрак и никуда не торопились и не волновались, и можно было еще раз пробежать вместе с Альбертом домашние задания. Но если Альберт был еще в пижаме, непричесанный, с измятым лицом, тогда приходилось второпях глотать горячий кофе и срочно писать записку: «Глубокоуважаемый господин Вимер, прошу вас извинить меня за то, что мальчик снова опоздал сегодня. Его мать уехала, а я забыл разбудить его вовремя. Еще раз прошу извинить меня. С совершенным почтением...»

Плохо было, когда мать приводила гостей: беспокойный сон в широкой постели Альберта, глупый смех, доносившийся из маминой комнаты; Альберт в такие ночи иногда и вовсе не ложился и только между пятью и шестью принимал ванну: шум воды, всплески, а он снова засыпал, и когда Альберт будил его, чувствовал себя бесконечно усталым и разбитым. На уроках он тогда клевал носом, а после уроков в качестве вознаграждения его водили в кино и кушать мороженое или брали к матери Альберта, в *Битенхан* — «Лесные ворота». Там пруд, где Глум голыми руками ловит рыбу и снова бросает ее в воду, там комната над коровником, там можно *часами* гонять в футбол с Альбертом и Брилахом на утоптанной, выкошенной лужайке, пока не проголодаешься и не захочешь отведать хлеба, который мать Альберта печет сама, а дядя Вилль всегда приговаривает: «Намажьте побольше масла». Покачает головой: «Побольше масла». Опять покачает: «Еще больше». И Брилах, всегда такой не улыбочивый, смеется там от души.

Было много станций на пути, он мог уснуть на любом перегоне: Битенхан и отец, Блонди и безнравственно. Приглушенное жужжание вентилятора значило, что все хорошо: мать дома. Шелест страниц, дыхание матери, чирканье спички и тихий, быстрый глоток, когда она подносит к губам стакан с вином,—и непонятное движение воздуха, когда вентилятор давно уже выключен: это дым тянется к вентилятору, и Мартин незаметно погружался в сон — где-то между Гезелером и «Если ты, Господи, не отпустишь нам грехи наши».

2

Лучше всего было в Битенхане, где мать Альберта держала загородный ресторанчик. Мать Альберта все пекла сама, даже хлеб. Она это делала просто потому, что любила печь,— и они с Брилахом могли в Битенхане вытворять все, что им заблагорассудится,— ловить рыбу, уходить в долину, кататься на лодке или *часами* играть за домом в футбол. Пруд вдавался в лесную чашу, и их обычно сопровождал дядя Вилль — брат матери Альберта. С детских лет дядя Вилль страдал какой-то удивительной болезнью, которую все называли «ночная потливость» — странное название, вы-

зывавшее смех у бабушки и Глума, Больда тоже хихикала, слышав это слово. Виллю было уже под шестьдесят. Когда же ему не было еще и десяти, мать однажды нашла его в постели всего залитого потом. На следующий день повторилась та же история, и мать, обеспокоившись, потащила его к доктору, ибо по каким-то таинственным преданиям ночная потливость считалась верным признаком чахотки. Но легкие у маленького Вилля оказались в полном порядке, только сам он, как выразился доктор, был мальчик нервный и subtilный; и доктор — тот самый, который вот уже сорок лет покоится на городском кладбище,— сказал пятьдесят лет тому назад: «Ребенка нужно беречь».

И Вилля всю жизнь берегли. «Нервный, subtilный», да еще ночная потливость — все это превратилось в своего рода ренту, которую пожизненно выплачивала ему семья. Мартин и Брилах, узнав об этом, долгое время с утра ощупывали свои лбы и по пути в школу делились наблюдениями. Выяснилось, что и у них иногда лбы бывают влажные. Особенно у Брилаха — он потел по ночам часто и очень обильно, но с тех пор как Генрих Брилах родился, никому и в голову не приходило хоть денек побережь мальчика. Мать рожала его, когда на город сыпались бомбы, они падали на ту улицу, а под конец и на тот дом, где в бомбоубежище, на грязных нарах, заляпанных ваксой, она корчилась в схватках. Голова матери оказалась на том самом месте, где какой-то солдат пристроил свои сапоги: от запаха ворвани ее тошнило куда сильнее, чем от родов, и когда кто-то сунул ей под голову замызганное полотенце, запах армейского мыла, жалкий аромат его тронул ее до слез; это оскверненное благоухание показалось ей невыразимо дорогим.

Когда начались схватки, ей помогли; ее вырвало прямо на ноги окружающих, и самой хорошей и хладнокровной повитухой оказалась четырнадцатилетняя девочка. Она вскипятила воду на спиртовке, приготовила стерильные ножницы и перерезала пуповину. Она делала все в точности, как написано было в книге, которую ей совсем не следовало бы читать; хладнокровно и в то же время мягко и с удивительной выдержкой делала она то, что по ночам, когда родители давно уже спали, вычитала в книге с красновато-белыми и желтоватыми рисунками; она перерезала пуповину

стерилизованными портняжными ножницами, которые взяла у своей матери. Та отнеслась к познаниям дочери недоверчиво, хотя и не без некоторой доли восхищения.

Потом, когда тревога кончилась, до них откуда-то издалека донесся рев сирены: так до зверей, забившихся в чащу леса, доносятся голоса охотников. Дом рухнул. Руины зловеще приглушали звук, и мать Бриллаха, которая оставалась в подвале одна с четырнадцатилетней повитухой, услышала крики остальных, — они пытались выбраться наверх сквозь завалившийся проход.

— Как тебя зовут? — спросила она у девочки: ей никогда раньше не приходилось с ней встречаться.

— Генриетта Шадель, — ответила девочка и достала из кармана непочатый кусок зеленоватого мыла. Тогда фрау Бриллах сказала:

— Дай-ка мне понюхать.

И она нюхала мыло и плакала от счастья, а девочка тем временем заворачивала ребенка в одеяло.

У нее оставалась только сумочка с деньгами и продуктовыми карточками, грязное полотенце, подsunутое ей под голову неизвестным благодетелем, и несколько фотографий мужа: на одной он был снят еще до армии, в спецовке слесаря, выглядел очень молодо и улыбался, на другой он был уже ефрейтором танковых войск и тоже улыбался, на третьей — унтером с железным крестом второй степени и боевыми отличиями, и опять-таки улыбался, и самая последняя — она получила ее только на прошлой неделе, — где он уже фельдфебель с двумя крестами и все с той же улыбкой.

Через десять дней после родов ее втиснули в поезд, который увез ее на восток; спустя два месяца, в саксонской деревушке, она узнала, что муж погиб.

Восемнадцать лет от роду она вышла замуж за бравого ефрейтора, чье тело истлевет теперь где-то между Запорожьем и Днепропетровском. И вот на двадцать втором году жизни она стала вдовой. У нее трехмесячный ребенок, два полотенца, две кастрюльки, немножко денег, и она очень хороша собой.

Мальчик, которого по отцу окрестили Генрихом, вырос в твердом сознании, что рядом с матерью всегда должен быть какой-нибудь дядя.

В его первые годы таким дядей оказался Эрих, который носил коричневую форму. Эрих принадле-

жал к загадочной категории дядей и к не менее загадочной категории наци. И с той и с другой категорией дело обстояло не совсем ясно. Генрих почувствовал это еще четырехлетним мальчонкой, но понять, в чем дело, конечно, не мог. У дяди Эриха была болезнь, которая называлась *астма*: стоны по ночам, кряхтение и жалобный вопль: «Дышать нечем!» — платки, смоченные уксусом, и запах камфоры, и настои с каким-то диковинным ароматом. Домой из Саксонии вместе с ними перекечевал предмет, который когда-то принадлежал Эриху, — зажигалка. Эрих остался в Саксонии, а зажигалка перекечевала с ними, и запах Эриха сохранился навсегда в памяти.

Потом появился новый дядя, от которого в памяти остался запах *американских* сигарет и сырого алебастра да еще запах растопленного на сковородке маргарина и жареного картофеля. Звали его Герт, и был он не так далек и непонятен, как тот, которого звали Эрих и который остался в Саксонии. Герт работал облицовщиком, и слово «облицовщик» было неотделимо от запаха сырого алебастра, сырого цемента. И еще с Гертом было связано другое слово, которое он повторял на каждом шагу и которое после его ухода сохранилось в лексиконе матери, — слово *дерьмо*. Это такое слово, которое матерям почему-то можно говорить, а детям строго-настрого запрещается. И еще Герт оставил на память, кроме запахов и этого слова, ручные часы, которые он подарил матери, мужские ручные часы на восемнадцати камнях — какое-то совершенно непонятное определение качества часов.

Генриху минуло тогда пять с половиной лет, и он немало сделал, чтобы прокормить себя и мать, выполняя на черном рынке всевозможные поручения многочисленных обитателей дома. Хорошенький мальчуган, похожий на отца, ежедневно в двенадцать уходил из дому, вооруженный деньгами и отличной памятью, и добывал то, что можно было раздобыть, — хлеб, табак, сигареты, кофе, сласти, а иногда даже такие роскошные вещи, как маргарин, масло, электролампочки. Когда надо было делать большие покупки, он служил для соседей проводником, потому что знал, кто чем торгует на черном рынке, и вообще знал там каждую собаку. Среди спекулянтов он пользовался неприкосновенностью, и всякий, кого уличали в попытке надуть малыша, подвергался беспощадному бойкоту и вынуж-

ден был открывать торговлю где-нибудь в другом месте.

Не по летам сообразительный, мальчуган приобрел на черном рынке не только хлеб насущный, он приобрел и феноменальную способность к устному счету. Способность эта выручала его в школе несколько лет подряд. Лишь в третьем классе они начали проходить примеры, которые он решал на практике задолго до школы.

Сколько стоят две осьмушки кофе, если известно, что кило стоит тридцать две марки?

Решения таких задач требовала от него сама жизнь, потому что выпадали очень скверные месяцы, когда он покупал хлеб по пятьдесят или по сто граммов, табак — еще меньшими дозами, кофе на лоты — крохотные порции, а это требует немалой сноровки в обращении с дробями, если ты не хочешь, чтобы тебя надули.

Герт исчез внезапно. А его запахи остались в памяти — сырой алебастр, «Виргиния», жаренный на маргарине картофель с луком; и еще в наследство от Герта осталось слово *дерьмо*, которое навсегда вошло в лексикон матери, и, наконец, одна ценная вещь — мужские ручные часы. После внезапного исчезновения Герта мать плакала, чего не было после расставания с Эрихом, а вскоре объявился новый дядя по имени Карл. Карл стал требовать, чтобы его называли папой, хотя он не имел на это ни малейшего права. Карл служил в магистратуре и ходил не в старом кителе, как Герт, а в настоящем костюме, и Карл возвестил громким голосом начало «новой жизни».

«Карл — новая жизнь» — так и запомнился он Генриху, потому что эти слова Карл повторял двадцать раз на день. Запахом Карла был запах супов, которые отпускались служащим магистратуры на льготных условиях; супы, как бы они ни назывались, жирные они были или сладкие, все равно, от всех супов пахло термосом и избытком. Карл ежедневно приносил в старом солдатском бачке половину своей порции, иногда и больше, когда подходила его очередь получать дополнительную порцию. Понять причину этой льготы Генрих так и не смог. С чем бы ни варили суп — со сладкими клецками или с бычьими хвостами, — все равно он отдавал термосом, и все равно он был великолепен. Для бачка сшили брезентовый чехольчик, а ручку

обвязали суровыми нитками; Карл не мог возить бачок в портфеле, так как в трамвае всегда очень толкались, суп расплескивался и пачкал портфель. Карл был добродушный и нетребовательный, но его появление имело и неприятные последствия, потому что он был хоть и нетребовательный, зато строгий и категорически запретил Генриху всякие походы на черный рынок. «Как государственный служащий, я не могу допустить... не говоря уже о том, что это подрывает моральные устои и народное хозяйство». Строгость Карла пришлась на тяжелый 1947 год. Скучные пайки, если вообще их можно было назвать пайками,— и Карловы супы не шли ни в какое сравнение с былыми заработками Генриха. Генрих спал в одной комнате с матерью и Карлом — точно так же, как он спал в одной комнате с матерью и дядей Гертом, с матерью и дядей Эрихом.

Когда Карл и мать, погасив свет, подсаживались к радиоприемнику, Генрих поворачивался к ним спиной и смотрел на карточку отца. Отец был снят в форме фельдфебеля танковых войск незадолго до смерти. В доме хозяйничали разные дяди, но фотография отца продолжала висеть на стене. И все-таки, даже отвернувшись, он слышал шепот Карла, хотя и не разобрал отдельных слов, и слышал хихиканье матери. Из-за этого хихиканья он порой ненавидел мать.

А потом у матери с Карлом был спор о каком-то малопонятном деле, которое называлось «он». «Мне он ни к чему»,— все время говорила мать. «А мне к чему»,— говорил Карл. Только потом Генрих понял, что значило «он». Вскоре мать попала в больницу, и Карл был очень огорчен и сердит, но ограничился тем, что сказал ему: «Ты тут ни при чем».

Пропахшие супом больничные коридоры, множество женщин в большом зале, мать, изжелта-бледная, но улыбающаяся, хотя ей было «так больно, так больно». Карл мрачно стоял у ее постели: «Между нами все кончено, раз ты «его»...»

Таинственный «он»! И Карл ушел еще до того, как мать выписалась из больницы. Генрих оставался пять дней под присмотром соседки, которая тут же снова стала посылать его на черный рынок. Всюду были уже новые люди и новые цены, и никого больше не занимало, обсчитывают Генриха или нет. Билькхагер, у которого он всегда покупал хлеб, сидел в тюрьме, седой папаша, который торговал табаком и сладостями, тоже

угодил в тюрьму, его застали на месте преступления, когда он пытался забить лошадь в собственном дворе. Все изменилось, стало дороже и хуже. И Генрих обрадовался, когда из больницы вернулась мама; потому что соседка с утра до вечера рассказывала ему о том, как она похудела и какая раньше была пышная, или рассказывала о всяких вкусных вещах. Сказочные воспоминания о шоколаде и мясе, о пудингах и сливках совершенно сбивали его с толку, потому что он не имел ни малейшего представления об этих лакомствах.

Мать стала тихой, задумчивой, но гораздо ласковей, чем прежде. Она поступила работать на кухню, где варились супы для служащих магистратуры. Теперь они каждый день получали по три литра супа, а то, что не съедали сами, выменивали на хлеб или табак. По вечерам мать сидела у радиоприемника вместе с ним, тихая, задумчивая, курила, от нее только и можно было услышать: «Все мужчины — трусы».

Умерла соседка — мрачное, костлявое, вечно голодное существо. Она без конца рассказывала, что до войны весила почти семь пудов. «Вот посмотри на меня, хорошенько посмотри и представь себе, что я весила до войны больше семи пудов, во мне было ровно двести тридцать четыре фунта¹. А посмотри на меня теперь — во мне осталось всего сто сорок четыре». Сколько это пудов? Семь пудов вызывают представление о мешках с картофелем, мукой, брикетами угля; семь пудов входило в маленькую тачку, которую он часто брал, когда шел воровать брикеты на путях, — холодные ночи, свисток стоящего на стреме — тот взобрался на семафорную мачту, чтобы подать сигнал, если покажется полицейский. Тачка получалась очень тяжелой, когда ее нагружали доверху, а соседка, выходит, весила еще больше.

И вот теперь она умерла: на могильный холм положили астры, пропели «*Dies irae, dies illa*», и когда родственники унесли мебель, на ступеньках осталась фотография — большая коричневая фотография, на ней соседка перед домом с надписью «Вилла Элизабет». Позади — виноградник, грот из пористого камня, в котором фаянсовые гномы катают игрушечные тачки; на

¹ Немецкий фунт равен пятистам граммам.

переднем плане, белокурая и толстая, стоит соседка, а из верхнего окна смотрит мужчина с трубкой во рту, и через весь фронтон — надпись «Вилла Элизабет». Собственно, так и должно быть — ведь ее звали Элизабет.

В освободившуюся комнату въехал мужчина, его звали Лео, он был кондуктор в синей форменной фуражке с красным кантом, на плечах много ремней, много скрипящей кожи и все то, что Лео называл своей «сбруей» — сумка для денег и деревянный ящичек, куда вставлялись катушки с билетами, губка в алюминиевом футлярчике и компостерные щипцы. Неприятным было лицо Лео — багровое, чисто вымытое; неприятным было никогда не выключавшееся радио и песни, что он насвистывал. Женщины в кондукторской форме танцевали и пели в его комнате.

— Ваше здоровье! — то и дело слышалось оттуда.

Женщина, которая когда-то весила почти семь пудов и от которой осталась фотография «Вилла Элизабет», была по крайней мере тихая. А Лео был шумный. Он стал главным потребителем супа и рассчитывался за него сигаретами по тарифу, который он сам установил; особенно хорошо платил Лео за сладкие супы.

Как-то вечером, когда Лео принес табак и получил за это суп, он вдруг поставил кастрюлю обратно на стол, с улыбкой поглядел на мать и сказал:

— Хотите посмотреть, как сейчас танцуют? Вам, собственно, случалось танцевать в последнее время?

И Лео пустился в какой-то невообразимый пляс, он высоко скидывал ноги, размахивал руками и при этом дико подвывал. Мать рассмеялась и ответила:

— Нет, я уж давно не танцевала.

— А надо бы, — сказал Лео. — Идите-ка сюда!

И, напевая какой-то мотивчик, он взял мать за руку, стащил ее со стула и затанцевал с ней — и лицо матери сразу изменилось: она вдруг заулыбалась, заулыбалась и сразу стала намного моложе.

— Ах, — сказала она, — вот прежде я часто ходила на танцы.

— Тогда пойдите со мной! — воскликнул Лео. — У меня абонемент в танцклубе. А вы просто прелестно танцуете.

Мать и в самом деле пошла в клуб, и Лео стал дядей Лео, и снова начались разговоры про «него». Генрих внимательно прислушивался и скоро понял, что на

сей раз роли переменялись. Теперь мать говорила то, что тогда говорил Карл:

— Я хочу, чтоб он остался.

А Лео отвечал то, что тогда отвечала мать:

— Нет, ты от него избавишься.

Генрих был уже во втором классе и давно понимал, что значит «он», так как знал от Мартина то, что Мартин, в свою очередь, узнал от дяди Альберта: от сожителства мужчин и женщин появляются дети, и было ясно, что «он» значит просто ребенок и что достаточно всюду вместо «он» подставить «ребенок». «Я хочу ребенка»,— говорила мать. «Нет, ты от него избавишься»,— говорил Лео. «Я не хочу ребенка»,— говорила мать Карлу. «А я хочу»,— говорил Карл.

То, что мать сожительствовала с Карлом, было ясно и тогда, хотя тогда Генрих имел в виду не слово «сожителство», а совсем другое слово, которое звучало далеко не так пристойно. Значит, от ребенка можно избавиться. От того ребенка, из-за которого Карл бросил мать, она избавилась. Получалось, что Карл вовсе не самый плохой из всех дядей.

Появился на свет «он» — ребенок, и Лео грозился:

— Я отдам его в воспитательный дом, если ты из-за него уйдешь с работы.

Но с работы все-таки пришлось уйти, потому что суп, который на льготных условиях отпускали служащим магистратуры, иссяк, а вскоре и черного рынка не стало. Никто уже не интересовался супом, потому что выпустили новые деньги, и деньги стали дороги, и в магазинах теперь продавались вещи, которых раньше нельзя было найти даже на черном рынке. Мама плакала, «он» был крохотный и звали «его» — Вильма, как маму, а Лео все злился, пока мать снова не устроилась на работу у кондитера.

Дядя Альберт пришел и предложил матери денег, она их не взяла, Лео кричал на нее, а Альберт, дядя Мартина, кричал на Лео.

От Лео всегда пахло туалетной водой. Лицо у него было красное от вечного мытья, а волосы — черные как смоль; Лео много занимался своими ногтями, и из-под форменной тужурки у него всегда виднелось желтое кашне. И еще он был очень жадный: на детей он вообще ни гроша не тратил и этим отличался от Альберта и от Вилля — дядей Мартина, которые делали ему много подарков. Вилль был совсем не такой дя-

дя, как Лео, а Лео совсем не такой, как Альберт. Постепенно Генрих стал всех дядей делить на категории. Вилль — это настоящий дядя, а Лео — это такой дядя, как Эрих, Герт и Карл, которые сожительствовали с матерью. Альберт — это дядя, не похожий ни на Лео, ни на Вилля, он не такой настоящий, как Вилль, которого можно называть даже дедушкой, но и не сожительствующий дядя, как Лео.

А отец — это портрет на стене: улыбающийся фельдфебель, сфотографированный десять лет тому назад. Сначала отец казался ему слишком старым, теперь — слишком молодым, все моложе и моложе, а сам он медленно дорастал до отца, и отец был теперь только в два с лишним раза старше его. А сначала он был старше раза в четыре, в пять. На другой фотографии, которая висела рядом, матери было всего восемнадцать, и она выглядела совсем как девчонка перед конфирмацией.

Дядя Вилль почти в шесть раз старше его, и все же рядом с Виллем он казался себе старым и опытным, мудрым и усталым. И он принимал дружбу Вилля, как принимают дружбу маленького ребенка, как он принимает нежности своей крохотной, быстро подраставшей сестренки. Он возился с ней, давал ей бутылочку, разогревал кашу, потому что с двенадцати мать уходила на работу, а Лео категорически отказывался возиться с ребенком. «Я вам не нянька!» Потом Генрих научился даже купать Вильму, сажать ее на горшок и брал ее с собой, когда ходил за покупками или когда ходил встречать маму после работы.

Альберт, дядя Мартина, ничем не походил на Вилля, это был человек, знавший цену *деньгам*, человек, который, хотя сам и не нуждался в *деньгах*, знал, как страшно, когда дорожает хлеб и подскакивает цена на маргарин; да, это был дядя, какого и ему хотелось бы иметь: не сожительствующий дядя и не дядя Вилль, который годится разве на то, чтобы поиграть с ним или погулять. Вилль неплохой человек, но *разговаривать* с ним трудно, а с Альбертом можно, *хотя* у Альберта и водятся *деньги*.

Он охотно ходил *туда* по многим причинам: главным образом из-за дяди Альберта и из-за Мартина, конечно. Во всем, что касалось денег, Мартин ничуть не отличался от дяди Вилля. И бабушка ему нравилась, хотя она была с причудами. И ради футбола он

ходил туда, и ради лакомств из холодильника, а еще ему нравилось, что там можно, оставив Вильму где-нибудь в саду, в коляске, гонять часами в футбол и не видеть дядю Лео.

Зато страшно было смотреть, как там обращаются с деньгами: ему там ни в чем не отказывали, и все относились к нему очень ласково, но у Генриха было смутное предчувствие, что в один прекрасный день все это плохо кончится, и не только из-за денег. Существовали вещи, которые не имели никакого отношения к деньгам, например разница между дядей Лео и дядей Альбертом, разница между тем, как ужаснулся Мартин, услышав слово, сказанное кондитеру, и тем, как сам он, Генрих, только чуть испугался, когда впервые услышал, как мама выговорила слово, которое раньше он слышал только от Лео и какой-то его кондукторши. Слово это показалось ему отвратительным, он не любил его, но никогда не ужасался так, как ужаснулся Мартин. Все эти различия только частично зависели от денег, и разбирался в этом только дядя Альберт, который отлично понимал, что не должен *слишком хорошо* относиться к нему, Генриху.

3

Уже несколько минут она чувствовала на себе чей-то пристальный взгляд, взгляд человека, привыкшего к победам и не сомневающегося в успехе. Можно смотреть по-разному: она иногда чувствовала устремленные на нее сзади молящие глаза робкого воздыхателя. Но этот, сегодняшний, уверен в себе — взгляд без тени меланхолии; целых полминуты она пыталась представить себе, каков он — элегантный брюнет несколько хлыщеватого вида; может быть, он даже заключил пари — ставлю десять против одного, что я за три недели полажу с ней.

Она очень устала, и ей не стоило особого труда игнорировать незнакомого поклонника, она радовалась тому, что может провести конец недели с Альбертом и мальчиком у матери Альберта. Подходит осень, и вряд ли в ресторанчике будет много народу. Даже просто слушать Альберта, когда он рассуждает с Виллем и Глумом о разных видах приманки, одно удовольствие; кроме того, она возьмет с собой книги

и почитает, пока ребята будут играть в футбол, а может, она поддастся на уговоры и пойдет вместе с Глумом удить рыбу и будет кротко выслушивать объяснения о наживке и насадке и о различных видах удилищ и о великом, даже более чем великом, терпении. Она все еще чувствовала на себе этот взгляд и тут же снова ощутила усыпляющее воздействие голоса Шурбигеля: всюду, где только можно было произнести речь на какую-нибудь интеллектуальную тему, Шурбигель немедленно произносил ее. Она ненавидела Шурбигеля и теперь раскаивалась в дурацкой вежливости, заставившей ее принять приглашение. Было бы куда лучше пойти с Мартином в кино, потом поесть мороженого и, прихлебывая кофе, просмотреть вечернюю газету, пока Мартин развлекается, выбирая пластинки, которые любезно подает ему официантка. А теперь ее уже заметил кое-кто из знакомых — и впереди опять потерянный вечер: впопыхах приготовленные бутерброды, откупоренные бутылки, кофе («Может быть, вы предпочитаете чай?»), сигареты и вдруг отупевшее лицо Альберта — таким оно становится, когда он должен занимать ее гостей и рассказывать им про ее мужа.

Слишком поздно. Сейчас выступает Шурбигель, потом патер Виллиброрд начнет представлять ей разных людей, появится и тот незнакомый поклонник, чей взгляд, словно свет лампы, падает на ее затылок. Лучше всего вздремнуть — так по крайней мере урвешь хоть немножко для сна.

Она вечно делала то, чего не хотела, и вовсе не из-за тщеславия, вовсе не для того, чтобы прибавить популярности своему погибшему мужу, и вовсе не ради желания познакомиться с интересными людьми. Это было чувство, какое испытываешь, пускаясь вплавь, и она позволяла увлекать себя туда, где почти все было лишено смысла — смотреть отрывки из плохих фильмов, бессвязные, скверно заснятые сцены с участием посредственных актеров и неважным освещением и мечтать. Она изо всех сил боролась с дремотой, даже выпрямилась и стала слушать Шурбигеля, чего уже давным-давно не делала. Взгляд, неотступно устремленный на нее, утомлял. Не оборачиваться требовало напряжения, а оборачиваться она не хотела, потому что, не глядя, знала этот тип людей. Эти интеллигентные бабники приводили ее в ужас. Вся их подчиненная

рефлексам и чувству неполноценности жизнь протекает с оглядкой на литературные образцы, и вкусы их колеблются между Сартром и Клоделем. Они мечтают о номере гостиницы, точно таком, какой они видят в кино, на самых поздних сеансах, в фильмах с тусклым освещением и утонченным диалогом, в фильмах «не богатых событиями, но захватывающих» и сопровождаемых экзистенциальными звуками органа: бледный мужчина склонился над бледной женщиной, а сигарета — какой великолепный кадр! — окутывает ночной столик огромными кольцами дыма — «Мы поступаем дурно, но мы не в силах поступить иначе». Выключают свет, и в сгустившемся сумраке алеет лишь огонек сигареты на ночном столике, — экран меркнет, а тем временем свершится неизбежное.

Чем больше таких поклонников появлялось у нее, тем больше она любила своего мужа, и за десять лет, хотя ей многое приписывали, она ни разу не спала ни с одним мужчиной. Рай был другим, и комплексы его были подлинными так же, как и его наивность.

Теперь ее медленно убаюкивал голос Шурбигеля, и на какое-то мгновение она забыла о назойливом, упершемся ей в затылок взгляде незнакомца.

Шурбигель был высокий и грузный, и степень меланхолии в его лице возрастала от доклада к докладу, а он прочел их немало. И с каждым докладом он становился все представительнее, все грузнее. Нелле всегда казалось, что перед нею потрясающе эрудированный, потрясающе грустный и раздувающийся не по дням, а по часам воздушный шар, который вдруг лопнет, и ничего от него не останется, кроме пригоршни концентрированной и дурно пахнущей грусти.

И тема его была специфически шурбигелевской — «Отношение творческой личности к церкви и к государству в наш технический век». И голос у него был приятный: маслянисто-разумный, чуть прерывающийся от скрытой чувствительности, исполненный бесконечной грусти. Ему сорок три года, у него множество почитателей и почти нет врагов, но тем не менее этим врагам удалось извлечь на свет божий из недр захудалой университетской библиотеки где-то в Средней Германии докторскую диссертацию Шурбигеля, а диссертация была написана в 1934 году и называлась: «Образ фюрера в современной лирике». Поэтому каждое свое выступление Шурбигель начинал теперь с

критических замечаний по поводу публицистической недобросовестности некоторых крикливых юнцов, сектантствующих пессимистов, самобичующихся еретиков, не способных уразуметь поступательное развитие духовно созревшей личности. Но в обращении с недругами он был сама любезность и применял против них оружие, которое приводило их в бешенство, ибо они были бессильны против него: Шурбигель прощал врагам своим, он все и всем прощал. Его жестикуляция во время выступления напоминала ухватки услужливого парикмахера, заботящегося только о благе клиента. Выступая, он как бы прикладывал своим воображаемым друзьям и воображаемым недругам горячие компрессы, он умащал их успокоительными и благовонными эссенциями, он массирует им щеки, он обмахивал их, он освежал их, потом долго и основательно намыливал необычайно ароматным и необычайно дорогим мылом,— а его масляный голос высказывал необычайно умные мысли. Шурбигель был пессимист, но вовсе не безнадежный. Такие слова, как «элита», «катакомбы», «разочарование», словно бакены, колыхались в могучем потоке его речей; он доставлял посетителям своего салона бездну не изведанных доселе наслаждений: легкое прикосновение, горячие компрессы, холодные компрессы, теплые компрессы, массаж; он словно оказывал своим слушателям все услуги, перечисленные в прейскуранте перворазрядной парикмахерской.

Он и вырос в окраинной парикмахерской. «Исключительно одаренного ребенка» скоро заметили и начали всячески продвигать. Маленькому толстому мальчику на всю жизнь запомнилось меланхолическое обаяние грязноватой и тесной отцовской парикмахерской: мелькание ножниц — сверканье стали в полутемной комнате, ровное жужжание электрической машинки для волос, неторопливая беседа, аромат различных сортов мыла и духов, звяканье монет в кассе, украдкой подаваемые пакетики, полоски бумаги, на которых медленно высыхали в мыльной пене белокурые, черные, рыжие волосы,— казалось, что они попали в застывший сахарный мусс; две теплые и полутемные деревянные кабинки, где священнодействовала мать: искусственное освещение, струйки дыма от сигарет, и вдруг начинаются надрывные излияния по поводу всяческих амурных делишек. Когда в парик-

махерской никого не было, ласковый, вечно меланхолично настроенный отец проходил в заднюю комнату, выкуривал сигарету и гонял его по склонениям,— тут ухо Шурбигеля стало чувствительным, а дух — скорбным. Отец так никогда и не научился правильно ставить ударения в латинских словах и упорно говорил *genús* вместо *génus*¹, *áncilla* вместо *ancílla*², а когда сын без подготовки спрягал *tithemí*³, на устах отца появлялась дурацкая усмешка, ибо ассоциации и мысли у него всегда были самые низменные.

Теперь Шурбигель умащал своих слушателей таинственной мазью и почтительно массировал им уши, лбы и щеки, потом он быстрым движением снял с них простынку, слегка поклонился, собрал свои записи и, кротко улыбаясь, сошел с трибуны. Его провожали единодушными и долгими, хотя и негромкими аплодисментами,— как раз так, как любил Шурбигель: ему не нравилось, когда хлопают слишком громко. Правую руку он сунул в карман и стал поигрывать жестяной коробочкой, наполненной витаминизированным драже; тихий звук перекаत्याющихся конфеток успокаивал, и Шурбигель, улыбаясь, протянул руку патеру Виллиброрду, который успел шепнуть: «Замечательно, замечательно!» Шурбигель распрощался — ему нужно было успеть на открытие выставки «Южнобаварских вероотступников», он считался специалистом по современной живописи, современной музыке, современной лирике. Он предпочитал самые трудные темы, они давали возможность высказывать отважнейшие мысли, создавать рискованнейшие концепции. Смелость Шурбигеля могла сравниться только с его доброжелательностью, он всего охотнее расхваливал тех, кого считал своими врагами, и охотнее всего отыскивал недостатки в тех, кого считал своими приятелями. Хвалил он приятелей очень редко и тем снискал себе славу неподкупного. Шурбигель был неподкупен, и хотя у него были враги, сам он ничьим врагом не был.

После войны Шурбигель (тут неоднократно приводился пример с апостолом Павлом) познал безграничное обаяние религии. К великому удивлению своих друзей, он стал христианином и первооткрывателем христианских дарований; к счастью для Шурбигеля,

¹ Род (лат.).

² Служанка (лат.).

³ Я кладу (греч.).

у него была одна большая, правда уже десятилетней давности, заслуга: он открыл Раймунда Баха, которого еще десять лет тому назад назвал «крупнейшим лириком нашего поколения». Будучи редактором большой нацистской газеты, он открыл Баха, стал его печатать, и это давало ему право — тут уж недругам оставалось только помалкивать — начинать каждый реферат о современной лирике словами: «Когда в 1935 году я первым опубликовал стихотворение поэта Баха, павшего затем в России, я уже знал, что начинается новая эра в лирической поэзии».

Печатанием стихов Баха он завоевал себе право называть Неллу «моя дорогая Нелла», и она ничего не могла с этим поделать, хотя отлично знала, что Рай ненавидел Шурбигеля так же, как теперь ненавидела Шурбигеля она сама. Он завоевал себе право раз в три месяца являться к ней вечером с целой оравой небрежно одетых юнцов, пить у нее чай и вино — и минимум раз в полгода где-нибудь пристраивать очередную фотографию: «Вдова поэта с человеком, открывшим ее мужа».

Нелла с облегчением констатировала, что он куда-то исчез; она ненавидела его, но в то же время он забавлял ее. Когда аплодисменты стихли, она, стряхнув с себя дремоту, почувствовала, что взгляд устремлен теперь не на ее затылок, а прямо в лицо. Она подняла глаза и увидела того, кто так упорно стремился покорить ее: он приближался к ней с патером Виллибрордом; он был еще молод и вопреки моде очень скромно одет: темно-серый костюм, аккуратно повязанный галстук, весьма приятное лицо — такая умная ирония бывает на лицах редакторов, которые от текущей политики перешли на фельетон. Для патера Виллиброрда как раз и было характерно, что он абсолютно всерьез принимал таких, как Шурбигель, и что он представлял ей субъектов, подобных незнакомцу, с которым сейчас медленно приближался к ней.

Незнакомец оказался брюнетом — это она угадала, но в остальном он никак не соответствовал тому типу интеллигентного бабника, о котором она только что думала. Чтобы окончательно смутить его, она еще раз улыбнулась: поддался ли он на эту игру мельчайших мускулов ее лица? Конечно, поддался. Когда он склонился перед ней, она увидела густые черные волосы, разделенные ровным пробором.

— Господин Гезелер,— улыбаясь, сказал патер Виллиброрд,— трудится над антологией лирической поэзии и охотно посоветовался бы с тобой, дорогая Нелла, какие именно стихотворения Рая следует поместить.

— Как... как вас зовут? — переспросила она и тут же увидела по его лицу, что он принял ее испуг за признательность.

Лето в России, окоп, маленький лейтенант посылает Рая на верную смерть. Стало быть, на этой вот смуглой, безукоризненно выбритой щеке десять лет тому назад горела пощечина Альберта?

«...Я вlepил ему такую пощечину, что какое-то мгновение видел отпечаток своих пяти пальцев на его смуглой щеке, а заплатил я за эту пощечину шестимесячным пребыванием в одесской военной тюрьме». Внимательные, чуть испуганные глаза, испытующий взгляд. Нить жизни перерезана — жизни Рая, моей и мальчика — из-за пустого упрямства какого-то чернявого лейтенанта, настаивавшего на выполнении своего приказа; три четверти прекрасного фильма, который уже начался, вдруг оборвали, бросили в кладовую, и оттуда она по кускам извлекает его,— сны, которые так и не стали явью. Выкинули главного героя, а всех остальных — ее, мальчика, Альберта — заставили крутить новую, кое-как склеенную ленту. Режиссер на часок-другой ввел в картину маленького, но ретивого начальника, и тот испоганил весь финал. Прочь главного героя! Ее изуродованная жизнь, жизнь Альберта, мальчика, бабушки на совести этой жалкой бездари, которая упорно продолжает принимать ее смущение за влюбленность.

«Бездарь, маленький, смазливенький, интеллигентик с испытующим взглядом, составитель антологии, если только это ты,— по-моему, ты слишком молод,— но если это действительно ты, ты станешь главным героем в третьей части с мелодраматическим концом — таинственная фигура в мыслях моего сына, черный человек в памяти бабушки; десять лет, полные неугасимой ненависти; о, у тебя еще закружится голова так, как кружится она сейчас у меня».

— Гезелер,— ответил он, улыбаясь.

— Господин Гезелер вот уж две недели ведет отдел литературы и искусства в «Вестнике». Нелла, дорогая, тебе нехорошо?

— Да, мне нехорошо.

— Вам надо подкрепиться. Разрешите пригласить вас на чашку кофе?

— Пожалуйста.

— Вы пойдете с нами, патер?

— С удовольствием.

Но ей пришлось еще пожать руку Тримборну, раскланяться с фрау Мезевиц, услышать чей-то шепот: «Наша милая Нелла стареет», и подумать, стоит ли позвонить Альберту и вызвать его сюда. Альберт узнает его и избавит ее от мучительного выпрашивания. Она почти не сомневалась, что это он, хотя все говорило против этого. На вид ему казалось лет двадцать пять, ну, от силы двадцать восемь; значит, тогда ему самое большее было восемнадцать.

— Я собирался писать вам,— сказал он, когда они спустились по лестнице.

— Это было бы бесполезно,— сказала она.

Он взглянул на нее, и его глуповато-обиженный вид только подзадорил ее.

— Я уж десять лет не читаю писем и бросаю их нераспечатанными в корзину для бумаг.

В дверях она остановилась, подала руку только патеру и сказала:

— Нет, пойду домой, мне нехорошо... позвоните мне, если хотите, но не называйте себя, когда подойдут к телефону. Слышите? Не называйте себя.

— Что случилось, дорогая Нелла? — спросил патер.

— Ничего,— сказала она,— я просто очень устала.

— Мы рады были бы видеть тебя в воскресенье на следующей неделе в Брернихе; господин Гезелер выступит там с докладом.

— Позвоните мне, пожалуйста,— сказала она и, не обращая больше внимания на обоих мужчин, быстро ушла.

Наконец-то она вырвалась из полосы яркого света и свернула в темную улицу, где находилось кафе Луиджи.

Здесь она сотни раз сидела с Раймундом, это самое подходящее место, здесь снова можно склеивать фильм из обрывков, которые стали снами, и начать крутить его. Погасить свет, нажать кнопку, и сон, который так и не стал явью, вспыхивает в мозгу.

Луиджи улыбнулся ей и тут же схватил пластинку, которую ставил всегда, когда приходила Нелла: дикая, примитивно сентиментальная музыка изматы-

вала и волновала. Настороженно дожидалась она того момента, когда мелодия обрывается и с грохотом падает в бездонную пропасть,— и в то же время она упорно прокручивала первую часть фильма — ту, которая не была сном.

Здесь фильм начинался, здесь, где мало что с тех пор изменилось. По-прежнему на фронтоне над витриной был врезан в стену пестрый петух, выложенный из разноцветных стеклянных плиток: зеленых, как лужайка, и красных, как гранат, желтых, как флажки на составах с боеприпасами, и черных, как уголь, а большой транспарант, который петух держал в клюве, был белоснежным, и на нем красная надпись: «Генель. 144 сорта мороженого». Петух бросал пестрый свет на лица посетителей, на весь зал до самого дальнего уголка, на Неллу, и рука ее, окрашенная мертвенно-желтым светом, лежала на столе, как и тогда, когда шла первая часть фильма.

Какой-то молодой человек подошел к ее столику, темно-серая тень упала на ее руку, и прежде чем она подняла глаза, он сказал ей:

— Скиньте эту коричневую куртку, она вам вовсе не к лицу.

И вот он уже очутился за ее стулом, спокойно поднял ей руки и снял с нее коричневую куртку «гитлерюгенда». Потом бросил куртку на пол, отшвырнул ногой в угол кафе и сел рядом с Неллой.

— Я понимаю, что должен объяснить свой поступок,— она все еще не видела его, потому что другая серая тень легла на ее руку, окрашенную в желтый цвет грудью стеклянного петуха.— Никогда больше не напяливайте на себя эту штуку. Она вам не к лицу.

Позднее она танцевала с тем, который пришел первым, они танцевали возле стойки, где оказалось свободное место, и теперь она хорошенько разглядела его: на улыбающемся лице — удивительно не улыбочивые синие глаза, смотревшие поверх ее плеча куда-то вдаль. Он танцевал с ней так, будто ее и не было рядом, и руки его легко касались ее талии, легкие руки, которые она потом, когда они спали вместе, часто клала себе на лицо. Светлыми ночами волосы его казались не черными, а пепельными, как свет, проникавший с улицы, и она тревожно прислушивалась к его дыханию — дыхание это нельзя было услышать, только почувствовать, если поднести руку к его губам.

Балласт был выброшен из жизни в ту минуту, когда темно-серая тень упала на ее окрашенную в желтый цвет руку. Коричневая куртка так и осталась лежать в углу бара.

Желтое пятно на руке — как двадцать лет тому назад.

Ей нравились его стихи, потому что он их написал; но куда важнее любых стихов был он сам, равнодушно читавший их. Все ему давалось легко, все казалось само собой разумеющимся. Даже от призыва в армию, которого он боялся, им удалось получить отсрочку, но осталась память о двух днях, когда его избивали в каземате.

Мрачный сырой форт, построенный в 1876 году, теперь там разводит шампиньоны предприимчивый маленький француз: кровавые пятна на потемневшем сыром цементном полу, пиво, блевотина пьяных штурмовиков, приглушенное пение, словно из могилы; блевотина на стенах, на полу, где теперь на слое навоза растут белесые, болезненного вида грибы, а на крыше каземата теперь чудесный зеленый газон, розы, играют дети, матери сидят с вязаньем, и то и дело слышатся их крики: «Осторожней!» и «Что ты мечешься как угорелый»; старички-пенсионеры досадливо разминают табак в трубке — всего на два метра выше той темной ямы, где Рай и Альберт два дня ожидали смерти. Сияющие папаши играют в лошадки, дедушки одаривают детей конфетками, фонтан, окрики: «Не подходи близко к краю!», и старый сторож, который по утрам обходит парк и устраняет следы ночных походов пригородной молодежи: бумажные платки со следами губной помады, и на земле нацарапанные при лунном свете обломками веток синонимы слова «любовь». Старички, поднимающиеся чуть свет, приходят летом очень рано, чтобы увидеть добычу сторожа, прежде чем она исчезнет в мусорном ведре: хихиканье по поводу пестрых бумажных платков и стертой ядовито-красной губной помады. *Все мы были молоды.*

А среди всего этого — яма, где теперь растут шампиньоны — множество белесых пятен над коричневым навозом и желтой соломой; здесь когда-то убили Авессалома Биллига — первую жертву среди евреев города. Это был темноволосый смешливый паренек с руками легкими, как руки Рая; и рисовать он умел неподра-

жаемо. Он рисовал сторожевые вышки и штурмовиков — *немцев до мозга костей*, и те штурмовики — *немцы до мозга костей* — растоптали его ногами там, внизу, в пещере.

Новая пластинка, дань маленького брюнета-бармена ее северной красоте. Она чуть передвинула лежащую на столе руку так, чтобы на нее падал красный свет от оперения на шее петуха; прошло два года после их первой встречи, ее рука лежала точно так же, и Рай рассказывал о том, что убили Авессалома Биллига. Худенькая маленькая еврейка, мать Авессалома, звонила из квартиры Альберта в Лиссабон, в Мехико-Сити, вызывала все пароходные линии, не спуская с рук маленького Вильгельма Биллига, названного так в честь кайзера Вильгельма. И странно: где-то далеко в Аргентине кто-то держал трубку и разговаривал с фрау Биллиг — визы, векселя.

Бандеролью отправили два номера «Фёлькишер Беобахтер», а в них — двадцать тысяч марок ушли в Аргентину. Рай и Альберт стали художниками в отделе рекламы на папиной фабрике.

Теперь там растут шампиньоны, играют дети, слышны окрики матерей: «И что ты носишься как угорелый!», «Осторожней!», «Не подходи близко!», там бьет фонтан и цветут розы, красные, как ее рука, лежащая в свете петушиной шеи, шеи петуха, который является гербом фирмы Генель. Фильм продолжается, рука Рая становится тяжелее, слышней его дыхание, он уже не улыбается, а от фрау Биллиг пришла открытка: «Большое вам спасибо за приветы с моей дорогой родины». И опять отправили бандероль — два номера «Штюрмера», а в них — десять тысяч марок. Альберт уехал в Лондон, а из Лондона вскоре пришло известие, что он женился на взбалмошной и очень красивой девушке, своенравной и набожной, а Рай остался работать художником и статистиком на папиной фабрике. Как бы разрекламировать наш новый сорт? *Всем доступно земляничное желе Гольштеге — вкусно, недорого.*

Чернильно-синие перья на петушином животе, фильм продолжается серый, спокойный, утомительно медленный. Внезапно в Лондоне умирает взбалмошная и красивая девушка, и несколько месяцев от Альберта нет вестей, а она пишет письмо за письмом, теперь он иногда упрекает ее за это. «Вернись, Рай перестал улыбаться с тех пор, как ты уехал...»

Экран темнеет, рассеянный свет, напряжение растет. Приехал Альберт, пришла война. Запах солдатских кухонь, переполненные гостиницы, в церквях горячие молитвы за отечество. Нигде не найти ночлега, восемь часов отпуска проходят быстро, раньше, чем разомкнулись объятия, — объятия на плюшевых диванах, на буровато-коричневых кушетках, в несвежих постелях дешевых номеров, которые теперь вздорожали; простыни в сапожной ваксе.

Дребезжание звонка, скудный завтрак на рассвете, а тощая хозяйка снова вывешивает в окне плакатик: «Сдается комната». Плакатик, приклеенный к оконному стеклу, циничная мудрость сводни, которая, ухмыляясь, отвечает Раю, когда тот возмущается высокой ценой: «Сейчас война, кроватей не хватает, вот они и вздорожали». Женщины робко входят в такие комнаты, впервые они выполняют супружеский долг не на супружеском ложе, они чувствуют себя полупроститутками — стыдятся и все же наслаждаются; здесь, в этих комнатах, были зачаты первоклассники 1946 года, худенькие, рахитичные дети войны, которые будут спрашивать у учителя: «Разве небо — это черный рынок, где все есть?» Дребезжание звонка, железные кровати, продавленные тюфяки из морской травы, которые станут предметом мечтаний на протяжении двух тысяч военных ночей, до тех пор, пока не будут зачаты первоклассники 1951 года.

Война — благодарная тема для драматурга, потому что за нею шагает такое великое явление, как смерть, на ней сосредоточивается все действие, она создает напряжение, подобное туго натянутому барабану, — достаточно легчайшего прикосновения пальца, чтобы он зазвучал.

Ну-ка, Луиджи, еще стаканчик лимонаду, только совсем, совсем холодного, и побольше в него добавь горечи из маленькой зеленой бутылочки; пусть будет холодно и горько, как расставание на трамвайной остановке или у ворот казармы. Горько, как пыль из тюфяков в дешевых номерах, как тончайшая пыль, как всякая дрянь, которая сыплется из щелей в стене, хрустит на рельсах под колесами трамваев десятого, девятого, пятого маршрута, ползущих к казармам, где самый воздух полон безнадежности. Холодно, как в комнате, откуда я выносила чемодан, когда там уже начала устраиваться следующая: белокурая, добродуш-

ная и добродетельная жена фельдфебеля запаса — вестфальский диалект, распакованная колбаса и испуганное лицо — она решила, что в таких пестрых пижамах ходят только проститутки, хотя я точно такая же законная супруга, как и она. Нас венчал мечтательный францисканец в солнечный весенний день, потому что Рай не хотел близости со мной, пока нас не обвенчают. Не беспокойся, дорогая фельдфебельша. Желтое масло в пергаментной бумаге, покрасневшее от стыда лицо — вот-вот заплачет. Яйцо катится по замызганному столу. Эх, фельдфебель, фельдфебель, так прекрасно певший басом по воскресным дням в церковном хоре, что ты сделал со своей женой? Жестящик с собственным хозяйством, со свиньями, коровой и курами, выводивший *dies irae* на всех погребениях, тебе и десять лет спустя Верден служил отличной темой для рассказов за кружкой пива; ты, добропорядочный папаша четырех школьников, великолепный бас, как орган, звучавший в церковном хоре, фельдфебель, фельдфебель, что ты сделал со своей женой? Всю ночь она будет глотать горькую пыль тюфяка и вернется домой, чувствуя себя проституткой, и понесет во чреве своем первоклассника 1946 года, сироту с первого дня жизни, — ведь тебя, веселый певец, так здорово рассказывавший о боях под Верденом, ударит в грудь осколок, и ты останешься лежать в песках Сахары, потому что ты не только приятно поешь, ты годен и для несения службы в тропическом климате. Заплаканная красная физиономия, яйцо катится по столу и падает на пол; скользкий белок и желток, темнеющий внутри, разбитая скорлупа; а комната такая грязная и холодная, и чемодан мой почти пуст — в нем нет ничего, кроме чересчур пестрой пижамы и кой-каких туалетных принадлежностей, — слишком мало, чтобы убедить эту добропорядочную женщину, что я все-таки не проститутка. А тут еще книга, на которой отчетливо начертано: *роман*, и ей кажется, что мое обручальное кольцо — только неумелая попытка обмануть ее. Твой первоклассник 1946 года рожден от фельдфебеля, мой, 1947 года, — от поэта, но большой разницы в этом нет.

Спасибо, Луиджи, поставь еще раз ту пластинку, — ты знаешь какую? Да, Луиджи знает. Первобытная простота — в нужную минуту она умолкает, мелодия со стоном падает в пропасть, рассыпается, а потом

возникает снова. Холоден лимонад, как холодны были комнаты на одну ночь, холоден и горек, как пыль; по руке моей скользит синий луч от петушиного хвоста.

Фильм разворачивается дальше при тусклом свете, который так подходит к обстановке. «Это создает атмосферу». Снова горький запах на учебном плацу, множество солдат уже награждено орденами, деньги текут, как вода, и найти комнату становится все труднее; десять тысяч солдат, к пяти тысячам из них приехали родные, а во всей деревне двести комнат, включая кухни, где на деревянных лавках матери понесут первоклассников 1947 года, понесут от награжденных орденами отцов всюду, где только можно, — в траве, на земле, усыпанной хвоей, всюду — невзирая на холод, потому что на дворе январь и квартир гораздо меньше, чем солдат. Две тысячи матерей и три тысячи жен приехали сюда, значит, три тысячи раз должно где-нибудь свершиться неизбежное, потому что «природа требует своего», а учителя не желают в 1947 году стоять перед пустыми партами. Растерянность и отчаяние в глазах женщин и солдат, пока наконец гарнизонному начальству не приходит в голову спасительная мысль: шесть барakov пустует, в них двести сорок кроватей, и весь седьмой корпус пустует — там расположена рота полковой артиллерии, но она сейчас как раз на стрельбах, а еще есть подвалы, есть конюшни с «превосходной чистой соломой, за которую само собой придется заплатить»; конфискуются все амбары и сеновалы, реквизируются все автобусы, курсирующие в соседние городишки километров за двадцать. Попираются все законы и установления, ибо дивизия готова к отправке в неизвестность, а неизбежное должно свершиться еще хоть раз, иначе казармы в 1961 году будут пустовать; вот так зачинали первоклассников 1947 года — худеньких, низкорослых мальчишек, первым гражданским деянием которых будет кража угля. Эти малыши отлично были приспособлены для воровства — щупленькие, увертливые, они мерзли и знали цену вещам; не раздумывая, вскакивали они на платформу и сбрасывали, сколько могли. О вы, малолетние воришки, вы еще станете молодцами, вы уже и так молодцы, дети, которые были зачаты на диванах и на деревянных лавках, на казарменных нарах или в помещении под номером 56, где была расквартирована рота полковой

артиллерии; дети, зачатые в конюшне на свежей соломке, на холодной земле в лесу, в сенах, в задних комнатах пивных, где отзывчивый хозяин на много часов превратил свое жилье в место свиданий для семейных: чего стесняться, все мы люди! Сигарет, Луиджи, и еще лимонаду, еще холодней, если можно, еще больше горечи из зеленой бутылочки.

Мой первоклассник 1947 года тоже был зачат в том студеном январе, но не в задней комнате пивной и даже не в дешевых номерах. Нам повезло, мы отыскали прелестный домик, где проводил воскресные дни некий промышленник, у которого на сей раз не нашлось времени навестить своих приятельниц: он предоставил им умирать от скуки, пока сам торговал пушками. Небольшой домик среди густых елей на зеленой лужайке, две отзывчивые девицы — они легли в одной комнате и предложили другую нам. Медово-желтые дорожки, медовые обои, медовая мебель, на стене Курбе («Подлинник?» — «А как вы думаете?»), медовый телефон и завтрак вместе с двумя очаровательными девушками, которые умели прекрасно сервировать стол. Поджаренные ломтики хлеба, яйца, чай и фруктовый сок и все — включая салфетки — настолько медового цвета, что казалось, даже пахнет медом.

И вдруг свет замигал — хлоп, лента оборвалась, темно-серый экран, посередине — светло-желтое пятно, еще мягко жужжит аппарат в будке у механика, но тут дали полный свет, в зрительном зале раздаются свистки, но это ни к чему; картина окончилась после первой части, хотя фильм был отснят целиком.

Она огляделась вокруг, вздохнула и закурила, как всегда, выходя из кино. Лимонад, принесенный Луиджи, стал теплым, алкогольная горечь улетучилась, и он стал безвкусным, как сильно разбавленный вермут. Значит, вот каким фильмом заменили прежний. Пестрый петух наверху — ее рука теперь в зеленом луче от петушиной спины, — петух совсем такой же, как был, только краски чуть ярче, и другой человек за стойкой, но мороженого по-прежнему сто сорок четыре сорта, а героем фильма стал тот, кто был зачат в медовом домике. И разве она сейчас не познакомилась с человеком, из-за которого оборвалась лента фильма?

Не слишком ли ты молод, чтобы имя твое вошло в молитвы моей матери об отмщении? Она отставила

стакан, поднялась, прошла мимо Луиджи, и только у дверей сообразила, что она должна еще расплатиться с Луиджи и улыбнуться ему. Он принял и то и другое с печальной благодарностью, и она вышла из кафе. Случалось, что ее внезапно охватывала страстная тоска по сыну, хотя иногда она на целые дни забывала о нем. Хорошо бы сейчас услышать его голос, прижаться к нему щекой, просто знать, что он здесь, коснуться его легкой руки, уловить его легкое дыхание и лишний раз убедиться, что он живет на свете.

Такси быстро везло ее по темным улицам. Украдкой она рассматривала лицо шофера — спокойное, серьезное лицо, затененное козырьком фуражки.

— У вас есть жена? — вдруг спросила она.

Шофер кивнул, обернулся к ней на минуту, и она увидела удивленную улыбку на серьезном лице.

— А дети? — спросила она.

— Есть, — ответил шофер, и она позавидовала ему.

И вдруг заплакала. Освещенная панорама за ветровым стеклом расплылась перед ее глазами.

— Господи, — сказал шофер, — что с вами?

— Я вспомнила о муже, — ответила она, — он погиб десять лет тому назад.

Шофер растерянно взглянул на нее, потом быстро отвернулся и снова стал смотреть на дорогу, но правую руку он снял с баранки и слегка погладил ее по плечу. Он ничего не сказал, и она была рада этому и заговорила сама.

— Сейчас нам нужно свернуть направо, а потом прямо, по Ходлерштрассе до конца.

Туманной была панорама за стеклом, а счетчик тикал, и с легким стуком выскакивали новые цифры, пфенниг за пфеннигом накапливал неугомонный аппарат. Она вытерла слезы и увидела в свете фар, что они уже подъезжают к церкви. Промелькнула мысль, что ее поклонники становятся все меньше и меньше похожими на Рая. Тупые животные с правильными лицами, они способны с полной серьезностью произносить такие слова, как «экономика», и даже без тени иронии такие, как «народ, восстановление, перспективы». Обхватывающие горлышко бутылки мужские руки — с большим будущим и без оногo, — жесткие и бездарные руки, и сами поклонники, напичканные всяким вздором и лишённые чувства юмора, — рядом

с ними любой мелкий мошенник, куда он не попал в тюрьму, покажется поэтом.

Шофер слегка коснулся ее плеча, и с последним ударом счетчик выбросил последнюю единичку. Она дала шоферу деньги, много денег, он улыбнулся ей, выскочил из машины, чтобы распахнуть перед ней дверцу, но она уже выпрыгнула сама и удивилась, что в доме темно: даже у Глума не светилось окно, и не падал в сад, как всегда, желтый сноп света из окна матери. Записку в дверях она смогла прочесть только тогда, когда открыла дверь и зажгла свет в передней. «Мы все пошли в кино». «Все» было четыре раза подчеркнуто.

Она погасила свет и так и осталась сидеть в передней под портретом Рая. Портрет был написан двадцать лет тому назад и изображал смеющегося паренька, который набрасывал стихотворение на пачке с лапшой; Авессалом Биллиг отчетливо вывел на пачке: «Домашняя лапша Бамбергера». Рай смеялся на этом портрете, он был здесь такой же легкий, как в жизни, а стихотворение с пачки до сих пор сохранилось в архивах патера Виллиброрда. Выцвела лазурь, поблекли яично-желтые латинские буквы, задохнулся в душегубке Бамбергер, он не успел бежать из Германии, а Рай улыбался, как двадцать лет назад. В полумраке он выглядел совсем как живой, и она узнала суровую, почти педантическую складку у его губ, это был педантизм, заставлявший его иногда по три раза на дню повторять: «Порядок». Порядок он имел в виду и тогда, когда не хотел близости с ней, прежде чем их обвенчают. Вырвано согласие на брак у отца, пробормотали слова венчального обряда над сплетенными руками в полумраке францисканской церкви с аляповатой позолотой, а позади два свидетеля, Альберт и Авессалом.

Зазвонил телефон и вернул ее на почву, на которую она меньше всего любила вступать, вернул к так называемой действительности. Он прозвонил второй, третий, четвертый раз, пока наконец она медленно поднялась и прошла в комнату Альберта. Она услышала голос Гезелера, робко спросивший:

— Кто у телефона?

Она назвала себя, и тогда он сказал:

— Я только хотел узнать, как вы себя чувствуете, мне очень жаль, что вам нездоровится.

— Лучше,— ответила она.— Мне лучше. Я приеду на доклад.

— Как хорошо! — сказал он. — Поедемте в моей машине. Прошу вас.

— Ладно, — сказала она.

— Можно мне заехать за вами?

— Нет, нет, лучше встретимся где-нибудь в городе, вот только где?

— В пятницу. В двенадцать, — сказал он, — на площади перед Кредитным банком, там, где главная касса. Вы обязательно придете?

— Да, — сказала она и подумала: «Я убью тебя, искрошу, изрежу тебя на куски своим оружием, а это страшное оружие — моя улыбка, которая мне ничего не стоит, простое движение мускулов, механизм, который легко привести в движение. У меня больше боеприпасов, чем было у твоих пулеметов, а стоят они мне так же мало, как тебе стоили твои».

— Да, я приду, — сказала она и, повесив трубку, вернулась в переднюю.

4

Дантист открыл дверь в гостиную и сказал:

— Присядьте, пожалуйста, фрау Брилах.

Мальчик, примерно одних лет с ее сыном, сидел за роялем и что-то уныло брэнчал.

— Выйди на минутку, — сказал врач.

Мальчик немедленно исчез, оставив на желтоватых клавишах раскрытую нотную тетрадь. Она устало взглянула на заголовок и прочла: «Этюды. Опус 54». Врач, вздохнув, сел за черный письменный стол мореного дуба, порылся длинными пальцами в картотеке, вытащил ее карточку, перелистал какие-то белые бу-мажки, подколотые к ней, и сказал:

— Не пугайтесь, пожалуйста, я здесь прикинул цену.

Он со вздохом взглянул на нее, а она смотрела на картину, висевшую за его спиной на стене: «Ункель в солнечный день». Много пронзительно желтой краски извел художник, чтобы придать Рейну, виноградникам и живописному городку солнечный вид, но напрасно: Ункель выглядел совсем не солнечно.

Врач достал из ящика стола пачку табаку, разорвал серебряную обертку и, все еще вздыхая, начал медленно сворачивать толстую сигарету. Он придви-

нул табак и бумагу к ней, но она покачала головой и тихо сказала:

— Спасибо, не хочу.

Она охотно закурила бы, но у нее болел весь рот: врач чем-то едким намазал ей десны и выстукал никелированным молоточком зубы, а потом, качая головой, начал резко и энергично массировать десны своими тонкими пальцами и все не переставал покачивать головой. Он разложил бумажки перед собой, затянулся и вдруг сказал:

— Не пугайтесь, пожалуйста, но это будет вам стоить тысячу двести марок.

Она перевела взгляд на «Ункель в солнечный день», она слишком устала, чтобы испугаться: она рассчитывала на пятьсот, ну, шестьсот марок, но скажи он теперь две тысячи — это показалось бы ей ничуть не хуже, чем тысяча двести. Пятьдесят марок это большие, очень большие деньги, но все, что свыше полутора, было для нее одинаково недосыгаемо, — все равно сколько — две сотни, две тысячи или даже больше. Врач глубоко втянул дым: у него был крепкий, свежий табак.

— Я мог бы сделать это и за восемьсот, даже за семьсот, но тогда я не могу дать гарантии. А так я вам ручаюсь, что зубы будут выглядеть как настоящие. Вы, конечно, видели зубы из дешевой пластмассы, они ведь синеватые.

Да, она их видела и находила безобразными, такие были у Люды — хозяйки кондитерского магазина, и когда та улыбалась, ее зубы отливали синевой, сразу видно было, что они искусственные.

— Попробуйте обратиться в ведомство социального обеспечения и, пожалуй, в благотворительную организацию. Может быть, вам повезет, и они вам чем-нибудь помогут. Я приготовил для вас две сметы — одну из них на восемьсот марок, потому что если показать им ту, что дороже, можно вообще ничего не получить. Если вам очень повезет, вы получите в общей сложности марок пятьсот: зубы сейчас выпадают у очень многих. Сколько вы могли бы вносить ежемесячно?

Она до сих пор еще выплачивает за конфирмацию Генриха — восемь марок в неделю. Лео уже и так ругается. А кроме того, ей на некоторое время придется бросить работу — не станет же она выходить

из дому без зубов, она закроется у себя, обмотает лицо платком и только потихоньку, вечерами будет с укутанной головой ходить к врачу. Женщина без зубов — это просто ужас. Ни один посторонний не будет заходить к ней в комнату, даже Генриху она не покажется. А про Лео и говорить нечего. Вырвать тринадцать зубов! Люда в тот раз вырвала всего шесть и то выглядела, как древняя старуха.

— А кроме того,— продолжал врач,— я хотел бы получить минимум триста марок задатка, а второй взнос принесете, как только получите деньги от ведомства социального обеспечения и в благотворительной кассе. Вот почти половина и выплачена. Вы прикинули, сколько сможете платить ежемесячно?

— Да марок двадцать,— устало сказала она.

— Господи боже мой, так вы и за год все не выплатите!

— Ничего у нас не выйдет,— сказала она,— мне и задаток не потянуть.

— Но вы должны сделать себе зубы,— сказал он,— должны, и как можно скорей. Женщина вы молодая, интересная, и если будете откладывать, это выйдет дороже и хуже.

Вряд ли он был намного старше ее, и выглядел он, как мужчина, который в ранней молодости был красивым: темные глаза и светлые волосы, но лицо у него было усталое, обрюзгшее, и волосы уже поредели. Он лениво вертел в руках счет.

— Я не могу,— тихо сказал он,— я никак не могу иначе. Я должен заранее оплатить материал, рассчитаться с техником. Я не могу. Я с радостью сделал бы вам это немедленно, я ведь знаю, как это для вас ужасно.

Она верила ему: он сделал ей несколько уколов в десны и брал для уколов пробные ампулы и ничего за все это не посчитал, и рука у него была легкая, спокойная и уверенная. Страшным показался только укол в болезненно податливые десны, а жидкость из ампулы собралась твердым комком и рассасывалась очень медленно, но уже полчаса спустя боль утихла, и она почувствовала себя бодрой, молодой и здоровой.

— Еще бы,— ответил он, когда она рассказала ему о своем состоянии,— ведь это гормоны и прочие вещества, которых не хватает вашему организму,— пре-

восходное средство, совершенно безвредное, но очень дорогое, если приходится его покупать.

Она встала, застегнула пальто и заговорила тихо, боясь расплакаться. Рот все еще болел, а безнадежно высокая цена была окончательна, как смертный приговор; через два месяца, самое большее, у нее выпадет тринадцать зубов, а это значит, что жизнь окончена. Больше всего на свете Лео ненавидит плохие зубы; у него у самого ослепительно белые, совершенно здоровые зубы, с которыми он много возится. Застегивая пальто, она повторяла про себя название своей болезни; оно звучало так же страшно, как смертельный диагноз: *парадентоз*.

— Я вам сообщу,— сказала она.

— Возьмите с собой смету. Вот настоящая, а вот другая, в трех экземплярах. Вам придется приложить по одному экземпляру к каждому заявлению, а третий вы оставите себе, чтобы знать цену.

Врач свернул еще одну сигарету. Пришла сестра, и он сказал ей:

— Позовите Бернгарда, пусть играет.

Она сунула сметы в карман пальто.

— Не унывайте,— сказал врач и горько улыбнулся. Улыбка была тусклая, как солнце над Ункелем.

Лео сейчас дома, а ей не хотелось видеть его. У Лео такие ослепительно здоровые зубы, и уже несколько месяцев он ворчит, что у нее зубы плохие, что у нее запах изо рта, и она ничего не может поделать. Его жесткие, чисто вымытые руки изо дня в день касаются ее тела, глаза у него такие же жесткие, неумолимые, как и руки. Он просто расхохочется, если она попросит у него денег. Он лишь изредка дарит ей что-нибудь, да и то когда бывает при деньгах и сильно расчувствуется.

В подъезде было темно, тихо и пусто, она остановилась на площадке лестницы и попыталась представить себе зубы кондитера: у него определенно плохие зубы; она, правда, не очень к ним присматривалась, но запомнился их безжизненно серый цвет.

Сквозь тусклое оконное стекло она выглянула во двор; там разносчик укладывал в тележку апельсины: он вынимал их из ящика и клал большие направо, маленькие — налево, потом разложил маленькие по дну тележки, на них положил те, что побольше, а самыми крупными завершил пирамидку. Маленький

толстый мальчуган сложил ящики возле помойной ямы. Там в тени под стеной догнивала куча лимонов — желтизна, подернутая зеленью, и на зелени белые пятна в синеватой тени, от которой красные щеки мальчика казались фиолетовыми. Боль во рту утихла, ей захотелось выкурить сигарету, выпить чашку кофе, и она достала кошелек. Изношенная серая замша залоснилась до черноты; это был еще подарок мужа, чьи кости уже давно истлели где-то между Запорожьем и Днепропетровском. Тринадцать лет тому назад подарил он ей этот парижский кошелек, — подарил смеющийся фельдфебель с цветной фотографии, смеющийся слесарь, смеющийся жених, — не много осталось от него — истрепанный кошелек, память о его первом причастии, и пожелтевшая истрепанная брошюрка «Что должен знать автослесарь при сдаче экзамена на подмастерье». Еще он оставил сына, вдову и когда-то серый, а теперь до черноты залоснившийся замшевый кошелек — подарок из Парижа, с которым она никогда не расставалась.

Странное письмо пришло тогда от ротного командира: «...был направлен со своим танком на поддержку крупной разведывательной операции и не вернулся с задания. Однако нам совершенно точно известно, что Ваш супруг, бывший одним из самых опытных и надежных солдат в роте, не попал в плен к русским. Ваш супруг пал смертью храбрых». Ни часов, ни солдатской книжки, ни обручального кольца — и не в плену. Что же с ним? Сгорел и обуглился в своем танке?

Письма, которые она посылала командиру роты, вернулись спустя полгода обратно с надписью: «Погиб за Великую Германию». Другой офицер написал ей: «Мне очень жаль, но я вынужден довести до Вашего сведения, что у нас в части не осталось ни одного человека, который мог бы рассказать Вам о гибели Вашего мужа». Обуглившаяся мумия между Запорожьем и Днепропетровском.

Внизу во дворе толстый мальчишка написал мелком: «Шесть отборных апельсинов всего за одну марку». Отец, краснощекий, как и сын, стер шестерку и написал пять.

Она пересчитала деньги в кошельке: две бумажки по двадцать марок — неприкосновенные, эти деньги мальчику на хозяйство на десять дней; оставалась еще марка и восемьдесят пфеннигов мелочью. Лучше всего

пойти бы в кино: там темно, тепло, не чувствуешь, как тает время, обычно такое беспощадное. Бывает, что часы движутся медленно, словно мельничные жернова, медленно и упорно перемалывают они время. Под вечер ломит все тело, голова как свинцом налита и приступ желания, тягостный ей самой. Страх перед запахом изо рта и расшатанными зубами; волосы теряют блеск и неумолимо портится цвет лица. А в кино хорошо и спокойно — так еще ребенком она чувствовала себя в церкви: благодатная гармония песен и слов, коленопреклонений и вставаний, благодатная после смрадной жестокости родительского дома, где обжора отец издевался над святошей-матерью; мать старалась скрывать под чулками вздувшиеся вены, когда ей было всего тридцать один год, столько, сколько ей сейчас. Все, что не относилось к дому, было благодатью: благодатная монотонность на фабрике макаронных изделий Бамбергера, где она развешивала макароны и укладывала их в пакеты, развешивала и укладывала, развешивала, развешивала, упаковывала. Одурачающее однообразие и чистота; темно-синие картонки, синие, как море на географическом атласе; желтые макароны и огненно-красные этикетки с «бамбергеровской серией картин» — пестрые открытки, на которых изображены сцены из «старинных немецких преданий»: Зигфрид с волосами, как свежее масло, щеками, как персиковое мороженое, и Кримхильда, у которой цвет лица напоминает розоватую зубную пасту, волосы, как маргарин, и вишнево-алый рот. Желтые макароны, темно-синие картонки, огненно-красные этикетки с «бамбергеровской серией картин». Всюду чистота, веселый смех в столовой на фабрике Бамбергера, а по вечерам розовые лампочки в кафе.

Или танцы с Генрихом, который каждые две недели получал увольнительную на воскресенье, смеющийся ефрейтор танковых войск, вскоре кончался срок его службы.

Одной марки и восьмидесяти пфеннигов хватит на кино, но уже поздно. Утренний, одиннадцатичасовой, сеанс давно начался, а к часу ей надо быть в пекарне. Мальчик внизу, во дворе, распахнул зеленые ворота, и отец покати́л тележку. Сквозь открытые ворота видна улица: автомобильные шины и ноги велосипедистов. Она медленно спустилась вниз по лестнице, пытаясь сообразить, на какие затраты пойдет кондитер ради

удовлетворения своей меланхолической страсти: он худощав, но лицо у него большое, одутловатое и печальные глаза. Наедине с ней он, запинаясь, восхваляет радости любви, глухим голосом поет он песни о красоте плотской любви. Он ненавидит свою жену, жена ненавидит его, ненавидит всех мужчин, а он, кондитер, любит женщин, славит их тело, их сердце, их губы, иногда его меланхолия доходит до неистовства, а она слушает все это и взвешивает маргарин, растворяет шоколад, взбивает крем из приготовленной им смеси и выкладывает ложечкой помадку и пралине. Она выводила на тортах шоколадные узоры, которые он находил восхитительными, и приделывала марципановым хрушкам шоколадные пяточки, а он, запинаясь, не переставал расхваливать ее лицо, ее руки, ее нежное тело.

В пекарне все казалось серым и белым, здесь смешивались чернота противней, чернота угля и белизна муки: сотни оттенков серого, и лишь изредка — желтое или красное пятно; красный цвет вишен, ядовито-желтый — лимонов и нежный — ананасов. Почти все казалось белым и серым, бесчисленные тона серого, к ним относилось и лицо пекаря: детский, бесцветный, круглый рот, серые глаза, серые зубы и бледно-розовый язык, который виднелся, когда он говорил, а говорил он, оставшись с ней наедине, без умолку.

Кондитер мечтал найти порядочную женщину, не проститутку. С тех пор как жена возненавидела его, а вместе с ним всех остальных мужчин, на его долю остались лишь те радости, какие можно найти в публичных домах, а эти радости казались ему недостаточно возвышенными, и, кроме того, тщетным оставалось еще одно его желание — иметь детей.

Когда она оттолкнула его, назвав любовь гадкими словами из лексикона Лео, он просто испугался, и тут она поняла, насколько у него нежная душа.

Слова эти вырвались у нее наполовину против ее воли, наполовину умышленно, из духа противоречия, который вызывала у нее его кротость: это были слова Лео, ей нашептывали и кричали их изо дня в день вот уже многие годы, они тяготели над ней, как проклятие. Эти слова жили в ней, и вот вырвались на свободу, она швырнула их в печальное лицо кондитера и произвела великое смятение в его душе.

— Нет, нет,— сказал кондитер,— не говори так.

Лео скажет: «Что это у тебя с пастью?» — и ей не хотелось идти домой, чтобы не слышать его издевок и не видеть его ослепительно белых зубов.

Она вернется домой, когда Лео уйдет на работу. Из осторожности она отнесла малышку к фрау Борусьяк: нельзя оставлять Лео наедине с его дочерью. Фрау Борусьяк — хорошенькая женщина, года на четыре старше ее, с великолепными белоснежными зубами — женщина, в которой соединились два качества: благочестие и приветливость. Она зашла в кафе против дома зубного врача, села к окну и достала из кармана пачку «Томагавк» — очень длинные, очень белые и очень крепкие сигареты. «Солнце Виргинии взрастило этот табак». Листать иллюстрированные журналы не хотелось; помешивая ложечкой кофе, она вдруг подумала, что следует попросить у кондитера аванс, вдруг он подбросит ей марок сто: она твердо решила никогда больше не повторять слова Лео, чтобы не обижать кондитера. Может быть, она пожалеет его: неуклюжие, исступленные ласки, на которые ей придется отвечать, — это и будет ее платой, — прямо среди противней для пирожных и облитых шоколадом свинок будет он нашептывать ей свои гимны; среди холмиков кокосовой муки, среди обсыпанных сахарной пудрой ромовых баб он улыбнется ей, вне себя от счастья, и она будет принимать восторженные, слюнявые поцелуи человека, который ненавидит продажную любовь, а наслаждаться супружеской не может с тех пор, как его жена возненавидела мужчин; жена — худая, коротко стриженная красавица с горящим, суровым взглядом, пальцы вечно на рукоятке кассового аппарата, как у капитана на штурвале; у нее твердая, маленькая рука со «скромным» украшением — холодные, зеленые камни, почти прозрачные и очень дорогие, ее руки похожи на руки Лео. Стройная богиня с мальчишеской фигурой, всего десять лет назад — стройная и властная — она маршировала во главе отряда девчонок в коричневых куртках и гордо пела высоким, красивым голосом: «На берете реют перья» и «Смелый барабанщик». Ее отец хозяин «Красной шляпы», а мой отец по пятницам пропивал там половину своей полочки. Теперь она похожа на амазонку: ноги у нее как у шестнадцатилетней, а по лицу ей дашь все сорок, и она старается изо всех сил казаться не старше тридцати четырех, непреклонная и любезная нарушительница супружеских

обязанностей, это она довела серого и печального человека в подвале до гимнов отчаяния.

Вильма поднесла чашку ко рту и, взглянув в окно, увидела на противоположной стороне улицы зубного врача у светло-желтой исцарапанной бормашины; он орудовал бором, и поверх занавески она видела его светлые волосы, и темную тень на стене, и усталый затылок человека, обремененного долгами. Пить кофе было очень приятно, и сигареты оказались превосходными.

Она понимала, что кондитер гораздо лучше Лео: он добрый, работающий, у него и денег больше, но порвать с Лео и оставаться жить рядом с ним — это ужасно прежде всего для детей, и потом, надо будет судиться с Лео из-за алиментов на девочку, которые он теперь выплачивает в Ведомство охраны младенчества, а она получает их оттуда и тайком снова подсовывает ему. «Разве я этого хотел? Ведь нет же, ты должна честно признать». У кондитера одна комната наверху пустует, там раньше жил подручный, но он куда-то сбежал, и теперь кондитер не хочет нанимать другого. «Ты заменишь мне подручного».

Боязно только из-за мальчика, вот уже три недели он относится к ней не так, как прежде: у него совсем другие глаза, когда он смотрит на нее, нет прежнего открытого взгляда. Она знала, что это началось с того дня, когда Лео обвинил его в утайке денег; хорошенький белокурый постреленок ненавидел Лео, и Лео ненавидел его. Лучше всего остаться бы одной с детьми: ей давно уже тягостна близость с Лео, и она втайне завидовала кондитерше, которая могла позволить себе так упорно ненавидеть мужчин. Они с мальчиком как-нибудь перебьются. Она часто пугалась, видя, какой он смысленный: как он точно считает, как он здраво учитывает все расходы, и хозяйство он умеет вести куда лучше, чем она. Трезвая голова, застенчивое лицо и взгляд, который вот уже неделю избегает ее взгляда. А у кондитера пустует комната.

Всего бы лучше вернуться на макаронную фабрику Бамбергера: желтые, такие аккуратные трубочки макарон, темно-синие коробки и огненно-красные открытки — маслено-желтые волосы Зигфрида, маргариновые волосы Кримхильды и глаза Гагена, черные, как монгольская бородка Аттилы, черные, как тушь для ресниц; ухмыляющееся круглое лицо Аттилы, желтое,

как свежая горчица, и наконец, розовокожий Гильзе-гер и человек с лирой в коричнево-красном уборе, Фолькер — такой красивый, красивее, на ее взгляд, чем сам Зигфрид; и языки пламени в горящем замке — красное и желтое смешались, как кровь и масло.

По вечерам — яркий розовый свет в кафе Генеля. Желтоватое банановое мороженое — пятнадцать пфеннигов порция, еще можно пройтись с Генрихом, облаченным в форму танкиста, до «Осы», где царят сверкающие желтые трубы: улыбающийся ефрейтор, улыбающийся унтер-офицер, улыбающийся фельдфебель сторел прямо в танке где-то между Запорожьем и Днепропетровском, мумия — без солдатской книжки, без часов, без обручального кольца, не вернулся с задания и не попал в плен.

Смеяться умел только Герт: стройный, маленький облицовщик, он мог смеяться даже ночью, в самые интимные мгновенья. С войны он привез трофеи — семнадцать пар ручных часов, и все, что он делал, он делал смеясь. Он смеялся, заравнивая гипс при облицовке дома, и когда он обнимал ее, она видела в темноте его смеющееся лицо, склонившееся над ней: иногда его улыбка была печальной, но все равно он улыбался. Потом Герт перекочевал в Мюнхен: «Не могу так долго сидеть на одном месте». Он был лучший друг Генриха, единственный человек, с которым иногда, не стесняясь, можно было поговорить о муже.

Врач на той стороне улицы открыл окно, выглянул на несколько минут и выкурил очередную сигарету — толстую самокрутку. Триста марок задатка — да каждый месяц сколько? Надо будет поговорить об этом с мальчиком — он подсчитает и прикинет. Ведь сумел же он как-то поужаться за счет питания, сэкономил на туфли, чулки и сумочку, и платок. Сто пятьдесят марок он отложил из денег на хозяйство, и ему удалось наскрести их так, что этого почти не почувствовали: он сэкономил на картофеле, на маргарине, на кофе, на исчезнувшем из рациона мясе.

Ей стало легче, когда она подумала о мальчике: уж он-то что-нибудь сообразит. Но тысяча двести марок — это испугает даже его. «Тебе надо было раньше следить за своими зубами, — скажет Лео, — каждый день съесть лимон и чистить как полагается, вот так», — тут он продемонстрирует ей, как надо чистить зубы. «Мое здоровье — это все, что у меня есть, по-

этому я не могу не заботиться о нем». Но макаронной фабрики Бамбергера больше нет и в помине, прошло двенадцать лет: Бамбергера умертвили в душегубке, его превратили в сморщенную, обгорелую мумию, мумию без собственной фабрики, без счета в банке. Темно-синие коробки, ярко-желтые макароны, огненно-красные открытки. Как звали того осанистого и очень симпатичного бородача с красновато-коричневым лицом, похожим на леденец? Дитрих фон Берн. Насчет Вильмы, которая с десяти часов сидит у фрау Борусьяк, беспокоиться нечего.

Об Эрихе она вспоминала редко: слишком уж много прошло времени — целых восемь лет. Среди ночи вдруг приступ — искаженное страхом лицо, пальцы, судорожно сжимающие ее руку, налитые кровью глаза, форма штурмовика в шкафу, робкая ласка и робкий ответ на нее, и в награду за ласку какао, шоколад и страх, когда он вдруг ночью пришел в ее комнату; брюки небрежно натянуты поверх ночной рубашки, босиком, чтобы его мать не услышала, полубезумный взгляд — она поняла, что сейчас произойдет то, чего она не хочет. Только год прошел после смерти Генриха. Она не хотела этого, но ничего не сказала, и Эрих, который, вероятно, ушел бы, скажи она хоть слово, не ушел: он был удивлен ее покорностью, а ее не оставляло гнетущее чувство, что все это неотвратимо. Эрих же воспринял случившееся как любовь, которую — без всяких на то оснований — ждал от нее. Он погасил свет. Свистящее дыхание, в темноте, на фоне блеклой синевы ночного неба она видела его беспомощную и нескладную фигуру, когда он, остановившись перед кроватью, снимал брюки. Еще не поздно было сказать: «Уходи!» — и он ушел бы — ведь это был Эрих, а не Лео. Но она ничего не сказала, ее сковывало чувство, что так все и должно свершиться, почему же тогда не с Эрихом, который к ней хорошо относится?

Эрих был так же добр, как и кондитер, и в ту светлую ночь Эрих сказал ей: «Какая ты красивая!» — а сам с таким трудом дышал.

Никогда никто не говорил ей таких слов, кроме кондитера, который даже не был за это вознагражден.

Она закурила последнюю сигарету. Кофе был выпит, зубной врач затворил окно и снова пустил в ход колесо бормашины: триста марок задатка, изу-

мительные, но очень дорогие уколы, после которых чувствуешь себя такой молодой и бодрой. Гормоны — это слово вызовет на лице Лео омерзительную усмешку.

В кафе было еще пусто: какой-то дедушка поил внучонка сливками и читал газету. Не отрываясь от газеты, он совал ребенку ложку в рот, и ребенок вылизывал ее.

Она расплатилась за кофе, вышла и купила три апельсина на карманные деньги, выданные ей Генрихом, — он отдавал ей половину денег, отложенных на хлеб, который теперь не надо было покупать: хлеб им давал кондитер. Но почему Генрих уже целую неделю не является в пекарню и ей одной приходится таскать тяжелую сумку?

Она пропустила трамвай и пошла пешком: еще нет половины первого, значит, Лео еще не ушел. Пожалуй, лучше рассказать ему, в чем дело. Все равно он узнает, возможно, ему дадут ссуду, но разве мало на свете молодых красивых женщин с ослепительно белыми, здоровыми, ухоженными, бесплатно подаренными природой зубами?

Она прошла мимо дома, в котором когда-то жил Вилли — серьезный красивый паренек, первый, кто поцеловал ее, — небесная лазурь и отдаленная музыка из ресторана в парке, вспыхнувший над городом фейерверк, золотой дождь сыплется с колоколен, неумелый поцелуй Вилли. Позднее он сказал: «Не знаю, грех ли это, — думаю, что нет, поцелуй не грех, грех совсем другое».

Другое случилось позже, с Генрихом — кустарник в росе, ветки лезут в лицо; обвитое зеленью, бледное, убийственно серьезное лицо, а вдали очертания города — башни церквей, запутавшиеся в облаках, и ожидание, робкое, исступленное ожидание всеми воспетого наслаждения, которое так и не пришло: разочарование на влажном лице Генриха среди зеленых ветвей; отброшенный в сторону мундир танкиста с испачканным розоватым кантом.

Генрих сгорел между Запорожьем и Днепропетровском; Вилли — серьезного, неулыбчивого, безгрешного расклещика плакатов, поглотило Черное море между Одессой и Севастополем, его обглоданный скелет погрузился на дно и лежит там среди водорослей и тины; Бамбергера сожгли в газовой печи, и

он стал пеплом, пеплом без золотых зубов, а у Бамбергера были такие крупные сверкающие золотые зубы.

Берна еще жива; ей повезло, она вышла замуж за мясника, который страдал той же болезнью, что и Эрих. Надо бы посоветовать всем женщинам выходить замуж за больных, которых не призовут в армию. Уксус, камфора, чай для астматиков всегда стоят на ночном столике Берны. Всюду полотняные бинты, тяжелое, шумное дыхание мясника, страсть, заглушаемая астмой. Берна умела не толстеть: она стояла за прилавком и с хладнокровной уверенностью нарезала телячье филе. На красных щеках Берны синие прожилки, но крепкие маленькие руки ловко орудуют тонким ножом: нежно-коричневые тона ливерной колбасы, нежно-розовые сочные окорока. Раньше, когда им приходилось туго, Берна изредка совала ей кусок говяжьего жира, величиной с пачку сигарет — крохотный, промасленный сверток — это было в те времена, когда в доме хозяйничал Карл и дорога на черный рынок была им заказана. Но уже давным-давно Берна перестала здороваться с ней, а мать Вилли всегда проходит мимо нее молча, как бы не замечая, а когда приезжает свекровь, она высказывает то, о чем молчат другие: «Как ты себя ведешь! Ведь всему есть предел».

Лео уже ушел. Она облегченно вздохнула, увидев, что на гардеробе нет ни его фуражки, ни его сбруи. Фрау Борусяк появилась на пороге и с улыбкой приложила палец к губам: малышка заснула у них на диване. Спящая, она казалась очень хорошенькой, каштановые волосы отливали золотом, ротик, всегда сложенный в плаксивую гримасу, улыбался. На столе у фрау Борусяк стоял стакан с медом, рядом лежала ложка. Только лоб у малышки был какой-то угловатый — как у Лео. Фрау Борусяк была очень милая и доброжелательная женщина, она лишь очень редко и тихо намекала, что хорошо бы как-то наладить жизнь. «Зря вы упустили хорошего мужа, вам надо было держать его в руках». Фрау Борусяк имела в виду Карла, но ей-то самой Карл нравился меньше всех остальных — его хриплый, напыщенный голос, его нескончаемая болтовня о «новой жизни», его вечная боязнь нарушить внешнюю благопристойность, его

педантизм и набожность — все это, на ее взгляд, не вязалось с жадной цепкостью его рук, со сказанными на ухо нежностями, в которых таилось что-то гадкое, что-то внушавшее страх. Голос лицемера, который сейчас возносит свои мольбы в церкви: в день конфирмации Генриха она слышала этот голос с церковных хоров. Фрау Борусяк осторожно передала ей завернутую в одеяльце девочку, вздохнула и вдруг, набравшись храбрости, сказала:

— Пора вам развязаться с этим молодчиком.

На ее миловидном розовом лице отразилась решимость, оно потемнело, стало почти коричневым.

— Это ведь не любовь,— но больше она ничего не сказала, стала по-прежнему робкой и тихой и шепнула: — Не поймите меня дурно, не обижайтесь, но дети...

Вильма не обиделась, поблагодарила, улыбнулась и отнесла девочку вниз, к себе в комнату.

Улыбающийся фельдфебель, чей портрет висит между дверью и зеркалом, моложе ее на двенадцать лет. Мысль о том, что когда-то она спала с ним, вдруг вызвала странное ощущение вины — словно она совратила ребенка. Таким, как он на этой фотографии, был по годам подручный пекаря, мальчишка-шалопай, с которым, как ей казалось, стыдно связываться. Генрих далеко, он погиб, и увольнительную ему давали очень ненадолго: хватило времени, чтобы зачать ребенка, но не хватило для того, чтобы сохранить воспоминание о нормальной супружеской жизни. Письма, номера поездов с отпускниками, торопливые объятия на краю учебного плаца: степь, песок, защитная окраска барачков, запах смолы и непонятное, необъяснимое, страшное, что «сквозило в воздухе», в воздухе и в лице Генриха, которое склонялось над ней, бледное и серьезное. Странно, в жизни он совсем не так уж часто смеялся, зато на всех снимках — улыбается, и улыбающимся сохранился он в ее памяти. Из большого кафе доносилась танцевальная музыка, вдали маршировала рота солдат — «Мы к Рейну шагаем, шагаем», потом Генрих сказал то же, что всегда говорил и Герт: «Дерьмо все это!»

А вечером — опять объятия в комнате с большой красивой и пестрой картиной на стене: кроткая Богоматерь парит на облаке в небе, с младенцем Иисусом

на руках, Петр, такой, как и подобает быть Петру: бородатый и ласковый, серьезный и смиренный, возле него папская тиара и что-то неуловимое во всей картине, не поддающееся описанию, говорило каждому, что это апостол Петр. Внизу — хорошенькие ангелочки подперли головки ручками, крылышки у них, как у летучих мышей, а ручки такие толстенные и круглые. Потом она купила такую же картину, только поменьше — внизу надпись *Rafael pinx*¹, но картина превратилась в пепел, развеялась по ветру в ту ночь, когда она в бомбоубежище на измазанных ваксой нарах родила сына, зачатого под изображением Богоматери. Она видела эту картину рядом с лицом Генриха — серьезным лицом унтер-офицера, он давно уже забыл о первом разочаровании; далеко позади, над степью протрубили зорю — свобода до утра, и то, что «носилось в воздухе», тенью легло на лицо Генриха, который с ненавистью слушал, как грохотали ночью танки. Обуглился, превратился в мумию где-то между Запорожьем и Днепропетровском: победоносный танк, победоносная душегубка, поглотившая господина Бамбергера, и ни солдатской книжки, ни обручального кольца, ни денег, ни часов, на которых набожная мать велела выгравировать: «В память о конфирмации». Улыбающийся на фото ефрейтор, улыбающийся унтер-офицер, улыбающийся фельдфебель — а в жизни такой серьезный.

Свечи в маленькой часовне, и сухое скорбное лицо свекрови: «Не запятнай памяти моего сына».

Вдова в двадцать один год, которой годом позже Эрих предложил свое сердце, свою астму и какао; робкий, добродушный, маленький наци с большими бронхами — камфора, уксус, разорванные на бинты полотняные рубахи и протяжные глухие стоны по ночам. Ничего не поделаешь, надо взглянуть в зеркало, которое висит рядом с портретом Генриха — зубы еще белые и на вид кажутся прочными, но когда дотронешься до них — злоещее покачивание. Губы еще сочные, не такие узкие и вялые, как у Берны, — она все еще хороша, изящная жена улыбающегося на снимке фельдфебеля, куколка с длинной и гордой шеей, восторжествовавшая над более молодыми кондукторшами; тысячу двести марок за тринадцать зубов —

¹ Писал Рафаэль (лат.).

а десны все сохнут, все больше обнажаются зубы, и этого уже не восстановишь.

Она решила склониться к мольбам кондитера и уступить Лео молоденьким кондукторшам. Лео с его чисто выбритой физиономией, с угловатым лбом, с красными — от щетки — руками, с полированными ногтями и с уверенностью сутенера в глазах. Надо заставить кондитера еще немножко подождать, пусть немного помается — унылое, обрюзгшее лицо. Он, вероятно, отдаст ей комнату, будут, пожалуй, и деньги, и для мальчика место ученика, когда через три года он окончит школу.

Она тщательно протерла лицо лосьоном, непонятно откуда взявшаяся грязь осталась на ватке, слегка напудрилась, подкрасила губы и собрала рассыпавшиеся волосы. До сих пор только двое мужчин обратили внимание на ее красивые руки: Генрих и кондитер. Даже Герт не замечал их красоты, хотя он, как маленький ребенок, иногда часами заставлял ее гладить себя по лицу. А кондитер загорался страстью, стоило ему взглянуть на ее руки, влюбленный без памяти чужак, среди бесчисленных оттенков серого в своей пекарне нашептывающий ей глупость за глупостью.

Она вздрогнула, когда в дверях показался мальчик. У него было совершенно отцовское лицо — лицо смеющегося ефрейтора, смеющегося унтер-офицера, смеющегося фельдфебеля, красивое, серьезное лицо, какое было у отца.

— Ты еще не ушла, мама? — спросил он.

— Сейчас ухожу, — ответила она. — Не беда, если я и опоздаю разок. Ты сегодня зайдешь за мной?

Она внимательно следила за выражением его лица, но ни тени не мелькнуло на нем.

— Да, — сразу ответил он.

— Разогрей себе суп, — сказала она, — а здесь вот апельсины — один для тебя, другой — для Вильмы.

— Ладно, — сказал он, — спасибо, а что сказал врач?

— Потом расскажу, сейчас некогда. Значит, зайдешь?

— Да, — ответил он.

Она поцеловала его, открыла дверь, и он крикнул ей вдогонку:

— Зайду, обязательно зайду.

Мартин остановился, расстегнул воротник и стал вытаскивать из-за пазухи висевший на шнурке ключ от квартиры. Утром ключ был холодный, болтался где-то около пупка и чуть царапал, потом он нагрелся, и когда стал совсем теплым, Мартин перестал его чувствовать. В полумраке он сразу разглядел белую бумажку, приколотую к двери, но не торопился зажигать свет, чтобы узнать, что в ней написано. Он нагнулся и так раскачал ключ, что тот пролетел мимо левого уха, вокруг головы и шлепнулся на правую щеку. Мартин подержал его немножко в таком положении, потом сильным толчком снова послал вперед. Лево́й рукой он нащупал кнопку автоматического выключателя, правой — нашел замочную скважину и, приложив к ней ухо, стал напряженно прислушиваться: он хотел убедиться, что в квартире никого нет. В записке наверняка сказано, что Альберту тоже понадобилось уехать. Когда он думал: «Никого нет», он не считал бабушку, которая вне всякого сомнения сидит дома. Думать: «Дома никого нет», — значит, думать: «Бабушка дома, а *больше* — никого». «*Больше*» было здесь решающим словом, это слово ненавидел учитель, он ненавидел и слова *собственно, вообще и все одно* — слова куда более значительные, чем это кажется взрослым. Он даже слышал бабушку. Что-то бормоча, она расхаживала по своей комнате, и от ее тяжелых шагов дребезжала стеклянная горка. Услышав бабушку, он тотчас же ясно представил ее себе; ее и огромную черную старомодную горку мореного дуба; горка была очень старая, или, другими словами, очень ценная. Все, что было старым, считалось также ценным. *Старые церкви, старые вазы*. Настил под паркетом разохся, и горка, не переставая, дрожала, когда бабушка ходила по комнате, а посуда в горке без умолку легонько звенела. Бабушка ни в коем случае не должна слышать, когда он приходит домой. Не то она позовет его к себе, начнет кормить всякой всячиной — кусками непрожаренного мяса, которое он терпеть не может, будет задавать вопросы из катехизиса и старые, неизменные *вопросы о Гезелере*. Он нажал кнопку выключателя и прочел записку, оставленную дядей Альбертом: «Мне все-таки пришлось уйти». «Все-таки» было три раза подчеркнуто. «Вернись в семь. Подожди меня с

обедом». То, что Альберт трижды подчеркнул «все-таки», лишний раз доказывало значимость этих слов, которые ненавидел учитель и употребление которых запрещал. Он обрадовался, когда свет снова погас, — был риск, что бабушка выскочит на свет, потащит его к себе, начнет экзаменовать и пичкать непрожаренным мясом, сладостями; потом пойдут нежности, игра в катехизис и *вопросы о Гезелере*. А не то она просто выскочит на лестницу и завопит: «У меня снова кровь в мочел!», будет размахивать стеклянным ночным горшком и обливаться горячими слезами. Его мутило от бабушкиной мочи, он побаивался бабушки и потому обрадовался, когда выключатель щелкнул и свет снова погас.

На улице уже зажгли фонари. Желтовато-зеленый свет за спиной Мартина пробивался через толстые стекла парадного, падал на стену и отбрасывал его тень — узкую серую тень на темную дверь. Он все еще не отнял руки от выключателя, нечаянно нажал на кнопку, и тут случилось то, чего он всегда ожидал с таким напряжением: его тень выпрыгнула из мрака, как темный, очень ловкий зверь, черный и страшный; она перепрыгнула через перила, и тень от головы упала на филенку двери, ведущей в подвал; потом он снова раскачал ключ и проследил за движением узкой серой тени от шнура, но тут в автомате тихо тикнуло, свет снова погас; он еще два, даже три раза — ведь это было так красиво! — заставил ловкого черного быстрого зверя — свою тень — выпрыгнуть из зеленоватого света за спиной, так чтобы темное пятно от головы снова падало на прежнее место и снова забегала по полу расплывчатая, серая тень от шнурка, повязанного на шее. Вдруг он услышал наверху шаркающие шаги Больды: она прошмыгнула через переднюю, в ванной зашумела вода, и тут он сообразил, что в это время Больда всегда спускается на кухню и варит себе бульон.

Теперь самое важное войти в дом тихо, чтобы бабушка не услышала. Он вставил ключ в скважину, осторожно повернул его обеими руками, потом толкнул дверь, сделал большой шаг, чтобы переступить скрипучую половицу, и наконец очутился на толстой ржаво-красной дорожке. Не сходя с места, он весь подался вперед и тихо, чтобы не щелкнул замок, закрыл дверь.

Он затаил дыхание и напряженно прислушался к

звукам, доносившимся из комнаты бабушки: она явно ничего не слышала, так как продолжала расхаживать по комнате. Все так же звенела посуда в горке, и бормотание бабушки напоминало разговор заключенного с самим собой. Еще не настал час *крови в моче* — страшная, периодически повторяющаяся сцена, когда бабушка торжественно проносила желтую жидкость через весь коридор, — из комнаты в комнату, без стеснения проливая ее по пути, и так же без всякого стеснения плакала горячими слезами. Мать в таких случаях говорила:

— Ничего страшного здесь нет, мама. Я позвоню Гурвеберу.

И дядя Альберт говорил:

— Ничего страшного здесь нет, бабушка, мы позвоним Гурвеберу.

И Больда говорила:

— Ничего страшного здесь нет, дорогая Бетти, позвони лучше врачу и перестань ломаться.

И Глум утром, когда он возвращался из церкви или с работы и его встречали ночным горшком, тоже говорил:

— Ничего страшного, дорогая бабуся, скоро придет доктор.

И Мартину приходилось говорить:

— Ничего страшного, милая бабушка, мы вызовем врача.

Каждые три месяца целую неделю все играли в эту игру, и со времени последнего представления прошел уже немалый срок — есть риск, что игра может возобновиться именно в этот вечер, в любую минуту.

Он все еще стоял, затаив дыхание, и радовался, что бабушка продолжает бормотать, продолжает ходить, а стеклянная горка продолжает свой концерт.

Он прокрался на кухню, в темноте нашел записку от матери — она всегда оставляла ее на краю стола на голубых разводах скатерти — и повеселел, услышав шаги Больды. Раз Больда дома — нечего опасаться криков бабушки: «Кровь в моче!» Больда и бабушка слишком давно знали друг друга, и в качестве единственной слушательницы Больда не представляла для бабушки никакого интереса.

Больда спустилась, шаркая шлепанцами по лестнице, зажгла в коридоре свет; она, единственная из

всего дома, не боялась бабушки, и когда Больда вошла на кухню, зажгла свет и обнаружила там Мартина, он быстро приложил палец к губам, чтобы предостеречь ее. Больда что-то проклокотала, подошла к нему, потрепала по затылку и как всегда с раскатистым «р» приглушенно заговорила:

— Бедный ребенок, ты, верно, кушать хочешь?

— Да,— тихо ответил он.

— Бульон хочешь?

— Да,— ответил он и залюбовался ее гладко зачесанными, черными как смоль волосами, смотрел на ее белое, как бумага, морщинистое лицо, на вспыхнувшее пламя газа, да так и остался стоять возле Больды, достававшей из жестянки бульонные кубики — три, потом четыре.

— А хлебец с маслом, свеженький-пресвеженький?

— Очень хочу,— сказал он.

Она сняла с него рюкзак, шапку, снова сунула шнурок с ключом под рубашку: холодный ключ скользнул до пупка и там повис, чуть царапая кожу. Он достал из кармана записку матери и прочитал ее: «Мне опять необходимо было уйти». «Необходимо» она подчеркнула четыре раза. Больда взяла записку у него из рук, наморщив лоб, досконально изучила ее и бросила в помойное ведро, стоявшее под раковиной.

По комнате медленно распространялся запах бульона, запах, который дядя Альберт называл «пошлым», мать — «отвратительным», бабушка «простецким», зато нос дяди Глума блаженно морщился от этого запаха, да и самому Мартину он очень нравился по причине, которую до сих пор никто не разгадал: точно такой же запах имел бульон у Брилахов — запах лука, сала, чеснока и еще чего-то не поддающегося определению, что дядя Альберт называл «казарма». Сзади, там, где вдоль плиты протянулась труба, всегда стояла зеленая чашка без ручки, в ней Больда настаивала полынный чай, ею самой придуманный напиток, до тех пор пока он не превращался в густую, почти вязкую массу — теплая горечь,— от нее набегают слюны во рту, в горле першит, а в желудке разливается приятное тепло, и потом, когда ешь, все кушанья отдают этой горечью, хлеб будто замешен на полыни, суп будто приправлен ею, и даже когда уже давно лежишь в постели, благотворная горечь словно из потайных

закоулков рта, из скрытых желез притекает к нёбу и набегают горькая слюна.

«Раз в неделю — глоток полынного чая» — таков был неизменный рецепт Больды, и всякий, кому становилось дурно, у кого болел живот, должен был отведать из зеленой чашки без ручки. Даже бабушка, находившая отвратительным все, что ела и пила Больда, даже бабушка тайком наслаждалась глотком сгущенной горечи. Каждую неделю Больда доставала сухие, серовато-зеленые листья из потертого, коричневого пакетика и заваривала новую чашку. «Лучше коньяка, — приговаривала она, — лучше всяких докторов, лучше, чем дурацкое свинское обжорство, лучше, чем пьянство, чем курение до одури, всего лучше на свете полынный чай и красивый хорал». Она сама нередко пела, хотя голос у нее был чудовищный: ее попытки уловить мелодию и ритм всегда были тщетны, а ей казалось, что поет она превосходно. Слух у нее был такой же немзыкальный, как и голос, поэтому ее невыносимое пение ей самой казалось весьма благозвучным и каждую пропетую строфу она сопровождала торжествующей ухмылкой. Даже Глум, очень редко выходивший из себя, Глум, относившийся с бесконечным терпением ко всем и ко всему, выдерживавший безропотно целую неделю крики о «крови в моче», даже Глум приходил в состояние, ему совершенно несвойственное.

— Ох, Больда, пожалей мои нервы... — умолял он ее.

Но вот бульон у Больды разогрелся, хлебцы намазаны маслом, и, прихватив большую желтую чашку, Мартин тихо, в одних чулках, прошмыгнул вместе с Больдой вверх по лестнице в ее комнату мимо огромного, писанного маслом портрета дедушки: с портрета смотрел печальный худой человек с удивительно красным лицом, его рука с дымящейся сигарой лежала на зеленом столе. А внизу медная дощечка: «Нашему уважаемому шефу в день двадцатипятилетия фабрики от благодарных сотрудников. 1938».

И всегда казалось, что светло-серый, прекрасно нарисованный пепел вот-вот упадет на блестящий полированный стол; иногда он даже во сне видел, что пепел упал, просыпался утром, словно от толчка, и бежал к лестнице посмотреть; но пепел все еще висел на кончике сигары. Он всегда оставался там, светло-се-

рый, удивительно верно нарисованный, и, всегда находя его на месте, Мартин испытывал какое-то облегчение, но одновременно и новую тяжесть в груди: ведь упади наконец этот пепел, и все было бы прекрасно. И цепочка от часов, так выписанная, что ее хотелось схватить рукой, и тонкий серебристо-серый галстук с голубоватой жемчужиной. И всякий раз Больда говорила: «Да, Карл Гольштеге был хороший человек», как бы давая понять, что бабушке далеко до него.

От Больдиной синей юбки всегда пахло щелоком, и всегда она была обрызгана сверху донизу мыльной пеной, потому что основное занятие Больды заключалось в благочестивой уборке церквей. Из благочестия — не за деньги — прибирала она три церкви: приходскую, где два раза в неделю она торжественно шлепала по огромным покрытым мыльной пеной лужам от входа и до скамьи причастия, благоговейно скатывала ковры перед алтарем и, как черный ангел на облаке, проплывала вокруг алтаря в луже поменьше, совсем белой от мыльной пены. Еще она убирала церковь в парке и монастырскую часовню, куда часто ходил и дядя Альберт: темная часовенка, справа за скамьей причастия большая решетка, покрытая черным лаком, за нею синий занавес, отделяющий часовню от церкви, и за этой мрачной двойной оградой всегда-всегда поют монахини, только голоса у них поприятней, те же самые хоралы, что, как представлялось Больде, недурно поет и она сама. Четыре дня в неделю Больда убирает церкви, и четыре дня парит она — тощий черный ангел с белоснежным сморщенным лицом — в покрытых пеной, спустившихся на пол церкви облаках. Когда Мартин иногда заходил к ней, ему чудилось, что ее швабра — это весло, а синяя юбка — парус, с их помощью она хочет закинуть обратно в небеса упавшее на землю облако, но облако прилепилось к полу и ползет от входа до скамьи причастия и потом, еще сильнее побелев от покрывающей его пены, с благоговейной медлительностью проползает вокруг алтаря.

В комнате у Больды очень уютно, хотя все здесь пропахло мыльной пеной, разваренной репой и пошлым бульоном. А от ее кушетки, как говорила мать, несет монастырской ожидальней; в этих словах заключался очень понятный ему намек, намек на прошлое Больды, когда она была монашкой. Ее кровать — это тоже слова матери — напоминает ложе Тарзана в джунглях. Но

сейчас свет газовых фонарей проникал с улицы в комнату Больды, окрашивал все в зеленовато-желтый цвет, и когда он съел бульон и два хлебца, она выдвинула какой-то ящик и достала неизменное угощение, которое он с улыбкой принимал только ради нее, — слипшиеся в ком солодовые леденцы.

Он прилег на Большину кушетку, сунул в рот леденец, чуть прикрыл глаза и стал смотреть на зеленовато-желтый свет от уличного фонаря. Больда не зажигала света, когда он приходил к ней. Она сидела у окна возле крохотной книжной полки, на которой было два вида литературы: молитвенники и кинопрограммы. Всякий раз, когда Больда ходила в кино, она непременно покупала программу, приносила ее домой, рассматривала картинки и рассказывала Мартину содержание, точно вспоминая все подробности. Чтобы лучше собраться с мыслями, она закрывала глаза и открывала их лишь тогда, когда хотела поглядеть на картинки и освежить в памяти какой-нибудь эпизод; она рассказывала ему целые фильмы, сцену за сценой, слегка переделывая их по своему вкусу. Когда по ходу действия Больда касалась главных действующих лиц, она тыкала в них пальцем, и все у нее получалось темным, резким, страшным, как в кровавой балладе — подлость, безбожие, распутство; но наряду с этим в ее рассказах фигурировали благородство и невинность: ослепительной красоты мужчины, которых обманывали ослепительной красоты женщины; ослепительной красоты женщины, которых обманывали ослепительной красоты мужчины; и тут же святой Павел, которого на пути в Дамаск поразила молния Господня. Да, вот он сам, святой Павел, бородатый, объятый пламенем, на странице программки. И святая Мария Горетти, подло убитая похотливой свиньей — интересно, что такое «похотливая свинья»? Она, наверное, имеет какое-то отношение к *безнравственному и бесстыдному*. Но чаще всего речь шла о фильмах с удивительно красивыми женщинами, которые становились монахинями, таких монашеских фильмов было очень много, и ни одного из них он не видел, потому что на афиши с изображением монахинь никогда не наклеивали белую полосу: *«Детям вход разрешен»*.

Но сегодня, судя по всему, Больда не имела никакого желания рассказывать об очередном фильме. В зеленовато-желтом свете фонаря она присела на

подоконник и рылась в стопке молитвенников, пока не отыскала нужный ей. К счастью, он был без нот, будь он с нотами, Больда целый час распевала бы; а когда она не поет — слушать, как она спокойно бормочет слова молитвы, приятно; худая, черноволосая, она со спины очень напоминала мать Брилаха.

Стемнело, гуще стал зеленоватый свет с улицы, и все предметы в Больдиной комнате засверкали, как панцири ползущих жуков, и вдруг — гораздо раньше, чем можно было ожидать, — он услышал внизу голос матери, услышал, как подъезжают к дому автомобили, услышал смех матери и чей-то чужой смех, и ненависть к этим хохочущим чужакам охватила его, прежде чем он увидел их; он заранее ненавидел шоколад, который они принесут, свертки с подарками, которые они начнут разворачивать, слова, которые они скажут, вопросы, которые они начнут ему задавать. И он шепнул Больде:

— Скажи, что меня еще нет, и не зажигай огня.

Больда прервала молитву.

— Мать перепугается, если увидит, что тебя еще нет.

— А мы могли и не услышать, что она пришла.

— Не надо врать, сынок.

— Но еще хоть четверть часика можно остаться?

— Ладно, но ни минуты больше.

Если бы мать вернулась одна, он побежал бы к ней, рискуя даже, что немедленно начнется представление — «кровь в моче». Но он ненавидел людей, которые приходили к матери, особенно того толстого, который всегда говорил об отце. Мягкие руки и «превосходные лакомства». Еще гуще стал зеленый свет, сама Больда — чернее, а ее волосы — черней, чем она сама, — густая, чернильная тьма волос, и на них один лишь блик — слабый отблеск зеленого света; жесткие, длинные, совершенно гладкие волосы, и бормотание Больды, и, как всегда, в темноте всплывают слова — *Гезелер*, и *безнравственно*, и *бесстыдно*, и то слово, что мать Брилаха сказала кондитеру, и вопросы катехизиса, они тоже выскакивают из темноты: *«Зачем пришли мы в мир сей?»*

Почти все на свете безнравственно, очень многое — бесстыдно, а у Брилаха нет денег, и он целыми часами высчитывает, на чем бы сэкономить.

По-прежнему бормочет у окна Больда, темная, как

индианка, и комната наполнена игрой зеленовато-желтого света; будильник на полочке над кроватью Больды; тихо, медленно тикает будильник, а внизу все усиливается шум, неумолимый, опустошающий шум; хихиканье женщин, смех мужчин, шаги матери, скрипит плохо смазанная кофейная мельница — «Может, вы предпочитаете чай?» — и вдруг сверху доносится дикий вопль: «У меня кровь в моче! Кровь!»

Напряженная тишина внизу, сегодня он наслаждается бабушкиным вторжением. Больда захлопнула молитвенник, повернулась к нему, пожалала плечами, от всей души рассмеялась и шепнула:

— Ловко она это сделала! Поглядел бы ты на нее раньше, нет, не так уж она дурна. *Кровь в моче!*

Гости матери, очевидно, еще не знали этой игры, и она на какое-то мгновение заставила их оцепенеть, потом внизу снова начался приглушенный говор. Он услышал голос матери в комнате Альберта, — она звонила врачу, и бабушка молчала: теперь, когда вызвали врача, она твердо знала, что получит желаемое — *шприц*. Станный таинственный прибор из никеля и стекла, маленький и чистый, слишком даже чистый зверек с клювом колибри — прозрачного колибри, который насосется до отказа из стеклянной трубочки и потом вопьется в бабушкину руку. Голос бабушки, низкий и звучный, как орган, раздавался уже в комнате матери. Бабушка беседовала с гостями.

Больда включила свет, и сразу исчезло очарование, зеленое и черное очарование, унеслось счастье, и нельзя больше лежать на Больдиной кушетке, пахнущей монастырской ожидальней, и слушать бормотанье Больды.

— Ну, сынок, ничего не поделаешь, ступай вниз, можешь сразу лечь в постель, да ты не бойся, тебе, конечно, позволят спать у дяди Альберта.

Больда улыбнулась: она нашла верное, волшебное слово — спать у дяди Альберта.

Мартин улыбнулся Больде, она улыбнулась в ответ, и он медленно спустился вниз по лестнице. Словно тень огромного, диковинного зверя, стояла бабушка в дверях маминой комнаты, он услышал, как она нежно говорит своим низким, звучным, как орган, голосом:

— Господа, вы только подумайте, у меня кровь в моче.

И какой-то болван ответил ей:

— Сударыня, врачу уже обо всем сообщено.

Но тут бабушка услышала шаги Мартина, поспешно обернувшись, бросилась к себе в комнату, как драгоценную добычу, вынесла оттуда бутылку с мочой, и так как он стоял на третьей ступеньке, бутылка оказалась перед самым его носом.

— Ты только подумай, мой милый, опять у меня то же самое!

И он сказал то, что следовало сказать в этот торжественный миг:

— Не так уж это страшно, дорогая бабушка, скоро придет доктор.

Убедившись, что он уделит темно-желтой жидкости должное внимание, она неторопливо отвела от его носа склянку и сказала то, что привыкла говорить в такие мгновенья:

— Ты у меня добрый, жалеешь свою бабушку.

И ему стало стыдно, потому что он ни капельки не жалел свою бабушку.

Как королева, удалилась она в свою комнату. Из кухни выскочила мать, расцеловала его, и по ее глазам он увидел, что она еще не раз поплачет в этот вечер. Он любил мать, она нравилась ему, волосы у нее так хорошо пахли, но иногда мать становилась такой же глупой, как люди, которых она приводила с собой в дом.

— Досадно, что Альберт должен был уйти, он пообедал бы с тобой.

— Меня Больда накормила.

Мать покачала головой и улыбнулась, как всегда, когда он рассказывал, что ел Больдину стряпню. Другая женщина, такая же белокурая, как и мать, повязавшись грязным передником Больды, кружками нарезала крутые яйца на кухонном столе; эта чужая женщина слегка улыбнулась ему, и мать сказала то, что всегда говорила в таких случаях, то, из-за чего он просто ненавидел ее:

— Вы только подумайте, он любит грубую пищу — маргарин и тому подобное.

А женщина ответила то, чего и следовало ожидать, она сказала:

— Это прелестно!

— Прелестно! — закричали и другие дуры, появившиеся в дверях маминой комнаты.

— Прелестно! — не постыдились подхватить этот глупый крик двое мужчин.— Прелестно! — кричали они.

Всех людей, которые приходили по вечерам к его матери, он считал очень глупыми, и эти два глупца изобрели мужской вариант слова «прелестно». Они закричали: «Бесподобно!» — потащили его и стали кормить шоколадом, подарили заводной автомобиль, а когда он наконец вырвался от них, ему еще пришлось услышать вдогонку шепот:

— Потрясающий ребенок!

Как хороши зеленые сумерки в Больдиной комнате, и Больдина кушетка, пахнувшая монастырской ожидальней, как хороша комната Глума с большой картой на стене.

Он вернулся на кухню, где та же дура нарезала кружками помидоры, и услышал, как она говорит: «Я обожаю импровизированные ужины!» Мать раскупоривала бутылки, булькала вода в чайнике, розовые ломти ветчины громоздились на столе и вареная курица — белое мясо, чуть отливающее зеленым,— и чужая белокурая женщина сказала:

— Салат с курицей — это просто умопомрачительно, дорогая Нелла!

Он испугался: те, что называли мать «дорогая Нелла», приходили к ним чаще, чем называющие ее просто «фрау Бах».

— Можно, я пойду в комнату к дяде Альберту?

— Да,— ответила мать,— иди, я принесу тебе поесть.

— А я не голоден.

— Правда?

— Правда! — сказал Мартин, и вдруг ему стало жалко мать,— не очень-то счастливой выглядела она,— и он тихо добавил: — Спасибо, мама, я хорошо поел.

— Да,— сказала чужая женщина, в этот момент снимавшая ножом мясо с куриных костей,— я уже слышала, дорогая, что у вас живет Альберт Мухов, а я просто жажду познакомиться с кругом людей, знавших вашего супруга. Быть в центре культурной жизни — необычайное наслаждение.

В комнате у Альберта было хорошо: там стоял запах табака и чистого белья, которое всегда стопками лежало у него в шкафу. Белоснежные рубахи, в зеленую

полоску и в розовато-коричневую полоску, чисто выстиранные, замечательно пахнущие. Они пахли так же приятно, как девушка из прачечной, которая приносила их; девушка была такая светловолосая, цвет ее волос почти не отличался от цвета ее кожи. При дневном свете она казалась очень красивой, и Мартин любил ее, потому что она была приветливая, и не говорила глупостей. Часто она приносила ему рекламные воздушные шары, он надувал их и часами вместе с Брилахом играл в мяч прямо в комнате, не опасаясь что-нибудь расколотить; большие тугие шары из тонкой резины, на них красовались белые надписи: «Буффо отмоет любое пятно». На столе у Альберта всегда стопками лежала бумага для рисования, а ящик с красками стоял в углу возле шкатулки с табаком.

Но за стеной в комнате матери громко хохотали, и он злился, и ему тоже хотелось размахивать ночным горшком и вопить: «У меня кровь в моче!»

Еще один вечер испорчен, потому что Альберту тоже пришлось уйти. Обычно, когда мать оставалась дома и не ожидала никаких гостей, они по вечерам собирались у нее в комнате; иногда на полчаса заходил Глум и что-нибудь рассказывал, иногда Альберт садился за пианино и играл, а мать читала, но лучше всего было, когда Альберт поздно вечером катал его на машине или ходил с ним есть мороженое. Ему нравился яркий, пестрый свет в кафе, который излучал огромный петух, нравились пронзительные звуки радиолы, обжигающий холод мороженого, зеленоватый лимонад, в котором плавали льдинки, и он ненавидел глупых мужчин и женщин, которые находили его прелестным и восхитительным и портили ему вечера. Он выпятил губы, откинул крышку ящика с красками, достал длинную толстую кисть, обмакнул ее в воду и долго набирал на нее черную краску. Перед домом остановилась машина, и он сразу же услышал, что это машина врача, а не Альберта, он отложил кисть в сторону, дождался звонка и бросился в коридор, ибо сейчас должно было произойти то, что происходило всегда и что каждый раз снова волновало его. Бабушка выскочила из своей комнаты с воплем: «Доктор, милый доктор, у меня опять кровь в моче!» — и тихий маленький черноволосый доктор улыбнулся, осторожно подтолкнул бабушку назад в комнату и достал из кармана пиджака кожаный футляр величиной не больше

портсигара, который Мартин видел у столяра, соседа Брилаха.

Усадив бабушку в кресло, врач осторожно расстегнул у нее манжет, закатал рукав блузы, как всегда покачал головой, любуясь ее полной, белоснежной, словно рубахи Альберта, рукой, и пробормотал: «Ну, совсем как у молодой девушки, как у молодой девушки», — а бабушка улыбалась и торжествующе смотрела на бутылку с мочой, которая в это время красовалась либо на середине обеденного стола, либо на чайном столике, что на колесиках.

Мартину полагалось держать ампулу, так как мать с этим никогда не справлялась: «Меня трясет от одного взгляда на ампулу», — говорила она. Когда врач срезал головку ампулы, Мартин стоял совершенно спокойно, и доктор, как всегда, сказал:

— Ты храбрый мальчуган!

Мартин внимательно следил, как маленький, тонкий клювик *колибри* погружается в прозрачную жидкость, как врач оттягивает поршень, как шприц наполняется чем-то бесцветным, обладающим чудодейственной силой. Беспредельно счастливым, кротким и красивым становилось лицо бабушки. И он не испытывал ни малейшего страха, когда врач внезапно вонзал клювик колибри в руку бабушке — это было как укус, — нежная белая кожа чуть напрягалась, словно ее клюнула птичка. Бабушка неотрывно смотрела на нижнюю полку чайного столика, где стояла «кровь в моче», врач же осторожно нажимал на поршень и впрыскивал в бабушку безграничное счастье. Еще рывок, врач извлекает клювик из бабушкиной руки — и загадочный, счастливый вздох бабушки. Он оставался у бабушки и после ухода врача, хотя ему было страшно, но любопытство было сильнее страха, здесь свершалось что-то ужасное, столь же ужасное, как и то, что делали в кустах Гребхаке и Вольтерс, столь же ужасное, как слово, которое мать Брилаха сказала в подвале кондитеру, — ужасное, но зато таинственное и заманчивое. Вообще-то, по своей воле, он ни за что не остался бы у бабушки, но если ей делали укол, он оставался. Бабушка лежала в постели, над нею поднималась какая-то светлая волна, которая делала ее молодой, счастливой и несчастной, она глубоко вздыхала и плакала, а лицо у нее расцветало и становилось почти таким же гладким и красивым, как лицо

матери. Разглаживались морщины, глаза сияли, излучая счастье и покой, а слезы текли не переставая, и в эти минуты он вдруг начинал любить бабушку, он любил ее большое цветущее лицо, всегда внушавшее ему страх, и он твердо знал, как он поступит, когда вырастет большой и почувствует себя несчастным: он попросит, чтобы ему прокололи руку клювиком колибри, вливающим счастье,— несколько капель бесцветного Нечто. Теперь его не мутило в бабушкиной комнате, не мутило даже при виде бутылки, стоящей на нижней полке чайного столика на колесиках.

Он клал руку на бабушкино лицо — сперва на левую щеку, потом на правую, потом на лоб, потом долго держал ладонь над ее губами, чтобы чувствовать ее спокойное и теплое дыхание, и под конец задерживал руку на бабушкиной щеке, и он больше не ненавидел ее: замечательно красивое лицо, так изменившееся от какого-то полунаперстка бесцветного Нечто. Иногда бабушка даже не засыпала, и, не открывая глаз, она ласково говорила ему: «Славный мальчик!» — и ему становилось стыдно, потому что *обычно* он ее ненавидел. Когда она засыпала, он мог спокойно осматривать ее комнату, у него никогда не находилось времени для этого из-за страха и отвращения. Большая черная горка, дорогая, старинная, вся набитая хрустальной посудой. Здесь были хрустальные вазы и крохотные тонкие рюмки для водки, стеклянные фигурки: синеглазая с матовым узором лань, пивные кружки. Потом, все еще не снимая руки с лица бабушки, он смотрел на фотографию отца: она была больше, чем та, что висела над постелью у матери, и здесь отец был еще моложе, совсем молодой и смеющийся, с трубкой во рту, темные густые волосы четко выделяются на фоне неба, на небе белые, как клочки ваты, облачка. Снимок такой резкий, что можно различить даже выпуклый узор — цветы на металлических пуговицах вязаного жилета отца, а узкие темные глаза смотрят на Мартина так, словно отец в самом деле стоит там, в темном углу, между горкой и столиком, где висит снимок, и никогда, никогда ему не удавалось понять: печален отец на этом снимке или весел. Уж очень он молодо выглядел, почти так, как старшеклассники в их школе. На отца он, во всяком случае, не похож ни капельки. Отцы бывают старше, солидней и серьезней. Отца можно узнать по тому, как он сидит за столом,—

ему обязательно подают *яйцо* к завтраку,— как он читает газету, как привычным движением он снимает пиджак. Отец так же мало походил на отцов других ребят, как дядя Альберт на дядей других мальчиков. Мартин гордился, что у него такой молодой отец, но к этому примешивалось чувство какой-то неловкости: казалось, будто он не настоящий отец, и мать казалась не настоящей матерью,— от нее пахло иначе, чем от матерей других мальчиков, она казалась легче и моложе их и никогда она не говорила о том, чем жили другие люди, о том, что определяло характер матерей других мальчиков,— она никогда не говорила о *деньгах*.

Вид у отца не очень счастливый,— к такому выводу он всегда приходил под конец, но вовсе не из-за того слова, которое неразрывно связано с другими отцами,— вовсе не из-за *забот*. *Заботы* есть у всех отцов, все отцы старше, но все они, каждый по-своему, выглядят ничуть не счастливее, чем его отец...

На Глумовой — во всю стену — карте мира были три жирных точки: первая — место, где родился Глум, вторая — место, где они жили, а третья — место, где погиб отец,— Калиновка.

Он совсем забыл про бабушку, хотя рука его все еще лежала на ее спящем лице, забыл про маму и глупых гостей, про Глума и Больду, даже про дядю Альберта,— он спокойно рассматривал портрет отца в темном углу между горкой и чайным столиком.

Он все еще продолжал сидеть там, когда мать позвала его,— Альберт уже давно вернулся. Мартин пошел за матерью, не сказав ни слова, разделся, лег в постель, прочитал вечернюю молитву: *«Если не отпустишь нам, Господи, грехи наши»*, и когда Альберт спросил его, не устал ли он, ответил — да, ему очень хотелось бы побыть одному. А когда выключили свет, даже глупый смех в соседней комнате перестал мешать ему,— он закрыл глаза, увидел портрет отца, надеясь, что отец придет к нему во сне таким же молодым, беззаботным, может быть, улыбающимся, гораздо более молодым, чем дядя Альберт. Он ходил гулять с отцом в зоопарк; он подолгу катался с ним на автомобиле, зажигал ему сигарету, набивал трубку, помогал ему мыть машину и исправлять повреждения, ездил верхом рядом с ним по бесконечным равнинам и тихо

про себя с наслаждением бормотал: «Мы мчимся к горизонту», — слово «горизонт» он повторял медленно и торжественно, и молился, и надеялся, что отец так и явится в его сновидениях — верхом или в машине, мчащейся к горизонту.

Эта картина стояла перед его глазами, пока он не засыпал, он видел все вещи, которые принадлежали отцу: наручные часы, вязаный жилет, записную книжку, в которой были незаконченные стихотворения. Но тщетным было его страстное желание увидеть во сне отца. Отец не появлялся. В комнате было темно, он лежал один, и когда дядя Альберт заходил взглянуть на него, он притворялся, будто спит, он не хотел, чтобы ему мешали, и все время пока Альберт был в комнате, он не открывал глаз, боясь, что исчезнет лицо отца, лицо смеющегося юноши с трубкой во рту, который совсем не походил на отца.

Он кочевал по разным странам и бормотал про себя их названия: Франция, Германия, Польша, Россия, Украина, Калиновка, — а потом плакал во тьме и горячо мечтал увидеть сон, который так ему и не приснился. Дядя Альберт был рядом с отцом, когда тот погиб, иногда он рассказывал об этом: о *Гезелере*, о той деревне, о войне, которую он называл *грязной войной*, но и в такие ночи отец приходил к нему в сновидениях не таким, каким он хотел бы его видеть.

Землю, в которой покоится отец, он представлял себе похожей на волосы Больды. Чернильная тьма, поглотившая тело отца, сковавшая его, как свежий вязкий асфальт, сковавшая так, что он даже во сне не может вырваться и прийти к своему сыну. Самое большее, чего мог добиться Мартин, это представить себе отца плачущим, но даже плачущим отец во сне не приходил к нему.

Только в темноте он мог представить себе лицо отца, и то если перед этим в комнате у бабушки в тишине будет долго смотреть на его портрет, но так бывало лишь когда на сцену выступала «кровь в моче», когда звонили врачу и бабушке впрыскивали счастье.

Он прочитал все молитвы, какие только знал, и каждую заканчивал словами: «Дай мне увидеть во сне отца...»

Но когда он наконец увидел отца, тот оказался совсем не таким, как ему хотелось: отец сидел под высо-

ким деревом, закрыв лицо руками, но Мартин сразу узнал отца, хоть он и заслонил лицо. Отец будто ждал чего-то, бесконечно долго ждал; казалось, что он сидит так уже миллионы лет и лицо прикрывает, потому что оно такое печальное, и когда отец опускал руки, Мартин всякий раз пугался, хотя заранее знал, что увидит сейчас. Оказывалось, что лица вовсе нет и отец словно хочет сказать ему: вот теперь ты все знаешь. Может быть, отец дожидался нового лица под этим деревом. Земля была черна, как волосы Больды, а отец — совсем один и без лица, но даже без лица он выглядел бесконечно печальным и усталым, и когда начинал говорить, Мартин всегда ожидал, что вот он скажет «Гезелер», но ни разу отец не назвал это имя, ни разу ни слова не сказал о Гезелере.

На какую-то дуру в соседней комнате напал приступ смеха, и это разбудило его,— всю свою злость, всю ненависть и разочарование он выплакал в подушку, потому что так резко оборвался его сон об отце: а вдруг отец обрел бы лицо и заговорил с ним?

Он плакал долго и громко, потом смех в соседней комнате стал затихать, он звучал все тише и тише, и в новом сновидении появилась блондинка, которая возилась на кухне, но вместо помидоров и крутых яиц она срезала теперь головки огромных ампул, стеклянных баллонов, а улыбающийся доктор наполнял огромный шприц их содержимым.

На мыльном облаке медленно проплыла Больда с белым как снег лицом и черными как смоль волосами, лицо у нее было гладкое-гладкое, как у бабушки после укола, и Больда пела, чудесно пела, даже лучше, чем фрау Борусяк, так она и вознеслась на небо, зажав в зубах, как пропуск в рай, кинопрограмму с изображением святой Марии Горетти.

Но отец, которого он ждал даже во сне, так и не вернулся, его навсегда спугнул глупый смех в соседней комнате, а Больду в небе сменила блондинка, нарезавшая крутые яйца,— она плыла, рассекая воздух, как воду, и кричала: «Прелестно, прелестно, прелестно!» — пока откуда-то издалека не донесся низкий, звучный, как орган, голос бабушки, ее дикий вопль: «Кровь в моче!»

Не сразу понял Генрих, что с ним: такое чувство бывает, когда идешь по льду, по тонкому льду, только недавно покрывшему реку, и не знаешь ее глубины. Лед под тобой еще не проломился, да и утонуть тебе не дадут; по обоим берегам, улыбаясь, стоят люди, готовые броситься на помощь, стоит только тебе оступиться, но это ничего не изменит: лед может в любую минуту проломиться, а глубина остается неизвестной. Первая трещина уже показалась, небольшая пока — это когда он увидел, как напугало Мартина слово, которое его мать сказала кондитеру, гадкое слово, обозначающее сожительство мужчин и женщин, но на его, Генриха, взгляд, сожительство — это *вообще* слишком красивое слово для обозначения не слишком-то красивого дела: багрово-красные лица, стоны. Давно, когда Лео еще не был его дядей, он застал его с какой-то кондукторшей. Генрих хотел отдать ему суп и вошел без стука. Пронзительный крик кондукторши и обезьянье лицо Лео: «Закрой дверь, паршивец!» А на другой день Лео больно стукнул его компостерными щипцами по голове и сказал: «Ну, дружок, я тебе покажу, *что такое приличие*. Ты что, не мог постучать?» Потом уже Лео всегда запирает дверь, но когда мать перебралась к Лео, там, вероятно, творилось то же самое. Нет, сожительство — слишком красивое слово для такой мерзости. Может быть, у людей, имеющих деньги, это делается как-то иначе? Возможно. Нет, слово, которое принес с собой Лео, гадкое слово, но оно подходит гораздо больше.

Испуг Мартина ясно показал, как глубока вода подо льдом. Бесконечно глубока и холодна, и никто не спасет тебя, если проломится лед. Дело не только в деньгах и не только в разнице между тем, что всегда найдешь в холодильнике у Мартина, и тем, что ежедневно покупаешь ты сам, высчитывая каждый пфеннинг: хлеб, маргарин, картофель, яйцо для скотины Лео, изредка яйцо для Вильмы, для себя или для матери. Дело еще и в различии между дядей Альбертом и Лео, между тем, как испугался Мартин, когда услышал это слово, и тем, как сам он только чуть вздрогнул, услышав его, — ему просто стало не по себе от того, что это слово вошло в обиход матери.

Разница между его матерью и матерью Мартина, собственно, не так уж и велика, пожалуй, она только

в деньгах. И может быть, может быть, лед так и не проломится?

И в школе он тоже ходил по льду. Священник, например, чуть не упал со стула, когда Мартин на исповеди повторил слово, которое мать сказала кондитеру. Мартин должен был пять раз прочитать «Отче наш» и пять раз «Богородице Дево, радуйся» только из-за того, что услышал это слово; мягкий, приветливый голос священника рассказывал о непорочном зачатии, голос дяди Вилля говорил о святой благодати, о сердечной чистоте и целомудрии души; красивый голос и доброе лицо священника, он добился, чтобы матери Генриха выдали денег на его конфирмацию, хотя мать и *безнравственная*. Но разве видел когда-нибудь священник чистое, вымытое, красное, пахнущее туалетной водой обезьянье лицо дяди Лео, разве такие лица бывают у целомудренных душ?

Он шел по льду через реку, глубина которой выяснится лишь тогда, когда проломится лед. И мать стала другой: она вымолвила это слово, но еще раньше она стала другой — *неласковой*: он помнил ее мягкой, приветливой, кроткой, когда она ночью терпеливо меняла укусовые компрессы на груди дяди Эриха, или улыбалась Герту, или разговаривала с Карлом перед тем, как избавилась от «этого». Жестким стало ее лицо после больницы.

Лед кое-где уже треснул по краям на мелких, опасных местах, где он еще может снова подмерзнуть. История с «ночной потливостью» Вилля, к примеру, вызвала у Генриха только смех. Он смеялся, как смеялся над рассуждениями Вилля о книгах и кино: бессвязное бормотание, водяные струйки, бегущие изо рта заколдованного духа, они поднимаются из глубины реки и, играя, искрятся, как фонтан в кафе Генеля.

Понятна была цена на маргарин, которая, кстати, опять повысилась, понятны подсчеты, которые он делал для матери, — мать совсем не умела считать, не умела экономить, рассчитывать весь домашний бюджет было его обязанностью; понятно было чисто выбритое лицо дяди Лео, произносившего слова, по сравнению с которыми «*дерьмо*», оставшееся в наследство от Герта, казалось нежным и деликатным; понятна и близка была фотография отца, до которого он помаленьку дорастал, понятно и близко лицо матери, оно становилось все жестче, губы — все тоньше, все чаще срываются с них

слова Лео, все чаще ходила она с Лео на танцы, пела песни Лео, делала все то, что делали некоторые женщины в фильмах, те женщины, которых рисуют на афишах с красной надписью «Детям до 16 лет...».

Лучше всего в кино, уютно, тепло. Никто на тебя не смотрит, никто с тобой не разговаривает, и ты можешь позволить себе то, чего не позволишь нигде, — *забыться*.

Слова учителя были, как слова священника — яркие, сверкающие, но чужие; они переливались подо льдом, на который он ступил, но до него не доходили, он был глух к ним. Вздорожали яйца, цена на хлеб подскочила на пять пфеннигов, и свинья Лео жалуется на то, что завтраки стали хуже, что яйцо ему подают очень мелкое, и обвинил Генриха в *хищении денег*. Вот это волнует — *ненависть* к этой обезьяне, ко всему еще и *глупой*. Пришлось сунуть ему под нос все расчеты, чтобы он сам мог убедиться, но слово-то осталось: *хищение*. И мать — Генрих пристально наблюдал за нею — *на какое-то мгновенье* поверила Лео, правда всего лишь *на мгновенье*, но и мгновенья достаточно. Ему приходилось экономить — потому что они подолгу бывали на улице, а Вильме не покупали платья. *Хищение*, и никому не расскажешь это. Мартин — тот бы вовсе ничего не понял, а с дядей Альбертом он пока стеснялся говорить. Когда-нибудь потом он это сделает, ведь дядя Альберт единственный, кто может понять, что значит для него такое обвинение. Он отомстил просто и жестоко. Две недели он не брался за домашние дела, отказался делать покупки: пусть мать сама покупает, пусть Лео побеспокоится об этом, пусть сам увидит. Не прошло и недели, как все хозяйство пошло к черту, в доме нечего было жрать; мать ревела. Лео скрежетал зубами, и наконец оба в один голос стали умолять его снова заняться хозяйством — и он занялся, но так и не забыл того *мгновенья*, когда мать заподозрила его.

О таких вещах в доме Мартина он мог говорить только с дядей Альбертом, и когда-нибудь потом, на каникулах, когда они поедут с Альбертом к его матери, где Вилль станет присматривать за Вильмой; там найдется случай поговорить с Альбертом про невыносимое слово «хищение». Чудачка Больда — очень добрая женщина, но с нею тоже нельзя говорить о деньгах, а мать Мартина отличается от его собственной матери только тем, что у нее есть деньги, правда, тут еще и то, что она очень красивая, на свой лад красивее даже его

мамы, такая, как женщины в фильмах, но в деньгах она ничего не смыслит. Говорить о деньгах с бабушкой неудобно: она тут же вытащит свою чековую книжку. Все они дарили ему деньги — Альберт, бабушка, Виль, мать Мартина, но и от денег лед не становился крепче и глубина воды оставалась такой же неизмеримой. Конечно, можно сделать маме какой-нибудь подарок — сумочку из красной кожи и к ней красные кожаные перчатки, какие он видел у одной женщины в кино, можно купить что-нибудь и для Вильмы, можно пойти в кино, поесть мороженого, пополнить домашнюю кассу и при этом принципиально ничего не покупать для Лео и принципиально не дать ему почувствовать никаких улучшений. Но денег все равно не хватит, чтобы купить дом и все с ним связанное, чтобы обрести чувство уверенности, сознание, что ты не ходишь больше по льду, а главное, ни за какие деньги не купить того, что отличает дядю Альберта от дяди Лео.

Слова учителя в школе и слова священника совпали с тем, что Карл называл «новой жизнью»: красивые слова, с ними у Генриха связано даже определенное представление, которое — он знал это — никогда нельзя осуществить. Лицо матери округлилось и в то же время стало жестче, она все дальше уходила от отца, становилась старше отца, а сам он постепенно догонял отца. Мать была теперь старой, бесконечно старой казалась она ему, а ведь совсем недавно, когда она впервые танцевала с Лео, когда в больнице освободилась от «него», мать казалась ему совсем молодой. И рука ее стала тяжелее, рука, которой по вечерам она торопливо гладила его лоб, прежде чем перейти в комнату к Лео, чтобы сожительствовать с ним.

А у него на руках ребенок, от которого мать не избавилась. Вильме скоро уже два года, и она почему-то всегда грязная. Лео ненавидит грязь; Лео такой чистюля, его за версту можно узнать по запаху туалетной воды и помады. Руки у него до красноты натерты щеткой, ногти отполированы, и наряду с кондукторским компостером он в качестве оружия применял пилку для ногтей — нескладную длинную железку. Этой железкой он бил Вильму по пальцам. Каждое утро Генрих разогревал воду, чтобы помыть Вильму, как можно чаще менял ей белье, но Вильма почему-то всегда казалась грязной, измазанной, хотя это была умная и милая девочка. Было от чего прийти в отчаяние.

Когда Лео работал в ночную смену, малышка днем на час оставалась на его попечении, потому что мать уходила теперь в пекарню к половине первого, и с тех пор как Вильма впервые осталась одна с Лео, она, едва заведев его, начинала вопить. Стоило Лео угрожающе поднять свои никелевые компостерные щипцы, чтобы припугнуть девочку, как она заходила в плаче, с ревом бросалась к Генриху, цеплялась за него и не успокаивалась, пока Лео не уйдет, да и то еще Генрих должен был несколько раз повторить ей: «Лео нет, Лео нет, Лео нет». Но слезы текли по ее лицу и заливали руки Генриха. После обеда чаще всего он оставался с нею один, и девочка вела себя спокойно, совсем не плакала, а еще лучше было по вечерам, когда Лео с матерью уходили на танцы. Генрих тогда извещал Мартина, который соглашался бывать у них только в отсутствие Лео, — он боялся Лео не меньше, чем Вильма, — и они вместе купали девочку, кормили ее и играли с нею. Не то просто оставляли Вильму в саду у Мартина, а сами играли в футбол. В такие вечера Генрих с Вильмой одни укладывались спать, и он про себя шептал вечерние молитвы и думал о всякого рода дядях. Вильма, засунув палец в рот, чистенькая, умытая, засыпала рядом с ним. Когда у него самого начинали слипаться глаза, он переносил Вильму в ее постельку. А в соседней комнате мать сожительствовала с Лео — он ничего не слышал, но знал все, что там происходит.

Когда Генрих начинал думать, какой из дядей нравился ему больше, он всегда колебался между Карлом и Гертом. Карл был приветлив и аккуратен. Карл — «новая жизнь», Карл — «дополнительный паек». Карл, от которого пахло супом из столовой магистратуры, Карл, оставивший у них брезентовую сумку для алюминиевых обеденных судков, в которую Вильма складывала теперь свои игрушки. К тому же Карл умел делать подарки, как и Герт, — тот приходил по вечерам с ведерком из-под повидла и вываливал на стол весь свой инструмент — кельму, шпатель, фуганок, ватерпас — и свой дневной заработок, который ему всегда платили натурой: маргарин, хлеб, табак, мясо, муку и даже иногда яйца — вещь дивного вкуса, чрезвычайно редкую и дорогую в те времена. И мать смеялась больше всего во времена Герта. Герт был молодой, темноволосый и не прочь был сразиться с ним в лото и в фишки. Когда гасили свет, Генрих часто слышал, как

мать и Герт смеются, лежа в постели, и этот смех не казался ему неприятным, в отличие от глупого хихиканья матери при Карле. О Герте сохранились такие хорошие воспоминания, что даже мысль о его сожительстве с матерью не омрачала их. У Герта оставалось темно-зеленое пятно на рукаве мундира там, где раньше были ефрейторские нашивки, а по вечерам Герт подторговывал алебастром и цементом — он продавал их на фунты; развешивая, он набирал алебастр и цемент кельмой из бумажных мешков — как муку.

Карл был совсем другой, но тоже славный. Из всех дядей он единственный ходил в церковь. Карл и его брал с собой, объяснял ему всю церковную службу и молитвы, а по вечерам после ужина надевал очки, и начинались рассуждения о «новой жизни». Исповедоваться он, правда, не ходил и к причастию — тоже, но в церкви он бывал, и на все умел дать ответ. Карл был серьезный, дотошный, но приветливый и дарил конфеты, игрушки, и когда Карл говорил: «Мы начнем новую жизнь», он всегда после этого добавлял: «Видишь ли, Вильма, я хочу как-то упорядочить нашу жизнь, понимаешь, упорядочить», к упорядочению относилось и то, что Генрих должен был называть его папой, а не дядей. Или взять Эриха — настои со странным запахом, уксусные компрессы, зажигалка, которая до сих пор не сломалась. Эрих остался в Саксонии. А Герт в один прекрасный день просто не вернулся, и они долго о нем ничего не знали, пока через несколько месяцев не получили письмо из Мюнхена: «Пришлось уйти, я не вернусь. Мне было хорошо с тобой, оставляю тебе на память свои часы». В памяти сохранился запах сырого алебастра, а в лексиконе матери оставшееся от Герта слово «дерьмо». И Карл тоже ушел, потому что мать избавилась от «него». Никакой «новой жизни» так и не получилось, он до сих пор иногда встречал Карла в церкви. У Карла были теперь жена и ребенок такого же возраста, как Вильма, по воскресеньям он гулял, ведя малыша за руку. Но Карл, казалось, совсем забыл и Генриха и мать, он с ними не здоровался. Теперь Карл ходил к причастию, и даже с некоторых пор он первым запевал в церкви молитвы, и когда с хоров раздавался голос, говоривший прежде о «новой жизни», о «дополнительном пайке», о «порядке», Генрих не мог понять, зачем мать избавилась от «него», Карл теперь был бы его отцом.

Кто-то из жильцов дома каждый день внизу, в подъ-

езде писал на стене карандашом слово, которое мать сказала кондитеру. Неизвестно было, кто этим занимается. Иногда это слово оставалось на стене весь день, но к вечеру оно исчезало, потому что приходил столяр, у которого под лестницей была маленькая мастерская, соскребал это место гвоздем, и на каменных плитках пола оставался белый след от осыпавшейся штукатурки, а на стене — глубокие царапины. Но неизвестный опять писал это слово, а столяр опять соскребал его. Стена подъезда была уж исцарапана в двадцати местах. Это была немая борьба, и обе стороны вели ее с одинаковым упорством — снова и снова появлялось на стене это слово, и столяр, от которого пахло камфорой, как когда-то от Эриха, выходил из мастерской с сорокадюймовым гвоздем и соскребал его. Столяр был прекрасным человеком. Особенно хорошо относился он к Вильме: по субботам, когда ученик подметал в мастерской, столяр приказывал ему выбирать из мусора все деревянные чурки, отмывать их и относить Вильме, и особенно длинные и кудрявые стружки тоже отдавать ей, а сам столяр, когда собирал деньги за квартиру, приносил Вильме конфеты.

Если столяр заставал дома Лео, он говорил ему: «Я еще вам покажу», на что Лео отвечал: «И я вам тоже». Больше они друг с другом не разговаривали.

Только потом Генрих сообразил и удивлялся, как это он не догадался раньше, что слово на стене пишет Лео; только он и мог это делать, да и слово то было из его лексикона. Генрих стал следить за Лео, когда тот уходил на работу или возвращался с работы домой. Лео ничего не писал. Но зато и слово в те дни, когда он наблюдал за Лео, на стене не появлялось. Слово появлялось только тогда, когда он не мог проследить за Лео. История эта тянулась довольно долго, уже полстены было в скребках и царапинах. Как-то раз, вернувшись из школы и опять увидев в подъезде надпись, он взглянул во время обеда на карандаш Лео — карандаш торчал у Лео за ухом, грифель был весь стерт и вокруг грифеля было маленькое белое колечко: так выглядит карандаш, когда им пишут на стене. Значит, Лео был тем невидимкой, кто писал на стене.

Мать тоже ругала того, кто пишет на стене, и говорила: «Дети не должны читать это», и обычно добавляла, чуть понизив голос: «Они и так слишком рано узнают всю эту грязь».

Но ведь мать сама сказала кондитеру это слово в темном, теплом, пропахшем сдобным тестом подвале пекарни.

А Лео продолжал писать на стене, и столяр продолжал соскребать его надписи, а Генрих все никак не мог набраться мужества сообщить столяру о своем открытии.

Потом, когда они будут толковать с дядей Альбертом о всякой всячине, он расскажет и об этом.

По вечерам, лежа в постели, он рассматривал фотографию отца, освещенную уличным фонарем, тихо, едва заметно вздрагивающую фотографию, она раскачивалась, когда мимо проезжали автомобили, и особенно сильно, когда проезжал грузовик или тридцать четвертый автобус.

Не много осталось от отца: фотография на стене да книжка, которую мать упорно хранила, заложив между детективными романами и иллюстрированными журналами,— замызганная, тонкая, желтоватая брошюрка: «Что надо знать автослесарю при сдаче экзамена на подмастерье». Между листками брошюрки лежала сложенная вчетверо, истрепанная, но еще достаточно яркая литография, изображавшая «Тайную вечерю»,— точно такая же литография есть и у него самого с такой же точно надписью: «Генрих Брилах принял конфирмацию в приходской церкви святой Анны в воскресенье, на Фоминой неделе 1930 года». А у него была приходская церковь святого Павла в воскресенье на Фоминой неделе 1952 года.

Дедушка, отец мамы, остался в Саксонии. Он жаловался на скудную пенсию и каждую открытку кончал словами: «Неужели у вас не найдется комнатки для меня, чтобы мне вернуться на родину?» А мать послала ему табак и маргарин и писала: «С жильем здесь очень плохо: все так дорого». Мать мамы умерла в Саксонии, а отец отца покоем на здешнем кладбище — покосившийся деревянный крест, к подножию которого они приносили цветы в день поминовения и зажигали яркую свечу. Мать отца — бабушка была не в ладах с мамой, она приезжала только на второй день Рождества, привозила ему подарки, а Вильме демонстративно *ничего* не привозила и говорила точно так же, как Карл: «порядок», «новая жизнь», «это добром не кончится». Одно из ее изречений звучало так: «Видел бы это мой бедный мальчик».

Но она появлялась редко и не нравилась ему, потому что даже не глядела в сторону Вильмы и ни разу не принесла ей гостинца. А ему она всегда говорила: «Ты бы хоть когда-нибудь зашел ко мне». Но он навестил ее всего один-единственный раз. У нее была чистота, такая же чистота, как у Лео: пахло мастикой, его угощали пирожными и какао, дали ему денег на трамвай. Но потом бабушка стала его выпрашивать, а он ей ничего не сказал и больше никогда к ней не ездил, потому что она говорила то же самое, что он уже слышал от остальных, от тех, которые находились под ледяным покровом — «целомудренная душа, чистое сердце», и, между прочим, выпрашивала о Лео, о Карле, о Герте и все приговаривала, покачивая головой: «Нет тут порядка, если бы мой бедный сын, а твой отец, увидел все это», и показывала ему карточки, на которых отец был одних лет с ним, карточку отца в день конфирмации, а потом его карточку в комбинезоне слесаря, но к бабушке Генрих больше не ездил, потому что не мог брать с собой Вильму.

Когда Нелла приводила с собой гостей, она всегда звала Альберта, чтобы он помог ей перенести спящего мальчика из ее комнаты к нему. Спящий, он казался очень тяжелым, что-то бормотал спросонья, и они всегда боялись, что разбудят его, но обычно он тотчас сворачивался клубочком в постели Альберта и продолжал спокойно спать. Нелла часто приводила гостей, и Альберт не меньше двух раз в неделю переносил мальчика к себе. Тогда ему приходилось прерывать работу — он не хотел ни курить, ни работать, когда мальчик у него, и как-то само собой получалось, что он уходил в Неллину комнату и присоединялся к ее гостям. Несколько раз он пытался перейти с работой в свободную комнату наверху, рядом с Глумом, но там он чувствовал себя не на месте, ему не хватало тысячи привычных мелочей, необходимых для работы, а у себя на это не нужно было затрачивать ни малейшего усилия, стоило только выдвинуть ящик рабочего стола, и все было под рукой: ножницы, всевозможный клей, карандаши, кисточки, и вообще ему казалось, что не стоит устраивать мастерскую из этой комнаты. Была свободная комната и внизу, но она тоже не годилась для работы: оранжевая кушетка, оранжевые кресла, ковер того же цвета, на стенах — картины художника, которому покрови-

тельствовал отец Неллы,— бесталанное выписывание мелочей,— и ко всему унылый и затхлый дух комнаты, в которой годами никто не живет, но которую тем не менее регулярно убирают. Мальчик упорно отказывался переселиться в одну из пустующих комнат, поэтому Альберту не оставалось ничего другого, как уходить к Нелле и присоединяться к ее гостям. Но это всегда приводило его в скверное расположение духа, да и скучно ему было с ними. Иногда он уходил куда-нибудь, чтобы напиться вне дома, но в таких случаях ему становилось жалко Неллу, когда он возвращался и заставал ее одну среди пепельниц, полных окурков, пустых бутылок и тарелок с остатками бутербродов.

Чаще всего приходили какие-нибудь снобы, с которыми Нелла познакомилась в дороге, на каком-нибудь сборище, или они были представлены ей во время какого-нибудь доклада. Альберт не выносил их постоянной болтовни об искусстве. Он никогда не участвовал в этих разговорах, пил вино и чай, и когда кто-нибудь начинал читать стихи Рая, ему становилось не по себе, но, подчиняясь улыбке Неллы, он против воли отвечал потом на расспросы о Рае.

Чтобы не жалеть о даром потерянном времени, он много пил; иногда среди гостей встречались хорошенькие девушки, а на хорошеньких девушек он готов был смотреть всегда, даже если на них был легкий налет снобизма. Он внимательно следил за всем происходящим, время от времени вставал, чтобы откупорить бутылку вина, а если гости засиживались поздно, он уезжал за новым вином, новыми бисквитами и новыми сигаретами. В доме его удерживал только мальчик, спавший в его кровати,— иногда он просыпался среди ночи и, увидев склонившиеся над ним незнакомые физиономии, очень пугался; могло случиться, что Неллина мать среди ночи выкинет еще какую-нибудь сцену. Когда «кровь в моче» не стояла на повестке дня, она изобретала что-нибудь другое, не столь для нее обычное. Она могла по целым неделям спокойно сидеть у себя за бутылкой красного вина и тарелкой, наполненной бутербродами с мясом, курить сигареты «Томагавк» из огненно-красных пачек и либо перебирать старые письма, либо уточнять размеры своего состояния, либо перелистывать старые учебники и хрестоматии 1896—1900 годов издания и старую Библию, сохранившую еще следы цветных карандашей там, где

она, десятилетняя крестьянская девчонка, более пятидесяти лет тому назад исчеркала забрызганное кровью одеяние египетского Иосифа и горчичного цвета львов, мирно возлегавших и уснувших вокруг Даниила.

По целым неделям она была спокойна, но вдруг у нее появлялось желание устроить сцену. Бывало, в час ночи ей вдруг приспичит сделать салат, и, надев черный в синих цветочках утренний капот, она спускалась к Нелле и, стоя в дверях, размахивала пустой бутылкой из-под уксуса и вопила: «Что за свинство, опять в доме ни капли уксуса, а мне необходимо, понимаешь ли, необходимо сделать салат». Раздобыть уксус во втором часу ночи не так-то просто, но Альберт на всякий случай заключил дружеское соглашение с буфетчицей привокзального ресторана и на худой конец мог раздобыть там разнообразнейшие продукты. Если Больде случалось спуститься ночью на кухню, а бабушка еще не спала и у нее было настроение закатить сцену, она набрасывалась на Больду: «Ах ты, беглая монашка — дважды вдова», и начинала перечислять все прегрешения отца Больды, который, судя по всему, был контрабандистом и браконьером, но вот уже более пятидесяти пяти лет покоился на маленьком кладбище в горной деревушке. А когда у бабушки не было настроения делать сцену, она не мешала Больде возиться или затевала с ней самый мирный разговор. Точно так же она появлялась вдруг в комнате Неллы с криком: «Опять шляешься? А муж твой, бедняга, спит в русской земле!»

Успокоить ее мог тогда только Альберт или Глум, и было лучше, чтобы он оставался дома, так как Нелла боялась своей матери.

И вот два дня из семи дней недели торчал Альберт среди Неллиных гостей, охранял сон мальчика и был готов на манер огнетушителя в случае необходимости утихомирить Неллину мать.

Его ничуть не смущало, что потом, при разъезде гостей, ему навязывали роль шофера такси: он подвозил гостей Неллы к трамвайной остановке, а если было поздно, к трамвайному парку, откуда и ночью каждый час отходил трамвай, а когда был расположен, он поодиночке развозил их домой. Альберт старался подольше не возвращаться, рассчитывая, что Нелла за это время уже уляжется спать.

Хорошо разъезжать одному по ночному городу. Улицы пустынные, сады лежат в густой тьме, и он смот-

рит на волшебство, которое творят фары его машины: беспокойные, резкие черные тени и желтовато-зеленый свет фонарей. Он любил этот холодный зеленый свет, от которого и летом веяло ледяным холодом. Сады и парки в этом желтовато-зеленом свете даже в пору цветения казались холодными, безжизненно застывшими. Часто он оставлял позади город, вел машину через спящие деревни и, выбравшись на автостраду, мчался несколько километров на огромной скорости, потом на ближайшей развилке сворачивал и возвращался в город. Всякий раз он испытывал глубокое волнение, когда в луче прожектора из тьмы возникала человеческая фигура; чаще всего это оказывались проститутки, они пристраивались в местах, освещаемых фарами, когда автомобилисты на поворотах включали дальний свет: одинокие, безжизненные, пестро наряженные куклы, они даже не улыбались, когда машина проезжала мимо них. На темном фоне ночи их залитые ярким светом белые ноги всегда напоминали Альберту деревянные фигуры на рострах, и казалось, что стоят они на затонувших кораблях. Когда снова и снова на поворотах он включал фары и яркий свет выхватывал их из тьмы, он удивлялся, как точно они выбирают для себя место, но еще ни разу он не видел, чтобы машина остановилась и увезла какую-нибудь из девушек.

У края моста, в его устоях прилепился маленький кабачок, который не закрывался всю ночь. Здесь он выпивал стакан пива и рюмку водки, чтобы оттянуть возвращение домой. Хозяйка уже знала его, потому что у Неллы часто бывали гости и он всегда развозил их по домам, лишь бы не оставаться наедине с Неллой. Он подолгу засиживался в этом кабачке и думал о делах, которые помимо воли всплывали в памяти из-за Неллиных гостей. За столиками обычно сидели несколько матросов с рейнских пароходов, они играли в кости, из репродуктора доносились тихие далекие голоса. У печки с вязаньем сидела маленькая темноволосая хозяйка. Она всегда рассказывала ему, что и для кого вяжет: светло-зеленый свитер для зятя, коричнево-красные перчатки для дочки; но чаще всего она вязала прелестные маленькие штанишки для внучат. Узор для этих штанишек она придумывала сама, часто она спрашивала у него совета, и несколькими штрихами он уточнял ее рисунки. Однажды он даже посоветовал ей вывязать на светло-желтой юбочке для четырнадцатилетней

внучки темно-зеленые бутылки с пестрыми наклейками. Он набрасывал узор цветными карандашами, которые всегда носил при себе, на белой оберточной бумаге, в которую она завертывала холодные котлеты или биточки для матросов. Иногда, если он задумывался над событиями, о которых напоминали ему Неллины гости, он засиживался до трех, а то и до четырех часов утра.

До войны он был лондонским корреспондентом маленькой немецкой газеты, но газета выставила его, и он вернулся после смерти Лин, по настоянию Неллы, обратно в Германию, и Неллин отец устроил его на своей мармеладной фабрике, чтобы ему не быть на виду. До самого начала войны он вместе с Раймундом вел там небольшой отдел статистики сбыта, и все средства они тратили не столько на то, что принесло бы пользу фабрике, сколько на всякие пустяки, придававшие им самим благонадежный вид: по первому требованию они могли доказать, что занимаются разумной и никак не связанной с политикой деятельностью, что они включились в так называемый трудовой процесс. В их кабинете всегда было достаточно беспорядка, чтобы вызвать представление о самой кипучей деятельности. На чертежных досках кнопками были приколоты эскизы, вокруг валялись тюбики и кисти, на полках стояли открытые бутылки с тушью, и каждую неделю из отдела сбыта приходила смета, заполненная цифрами, которые они переносили на свои таблицы,— аккуратные столбики цифр, расписанные по всем землям Германии, превращались в миниатюрные мармеладные ведерки на пестрых географических картах.

Потом они научились придумывать новые названия для новых сортов мармелада и так быстро обрабатывать цифровые данные, что в любую минуту могли точно сказать, где и в каком количестве ели и едят тот или иной сорт мармелада. Вершиной их цинизма явилось составление памятки, которую они называли «Производство и сбыт ароматических конфитюров фабрики Гольштеге» и выпустили в 1938 году к двадцатипятилетнему юбилею фирмы. Это была отпечатанная на бумаге ручной выработки ярко иллюстрированная брошюра, которую они бесплатно разослали всем потребителям. Альберт рисовал все новые и новые рекламные плакаты, Рай придумывал к ним стихотворные подписи, а вечера они проводили вместе с Неллой и теми немногочисленными друзьями, которых еще могли сохранить

в 1938 году. Чувствовали они себя в ту пору не очень хорошо, и по вечерам скрытое раздражение невольно прорывалось, особенно когда к ним приходил патер Виллиброрд. Рай ненавидел патера Виллиброрда, который теперь изо всех сил раздувает шумиху вокруг имени Рая, и кончалось это обычно тем, что своими насмешками они выживали Виллиброрда, а как только он уходил, напивались и обсуждали возможность эмиграции. Утром они являлись на фабрику с опозданием, головы у них трещали, и, зачастую охваченные внезапной яростью, они разрывали в клочки все рисунки и диаграммы.

Но на следующий день они снова брались за работу, придумывали новые рисунки, новые краски для привлечения покупателей, создавали графические характеристики различных сортов мармелада. Последним их творением, до того как обоих отправили на фронт, явился исторический обзор, в котором Рай поставил себе целью доказать, что, начиная с каменного века, все народы — римляне, греки, финикийцы, иудеи, инки и германцы — радостно вкушали мармелад. В этот труд Рай вложил всю свою фантазию, а Альберт — свой талант художника, и у них получился шедевр, доставивший фабрике множество новых покупателей. Но в этом уже не было необходимости. Пришел новый потребитель, который начал поглощать мармелад без всякой рекламы: пришла война.

Во время войны повсюду, где только ни останавливались армейские обозы, они натыкались на валявшиеся по обочинам дороги жестяные банки из-под повидла производства их фабрики. Этикетки, отпечатанные по эскизам Альберта, подписи, составленные Раем. Французские дети играли в футбол этими банками, для русских женщин они были ценным приобретением, и даже когда наклейки давно уже были содраны или смыты, а банки измяты и заржавлены, все равно они узнавали их по штампованной монограмме «Э. Г.» — Эдмунд Гольштеге (так звали Неллиного отца).

Даже остановившись на ночлег в какой-нибудь дыре, они ощупью в темноте узнавали эти жестянки, пальцы сами отыскивали выпуклые буквы «Э. Г.» и стилизованную вишню, творение Альберта.

Победный путь немецкой армии был усеян не только снарядами, не только развалинами и падалью, но и жестяными банками из-под повидла и мармелада. В Польше и во Франции, в Дании и Норвегии, на Бал-

канах всякий мог прочитать изречение, сочиненное Раем: «Глуп тот, кто сам варит себе варенье: Гольштеге сделает это за тебя». Слова: «Глуп тот, кто сам варит себе варенье», были отштампованы крупными красными буквами, остальные — чуть помельче. Это изречение явилось результатом продолжительнейшего совещания с дирекцией, за которым последовала развернутая кампания против всех, кто сам варит варенье. Но кампанию пришлось приостановить из-за вмешательства органов пропаганды, которые со своей стороны считали варку варенья одной из исконных добродетелей истинно немецких домохозяек. Но этикетки и плакаты были уже отпечатаны, а тут началась война, и этот вопрос никого больше не занимал, их так и наклеивали и притащили даже в глубь России.

Первый год войны Альберт и Рай прослужили в разных частях, на разных фронтах, но даже вдали друг от друга они видели одно и то же — в предместьях Варшавы и у Амьенского собора валялись все те же немецкие жестянки из-под мармелада.

Кроме того, они еще получали посылки от Неллиной матери, посылки с хорошенькими крохотными ведерочками из хромированной жести — рекламные сюрпризы, которые бесплатно выдавались каждому, кто купит три больших банки, а Неллина мать считала не лишним всякий раз сообщать им, что дела идут превосходно.

В кабачке никого не было, он глотнул пива и отставил кружку в сторону, — пиво совсем выдохлось. Потом оглядел батарею бутылок на стойке и, не поднимая головы, сказал:

— Налейте, пожалуйста, шварцвальдского кирша.

Пальцы хозяйки не шелохнулись, клубок шерсти и спицы лежали на полу, он поднял голову, взглянул на нее: хозяйка дремала. По радио женский голос тихо пел какую-то мексиканскую песню. Он встал, прошел за стойку и сам налил себе кирша, потом поднял клубок шерсти и спицы и посмотрел на часы: было три часа утра. Он медленно, почти по каплям, выпил кирш и раскурил трубку. Нелла, конечно, еще не легла, — ему так ни разу и не удалось переждать здесь, пока она уснет. Все, что он ей ни скажет, вернувшись, она выслушает с великой покорностью: про ненависть Рая к Виллиброрду, про циничность и снобизм Рая и про то,

что за пять последних лет жизни Рай не написал ни одной строчки стихов — только рекламные лозунги, и про то, что она тоже повинна в создании лживой легенды.

Он допил кирш, разбудил хозяйку, тихонько тронув ее за плечо, — она тотчас проснулась и с улыбкой сказала: — Вот ведь что со мной случилось. Не будь вас, меня бы тут могли ограбить.

Она встала, выключила радио. Альберт расплатился, вышел на улицу и подождал хозяйку, которая, опустив на дверь железную решетку, запирала ее.

— Садитесь, — сказал он, — я подвезу вас домой.

— Вот спасибо.

Был понедельник, и на улице в это время почти не видно было людей, только тяжелые грузовики с овощами шли в сторону рынка.

Из-за хозяйки ему пришлось сделать небольшой крюк, потом он высадил ее и поехал домой, по-прежнему не торопясь.

Нелла, конечно, не спала еще, в комнате было неубрано: повсюду стояли стаканы, чашки, тарелки с остатками бутербродов, раскрошившееся печенье в вазочках, пустые коробки из-под сигарет, даже пепельниц она не вытряхнула, бутылки громоздились на столе, валялись пробки.

Нелла сидела в кресле, курила и смотрела неподвижным взглядом куда-то сквозь стены комнаты. Временами ему казалось, что она уже целую вечность сидит в этом кресле и вечно будет сидеть в нем, и он пытался мысленно охватить все значение и смысл слова «вечность»; в прокуренной комнате, откинувшись, сидит она в зеленом кресле, курит и неподвижно смотрит куда-то вдаль. Она сварила кофе, кофейник накрыла старым колпаком, чтобы не остыл, и когда она сняла колпак, у Альберта было ощущение, что свежая зелень кофейника — единственная свежесть в этой комнате, где даже цветы, принесенные гостями, тонули в табачном дыму, а на столике в передней валялись еще обернутые в бумагу букеты. Неллина безалаберность всегда казалась ему очаровательной, но с тех пор как они жили вместе, он возненавидел эту безалаберность. Кофейник стоял на столе, и Альберт понял, что ночь грозит затянуться. Он ненавидел кофе, ненавидел Неллу, ее гостей, ночи, проведенные за никчемной болтовней, но стоило Нелле улыбнуться, и он забывал все: та-

кая сила таилась в единственном, неповторимом движении мускулов ее лица. И хотя он знал, что она механически пользуется своей улыбкой, он никогда не мог устоять перед нею, потому что каждый раз снова верил, что она улыбается ему. Он сел и стал автоматически повторять слова, которые говорил уже тысячу раз в такие часы и при таких же обстоятельствах. Нелла любила произносить по ночам длинные монологи о своей загубленной жизни, делать ему признания или расписывать, как могло бы все сложиться, если бы Рай не погиб. Она изо всех сил пыталась обратить время вспять, отбросить все, что произошло за эти десять лет, и увлечь его в свои сновидения.

Около половины четвертого она встала, чтобы второй раз заварить кофе. Не желая оставаться без нее в этой комнате, полной табачного дыма и воспоминаний о Рае, в комнате, которую он знал двадцать лет, Альберт собрал стаканы и грязные тарелки, вытряхнул пепельницы, отдернул зеленую штору, растворил окно и пошел за Неллой на кухню, достал вазы из стенного шкафа, наполнил водой, поставил в них цветы, а потом, стоя возле Неллы, поджидавшей, пока закипит вода на плите, жевал холодное мясо, бутерброд или один из ее аппетитных салатов, который всегда можно было найти в холодильнике.

Это и был тот час, которого она дожидалась; может быть, и возню с гостями она затевала ради этого часа, потому что двадцать лет тому назад все было точно так же — точно так же он стоял на кухне рядом с Неллой, смотрел, как она варит кофе, пробовал ее салаты — часа в три или четыре ночи — и рассматривал изречение, выложенное черными плитками по белым: *«Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок»*. А Рай всегда оставался в комнате Неллы и дремал там, тогда гости тоже засиживались допоздна: болтовня о политике заполняла эти ночи, споры с Шурбигелем, который призывал их всех вступить в организацию штурмовиков — и христианизировать ее. Такие слова, как «дрожжи», «закваска», такие фразы, как «обогащать национал-социализм сокровищами христианской мысли», — все это возмущало их. И тогда были среди гостей красивые девушки, но теперь одни из них умерли, другие разъехались в годы войны по разным городам и странам, а две из этих девушек вышли замуж за нацистов и обвенчались под дубами.

Потом они перессорились почти со всеми. Вечера они проводили над картами и диаграммами, которые приносили с фабрики, и, засидевшись до поздней ночи, дважды пили кофе, первый раз — в два часа, второй — в три.

По счастью, хоть кофейник, в котором Нелла заваривала кофе, был теперь другой, да и не один только кофейник неумолимо напоминал, что время уже не то.

Сердце его билось сильнее, когда он среди ночи проходил в свою комнату, чтобы посмотреть, как спит мальчик. Мартин очень подрос, быстро и неожиданно, на его взгляд, и ему становилось как-то боязно, когда он смотрел на разметавшегося в кровати большого, одиннадцатилетнего мальчугана, белокурого, миловидного, очень похожего на Неллу. В открытое окно уже доносились утренние шумы: дальний грохот трамвая, щебет птиц; за стеной тополей, окружавших сад, поредела и поблекла чернильная синева ночи, а наверху, в комнате, которую теперь занимал Глум, не услышишь больше, никогда не услышишь тяжелые и размеренные шаги отца Неллы, шаги крестьянина, который слишком долго ходил за плугом, чтобы менять на старости лет походку.

Прошлое и настоящее кружились, перемещаясь словно диски, отыскивающие единый центр: один вращался равномерно, ось его проходила как раз посредине, и это было прошлое, которое, как ему казалось, он видит с предельной ясностью, но настоящее вращалось гораздо быстрее прошлого, как бы вокруг иного центра, и с этим ничего нельзя было поделать, несмотря на лицо мальчика, на дыхание мальчика, которое он чувствовал на своей руке, несмотря на доброе круглое лицо Глума. Ничего нельзя было поделать, пусть даже прошедшие двадцать лет оставили неизгладимые следы на лице Неллы, и он видел их, ясно видел: морщинки у глаз, и складки жира на располневшей с возрастом шее, и губы, потрескавшиеся от непрерывного курения, и жесткие морщины на лице — все равно ничего с этим не поделать. Он поддался на ее улыбку, на автоматически расточаемое колдовство, которое растворяло время, превращало в призрак ребенка, спавшего в его постели, и между настоящим и с виду так ровно, так равномерно вращающимся прошлым внезапно вклинился ярко-желтый диск: время, никогда не существовавшее, жизнь, никем не прожитая, мечта

Неллы. Она вовлекала его в свою мечту, пусть ненадолго, на те короткие мгновенья, когда ночью на кухне варила кофе и готовила бутерброды, которые зачерствеют на тарелке. Кофейник, бутерброды, улыбка и серый молочный утренний свет за окном — все это служило реквизитом и кулисами для мучительной мечты Неллы, мечты прожить жизнь, которая не была прожита и никогда не будет прожита, мечты о жизни с Раймундом.

— Ох,— пробормотал он,— ты сведешь меня с ума.

Он закрыл глаза, чтобы не видеть головокружительного вращения: бешеного мелькания трех дисков, которые никогда не совместятся; убийственная несовместимость, в которой нет ни мгновенья покоя.

Кофе, которого никто не выпьет, бутерброды, которых никто не съест,— реквизит кровавой драмы, куда его вовлекли как единственного и необходимого статиста,— но все же его утешало, что Больда разогреет себе этот кофе, что Глум завернет эти бутерброды и возьмет их с собой на работу.

— Можешь идти,— устало промолвила Нелла, накрывая кофейник зеленой крышкой.

Он отрицательно мотнул головой.

— Почему бы нам не попытаться как-то упростить жизнь? — сказал он.

— Что же нам, пожениться, что ли? — ответила она.— Думаешь, это что-нибудь упростит?

— А почему бы и нет?

— Иди лучше спать. Я не хочу тебя мучить.

Он вышел, не сказав ни слова. Тихо прошел через прихожую в ванную комнату. Там зажег газ, пустил воду и положил шланг гибкого душа так, чтобы вода бесшумно наполняла ванну.

Он долго стоял неподвижно и тупо смотрел на воду, поднимающуюся легкими голубоватыми струйками со дна ванны, и напряженно ловил доносившиеся снаружи звуки; он слышал, как Нелла прошла к себе, потом — как она заплакала. Она оставила открытой дверь в свою комнату, пусть он слышит ее плач. В доме было тихо, прохладно. Уже светало. Занятый своими мыслями, он бросил в ванну окурок и, чуть не падая от усталости, наблюдал, как размокает окурок, как оседает на дно темно-серая пыль — это затвердевший пепел, а светло-желтые крупинки табака сперва идут густой полосой, потом расплываются по поверх-

ности воды, и вокруг каждой крупинки желтоватое облачко; сигарета потемнела, и на ней отчетливо проступила надпись: «Томагавк». Когда он курил сигареты, он для удобства выбирал бабушкин сорт, чтобы всегда быть готовым к ее набегам. Желтоватое облачко разрослось уже до размеров гриба, но вода, бившая из душа на дне ванны, выталкивала наверх расплывавшееся, блекнувшее облачко, не давала ему опуститься, а внизу, на чистом синем дне ванны кружились черные затвердевшие частички пепла и неведомая сила медленно увлекала их к стоку.

Нелла продолжала плакать, дверь оставалась открытой, он выключил вдруг газ, закрыл кран, вытащил за никелированную цепочку пробку из ванны и проследил, как желтоватое табачное облачко исчезло в водовороте.

Он погасил свет и направился к Нелле. Она курила и рыдала. Он остановился в дверях и суровым голосом, удивившим его самого, крикнул:

— Чего ты, собственно, хочешь?

— Войди, присядь,— ответила она. Улыбка у нее не сразу получилась, и это тронуло его; не часто с нею такое случалось. Он сел, взял сигарету из пачки, которую она протянула ему, а она снова улыбнулась и теперь уже широко; казалось, что кто-то нажал тайную пружину; как фотограф пользуется лампой-вспышкой, так она пользовалась своей улыбкой,— она славилась ею, но теперь эта улыбка утомляла его, как утомлял и вид ее нежных белых рук, прославленных не меньше, чем ее улыбка; она не пренебрегла и самой дешевой уловкой: положила ногу на ногу и чуть откинулась назад, чтобы виднее была ее красивая грудь.

В ванной забулькали остатки воды: короткий вскрип, и уже не слышен больше успокоительный шум.

— Замуж,— тихо сказала она,— я не хочу больше. На это я больше не пойду. Если хочешь, я тут же стану твоей любовницей, ты это знаешь, и буду тебе вернее, чем жена, но замуж я больше никогда не выйду. С тех пор как я по-настоящему поняла, что Рая больше нет, я часто думала, что лучше мне было бы вообще не выходить замуж: к чему этот маскарад, это кривлянье, эта убийственная серьезность в браке — и страх вдовства? Гражданская регистрация, венчание в церкви, а потом является какое-то ничтожество и посылает твоего мужа на верную смерть. Три миллиона, четыре

миллиона этих торжественных союзов разрушено войной: вдовы, вдовы — у меня нет ни малейшего желания быть вдовой, и ничьей женой я тоже не хочу быть, и детей я больше иметь не хочу — вот мои условия.

— А мои ты знаешь,— сказал он.

— Конечно,— спокойно ответила она.— Тебе надо жениться и усыновить мальчика, и потом ты, вероятно, захочешь собственных детей.

— Спокойной ночи,— сказал он и хотел было встать.

— Нет, не уходи,— сказала она ровным голосом,— сейчас, когда становится чуть веселей, ты хочешь бежать. Ради чего нужно так корректно, так педантично, так строго придерживаться общепринятой морали,— я этого просто не понимаю.

— Ради мальчика. Все твои мечты ничего не стоят по сравнению с ним. И потом, тебе уже почти сорок.

— При Рае все было бы хорошо, и я была бы верна ему, и у нас бы родились еще дети, но смерть его меня сломила, как ты изволишь выразаться, и мне больше не хочется быть ничьей женой. Ты ведь и так Мартину вместо отца. Тебе этого мало?

— Боюсь,— сказал он,— что ты выйдешь за кого-нибудь другого и мальчик достанется ему.

— Значит, ты любишь мальчика больше, чем меня?

— Нет,— сказал он тихо,— его я люблю, а тебя — нет. Здесь не может быть больше или меньше. Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы влюбиться в тебя, но ты достаточно красива, и мне было бы приятно жить с тобой,— но теперь я так не могу. Я очень часто думаю о Рае, да и мальчик все время возле меня. Вот в чем дело.

— А,— сказала она,— теперь я знаю, почему я за тебя не выйду: просто потому, что ты меня не любишь.

— Зато ты с некоторых пор уговорила себя, что ты меня любишь. Это совпадает с твоими мечтами.

— Нет,— ответила она,— я себя не уговариваю и знаю, что это не так. Но у меня с тобой получается, как у тебя со мной. Раньше это называлось поговорить откровенно, но вот откровенности у нас как раз и не хватает. Говори откровенно, если тебе это по душе.

Альберт хотел встать, пройти по комнате или подойти к окну, но ему часто случалось видеть в кинофильмах, как мужчины во время откровенного разгово-

ра с женщиной шагают по комнате. Он остался сидеть в неудобном кресле и взял сигарету, предложенную ему Неллой.

— Господи,— сказал он,— говорить о любви уже просто нелепо. Разве мы с тобой не расхохотались бы, если бы в один прекрасный день я заявил: «Я люблю тебя!»

— Да, пожалуй.

— И потом, это разные вещи — жить со вдовой своего друга или жениться на ней,— а вот жениться на женщине, которая живет мечтами, словно наглотавшись морфия, на это я пошел бы только ради Мартина, но лишь сейчас я начинаю понимать, что ни на одной нельзя жениться только ради ее ребенка.

Нелла расплакалась, и он все-таки поднялся с кресла и зашагал по комнате, взволнованный и смущенный, хотя он столько раз видел все это в кинофильмах.

— Но одного я жду от тебя — я и все мы: чтобы ты стала хоть немного осмотрительней ради мальчика.

— Ты заблуждаешься, и все вы заблуждаетесь: вы считаете меня чуть ли не проституткой, но после смерти Рая я не знала ни одного мужчины.

— Тем хуже,— сказал он,— ты их всех взвинчиваешь своей улыбкой, как дети заводных петушков. Нет, несмотря ни на что, нам надо бы пожениться, мы могли бы тихо и спокойно жить с мальчиком и не возиться со всякими идиотами, которые беззастенчиво воруют у нас время, мы могли бы вырваться из этой чертовой сутолоки, уехать в другую страну, и, кто знает, может быть, однажды на нас снизошло бы, как неожиданный дождь, как гроза, то, что до сих пор называлось любовью,— Рай ведь мертв,— и он повторил еще суровой и жестче: — Мертв.

— Это звучит так, как будто ты этому рад,— сказала она.

— Ты прекрасно знаешь, что, хоть и по-другому, мне было ничуть не легче потерять его — чем тебе. Мне кажется, что куда больше женщин, на которых можно жениться, чем мужчин, с которыми можно дружить. А женщинам, с которыми можно переспать, вообще нет числа. Так или иначе, а Рай погиб... И возможностей у тебя не так уж много: быть вдовой или стать женой другого человека; ты же пытаешься занять какое-то

третье, промежуточное положение, а такого не существует.

— Но оно может возникнуть,— поспешно перебила она,— положение, которому нет имени, но время даст ему имя. О, как я вас всех ненавижу за то, что вам кажется, будто жизнь идет своим чередом. Посыпать смерть пеплом забвенья, как лед посыпают золой. Ради детей, ах, ради детей: это прекрасно звучит и служит прекрасным оправданием; наполнить мир новыми вдовами, новыми мужьями, которым суждено погибнуть и сделать своих жен вдовами. Заключать новые браки... Жалкие вы ничтожества. Неужели вы ничего лучше не придумаете? Да, я знаю, знаю.— Она встала, пересела в другое кресло и взглянула на портрет Рая над своей кроватью.— Я знаю,— со злостью повторила она, подражая голосу патера Виллиброрда: — «Свято храните дитя и дело вашего супруга. Брак есть таинство. Браки заключаются на небесах». И они улыбаются, как авгуры, и молятся в своих церквах, чтобы храбрые мужчины, здоровые и невредимые, бодро, весело шагали на войну, чтобы не переставая работали фабрики вдов. Хватит почтальонов, чтобы принести эту весть, и попов тоже хватит, чтобы остороженько подготовить вас к этой вести. Уж если есть человек, который сознает, что Рая нет в живых, то это я. Это я знаю, что его нет со мной, что его нет и никогда больше не будет на этом свете, знаю совершенно точно — и я начинаю ненавидеть тебя за то, что ты всерьез собираешься вторично превратить меня в потенциальную вдову. Если начать пораньше, с шестнадцати, как я, например, то до блаженной кончины можно отлично успеть пять или шесть раз побывать во вдовах и все же остаться молодой, как я. Торжественные клятвы, торжественные союзы, и с кроткой улыбочкой тебе преподносят тайну: браки заключаются на небесах. Ладно, но тогда пустите меня на небо, где мой брак будет действительно заключен. Не хочешь ли ты сказать мне, что я не в силах уничтожить смерть, наверно, ведь хочешь?

— Это я как раз и собирался сказать.

— А я ничего другого и не ожидала. Роскошное изречение, дорогой мой, можешь гордиться. Не хотел ли ты еще сказать мне, что можно начать новую жизнь?

— Может, и хотел.

— Да перестань ты, нельзя забыть прежнюю... а начинать новую жизнь... по-твоему, это новый брак... с тобой...

— Ну и хватит,— взорвался он,— не воображай, пожалуйста, что я только о том и думаю, как бы жениться на тебе, просто я считаю это единственно разумным.

— Очень приятно слышать,— великолепно сказано, ты мастер делать комплименты.

— Извини, пожалуйста, я совсем не то хотел сказать,— он улыбнулся,— я вовсе не прочь жениться на тебе.

— Час от часу не легче. Ты хочешь сказать, что ты не умер бы от этого.

— Ерунда,— сказал он,— ты отлично знаешь, что ты мне нравишься и что ты красива.

— Но не совсем в твоём вкусе, да?

— Вздор,— сказал он,— и я продолжаю утверждать, что начать новую жизнь можно и должно.

— А теперь уходи,— сказала она,— уходи.

Уже совсем рассвело. Он встал и задернул зеленую штору.

— Ладно,— сказал он,— ухожу.

— В глубине души ты, наверное, думаешь, что ты еще меня обломаешь и я выйду за тебя, но ты ошибаешься.

— Тебе ванна нужна?

— Нет, я помоюсь на кухне, уходи, пожалуйста.

Он прошел в ванную, открыл кран, зажег газ, снова положил душевой шланг так, чтобы вода текла бесшумно, а часы повесил на гвоздь, на котором обычно висел шланг. Вернулся к Нелле — она чистила зубы на кухне.

— Ты забываешь,— сказал он,— что мы уже пытались однажды жить именно так, как тебе хочется. Ты вообще очень многое забываешь.

Она прополоскала рот, поставила стакан и бездумно провела пальцами по изразцам.

— Да,— сказала она,— тогда я не хотела этого из-за мальчика — он был еще совсем крошкой,— я просто не могла. Прости, пожалуйста, об этом я никогда не вспоминала...

Тогда, сразу после войны, он очень желал ее. Она была первой женщиной, с которой он жил под одной

кровлей после пятилетнего пребывания среди мужчин, и она была красивой женщиной. Через несколько дней после возвращения он как-то ночью натянул брюки, накинул пиджак поверх ночной рубашки и босиком направился к ней. У нее еще горел свет, она сидела в постели и читала, накинув на плечи большую черную шаль, возле кровати тихо гудела не совсем исправная электрическая печка. Нелла улыбнулась, когда он вошел, посмотрела на его необутые ноги и вскрикнула: «Ты с ума сошел, ты же простудишься — садись здесь вот». На дворе было холодно, и в комнате пахло картошкой, мешки приходилось держать во всех платяных шкафах, потому что в подвал уже несколько раз наведывались воры. Нелла захлопнула книгу, указала на старую баранью шкуру, лежавшую у ее кровати, потом кинула ему пушистую, вязаную красную кофточку: «Укутай ноги». Он ничего не сказал, сел, укутал ноги и взял сигарету из пачки, лежавшей на ночном столике. Потом уселся удобней и ощутил благодатное тепло раскаленной печки. Нелла не говорила и не улыбалась. Ребенок спал в коляске возле книжного шкафа, он был простужен и ровно посапывал. Без пудры и помады Нелла выглядела старше, чем днем, она была бледная и усталая, ее дыхание отдавало винным перегаром, он отчетливо слышал это. В смущении он устался на книгу, которую она положила на ночной столик: Тереза Декейру. На нижней полке столика в беспорядке лежало ее белье. Ему было очень неловко, что он так, внезапно и без стука, вошел к ней, и он, избегая ее взгляда, упорно смотрел мимо нее — на стену, где висел портрет Рая, или прямо перед собой, но даже когда отводил взгляд от портрета, он с мучительной ясностью видел лицо Рая — беспокойное, сердитое лицо человека, которого злит эта случайная, бессмысленная смерть.

— Хочешь выпить? — спросила Нелла, и он был благодарен ей за то, что она смогла улыбнуться при этом.

— Да, с удовольствием, — ответил он.

Нелла выудила из-за кровати стакан и бутылку с мутной, коричневатой водкой, налила ему. Она ничего не говорила, она не поощряла его и не расхолаживала, она чуть настороженно ждала.

Тогда он сказал:

— Выпей со мной.

И она согласно кивнула, выудила из той же щели кофейную чашку, выплеснула осадок прямо через голову на паркет и подставила ему чашку. Он налил ей, и они оба выпили и закурили, а печка за его спиной гудела, как большая ласковая кошка. Не успели они допить, как он погасил свет и, оставаясь в луче раскаленной печной спирали, сказал: «Если не хочешь, скажи, и я уйду». «Нет»,— ответила она и смущенно улыбнулась, он так и не понял, что значило в это мгновение ее «нет»: «да» или «нет». Он выключил печку, дождался, пока потемнеет раскаленная спираль, и склонился над ее постелью. Она в темноте обхватила его голову руками, словно петлей, поцеловала его в щеку и шепнула: «Лучше бы ты ушел», и он испытал странное разочарование — его разочаровал рот Неллы, большим и дряблым показался он ему, разочаровал поцелуй Неллы, не таких он ждал от нее. Он снова зажег свет, включил печку и решил, что все к лучшему, что ему нечего стыдиться, Нелла держалась очень хорошо, и он не испытывал ни малейшего разочарования оттого, что его желание не осуществилось. Едва вспыхнул свет, Нелла улыбнулась, снова, словно петлей, обхватила рукой его шею и поцеловала в другую щеку, и он снова почувствовал разочарование. Нелла сказала: «Мы не должны этого делать», и он вернулся в свою комнату, и больше об этом разговора не было, и он обо всем забыл, и лишь сегодня в ванной комнате все снова вспомнилось.

Нелла поставила чашку на полочку и задумчиво поглядела на него.

— Да, тогда я не хотела из-за ребенка...

— А сейчас,— сказал он,— я не могу, и тоже из-за мальчика.

— Как странно,— улыбнулась она,— что я об этом забыла.

— Многое забывается,— сказал он, тоже улыбаясь,— и нам начинает казаться, будто никогда ничего и не было. Надеюсь, ты не обиделась на меня за все, что я наговорил.

— Мы постарели с тех пор на девять лет,— сказала она.— Покойной ночи.

Он вернулся в ванную и вскоре услышал, как Нелла прошла к себе и закрыла за собой дверь. Он разделся, сел в ванну, теперь его уже сердила усталость, которая, конечно, овладеет им часам к девяти. Он лю-

бил рано ложиться, спать крепко и долго, утром рано вставать, завтракать вместе с мальчиком и помогать ему собираться в школу, потому что хорошо понимал, как тяжело ребенку, когда он утром встает раньше всех, завтракает один и уходит в школу, зная, что все в доме могут еще спокойно спать. Родители Альберта, владельцы небольшого ресторанчика, раньше трех-четырёх никогда не ложились, и все годы своего детства он утром проходил через накуранный зал в большую и холодную кухню. Там пахло застывшим жиром, прокисшими салатами, на полочке лежали его бутерброды, а на газовой плите стоял в алюминиевой кастрюльке кофе. Шипение газа в промозгом холоде дурно пахнущей кухни, наспех проглоченный горячий кофе с несвежим привкусом, бутерброды с большими, наспех нарезанными кусками мяса, которое он не любил. С тех пор как Альберт покинул отчий дом, он мечтал о том, чтобы рано ложиться и рано вставать, но судьба вечно сводила его с людьми, которые делали неосуществимым такой ритм жизни. Он стал под холодный душ, потом обтерся и тихо прошел на кухню. Глум уже успел побывать здесь, пока он сидел в ванне. Кофейник Глума был пуст, теплый колпак, накрывавший его, лежал рядом. Больда, судя по всему, тоже ушла. На столе валялись крошки кислого черного хлеба.

Он прошел к себе и хотел разбудить Мартина, но Мартин уже не спал и улыбнулся ему. Мальчик явно был рад, что Альберт здесь и будет с ним завтракать.

— Прости,— сказал Альберт,— что вчера вечером, когда ты пришел из школы, меня не было дома — пришлось уйти. Мне позвонили. Ну, пора вставать.

Когда мальчик вскочил с постели и встал во весь рост, Альберт испугался: мальчик вырос, а Нелла упорно не желала замечать этого, как и многое другое. Он оставил мальчика и вернулся на кухню, чтобы сварить яйца и приготовить бутерброды. В комнате у Неллы было тихо, и на какое-то мгновение он понял ее: ведь и его пугало, что мальчик так быстро вырос и, несомненно, живет в совсем ином мире, чем они.

Дом все больше приходил в негодность, хотя денег на то, чтобы содержать его в порядке, хватило бы с избытком. Но никому не было до этого никакого дела.

Крыша текла, и Глум часто жаловался, что пятно на потолке в его комнате все растет. Если шел сильный дождь, с потолка просто капало, и тогда, охваченные жаждой деятельности, они поднимались на чердак, чтобы подставить таз под дыру на крыше, и Глум получал небольшую передышку. Срок этой передышки зависел от размеров таза, а также от интенсивности и продолжительности дождя: если таз был неглубокий, а дождь сильный и продолжительный, передышка кончалась очень скоро, вода в тазу текла через край, и темное пятно на потолке увеличивалось. Тогда на чердаке подставляли таз поглубже. Вскоре пятна стали показываться и на потолке у Больды, и в свободной комнате, где раньше жил дедушка. А в ванной как-то отвалился большой кусок штукатурки. Больда вымела мусор, а Глум приготовил странную смесь из извести, песка и мела и замазал ею обнажившуюся дранку.

Нелла чрезвычайно гордилась своей расторопностью: как-то раз она съездила в город и привезла десять больших цинковых ванн, их расставили по всему чердаку, и они покрыли почти весь потолок. «Теперь не потечет»,— заявила она, истратив на ванны столько денег, что на них, пожалуй, можно было бы сделать капитальный ремонт крыши. Теперь, когда шел дождь, они слушали перезвон капель, с глухим и грозным шумом падали они в пустые, гулкие ванны. Невзирая на ванны, Глуму все чаще приходилось замазывать потолки составом из извести, песка и мела. Лестницы и костюм Глума в таких случаях всегда были испачканы, и Мартин, помогавший ему, тоже бывал измазан с головы до ног, его костюм сдавали тогда в химчистку.

Изредка на чердак поднималась бабушка, дабы ознакомиться с повреждениями. Она лавировала среди цинковых ванн, ее тяжелые шелковые юбки задевали края ванн, и по чердаку проносился тогда веселый звенящий шорох. Для таких случаев бабушка надевала очки, и вся ее фигура излучала распорядительность и чувство долга. В ходе осмотров она решала порыться в старых записях и отыскать адрес кровельщика, который прежде выполнял такие работы по дому. Потом она на несколько дней уединялась в своей комнате, со всех сторон окружала себя блокнотами и папками, ворошила старые бумаги и с головой уходила в изучение старых счетов. Но адрес кровельщика так и не был

найден, хотя по ее требованию ей перетаскали из архивов фабрики все бумаги. Подшивку за подшивкой, подобранные по годам, доставляли на маленьком красном автомобиле, пока не завалили папками всю ее комнату. Успокоилась она только тогда, когда добралась до самого первого года — заплесневевших счетных книг 1913 года.

Тогда она позвала Мартина к себе, и он должен был часами слушать и вникать в тайны ароматических мармеладов, которые придумал и продавал по всему свету его дедушка. Первая мировая война вызвала небывалый расцвет молодого предприятия, и свою лекцию бабушка закончила демонстрацией диаграмм и таблиц. Аккуратно вычерченные тушью линии, похожие на поперечный разрез горы, свидетельствовали о том, что голодные годы благоприятны для мармеладных фабрик. Год 1917. «В этом году, дорогой, родилась твоя мамочка». 1917 год — одинокая вершина на диаграмме, высота, которая до самого 1941 года оставалась недостижимой. Но мальчику, которого заставили изучать все эти таблицы, бросилось в глаза, что крутой подъем начался уже с 1933 года. Он спросил бабушку, в чем дело, потому что побаивался ее и хотел сделать вид, будто ему все это интересно. В ответ бабушка разразилась длинной и восторженной речью; она говорила о летних лагерях, о многолюдных сборищах, партайтагах и в заключение торжественно ткнула длинным желтоватым указательным пальцем в год 1939, где отмечался новый взлет.

— Все войны, которые вела Германия, связаны с ростом производительности мармеладных фабрик, — заключила она.

Когда сквозь толщу бумаг она добралась до 1913 года и объяснила мальчику «самое необходимое», она позвонила в правление завода, красный автомобильчик сделал несколько рейсов, и все сорок лет были водворены на прежнее место.

А о кровельщике тем временем накрепко забыли, цинковые ванны так и остались на чердаке, и каждый дождь превращался в превосходный, хотя и несколько однообразный концерт. Но оконные рамы тоже нуждались в починке, а в подвале месяцами стояла вода, потому что испортился насос. Когда Больда затевала большую стирку, вода из узкой цементированной трубы заливала котельную, мыло и грязь покрывали це-

ментный пол скользкой, похожей на плесень коркой. Отовсюду несло гнилью, а запах картофеля, который хранился в решетчатых ящиках и прорастал вовсю, привлекал крыс.

Альберт об этом даже и не знал. Крыс он обнаружил только тогда, когда после длительного перерыва заглянул в подвал. После ожесточенной стычки с Неллой он решил отыскать в большом ящике письма, которые Рай писал ему в Лондон: он хотел доказать, что вернулся из Лондона не по просьбе Рая, а по просьбе Неллы. Альберт обычно в подвал не заглядывал и испугался, когда увидел, какая там грязь: всюду стояли покрытые пылью ящики, по углам валялись какие-то тряпки, а у входа в прачечную стояло полмешка сгнившей муки, и когда Альберт зажег свет, с мешка соскочило несколько крыс. С тех пор как Альберт побывал в военной тюрьме под Одессой, крысы внушали ему страх, его затошнило, когда он увидел черные тени, пронесшиеся по подвалу. Он бросил им вслед несколько кусков кокса и, пересилив себя, медленно подошел к большому коричневому ящику, который стоял под газовым счетчиком.

Рай лишь изредка писал ему, он получил от него не больше десяти писем, и Альберт помнил, что перевязал их шпагатом и спрятал в этот ящик. Сверток с Неллиными письмами был гораздо больше, а письма Лин едва поместились в двух коробках из-под обуви. Черная пыль и мышиный помет покрыли бумаги. В подвале было темно, он боялся крыс. В немецкой военной тюрьме под Одессой они ночью шмыгали по его лицу, и, чувствуя, как мягкое волосатое брюшко прикасается к его лицу, он пугался собственного крика. Он вытащил из ящика загрязненные пачки бумаг, проклиная бесхозяйственность Неллы и бабушки.

Из маленького чулана в углу подвала, где стояли пустые ящики и банки из-под повидла, послышалась вдруг какая-то возня и грохот жести. Он прошел туда, открыл решетчатую дверь и вне себя от злости стал швырять в темный угол все, что попадало ему под руку: черенок от метлы, разбитый цветочный горшок, полозья от старых санок Мартина, и когда стих поднятый им грохот, в чулане тоже затихло.

В ящике оказались его собственные письма, которые он писал Нелле до войны и во время войны, и теперь, впервые за десять лет перебирая их, Альберт ре-

шил как-нибудь обязательно все перечитать. Здесь, наверное, сохранились и стихи Рая, и письма Авессалома Биллига, и то, что он хотел бы найти прежде всего — письма Шурбигеля, без сомнения снабженные комментариями Рая, письма за 1940 год, когда Шурбигель воспевал победу над Францией и в газетных статьях призывал немецкую молодежь покончить с галльским декадансом. Должны здесь быть и кой-какие вещи Рая в прозе и много его писем довоенной поры.

Сейчас он взял только маленькую пачку писем Рая, взял письма Неллы и вдруг замер, увидев на дне ящика большую коробку из-под мыла с красновато-коричневой надписью: «Санлайт — Солнечный свет». Он вытащил ее, поколотил об стену, чтобы вытряхнуть пыль, прихватил пачки писем и поднялся наверх. Нелла сидела у себя в комнате и плакала. Она не закрыла дверь, чтобы видеть, когда он вылезет из подвала, но он прошел по коридору мимо открытой двери. Он стыдился бессмысленного спора, который они вот уже много лет — периодически — возобновляли, приводя одни и те же доводы и кончая каждый раз примирением.

Он отнес коробку «Санлайт» в свою комнату, положил на нее обе пачки писем и пошел в ванную, чтобы основательно пообчиститься. Мысль о том, что внизу, в подвале, возятся крысы, возмущала его, и, охваченный внезапной брезгливостью, он решил переменить белье.

Когда он возвращался из ванной, дверь в комнату Неллы все еще была открыта.

— Будешь пить кофе? — окликнула она.

— Сейчас, — отозвался он.

Он выписал из телефонной книжки номера каменщика, кровельщика, монтера и морильщика крыс, позвонил всем четверым и попросил их зайти. На все это ушло ровно восемь минут, после чего он отправился к Нелле и сел в кресло против нее.

— Ты знала, что у нас в подвале крысы?

Она пожала плечами.

— Да, Больда как-то жаловалась.

— Картофель прорастает, — возмущенно продолжал он, — кругом валяются гнилые продукты, у входа в прачечную стоит полмешка заплесневелой муки. Вся эта мерзость разлагается в подвале, а жестянки с остатками повидла не промыты, в них резвятся крысы. Просто черт знает что!

Нелла наморщила лоб и промолчала.

— С той минуты как я попал в эту проклятую семью, я только и делаю, что борюсь против грязи и бесхозяйственности, но, после того как умер твой отец, я один не могу с вами сладить. Скоро в подвал нельзя будет войти без пистолета, и ты могла бы там внизу накрутить собственный экзистенциалистский фильм — и почти без затрат...

— Пей кофе,— сказала она.

Он придвинул к себе чашку, размешал молоко.

— Я почию крышу и потолки, очищу погреб и отремонтирую насос. Неужели ты думаешь, что мальчику полезно видеть всю эту гадость и привыкать к ней?

— Я и не знала, что ты такой поборник порядка, что тебя может одолевать такая жажда деятельности,— устало ответила она.

— Ты вообще многого не знаешь. Ты не знаешь, например, что Рай на самом деле был хороший поэт, невзирая на отвратительную шумиху, которую они теперь поднимают вокруг его имени,— и я намерен кое-что сделать, я разыщу в ящике письма Шурбигеля, прежде чем крысы сожрут эти бесценные документы.

— Рай был моим мужем,— сказала она,— и я любила его. Я любила в нем все, но стихи его я любила меньше всего,— я не понимала их. Я предпочла бы, чтобы он не был поэтом и жил до сих пор. Нашел ты наконец письма, которые искал?

— Да,— ответил он,— я нашел их, и мне очень жалко, что я ввязался в спор из-за этой старой истории, о которой и вообще-то не следовало вспоминать.

— Нет, все очень хорошо. Я хотела бы прочесть эти письма, хотя это совсем не нужно,— я ведь знаю, что ты прав, что я повинна в твоём возвращении из Лондона, и все же я хотела бы прочитать эти письма. Мне это пойдет только на пользу.

— Можешь их прочитать и оставить себе, по мне, можешь их даже сжечь. Я вовсе не стремлюсь доказать тебе, что я прав. Просто всегда кажется, что было бы лучше, если бы много лет назад поступил бы не так, а по-другому. Но все это вздор.

— Я еще раз прочитаю письма Рая. Прежде всего я хочу убедиться, верно ли я думаю, что он сам хотел умереть?

— Когда будешь читать, не выбрасывай ни одного,

где речь идет о Шурбигеле, и ни одного из тех, что адресованы самому Раю.

— Нет, конечно. Я ничего не стану выбрасывать. Я просто хочу знать, что же с ним было. Ты ведь знаешь, отец мог так устроить, чтобы его не брали в армию. Я уверена, что он мог даже от войны его спасти. Отец имел деловые связи в самых высоких кругах; но Рай не захотел. Он не хотел эмигрировать, не хотел получить освобождение от военной службы, хотя больше всего на свете ненавидел армию. Иногда мне кажется, что он просто хотел умереть. Я часто думаю об этом, и это одна из причин, почему свою ненависть к Гезелеру мне всегда приходится подогревать искусственно.

Альберт встретил ее выжидающий взгляд и спросил:

— С чего ты вдруг вспомнила о Гезелере?

— Да так, я просто подумала о том, что ты ведь никогда не говоришь о Рае. Ты-то должен бы все знать, но ты никогда ни о чем не говоришь.

Альберт молчал. Последние недели перед смертью Рай совершенно отупел, он еле волочил ноги, и вся их дружба сводилась теперь к тому, что они делились сигаретами и помогали друг другу устраиваться на привалах и чистить оружие. Рай устал, как большинство пехотинцев, от которых он почти не отличался. Но при виде некоторых офицеров он загорался ненавистью.

— Есть и еще кое-что, о чем ты никогда не говорил,— сказала Нелла.

Альберт взглянул на нее, протянул ей пустую чашку, она налила ему кофе; пока он размешивал молоко и дробил ложечкой сахар в чашке, он выгадывал время, чтобы все обдумать.

— Много тут не скажешь,— ответил он.— Рай устал, он был очень подавлен, и если я не говорил об этом, то только потому, что сам ничего толком не знаю. Немного, во всяком случае.

Он поймал себя на том, что думает о большой коробке «Санлайт» и о ворчливой маленькой продавщице, которая дала ему тогда эту коробку: было уже темно, а ему совершенно не хотелось идти домой в пустую комнату, где дымила печка, где горький жирный чад пропитал всю мебель, всю одежду, все постельное белье, где на табурете еще стояла спиртовка Лин, залпанная супами, которые всегда у нее убегали.

— Рай как-то отупел и опустился,— продолжал Альберт, когда Нелла взглянула на него,— но я уже застал его таким, когда вернулся из Англии. В нем убили душу, опустошили; за четыре года он не написал ничего, что могло бы его порадовать.

Альберту припомнилась напряженная тишина, которая воцарилась сразу после объявления войны: на какое-то мгновение стало тихо во всем мире, пока не пришла в движение первая шестеренка в готовом к пуску механизме, но вот она совершила оборот, механизм заработал, усугубляя тупость и покорность.

Когда Нелла протянула ему сигарету, он отрицательно покачал головой, но по привычке полез в карман за огнем и дал ей прикурить, избегая, однако, встречаться с ее выжидающим взглядом.

— Правда,— сказал он,— никакой тайны в этом нет. Но поэту, разумеется, не очень-то приятно всюду наткаться на рекламные лозунги, которые он сам сочинил, на рекламу для мармелада. «Таков, значит, мой вклад в войну против войны»,— сказал мне как-то Рай и со злостью отшвырнул ногой жестяное ведро с фабрики твоего отца. Дело было на базаре, в Виннице, какая-то старушка продавала печенье — ореховое печенье — в чистеньком ведре из-под мармелада; все печенье покатило по земле, мы с Раймундом помогли женщине собрать печенье, уплатили ей сколько следовало и извинились перед ней.

— Продолжай,— сказала Нелла, и он увидел, что она крайне возбуждена, словно ждет самых неожиданных разоблачений.

— Вот и все,— сказал он.— Через две недели Рай погиб, но даже дорога к смерти была для него усеяна жестяными банками из-под мармелада: не сладко нам было всюду наткаться на это добро, это просто изводило нас, а другие ничего не замечали, только... ты ведь рассердишься и возненавидишь меня за то, что я тебе все это рассказываю.

— А тебе так важно, ненавижу я тебя или нет?

— Конечно,— ответил он,— мне это очень важно.

В течение всего разговора он не отрывал от Неллы глаз, смотрел ей в лицо, но выражение ее лица не менялось. Правда, она достала из пачки другую сигарету и раскурила ее, хотя старая, еще не докуренная, дымилась в пепельнице.

— Обо всем этом, Нелла, я больше не хотел бы го-

ворить, мы знаем, что Рай мертв, мы знаем, как он умер, а выискивать причины бессмысленно.

— Это правда, что он ни о чем больше с тобой не говорил, как ты меня всегда уверяешь?

— Нет, он уже не мог говорить, у него было прострелено дыхательное горло. Он только смотрел на меня, но я ведь знал его, и в его взгляде, в пожатии его руки я мог прочесть, что он зол на войну, зол, может быть, на самого себя, и что он любит тебя, и что он просит меня позаботиться о ребенке. Ты писала ему, что ждешь ребенка. Вот и все.

— Он не молился? Ты ведь всегда говорила...

— Может быть, во всяком случае, он перекрестился, но об этом я никому и никогда не скажу, а если ты расскажешь кому-нибудь из этих свиней, я убью тебя. То-то была бы для них пожива, и легенда полностью была бы завершена.

Нелла увидела дымящуюся в пепельнице сигарету, улыбнулась и погасила ее.

— Обещаю тебе никому ничего не рассказывать.

— Было бы неплохо, если бы ты вообще выставила всех этих людей.

— А мальчику ты все расскажешь?

— Со временем.

— Ну, а Гезелер?

— Что «Гезелер»?

— Ничего, просто я иногда упрекаю себя за то, что не испытываю неугасимой мстительной ненависти к нему.

— По существу, он с Шурбигелем великолепная пара. Что такое, что с тобой? Почему ты вдруг покраснела?

— Оставь меня, оставь меня в покое на несколько дней: я должна на досуге многое продумать. Дай мне, пожалуйста, письма.

Он допил кофе, пошел в свою комнату, взял обе пачки писем и положил их на стол перед Неллой.

Нелла так и не прикоснулась к этим письмам; спустя несколько недель он увидел, что обе пачки лежат неразвязанными на ее письменном столе.

Альберт по целым дням возился с рабочими, совещался с ними, производил расчеты. Насос в подвале отремонтировали, крышу — тоже. На втором этаже за-

ново оштукатурили потолки. Больда могла теперь во время стирки спускать воду в водосток, подвал очистили и выморили крыс. Из подвала выбросили заплесневелые продукты, горы тряпья и картофель с длинными, как спаржа, ростками.

Альберт велел заменить затемняющее свет зеленое стекло в окнах передней, и там стало светло.

Бабушка только головой покачивала, глядя на всю эту кипучую деятельность, она теперь чаще выходила из своей комнаты, следила за рабочими и сделала потрясающее заявление, что сама оплатит ремонт. Нелла высказала догадку, что это решение продиктовано исключительно любовью бабушки к чековой книжке, которой она пользовалась с чисто детской гордостью. Она очень охотно извлекала ее из ящика письменного стола, раскрывала, заполняла с министерским видом голубоватый чек, прикладывала к нему промокательную бумагу и элегантно жестом отрывала его от корешка. Быстрый свистящий шелест отрываемого чека вызывал на ее большом розовом лице блаженную улыбку. С того мгновенья, когда она, двадцатитрехлетняя женщина, сорок лет тому назад стала обладательницей чековой книжки, ее детская радость по поводу того, что она одним росчерком пера делает деньги, ничуть не уменьшилась. Она изводила уйму чековых книжек, потому что расплачивалась чеками за всякий пустяк, даже за еду в кафе и ресторанах, а нередко случалось, что она посылала Мартина с чеком на четыре марки к лотошнику — купить четыре десятка «*Томагавка*». А если платить было уж совсем не за что — и сигаретница полна, и холодильник набит всякими продуктами, — тогда бабушка бродила по дому и всем предлагала деньги ради того только, чтобы услышать скрипучую, как звук пилы, мелодию отрываемого чека. С сигаретой во рту, с чековой книжкой в руках — при появлении крови в моче она точно так же таскала с собой ночной горшок, — бабушка сновала из комнаты в комнату и всем говорила: «Если тебе нужны деньги, я могу тебе подкинуть», после чего немедленно усаживалась на стул, открывала авторучку — ею она тоже пользовалась с чисто детской гордостью — и спрашивала: «Сколько тебе?» Глум в таких случаях держался лучше всех, он называл огромную сумму, подсаживался к ней, долго торговался, затем наконец бабушка заполняла чек и выдергивала его. Но не успевала она выйти,

Глум тут же разрывал чек — точно так же поступали и все остальные — и бросал обрывки в мусорный ящик.

Но больше всего бабушка сидела у себя в комнате, и никто толком не знал, чем она весь день занимается. Она не подходила к телефону, не открывала дверь на звонок. Часто она появлялась из своей комнаты только около полудня и в теплом цветастом халате направлялась на кухню, чтобы взять завтрак. Обычно слышен был только ее кашель, потому что комната бабушки всегда полна была сигаретного дыма, и дым этот узкими серыми струйками просачивался в переднюю. В такие дни никому не разрешалось видеть ее, никому, кроме Мартина, которого она звала к себе.

Если удавалось, мальчик удирал, едва заслышав бабушкин голос, но зачастую она настигала его, тащила в свою комнату, и он должен был часами выслушивать длинные нравоучения и маловразумительные рассуждения о жизни и смерти и демонстрировать свои познания в катехизисе. Больда, учившаяся когда-то с бабушкой в одной школе, ехидно посмеиваясь, не упускала случая заметить, что сама бабушка никогда не блистала по части катехизиса.

Задыхаясь в бабушкиной комнате, наполненной дымом, Мартин сидел в кресле у письменного стола, смотрел на измятую постель, на чайный столик с небрежной после завтрака посудой и следил за разнообразными оттенками дыма: синие, ослепительно синие маленькие круглые облачка выпускала изо рта бабушка. Она очень гордилась тем, что вот уж тридцать лет курит. После глубокой затяжки из ее рта вырывались густые светло-серые, с просинью, клубы дыма, профильтрованные в легких. С силой вытолкнутая струя дыма несколько секунд держалась в тяжелом, сизо-сером, насквозь прокуренном воздухе комнаты; удушливый, горький серый чад оседал на потолке, под кроватью, на зеркале, собирался в сизо-серые клубы, в густые белесые облака, напоминавшие растрепанную вату.

— Твой отец погиб, так?

— Да.

— Что означает погиб?

— Пал на поле боя, был убит.

— Где?

— Под Калиновкой.

— Когда?

— Седьмого июля тысяча девятьсот сорок второго года.

— А когда родился ты?

— Восьмого сентября тысяча девятьсот сорок второго года.

— Как зовут человека, который повинен в смерти твоего отца?

— Гезелер.

— Повтори это имя.

— Гезелер.

— Еще раз.

— Гезелер.

— Зачем пришли мы в мир сей?

— Дабы служить Богу, почитать Его и тем обрести царствие небесное.

— Знаешь ли ты, что это значит, когда у ребенка отнимают отца?

— Да,— отвечал Мартин.

Он знал. У других ребят были отцы: у Гробшика, например, был высокий белокурый отец, у Вебера — маленький, чернявый. Ребятам, у которых были отцы, приходилось труднее в школе, чем тем, у которых их не было. Таков неписанный закон. Если Веберу случалось плохо ответить на уроке, его ругали больше, чем Брилаха, когда тот не приготовит домашнего задания. Учитель был старый, седой, он сам «потерял на войне сына». О мальчиках, не имеющих отцов, говорили: «Он потерял отца на войне», об этом шептали на ухо инспекторам, если ученик запинался в их присутствии,— учителя сообщали о новичках: «Он потерял отца на войне». Это звучало так, как будто мальчик где-нибудь оставил своего отца — как зонтик, или потерял его, как теряют монету. Отца не было у семи мальчиков: у Брилаха и Вельцкама, у Нигтемайера и Поске, у Берендта, и у него самого не было отца, и у Гребхаке, но у Гребхаке был новый отец, и неписанный закон снисхождения применялся к нему не так безоговорочно, как к остальным шестерым: в снисхождении были оттенки. Полным снисхождением пользовались только трое: Нигтемайер, Поске и он — по причинам, которые ему удалось понять лишь после долгих наблюдений; у Гребхаке был новый отец, у матери Брилаха и у матери Берендта были дети не от покойных отцов, а от других мужчин. Он знал, как появляются на свет дети. Дядя Альберт объяснил ему, что они рождаются от сожительства

ва мужчин и женщин. И вот мать Брилаха и мать Берендта жили с мужчинами, которые не были их мужьями, а просто дядями. А этот факт, в свою очередь, связан еще с одним, тоже малопонятным словом: безнравственно. Но и мать Вельцкама тоже *безнравственная*, хотя у нее нет детей от Вельцкамова дяди; вот и новое открытие — мужчины и женщины могут жить друг с дружкой и не иметь детей, а если женщина живет с дядей, это *безнравственно*. Мальчики, у которых были безнравственные матери, не пользовались снисхождением в такой же мере, как дети нравственных матерей, но хуже всего приходилось тем и меньше всего снисхождения выпадало на долю тех мальчиков, чьи матери завели новых детей от дядей; обидно и непонятно, почему безнравственные матери снижали степень снисхождения. У мальчиков, имевших отцов, все было по-другому; все ясно, все понятно и никакой безнравственности.

— Слушай как следует,— говорит бабушка,— вопрос тридцать пятый. Зачем явится Христос перед концом света?

— Христос явится перед концом света, чтобы судить людей.

Интересно, а *безнравственные* тоже будут судимы? Им овладело некоторое сомнение.

— Не спи,— приказывает бабушка.— Вопрос восьмидесятый. Кто совершает грех?

— Грех совершает тот, кто по своей воле преступает Божью заповедь.

Бабушка любила гонять по всему катехизису, но ни разу еще она не поймала его на незнании.

Наконец она захлопывает книгу, раскуривает новую сигарету и глубоко затягивается.

— Вот когда ты подрастешь,— говорит она ласково,— ты сам поймешь, почему...

Но с этой минуты можно уже не слушать. После катехизиса следует длинное заключительное слово, в нем нет никаких вопросов, и потому оно не требует ни малейшего внимания: теперь бабушка начнет говорить об обязанностях, о деньгах, об ароматических конфитюрах, о дедушке, о стихах отца, начнет читать вырезки из газет, которые она заботливо приказала наклеить на плотную красную бумагу, начнет в загадочных выражениях кружить вокруг шестой заповеди.

Но даже Ниггемайер, даже Поске, у которых были вполне нравственные матери, не пользовались тем снисхождением,

схождением, каким пользовался он, и он давно уже понял, в чем тут дело: их отцы тоже погибли, их матери тоже не живут с другими мужчинами, но зато имя его отца иногда появляется на страницах газет, а у его матери есть к тому же *деньги*. Эти два важных пункта отсутствуют у Поске и у Нигтемейера; об их отцах ничего не пишут в газетах, а у их матерей *денег* или очень мало, или вовсе нет.

Иногда он мечтал, чтобы оба эти пункта отпали и для него, ему не хотелось этого чрезмерного снисхождения. Он ни с кем не делился своими мыслями, даже с Брилахом и с дядей Альбертом, и иногда по целым дням старался плохо вести себя в школе, чтобы заставить учителя оказывать ему не больше снисхождения, чем Веберу, ежедневно получавшему взбучку; Веберу, чей отец не погиб, Веберу, чей отец не имел денег.

Но учитель продолжал относиться к нему снисходительно. Это был старый, седой, усталый учитель, он «потерял на войне сына» и глядел на Мартина так печально, когда тот делал вид, будто плохо выучил урок, что Мартин, охваченный жалостью и состраданием, все-таки отвечал хорошо.

Пока заключительное слово бабушки подходило к концу, Мартин мог наблюдать, как все больше сгущается в комнате дым; только время от времени нужно было поглядывать на бабушку, чтобы ей казалось, будто он внимательно слушает, а самому продолжать думать о вещах, более интересующих его: об ужасном слове, которое мать Брилаха сказала кондитеру, о слове, которое всегда красовалось на стене в подъезде дома, где жил Брилах; можно думать и о футбольном матче, который начнется через три, четыре, от силы через пять минут на лужайке перед их домом. Бабушке осталось говорить еще минуты две, потому что она добралась уже до конфитюра, который каким-то образом соприкасался с его обязанностями. Неужели она серьезно думает, что он станет хозяйничать на мармеладной фабрике? Нет, он всю жизнь будет играть в футбол, и ему было забавно и в то же время страшно, когда он представлял себе, что будет играть в футбол двадцать лет подряд, тридцать лет подряд. Остается еще минута, — он услышал быстрый шелестящий звук — это бабушка вырвала чек из своей чековой книжки. Она всегда вознаграждала его за безукоризненное знание катехизиса и за внимание, с которым он слушал ее.

Бабушка складывает чек вдвое, он берет эту сложенную голубоватую бумажку и знает, что теперь можно уйти, нужно только поклониться и сказать: «Спасибо, милая бабушка», — и вот он уже открывает дверь, и облако дыма вырывается за ним в переднюю.

9

Два дня Альберт не брал в руки коробку «Санлайт». Он боялся ее открыть и в то же время возлагал надежды на ее содержимое: он знал, что в коробке лежит много рисунков, сделанных им в Лондоне до и после смерти Лин; он боялся, что рисунки никуда не годны, и все же надеялся, что они окажутся неплохими; ведь он обязался еженедельно сдавать серию карикатур в «Субботний вечер» и иногда целые дни слонялся из угла в угол, и ничего не приходило в голову. Он открыл коробку, в этот день он был дома только вдвоем с Глумом; мать Неллы уехала с Мартином в город. Он видел, с каким робким и растерянным лицом мальчик садился в такси. Нелла ушла в кино. Она очень изменилась, в ней появилась странная нервозность, и он догадывался, что она что-то скрывает от него. Развязывая шпагат на картонке, он решил поговорить с Неллой. На картонке еще можно было разобрать адрес, надписанный им в Лондоне: «Господину Раймунду Баху», и ему казалось, что еще слышен запах клейстера, отдававший мучной болтушкой, которую он замешал на воде из оставшейся у Лин муки, чтобы наклеить бумажку с адресом на картон.

Он развязал узел, размотал шпагат, но медлил открывать картонку. Он выглянул в сад, где друзья Мартина, Генрих и Вальтер, играли в футбол; разметив ворота пустыми консервными банками, они молча, ожесточенно, но с явным удовольствием гоняли мяч. Глядя на мальчиков, он вспомнил год, прожитый с Лин в Лондоне, чудесный год, когда он был очень счастлив, хотя Лин и после свадьбы сохранила свои «холостяцкие» замашки. Лин презирала шкафы, презирала вообще всякую мебель, и все свое добро она днем сваливала на кровать: книги и журналы, газеты и губную помаду, огрызки яблок в бумажных фунтиках, зонтик, берет, шляпку, пальто, непроверенные тетради, которые она проверяла по вечерам, приткнувшись у ночного столи-

ка, — сочинения о растительном мире Южной Англии и о животном мире Индии. Днем все это громоздилось на кровати; вечером или после обеда, если ей хотелось прилечь и просмотреть вечерние газеты, она тщательно вылавливала только куски хлеба, а остальное барахло просто смахивала энергичным движением руки на пол: тетради, зонтик, фрукты. Все летело под кровать и катилось по комнате, а утром она сгребала все в кучу и снова швыряла на кровать. За всю свою жизнь она только один раз надела как следует отглаженное платье — это был день их свадьбы, — домашний алтарь в столовой загородной виллы, обставленной с аляповатой роскошью, производившей великолепное впечатление, острый запах жареного сала, распространяемый рясой симпатичного францисканца, непривычно звучащая латынь и еще непривычнее звучащая английская речь (доколе смерть не разлучит вас...).

Но как раз в тот день, когда Лин надела выглаженное платье, — ее мать приехала из Ирландии, выгладила платье у себя в гостинице и заботливо повесила в шкаф, — как раз в тот день Лин отвратительно выглядела: утюги не являлись для нее предметом обихода, утюг — вещь тяжелая, и, кстати, платья, которые нужно было гладить, не шли к ней.

В первый месяц после свадьбы они спали в постели Лин, но Альберт ночи напролет не мог сомкнуть глаз, потому что Лин была беспокойна, как молодая кобылица, она металась во сне, сбрасывала одеяло на пол, без конца ворочалась с боку на бок, толкала его, награждала тумачами, из ее груди вырывались странные сухие хрипы. Он поднимался среди ночи, зажигал свет, прикрывал лампу газетой и садился читать. О том, чтобы уснуть, нечего было и думать, он довольствовался тем, что поднимал беспрерывно падавшее одеяло и подтыкал им Лин со всех сторон. Если она на несколько минут затихала, он оборачивался и смотрел на нее: длинные каштановые волосы, тонкое смуглое лицо, профиль породистого жеребенка. Потом он гасил свет, лежал в темноте рядом с нею и был счастлив. Иногда с кровати падало что-нибудь, что забилося днем под матрац или не успело упасть на пол от энергичного вечернего швырка Лин, а теперь свалилось от ее дикой возни: ложка, карандаш, банан, а как-то раз даже крутое яйцо; оно покатилося по истертому коврику и остановилось у ножек кровати. Он встал, очистил

яйцо и тут же съел его, потому что в те времена он всегда хотел есть.

По утрам, когда Лин уходила, ему обычно удавалось немного вздремнуть. Лин работала учительницей в монастырской школе за городом. Он помогал ей собираться в школу, клал все, что ей нужно было, в портфель. В его обязанности входило также следить за старым, облезлым будильником, который, как и все принадлежащие Лин вещи, ежедневно совершал путешествие с кровати на пол и с пола на кровать, но тем не менее шел очень точно. Он следил за будильником и предупреждал Лин, когда ей пора было выходить. Он сидел в это время на кровати в ночной сорочке и читал утреннюю газету, а Лин варила на спиртовке чай и суп. Как только большая стрелка приближалась к одиннадцати и оставалось пять минут до восьми часов, Лин хватала портфель, торопливо целовала его и неслась по лестнице вниз, к автобусу. Иногда ее суп оставался на спиртовке, он жадно съедал безвкусную овсяную болтушку, забирался в постель и спал до одиннадцати.

Только через месяц они наскребли денег, чтобы купить вторую кровать, и теперь он мог спать по ночам. Лишь изредка он пробуждался от глубокого сна, это когда что-нибудь падало на пол с кровати Лин: книжка, полплитки шоколаду или один из ее тяжелых серебряных браслетов.

Он пытался внушить ей, что он понимает под словом порядок: аккуратно разложенные по шкафам вещи и чистую спиртовку. Он даже купил тайком подержанный шкаф, велел доставить его, когда Лин была в школе, и привел все в порядок; все барахло Лин, все ее платья он развесил на плечиках с немецкой аккуратностью так, как это делала его мать: «Чтобы пахло бельем, проглаженным бельем». Но Лин возненавидела шкаф, и, желая сделать ей приятное, он велел увезти его и продал с убытком. Единственный род мебели, с которым Лин кое-как мирилась, была маленькая полочка, на которой стояли спиртовка, котелок, две кастрюльки, консервные банки с мясом и овощами, всевозможные загадочные приправы и пакеты с консервированными супами. Она великолепно умела готовить, и ему очень нравилось, как она заваривает чай: темный, отливающий золотом; и когда Лин возвращалась из школы, они лежали на своих кроватях, курили и читали, поставив чайник на табурет между кроватями.

Месяца два он еще мучился от того, что называл тогда беспорядком, и жалел, что у Лин так мало желаний обзаводиться вещами — купить, например, хоть еще одну смену простынь. Но она терпеть не могла вещей, как не терпела шкафов, и позднее он догадался, что она не терпит шкафов именно потому, что в них хранятся вещи. Она любила воздушные шары, любила кино и при всей своей неуравновешенности была очень набожна. Она фанатично восторгалась церковной миссурой, францисканскими монахами, у которых исповодовалась; по воскресеньям она обычно таскала его к обедне в женский монастырь, где она всю неделю преподавала, и он сердился на монахинь, которые упорно называли его «мужем мисс Ганигэн» и за завтраком наполняли его тарелку кучей всякой снеди, ибо каким-то образом разузнали, что он всегда голоден. Но так было только вначале, потом монахини ему понравились, он съедал за завтраком до восьми сэндвичей, его сказочный аппетит вызывал бурное ликование у монахинь. В воскресные дни Лин проводила со своими девочками тренировки по травяному хоккею, готовя их к какому-нибудь состязанию, а он посмеивался над ее увлечением и восхищался ее красивой, четкой и сильной игрой.

Муж мисс Ганигэн презабавно выглядел на краю поля. Когда тренировка кончалась, они с Лин делали пробег на три круга по площадке. Девочки из хоккейной команды и пансионерки из монастырской школы обступали площадку и подбадривали его криками, и когда он прибегал первым, это вызывало всеобщий восторг, а он почти всегда прибегал первым, потому что был в те времена неплохим бегуном.

Потом они съездили вместе с Лин на юг, в графство Сэррей,— часами бродили по лугам и перелескам, повсюду наслаждались тем, чему без оглядки отдавалась Лин и что шутя называла «радостями семейной жизни». Тогда было ему двадцать пять лет, а Лин только что исполнилось двадцать, она была самой любимой учительницей в школе.

В будние дни он спал обычно до половины одиннадцатого, ибо люди, с которыми ему приходилось иметь дело, раньше половины двенадцатого приема не начинали, да и беспокойные ночи порядком утомляли его. Он разыскивал несловоохотливых третьеразрядных политиканов и за завтраком выживал у них скудную

информацию. Основные сведения он получал даже не от них, а из четвертых, пятых рук, от таких же незадачливых журналистов, как и он сам. Впоследствии он поднялся на новую ступень и стал сам придумывать всякие рискованные вещи, отлично зная, что добром это не кончится. Обычно он сидел в маленьких кабачках, пил слабое виски и поджидал Лин; перед ним всегда лежала пачка рисовальной бумаги, и он рисовал все, что ему приходило в голову. Он сам придумывал остроты и иллюстрировал их или иллюстрировал чужие остроты, которые находил в газетах. В картонке из-под мыла «Санлайт» накапливались рисунки, сотни рисунков, и после смерти Лин он все их отправил Раю в Германию.

Да, там наберутся сотни рисунков, но он все еще не раскрывал картонку и продолжал наблюдать за мальчиками, — каждый из них с неослабевающим упорством старался угодить в ворота противника. Может быть, рисунки хорошие, и тогда он избавится от утомительной обязанности каждую неделю высасывать темы из пальца.

Следя за мальчиками, он успел набросать на обрывке бумаги Больдин портрет, но потом снова отложил карандаш в сторону.

Сведения, которые ему удавалось тогда раздобыть, становились все скуднее, а те непроверенные материалы, которые он придумывал сам и пересылал в Германию, все меньше и меньше соответствовали действительности; под конец маленькая нацистская газетка, чьим лондонским корреспондентом он являлся, лишила его даже минимального фикса, а месяц спустя и вовсе вычеркнула из списка сотрудников, и он жил на учительский заработок Лин, радостно встречая каждое воскресенье, когда можно было досыта поесть у монахинь. Пока Лин проводила тренировки с девочками, он иногда заходил в школьную часовню, слушал молитвы и любовался грандиозной безвкусицей: нигде, как ему казалось, не видал он еще такого предельно аляповатого Антония, нигде — такой чудовищной Терезы Лизье.

А в будни он ходил по городу и распродал букинистам свои книги — полшиллинга за два кило. Вырученных денег едва хватало на сигареты. Пытался он

давать уроки, но мало кто из англичан хотел изучать немецкий, да и эмигрантов в Лондоне и без него было достаточно. Лин утешала его, и он был счастлив, несмотря ни на что. Она написала своим, как им туго приходится, и ее отец ответил, чтобы они приезжали в Ирландию. Альберт сможет помогать по хозяйству и, если захочет, никогда не возвращаться к этим треклятым наци. Теперь, пятнадцать лет спустя, он все еще не мог понять, почему он тогда не принял предложение отца Лин. Им овладевала болезнь Неллы — мечта о жизни, которая не была прожита и никогда не будет прожита, ибо время, для нее предназначенное, безвозвратно ушло. Но была своя прелесть в том, чтобы на несколько минут перенестись в местность, которую он никогда не видел, пожить неведомой для него жизнью среди людей, которых он не знал.

Даже и теперь, пятнадцать лет спустя, он не мог осознать, что Лин умерла, — такой неожиданной была ее смерть, и как раз тогда, когда он был полон надежд. Он стал зарабатывать, у него появились деньги; для фабрики, выпускавшей мыло, он писал рекламные плакаты и рисунки на обертках, и ему удалось наконец приспособиться ко вкусам англичан.

С тех пор как заработки его увеличились, он перестал выпивать в кабаках без Лин, он сидел дома, пил холодный чай и весь день работал. По утрам он вставал вместе с Лин, готовил завтрак, провожал ее до автобуса.

Мальчики разгорячились и устали. Генрих сидел на траве, прислонившись спиной к дереву, и жевал травинку. Альберт высунулся из окна и крикнул:

— Возьмите кока-колу из холодильника.

Когда мальчики обернулись и с удивлением взглянули на него, он добавил:

— Заходите и достаньте бутылки, ты ведь знаешь, Генрих, где что стоит.

Он слышал, как ребята с восторженными криками повернули за угол, вбежали в дом, но здесь заговорили шепотом и на цыпочках прошли на кухню. Он затворил окно, набил трубку, но раскуривать ее не стал и решительным движением открыл картонку «Санлайт»: там оказалась целая стопка очень тонкой бумаги, все рисунки были повернуты обратной стороной. Тогда только он сообразил, что открыл не крышку, а дно короб-

ки. Он взял первый рисунок, перевернул его и удивился — до чего он оказался хорошим! Это был зоошарж, забавное изображение зверушек, а этот жанр опять стал входить в моду.

После войны он не рисовал так хорошо. Мягкий, очень жирный карандаш — рисунок совсем еще свежий. Он почувствовал большое облегчение: он знал, что Брезгот охотно возьмет эти рисунки. Каждая из тоненьких бумажек, разрисованная пятнадцать лет тому назад в лондонских кабаках, принесет ему пятьдесят марок. Некоторые нужно лучше обрезать, заново наклеить на картон, к некоторым придумать текст. Он никогда не показывал эти рисунки Лин, ибо тогда они казались ему дурацкими, но сегодня он понял, что они хороши и уж во всяком случае лучше, чем очень многое из сделанного им для «Субботнего вечера». Он рылся в коробке, вытаскивал листки из середины и с самого дна и удивлялся, как они хороши. Кто-то из мальчиков позвал его:

— Дядя Альберт, дядя Альберт!

Он открыл дверь в переднюю и спросил:

— Что случилось?

Он сразу понял, что звал его Брилах, который спросил:

— Можно, мы сделаем себе по бутерброду? Мы хотим подождать, пока вернется Мартин.

— Это дело долгое.

— А мы подождем.

— Ну, как хотите,— и бутерброды вы себе, конечно, можете сделать.

— Большое-пребольшое спасибо.

Он закрыл дверь, собрал разбросанные листочки и положил их обратно в коробку.

В тот день, как всегда, Лин утром поехала в школу, а он сидел дома и делал набросок рекламного плаката. Он рисовал льва, который густо намазывал горчицей баранью ногу. Альберт чувствовал, что плакат получится хороший, а заказчик — дальний родственник Авессалома Биллига — обещал хороший гонорар. Это был еврей-эмигрант, с которым он познакомился в журналистском ресторанчике. Сперва тот относился к нему с недоверием, потому что принял его за шпика, но при пятой встрече он дал ему заказ: он сотрудничал

в рекламном отделе фабрики приправ и пряностей. Альберт работал так исступленно, что не замечал, как идет время, и потому очень удивился, когда в комнату вошла Лин.

— Господи,— сказал он,— уже три часа?

Но когда он поцеловал ее и она устало улыбнулась в ответ, он понял, что до трех еще очень далеко и что Лин вернулась из-за того, что ей нездоровится. Руки у нее пылали, и она корчилась от боли в животе.

— Это уже давно началось,— сказала она,— но я думала, что я беременна, а сегодня выяснилось, что я вовсе не беременна, а болит все равно.

Никогда еще он не видел, чтобы она падала духом, но теперь она бросилась на кровать и застонала. Ей трудно было говорить, и когда он склонился над ней, она шепнула:

— Вызови такси, мне в автобусе было плохо, а теперь становится еще хуже. Отвези меня в больницу.

Он взял с постели ее сумочку и побежал к стоянке такси, на ходу пересчитывая деньги; в кошельке набралось четыре фунта и целая куча мелочи. Совершенно растерянный, сел он в такси, велел остановить его перед домом и одним духом поднялся по лестнице. Лин стошнило, и когда он взял ее на руки, чтобы снести вниз, она застонала; на лестнице она все время кричала, и ее опять стошнило. У дверей собрались женщины и смотрели, покачивая головами. Он крикнул одной из них, чтобы она присмотрела за квартирой, оставшейся незапертой. Женщина утвердительно кивнула, и теперь, глядя на мальчиков, возвращающихся в сад, он отчетливо вспомнил ее тупое, бледное, обрюзгшее от водки лицо. С бутербродами в руках мальчики продолжали гонять мяч.

В такси он держал Лин на коленях, чтобы защитить ее от толчков машины, но она все кричала, и ее опять стошнило прямо на коричневые истертые подушки, а он думал, что надо будет сказать врачам. Он все не мог вспомнить английское слово, означающее воспаление отростка слепой кишки, но когда такси остановилось перед больницей, он, держа Лин на руках, быстро взбежал на крыльцо, толкнул ногой дверь в приемный покой и закричал:

— Аппендикс, аппендикс!

Она издала страшный вопль, когда он хотел опус-

тить ее на кушетку; теперь она совсем скорчилась; казалось, что в таком положении ей было не так больно, и хотя силы оставляли его, он продолжал держать ее на руках, прислонился только к красноватого цвета колонне и пытался понять, что она шепчет искривленными губами. Лицо у нее пожелтело и пошло пятнами, в глазах ее он видел страшную муку, и шепот ее показался ему бредом безумной: «Поезжай в Ирландию, в Ир-лан-дию»; он не понял тогда, что она хочет этим сказать, и старался понять, о чем спрашивает его худая озабоченная больничная сестра, которая стоит рядом с ним у колонны. Он тупо повторял только одно слово: «Аппендикс» — и сестра кивнула, услышав это слово. Лин давилась, но рвоты уже не было — только желтая, с тяжелым запахом слизи показалась на ее губах, и когда к ним подтолкнули передвигавшиеся на колесиках носилки и он положил ее, она еще раз обвила его шею руками, поцеловала и снова прошептала: «Поезжай в Ирландию, мой дорогой, мой дорогой, мой дорогой», — но подошедший врач оттолкнул его, и носилки отъехали и исчезли за вращающейся стеклянной дверью. В последний раз он услышал крик Лин. Спустя двадцать пять минут операция закончилась, Лин была мертва, и он не успел больше обмолвиться с нею ни единым словом. Вся брюшная полость оказалась наполненной гноем. Он до сих пор не забыл молодое, серое лицо врача, когда тот вышел в приемный покой и сказал: «Очень сожалею», и потом медленно и спокойно заговорил с ним, и он понял, что уже тогда, когда он сидел с Лин в такси, было слишком поздно. Врач выглядел очень усталым и спросил, не хочет ли он еще раз повидать свою жену.

Ему велели подождать, пока можно будет пройти к Лин, и он стоял у окошка и ждал, но вдруг вспомнил про шофера, вышел и расплатился с ним. Шофер указал на следы рвоты, заворчал, не вынимая сигареты изо рта, и он дал ему целый фунт сверх положенного и обрадовался, когда сердитое лицо шофера прояснилось. Он вернулся в приемный покой. Обои здесь были серо-зеленые, серо-зеленым были обиты стулья, и стол был покрыт серо-зеленым сукном. Дело происходило в те дни, когда Чемберлен вылетел в Германию для переговоров с Гитлером. Потом в приемный покой вошла молодая женщина в поношенном пальто. Она

стала рядом с ним у окна, и сигарета, которую она держала в руках, потемнела от падавших на нее слез. Сигарета погасла, женщина бросила ее на пол и, всхлипывая, прижалась к оконному стеклу. По улице шли люди и несли плакаты «Миру — мир» и другие — «Покажем Гитлеру, что мы его не боимся», и молодая женщина в поношенном пальто сняла очки и протерла их полкой. От ее пальто пахло бульоном и табаком, она не переставая бормотала: «Сыночек, сыночек мой, сыночек мой», — но потом появился врач, и женщина бросилась к нему, и по ее лицу можно было понять, что все сошло благополучно. Женщина вышла с врачом, а его увела больничная сестра по длинному, выложенному желтыми изразцами коридору. Пахло застывшим бараньим жиром и растопленным маслом, у дверей стояли огромные алюминиевые чайники с горячим чаем, хорошенькая темноволосая девушка разносила на подносе бутерброды, у окна стоял мальчик с гипсовой повязкой на руке и кричал кому-то на улицу: «Проклятая собака, я тебе покажу!» Сестра подошла к мальчику, дернула его за здоровую руку и приложила палец к губам, и мальчик поплелся следом за девушкой с бутербродами.

В комнате, куда привела его сестра, были серые стены без всяких украшений и два узких высоких окна с синими стеклами. На левом окне была нарисована желтой краской альфа, на правом — омега.

Лин лежала на носилках, залитая неприятным синим светом. Сестра оставила его одного, и он подошел ближе и увидел, что лицо Лин стало таким, как прежде. Одно лишь показалось ему новым — выражение покоя, и было изумительно видеть спокойным ее тонкое молодое лицо. Может быть, из-за освещения, но пятна на лице исчезли, и оно опять приобрело ровную окраску, и стал прежним ее искривленный мукой рот. Он зажег свечи, стоявшие в медных подсвечниках позади носилок, прочитал «Отче наш» и «Богородице Дево, радуйся». Непостижимо было для него, что они прожили вместе целый год. Казалось, что он совсем недавно познакомился с ней. Что она умерла, он понимал, но вот то, что она жила на земле, — это ему казалось сном, и все подробности, которые припоминались, ничего не могли изменить. Как будто всего сутки тому назад приехал он в Лондон. Все свершилось за один

день: венчание в отглаженном платье, которое ей было не к лицу, ряса францисканца, хоккей и завтрак у монахинь, и луг в Сэррее, и радость обладания... потом крик: «Поезжай в Ирландию». Рвота в такси, и он, тупо повторяющий: «Аппендикс, аппендикс...», и синеватая часовня с желтой альфой и омегой, воздушные шары, которые Лин дарила детям, и мыльные пузыри, которые она из окна своей комнаты пускала в большой серый двор,— ненависть к шкафам, спокойно горящие две свечи... Так горят они только в часовнях. Он не испытывал печали, он чувствовал только тупую, мучительную жалость к Лин за страдания, которые она перенесла, исчезнув с криком за дверью операционного зала, а теперь она так спокойно лежит в этой часовне. Свечи горели, он пошел к двери, но вдруг повернулся и заплакал. Все поплыло перед его глазами, стало сумеречным и туманным: раскачивающаяся альфа, раскачивающаяся омега, раскачивающиеся носилки и спокойное лицо Лин. В часовне казалось, что на улице дождь, но, выйдя из часовни, он увидел, что светит солнце. Сестра куда-то ушла, и он заблудился в бесконечных коридорах, попал в палату, снова выскочил, очутился у входа на кухню и только тогда узнал коридор с желтыми изразцами, и снова хорошенькая темноволосая девушка пронесла на подносе гору бутербродов, и из открытой двери донесся чей-то крик: «Горчицы!» — и он вспомнил про льва, который намазывал горчицей баранью ногу.

Когда он вернулся домой, был час дня. Кто-то вымыл лестницу и прибрал комнату. Он так и не узнал никогда, кто это сделал, и очень удивился, потому что ему всегда казалось, будто в доме его не любят: всегда он был занят, торопливо, мимоходом здоровался с соседями. А теперь и на лестнице и в комнате все убрано.

Он взял со стула плакат со львом, хотел его разорвать, но потом свернул трубкой и бросил в угол. Он лег на кровать и устремил взгляд на маленькое распятие, которое Лин повесила над дверью. Он по-прежнему отлично понимал, что Лин умерла, но никак не мог поверить, что целый год прожил с нею. От нее ничего не осталось, кроме кровати, заваленной всякой всячиной, кастрюльки с выкипевшим супом на спиртовке, щербатой чашки, в которой она обычно разводила мыло, чтобы пускать пузыри, да стопки непро-

веренных тетрадей с сочинениями о цинковых рудниках в Южной Англии.

Потом он уснул и проснулся только тогда, когда вошла маленькая учительница, работавшая вместе с Лин, и сразу почувствовал боль в руках, — на них так долго лежала Лин. Вместе с Лин и маленькой учительницей они часто по вечерам ходили в кино, звали ее Блай Грозер, она была хорошенькой блондинкой, и Лин вечно пыталась обратить ее в католичество.

Он туго устался на Блай и почувствовал боль в сведенных мышцах рук. Потом попытался объяснить Блай, что Лин умерла. Он сам испугался — так холодно и как нечто само собой разумеющееся произнес он — «умерла», и только сейчас он сам постиг все значение этого слова: Лин больше нет. Блай с большим трудом раздобыла билеты на вечерний сеанс, чтобы посмотреть фильм, который тогда все стремились увидеть. Это был фильм с участием Чарли Чаплина, и он сам, помнится, надоедал Блай, чтобы она достала билеты, потому что в Германии, конечно, такого не увидишь. Блай принесла и пирожные для Лин, маленькие миндальные пирожные, покрытые яичным кремом. В руках она держала зеленые билеты, и когда он ей сказал, что Лин умерла, она сперва рассмеялась. Она смеялась потому, что не могла понять, с чего он вдруг вздумал так глупо шутить, она смеялась необычно — рассерженно и отрывисто. Потом она поняла, что это не шутка, и растерянно заплакала, и зеленые билеты упали на пол, и миндальные пирожные, покрытые желтым кремом, — какие любила Лин, — лежали между зонтиком и красным беретом на кровати Лин среди множества других вещей.

Он продолжал лежать, холодно глядя на Блай. Она сидела на табурете и плакала, и только увидев ее слезы и услышав ее рыдания, он снова осознал, что произошло: Лин умерла. Блай встала, прошлась по комнате, подняла с пола валявшийся в углу возле спиртовки свернутый халат и, плача, посмотрела на довольного, ухмыляющегося льва, который намазывал горчицей Хичхьюмера баранью ногу. Он знал, что потом возьмет ее за плечи, попытается успокоить и будет говорить о делах — о погребении, о всевозможных документах, которые необходимо оформить. И все же он продолжал лежать и думать о Лин, о быстротечности и красоте ее жизни, которая оставит в этом мире

едва заметный след. Разве что в вестибюле школы повесят ее фотографию, и позднее на школьных встречах девочки, женщины, с каждым годом стареющие женщины будут говорить: «Это была наша учительница по гимнастике и естествознанию», но в один прекрасный день фотографию снимут и повесят на ее место портрет какого-нибудь кардинала или папы — и тогда на какой-то предписанный законом срок останутся только пометки Лин в школьных тетрадях, хранящихся в архиве, да могила на большом кладбище. Блай успокоилась раньше, чем он встал. Она вспомнила о куче всяких дел и ухватилась за возможность все сделать самой и «избавить его от этого»: известить школу, родителей Лин и ее брата — инженера в Манчестере.

Мокрое пятно на полу там, где неизвестная соседка прибрала за Лин, постепенно подсыхало, остались только следы мыла на давно не мытом полу, и когда спустя месяц он по просьбе Неллы возвращался в Германию, в комнате еще стояла чашка без ручки, в которой Лин разводила мыло, чтобы пускать пузыри, в чашке оставалась белая клейкая смесь, и позднее он сообразил, что в газетном извещении и в надгробной надписи на небольшом кресте стояла ее девичья фамилия — мисс Ганигэн и что монахини на поминальном обеде упорно называли его мужем мисс Ганигэн.

Брат Лин вызвался помочь ему найти работу в Манчестере, родители Лин, с которыми он был в хороших отношениях, приглашали его переехать к ним в Ирландию на ферму — «там всегда хватит и работы и еды», — все были твердо убеждены, что скоро начнется война и что в Германию ему лучше не возвращаться. Он никому не рассказал, как Лин шептала ему: «Поезжай в Ирландию». Он долго колебался, а сам продолжал жить в лондонской комнате и получил даже хороший гонорар за льва с горчицей, и следы мыла так и остались на том месте, где кто-то прибрал за Лин. Он еще колебался, но письма Неллы становились все настойчивей, и в один из таких дней, когда он жил, выжидая чего-то, он отправил большую коробку с рисунками в Германию, на адрес Рая. Он сделал это как-то вечером, когда вернулся с кладбища, где долго размышлял, должен ли он выполнить просьбу Лин. Уже сидя в автобусе, он твердо решил уехать в Германию, и когда он освобождал комнату и разби-

рал постель Лин, из-под матраца выпали два предмета — пилка для ногтей и красная жестяная коробочка с конфетами от кашля.

Он услышал, что мальчики во дворе с кем-то разговаривают, и открыл окно. Генрих стоял против Больдиной комнаты и кричал:

— Ладно, мы будем осторожнее!

А Больда сверху отвечала:

— Я сама видела, как вы сломали два цветка.

Альберт высунулся из окна, задрал голову и крикнул Больде:

— Они больше не будут.

Мальчики засмеялись. Больда тоже засмеялась и крикнула:

— Ну уж ты... по тебе пусть они хоть все здесь растопчут.

Он оставил окно открытым и начал приводить рисунки в порядок — множество тонких листочков, — их было несколько сотен. Тут он вдруг подумал, что надо бы как-нибудь написать родителям Лин, — они всегда посылали ему ветчину, чай и табак, а он за все время не собрался с духом, чтобы написать им подробное письмо, а только кратко благодарил да посылал им книги.

Было просто ужасно, когда бабушка брала его с собой в ресторан. Правда, она редко выходила из дому, но именно поэтому ее хорошо знали в некоторых ресторанах, и, завидев ее, официанты начинали как-то странно улыбаться. Мартин никогда не мог понять, насмешка это или искреннее почтение. Она любила тяжелую и обильную пищу, любила жирные супы — коричневатые, вязкие, один их запах вызывал у него тошноту, и потом она всегда требовала поставить майонез на лед, чтобы после горячего жира насладиться ледяным соусом. Она заказывала огромные куски жаркого, обнюхивала их, ножом и вилкой проверяла их мягкость и бесцеремонно отправляла обратно, если мясо не соответствовало ее вкусу. Затем шли пять различных салатов, которые она сама совершенствовала путем длительных манипуляций с приправами, кото-

рые ей подавали в бутылочках, в таинственных серебряных кувшинчиках, в медных капельницах, и столь же длительных переговоров с официантами о свойствах приправ. Спасением была лишь возвышавшаяся на середине стола тарелка с горой нарезанного большими ломтями хлеба, но напрасно дожидался бы он здесь картофеля — вот единственное, что он с удовольствием ел бы, кроме хлеба. Бело-желтые, дымящиеся картофелины, с маслом и солью, он очень любил, но бабушка презирала картофель.

Бабушка пила вино и требовала, чтобы он пил яблочный лимонад — напиток, который, она любила ребенком. Она очень огорчалась, когда он отказывался пить лимонад: она не могла понять, как может ему не нравиться то, что ей в детстве казалось таким удивительно вкусным. Он ел мало: салат, суп и хлеб, и она, глотавшая все, как удав, смотрела на это, покачивая головой. Перед едой она истово крестилась: размахивая рукою, как ветряная мельница, она ударяла себя ладонью по лбу, груди и животу. Но не только это привлекало к ней всеобщее внимание, бросался в глаза и ее туалет: тяжелый черный шелк и пылающая, как огонь, алая блузка, которая очень шла к ее цветущему лицу. Официант, метрдотель и буфетчица считали ее русской эмигранткой, но она родилась в маленькой горной деревушке и провела детство в величайшей нищете. За хорошим обедом она любила рассказывать, как плохо она питалась в детстве: громко, так, что прислушивались люди за соседними столиками, бабушка рассказывала о приторно сладком вкусе вареной свеклы, о горечи подгоревших супов из снятого молока, подробно описывала салат из крапивы, кислый черный хлеб, который она ела ребенком, и тут же торжественно разламывала ломоть белого хлеба.

На картофель она изливала потоки проклятий, называла его мучнистой отравой, пруссаческим хлебом и разными непонятными бранными кличками на диалекте ее детства. Затем она брала кусок белого хлеба, макала его в соус, и в ее ярких синих глазах загорался диковатый огонек, пугавший его. Ему становилось понятно, почему он боится ее, когда она начинает описывать, как у них дома забивали кроликов. Он ясно слышал треск нежных косточек, видел выкатившиеся глаза и кровь; наиподробнейшим образом бабушка рассказывала, что и как делали с требухой, с темно-

красным месивом из легких, печени, сердца; рассказывала и о том, как ее вечно надували голодные старшие братья и сестры. И сейчас она тряслась от злобы, вспоминая своего брата Маттиаса, который пятьдесят лет тому назад всегда ухитрялся забрать себе сердце кролика; она называла его подлецом и негодяем, хотя Маттиас уже больше двадцати лет покоился на кладбище в их родной деревушке. Мартин слышал отчаянное кудахтанье кур, которые начинали метаться по бедному дворику, когда там появлялся отец бабушки с топором в руках. «Была у нас тощая птица, годная только для супа»,— говорила бабушка. С грустью вспоминала она, как ходила по богатым дворам, когда там забивали скотину, выпрашивала миску крови и тащила домой — жирную, густую, в комках. Когда она добиралась до этого места, он знал, что скоро подадут десерт и что его обязательно стошнит, потому что мясные блюда она завершала бараньей отбивной, мягкой, с кровью — она разрезала ее, глотала большими кусками, расхваливая нежность мяса; а ему мерещились убитые и освежеванные дети, и, предвкушая наслаждение от мороженого, кофе и пирожных, он все-таки твердо знал, что его стошнит и что потом он ничего не сможет есть. Все поданные на стол кушанья мелькали перед глазами — жирный, огненно-горячий суп, салаты, куски мяса и соусы подозрительно красного цвета; он с отвращением смотрел на бабушкину тарелку, где кровь смешивалась с жиром, кровь с глазками жира. В продолжение всего обеда возле нее в пепельнице лежала дымящаяся сигарета, и время от времени она затягивалась и с торжествующим видом оглядывала зал.

Он думал о том, что Брилах и Берендт играют сейчас в футбол у них в саду, пьют холодный, как лед, лимонад, едят хлеб с повидлом, а потом Альберт повезет их куда-нибудь и угостит мороженым — может быть, на мосту или внизу, у Рейна, где можно прямо из-за столиков кидать камешки в воду и смотреть, как рабочие вытаскивают из реки покрытые ржавчиной корабельные обломки. А тут приходится сидеть среди обжор и любоваться, как довольная бабушка макает куски хлеба в кровавый жир.

Каждый раз он слишком долго соображал, как бы успеть добраться в туалет, когда его затошнит, но бабушка всегда садилась у самого входа, и чтобы по-

пасть в туалет, надо было пройти мимо пяти, шести, семи больших столов. Он робко пересчитывал их, и коричнево-красная дорожка, казалось, проходила вдоль нескончаемого ряда обжирających людей. Он ненавидел их, как ненавидел бабушку, их разгоряченные лица казались рядом с белыми салфетками еще краснее. Дымящиеся судки, хруст костей, детских костей, кровь с глазками жира, холодные, жадные глаза тощих обжор и горячие, налитые кровью, до омерзения добродушные глаза толстых обжор; а официанты все подносили и подносили от буфетной стойки убитых *искромсанных* детей, и те, у кого на столах еще не было тарелок, провожали официантов жадными глазами.

Добираться до туалета надо было очень долго. Только один раз он успел добежать туда. Шатаясь, прошел между рядами обжор, с каждым шагом все неуверенней, но все-таки успел: белые каменные плитки, запах мочи, запах лимонной эссенции и мыла. Столик служителя, на нем — пестрые пакетики, гребни, салфетки, и все те же обжоры перед его глазами: они дwoятся, они — в зеркале и в натуре. Сдвоенный ряд убийц — они ковыряют в зубах, надувают щеки, чтобы проверить, гладко ли они выбриты, проводят языком по зубам.

Расстегнутые пуговицы, белые рубахи, вот наконец-то свободное место. Он склонился над раковиной, и резкий запах мочи усилил тошноту, ему хотелось только, чтобы скорее все это кончилось и наступило желанное облегчение. Рядом с ним возникла свежая розовая физиономия.

— Сунь палец в рот, сунь палец в рот,— услышал он.

Доброжелательная навязчивость этого краснорозжего обжоры внушала омерзение, и ему страстно захотелось увидеть рядом дядю Альберта, мать, простое скуластое лицо Глума, черные как смоль гладкие волосы Больды и ее белое лицо, захотелось поиграть в футбол с Брилахом и Берендтом. Но он пойман, он затерялся среди рыгающих чревоугодников, он заперт в этой убийственно чистой, белой кафельной тюрьме, осужден вечно вдыхать только запах мочи и одеколона. Теплая мягкая ладонь служителя легла на затылок, и расплывшееся добродушное лицо склонилось над ним.

— Что с тобой, мальчуган?

Но тут в мужскую уборную ворвалась бабушка, и глаза добродушного служителя округлились от ужаса. Мужчины, смутившись, стали застегиваться.

— Что с тобой, дитя мое, что случилось?

Руки у нее легкие, но уверенные, она заставила его нагнуть голову и сунула ему в рот, хотя он закричал с перепугу, свой длинный желтый палец, и все-таки его не вырвало, — железный комок тошноты, безысходный, судорожный ужас притаился где-то в желудке; сквозь ряды обжор бабушка потащила его обратно в зал, но тут-то все и произошло: когда он проходил мимо столика одного живодера, который хищным движением ножа с наслаждением рассекал розовое, сочащееся кровью ребячье мясо, он ощутил, как ужас подкатывается к горлу и ищет выхода. Ни стыда, ни сожаления он не испытывал — одно лишь холодное торжество. Теперь, когда желудок его опорожнился от ужаса, он мог даже улыбаться.

Живодер сперва побагровел, потом от шеи у него пошла желтизна и залила всю его физиономию, слышались вопли, засуетились официанты, довольная бабушка, улыбаясь, раскрыла чековую книжку, намереваясь возместить убытки. Костюма он не замарал, лица тоже, только губы пришлось обтереть носовым платком. Ему стало легко, он вышел победителем из этой борьбы. Он не загрязнил рук, не запятнал души, он просто исторг то, что насильно в него впихнули. Даже у бабушки пропал теперь аппетит, она не прикоснулась ни к пирожному, ни к пломбиру и кофе, вырвала из книжки чек, потом другой — за испорченный костюм живодера, еще один, чтобы утихомирить официанта; теперь, когда желудок его был пуст, он без стыда и страха прошел рядом с бабушкой по длинной, желтовато-коричневой дорожке.

Потом, когда они возвращались домой, в такси, бабушка прочтала небольшую лекцию о никудышных желудках нынешней молодежи. Никто не умеет теперь как следует покушать, никто не умеет выпить как следует, никто не в силах выкурить забористую сигарету — дряблкое, обреченное поколение!

Подобные прогулки они совершали приблизительно раз в полгода. Он предчувствовал их, как предчувствовал *кровь в моче*, и, по возможности, старался уклониться: исчезал перед обедом или упрасивал дядю

Альберта куда-нибудь поехать с ним, но бегство означало лишь отсрочку — рано или поздно бабушке удавалось его поймать. Подобные обеды входили, по мнению бабушки, в программу воспитания. Когда ему исполнилось пять лет, бабушка в один прекрасный день заявила:

— Я хочу тебе показать, как люди едят по-настоящему,— и впервые повела его в ресторан Фовинкеля.

Уже тогда у него сложилось впечатление, что из кухни приносят в зал освежаванных детей, и людоеды нетерпеливо ждут мисок с дымящимся розовым мясом. Начиная с пяти лет, он зорко следил за тем, что едят взрослые и как они едят, и пришел к смелому умозаключению, что все это имеет какое-то отношение к безнравственному. Но бабушка упорно таскала его с собой, и давным-давно его уже знал и хозяин, и буфетчица, и официанты, и однажды он услышал, как они перешептываются: «Пришла великая княгиня со своим блевуном». Но бабушка не сдавалась. Она поставила себе целью приучить его основательно питаться. На глазах у него она дробила и высасывала гусиные кости, ела мясо, нарезала кровавые бифштексы. Он ненавидел все это, а бабушка за все это расплачивалась большими дозами таинственного вещества, называемого *деньги*. Кредитки и монеты — за что еще можно так дорого платить, если не за детей?

Когда ему приходилось обедать с бабушкой, он потом месяцами не ел мяса; только хлеб, яйца, сыр, молоко, овощи и превосходные супы, которые Глум стряпал внизу на кухне. Глум готовил суп впрок на целую неделю. Это была похлебка, в которой все, что он туда засыпал, разваривалось в кашу: овощи и кости, рыба и яблоки. Удивительней всего было, что супы эти получались очень вкусными. Глум готовил сразу пять литров супа, чтобы поменьше возиться со стряпней. Вообще Глум питался хлебом, яйцами и огурцами, которые грыз, как яблоки, а еще он приносил большие тыквы и, покуривая трубку, часами стоял над котелком, размешивал, пробовал, чего-то подбавлял — луковицу или бульонные кубики, сухие травки, которые он растирал и просеивал между пальцами. Глум нюхал, пробовал, ухмылялся, потом снимал котел с огня и ставил в холодильник. Теперь можно жить без забот. Уходя на работу, он наливал полный судок, завинчивал крышку, потом совал в карман пол-огурца, ломоть хлеба, ку-

сок колбасы и книгу. Глум читал странные книги. На одной толстой книге было написано: *Догматы*, на другой — *Богословие и нравственность*. Читая, он подчеркивал карандашом. Заглавия у книг были совершенно непонятные. Богословие и нравственность, судя по всему, имеют какое-то отношение к слову *безнравственно*. Глум хорошо знал, что такое *безнравственно*, но, по словам Глума, кровопийцы в ресторане Фовинкеля детей не едят и вообще ничего *безнравственного* не совершают; хотя, может быть, книга Глума просто устарела — в ней ничего не сказано про этих кровопийц.

Глум почти не вынимал трубку изо рта, иногда даже ложился спать с трубкой; он варил суп, читал толстые книги, ранним утром уходил на работу: он работал на бабушкиной фабрике.

Глум был странный, но добрый. Мартин любил Глума, хотя иногда беззубый рот и лысая голова Глума пугали его. Но ведь и лысая голова и беззубый рот имели свою историю. Глум был в концентрационном лагере. Сам он об этом не вспоминал, но дядя Альберт кое-что рассказывал про лагерь: смерть, убийства, насилие и страх миллионов людей — Глум видел все это, потому он и кажется старше своих лет. Мартин всегда думал, что Глум старше бабушки, а на самом деле он на пятнадцать лет моложе ее.

Глум очень странно говорил. Словно тяжелые глыбы, выталкивал он слова изо рта, а рот разевал так широко, что видны были голые розовые десны, темно-красное небо и язык, которым он выделял какие-то необыкновенные выверты: казалось, что Глум вот-вот вытолкнет изо рта что-то круглое и тяжелое, но изо рта появлялось просто слово: «Матерь». Следующее слово еще круглее, больше, тяжелее, совсем как маленькая тыква, оно вызревало еще медленнее, обкатывалось еще терпеливее, но изо рта оно опять выходило просто словом — «божья». Это слово разрасталось до чудовищных размеров во рту Глума, оно уж скорей напоминало воздушный шар, а не маленькую тыкву. Глаза Глума сверкали, узкий нос вздрагивал, но изо рта выкатывался не воздушный шар и даже не тыква, а так, что-то вроде крупного яблока — «здорово». «Здорово» было любимым словом Глума, особенно кругло и нежно получался у него средний слог — «ро».

Глум был набожный и очень добрый, но слушать его

рассказы было трудно: слишком большие промежутки отделяли одно слово от другого,— пока он произнесет второе слово, успеваешь забыть первое и теряешь связь между ними. Глум рассказывал медленно, необычайно торжественно и с великим терпением. «Терпение» — тоже было одним из его любимых слов,— с превеликим терпением рассказывал Глум. И если внимательно слушать его, можно узнать занимательнейшие истории.

У Глума во всю стену висела карта мира, которую он сам вычерчивал и раскрашивал. Он наклеил несколько листов очень плотной бумаги один на другой, несколько месяцев подряд рассчитывал масштабы применительно к размерам стены и потом усердно, аккуратно и терпеливо нанес на карту границы, горы, реки, моря и озера; он соскабливал, осторожно заштриховывал и после длительных приготовлений начал наконец раскрашивать земную поверхность — извел много зелени на гигантские низменности, много коричневого — на горы и синего — на моря.

Глум успел всякое повидать уже до того, как поселился у них в доме, а произошло это, должно быть, очень давно, потому что, сколько Мартин помнил себя, Глум всегда жил у них. Немало повидал Глум на пути от своей родины до берегов Рейна, но одного он еще не видал, никогда не видал этюдника, и этюдник, увиденный им у Альберта, привел его в большой восторг, чем соборы и самолеты; Глум точно повторял все движения дяди Альберта: смочив кисточку в воде, провел по тюбику с краской, а потом по бумаге, и когда бумага стала красной, ярко-красной, Глум засмеялся от радости и в тот же день обзавелся собственным этюдником.

Очень медленно, очень аккуратно и очень терпеливо рисовал Глум земной шар, он начал издали — с Сибири, где все было зеленым, там он и посадил на карту первую черную точку. «Там,— сказал он,— за пятнадцать тысяч километров отсюда, я родился». На то, чтобы сказать «пятнадцать тысяч километров» у него уходила почти целая минута: яблоко, тыква, яблоко, яблоко, мячик, мячик, яблоко, тыква; он будто выпекал слова где-то там, на небе, и только потом выпускал их на волю, да еще пробовал и прихлопывал языком, придавал им нужную форму и потом выталкивал — слог за слогом — бережно и заботливо.

Глум родился за пятнадцать тысяч километров отсюда, и звали его, собственно, не Глум, а Глумбих Холкустебан, и ничего нельзя было придумать приятнее, чем слушать, как Глум произносит свое имя и объясняет его значение. А означало оно: солнце, под которым созревают ягоды.

Вместе с Генрихом Брилахом они, когда им вздумается, поднимались к Глуму и просили его произнести и объяснить свое имя — это бывало очень интересно, как в кино.

Жаль только, что заставляли Глума они лишь изредка: Глум очень рано уходил из дому, он шел в церковь, потом на фабрику и возвращался домой поздно вечером. Перед сном Больда всегда готовила ему завтрак на утро: кофе, огурцы, хлеб и кровяную колбасу. Но Глумова колбаса не имела ничего общего с детоубийством: она хоть и была красная, но вкус у нее был мучнистый и нежный, и, как объясняла Больда, она и в самом деле приготавливалась из муки, маргарина с примесью бычьей крови.

По воскресеньям Глум спал до полудня. Потом еда — суп и тыква, а если в кофейнике оставалось еще чуточку кофе от завтрака, Глум подогревал его и забирал к себе. Он сидел до четырех в своей комнате и читал непонятные толстые книги; раз в месяц к нему приходил старенький священник, живущий в монастыре, он приходил в воскресенье и оставался у Глума на весь день. Они беседовали о том, что Глум вычитал в своих книгах. Потом они обычно заходили к матери пить кофе — Глум и священник, дядя Альберт и Мартин; и часто спорили — мать со священником или дядя Альберт со священником, а Глум всегда поддакивал священнику и под конец говорил, терпеливо обкатав слова во рту: «Пойдем, отец, выпьем по одной, а то здесь собрались одни дураки». Тут все начинали смеяться, а Глум и на самом деле уходил выпить со священником.

По воскресеньям — с четырех до половины седьмого — Глум возился со своей картой, и в это время Мартин мог навещать его. За пять лет Глум не сделал даже и четверти карты, он тщательно переносил оттенок за оттенком из географического атласа дяди Альберта; когда он возился с Северным Ледовитым океаном, ему приходилось стоять на стремянке, потом стремянку водворили в подвал и принесли назад только тогда, когда

Глум так продвинулся влево, что добрался до Шпицбергена, Гренландии и Северного полюса.

Дядя Альберт, который разбирался в этом деле, говорил, что Глум превосходно рисует. И в самом деле, Глум рисовал прямо кисточкой зверей, дома, людей, деревья, и когда он бывал в хорошем настроении, на бумаге появлялись красные коровы, желтая лошадь, а на лошади — толстый черный человек. «У моего отца были красные коровы, совсем красные, можешь смеяться сколько хочешь, но они были красны, как спелые помидоры, и еще была у отца желтая лошадь, а борода у отца была черная, и волосы тоже черные, но глаза голубые, совсем голубые, как Северный Ледовитый океан на этой карте. Я пас этих коров на лесных полянах, трава там росла чахлая, иногда мне приходилось гонять стадо через лес до самой реки, где трава была сочной и гуще. Река называлась Шехтишехна-Шехтихо, и это означало: вода, дающая нам рыбу, лед и золото».

Поток звуков изо рта Глума изображал реку — широкую, бурную, стремительную и холодную, река текла с высоких гор, за которыми лежит Индия.

«Мой отец был вождем племени, потом он стал называть себя комиссаром, но он все равно оставался вождем, даже когда называл себя комиссаром, и каждый год, весной, когда Шехтишехна-Шехтихо освобождалась от льда, когда в лесу расцветали ягодники и зеленела трава, отец, даже после того как стал комиссаром, делал то, что делали до него с незапамятных времен все вожди племени: он бросал жребий, и одного из деревенских мальчиков, на кого падал жребий, кидали в реку, чтобы река не затопила селение и принесла много-много золота. Это совершалось тайно, и люди, которые назначили отца комиссаром, не должны были знать об этом, и никто ничего не рассказывал, и никто из этих людей ничего не замечал, потому что никто не считал мальчиков, их было много в селении».

Понадобилось немало дней, чтобы Глум мог все это рассказать очень медленно, — годами расспрашивая и выпытывая, Мартин выудил у Глума всю его историю.

В Шехтишехне намывали золото и часть его отдавали тем людям, которые сделали комиссаром Глумова отца, но больше всех золота получал Фриц. Рассказывая о Фрице, Глум рисовал кусты, лес, ягоды и хо-

лодную, как лед, Шехтишехну. Фриц знал, как переходить реку вброд, он приходил, приносил с собой сигареты — белые палочки, которые наполняли мозг сухим счастьем, и еще кое-что приносил Фриц — нечно белое в стеклянных трубочках. Из описаний Глума Мартин заключил, что это были ампулы, как те, в которые врач погружал шприц и, наполнив его, всаживал в руку бабушки.

— Глум, а что же с ними делал твой отец?

— Я только потом это понял. Каждую весну в лесной хижине устраивали праздник, в нем должны были участвовать молодые девушки, ни одной пожилой женщины, только молодые, а с ними мой отец и еще два человека — мы их называли шаманами, и когда девушки отказывались прийти на праздник, шаманы предавали их проклятию и девушки болели.— Тут Глум умолк и покраснел, краска разлилась от шеи по всему лицу, и Мартин догадался, что в хижине, за пятнадцать тысяч километров отсюда, совершалось что-то *бесстыдное* и даже *безнравственное*. Но стоило девушкам согласиться, и они тут же выздоравливали, и все это — болезнь и выздоровление — Фриц приносил в своих стеклянных трубочках.

А потом Глум сбежал, потому что по жребью его должны были бросить в Шехтишехну, и бежать ему помог Фриц. Глум рассказывал медленно, иногда скажет две-три фразы, а потом пройдут недели — и ни единого слова больше; как только время подходило к половине седьмого, Глум обрывал свой рассказ на середине фразы, ополаскивал кисть, тщательно обсушивал ее, снова раскуривал трубку и осторожно садился на край постели, чтобы снять шлепанцы и надеть башмаки. За его спиной красиво переливались краски на карте, но незакрашенная часть карты казалась Мартину бесконечной — белые моря, отделенные от суши лишь тонкой карандашной линией, очертания островов, реки, собравшиеся вокруг крохотной черной точки — родины Глума; пониже и левее, в Европе, была вторая черная точка, она называлась Калиновка — место, где погиб отец Мартина, а там, повыше и много левее, почти на краю моря, лежала черная точка — место, где они живут,— маленький треугольник, затерявшийся на огромной равнине. Переодеваясь, Глум отрезал от лежащей на тумбочке тыквы несколько ломтей, укладывал «Догматы» и «Богословие и нравственность» в сумку,

спускался на кухню, чтобы наполнить судок, и шел к трамваю.

Иногда проходило немало воскресений, пока у Глума снова появлялось настроение рассказывать, иногда за много недель из него удавалось выжать две-три фразы, но всегда он начинал точно с того места, на котором остановился в прошлый раз. Уже тридцать лет, как Глум покинул свою родину. Фриц помог ему, и он перебрался в город, где жили люди, назначившие его отца комиссаром,— город назывался Ачинск. Там Глум мостил улицы, потом стал солдатом и покатился все дальше и дальше на запад. Глум двигал руками, словно катил снежный ком, когда хотел показать, как он катился на запад. Новые названия всплыли в его рассказе. Омск, Магнитогорск и еще много-много западнее другой город, Тамбов. Но там уже Глум не был солдатом, он устроился на железную дорогу и разгружал вагоны: дрова, опять дрова, уголь, картофель. А по вечерам Глум ходил в школу и учился читать и писать. Жил он в настоящем доме, и у него была жена; звали жену Тата. Глум описывал Тату, рисовал ее, она была белокурая, круглолицая, веселая; Глум познакомился с ней в школе, где он учился читать и писать. Тата тоже работала на железной дороге, пока просто таскала тюки, но собиралась заняться чем-нибудь более интересным и важным, как только научится читать и писать,— тут круглолицая белокурая Тата на рисунке Глума начинала улыбаться во весь рот, потому что ей предстояло сделаться перронным контролером на Тамбовском вокзале и пробивать щипцами билеты. И Тата на рисунке Глума стояла уже в фуражке, из-под которой выглядывала ее толстая белокурая коса, и с компостерными щипцами в руках.

Но самое важное для Глума случилось только через год после его женитьбы на Тате, когда Тата давно уже была перронным контролером на Тамбовском вокзале. Только через год Тата показала ему, что хранится у нее на дне ящика, стоящего в кухне: распятие и образок, и по ночам, когда Тата лежала в постели рядом с ним, она рассказала ему все, и пламя охватило Глума. Глум нарисовал это пламя — много красного и много желтого,— но тут Глума опять сорвало и покатило на запад, словно снежный ком, который становился все больше и больше. Глума уносило все дальше

и дальше от Таты, потому что началась война. Глума ранило, он покатился обратно, на восток, в Тамбов, но Таты там уже не было, и никто не знал, куда она делась; в своей железнодорожной фуражке и с щипцами в руках она ушла как-то утром и не вернулась. Глум остался в Тамбове, разыскивал Тату, но и следа ее не нашел. И опять он покатился на запад, и опять война — рана уже зажила, и опять он все катился, катился до новой остановки, — Глум называл ее не концентрационный лагерь, а просто лагерь. Здесь Глум лишился волос и зубов, и не только от голода, но и от ужаса. Когда Глум произносил слово «ужас», это звучало ужасно, — не яблоки, не воздушные шарики, а ножи сыпались из его рта, и лицо его так менялось, что Мартин пугался, как пугался он, когда Глум, бывало, засмеется. А смеялся Глум тогда, когда Больда приходила к нему в комнату, чтобы петь с ним вместе хоралы. Глум пел хорошо. У него был высокий сильный голос. Но стоило запеть Больде, как на Глума напал смех, а смех его звучал так, будто сотни маленьких ножей рассекали воздух. Когда Больда продолжала петь, невзирая на смех Глума, Глум очень сердился и говорил умоляюще:

— Ох, Больда, ты действуешь мне на нервы.

Глума привел дядя Альберт, он подобрал это беззубое и безволосое страшилище, которое просило работу у ворот мармеладной фабрики, а сторож отгаликивал его. Дядя Альберт привел Глума с собой, а бабушка хорошо отнеслась к нему, и это было большим плюсом для бабушки, она и к Больде, несмотря на их перепалки, относилась хорошо.

К Больде можно было применить то же таинственное слово, которое мать так часто употребляла, говоря о себе самой: «Порченая». Больда была одних лет с бабушкой, и каждый раз, когда она принималась рассказывать о себе, выходило так, что жизнь у нее вечно менялась. Сперва она была монашкой, потом вышла замуж, муж у нее умер, она опять вышла замуж, и когда бабушка ругалась с Больдой, она называла ее «беглая монашка» и «дважды вдова», а Больда хихикала. Больда, конечно, была «порченая», но добрая, а Глум какой-то странный, даже страшный, но тоже добрый. Если Больда принималась рассказывать о своей жизни, у нее все сбивалось в одну кучу: монастырь, замужество, вдовство, сначала первое, потом второе.

Она могла начать так: «Когда я жила в монастыре», через две фразы она вдруг говорила: «Когда у меня была лавка в Кобленце, электротовары, понимаешь? Ну всякие там утюги, плитки», потом опять перескакивала на монастырь и расписывала свое приданое. «Когда я овдовела в первый раз»,— и снова неожиданный переход: «Хороший был человек».

— Кто?

— Да вот, второй-то мой, он, к счастью, не занимался торговлей, он был чиновником. Служил в полиции нравов.

— В какой полиции?

— Этого тебе не понять. От них я, к счастью, и пенсию получаю.

Неясные намеки о функциях полиции нравов заставляли Мартина подозревать, что она имеет какое-то отношение к безнравственному и бесстыдному,— от этой полиции Больда и получает пенсию. В рассказах Больды фигурировали кусты, которые, судя по всему, обшаривал ее муж. И Мартин вспомнил, чем занимались в кустах Гребхак и Вольтерс,— они занимались бесстыдством: багровые лица, расстегнутые штаны, горьковатый запах свежей зелени.

— Свинство все это,— говаривала Больда, заходя к Глуму, когда Мартин сидел у него, а Глум, слыша ее рассказы, только головой покачивал, да так тихо и терпеливо, что Больда просто из себя выходила и кричала ему: — Что ты смыслишь в культуре, старый ты...

Она тщетно подыскивала подходящее слово и ничего другого не находила, как «старый турок». Глум заливался хохотом, и словно сотни ножей рассекали воздух. Только зачем тогда было ходить к Глуму, раз она так сердится на него? А ходила она часто, разговаривала про завтрак, хотя, казалось бы, о чем тут говорить,— все всегда получали одинаковый завтрак, то есть, конечно, каждый получал свой, и не такой, как у других, но каждый изо дня в день получал одно и то же. Мать пила натуральный кофе, такой же крепкий, какой пил и дядя Альберт; для них с Глумом варили суррогат, а Больда пила горячее молоко с медом. Каждый получал кружку кофе, накрытую колпачком, нарезанный хлеб, масло, колбасу или мармелад на тарелочке — готовить все это входило в обязанности Больды. Но каждый, когда бы он ни вставал, должен был сам приносить себе завтрак из кухни.

Больша была «порченная», но добрая, мать тоже «порченная», и он подозревал, что она еще к тому же и безнравственная — приглушенный шепот в передней: «Где ты только шляешься?» Глум был не порченный, но странный и добрый, а дядя Альберт и вовсе добрый, хотя не странный и не порченный. Альберт был такой же, как отцы у других мальчиков. К бабушке слово «порченная» не подходило и слово «странная» — тоже. Собственно говоря, — он это хорошо знал, — бабушка тоже добрая, не вообще добрая, не просто добрая, а *собственно говоря*, и никак нельзя было понять, почему учитель так нападает на слова *вообще*, *собственно говоря* и *иначе* — эти слова помогают выразить понятия, которые ни за что бы не выразить без них. Больша, например, вообще добрая, мать — тоже. Но мать, по всей вероятности, *собственно говоря*, безнравственная. Впрочем, последнее еще надо обдумать, и он опасался, что, как ни думай, ни к чему хорошему это не приведет.

Больша и бабушка знали друг друга с детства, и каждая считала другую взбалмошной, только в дни трогательного умиротворения — на Рождество или в другой большой праздник — они сидели, обнявшись, и вспоминали: «Ведь мы вместе пасли коров, а ты помнишь, что... а ты помнишь, как... а ты помнишь... почему...» И они вспоминали злой ветер в горах, хижинки, сложенные из веток, камней и соломы, и как они варили кофе и суп на полевых кострах, а потом они пели песни, которых никто не понимал, и Глум пел песни, которых никто не понимал — песни-ножи. Не стоило бабушке встретиться с Большой в любой другой день, и тотчас между ними начиналась перепалка. Бабушка, тыкая пальцем в лоб, говорила:

— Как была чокнутой, так и осталась.

Больша отвечала таким же точно жестом и говорила:

— А ты всегда была ненормальная, да еще вдобавок...

— Что «вдобавок»? — вопила бабушка, но на этот вопрос Больша никогда не отвечала.

Причиной ссоры чаще всего были Больдины кулинарные рецепты: разваренная репа, сладковатая похлебка с тертым картофелем на снятом молоке, запавленная растопленным маргарином, суп на снятом моло-

ке, которому она, по словам бабушки, «нарочно дает подгореть». «Она нарочно так делает, эта свинья, она хочет напомнить мне мое нищее детство. Я ее вышвырну из дома. Дом мой, кого хочу, того и поселю, а ее я вышвырну!» Но она не вышвыривала Больду. Больда жила в этом доме почти столько же, сколько и Глум, и случалось, что бабушка робко прокрадывалась на кухню, чтобы отведать Больдиной стряпни: кашу из репы, суп на снятом молоке и кислый черный хлеб, который Больда раздобывала где-то в городе. И тогда по цветущему лицу бабушки катились слезы и падали прямо в тарелку, из которой она стоя ела, а по лицу Больды, худому, белому как бумага, пробегала непривычная, добрая улыбка, от которой оно становилось совсем молодым.

Обед каждый устраивал самостоятельно. У Глума был обычный суп, а в холодильнике и на кухонных полках лежали его огурцы, дыни, картофель и большие лиловые кольца кровяной колбасы, которая, собственно, и не была даже колбасой. У Больды всегда про запас была какая-то бесцветная жидкость, которая медленно прокисала в коричневых эмалированных горшках. У бабушки в холодильнике было свое, самое большое отделение. Там лежали колбасы, бифштексы, кучи крупных свежих яиц, фрукты и овощи; иногда она часом около четырех пополудни с сигаретой во рту сама становилась у газовой плиты и, мурлыкая песню, начинала что-то жарить, выпуская через нос клубы дыма. Довольно часто она звонила в ресторан и заказывала горячий обед: горячие, как огонь, серебряные судки, высокие бокалы с мороженым, увенчанные пышной шапкой сбитых сливок, красное вино; даже кофе ей приносили из ресторана. Но столь же часто она вообще ничего не ела после завтрака, а иногда в утреннем халате бродила по саду с неизменным «Томагавком» во рту, надев старые кожаные перчатки, и срезала крапиву, заросли которой шли вдоль замшелой ограды и вокруг беседки. Бабушка заботливо выбирала самые молодые и зеленые побеги, завертывала их в газету, потом готовила на кухне салат и ела его с кислым черным хлебом из запасов Больды. Иногда мать забывала приготовить обед для него и Альберта. Сама она ела мало — на завтрак гренки, яйцо, но пила много кофе. Когда мать бывала дома, она в три-четыре часа вдруг спохватывалась, что хорошо бы приготовить обед: мо-

ментально у нее закипал суп из консервов, появлялись маленькие мисочки с салатом, но бывало и так, что суп она брала из запасов Глума, наскоро разогревала его, а взамен клала Глуму круг колбасы или пачку табаку; вечером Глум, ухмыляясь, подливал в свою кастрюлю ровно столько воды, сколько мать взяла из нее супу. Но чаще всего мать внезапно уезжала куда-нибудь, так и не приготовив обеда, тогда обедом занимался дядя Альберт: он брал у Больды ее кашу из репы, сдабривал ее маслом и молоком, жарил на скорую руку блинчики или яичницу-глазунью. Но случалось и так, что ни Альберта, ни матери, ни Больды, ни Глума дома не было: тогда Мартину ничего не оставалось, как отлить немножко супа из кастрюли Глума, разогреть его или порыться в комнате у матери, — не найдется ли там шоколада или печенья. Идти к бабушке не хотелось. Она примется жарить мясо или повезет его в город, и тогда уже пойдет представление «Великая княгиня и блевун».

Но картофель, вкусный картофель, доставался ему очень редко: картофель, только что отваренный в мундире или очищенный, дымящийся, желтый, с маслом и с солью. Картофель он очень любил, но никто не знал об этом; даже Альберт и дядя Виль не знали. Иногда ему удавалось уговорить Больду отварить картофель: тогда на столе появлялась полная миска горячего картофеля, сверху кусок масла, который медленно-медленно таял, он пальцами брал щепоть сухой толченой соли, белой как снег, и не спеша посыпал картофель. Другие люди могли есть картофель каждый день, и он завидовал им. Генрих каждый день варил картофель на ужин, иногда Мартин помогал Генриху и в награду получал несколько горячих картофелин. У других людей — он это хорошо знал — все было по-другому; там стряпали всегда в одно и то же время и для всех одно и то же: овощи, картофель, подлива. Все ели одно и то же: бабушки, матери, отцы и дяди. И холодильников у них не было, где бы каждый хранил свои странные кушанья, и не было больших кухонь, где каждый мог приготовить для себя все, что ему вздумается. У людей по утрам на столе стоял большой кофейник, маргарин, хлеб и повидло, и все ели вместе, и для всех готовили бутерброды и давали их с собой в школу, на службу, на заводы, а яйца там ели редко, да и то одни лишь дяди и отцы; и только это отличало их завтрак от завтрака остальных членов семьи.

У других мальчиков матери стряпали, шили, приготавливали бутерброды — даже безнравственные матери, а его мать стряпала очень редко, никогда не шила и не готовила бутербродов. О том, что в школу полагается брать бутерброды, вспоминал всегда только дядя Альберт.

Случалось, что и Больша смилостивится и сунет ему в ранец несколько бутербродов; к счастью, когда он уходил в школу, бабушка обычно спала, она ведь всячески старалась прихотить его к мясу, давала ему толстые розовые куски жаркого, выдернутые с корнем поросячьи ножки, холодное, багрово-красное мясо.

К его великой радости, бабушка иногда уезжала на целый месяц, и тогда все получалось очень здорово. Большие корзины, чемоданы, пакеты отправлялись на вокзал, вызывали два такси, бабушка возглавляла колонну и ехала в первом такси; летом и зимой она уезжала на целый месяц, и от нее приходили открытки. Горы, озера, реки и «Тысячу раз целую мальчика и всех остальных, даже беглую монашку». Тут Больша прыскала и говорила: «В детстве ей небось никто не пел, что ей суждено ездить на воды». Размашистые каракули покрывали открытку, буквы были такие большие, как на пачке с сигаретами. Приходили от нее и посылочки — липкие, непривычные, склеившиеся в духоте почтовых отделений сладости, игрушки, сувениры и «Тысяча поцелуев! Твоя бабушка».

Когда бабушка уезжала, Мартин думал о ней с нежностью и даже с умилением, потому что не чувствовал над собой непосредственной угрозы: бывали дни, когда он хотел, чтобы она была уже дома, — без нее дом казался пустым и затихшим, и комната ее была на замке, так что он не мог рассматривать большую фотографию отца, и некому было кричать: «*Кровь в моче*».

Больша делалась тихой и печальной, когда уезжала бабушка, и даже когда приходили многочисленные мамины гости, ему казалось, что дом не так полон, как при ней.

Но чем ближе был день возвращения, тем сильнее он хотел, чтобы она подольше оставалась там. Он не хотел, чтобы она умерла, пусть себе живет, только где-нибудь далеко, он очень боялся ее наскоков. После возвращения она всегда стремилась наверстать упущен-

ное. Устраивала дома пиршество, заказывая все по телефону: услужливые бледные мальчики в белых курточках проносили через переднюю серебряные судки, бабушка с алчным блеском в глазах следила за всем, повар на кухне не давал остыть уже принесенным блюдам, а бледные мальчики сновали между кухней и бабушкиной комнатой. Бифштексы с кровью, овощи, салат, жаркое, а когда наступало время десерта, повар звонил в ресторан, проворный кремовый автомобильчик привозил кофе и мороженое, пирожные и засахаренные фрукты. В помойное ведро летели обглоданные кости, и шелест вырываемых чеков знаменовал собой окончание трапезы и начало его мытарств, ибо, подкрепившись пищей и раскурив свежую сигарету, бабушка звала Мартина к себе, чтобы ликвидировать пробелы в его воспитании.

— Вопрос пятьдесят первый. Когда восстанут мертвые?

— Мертвые восстанут в день Страшного суда.

— Твой отец погиб, верно?

— Да.

— Что значит «погиб»?

— Погиб на войне — был убит.

— Где?

— Под Калиновкой.

— Когда?

— Седьмого июля тысяча девятьсот сорок второго года.

— А когда родился ты?

— Восьмого сентября тысяча девятьсот сорок второго года.

— Как звали человека, который повинен в смерти твоего отца?

— Гезелер.

— Повтори это имя.

— Гезелер.

— Еще раз.

— Гезелер.

— Знаешь ли ты, что значит отнять у ребенка отца?

— Да.

Он это знал.

Иногда три дня подряд она каждый день звала его в свою комнату и каждый раз спрашивала одно и то же:

— Что повелел нам Господь в шестой и девятой заповеди?

— Господь повелел нам в шестой и девятой заповеди быть стыдливými и целомудренными.

— Как спрашивают о грехе бесстыдства?

Он быстро и без запинки отбарабанивал:

— «Взирал ли я на бесстыдное с охотою?

Внимал ли я бесстыдному с охотою?

Помышлял ли я о бесстыдном с охотою?

Желал ли я бесстыдного?

Изрекал ли я бесстыдное с охотою?

Творил ли я бесстыдное? (Один или с сотоварищами)».

Он так и говорил:

— В скобках: один или с сотоварищами.

И в заключение:

— Вот подрастешь, тогда ты поймешь, почему...

Гребхаке и Вольтерс делали в кустах бесстыдное: багровые лица, расстегнутые штаны и горьковатый запах свежей зелени. Непонятная возня и непонятный странный испуг, растерянность на их лицах потрясли его и заставили подозревать что-то неладное. Он не знал, чем занимались Гребхаке и Вольтерс, но понимал, что они делали что-то бесстыдное. На вопрос о шестой заповеди им придется ответить — «да», и не просто «да», а «с сотоварищами». С тех пор как он узнал, что делали Гребхаке и Вольтерс, он зорко следил за выражением лица капеллана во время уроков Закона Божия, потому что оба ходили к этому капеллану исповедоваться. Но лицо капеллана, когда он обращался к Гребхаке или Вольтерсу, не менялось. А вдруг Гребхаке и Вольтерс не сказали на исповеди про это, хоть и ходили причащаться? Он замер, когда такая мысль пришла ему в голову, и лицо его залилось краской, так что бабушка даже спросила: «Что с тобой?» А он ответил: «Ничего, это от дыма», и бабушка поторопилась закончить свою лекцию, вырвала чек, тогда он пошел к дяде Альберту и прямо с порога выпалил:

— А Гребхаке и Вольтерс делали что-то бесстыдное.

Дядя Альберт сразу же изменился в лице, он прикусил губу, чуть побледнел и спросил:

— Где, что ты видел? Откуда ты это взял?

Говорить было нелегко, но он продолжал:

— В кустах.— И еще, заикаясь, добавил: — Штаны расстегнуты, лица красные-красные.

Дядя Альберт спокойно набил трубку, закурил и медленно, чуть медленнее, чем обычно, заговорил о влечении полов, о красоте женщины. Не забыты были Адам и Ева, в голосе дяди Альберта звучало вдохновение, немножко смешное, когда он начинал воспевать красоту женщин и стремление мужчин соединиться с ними, тихий и непонятный восторг.

— Вообще же,— дядя Альберт выколотил трубку неизвестно зачем, потому что табак еще тлел, и закурил против обыкновения сигарету,— вообще же ты уже, вероятно, знаешь, что от этого родятся дети — от сожительства мужчин с женщинами.

Еще раз были помянуты Адам и Ева, потом цветы, животные, корова в Битенхане — и снова Адам и Ева; слова дяди Альберта звучали очень разумно, спокойно и убедительно, но Мартин так и не понял, чем же, собственно, занимались в кустах Гребхакке и Вольтерс, он сам толком ничего не разглядел и догадаться тоже не мог: расстегнутые штаны, багровые лица и горьковатый запах свежей зелени.

Дядя Альберт говорил долго о некоторых тайнах, которые ему, Мартину, еще рано знать, о темных силах, о том, как трудно для юноши дожидаться того времени, когда он созреет для сближения с женщиной. Еще раз были упомянуты цветы и животные.

— Ну, например, совсем молоденькая телочка,— сказал дядя Альберт,— она еще не может соединиться с быком, у нее еще не может быть детей — верно ведь? Но это совсем не значит, что телочка лишена пола. Пол есть у всех животных, у всех людей.

Не одну сигарету выкурил дядя Альберт, он часто запинаясь во время этого разговора.

А Мартин подумал: «Нужно еще спросить о безнравственном, о дядях и женитьбе».

— Ты ведь был женат там, в Англии?

— Да.

— А ты сожительствовал со своей женой?

— Да,— ответил дядя Альберт, и, как ни приглядывался Мартин, он не заметил ни малейшего изменения в лице дяди Альберта, ни малейшего смущения.

— А детей почему у тебя не было?

— Не от всякого сожительства бывают дети,— ответил дядя Альберт, потом опять пошли цветы и звери,

а об Адаме и Еве — ни слова, и он перебил дядю Альберта:

— Значит, правильно то, что я думал?

— Что ты думал?

— Женщина может быть безнравственной, даже если у нее нет детей от того мужчины, с которым она живет, — вот как у матери Вельцкама?

— Черт возьми! — сказал дядя Альберт. — Что это тебе пришло в голову?

— Потому что у Брилаха мать безнравственная, — у нее есть ребенок, и она живет с мужчиной, который ей не муж.

— Кто тебе сказал, что она безнравственная?

— Брилах сам слышал, как директор говорил инспектору: «Он живет в ужасных условиях, у него совершенно безнравственная мать».

— Ах так, — сказал дядя Альберт, и Мартин понял, что он очень рассердился, и добавил уже не так уверенно:

— Правда, правда, Генрих это слышал, да он и сам знает, что у него мать безнравственная.

— Ладно, — сказал дядя Альберт, — еще что?

— Еще, — ответил Мартин, — у Вельцкама мать тоже безнравственная, хотя у нее и нет детей. Я знаю.

Дядя Альберт ничего не ответил, он только посмотрел на него удивленно и очень ласково.

— Бесстыдно — это то, что делают дети, — внезапно начал Мартин, ибо эта мысль только что пришла ему в голову, — безнравственно — то, что делают взрослые, но вот Гребхаке и Вольтерс — они тоже сожительствовали?

— Нет, что ты, — ответил дядя Альберт, и тут он весь покраснел, — это не то, они запутались, сбились с пути; не думай больше об этом и всегда спрашивай меня, если услышишь такое, чего не можешь понять. — Голос Альберта звучал убедительно и серьезно, но по-прежнему ласково. — Запомнил? Всегда спрашивай меня. Лучше, когда обо всем поговоришь откровенно. Я знаю далеко не все, но то, что я знаю, я тебе объясню обязательно, не забудь только спросить.

Оставалось еще слово, которое мать Брилаха сказала кондитеру. Он подумал о нем и покраснел, но выговорить это слово он ни за что не решился бы.

— Ну, — спросил дядя Альберт, — что у тебя еще?

— Ничего, — ответил Мартин и постеснялся спро-

силь о своей маме — не безнравственная ли она? Это он спросит потом, много-много времени спустя.

С этого дня дядя Альберт стал уделять ему гораздо больше времени. Он часто брал его с собой кататься на автомобиле, да и мать — а может быть, это только так показалось ему — очень изменилась с этого дня. Мать изменилась, и Мартин не сомневался, что дядя Альберт с ней поговорил. Иногда они уезжали вдвоем, и Генрих мог приходить к нему, когда захочет, а часто они и Генриха брали с собой, когда ездили на машине в лес, к озерам или все вместе ходили в кино, или кушать мороженое.

И каждый день, — наверно, и об этом между ними было договорено — они стали просматривать его домашние задания, проверяли его, помогали, и оба — мать и Альберт — были ласковы с ним. Мать стала такая терпеливая, больше сидела дома и некоторое время его каждый день кормили обедом и даже картофелем, но только некоторое время. Терпения у нее хватило ненадолго. И вот опять она стала редко бывать дома, и обедать ему приходилось далеко не каждый день. Нет, на мать нельзя было полагаться так, как он мог, по-другому, конечно, положиться на Глума, Альберта и Большу.

11

Нелла стояла за зеленой шторой, курила, выпуская клубы дыма в пространство между шторой и окном, и наблюдала, как на солнце рассеивается дым и тянется кверху узкими струйками — бесцветная смесь из пыли и дыма. Улица была пустынна. У подъезда стояла машина Альберта, верх ее еще не просох после ночного дождя, хотя на мостовой не было и следа от луж. В этой же комнате, за этой же зеленой шторой она стояла двадцать лет тому назад и наблюдала за юными поклонниками, которые с ракетками в руках торопливо шли по аллее. Глупые и трогательные герои, они даже не подозревали, что за ними следят. В тени церкви, как раз напротив дома, они останавливались, еще раз торопливо проводили расческой по волосам, осматривали ногти, украдкой пересчитывали вынутые из кошелька деньги и перекладывали в карман, чтобы иметь их под рукой — они считали это признаком удалства. А удалство было для них важнее всего;

чуть запыхавшись, подходили они к дому, ступая по усыпавшим палисадник красным листьям каштана — их сбило первым дождем, и тут же раздавался звонок. Но даже самые удалые из них говорили, мыслили, поступали точно так, как поступали, мыслили и говорили молодые, удалые теннисисты в кинокартинах. Они знали, что умом не блещут, но и это считалось удальством, хотя ничего по сути не меняло; умом они и впрямь не блистали. Вот новый герой идет по аллее, в руках теннисная ракетка, он расчесывает волосы в тени церкви, осматривает ногти, вынимает деньги из кошелька и небрежно кладет их в карман — призрак ли это шагает по ковру из красных листьев, или это просто кинолента? Бывают фильмы, которые кажутся ей жизнью, она сама обрекла себя на эту жизнь, уплатив одну марку восемьдесят пфеннигов за билет, а жизнь кажется ей плохим фильмом. Очень похоже: темные волосы мелькают перед глазами, прозрачная серая пелена старой киноленты, — вот юный герой с теннисной ракеткой, мелькнув в тени церкви, выходит на улицу, он торопится к какой-то молодой девушке здесь по соседству.

Не оборачиваясь, она спрашивает:

— Разве в это время уже открыты теннисные корты?

— Конечно, мама, — отвечает Мартин, — некоторые открываются даже раньше.

Впрочем, и тогда все шло точно так же, но ей это было ни к чему: она предпочитала поздно вставать и не очень увлекалась теннисом. Но ей нравилась посыпанная красным песком площадка и зеленые, ярко-зеленые бутылки с лимонадом на белых столиках. Резкий запах воздуха, солоноватый запах тумана, поднимающегося над Рейном, иногда к этому запаху примешивалась горечь, если мимо проходила свежесмоленная баржа, и выпела пароходов медленно проплывали над купами деревьев, словно невидимая рука, скрытая за кулисами, приводила их в движение. Клубы угольно-черного дыма, протяжные гудки, звук подбрасываемых мячей и мягкий стук мгновенно ударяющих ракеток, звонкие, отрывистые выкрики партнеров.

Юный герой промчался мимо дома. Она даже узнала его: такая желтоватая кожа только у семейства Надольте, желтоватая кожа и светлые волосы, необычное размещение пигмента, которое уже Вильфриду

Надольте, отцу этого героя, придавало особую пикантность, от него она перешла и к сыну. Быть может, и у сына на лице выступает такой же остро пахнущий пот и так же отливает зеленью на желтой коже, отчего все вспотевшие Надольте напоминают обрызганные купоросом трупы. Его отец — летчик — был сбит где-то над Атлантическим океаном, и никогда не будет найден его труп. Но даже и эта поэтическая смерть — смерть Икара, побежденного коварными врагами, как выразился тогда патер, даже эта поэтическая смерть не помешала его сыну сделаться участником плохого кинофильма, статистом, который все принимает всерьез; правда, он неплохо справлялся со своей ролью: он был точно таким же, как и все теннисисты в плохих фильмах.

Она погасила сигарету в узком мраморном желобке на подоконнике, где еще оставались следы ночного дождя, и освободившуюся правую руку продела в большую петлю из золотой парчи; эта петля, как и вся штора, пережила войну. Ребенком она мечтала скорее подрасти, чтобы, стоя у окна, продевать правую руку в эту петлю. Давно она подросла, и уже двадцать лет она легко достает рукой до петли.

Она слышит за спиной возню Мартина: он снимает колпак с кофейника, намазывает хлеб, стучит ложкой о край банки с повидлом; она слышит, как хрустят гренки у него на зубах, и треск, когда он по привычке перевортывает в рюмке выеденное яйцо и разбивает скорлупу, и визгливое гудение электрической жаровни для гренков. Когда она просыпалась раньше обычного, чтобы выпить с мальчиком кофе, ее встречал в столовой запах чуть подгоревшего хлеба и плеск воды, доносившийся сюда из ванной, где мылся Альберт. Но сегодня плеска не было слышно. Альберт, вероятно, еще не умывался.

— Альберт еще не встал?

— Встал, — ответил мальчик. — Разве ты не слышишь?

Но она ничего не слышала. Три дня подряд она поднимается ранним утром, у нее уже появилось ощущение какого-то постоянства, упорядоченности: гренки, яйцо, кофе, счастливое лицо мальчика, когда он смотрит, как она накрывает на стол, как разливает кофе, завтракая с ним. По улице возвращается молодой Надольте, он с девушкой. Девушка хорошенькая

и очень молодая, она обнажает ослепительно белые зубки, ее соблазнительно вздернутый носик с надеждой вдыхает мягкий южный ветер. Она делает все, что требует от нее режиссер: улыбка — и она улыбается, покачивание головой — и она покачивает головой, хорошо тренированная статистка, которая скоро станет звездой, она тоже узнает, чем пахнет необычный надольтовский пот, который, если ты в зеленеющем кустарнике целуешься с кем-нибудь из Надольте, придает его лицу сходство с увядшими листьями салата.

Только тут Нелла услышала доносившийся из ванной плеск и поняла, что это моется Альберт. Уже двадцать лет она знает его, и он воображает, наверное, что изучил ее, а между тем за двадцать долгих лет он так и не смог понять, как волнуют ее мужские туалетные принадлежности и как мучительно для нее то, что у них общая ванная комната.

По утрам, в ванной, она влюблялась в безучастный блеск его бритвенного прибора, он действовал на нее, как возбуждающий аромат, пальцы ее с нежностью скользили по небрежно выдавленному тюбику с кремом для бритья, по синей баночке с кремом для кожи — вот уже пять лет все та же баночка стояла здесь. Его зубная щетка, его расческа, его мыло и запыленный флакон с лавандой, количество которой никак не уменьшалось. Кажется, уже много лет жидкость стояла как раз на уровне рта розовой женщины, украшающей этикетку. Женщина на этикетке постарела, красота ее поблекла, и она с меланхолической улыбкой созерцала свое увядание, как много лет назад, когда она была еще новой, с надеждой взирала вдаль. Лицо ее постарело, платье обносилось — бедная, увядшая красавица, она не привыкла к такому обращению. Уж слишком давно стоит этот флакон. Судя по всему, Альберт даже не догадывается, какая мука для нее жить так близко с мужчиной, который нравится, — и к чему эта убийственная серьезность, и зачем только он настаивает на браке с ней?

Мужчин она определяла по тому, как они подходят к телефону. Большинство подходит так, как это принято в посредственных фильмах: размашистые шаги, лицо дышит важностью и безразличием, на нем можно прочесть нечто среднее между: «Ах, оставьте меня наконец в покое» и: «Все же без меня, значит, не

обойтись». Затем в разговор, даже в самый незначительный — а когда вообще разговоры бывают значительными? — они пытаются вставить слова вроде «пересмотреть» и «вопрос остается открытым»; и самый критический момент — когда они кладут трубку. Кто теперь умеет положить трубку не так, как это делают плохие актеры? Альберт умеет, да еще умел Рай. Кто может отказать себе в удовольствии вплетать подхваченные где-то перлы остроумия в свои телефонные беседы, как вплетают искусственные цветы в еловый венок. Да и курить почти никто не умеет иначе, чем это делают в фильмах. Мир переполнен эпигонами, может быть, Альберт потому и остается таким естественным, что редко ходит в кино? Часто она завидовала его безразличию и страдала от того, что ей приходится общаться с идиотами, — терять на них время и расточать улыбки.

Чемодан уже уложен, ей предстоит три дня проскучать в Брернихе, в то время как Альберт уедет кататься с мальчиком. Когда она думала о том, что в Брернихе придется все эти дни слушать Шурбигеля, ей казалось это равносильным вечному заточению в парикмахерской: сладковатая духота, уютная и отвратительная — и все «милейшие люди», которых будет представлять патер Виллиброрд. «Ах, неужели вы еще незнакомы? Пора, пора!» Она обречена на светскую болтовню. Почему же Альберт бывает удивлен, когда она так стремительно увлекается каждым, кто хоть мало-мальски приятен или кажется приятным человеком?

Нелла отвернулась от окна, медленно обошла вокруг овального стола и придвинула к нему зеленое кресло.

— Кофе еще остался?

— Да, мама.

Мартин встал, осторожно снял с кофейника колпак и налил ей кофе. Он чуть не опрокинул банку с повидлом. Обычно он казался очень спокойным и даже медлительным, но, разговаривая с ней или делая что-нибудь для нее, он становился суетливым от тщетного желания казаться ловким. Лицо у него становилось озабоченным, почти мрачным, как у взрослых, когда они возятся с совершенно беспомощными детьми, временами он вздыхал, как вздыхают дети, когда им приходится трудно. Он снова включил жаровню, положил

в нее хлеб и стал терпеливо наблюдать, как он поджаривается, а готовые ломти снимал и укладывал на краю хлебницы.

— Ты будешь еще есть?

— Нет, это для Альберта.

— А где яйцо для Альберта?

— Здесь,— улыбнулся он, потом встал, подошел к своей постели и поднял подушку: под ней лежало яйцо, коричневатое, чистенькое.

— Чтобы не остыло. Альберт не любит холодных. Кофе для него тоже остался.

Об Альберте он заботился совсем не так, как о ней. Потому, быть может, что Альберт больше рассказывал ему об отце и постепенно стал назаменимым другом для мальчика. Во всяком случае, делая что-нибудь для Альберта, он оставался совершенно спокойным.

Сама она мало рассказывала ему о Рае. И только изредка доставала папку, в которой хранились стихи Рая: газетные вырезки, рукописи и уместившийся на двадцати пяти страницах в синей обложке маленький сборник, который упоминается теперь в каждой статье о современной лирике. Некоторое время она гордилась, когда встречала имя Рая в антологиях, когда слышала его стихи по радио и получала гонорары. Ее навещали люди, которых она никогда не знала и с которыми не хотела бы знакомиться: юнцы, одетые с нарочитой небрежностью и упивавшиеся своей небрежностью, как коньяком; воодушевление у них было тщательно отмеренное и никогда не выходило из определенных рамок. И когда такие люди появлялись у нее, она уже знала, что где-то готовится очередное исследование о современной лирике. Временами ее дом захлестывало настоящее паломничество, статьи в журналах появлялись, как грибы после дождя, гонорары текли со всех сторон, стихи Рая издавались и переиздавались. Но потом изысканно небрежные юнцы находили новую жертву, Нелла получала краткую передышку, а имя Рая всплывало на поверхность в пору очередного затишья, ибо эта тема годилась для всех времен: поэт, погиб в России, противник режима — это ли не символ молодости, принесшей бессмысленную жертву, или, если изменить аспект — это ли не символ молодости, принесшей жертву, полную глубокого смысла? Весьма странные нотки звучали в докладах патера Виллиброрда и Шурбигеля! Так или иначе Рай стал излюб-

ленной темой для всевозможных эссе, а изысканно одетых, небрежных юнцов, которые занимались писанием эссе и с похвальной неутомимостью отыскивали для этого новые символы, развелось порядочно. Усердно, прилежно, тщательно, не разжигая страстей и не умеряя их, они ткали гобелен культуры — проворные шарлатаны, как авгуры, улыбающиеся друг другу при встречах. Им давали на откуп все внутренности, и по этим жалким потрохам они умели предсказывать: они слагали тягучие гимны над обнаженным, сочащимся кровью сердцем; в скрытых от посторонних глаз лабораториях они очищали от грязи опаленные кишки жертвенного животного и тайно сбывали печень; замаскированные живодееры, они вырабатывали из падали не мыло, а культуру, вырабатывали сами или давали на откуп другим. Мясники и пророки, они рылись в помойных ведрах и слагали оды в честь своих достижений. При встречах они улыбались друг другу, улыбались, как авгуры, а Шурбигель был у них верховным жрецом, зарывшийся в грязь человеколюбец, увенчанный неопикуемой шевелюрой.

Ненависть охватила Неллу, и она с ужасом почувствовала, что начинает мыслить совсем как Альберт: раскинутые сети, готовые поглотить ее.

Пока Рай был еще жив, она упорно и жадно ждала очередной почты, как хищник в клетке ждет мяса: держась правой рукой за парчовую петлю и спрятавшись за зеленой шторой, она настороженно следила за появлением почтальона. Когда он показывался из-за угла дома священника, следующий его шаг определял весь ее день: если он под прямым углом пересекал улицу против ее дома, она знала, что у него есть что-нибудь и для нее, если же он сворачивал на невидимую диагональ, ведущую к соседнему дому, — тогда в этот день больше не на что было надеяться. Тогда она впивалась ногтями в тяжелую зеленую ткань, выдергивала из нее нити и не отходила от окна в безумной надежде, что почтальон, быть может, ошибся и вернется еще назад. Но почтальон никогда не ошибался и ни разу не вернулся назад после того, как прошел по диагонали мимо ее дома. Дикие мысли овладевали ею, когда она видела, что он окончательно миновал ее дом: не утаивает ли он письма, не участвует ли он в заговоре против

нее и против Рая? Садист в синей форме с вышитым на ней золотым почтовым рожком. Негодяй под личиной скромного обывателя. Но почтальон не был ни садистом, ни негодяем; он был очень добропорядочен и искренне предан ей. Она чувствовала это, когда он приносил ей письма.

Вот уже много лет она не видит почтальона в глаза, не знает, как он выглядит, не знает, когда он разносит почту. Чья-то рука бросала в ящик рекламные проспекты и письма, кто-то вынимал эти проспекты и письма из ящика: всевозможные фирмы предлагали бюстгальтеры, рислинг и какао. Все это ее не занимало. Вот уж десять лет как она не читает никаких писем, даже ей адресованных. На это сетовали порой и богемные юнцы — стервятники от культуры, выискивающие символы в кишках падали,— они не раз жаловались на это патеру Виллиброрду, но все равно она больше не читала писем. Единственный друг, который остался у нее, живет в соседней комнате, а когда он уезжает на несколько дней, к ее услугам — телефон. Только не читать писем. От Рая приходили письма уже после того, как он погиб и когда она уже знала, что он погиб. О, надежная почта, исправный, заслуживающий всяческих похвал аппарат, почта была ни в чем не повинна, она доставляла ответы на вопросы, которых уже никто не задавал.

Только не читать писем. Поклонники могут и позвонить, а если они шлют письма, пусть не рассчитывают на ответ. Все письма нераспечатанными летели в мусорный ящик, а потом их в точно установленные сроки вывозил мусорщик. Последнее письмо она прочла одиннадцать лет тому назад, его написал Альберт, оно было очень кратким: Рай погиб. Его убили вчера. Он погиб из-за одного подлеца. Запомни имя виновника: его зовут Гезелер. Потом напишу подробней.

Она запомнила имя Гезелера, но и письма от Альберта перестала распечатывать. Поэтому она и не узнала, что он полгода просидел в тюрьме: дорогая плата за пощечину по смазливой, ничем не приметной физиономии. И официального извещения о смерти она не стала читать. Его принес священник, но она отказалась принять священника, возносившего рокошующим басом торжественные молитвы за отечество, вселявшего в души патриотический подъем, вымаливавшего победу,— она не хотела видеть его. Он стоял с ее матерью за дверью и взывал:

— О Нелла, дорогая Нелла, откройте!

И до нее доносился шепот:

— Надеюсь, бедная девочка ничего над собой не сделает.

Нет, она не собиралась ничего делать над собой. Разве он не знает, что она беременна?

Ей неприятно было слышать его: ложный пафос, заученное семинарское красноречие — в определенных местах оно требовало определенных интонаций. Волна фальшивых чувств, неуловимая ложь, эффектные раскаты и, как финал, подобное удару грома слово «ад». К чему этот крик, эти вопли? Ложный пафос, которым семинарский учитель риторики начинил два поколения патеров, реял над сотнями тысяч людей.

«Откройте, дорогая Нелла».

Зачем? Ты мне нужен лишь постольку, поскольку мне нужен Бог, а я ему, и когда ты мне понадобишься, я сама приду к тебе; гроыхай своим раскатистым «р» в словах «Германия» и «фюрер», позванивай своим «н» в слове «народ» и прислушивайся к жалкому эхо, порождаемому твоим ложным пафосом под сводами капеллы — «...юрер», «...арод», «...ермания...».

«Будем надеяться, что она ничего над собой не сделает».

Да, я ничего не сделаю, но дверь я не открою: миллионы вдов, миллионы сирот — за фюрера, за народ, за Германию.

О непогрешимое эхо, ты не возвратишь мне Рая!

Она слышала, как патер огорченно сопит в передней, слышала, как он шепчется с матерью, и на какое-то мгновение ей стало жаль его, пока снова в ушах не зазвенело патетическое эхо.

Опять Гезелер, опять сомкнулся круг? Десять лет тому назад — письмо Альберта, теперь — приветливая улыбка патера Виллиброрда: «Позволь представить тебе господина Гезелера». Потом приглашение в Брерних — чемодан уложен и стоит рядом с книжным шкафом.

Улица перед домом была пустынна. Было еще очень рано, молочник еще не добрался до них, полотняные мешочки с хлебом еще висели на дверных ручках, а в доме слышался смех: Альберт проверял, как мальчик приготовил уроки: *Если не отпустишь нам, Господи, грехи...* — снова смех. Шел фильм, в котором она не желала играть, фильм под названием «Семейное сча-

стве». Улыбается ребенок, улыбается будущий отец, улыбается мать; равновесие, счастье, будущее. Все казалось ей очень знакомым, до странности близким и знакомым: улыбающийся ребенок, улыбающаяся мать и Альберт, улыбающийся в роли папаши? Нет, нет, она закурила сигарету и, держа ее в руке, смотрела на медленно поднимающиеся голубоватые клубы дыма. Жена Альберта, кажется, любила воздушные шары больше, чем мебель, преходящее больше, чем постоянное, и предпочитала мыльные пузыри запасу постельного белья. «О, прохладное полотно в шкафу у хозяйки». Улыбающийся отец, улыбающийся сын, но она не желает разыгрывать улыбающуюся мать ради полной пафоса лжи, которая разносится из капеллы, как эхо.

Медленно дотлевала сигарета в ее руке, светлый синий дым ткал призрачные узоры, а за стеной звучал голос мальчика, отвечавшего Альберту урок: *Из бездны взываю к тебе, о Господи...*

Сколько лет ее мучает мысль о том, как все это могло бы сложиться: много детей, дом, а для Рая дело, о котором он мечтал — мечта о счастье, которую он лелеял с юных лет, мечта, пронесенная сквозь зрелые годы, сквозь годы нацизма и войну, мечта, о которой он писал в своих письмах: мечта издавать журнал, мечта всех мужчин, имеющих хоть какое-нибудь касательство к литературе.

Она знает не меньше двадцати человек, которые носятся с планами издания журнала. Даже Альберт и тот уже несколько лет ведет переговоры с владельцем типографии, которого он консультирует по вопросам оформления; даже Альберт хочет основать сатирический журнал.

Несмотря на скепсис, легкий скепсис, с которым она в глубине души относилась к этому проекту, ей доставляло удовольствие представлять себе, как она с Раймундом сидит в одной комнате, где помещается и редакция: на столах громоздятся книги, кругом разбросаны гранки, ведутся бесконечные телефонные разговоры о всяких новинках, и ко всему радостное сознание, что нацистов больше нет и война окончена. Она могла смотреть этот фильм, пока шла война. И она видела эту жизнь, отчетливо видела; она вдыхала горьковатый запах свежей типографской краски, отпечатавшейся на плотной бумаге, она видела, как сама

она вкатывает в комнату чайный столик и пьет с посетителями кофе, как угощает их сигаретами из больших светло-голубых жестяных коробок, а дети тем временем шумно бегают по саду. Картинка из журнала «Культура быта»: дети прыгают вокруг шланга, на окнах приспущены жалюзи, по столу разбросаны дико исчерканные почерком Рая гранки, карандаш мягкий, очень жирный. Ожившая картинка из журнала «Культура быта»: на квартире у писателя спокойный зеленый свет, во всем ощущение счастья, кто-то звонит — голос Альберта, он спрашивает: «Ты читал новую вещь Хемингуэя?» — «Нет, нет, статья уже заказана». Смех. Рай счастлив так, как он бывал счастлив только до 1933 года. До мельчайших деталей вставала эта картина в ее воображении — она видела Рая, свои туалеты, картины на стенах, видела себя склонившейся над большими, со вкусом подобранными вазами, она чистит апельсин, она накладывает горкой орехи, она придумывает напитки, которыми будет угощать в летнюю жару: замечательно красивые соки, красные, зеленые, голубые, в бокалах плавают льдинки, и переливаются жемчужинки углекислоты; Рай брызгает в лицо разгоряченным, прибежавшим из сада детям газированной водой, и голос Альберта в телефонной трубке: «Я вам говорю, что молодой Бозульке — это талант». Фильм, отснятый до конца, но так и не увидевший экран. Никчемная бездарь оборвала ленту.

— *Кто останется праведен?* — спросил мальчик за стеной, а Альберт постучал кулаком в стену и крикнул:

— Тебя к телефону, Нелла.

Она откликнулась:

— Спасибо, иду, — и медленно пошла к телефону.

Альберт тоже участвовал в ее мечтаниях: он незаменимый друг, для него она с особой тщательностью сбивает самые изысканные коктейли. Он остается у них, когда другие гости уже давно разошлись. Но теперь, увидев, как он сидит на кровати с недоеденным бутербродом в руке, она испугалась: Альберт постарел, выглядел очень усталым, волосы у него поредели, и теперь он решительно не годился для участия в ее роскошном фильме.

Она поглядела на Альберта, поздоровалась с ним и поняла по его лицу, что Гезелер не назвал себя. Мартин с книгой в руках стоял возле кровати Альберта и читал: *Внемли, о Господи!*

— Пожалуйста, помолчи минутку,— сказала она. Потом сняла трубку:

— Алло!

Глухой голос из фильма, в котором ей вовсе не хотелось играть, прозвучал совсем близко и вернул ее к тому, что она ненавидела: к действительности, к настоящему.

— Это вы, Нелла?

— Да.

— С вами говорит Гезелер.

— Надеюсь, что вы...

— Нет, нет, я не назвал имени. Я позвонил просто для того, чтобы убедиться, помните ли вы о нашем уговоре.

— Конечно,— сказала она.

— Комната заказана, и патер Виллиброрд очень рад, что вы будете. Получится великолепно.

— Конечно, я приеду,— раздраженно ответила она, но раздражение ее вызвано было тем, что под рукой не оказалось сигареты,— какая глупость разговаривать по телефону без сигареты.

Гезелер замолчал, какую-то долю секунды молчали оба, потом он робко сказал:

— Хорошо, значит, я жду вас, как мы и условились, у Кредитного банка.— И еще более робко добавил: — Я очень рад, Нелла. До скорого свидания.

— До свидания,— ответила она и положила трубку.

Потом пристально посмотрела на черный аппарат и, глядя на него, вспомнила, что во всех фильмах женщины после решающих разговоров пристально смотрят на аппарат — вот как она сейчас. Так поступают женщины в фильмах, договариваясь с любовником в присутствии мужа; потом эти женщины с грустью смотрят на мужа, на детей, обводят взглядом комнату, сознавая «от чего они отказываются», но в то же время чувствуя, что «не в силах противиться зову любви».

Она с трудом отвела глаза от телефона, вздохнула и повернулась к Альберту.

— Мне хотелось бы поговорить с тобой, когда Мартин уйдет. Ты никуда не собираешься?

В голосе мамы нежность, милый мамин Мартин взглянул на будильник, стоявший у Альберта на тумбочке, и закричал:

— Господи, я опаздываю!

— Иди,— сказала она,— поторапливайся.

Так случалось каждый раз: до самой последней минуты они забывали про время, потом впопыхах укладывали ранец и нарезали бутерброды.

Они помогли Мартину запихнуть учебники в ранец. Альберт вскочил, намазал бутерброд, она поцеловала сына в лоб и спросила:

— Может быть, тебе дать записку, скоро девять, ты все равно опоздаешь.

— Не надо,— решительно отказался Мартин.— Это ни к чему. Учитель уже давно перестал читать твои записки. Когда мне удастся прийти вовремя, весь класс помирает со смеху.

— Мы ведь сегодня вечером уезжаем в Битенхан. Ну ладно, иди. Завтра у тебя свободный день.

Альберт стоял с виноватым видом у своей кровати.

— Мне очень жаль, Мартин.

Нелла окликнула мальчика, когда он пошел к двери, еще раз поцеловала его и сказала:

— Мне надо уехать, но Альберт за тобой присматривает.

— А когда ты вернешься?

— Дай ему наконец уйти,— сказал Альберт,— очень неприятно, что ему приходится все время опаздывать.

— Это неважно,— сказал Мартин,— я уж все равно опоздал.

— Не знаю,— ответила Нелла,— возможно, что придется задержаться на несколько дней, а может быть, я вернусь даже завтра вечером.

— Ну ладно,— промолвил мальчик, и на его лице она не заметила сожаления.

Она сунула ему в карман апельсин, и он медленно вышел.

Дверь в комнату Альберта так и осталась открытой. Она помешкала, потом все-таки затворила дверь и вернулась к себе. Сигарета на мраморном подоконнике еще тлела, большие синеватые кольца поднимались от нее. Она загасила сигарету, бросила ее в пепельницу и увидела, что на подоконнике стало еще больше желтых пятен. Мальчик медленно, очень медленно пересек улицу и скрылся за домом священника. Улица стала многолюдней, молочник беседовал с рассыльным, тощий мужчина с трудом толкал тележку и меланхолично нараспев предлагал кочанный салат — яркую, как лимонадные бутылки в кафе на теннисном корте, сочную

зелень. Потом молочник и зеленщик скрылись из виду. На улице появились женщины с сумками для продуктов, какой-то бродячий торговец вступил на ту воображаемую линию, по которой годами ходил почтальон, когда нес ей письмо; у бродячего торговца набитый чемодан, перетянутый бечевкой, и безнадежно поникшая голова. Он отворил калитку, а она смотрела на него, как смотрят на киноэкран, и когда раздался самый настоящий звонок, она испугалась. Разве это не просто темная эпизодическая фигура, введенная в солнечный фильм — искушающе неправдоподобный фильм, — сон о редакции, журнале, гранках и крюшонах со льдом. Он позвонил тихо и нерешительно, и она подождала, не откроет ли Альберт, но Альберт не тронулся с места, тогда она вышла в переднюю и отворила дверь. Чемодан был уже открыт, и в нем — аккуратно разложенные картонки с подвязками, пуговицами, подшитыми к бумаге, и ласково улыбающаяся блондинка, такая, как у Альберта на флаконе с лавандой, свежая, приветливая куртизанка в платье стиля рококо помахивала платочком вслед отъезжающей почтовой карете. Шелковый платочек, и на заднем плане деревья, точно с картины Фрагонара. Расплывчатые контуры рисунка искусно создают впечатление грусти, а вдали развеивается платок возлюбленного, который машет из окна почтовой кареты, все отдаляясь, но не становясь от этого меньше. Чуть тронутые золотом зеленые листья фрагонаровских деревьев, и нежная, маленькая рука держит платочек, розовая ручка, созданная для ласки. Предлагавший все это великолепие человек как-то странно посмотрел на нее: он даже и подумать не смел, что она купит у него что-нибудь. Да еще лаванду, самое дорогое из всего содержимого чемодана, — он знал, что она может это купить, но не смел надеяться, не осмеливался верить, что большая серебряная монета из ее рук перекоцует в его карман. Надежда его была слабей и вера ничтожней, чем опыт. На потрепанном лице была смертельная усталость.

Она взяла флакон и тихо спросила:

— Сколько стоит?

— Три марки, — ответил он и побледнел от испуга: эта покупка была сверх всякого ожидания, она была пределом его надежд.

Он вздохнул, когда Нелла отобрала еще кое-что, снова ту же красавицу, только на сей раз красавица

мыла руки в фарфоровом тазике. Розовые маленькие пальчики, привыкшие к ласке, нежились в невообразимом количестве прозрачайшей воды, на обертке мыла вздымался ослепительный бюст красавицы, сквозь распахнутое окно виднелся садик во фрагонаровском вкусе.

— А за это сколько? — спросила Нелла и взяла кусок мыла.

— Одну марку, — ответил он, и лицо его стало почти злым оттого, что сбывались надежды, плоды которых он будет пожинать две недели, от избытка счастья, которому он радовался с чувством недоверия, со смутным предчувствием, что добром это не кончится.

— Значит, всего четыре марки, — сказала она, и он с облегчением кивнул головой.

Она дала ему четыре марки — четыре серебряные монеты, и положила на крышку чемодана три сигареты.

От неожиданности он даже не решился поблагодарить. Он только уставился на нее и получил в придачу улыбку, не стоящую ни денег, ни усилий. Улыбка подействовала мгновенно — слепая страсть, дикое желание обладать красотой, которую он встречал до сих пор только на мыльных обертках, красотой, которую увидишь только на экране, и эта все сокрушающая улыбка во мраке передней. Нелла испугалась и тихонько закрыла дверь.

— Альберт, — крикнула она, — Альберт, иди же, я сейчас уйду.

— Ладно, — отозвался он, — иду.

Она прошла в свою комнату, оставив дверь открытой. Альберт пришел к ней уже готовый к выходу из дома: в кармане — газета, в руке — ключ от машины, во рту — трубка.

— Ну что? — спросил он, останавливаясь в дверях.

— Да войди же, — сказала она, — или у тебя нет времени?

— Лишнего нет, — сказал он, но все же вошел, не закрывая дверь, и опустился на краешек стула. — Ты уезжаешь?

— Да.

— Надолго?

— Не знаю, может быть, завтра вернусь. Я на семинар.

— О чем семинар? Кто там будет?

— Будут доклады «Литература и общество», «Литература и церковь»,— сказала она.

— Ну что ж, неплохо,— сказал он.

— Должна же я, в конце концов, хоть что-нибудь делать. Лучше всего мне бы, конечно, устроиться на работу.

«Опять за свое»,— подумал он, а вслух сказал:

— Конечно, тебе нужно какое-нибудь занятие, но устраиваться на работу просто бессмысленно для тебя. Большинство людей работает по простой причине — им надо кормить семью, платить за квартиру и всякое такое. Иметь занятие — это не то что работать, а занятий тебе при желании хватило бы на целый день.

— Да, я знаю,— вздохнула она,— ребенок,— и заговорила в тоне патера Виллиброрда: — «Воспитывать ребенка, и продолжать дело своего супруга, и хранить его творения».

— Вот именно,— сказал он,— так и сделай, развороши весь этот ящик, достань письма Виллиброрда, письма Шурбигеля и подсчитай, сколько раз они там восхваляют фюрера,— вот тебе и будет прелестное занятие.

— Хватит! — бросила Нелла, стоя у окна.— Неужели я должна всю жизнь караулить тридцать семь стихотворений? С мальчиком ты справляешься гораздо лучше меня, а замуж я больше не собираюсь. Я не желаю изображать улыбающуюся мамашу с обложки иллюстрированного журнала. Я больше не желаю быть ничьей женой — такого, как Рай, мне уж не встретить, и самого Рая тоже не вернуть. Его убили, я стала вдовой — за ...юрера, ...ерманию и ...арод,— и она передразнила эхо, идущее от стен капеллы, эхо, полное лжи и угроз, дешевого семинарского пафоса.— Ты думаешь, мне и в самом деле приятно ездить на семинары со всякими идиотами?

— Тогда не ездь,— сказал он.— Я разбогател, так сказать, за одну ночь.— Он слабо улыбнулся, думая о найденной коробке с зарисовками.— Мы устроим себе отличный субботний отдых вместе с мальчиком, а ты можешь поболтать с Виллем о кино. А если ты хочешь,— и она взглянула на него потому, что голос у него неожиданно изменился,— если хочешь, мы уедем еще дальше.

— Вдвоем?

— Нет, с мальчиком,— ответил он,— а если ты не

возражаешь, то с обоими — прихватим приятеля Мартина, если ему захочется.

— А почему не вдвоем, чего ради разыгрывать счастливое семейство, если счастье — это сплошной обман: улыбающийся отец, улыбающийся сын, улыбающаяся мать?

— Нельзя, — сказал он, — будь же благоразумна. Для мальчика это будет просто ужасно, это будет последней каплей, а еще хуже — для его товарища. Я ничего не могу поделаться, — тихо добавил он, — но для ребят я последняя надежда, для них это будет тяжелым ударом, от которого им не оправиться, если я — я тоже — из категории тех дядей, к каким сейчас принадлежу, перейду в совершенно другую.

— А для тебя?

— Для меня? Да ты с ума сошла, неужели тебе и в самом деле доставляет удовольствие ставить меня в дурацкое положение, от которого я отбиваюсь руками и ногами? Ну, пошли, мне пора, меня ждет Брезгот.

— Ах, руками и ногами? — повторила она, не поворачивая головы.

— Да, руками и ногами, если это тебя так интересует, а может быть, ты хочешь, чтобы здесь, в этом доме, который насквозь пропитан воспоминаниями, мы тайно завели роман, а внешне разыгрывали бы доброго дядю и добрую мамашу? И потом, это бесполезно, дети все равно обо всем догадаются.

— Опять дети, — устало ответила она, — сколько шума из-за детей.

— Называй это шумом, но замужества тебе не мигновать.

— А вот миную! Я больше никогда не выйду замуж, уж лучше я буду изображать неутешную вдову, чем улыбающуюся супругу — исходную клеточку — ...одины, ...арода...

— А теперь пора идти, или уж оставайся дома. Ты там со скуки помрешь.

— Нет, — сказала она, — сегодня мне в самом деле надо ехать. Обычно для этого нет особых причин, а вот сегодня есть. Мне просто необходимо.

Она представила, как может подействовать на Альберта имя Гезелера.

— Идем, — сказала она. Он взял ее чемодан, и уже в дверях она сказала, как нечто не имеющее значения: — Больше, чем ты сейчас делаешь для меня, про-

сто нельзя делать, и еще хорошо, что ты заботишься о мальчике; должна тебе сказать, что я не испытываю при этом ни малейшей ревности.

На улице потеплело. Альберт снял перчатки, шляпу и сел в машину рядом с Неллой.

И, когда он включил мотор, Нелла сказала:

— Я очень хотела бы иметь такое занятие, как у тебя. По-моему, ты очень счастлив.

— Ничуть,— ответил он, остальные его слова пропали в шуме мотора, и она уловила только конец: — ...ничуть я не счастлив. А занятий и ты нашла бы себе сколько угодно.

— Знаю, я могла бы помогать монахиням, могла бы гладить белье и всякое такое, вести счета по хозяйству, вязать кальсоны и тому подобное, и хозяйственница сказала бы: «У нас есть теперь прелестная помощница — вдова поэта имярек».

— Не дури,— сказал он, и по тому, как он переключил скорость, она поняла, что он просто взбешен.

— Болтай что вздумаешь, меня это несколько не трогает, и монахинь можешь ругать, как тебе вздумается, но жизнь они ведут не бессмысленную, у них есть занятие, всегда казавшееся мне наиболее разумным, хотя, впрочем, для меня оно не подходит. Они молятся — и я хочу снять с них часть забот, чтобы у них хватало времени для молитв. Просто завидно слушать, как другие люди отлично устроили свою жизнь.— Она всхлипнула, но пересилила себя и сказала:— Тебе бы только жену, и твоя жизнь была бы вполне устроенной.

— А почему бы и нет,— сказал он, останавливая машину перед светофором на Пипинштрассе.— Тебя погубит снобизм.— Он сжал ее руку.

Она ответила на пожатие и сказала:

— Нет, дело не в снобизме, я просто не могу им простить, что они убили моего мужа,— ни простить, ни забыть, и не хотела бы доставить им удовольствие и вторично изображать счастливую, улыбающуюся жену.

— Удовольствие кому?

— Им,— повторила она спокойно.— Догадайся сам, кого я имею в виду. Зеленый свет — поезжай дальше.

Он поехал дальше.

— Из всех твоих дел ты ничего не доводишь до конца. Мать ты никакая, вдова тоже никакая, и гулящей тебя не назовешь, и даже ничьей любовницей — я

просто ревную, ревную тебя, и даже не к этим идиотам, а к бесплодно растроченному времени — и одно всегда останется неизменным: мужчина не может больше сделать для женщины, чем предложить ей выйти за него замуж.

— Нет,— сказала она,— иногда гораздо важнее стать ее возлюбленным. Как-то странно получается: раньше женщины были рады, если им удавалось выйти замуж, а теперь, наоборот, мне, во всяком случае, это совершенно не нужно.

— Потому что ты полна снобизма. Годами выслушивать таких оболтусов — это даром пройти не может. Где тебя высадить?

— У сберкассы,— сказала она.

Он подождал, пока полицейский подаст знак к проезду, обогнул площадь Карла Великого и остановился у сберкассы. Потом вышел, помог ей выйти и достал из багажника ее чемодан.

— На сей раз,— улыбнулась она,— я действительно не стану терять времени даром.

Он пожал плечами.

— Ну что ж,— сказал он,— у нас ведь все наоборот — раньше преданные женщины дожидались, когда на них женятся неверные мужчины, теперь же я, мужчина, буду преданно ждать, пока неверная позволит на ней жениться.

— Да, ты предан,— сказала она,— и я знаю, что это хорошо.

Он пожал ей руку, сел в машину и второй раз обогнул площадь.

Она подождала, пока его машина скрылась за углом улицы Мервингов, потом подозвала такси со стоянки у Старых городских ворот и сказала шоферу:

— К Кредитному банку.

Обычно он не спешил из школы домой. Он присоединялся к компании так называемых лоботрясов, но даже среди них не было ни одного, кто так не хотел бы идти домой, как Мартин. Некоторые бежали домой со всех ног, потому что проголодались, или потому, что дома их ожидало что-нибудь приятное, или потому, что им надо было идти за покупками или разогреть

обед для младших братьев и сестер. Генрих сам готовил еду для своей маленькой сестренки, на уроках он сидел очень усталый и стремглав бросался бежать, едва только прозвенит звонок. Его мать уходила на работу за двадцать минут до конца занятий в школе, и Вильма оставалась одна с Лео, а Брилах сидел как на иголках, когда знал, что Вильма одна с Лео. На последнем уроке он то и дело шептал: «Я не могу сидеть на месте от беспокойства!»

Покою у Генриха никогда не было, уж слишком много у него было всяческих забот, и школу он воспринимал как дело второстепенное, ненужное, но в то же время симпатичное, как нечто далекое от жизни. Пузырьки воздуха под ледяной корой, милые игрушки, забавляться которыми чрезвычайно приятно, хотя они и отнимают много времени. А иногда в школе было просто скучно, и тогда Брилах на последнем уроке засыпал, если только страх за Вильму не мешал ему заснуть.

Зато Мартин не спал и дожидался звонка. Время останавливалось, время застывало, чтобы одним рывком перекинуть большую стрелку на двенадцать, — и тогда раздавался звонок. Генрих вскакивал, они хватали ранцы, на бегу надевали их через плечо и неслись по коридору, потом через двор — на улицу, вперегонки до угла: там он сворачивал направо, а Генрих — налево. Они обгоняли остальных и бежали по мостовой, а не по тротуару, чтобы не сталкиваться с потоком идущих в школу девочек.

Брилах первым добежал до угла, он торопился домой, но подождал Мартина. На прощанье Мартин крикнул:

— Поедешь с нами в Битенхан? Мы за тобой заедем!

— Надо спросить у матери!

— Ну, будь здоров!

На дорогу у Мартина обычно уходило пятнадцать минут, но он мог пробежать ее и за пять. Сегодня он бежал очень быстро, задыхаясь от нетерпения, и уже издали увидел, что машины Альберта нет возле дома. Он остановился у какой-то ограды, перевел дух и оглянулся назад, на аллею, по которой Альберт должен вернуться от Брезгота. Идти домой не хотелось. Больды нет, Глума нет, и вообще, пятница — день опасный, это бабушкин день. Еще не до конца разыграна *кровь*

в моче, у Фовинкеля сегодня подают пятьдесят различных рыбных блюд, а он терпеть не может рыбу. Когда Альберт выедет из-за угла, то сразу увидит, что он сидит здесь, и он злился на Альберта за то, что его машины до сих пор еще нет у подъезда. Мартин встал и поплелся к стоявшей в самом конце аллеи бензоколонке.

Только теперь в аллее появились опаздывающие девчонки, которых обычно он встречал на углу; они пересекли мостовую, взглянули на большую золотую стрелку башенных часов и припустили рысцой. Несколько девочек, задыхаясь, бежали по аллее, а вдаль группа девчонок шла совсем не торопясь. Он хорошо знал их всех, потому что тех, что сейчас припустили рысцой, он встречал ежедневно перед началом второй смены, у самой школы; тех, что бежали по аллее, он встречал всегда у бензоколонки, на ограде которой сейчас сидел. Сегодня все перепуталось, и Мартин злился, что так поспешил домой. Всегда он шел одним из последних, и когда появлялись приунывшие прогульщицы, он обычно уже сидел на ограде колонки, а они не бежали, зная, что все равно не успеют. Это были те девочки, которые сейчас вдаль спокойно прыгали через тени деревьев, словно через ступеньки. Он встречал их всегда у колонки, а сегодня он успел дойти до самого дома и вернуться, а они все еще не добрались до колонки. С развевающимися волосами, с пылающими лицами пронеслись мимо него те, что еще не привыкли опаздывать. Минутная стрелка часов на церковной башне совсем приблизилась к трем, бежать не стоило, потому что успеть на урок им уж не удастся.

Машины Альберта все еще не было, ожидание становилось невыносимым, и виноват во всем был Альберт.

Появилась группа неторопливых прогульщиц, на башне пробило четверть второго, и нормальный ритм жизни был восстановлен. Зря он бежал, зря торопился, с этой минуты все пошло, как в обычные дни. Прогульщицы смеялись, болтали, а он с завистью глядел на них — они принадлежали к числу *отчаянных*, и сам он очень хотел бы быть на их месте. *Отчаянными* считались такие, которым было на все наплевать. Само по себе понятие *отчаянный* оставалось загадочным, среди них встречались такие, у родителей которых водились деньги, и такие, у которых денег не было. На Брилаха это иногда находило, и у него к отчаянности примешивалась известная доля гордости, на лице Брилаха мож-

но было прочесть: «Ну чего вам от меня надо?» Отчаянными считались те, о которых директор говорил, что их нужно переломить,— это звучало ужасно, будто речь шла не о детях, а о спичках или костях. Одно время он даже думал, что переломленные это как раз и есть те, которых подают на стол в погребке Фовинкеля. Во втором классе переламывали Хевеля, а потом он исчез. Полиция приводила его в школу, но на переменах он все равно исчезал. Потом он подбил на это и Борна. Борн и Хевель жили вместе в бомбоубежище, и уже тогда они делали бесстыдное, а когда их наказывали, они только смеялись, и директор говорил: их необходимо *переломить*. Потом Хевель и Борн исчезли, и он решил, что их просто *переломили* и подают на стол в погребке Фовинкеля пожирателям детей и переламывателям костей, которые платят за это много-много денег.

Альберт потом ему это разъяснил, но все равно дело оставалось очень загадочным, а бомбоубежище, в котором жили когда-то Хевель и Борн, так и осталось среди каких-то огородов — таинственная, бетонная громада без окон. Их *переломили*, и после этого они бесследно исчезли,— попали в колонию, как говорил Альберт.

А Альберта все нет, и больше он никогда не придет. Полузакрыв глаза, Мартин глядел на приближающиеся со стороны города машины, только Альбертова «мерседеса» — старенького, неуклюжего, мышинного цвета — среди них не было,— Мартин не спутал бы его ни с какой другой машиной.

И податься некуда: идти к Генриху не хочется. Там сейчас дядя Лео, и на работу он уйдет только в три. Больда прибирает в церкви. Можно, конечно, пойти к ней, съесть, забравшись в ризницу, один из ее бутербродов и запить его горячим бульоном из термоса.

Он взглянул на безнадежную прогульщицу, которая сейчас только появилась в конце аллеи и ничуть не спешила. Он хорошо знал это состояние — не все ли равно, опоздать на двадцать минут или на двадцать пять. Девочка с большим интересом разглядывала первые опавшие листья, набрала целый букет больших, почти зеленых, только чуть тронутых желтизной. С букетом листьев в руках она спокойно пересекла улицу.

Девочка была незнакомая. У нее были темные растрепанные волосы, и его восхитило спокойствие, с

каким она остановилась у кинотеатра «Атриум», чтобы посмотреть афиши. Он даже придвинулся поближе к «Атриуму»; бензоколонка стояла как раз рядом с кинотеатром. Афиши они вместе с Генрихом уже разглядывали и решили в понедельник пойти в кино.

Между двумя зелеными тополями на афише виднелись бронзовые ворота парка, они были полуоткрыты, в просвете их стояла женщина в лиловом платье с золотым высоким воротником. Широко раскрытые глаза женщины были устремлены на того, кто в данный момент стоял перед плакатом, а наискось через ее лиловый живот тянулась белая надпись: «*Сеанс для детей*». На заднем плане был замок, а на самом верху, на светло-голубом небе название фильма: «*В плену у сердца*». Мартин не любил фильмы, о которых извещали афиши с женщинами в закрытых платьях и с белой надписью: «*Сеанс для детей*», эти фильмы сулили непроходимую скуку, а фильмы с женщинами в открытых платьях и с красной надписью: «*Детям до 16 лет...*» предвещали безнравственное. Но ни *безнравственное*, ни скука не привлекали его, лучше всего были фильмы про ковбоев и мультипликации.

На той неделе пойдет безнравственный фильм. Афиша висит рядом с афишей детского фильма, на ней женщина с открытой грудью, ее обнимает мужчина в съехавшем набок галстук. Галстук здорово съехал набок, вид у мужчины взъерошенный, и все это очень напоминает то слово, что мать Брилаха сказала кондитеру, когда он вместе с Генрихом и Вильмой ходил встречать ее с работы.

В подвале стоял сладкий, теплый дух. Кругом на деревянных полках лежали кучи свежесдобитых, еще теплых хлебов; ему нравилось чавканье машины, месившей тесто, нравился шприц для крема, которым кондитер выписывал на тортах: «С днем рождения». Кондитер писал быстро, аккуратно и правильно, быстрее, чем некоторые пишут авторучкой, а мать Брилаха легко и проворно наносила шприцем цветы и домики, дым из труб и всякие красоты. Когда они приходили вместе с Брилахом, они останавливались перед неплотно прикрытой, обитой жестью дверью, к которой обычно подъезжали грузовики с мукой, и, зажмурив глаза, вдыхали теплый сладкий воздух. Потом тихо открывали дверь, врвались туда и кричали: «Бэ-э-э!» —

эта игра очень нравилась маленькой Вильме. Она визжала от восторга, а вместе с нею радовались кондитер и мать Брилаха.

С неделю назад они как-то стояли, притаившись за дверью, уже собираясь открыть ее, и внезапно в царившей здесь тишине услышали, как мать Брилаха сказала кондитеру:

— Не тебе меня... — и то слово. Мартин весь вспыхнул, вспомнив это слово, и даже теперь ему страшно было хорошенько вдуматься в его смысл. А кондитер ответил спокойно и печально:

— Ты не должна так говорить, не надо...

Вильма начала подталкивать их в темноте, ей хотелось начать игру и закричать: «Бэ-э-э», но они оба стояли, словно громом пораженные, словно окаменевшие, а кондитер в пекарне бормотал что-то совершенно непонятное, какой-то загадочный вздор, беспокойный, страстный и в то же время покорный; слова его перемежались звонким смехом матери Брилаха, а Мартин думал о том, как дядя Альберт говорил про тоску мужчин, об их желании жить с женщинами. Кондитер, судя по всему, просто с ума сходил от желания соединиться с матерью Брилаха, он чуть не пел, он бормотал что-то непонятное. Мартин даже дверь приоткрыл, чтобы посмотреть, не соединяются ли они там в самом деле, но Генрих яростно рванул его назад, потом взял Вильму на руки, и они пошли домой, так и не показавшись на глаза матери.

После этого Брилах целую неделю не ходил в пекарню, и Мартин пытался представить себе страдания Брилаха, воображая себя на его месте, — как он сам тяжело переживал бы, если бы это слово сказала его мама. Он испытывал это слово, мысленно вкладывая его в уста всех своих знакомых, но из уст дяди Альберта просто невозможно услышать такое слово, а вот в устах его собственной матери, — тут сердце Мартина начинало биться сильнее, и он понимал, как страдает Брилах, — в устах его собственной матери это слово казалось возможным. Никогда бы не произнесли это слово Вилль, Больда, Глум, мать Альберта и бабушка тоже; это слово никак к ним не подходило, а вот если бы его мама произнесла это слово, оно прозвучало бы, пожалуй, вполне естественно.

На всех — на учителя, на капеллане, на бармене — на всех испытал он это слово, но был один рот, для ко-

того это слово просто было создано, как пробка для бутылки с чернилами,— это был рот дяди Лео. Лео произносил его гораздо ясней, чем это сделала мать Брилаха.

Маленькая прогульщица совсем скрылась из виду, было уже почти без четверти два, он пытался представить себе, как она входит в класс; она улыбнется и что-нибудь наврет, потом ее будут отчитывать, а она все будет улыбаться. Это уж совсем *отчаянная*. Потом ее, конечно, *переломят*,— и хотя он давным-давно уже знал от Альберта, что никто не убивает детей для еды, но все равно старался представить себе, как девочка, *наломанная* на куски, попадает на кухню в погребке Фовинкеля. Он нарочно давал волю своей фантазии, потому что злился на Альберта и хотел ему досадить. Потому что не знал куда деться,— ведь у Брилаха еще не ушел дядя Лео, а ему не хотелось видеть рот, к которому так подходит это слово; пустая, безлюдная церковь, где сейчас прибирает Больша, пугала его не меньше, чем перспектива угодить в погребок Фовинкеля, где посетители пожирают наломанных детей, где его обязательно стошнит в пакостном туалете среди мерзких живодедов.

Он еще ближе подошел к «Атриуму» и тут почувствовал, что проголодался. Оставалось еще одно: пойти домой, тихонько прокрасться на кухню и разогреть обед. Он наизусть уже знал инструкцию по разогреванию пищи, инструкция была написана на отодранном от газеты клочке бумаги: «Не открывай газовый кран до отказа — не отходи от плиты» (три раза подчернуто). Но вид холодной еды всегда портил ему аппетит — об этом как будто никто еще не догадывался,— застывший жир подливки, засохший картофель, густой, весь в комках суп,— и ко всему опасность, что в любой момент может появиться бабушка. Полсотни рыбных блюд в ресторане Фовинкеля — красноватые, синеватые, зеленоватые куски рыбы, мерзкие пузырьки жира скатываются по коже угря, прозрачные зеленоватые, красноватые, синеватые соусы, сморщенная кожа отварной пикши, похожая на кучку крошек, оставленную карандашной резинкой.

Альберт все не идет, и не придет, и чтобы отомстить Альберту, он начал повторять это гадкое слово, и повторял его до тех пор, пока оно наконец не зазвучало в устах Альберта.

Думать об отце было очень грустно: убитый где-то на чужбине, молодой, слишком молодой человек, улыбающийся, с трубкой во рту, он ни за что не смог бы произнести это слово.

Капеллан вздрогнул, когда Мартин сказал ему это слово на исповеди. Сказал нерешительно, весь покраснев, чтобы как-то освободиться от этого слова, которое они с Брилахом не решались повторить даже с глазу на глаз. Бледное лицо молодого священника передернулось, он скорчился, будто *переломленный*. С невыразимой печалью покачал головой — не так, как человек, который хочет сказать «не надо», не так, как человек, который удивлен, а просто как человек, который еле держится на ногах и вот-вот упадет.

От лилового занавеса печальное лицо капеллана казалось призрачным, как у великомученика, он вздохнул и потребовал, чтобы Мартин все рассказал ему, и заговорил о *мельничных жерновах*; эти жернова привязывают на шею тому, кто соблазнит ребенка; потом он отпустил Мартина и попросил, только попросил, а не наложил покаяние, каждый день читать по три раза «Отче наш» и три раза «Богородице Дево, радуйся», чтобы вытравить из себя это гадкое слово. И сейчас, сидя на ограде, Мартин трижды про себя повторил эти молитвы. Он больше не смотрел на проносившиеся машины; пожалуйста, пусть Альбертов «мерседес» проезжает мимо. Он молился медленно, с полузакрытыми глазами и при этом думал о мельничных жерновах. Мельничный жернов был привязан к шее Лео, и Лео тонул, шел ко дну, все глубже и глубже сквозь синевато-зеленую темень моря, а мимо проплывали диковинные, все более диковинные рыбы. Обломки погибших кораблей, водоросли, ил, морские чудища, и Лео шел ко дну, увлекаемый тяжестью жернова. Не на шее у матери Брилаха был этот жернов, а у Лео, у того самого Лео, который издевался над Вильмой, грозил ей щипцами, бил ее по пальчикам длинной пилкой для ногтей, у Лео, чей рот был просто создан для этого слова.

Мартин в последний раз прочитал «Отче наш», встал и вошел в «Атриум». Тут он испугался: прогульщица стояла у дверей и беседовала с билетером. Билетер говорил ей:

— Сейчас, детка, сейчас, через несколько минут начнется. Ты ведь уже из школы?

И прогульщица немедля изрекла ясную, отчетливую и потрясающую ложь:

— Да.

— А домой тебе не надо?

— Нет, мама на работе.

— А отец?

— Отец погиб.

— Предъяви билет.

Она протянула билет — зелененькую бумажку, а у входа красовалась афиша, и на ней, наискось через лиловый живот женщины, тянулась надпись: «*Сеанс для детей*». Когда прогульщица скрылась, Мартин подошел ближе и нерешительно остановился возле кассы. В стеклянной будке сидела женщина с темными волосами и что-то читала. Потом подняла на него глаза и улыбнулась, но он не ответил на ее улыбку. Улыбка не понравилась ему — что-то в ней напоминало слово, которое мать Брилаха сказала кондитеру. Кассирша опять уткнулась в книгу, а он внимательно рассматривал ее белоснежный пробор и иссиня-черные волосы, потом она опять подняла глаза, приоткрыла окошечко и спросила:

— Что тебе нужно?

— Начало скоро? — тихо спросил он.

— В два,— сказала она и взглянула на часы, висевшие за ее спиной.— Через пять минут. Пойдешь?

— Да,— ответил он и тут же вспомнил, что как раз эту картину он предлагал Брилаху посмотреть в понедельник.

Кассирша улыбнулась, потрогала зеленый, желтый и синий валики с билетами и спросила:

— Какой ряд?

Он расстегнул кармашек, достал деньги, сказал:

— Десятый ряд,— и подумал, что неплохо заставить Альберта подождать, и что неплохо посидеть одному в темноте, и что, наконец, в понедельник можно с Брилахом посмотреть другую картину.

Кассирша оторвала билетик от желтой катушки и подгребла деньги к себе.

Билетер встретил его суровым взглядом.

— А ты уже был в школе? — спросил он.

— Да,— ответил он и тут же, не дожидаясь второго и третьего вопроса, добавил: — Мать у меня уехала, а отец погиб.

Билетер ничего не сказал, оторвал от билета контроль и впустил его. Только очутившись за тяжелой портьерой, Мартин сообразил, до чего глуп билетер. Неужели он не знает, что мальчики и девочки учатся отдельно и что он не мог прийти из школы одновременно с этой прогульщицей.

Было темно. Девушка-контролер взяла его за руку и провела на середину зала. У девушки была прохладная и легкая рука, и когда его глаза свыклись с темнотой, он увидел, что в зале почти пусто: лишь в первых и последних рядах сидело по несколько человек, а средние ряды пустовали, здесь был только он. Прогульщица сидела впереди, между двумя молодыми людьми, ее голова с черными растрепанными волосами чуть виднелась над спинкой кресла.

Он внимательно просмотрел рекламу гуталина: липутики-конькобежцы шныряли по ослепительным ботинкам великана. В руках у них хоккейные клюшки, только вместо обычных загогулин внизу приделаны сапожные щетки, и ботинки великана сверкали все ярче и ярче, и чей-то голос произнес:

— Если бы Гулливер употреблял *Блеск*, у него всегда были бы такие ботинки.

Начался новый рекламный фильм: женщины играли в теннис, гарцевали на конях, управляли самолетами, разгуливали в живописных парках, плыли по зеркальной глади моря, катались на автомашинах, велосипедах, мотороллерах, упражнялись на брусках и турниках, метали диск — и все они улыбались, улыбались чему-то, и наконец улыбающаяся женщина, сияя, сказала присутствующим в зале, что ее радует большая темно-зеленая коробка с белым крестиком и надписью на крышке «Офелия».

Мартин скучал. Началась основная картина, но сценка не прошла. На экране пили вино и служили мессу, потом распахнулись ворота парка и мужчина в зеленом сюртуке, зеленой шляпе и зеленых гетрах поскакал по просеке. В конце просеки стояла женщина в лиловом платье с золотым воротничком, женщина из «*Сеанса для детей*». Мужчина соскочил с седла, поцеловал женщину, а женщина ему сказала: «Я буду за тебя молиться, береги себя». Еще поцелуй, и вот уже женщина из «*Сеанса для детей*», плача, смотрит вслед мужчине, беззаботно скачущему прочь. Трубят охотничьи рога на горизонте, и мужчина в зеленой шляпе,

зеленых гетрах и зеленом сюртуке мчится на фоне синего неба по другой просеке.

Мартин умирал от скуки: он зевал в темноте, его донимал голод, он закрыл глаза и читал «Отче наш» и «Богородице Дево, радуйся», потом задремал и увидел во сне, как Лео с жерновом на шее идет ко дну — бездонная глубина моря, и лицо у Лео такое, каким он никогда его не видел. Лицо у него печальное, и он погружается все глубже и глубже в зеленый мрак, и стаи морских чудовищ удивленно пялятся на него.

Он проснулся от крика, испугался, не сразу сообразил в темноте что к чему и чуть сам не закричал. Но постепенно картина становилась яснее: зеленый мужчина катался по земле с каким-то оборванцем, оборванец победил, зеленый так и остался на земле, оборванец же вскочил в седло, стал нахлестывать лошадь благородных кровей и с дьявольским хохотом ускакал прочь, хотя лошадь то и дело вставала на дыбы.

В лесной часовне женщина из «*Сеанса для детей*» стояла на коленях перед изображением мадонны, но вдруг из лесу донесся стук копыт. Она бросилась навстречу: она узнала ржание и топот *его* коня. Глаза ее заблестели от радости: не он ли вернулся назад, гонимый любовью? О нет, дикий крик, женщина падает без чувств на пороге часовни, а оборванец пронесится мимо, даже не обнажив головы. Но кто там ползет из последних сил, извиваясь, как змея, по лесной просеке, чье лицо искажено дикой болью, чьи губы хранят скорбное безмолвие? Это элегантный зеленый господин. Он дотащился до кочки и, тяжело дыша, устремил взор в небо.

А кто бежит по просеке, на ком развевается лиловое платье, кто рыдает и бежит, бежит, окликаая? Это она, женщина из «*Сеанса для детей*».

И человек в зеленом услышал ее. Опять часовня. Взявшись за руки, они медленно поднимаются по ступеням, зеленый человек и женщина на этот раз тоже в зеленом. Его правая рука все еще перевязана и голова тоже, но он уже улыбается, болезненно, но все же улыбается. Обнажены головы, распахнуты двери часовни, на заднем плане ржет лошадь и чирикают птички.

Медленно выбираясь на улицу, Мартин почувствовал себя нехорошо. Он очень проголодался, хотя и не сознавал этого. На улице сияло солнце, он опять присел на ограду бензоколонки, размышляя: уже пятый

час, значит, Лео давно уже ушел, а злость на Альберта еще не улеглась. Он закинул ранец за спину и медленно побрел к Брилаху.

Брезгот просил его немного обождать. Альберт ходил взад и вперед по унылой комнате. Временами он останавливался у открытого окна и смотрел вниз, на улицу. Из универмага одна за другой выходили продавщицы, и перейдя улицу, скрывались в дверях столовой. В руках у них были обеденные приборы, у некоторых свертки с бутербродами, у одной яблоко. Те, кто уже успел пообедать, возвращались в магазин. Они окликали идущих навстречу подруг, останавливая их. Альберт давно уже определил по запаху сегодняшнее меню и теперь по обрывкам фраз, то и дело долетавшим до него, понял, что не ошибся. Обед состоял из жареной колбасы с луком и картофелем и пудинга. Пудинг не удался — неаппетитное розоватое месиво — с подгоревшим ванильным соусом. Он слышал, как уходившие предупреждали своих товарок:

— Бога ради, не вздумайте брать эту пакость на третье. Так все ничего — колбаса вкусная и гарнир тоже, но пудинг...

Возгласы отвращения раздавались непрерывно в самых разнообразных сочетаниях.

Одинаковые халаты из черной шелковой материи придавали девушкам почти монашеский вид. Ни одна из них не красила губ и не подводила ресниц. Одеты они были подчеркнуто скромно, без претензий. Немодные гладкие прически, грубые бумажные чулки, добротные черные туфли на низком каблуке и наглухо застегнутые под самым горлом халаты — во всем этом не было и следа кокетливости. Старшие продавщицы, уже немолодые женщины, были в халатах цвета дешевого молочного шоколада с блестящими шевронами на рукавах, более широкими, чем у остальных. У нескольких девушек учениц, недавних школьниц, с худенькими еще полудетскими лицами, халаты были вовсе без шевронов. Ученицы несли по два обеденных прибора: для себя и для старших продавщиц.

Среди девушек были и хорошенькие. Альберт видел их совсем близко и решил, что это красавицы, раз они не утратили привлекательности в подобном наряде.

Прислушиваясь к звонким голосам девушек, к их шуткам по поводу злополучного пудинга, он вспомнил, что в спешке забыл дома трубку. Пришлось закурить сигарету — последнюю в пачке. Пустую пачку он выбросил в окно, выходявшее на крышу нелепого, помпезного портала; скомканный кусок красного картона упал прямо в водосточный желоб.

Слова о пудинге и подгоревшем соусе, которые на разные лады повторяли щебечущие девичьи голоса, Альберт выслушал по крайней мере раз тридцать. Потом все стихло, никто не выходил больше из универсама, и только из столовой торопливо возвращались запоздавшие. В дверях магазина появилась свирепого вида особа, в темно-зеленом халате с тремя серебряными шевронами на рукаве, и, нахмутив брови, взглянула на большие часы у входа. Минутная стрелка застыла, словно угрожающе поднятый палец, на последней минуте перед двенадцатью. Но вот стрелка внезапно подскочила вверх и закрыла цифру двенадцать. Запоздавшие перебежали через дорогу, съездившись прошмыгнули мимо начальницы и скрылись за вращающейся дверью.

Улица опустела. Подавив зевок, Альберт отошел от окна. Он ничего не взял с собой почитать, рассчитывая как всегда уладить все дела с Брезготом за четверть часа. В редакции он обычно сдавал рисунки, получал чек — гонорар за уже напечатанные — и, посидев минут пять у Брезгота, уходил. Когда, закрыв за собой дверь его кабинета, Альберт по длинному коридору направлялся к лифту, им сразу же овладевало знакомое чувство тревоги. Он знал, что это чувство не покинет его всю неделю, — всю неделю будет казаться, что ему теперь уже не придумать ничего путного или что читатели журнала «Субботний вечер» в один прекрасный день категорически потребуют от редакции взять на его место нового карикатуриста. Этим хищникам, обожравшимся человечиною, захочется, чего доброго, поиграть в вегетарианцев.

Но с тех пор как он разыскал картонку «Санлайт», набитую старыми рисунками, этот кошмар не мучил его больше. Шестнадцать лет тому назад, полуголодный, одурев от крепкого табака и разбавленного виски, он просиживал целые дни в лондонских пивных и рисовал для забавы, не зная, как убить время. Теперь он сдавал эти рисунки в редакцию один за другим, и они

принесли ему уже двести марок, не считая гонораров за перепечатку в других журналах. Брезгот был в восторге:

— Черт возьми! Ты стал работать в новом стиле. Конечно, твою руку сразу видно, и в то же время это что-то новое. Успех у читателей обеспечен. Поздравляю! Великолепно!

Так было и сегодня. Получив чек, он пожал Брезготу руку и направился к двери. Но тот крикнул ему вслед:

— Подожди немного в той комнате. Мне обязательно нужно с тобой поговорить.

Альберт до сих пор побаивался Брезгота, хотя прошло уже две недели с тех пор, как они перешли на «ты». Основательно выпив на какой-то загородной прогулке, они обнаружили, что придерживаются одного мнения по целому ряду вопросов. И все же он побаивался Брезгота, побаивался даже теперь, после всех его восторгов по поводу нового стиля. Это были отзвуки прежнего страха, с которым предстояло покончить, прежде чем душой овладеет новый страх — страх перед Неллой: он боялся попасться к ней на удочку.

Альберт всегда пользовался большим авторитетом у детей и чувствовал это. Ему не хотелось разочаровывать Неллу, но в то же время он отлично понимал, куда она клонит, хотя и не признавался ей в этом.

С того дня как он наткнулся на старые рисунки в коробке «Санлайт», ему все чаще вспоминались годы, проведенные в Лондоне. В сознании вновь оживали картины «жизни в четвертом измерении» — непрожитой жизни, которую он мог бы прожить. Хутор родителей Лин в Ирландии стал был его домом. Мысленно он рисовал эскизы для извещений о похоронах, о днях рождения для типографии соседнего городка, делал эскизы переплетов...

...В те дни Нелла засыпала его письмами, умоляя вернуться, и он не исполнил последней воли Лин и не поехал в Ирландию. Вместо этого он вернулся в Германию. Зачем? Чтобы рисовать этикетки для жестянок с повидлом и стать свидетелем гибели Рая? Рай пошел на смерть на его глазах, и он не смог помешать этому. Борьба с тупым могуществом армии было ему не под силу. Альберт избегал думать о гибели Рая. С годами его ненависть к Гезелеру притупилась, посте-

пенно угасла; он лишь изредка вспоминал о нем. Бесмысленно было мечтать о том, как сложилась бы жизнь, если бы Рай не погиб на войне. Здесь фантазия отказывалась служить ему: он слишком хорошо помнил смерть Рая. В тот миг он особенно ясно понял, что смерть — это конец всему. Рай лежал с развороченным горлом, захлебываясь в собственной крови, и Альберт видел, как он медленно перекрестился дрожащей рукой. В припадке ярости он тут же дал Гезелеру пощечину. Но потом в военной тюрьме его ненависть к Гезелеру утратила свою остроту, и лишь отсутствие писем от Неллы не давало ему покоя. Он так и не узнал тогда, благополучно ли она родила.

Альберт уставился на большую карту Германии, висевшую на стене. Места, где читали и выписывали «Субботний вечер», отмечены были красными флажками. Флажки так усеяли карту, что на ней почти ничего нельзя было разобрать: названия городов, рек и горных хребтов были скрыты за сплошной завесой красных флажков с надписью «Субботний вечер»...

Из кабинета Брезгота по-прежнему не доносилось ни звука. Тишина, царившая сегодня в этом большом, всегда столь шумном доме, угнетала Альберта. Часы в универмаге показывали уже десять минут второго — через пять минут Мартин вернется из школы.

На той стороне улицы девушки в черных халатах под присмотром шоколадной дамы расклеивали в простенках между витринами рекламные плакаты; белая надпись на красном фоне возвещала: *Надежно, выгодно!*

Брезгот все еще не появлялся, и это начало раздражать Альберта. Он беспокоился о Мартине. Парнишка ведь такой рассеянный. Поставит разогревать обед, а сам уйдет в комнату, раскроет книгу, разомлеет в тепле и тут же уснет. Тем временем суп на кухне выкипит, картошка превратится в хлопья сажи, а лапша — в подобие угольного брикета. На столе лежали старые номера «Субботнего вечера» с рисунками Альберта на четвертой странице обложки. Альберт открыл дверь в коридор и прислушался — ни звука. Нигде не хлопали двери, не трезвонили телефоны, нигде не видно было всех этих журналистов с совсем мальчишескими, очень жизнерадостными и очень журналистскими физиономиями, всегда напоминавшими героев скверных филь-

мов, изъясняющихся языком скверных радиопостановок.

Сегодня редакция пустовала. Внизу у входа был вывешен большой белый плакат: *Закрото по случаю загородной экскурсии*. Швейцар долго не хотел впускать Альберта. Издатель «Субботнего вечера» считал, видимо, признаком особого аристократизма нарочито запущенный вид редакционных помещений. Убогость обстановки, бросавшаяся в глаза, не соответствовала доходам издательства. Голые бетонные стены были украшены лишь плакатами, да еще на одинаковом расстоянии друг от друга висели дощечки, на которых стилизованным детским почерком, как на рекламах школьных принадлежностей, было написано: «*Если ты наплювал на пол, ты свинья*», или «*Если ты брасаешь на пол акурки — ты тоже свинья*». Альберт вздрогнул, когда одна из дверей, выходящих в коридор, внезапно отворилась. Но из дверей вышла девушка-телефонистка, работавшая на коммутаторе. Подойдя к умывальнику, она стала мыть вилку и нож. Потом, повернувшись к открытой двери, произнесла все ту же знакомую фразу:

— Не вздумай брать на третье это красное мясо — ужасная дрянь, и ванильный соус подгорел.

Из комнаты донесся голос ее напарницы:

— У наших экскурсантов сегодня обед будет покусней! С шефа за это причитается!

— За ним дело не станет, — ответила девушка, стоявшая над умывальником. — Для десяти человек, которые сегодня остались, организуют отдельную экскурсию. Это куда лучше, чем ехать всем скопом.

— Ты видела утром красные автобусы? Шикарные машины!

— А как же, я как раз шла на работу, когда они отъезжали.

Девушки замолчали. Альберту хотелось еще раз услышать голос телефонистки, сидевшей в комнате. Он сразу узнал этот голос: девушка много раз соединяла его с Брезготом. Иногда он набирал номер редакции лишь для того, чтобы услышать ее голос. В нем звучала какая-то ласковая ленивая покорность и вдруг проскальзывали неожиданные своенравные нотки, напоминавшие голос Лин.

Девушка над умывальником небрежно сунула нож и вилку в карман халата, вытащила гребень из

волос и, зажав его в зубах, принялась подкручивать локоны.

Альберт подошел к ней:

— От вас можно позвонить в город? — спросил он. — У меня срочное дело!

Девушка отрицательно покачала головой, продолжая укладывать локоны своих негустых волос.

Потом, вынув изо рта гребень и воткнув его в жиденький узел на затылке, она сказала:

— С коммутатора нельзя. А вы позвоните из автомата.

— Не могу я уйти. Я жду Брезгота.

— Он вот-вот появится, — раздался из комнаты голос другой девушки, — он только что звонил и сказал, что сейчас будет здесь.

Альберт попытался по голосу определить ее внешность. Он представил себе высокую полную девушку с медлительной плавной походкой. Ему захотелось посмотреть на нее — на девушку с нежным голосом, в котором звучала ласковая покорность. Лицо у нее должно быть белое, чистое, с большими задумчивыми глазами.

Ее подруга все еще вертелась у зеркала. Теперь она пудрила покрасневший нос.

— Так ты говоришь, колбаса вкусная? — спросила та, что оставалась в комнате.

— Великолепная! И гарнир тоже! Попроси добавки — не пожалеешь. Даже кофе стал лучше с тех пор, как мы взбунтовались. А вместо пудинга возьми миндальное пирожное.

— Надо бы пожаловаться насчет пудинга. Безобразие какое!

Альберт все еще не решался уйти. Было уже четверть второго.

— Верно! Девчонки из магазина, что напротив, то же самое говорили.

Она отошла от зеркала, толчком ноги отворила дверь, и Альберт увидел телефонистку, сидевшую в комнате. Он даже испугался — девушка оказалась точь-в-точь такой, какой он ее себе представил. Блондинка с мягкими чертами лица и большими темными глазами, медлительная и нежная — тихий омут. Одета она была скромно: из-под расстегнутого халата виднелись коричневая юбка и зеленый джемпер.

— «Субботний вечер». Нет, сегодня здесь никого

нет. Все выехали за город, на экскурсию... Нет... позвоните, пожалуйста, завтра утром.

Дверь закрылась, и Альберт еще некоторое время слышал, как девушки продолжают разговаривать о еде. Потом дверь снова отворилась, и белокурая девушка, держа в руках столовый прибор, прошла в глубь темного коридора.

Странно, голос этой девушки всегда напоминал ему Лин. А ведь она вовсе не была на нее похожа. Лин всегда говорила ему по телефону все то, о чем стыдилось говорить, когда он бывал с нею. Она припоминала всю теологическую премудрость и горячо шептала в захватанную трубку лондонского автомата целые лекции о браке и греховной страсти до брака. Лин скорей покончила бы жизнь самоубийством, чем согласилась бы стать его любовницей.

Походка высокой, статной девушки, скрывшейся за поворотом на лестницу, была полна природного изящества. Внезапное желание обожгло Альберта. Хорошо бы жениться на такой вот русалке, ласковой и ленивой — на девушке с голосом Лин, но совсем не похожей на нее.

Погруженный в свои мысли, Альберт невидящим взглядом смотрел на выкрашенную под орех дверь коммутаторной и вздрогнул, когда в коридор влетел Брезгот.

— Прости, что я заставил тебя ждать,— воскликнул он,— мне необходимо поговорить с тобой, необходимо!

Обняв Альберта за плечи, Брезгот потащил его к выходу, потом ринулся назад, рванул дверь в коммутатор и крикнул телефонистке:

— Если позвонят, я буду дома после пяти.

Он вернулся к Альберту, и они вместе стали спускаться по лестнице.

— Ты можешь уделить мне немного времени? — спросил Брезгот.

— Да, но сначала мне надо заглянуть домой, посмотреть, что там с мальчонкой.

— Там нам никто не помешает?

— Никто.

— Что же, едем к тебе. О каком мальчике ты говоришь? У тебя что, сын есть?

— Нет, это сын моего друга, погибшего на войне. Машина Альберта стояла у типографского склада.

Он сел в нее и, открыв изнутри вторую дверцу, усадил Брезгота рядом с собой.

— Извини, что я так тороплюсь. Дома у нас будет достаточно времени — поговорим.

Брезгот достал из кармана пачку сигарет, и они закурили прежде, чем Альберт включил мотор.

— Быть может, это и не потребует много времени, — сказал Брезгот.

Альберт не ответил; он просигналил, дал газ и выехал из ворот типографии. Проезжая мимо универсама, Альберт заметил, что простенки между витринами сплошь покрыты красно-белыми плакатами. На каждом из них лишь одно слово, а все вместе они возвещали: *К осеннему сезону — надежно, выгодно!*

— Скажу тебе сразу, без обиняков, — начал Брезгот, — речь пойдет о женщине, с которой ты живешь.

Альберт вздохнул:

— Ни с кем я не живу. Если ты имеешь в виду Неллу, то я действительно живу в ее доме, но...

— Но ты не спишь с ней?

— Нет, не сплю...

Они выехали на большую оживленную площадь. Брезгот умолк — к искусству вождения автомобиля он относился с почтением — и заговорил лишь после того, как они свернули в глухую улицу.

— Но ведь она не сестра тебе?

— Нет.

— И она тебя совсем не интересуется?

— Нет.

— И ты давно ее знаешь?

Альберт ответил не сразу, стараясь припомнить, сколько лет он в самом деле знает Неллу. Ему казалось, что он всю жизнь знает ее. Они проехали по оживленной, шумной улице, пересекли другую такую же и наконец свернули в пустынный переулок.

— Погоди-ка, — сказал он, — я знаю ее невероятно давно, даже не соображу сразу сколько лет.

Он прибавил газ и, жадно затянувшись сигаретой, продолжал:

— Я познакомился с ней летом тридцать третьего года, мы ели мороженое в кафе, стало быть, я знаю ее ровно двадцать лет. В ту пору она была совсем еще девчонка и ретивая нацистка: носила коричневую куртку, форму Союза германских девушек. Но после разговора с Раймундом она сбросила ее, да так и оставила валяться

на полу. Мы быстро выбили у нее эту дурь из головы. Это было не так уж трудно — она ведь неглупая женщина.

— Теперь уже недалеко, — перебил он себя, — я только заскочу на минутку в магазин: надо кое-что купить для парнишки. Пообедаем у меня: дома все готово, только подогреть. Потом будем пить кофе. До шести я к твоим услугам, в шесть я собирался уехать за город до понедельника.

— Ладно, — ответил Брезгот, но Альберт почувствовал, что Брезготу не терпится расспросить его подробнее о Нелле.

— Между прочим, ее сейчас нет дома, — сказал он.

— Я знаю, — откликнулся Брезгот.

Альберт удивленно посмотрел на него, но промолчал.

— Ей было двадцать пять, когда убили мужа, она ждала ребенка. Вот уже восемь лет я живу в ее доме и, по-моему, достаточно хорошо знаю ее.

— Знаешь, мне все равно, какая она, — сказал Брезгот. — Ты можешь говорить о ней все что угодно, — я готов слушать хоть целый день.

Альберт затормозил и открыл дверцу. Обходя вокруг машины, он увидел через ветровое стекло лицо Брезгота и испугался: такое выражение лица бывает лишь у безнадежно влюбленных. Брезгот тоже вылез из машины.

— Сколько лет мальчику?

— Одиннадцатый пошел.

Они остановились у витрины писчебумажного магазина, где среди блокнотов, бумаги и почтовых весов были выставлены и игрушки.

— Что бы такое купить одиннадцатилетнему мальчику? — спросил Брезгот. — Я ничего не смыслю в детях, да, признаться, и не люблю их.

— Так и я думал, пока не стукнуло тридцать. Я не любил детей и не знал, как с ними обращаться, — сказал Альберт.

Он вошел в магазин. Брезгот шел за ним.

— Все изменилось с тех пор, как я живу в одном доме с Мартином...

Альберт умолк, испугавшись, что Брезгот почувствует, с какой нежностью он относится к ребенку. Отодвинув в сторону кипу газет на прилавке, он стал рассматривать коробку с пластилином. Альберт очень

любил мальчика, и ему вдруг стало страшно от промелькнувшей мысли, что Брезгот, чего доброго, женится на Нелле и тогда он потеряет Мартина.

Брезгот с отсутствующим видом переставлял с места на место заводные автомобильчики. Не обращая внимания на хозяйку магазина, которая тем временем вышла из задней комнаты, он произнес:

— Я никогда в жизни не ревновал, а теперь вот понимаю, что это такое!

— Да тебе, собственно, не к кому ревновать.

Брезгот взял ракетку для пинг-понга и надавил пальцем на пробковый слой, проверяя его упругость.

— Пинг-понг ему, пожалуй, понравится.

— Неплохая идея,— сказал Альберт.

Ни на чем не останавливаясь, он перелистывал детские журналы и книжки, лежавшие на прилавке, потом попросил хозяйку показать ему заводные и деревянные игрушки и наконец отложил в сторону комикс про ковбоя Кессиди.

Брезгот, видимо, знал толк в пинг-понге. Перебрав множество мячей и ракеток, он забраковал несколько комплектов, попросил упаковать самый дорогой и кинул на прилавок деньги. Хозяйка демонстрировала Альберту резиновые надувные игрушки. Он торопился и был раздражен,— разговор с Брезготом снова заставил его задуматься над своими отношениями с Неллой. Он с отвращением посмотрел на ядовито-зеленого крокодила, остро пахнувшего резиной. Хозяйка изо всех сил старалась надуть его, но безуспешно,— казалось, что она прожевывает жесткий кусок жаркого.

Лицо ее побагровело от натуги, очки съехали на нос, капли пота катились по толстым щекам. Резиновый вентиль покрылся пузырьками слюны, но крокодил лишь чуточку увеличился в объеме.

— Спасибо,— сказал Альберт,— спасибо. Быть может, в другой раз.

Женщина выпустила изо рта вентиль, но так неловко повернула игрушку, что выходящий из нее воздух — смесь несвежего дыхания с запахом резины — ударил прямо в лицо Альберту.

— Спасибо,— повторил он раздраженно,— я возьму вот это.

Он указал на картонный щит, к которому шпагатом были прикреплены молотки, плоскогубцы и буравы. Хозяйка стала заворачивать набор инструментов.

Альберт, доставая из кармана деньги, вдруг вспомнил, что Мартину это ни к чему. Так же, как и его отец, он был совершенно равнодушен к технике и не любил мастерить.

Они вышли из магазина. Проехав на большой скорости несколько улиц, Альберт пересек широкий проспект и притормозил в тенистой каштановой аллее.

— Вот мы и приехали,— сказал он, остановив машину.

Брезгот вылез, держа под мышкой коробку с пинг-понгом.

— Хорошо у вас здесь,— сказал он.

— Да, просто чудесно,— отозвался Альберт.

Он открыл садовую калитку и прошел вперед, Брезгот шел за ним. Мартин еще не вернулся из школы. Альберт тотчас же заметил это: записка, которую он утром приколот к двери, висела на прежнем месте. Он написал ее красным карандашом. «Подожди меня с обедом — сегодня я не опоздаю». Слово «сегодня» было дважды подчеркнуто. Альберт снял записку, отпер дверь, и они вошли в темную прихожую, обитую зеленым шелком. Материя неплохо сохранилась, но выцвела. Узкие мраморные полосы, делившие стены на зеленые квадраты, кое-где покрылись желтыми пятнами. На радиаторе отопления лежал слой пыли. Увидев самокат Мартина, косо приставленный к радиатору, Альберт поставил его прямо, а Брезгот расправил прикрепленный к рулю трехцветный вымпел, красно-бело-зеленый.

— Прошу,— сказал Альберт.

В гостиной было тихо и сумрачно. Большое зеркало в простенке между двумя дверями целиком отражало висевший напротив портрет. Брезгот стал рассматривать его. Это был набросок темперой, сделанный поспешными, грубыми мазками, но очень талантливо. Юноша в ярко-красном свитере стоял, опустив глаза, словно читая надпись на куске голубого картона, который держал в руке. Надпись была, как видно, сделана им самим, потому что в другой руке он держал карандаш. В зубах его дымилась трубка...

Брезготу удалось прочитать ярко-желтую надпись на голубом картоне: «Домашняя лапша Бамбергера».

Альберт вернулся из кухни, не закрыв за собой дверь, и Брезгот увидел, что кухня очень большая.

Стены облицованы белым кафелем, и на нем мозаика из маленьких черных плиток, изображающая различные символы кулинарного искусства,— половники, кастрюли, противни, сковородки, гигантские вертела, и среди этих узоров красуется надпись: «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок».

— Это ее муж-поэт на портрете? — спросил Брезгот.

— Да ты посмотри отсюда, так лучше видно.

Мягко взяв Брезгота за плечо, Альберт повернул его лицом к зеркалу, которое было точно такой же величины, как и портрет. Брезгот задумчиво глядел на портрет в зеркале, на кусок голубого картона с перевернутыми желтыми буквами. Зеркало отражало его и стоящего рядом Альберта, их усталые лица и поредевшие волосы. Посмотрев друг на друга, они улыбнулись.

— Подождем с обедом, пока придет мальчик,— сказал Альберт.— А тем временем выпьем.

Они прошли в комнату Альберта, просторную и светлую, с высоким потолком. У стены стояла кровать, напротив нее — рабочий стол. Стол был огромный, но между ним и кроватью оставался еще широкий проход. У самого окна стояла кушетка, рядом с ней шкаф, кресло и столик с телефоном.

Альберт достал из шкафа рюмки, бутылку коньяка и поставил все это на стол.

Брезгот уже уселся и закурил. Все вокруг дышало покоем. Дом и сад были погружены в глубокую дремотную тишину. Давно уже он не испытывал такого наслаждения. Ему здесь было хорошо, и предстоящий разговор с Альбертом о Нелле возбуждал в нем радостное предчувствие. Пока Альберт наполнял рюмки, Брезгот встал, подошел к окну и распахнул его. Откуда-то издали послышались детские голоса и смех. По оживленным выкрикам детей можно было сразу догадаться, что они плещутся в воде. Брезгот вернулся к столу, сел против Альберта и пригубил налитую рюмку.

— Хорошо здесь у тебя,— сказал он,— как хочешь, а я просижу здесь до тех пор, пока ты меня не выпроводишь.

— Ну и сиди себе на здоровье.

— Мне только придется еще позвонить в редакцию, попозже, часа в четыре.

— Отсюда и позвонишь.

Альберт все время наблюдал за Брезготом и ужаснулся, заметив выражение плохо скрытого отчаяния и отрешенности в его лице, которое живо напомнило ему Шербрудера, двадцать лет тому назад застрелившегося из-за безнадежной любви к Нелле. В то время Нелла была ответственной за вечера отдыха в Союзе германских девушек и подружилась с Шербрудером, который устраивал такие же вечера в Союзе гитлеровской молодежи. Шербрудеру только что исполнился двадцать один год, он окончил учительскую семинарию и получил место учителя младших классов в одной из окрестных деревень. В пригородной роще, окружавшей развалины старой крепости, Шербрудер отыскивал могучий, развесистый дуб. По его указанию вокруг дуба срубили несколько деревьев и расчистили небольшую поляну. Он назвал ее «Тингом», приводил сюда ребят из своей школы, устраивал с ними игры, разучивал песни. Щуплый и черноволосый, Шербрудер смахивал на цыгана. Нетрудно было догадаться, что он правую руку дал бы на отсечение за белокурые волосы. А у Неллы волосы были светлые, золотистые. Она походила на тип германских женщин из расистских журналов, только куда интересней их. Шербрудер донес на Рая и Альберта местным штурмовикам, которые устроили в старой крепости, рядом с его «Тингом», небольшой, почти частный концлагерь. Их продержали там три дня, допрашивали, избивали. По сей день Альберту снились иногда мрачные казематы крепости, дикие вопли истязуемых, эхом разносившиеся под их сводами. Пятна пролитого супа рядом с пятнами крови на бетонном полу, пьяный рев штурмовиков, собиравшихся вечерами на кухне, где заключенные чистили картошку. В редкие мгновенья затишья сюда с шербрудеровского «Тинга» доносилась песня «Вперед, голубые драгуны!».

Альберта и Рая продержали в старой крепости всего три дня. Отец Неллы, поставлявший мармелад в большой летний лагерь «Гитлеровской молодежи» в окрестностях города, вызволил их оттуда.

Они поняли, что все это произошло из-за Неллы, но сама она никогда не говорила о своих отношениях с Шербрудером.

И после их освобождения Шербрудер все еще не мог забыть Неллу; как-то они видели его в кафе, у моро-

женщика Генеля. Альберт запомнил выражение страстной влюбленности на лице Шербрудера, такое же, как сейчас на лице Брезгота.

— Выпей еще,— сказал он Брезготу.

Тот налил себе рюмку и выпил.

Шербрудер застрелился под дубом на «Тинге» в ночь на 22 июня, после праздника летнего солнцестояния. Его нашли утром два школьника. Они пришли на «Тинг», чтобы разжечь на тлеющих головнях ночного костра новый огонь и спалить оставшийся хворост. Кровь из простреленного виска Шербрудера стекала на его синюю форменную гимнастерку, и сукно приняло фиолетовый оттенок.

Брезгот в третий раз наполнил рюмку.

— Глупо так влюбиться в мои годы! — сказал он хрипло.— Но я вот влюбился и ничего не могу с собой поделать.

Альберт кивнул. Он думал совсем о другом. Ему вспомнился Авессалом Биллиг, которого замучили в мрачном каземате несколько месяцев спустя после самоубийства Шербрудера. И тут же ему пришло в голову, что он забыл о многих вещах, он даже не удосужился повести мальчика в старую крепость,— показать ему застенков, где три дня подряд мучили его отца.

— Мне хочется слушать о ней,— сказал Брезгот.

Альберт пожал плечами. Какой смысл рассказывать Брезготу о мятущейся, неустойчивой натуре Неллы! Пока жив был Рай, она держалась молодцом, но, когда Альберт вернулся с фронта, он был потрясен тем, как Нелла надломлена. Иногда на нее находили приступы благочестивого смирения. Это длилось месяцами; она вставала ни свет ни заря, чтобы попасть к заутрене, ночи напролет читала жизнеописания схимников. Потом вдруг она опять впадала в апатию, целыми днями не вставала с постели или проводила время в пустой болтовне с гостями и бывала чрезвычайно довольна, если среди гостей оказывался мало-мальски подходящий поклонник. Она ходила с ним в кино, в театр. Иногда Нелла на несколько дней уезжала с мужчинами. Возвращалась подавленная, разбитая и плакала навзрыд, запершись у себя в комнате.

— Откуда ты узнал, что она уехала? — спросил Альберт.

Брезгот промолчал. Альберт внимательно смотрел на него. Брезгот начинал раздражать его. Он терпеть не мог, когда мужчина, расчувствовавшись, начнет, что

называется, изливать душу. А Брезгот, судя по всему, готов заняться этим. Он смахивал сейчас на бродягу из фильма. Крупный план — хижина в джунглях, стволы, увитые лианами. Бродяга сидит на пороге. Обезьяна прыгает с ветки на ветку и швыряет бананами в бродягу. Бродяга швыряет в обезьяну пустой бутылкой из-под виски, и обезьяна с пронзительным визгом скрывается в густой листве. Потом дрожащими руками бродяга откупоривает новую бутылку виски и пьет из горлышка. В этот момент появляется другое действующее лицо, и бродяга начинает свой рассказ. Его собеседник — врач, или миссионер, или почтенный купец — призывает бродягу «начать новую жизнь». И тут-то, сделав чудовищный глоток, бродяга рычит сирым голосом: «Новую жизнь?!» — и хохочет сатанинским смехом. Затем он все тем же сирым голосом рассказывает длинную историю о женщине, которая «довела его до жизни такой». Сирым голос, наплыв. Крупным планом — удивленное лицо врача, миссионера или почтенного купца. И чем меньше виски остается в бутылке, чем грубее становится голос бродяги, тем ближе конец фильма.

Однако Брезгот все еще молчал, хотя выпил уже шесть рюмок подряд и изрядно осип. Внезапно он встал, пересек комнату и, остановившись у окна между письменным столом и кроватью, стал задумчиво тереть розовую занавеску. Теперь он уж не походил на бродягу, это был умный, обаятельный герой из отлично заснятого, сделанного по отличному сценарию фильма. Именно в такой позе герои подобных фильмов, впад в сентиментальное настроение, стоят у окна, собираясь излить пред кем-нибудь душу.

Альберт наполнил рюмку и решил покориться своей участи. Мальчика все еще не было, — это беспокоило его. Брезготу волноваться нечего. Мужчины такого типа всегда нравились Нелле: «умное и мужественное лицо», небрежно одет. Правда, сейчас момент неподходящий, но надо полагать, что настроение у нее вскоре изменится. На Неллу иногда находило. Ежегодно на какое-то время она увлекалась общением с умными и образованными монахами, подолгу беседовала с ними о религии. Эти беседы, чарующие и чувственные, проходили обычно в большой светлой комнате у камина за бутылкой хорошего вина, к которому подавались особые сорта печенья. Хорошие картины современных

художников создавали необходимый фон. Нелла наслаждалась обществом красавцев монахов с пылающими глазами. По сравнению со всеми прочими монахи имели одно преимущество. В своих сутанах они выглядели гораздо умней и значительней, чем это было на самом деле.

Альберт улыбнулся. Он подумал о том, что очень привязан к Нелле и с радостью ждет ее возвращения.

— Хорошо тебе улыбаться,— донесся от окна голос Брезгота,— а я места себе не нахожу. Я, пожалуй, примирился бы с ролью безнадежно влюбленного, если бы не встретил ее сегодня утром...

— Ты видел, как она уезжала?

— Да, с одним типом, которого я терпеть не могу. Я возненавидел его уже до того, как встретил их вместе.

— Кто он? — машинально спросил Альберт, чувствуя, что Брезгот не может обойтись без собеседника.

— Это некий Гезелер,— со злостью сказал Брезгот.— Ты его знаешь?

— Нет.

Прежде одно это имя вызывало у Альберта лютую ненависть. Но сейчас он лишь вздрогнул... Ему вдруг стало ясно, на что намекала Нелла, говоря о «задуманном деле».

— Нет, ты все-таки знаешь его,— сказал Брезгот и опять подошел к столу.

По его лицу Альберт понял, как выглядел он сам, когда услышал имя Гезелера.

— Не совсем так. Я знал в свое время некоего Гезелера — ужасную сволочь.

— В том, что он сволочь, я не сомневаюсь,— сказал Брезгот.

— Чем он занимается? — спросил Альберт.

— Какая-то скотина из католиков. Промышляет по части культуры. Вот уже три недели, как он подвизается в редакции «Вестника».

— Спасибо за комплимент,— сказал Альберт,— я, между прочим, тоже католик.

— Очень жаль,— сказал Брезгот,— то есть тебя жаль, конечно. Своих слов я назад не беру. Так или иначе — он скотина. А тот Гезелер, которого ты знал, что он тебе сделал?

Альберт встал. Они поменялись ролями. Теперь уже Альберту, остановившемуся у окна, предстояло разыг-

рать роль бродяги или обаятельного героя, который, не теряя самообладания, собирается излить душу. Осталось лишь снять его крупным планом.

Впрочем, Альберт искренне сочувствовал Брезготу, меланхолично ковырявшему спичкой в зубах, но мысль о мальчике, который все еще не возвращался, не давала ему покоя. Для него было мукой снова рассказывать эту историю, столько раз уже рассказанную. Ему казалось, что от частого повторения она стерлась, изнасилась до неузнаваемости. Он рассказывал ее матери Неллы, самой Нелле, а в первые годы после войны и маленькому Мартину. Но в последнее время мальчик почему-то не просил его об этом.

— Ну, выкладывай,— сказал Брезгот.

— Покойный муж Неллы на совести у того Гезелера, которого я знал. Он убил его самым законным способом, на фронте, так что не придерешься: послал его на смерть. Раньше я с легкой душой говорил: «Убил» — теперь я просто не могу подобрать другого слова. Но какой смысл рассказывать тебе все это? Ведь мы не уверены в том, что это тот самый Гезелер.

— Не пройдет и часа, как мы это узнаем: в субботнем номере «Вестника» помещена его фотография. Не так уж много на свете сволочей по фамилии Гезелер.

— Да тебе-то что он сделал?

— Ах ты господи — ничего,— саркастически усмехнулся Брезгот.— Разве такие что сделают?

— Ты уверен, что она уехала с этим Гезелером?

— Я видел, как они садились в машину.

— Как он выглядит?

— Да к чему это? Я же тебе говорю: стоит только позвонить, и через час газета с его фотографией будет у нас на столе.

Альберт боялся, что это окажется тот самый Гезелер. Он отрицательно покачал головой, но Брезгот уже набирал номер. Альберт снял отводную трубку и, услышав далекий голос: «Субботний вечер» слушает», сразу понял, что ответила девушка, стоявшая у зеркала. Но тут же он услышал фразу, произнесенную голосом другой телефонистки: «Ты была права: пудинг — мерзость!»

— Вы что, как следует включить не можете? — расвирепел Брезгот.— Я слышу все, что говорят у вас на коммутаторе.

Альберт положил отводную трубку.

— Доставьте мне субботний номер «Вестника». Чтобы через час был здесь. Пусть Велли на мотоцикле привезет. Да нет же, нет, не домой, а сюда, на квартиру к Мухову. Запишите адрес и телефон. Если кто будет спрашивать, пусть звонят сюда. Когда буду уходить, я вам сам позвоню.— Он положил трубку и, обращаясь к Альберту, сказал: — Ну, давай рассказывай.

Было уже полтретьего. Мальчик еще не приходил. Это волновало Альберта.

— Летом тысяча девятьсот сорок второго года случилось это. Было раннее утро. Мы окопались на подступах к селу Калиновка. Наш взвод как раз принял новый лейтенант. Он переползал из окопа в окоп, знакомился с людьми. Это и был Гезелер. В нашей ячейке он задержался дольше, чем в других. Кругом тишина.

«Я ищу двух толковых парней»,— сказал он нам. Мы промолчали. «Двух толковых парней, ясно?»— повторил он. «Мы бестолковые»,— сказал Рай. «Ты, как я вижу, толковый»,— рассмеялся Гезелер. «А ведь мы с вами на брудершафт не пили»,— ответил Рай.

Альберт умолк. Ему казалось, что он ложкой черпает смерть из котелка. К чему? К чему все это вновь рассказывать? Ведь надо же было этакому случиться, опять невесть откуда вынырнул человек по фамилии Гезелер, к которому Брезгот приревновал Неллу.

— Этот ответ,— через силу продолжал он,— решил судьбу Рая. Гезелер послал нас в разведку. На такое дело мы абсолютно не годились. Все это понимали. Наш фельдфебель, который хорошо знал нас, пытался отговорить Гезелера, и даже капитан, наш ротный, вмешался и попытался доказать ему, что вряд ли нам удастся такая рискованная вылазка. Село словно вымерло, и никто не знал, есть ли там русские. Все наперебой старались переубедить Гезелера, но он никого не слушал и только кричал: «Я спрашиваю вас, выполняются ли здесь приказы офицера, или нет?» Ротный уже и сам не знал, как выпутаться из этой истории.

Альберт устал, ему не хотелось вспоминать все подробности.

— Капитан, видишь ли, сам побаивался Гезелера и стал уговаривать нас. Он сказал, что, если Гезелер доложит обо всем в штаб батальона, нас за невыполнение приказа наверняка поставят к стенке, а если мы

все-таки пойдём в разведку, то, может быть, все ещё обойдётся. И мы поддались на уговоры — это и было самое ужасное. Мы не должны были уступать, но все же уступили. Все оказались вдруг милейшими людьми — надавали нам кучу дельных советов; все — и унтера и солдаты. И пожалуй, впервые мы почувствовали, что все не так уж плохо к нам относятся. В этом-то и был весь ужас: все обхаживали нас, и мы уступили и пошли в разведку. А через полчаса больше половины роты было убито или угодило в плен. Эта проклятая Калиновка была битком набита русскими, и нам пришлось драпать кто во что горазд. И нашел же я время дать Гезелеру по морде! Потом это показалось мне нелепым — как будто можно пощечиной отомстить за смерть Рая. Она мне дорого обошлась, эта пощечина,— я полгода просидел в военной тюрьме. Понял теперь, как все это случилось?

— Да, понял,— сказал Брезгот.— Это очень на него похоже.

— Не должны мы были поддаваться,— сказал Альберт.— До сих пор простить себе не могу. Ты пойми,— ведь это была личная ненависть, не имевшая ни малейшего отношения к войне. Он возненавидел Рая сразу же, как только услышал слова: «Ведь мы на брудершафт с вами не пили». А Рай, в свою очередь, терпеть его не мог.

— Ты знаешь,— Альберт слегка оживился,— у нас с Раймундом на фронте так уж повелось — всех новых командиров мы классифицировали с предельной точностью. Делал это, собственно, Рай. Вот какую характеристику он дал Гезелеру: «С отличием окончил гимназию. Ревностный католик. Собирался изучать право, кроме того, считает себя знатоком искусства. Переписывается с политиканствующими монахами. Болезненно честолюбив».

— Вот это да! — воскликнул Брезгот.— Знаешь, я чувствую, что время от времени стоит читать стихи. Характеристика исчерпывающая, поверь мне. Это может быть только он! Никакой фотографии нам не нужно.

— Да, пожалуй, не нужно, а стихи Рая тебе и впрямь не мешало бы прочитать. Он надеялся уцелеть, и уступил именно потому, что хотел жить. Ему тяжело было умирать, ведь он уступил такому человеку, как Гезелер... Повсюду валялись жестянки из-под марме-

лада с его рифмованной рекламой... Нацистские газеты расхваливали его.

— Постой, какие жестянки, при чем тут нацистские газеты?

— В тысяча девятьсот тридцать пятом году имя Рая стало приобретать популярность в Германии. У него нашлось множество покровителей: ведь покровительствовать Раю было совершенно безопасно. В своих стихах он избегал прямо говорить о политике, но тот, кто умел их читать, догадывался, о чем идет в них речь. Рая «открыл» Шурбигель, и нацисты сразу почуяли, что его стихи для них лакомый кусок. Они ведь были так непохожи на дурно пахнущие вирши их писак. Стихи Рая можно было сделать ходким товаром и доказать таким образом собственную широту взглядов. Рай попал в ужасное положение: нацисты похваливали его. Он перестал публиковать свои стихи, да и писать почти бросил. Вскоре он поступил на фабрику к своему тестю. В полном одиночестве чертил диаграммы, отражавшие, какие сорта мармелада покупаются в определенных местностях, кто их потребляет и в каком количестве. Он с головой ушел в эту работу, изучая статистику потребления. Данные, поступавшие из отдела сбыта, он отражал в диаграммах, пользуясь при этом всеми оттенками красного. Когда проходил очередной партайтаг в Нюрнберге или еще какое-нибудь нацистское сборище, у Рая не хватало кармина. Когда я вернулся из Англии, мы стали работать вместе — рисовали плакаты и объявления, сочиняли рекламные стишки и лозунги. Их штамповали на жестянках с мармеладом, и мы потом во время войны то и дело натыкались на них. А Рай поневоле становился знаменитостью, — они повсюду разыскивали его стихи и издавали их, хотя он и писал им, что не желает этого. Рай был вне себя. Он прямо с ума сходил.

— Ты знал раньше Шурбигеля? — спросил Брезгот.

— Знал. А что?

— Как ты думаешь, может она сойтись с этим Гезелером?

— Нет. Кстати, она знает, кто он такой.

— То есть как «знает»?

— Она как-то странно говорила о своем отъезде, будто намекая на что-то.

— Куда они поехали?

— В Брерних, на какой-то семинар.

— Господи,— сказал Брезгот,— как бы мне хотелось поехать туда сейчас же!

— Оставь,— ответил Альберт,— она сама знает, что надо делать.

— Да? Что она может сделать?

— Не знаю, будь уверен,— она сама с ним справится.

— По морде бы ему надавать, да что там по морде — под зад коленом: лучшего он не заслуживает! Я бы его просто пристукнул.

Альберт промолчал.

— Мальчонка меня беспокоит. Представить себе не могу, куда он делся. Он же знает, что мы вечером должны поехать вместе. Ты есть хочешь?

— Хочу,— сказал Брезгот,— давай перекусим.

— Пойдем.

Они прошли на кухню. Альберт поставил на газ кастрюлю с тушеной капустой, достал салатницу из холодильника. Нелла перед отъездом успела замесить тесто для блинчиков, нарезать сало для шкварок и смолоть кофе. Она провела дома три дня, не приглашая гостей. В доме в эти дни была тишина и порядок. Альберт уставился на надпись на стене «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок». Неожиданное появление Гезелера вывело его из равновесия. Он боялся встретиться с живым Гезелером; говорить и думать о нем было легко. Но теперь вмешается мать Неллы, она впутает в эту историю мальчонку. Брезгот стоял рядом и с выражением мрачной решимости на лице смотрел, как жарятся блинчики и слегка подпрыгивают завязшие в тесте шкварки.

Каждый шорох, долетавший с улицы, заставлял Альберта настораживаться. Он хорошо знал походку Мартина: быстрые, легкие шаги — у мальчика походка Рая. Альберт знал, как скрипит садовая калитка, когда в нее входит Мартин,— он лишь слегка приоткрывает ее. Нелла всегда распахивает ее одним рывком, и калитка стучается о вбитый в землю колышек. Мартин же приоткроеет калитку только наполовину и бочком входит в сад, и всегда это сопровождается привычным шорохом. Этого шороха ждал Альберт. На сковороде шипело масло, глухо бормотал пар в кастрюле с капустой — все это раздражало Альберта, мешало ему улавливать шорохи, долетавшие снаружи. Он снял со сковороды первый готовый блинчик, положил его на

тарелку Брезгота, пододвинул к нему миску с салатом и сказал:

— Ты извини меня, мне просто не по себе. Я съезжу поищу мальчонку. Уже три часа, а его все нет.

— Да ничего с ним не случится.

— Он мог задержаться только в двух местах — туда я и заеду. А ты ешь, а потом заваришь кофе.

Каждый раз, когда Мартин опаздывал домой, у Альберта разыгрывалась фантазия. Так и теперь он был не в силах избавиться от страшных видений, нахлынувших на него: уличная катастрофа, кровь, носилки. Он видел, как падает земля на крышку гроба, слышал, как поет хор мальчиков, одноклассников Мартина. Так пели девочки-англичанки, ученицы Лин, на ее похоронах. «*Media in vita* — Во цвете лет». Кровь, внезапность смерти — *Media in vita*. Альберт заставил себя сбавить скорость. Медленно проезжая вдоль аллеи, он вглядывался в каждый куст, хотя и был уверен, что мальчика там нет. Точно так же он был уверен, что Нелла уехала именно с Гезелером. Но сейчас это его совершенно не волновало. Миновав кинотеатр «Атриум», Альберт подъехал к школе на углу Генрих-штрассе. Пустынная, тихая улица была залита солнцем. Многоголосый шум внезапно разорвал тишину — в женской школе напротив началась перемена. Крики и смех напугали собаку, гревшуюся на солнце у ворот, и она, поджав хвост, перебежала на другую сторону улицы.

Он проехал дальше и, задержавшись на несколько минут у вывески «Столярная мастерская», просигналил подряд три раза. В окошке появилась хорошенькая улыбающаяся мордочка Генриха.

— Мартин у тебя?

Ответ он знал заранее.

— Нет, — откликнулся Генрих. — Разве он еще не вернулся? Он ведь сразу ушел домой.

— Нет, не вернулся. Ты поедешь с нами сегодня вечером?

— Надо у мамы спросить.

— Хорошо. Мы заедем за тобой.

— Ладно.

Оставалась только Больда. Альберт ехал так медленно, что другие машины то и дело обгоняли его, сердито сигналили. Не обращая на них внимания, он свернул вправо, объехал вокруг церкви и остановил машину у входа в ризницу. Его нет и у Больды. Это ясно.

Но словно чья-то чужая воля заставила Альберта вылезть из машины, чтобы самому убедиться в этом. *Media in vita*. Дверь была прикрыта неплотно. Альберт толкнул ее, прошел мимо ряда аккуратных шкафов, от которых, казалось, веяло прохладой. На крючке рядом с сутаной причетника висело темно-коричневое пальто Больды. В левом кармане, как всегда, — термос с бульоном, в правом — сверток с бутербродами.

Альберт открыл дверь ризницы и вошел в церковь. Он преклонил колени перед алтарем и, быстро поднявшись, пошел по нефу, между рядами стульев. Раньше он приходил сюда лишь к обедне, и теперь безмолвие огромного пустого зала испугало его. Кругом все было тихо. Сначала Альберт увидел ведро у колонны и прислоненную к ней швабру и лишь потом обнаружил саму Больду. Она стирала пыль с готического орнамента исповедальни. Услышав шаги, Больда повернулась, издала какое-то непонятное восклицание и пошла к нему навстречу. У скамьи для причащающихся они встретились, и по лицу Больды Альберт понял, как выглядит он сам.

— Боже мой, — сказала она, — что случилось?

— Мальчик до сих пор не вернулся из школы! Он забегал домой, потом опять ушел.

— И это все?

— Все.

Громкий голос Больды раздражал Альберта, впрочем, и его собственный голос звучал громче обычного, хотя он, сам того не замечая, приглушал его.

— Все, — повторил он, — а тебе этого мало?

Больда улыбнулась.

— Да придет он. Ничего с ним не случится. Он обижается иногда, когда никого не застает дома. Придет, никуда не денется, — она опять улыбнулась, покачивая головой: — Не сходи с ума!

Альберт удивился: он и не подозревал, что Больда может говорить так кротко и ласково. А ведь они уже семь лет жили под одной крышей. В этот миг она показалась ему почти красивой. Впервые он заметил, какие у нее тонкие, изящные руки. Желтая суконная тряпка в ее руке была совсем еще новая — на ней сохранилась даже фабричная этикетка — клочок бумаги с силуэтом ворона.

— Никуда он не денется, — повторила Больда, улыбаясь, — успокойся.

— Ты думаешь? — спросил он.

— Конечно. Не волнуйся и поезжай домой. Он скоро придет.

Уже полуобернувшись, Больда ободряюще улыбнулась ему и потом, больше не глядя на него, пошла назад к исповедальне.

— Если он здесь появится, немедленно отошли его домой, — сказал Альберт.

Больда еще раз обернулась, кивнула головой и пошла дальше.

Альберт еще раз преклонил колени перед алтарем и, вновь пройдя через ризницу, вышел из церкви. Искать Мартина больше негде. Он медленно поехал домой той же дорогой, чувствуя, как спокойствие возвращается к нему. Уверенность Больды подействовала на него.

Брезгот успел тем временем заварить кофе и поджарить второй блинчик.

— Полюбуйся, — сказал он, взяв лежавшую на серванте газету, — вот он.

Альберт сразу же узнал Гезелера — это была его смазливая смуглая физиономия.

— Да, — сказал он устало, — это он.

14

Не успев еще расплатиться с шофером такси, Нелла заметила у дверей Кредитного банка Гезелера. Стройный элегантный молодой человек меж двух бронзовых фигур, стоявших словно часовые по обе стороны входа. Слева — бронзовый финансист с портфелем, справа — каменщик с мастерком. Казалось, они улыбались друг другу холодной бронзовой улыбкой, отвернувшись от витража, который разделял их. Стекло подсвечивалось изнутри неоновыми трубками и в отдельных местах было почти прозрачным. На этом фоне отчетливо выделялась окаймленная гирляндами из цветов, колосьев, весов и колес белоснежная надпись: *Кредитный банк — выгодные операции*. Буквы в словах *выгодные операции* были в три раза больше, чем в словах «Кредитный банк». Гезелер стоял между финансистом и каменщиком, как раз под словом *выгодные*.

В тот момент, когда Нелла положила несколько марок в подставленную ладонь шофера, Гезелер по-

смотрел на часы, и ей вдруг стало тоскливо. Ее неудержимо потянуло домой, к Мартину, Альберту, Глуму, к матери и Больде. Тщетно пыталась она воскресить былую ненависть к Гезелеру. Теперь он вызывал у нее совсем иное чувство, еще непривычное, холодное и пугающее — скуку.

Лобовое освещение — резкий прямой свет. Все кругом выглядело плоским. Неумело расставленные юпитеры были направлены на скучного молодого человека, который расхаживал между бронзовым финансистом и бронзовым каменщиком, под словом *выгодные*.

— Ну так как же, девушка,— спросил шофер,— вылезать будем или дальше поедем?

Она улыбнулась шоферу, и недовольное выражение словно смыло с его лица. Сокращение лицевых мускулов — недорогой подарок; но он тут же выскочил из машины, побежал открывать ей дверцу, достал чемодан из багажника.

А Гезелер там, у входа, опять посмотрел на часы. Да, да, она опоздала уже на семь минут. Нелла зажмурилась на мгновенье — яркий свет резал глаза. Ей не хотелось смотреть этот только что начавшийся фильм — скучный фильм, без полутонов, без настроения.

— Нелла, дорогая, как я рад, что вы пришли!

Она пожалала его бездарную руку.

Сверкающий лаком автомобиль, ярко-голубой, как летнее небо; внутри полнейший комфорт, разумеется, без вызывающей роскоши.

Что может наделать одна ее улыбка: он покраснел, смутился.

— Чудесная машина,— сказала она.

— Вы не поверите, я наездил на ней уже сорок тысяч километров. Просто нужно держать свои вещи в порядке.

— Еще бы,— отозвалась она,— как же иначе! В порядке весь смысл жизни.

Он недоверчиво посмотрел на нее.

В машине все было как полагается: и пепельница, и зажигалка — накалившая докрасна спиралька.

Гезелер выжал сцепление и дал газ.

Неужели так вот пришла Юдифь в стан Олоферна? Неужели она зевала во весь рот, проходя рядом с ним мимо раскинутых шатров?

Машину он ведет уверенно и не без изящества. Вовремя тормозит на красный свет, не упустит случая обогнать, всегда осторожно выбраться в первый ряд. Взгляд мужественный, но, если присмотреться, немного томный. И все это освещено «в лоб» — резким прямым светом. В ящичке над зажигалкой — последний номер «Вестника». Она развернула газету, отыскала состав редколлегии. «Отдел культуры и искусства — Вернер Гезелер». Альберт всегда называл его только по фамилии. Он не говорил, сколько ему лет, и Нелла долгие годы представляла его себе совсем другим: высоким, широкоплечим; жестокий тип этакого красавца мужчины, дельный офицер, ретивый служака. А тут вдруг лицо, годное в лучшем случае для кинорекламы: «Не забудьте посетить замок Брерних, жемчужину немецкого барокко в живописной долине Брера!»

Вот и окраина. Потянулись заборы, промелькнул цыганский фургон. Недавно здесь шумела ярмарка: раскрашенные повозки, карусель вертится под звуки шарманки, ее облепили детишки. Видно, карусель крутили последний раз, тут же рядом сворачивали брезент, которым она была покрыта. Но даже самые живописные кадры теряли свою прелесть при таком освещении и с таким актером в главной роли. Дорога и та напоминала вид с почтовой открытки.

Улыбка, еще одна. Целая очередь, выпущенная ему в лицо. Получай сполна, голубчик! Лопай! Теперь издыхай — не пожалею! А может быть, это другой, не тот?

Придется тогда собраться с силами и потерпеть: ведь сейчас он поцелует мне руку!

Нет, это ты, голубчик, жалкий дилетант, тупица, порвавший ленту моего фильма. Твое лицо — лицо судьбы. Не мрачное, не жестокое, нет — именно твое лицо, твоя скучная физиономия.

Все в нем раздражало ее, даже выдержка за рулем — стрелка спидометра словно прилипла к цифре шестьдесят. Если уж едешь в машине, то пусть стрелка все время дрожит около ста, тонкая нервная стрелка, куда более чувствительная, чем руки водителя, лежащие на руле.

Он посмотрел ей в лицо, и она трижды одарила его улыбкой. Сокращение лицевых мускулов — яд, подсыпанный заученным движением. Он принял его с благодарностью.

Битенхан. Опрятные домики рассыпаны по лесу на первый взгляд как попало, но на самом деле общий вид продуман до мелочей. Так культивируют романтику в живописных городках, приманивая туристов. Над аркой городских ворот вмурованное в кирпич ядро времен Тридцатилетней войны. Такие ядра изготавливают из цемента в мастерских Шмидта: закоптят его, облепят мхом — и вот оно уже торчит в стене: старое шведское ядро.

— Чудесный вид! — сказал он.

— О да, чудесный, — отозвалась она.

Вот и домик матери Альберта. Она развешивает во дворе белье, и Вилль бредет следом и подает ей прищепки. После обеда сюда приедет Альберт с мальчиком. Они славно отдохнут здесь. К вечеру приедет Глум, споет, наверное. А в понедельник они, может быть, поедут куда-нибудь дальше.

«Остановите машину!» — чуть не сорвалось у нее.

Но она промолчала и лишь у поворота еще раз оглянулась. Вилль терпеливо стоял с прищепками в руках, а мать Альберта, поставив на землю ярко-желтую корзину, развешивала его белую ночную рубашку. Нелла с грустью смотрела на этот флаг мира, оставшийся далеко позади, пока деревья не скрыли его.

— Прелестные места, — сказал он.

— Прелестные, — подтвердила она.

Он опять недоверчиво посмотрел на нее. Быть может, что-то в ее голосе заставило его насторожиться. Но улыбка вновь усыпила его подозрения. Женская улыбка — чудодейственный бальзам, от которого светлеют нахмуренные лица мужчин. «И вновь сияет солнце, и вновь прекрасна жизнь!» Гезелер прибавил газ, стрелка спидометра подскочила к семидесяти пяти. Он уверенно и легко брал крутые повороты, и все те же кадры мелькали на экране. «Посетите замок Брерних, жемчужину немецкого барокко в живописной долине Брера».

Внизу журчал Брер, узкий зеленый ручеек, который давно бы уже пересох, если бы к нему не подводили воду по подземной бетонной трубе. Пусть по-прежнему шумит живописный ручей, придавая идиллический вид окрестным лесам и лугам. А вот и неизбежная водяная мельница. Бодрый стук деревянного колеса — трогательная мелодия живописной долины Брера.

— Боже мой, до чего же красиво! — сказал он.

— Очень красиво,— согласилась она.

Недоверчивый взгляд, целительная улыбка, кадры сменяют друг друга. На мгновение Нелла даже забыла, что сидит рядом с Гезелером. Скука сломила ее, как внезапная болезнь. Подавляя зевоту, она через силу поддерживала «светский» разговор: только бы он не заметил, как ей скучно.

Но нет, судя по всему, он уверен, что ей очень весело слушать рассказ о том, как в результате длительных и запутанных интриг ему удалось стать редактором в «Вестнике».

Гезелер сбавил скорость. По обе стороны дороги проплывал мирный сельский пейзаж. Живые изгороди, коровы на лугу, свиньи у заборов. До плотины было уже недалеко — Брер внизу вдруг забурлил, будто дикая горная речка. Верно, смотритель плотины повернул рычаг, и свежая вода хлынула в ручей. Брер принял очередную порцию сельской идиллии. Этот фильм, как видно, был снят весьма добросовестным и усердным любителем. Серый свет, без полутонов. При таком освещении все кругом казалось плоским, словно ожили вдруг фотографии в каких-то скучных альбомах. Целая куча альбомов, и все их придется перелистать. Мертвенно-серые кадры, зафиксированные на пленке неумелой рукой, нажавшей на спусковую кнопку фотоаппарата. Точно такие же серые снимки заполняли альбомы ее школьных подруг. Пронумерованная скука, альбомы, набитые снимками, которые проявляли и печатали спесивые фотографы на модных курортах. От Фленсбурга до Медины, от Кале до Карлсбада, на протяжении всего длинного пути от одного летнего курорта до другого было увековечено решительно все, что заслуживало увековечения. Скука группами, скука в одиночку, скука в формате 8 на 8 и в формате 12 на 16, а кое-где скука в портретном формате. Вот она — Лотта на берегу Мединского залива, формат 18 на 24. Это — в альбоме № 12, отражающем девичество Лотты от выпускного экзамена до помолвки. За ним следует альбом № 13 — о, мы не суеверны,— целиком посвященный свадьбе и свадебному путешествию Лотты. Скука под фатой и без фаты, скука невинная, и скука, утратившая невинность. «А вот и папа Бернгарда! Ты его уже видела?» — «Нет». — «Да что ты?!» Никому не ведомый весельчак, увековеченный в формате 6 на 8. Ну, а в альбоме № 14, разумеется, прелестный малют-

ка. Мило, боже, как мило! Дерзновенная рука гения отретушировала снимок и нанесла выразительные серые тени на личико младенца.

Он, конечно, остановит машину в самом живописном месте, полезет целоваться, потом извлечет «лейку» из портфеля. Еще один снимок для альбома: Нелла на развилке дорог. Внизу виден Брер, справа плотина в лесу, тихое озеро — сплошная идиллия. Село в долине, башня старой церкви вся в барочных завитушках и такой же старинный трактир «Голубая свинья».

— Как, вы не знаете, откуда пошло это название? Вот послушайте...

Неизбежный исторический анекдот, потом снова поцелуй, они выходят из машины, наведен аппарат.

Готово дело! Щелкнул и барочную церковь, и «Голубую свинью»...

Чудо свершилось. Вскоре из фотолаборатории принесут пачку скуки в установленном формате.

— Как мило здесь! Не правда ли?

— Да, очень мило.

Нелла часто проезжала по этой дороге, до войны — с мужем, в последние годы — с Альбертом, и ни разу еще ей здесь не было скучно. Даже церковь и «Голубая свинья» не нагоняли на нее тоску. Но сейчас ее так одолевает скука, что она больше не в силах сдерживать себя. Раздражение нарастает неудержимо, — так ползет вверх ртутный столбик термометра в жаркий летний день.

— Остановите машину, — резко сказала она, — я выйду, подышу свежим воздухом!

Он затормозил. Нелла вышла из машины, но не успела она пройти и двух шагов по направлению к лесу, как услышала за спиной щелчок и, обернувшись, увидела Гезелера, стоявшего у машины с «лейкой» в руках.

Она подошла к нему и тихо сказала:

— Дайте-ка мне пленку.

Он тупо посмотрел на нее.

— Пленку дайте, достаньте кассету!

Высоко подняв брови, Гезелер медленно открыл аппарат, вынул кассету и протянул ее Нелле. Она вытащила из кассеты пленку и порвала ее в клочья.

— Терпеть не могу сниматься, — спокойно сказала она, — смотрите, не вздумайте больше снимать меня.

Они опять сели в машину, Нелла чуть повеселела

и украдкой наблюдала за Гезелером. Лицо его приняло упрямо-обиженное выражение, он даже слегка надул губы.

Так и есть. Он остановил машину на развилке дорог, откуда можно было полюбоваться пересыхающим Брером, барочной церковью и «Голубой свиньей». По-мальчишески поиграв фотоаппаратом, болтавшимся у него на груди, он произнес именно те слова, которых она ожидала.

— Ну, разве не изумительно здесь!

— Да, конечно,— сказала она,— а что, долго еще ехать до замка?

— С полчаса,— ответил он,— вы знаете Брерних?

— Да, я несколько раз была там.

— Как же это мы с вами там не повстречались? За последний месяц я два раза побывал в Брернихе.

— Я уж целый год там не была.

— Ах, вот как? Тогда понятно — ведь я здесь всего два месяца.

— А что вы делали до этого?

— Учился. Пришлось переучиваться заново.

— Вы долго служили в армии?

— Да,— ответил он,— четыре года. Потом шесть лет зубрежки: ведь у меня не было гражданской профессии. Только теперь и начинаю жить по-человечески.

— Жить? — переспросила она.— Ведь, наверное, вы лет двадцать восемь живете на свете?

— Нет, почти тридцать два,— улыбнулся он.— Благодарю за комплимент.

— Это не комплимент, а простое любопытство. Я так и знала, что вы скажете, сколько вам лет на самом деле. Ведь вы хотели бы выглядеть старше, не так ли?

— Для вас я с удовольствием прибавил бы себе года два.

— Зачем? — сухо спросила она, скучающе посмотрев на «Голубую свинью», которая грела на солнце свой заново побеленный, свежеразкрашенный барочный фасад.

— Тогда я был бы на четыре года старше вас.

— Какие сложные комплименты,— устало сказала она.— Но вы ошибаетесь, мне уже тридцать семь.

Нет, это не похоже на поединок матерого бандита с опытным следователем. Нечто подобное испыты-

вает, вероятно, полицейский чиновник, допрашивая мелкого ворюшку.

— Если и комплимент, то непреднамеренный,— сказал он,— вы действительно выглядите моложе своих лет.

— Знаю.

— Что же, может быть, поедем дальше?

— Поедем. Только, ради бога, не останавливайтесь ни у церкви, ни у «Голубой свиньи».

Он с улыбкой взглянул на нее. Нелла промолчала — дорога перед самым въездом в село делала крутую петлю. Гезелер легко взял крутой поворот, и они медленно проехали по улицам местечка.

— Забавная эта история о «Голубой свинье», не правда ли? — сказал он.

— Уморительная! — согласилась она.

Фильм продолжался — типичная реклама бюро путешествий.

Луга, коровы, гладко выбритый третьестепенный актеришка в главной роли, режиссирует заведующий отделом рекламы в бюро путешествий — сам был актером в молодости. А она? О, она — кинозвезда, которой хорошо заплатили за участие в съемках. Фильму нужна приманка! Мирный сельский пейзаж — как бесплатное приложение. За кинокамерой — оператор-дилетант, на краткосрочных любительских курсах его считали способным малым. Ей никак не удастся оборвать назойливо мелькающие кадры этого рекламного фильма и оживить в памяти другие кадры: ни фильм, полный воспоминаний, ни его вторую серию — непржитую жизнь. Жизнь без балласта, дети, своя редакция, бутылка с яркими этикетками в холодильнике, Альберт — верный друг дома. Глума и Больды не было в этом фильме, зато появились пригостишки 1950 и 1958 года, незачатые и нерожденные дети. Она мучительно старается оживить в памяти облик Рая и вновь разжечь свою ненависть. Но память подсовывает лишь бесцветные кадры, тусклые, неподвижные клише: итальянские деревушки из рекламных проспектов, и на этом фоне Рай, словно турист, сбившийся с дороги. Вдруг действительность вторгается в мечты: она почувствовала на своем плече руку Гезелера и спокойно сказала: «Уберите руку!» Он убрал руку, и она тщетно ждала, что в душе вспыхнет прежняя ненависть.

Вспомни, вспомни — Авессалом Биллиг, растоптан-

ный сапогами на цементном полу. Рай, который никогда не вернется, его убили, пристрелили во имя подчинения приказу, принесли в жертву принципу, авторитету командира. Но Рай не приходит — память молчит. Былая ненависть не возвращается, и лишь зевота сводит рот. Снова легла на ее плечо рука Гезелера, опять она сказала так же спокойно: «Уберите руку!» — и он опять убрал руку. И это он называл «жить по-человечески»? Потискать женщину в машине, потом поцеловать ее на лесной опушке... А из ветвей смотрит на влюбленную парочку пугливая лань, смотрит и словно посмеивается. Смеющаяся лань — находка оператора!

— Оставьте! — сказала она. — И не пытайтесь больше. Это скучно. Расскажите лучше, на каких фронтах вы воевали?

— Не люблю вспоминать об этом. Стараюсь забыть, и это мне удается. Что было, то прошло.

— Но на каких фронтах вы были, это вы, надеюсь, помните?

— Почти на всех. На Восточном, на Западном, на Южном. Только на Северном не довелось побывать. Под конец войны я был в армии Эрвина.

— В какой армии? У кого? — переспросила она.

— У Эрвина Роммеля. Разве вам не знакомо это имя?

— Имена генералов, признаться, меня никогда не интересовали.

— Ну почему вы такая злючка?

— Злючка? Вы словно с девочкой говорите: злая девчонка-упрямица, не подает тете ручку — в угол ее! Впрочем, вы, может быть, не знаете, что мой муж погиб на фронте?

— Знаю, — сказал он, — патер Виллиброрд мне рассказывал. Да и кто этого не знает. Простите меня.

— Что мне вам прощать? Что моего мужа пристрелили? Шлепнули, и точка! Перерезали ленту кинофильма, которому суждено было воплотиться в жизнь, он остался несбыточной мечтой, обрывки ленты валяются где-то в архиве. Попробуй-ка склей их! После всего этого не так уж важно помнить имена генералов.

Гезелер долго молчал. Почтительное молчание! Наблюдая за ним сбоку, она поняла, что он думает о войне: вспоминает суровые годы лишений, фронтовое товарищество, Эрвина.

— Как называется ваш доклад?

— Мой доклад? «Перспективы развития современной лирики».

— Вы будете говорить о моем муже?

— Конечно! — ответил он. — В наши дни нельзя говорить о лирике, не говоря о вашем муже!

— Мой муж был убит под Калиновкой, — сказала она и, посмотрев на него с удивлением и разочарованием, обнаружила, что не испытывает ни малейшего волнения. Ни один мускул не дрогнул и в его лице.

— Да, я знаю, — сказал он. — Странно, ведь я тоже был в этих местах. Летом тысяча девятьсот сорок второго года я воевал на Украине! Странно, не правда ли?

— Да, странно, — сказала она.

Ей вдруг захотелось, чтобы он оказался однофамильцем того, настоящего Гезелера.

— Забыл, все забыл, — повторил он. — Я упорно изгонял из памяти войну. Войну надо забыть!

— Да, забыть, — сказала она. — Забыть все — вдов и сирот, кровь и грязь, заботы — и прокладывать путь в светлое будущее. Уверенности не хватит — возьмем ссуду в Кредитном банке. Забудем войну, но обязательно запоним имена генералов!

— Ах ты господи, ну что тут особенного? Случается иногда — скажешь слово на жаргоне тех лет.

— Вот именно, — сказала она, — это именно жаргон тех лет.

— Разве это так уж скверно?

— Скверно! Скверные мальчишки — так говорят об озорниках, таскающих яблоки из чужого сада. Но для меня это похуже, чем «скверно», когда я слушаю ваш «жаргон того времени». Мой муж ненавидел войну, и я не дам ни одного стихотворения для вашей антологии, если вы не возьмете в придачу одно из его писем, то, которое выберу я сама. Он ненавидел войну, ненавидел генералов и военщину, и я должна бы ненавидеть вас. Но, странное дело, вы лишь нагоняете на меня скуку.

Гезелер улыбнулся.

— Зачем же вам ненавидеть меня? — спросил он.

Голос его прозвучал грустно, и лицо приняло то страдальческое выражение, которое вполне удовлетворило бы постановщика любительского спектакля.

— Я бы ненавидела вас, если бы со смертью мужа не оборвалась и моя жизнь. Я хочу одного — воскре-

сильно его ненависть, жить его ненавистью. Ведь если бы он знал вас в те годы или теперь — все равно, он просто дал бы вам пощечину. Я должна была продолжить его дело, поступать и думать так, как он учил меня, — хлестать по щекам людей, которые забыли войну, но как слюнявые гимназисты с трепетом произносят имена генералов.

Гезелер молчал. Нелла видела, как он крепко сжал губы.

— Были бы вы, на худой конец, честней! Открыто восхваляли бы войну, не таясь играли бы свою роль озлобленных горе-завоевателей. Но становится просто жутко, когда вы, именно вы читаете доклады «о перспективах развития современной лирики».

Гезелер сбавил скорость. Замок был уже близко. В густой листве мелькнул барочный павильон. Над ним всегда кружились голуби, жирные, откормленные бутербродами экскурсантов.

Вот и окончился рекламный фильм, снятый бездарным любителем. Освещение никуда не годится, и даже «хэппи-энд» не получился. Традиционный «поцелуй в диафрагму» на фоне Брернихского замка не состоится. Ей захотелось скорей вернуться домой, зайти в кафе к мороженщику Генелю, увидеть улыбающегося Луиджи, услышать пластинку, которую он всегда ставит, как только она входит в кафе, и ждать мгновения, когда отзвучат последние такты мелодии. Ее потянуло к Альберту, к Мартину, и она пожалела, что навсегда исчез тот воображаемый Гезелер, которого можно было ненавидеть.

Мелкий карьерист, сидевший рядом с ней, не вызывал в ней ненависти. Разве это тот черный человек, мрачный злодей, образ которого мать ее пыталась поселить в воображении ребенка? Тщеславный, мелкий, совсем не глупый. Такой сделает карьеру.

— Я выйду здесь, — приказала она.

Он остановил машину, не глядя на нее. Она открыла дверцу.

— Чемодан пусть отнесут в мою комнату.

Он кивнул. Нелла посмотрела на него сбоку, тщетно ожидая, что в душе ее шевельнется жалость к нему, так же тщетно, как только что ждала вспышки прежней ненависти.

Патер Виллиброрд уже приближался к ней с распростертыми объятиями.

— Нелла! — воскликнул он.— Наконец-то! Чудесное место мы выбрали на этот раз для семинара, не правда ли?

— Да, чудесное,— ответила она.— Что, заседание уже началось?

— Давно уже. Шурбигель только что прочитал блестящий доклад. Все с нетерпением ждут Гезелера. Это его дебют в нашем кругу.

— Проводите меня в мою комнату,— сказала Нелла.

— Пойдемте, я провожу вас,— предложил патер.

Она видела, как Гезелер поднимался по широкой лестнице с портфелем и ее чемоданом в руках. Но когда она с патером Виллибрордом подошла к дверям, Гезелера уже не было, а чемодан ее стоял у каморки швейцара.

Кондукторской фуражки на вешалке не было. В прихожей пахло бульоном и подгоревшим маргарином. Генрих всегда жарил картошку на маргарине. На верхнем этаже фрау Борусьяк пела «Зеленый холмик на родной могилке». Голос у нее был чистый, красивый, он лился сверху, словно ласковый летний дождь. Мартин посмотрел на выщербленную стену — неизвестный писал на ней то самое слово по меньшей мере раз тридцать. Свежая царапина под газовым счетчиком свидетельствовала о том, что совсем недавно здесь вновь разыгралось немое единоборство. Внизу, в столярной мастерской, глухо рокотал строгальный станок. Домашний, мирный гром, от которого постоянно дрожали стены. Временами звук становился более резким. Станок почти трещал, когда обструганная доска выскальзывала из его пасти. Как только затихал строгальный станок, начинал визгливо скулить токарный. Лампа в прихожей не переставая покачивалась. А сверху доносился красивый сильный голос, который изливался словно благодать. Окно во двор было распахнуто настежь. Внизу хозяин мастерской вместе со своим учеником складывали доски в штабеля. Ученик, молодой парень, тихонько насвистывая, вторил фрау Борусьяк. Напротив, в глубине двора, громоздились развалины дома, сгоревшего во время бомбежки. Торчала

лишь передняя стена, с зияющими проемами окон, и в крайнем из них, правом, виден был пролетающий самолет. За ним тянулся длинный транспарант. Вот самолет скрылся за простенком между окнами, но вскоре снова показался уже в проеме второго окна. Маленький и серый, он плыл в голубом небе, таща от проема к проему свой длинный шлейф, словно стрекоза с непомерно тяжелым хвостом. Потом он полетел дальше и, изменив направление, медленно пополз к колокольне; теперь Мартину удалось разобрать надпись на транспаранте. Он читал ее слово за словом, по мере того как самолет, разворачиваясь, вытягивал из-за стены свой длинный хвост. *Готов ли ты ко всему?*

Фрау Борусьяк все еще пела. Голос был глубокий, сильный. Когда фрау Борусьяк пела там наверху, Мартин ясно видел ее, будто она стояла тут же, рядом с ним. Белокурая, совсем светлая, она была похожа на маму, только немного полней. То слово казалось невозможным в ее устах. Муж ее тоже погиб на войне — раньше ее звали фрау Горн. Теперь у нее был другой муж, господин Борусьяк, почтальон, разносивший денежные переводы. Она по-настоящему вышла замуж, так же, как и мать Гребхакке вышла замуж за господина Зобика. Господин Борусьяк был такой же добрый, как и она. Он приносил иногда деньги дяде Альберту и маме. Дети у фрау Борусьяк были уже большие. Старшего звали Рольф Горн. Это он разучивал литургию со служками. Мартину вспомнилась надпись на мраморной доске, прибитой к стене церкви: «Петер Канизиус Горн. Убит в 1942 г.». На той же доске, только повыше, была и другая надпись: «Раймунд Бах. Убит в 1942 г.». А про отца Генриха было написано на доске в церкви святого Павла: «Генрих Брилах. Убит в 1941 г.». Мартин выждал, пока затих внизу строгальный станок, и прислушался. Иногда Лео уносил свою фуражку в комнату. Но за дверью ни звука — значит, Лео еще не пришел. Мартин отошел от окна и, подождав немного, толкнул дверь.

— Ой, это ты! — вскрикнул Генрих. — А дядя Альберт тебя повсюду ищет!

Генрих сидел за столом и что-то писал; перед ним лежал лист бумаги, в руке он сжимал карандаш, и вид у него был очень важный. Оторвавшись от своей работы, он спросил:

— Ты уже успел забежать домой?

Мартин терпеть не мог, когда Генрих напускал на себя важность, а делал он это довольно часто, когда говорил ему: «Ну, что ты в этом понимаешь?» И Мартин прекрасно понимал, что он имеет при этом в виду *деньги*. Положим, в *деньгах* он действительно ничего не понимает, но все же он не выносил, когда Генрих так задавался. Лицо у него тогда принимало какое-то особое, *денежное* выражение.

— Нет,— ответил Мартин,— я еще не был дома.

— Тогда ступай сейчас же домой. Дядя Альберт знаешь как волнуется?

Мартин молча мотнул головой и подошел к Вильме, которая вынырнула навстречу ему из своего угла.

— Ну и свинья же ты,— сказал Генрих,— просто свинья!

Он опять склонился над своим листком. Вильма тем временем занялась ранцем Мартина. Мартин уселся прямо на полу у дверей и взял Вильму к себе на колени. Она засмеялась, соскользнула на пол, ухватилась за ремешок от ранца и оттащила его в сторону. Мартин устало наблюдал за ней. Вильма попыталась открыть ранец, она дергала ремешок, но не могла вытащить его из пряжки. Мартин притянул к себе ранец, ослабил оба ремешка, и вновь подтолкнул ранец Вильме. Та опять дернула одну из пряжек, и когда металлический шпенек вышел из дырки в ремешке, даже закричала от радости. Она потянула вторую пряжку и, расстегнув ее так же легко, пришла в восторг и закричала еще громче. Резким движением она откинула крышку ранца. Мартин смотрел на нее, прислонившись к стене.

— Нет, это просто подлость,— повторил Брилах, не поднимая головы. Не дождавшись ответа, он посмотрел на Мартина и добавил:

— Ну, на кого ты будешь похож? Штаны ведь измажешь!

Лицо у него было важное, *денежное*. Мартин смолчал, хотя язык у него чесался ответить:

«Да брось ты задаваться! Смотреть противно на твою *денежную* физиономию!» Но он не сказал этого: говорить с Генрихом о деньгах было опасно. Однажды Мартин уже попробовал сбить с него спесь: он сказал Генриху, что у них дома всегда есть деньги, у всех — у дяди Альберта, у матери и у бабушки. После этого Генрих шесть недель не появлялся у них, шесть недель не разговаривал с Мартином. Дяде Альберту пришлось

ездить к Генриху и уговаривать его, чтобы он снова приходил к ним. В те дни Мартин не находил себе места. Поэтому он теперь и молчал. Прислонившись к стене, обхватив руками колени, он продолжал наблюдать за Вильмой. Та нашла себе новое занятие: она вытащила из ранца все книги, пенал, потом открыла задачник, оказавшийся сверху, и ткнула пальчиком в одну из картинок. Внимание ее привлек изображенный на ней торт, торт, который можно было разделить на восемь, на шестнадцать, на тридцать две части и который стоил либо две, либо три, либо четыре марки. Требовалось узнать, сколько стоил в каждом из этих случаев один кусок. Вильма, видимо, поняла, что изображено на картинке,— она громко выкрикнула одно из немногих известных ей слов: «Сахар!» Но «сахаром» Вильма называла и африканские бананы. За тонну их было на месте заплачено столько-то (а кстати, сколько килограммов в тонне?), наценка в розничной торговле составила столько-то процентов, спрашивается, сколько стоит килограмм бананов? Вслед за бананами Вильма превратила в сахар и большой круг сыра, и хлеб, и мешок с мукой. На картинке у человека с мешком была мрачная физиономия — Вильма сразу же решила, что это Лео. Зато пекарь, считавший мешки, весело улыбался; его она назвала «папа». Вильма знала пока три слова: Лео, папа и сахар. Портрет на стене — это «папа». Всех мужчин, которые были с ней ласковы, она тоже называла «папа», а всех, кто ей не нравился, — «Лео».

— Я сделаю себе бутерброд с маргарином,— сказал Мартин,— можно?

— Конечно,— ответил Генрих,— но на твоём месте я все же пошел бы домой. Дядя Альберт очень волновался, а ведь он заезжал сюда уже с час тому назад.

Мартин опять промолчал, и Генрих повторил сердито:

— Ну и подлец же ты! — И уже тише добавил: — Делай бутерброд, чего ждешь?

Лицо его стало еще серьезней, и видно было, что ему страшно хочется рассказать о том, какая ответственная задача ему поручена. Генрих ждал лишь вопроса. Но Мартин решил ни за что не спрашивать его. Он старался не думать о дяде Альберте — злость постепенно прошла, теперь он чувствовал лишь угрызения совести. Конечно, глупость сделал: пошел зачем-то в кино. Мартин попытался вновь распалить в себе злость.

И дядя Альберт стал такой же «записочник», как и другие,— все чаще пишет он короткие записки на обрывках газеты, трижды подчеркивая самое важное, по его мнению, слово. Эту штуку с подчеркиванием придумала мама. Она почему-то всегда подчеркивала выражения вроде: «должна», «не смогла», «нельзя было».

— Вставай же,— раздраженно сказал Генрих,— штаны извозишь! Сделай себе бутерброд.

Мартин встал, отряхнул штаны и улыбнулся Вильме. Та перевернула страницу задачника и с торжеством указывала пальчиком на барана, весившего ровно шестьдесят четыре килограмма пятьсот граммов. Мясник купил его, уплатив столько-то марок за каждый килограмм живого веса, а потом продал его, но уже на фунты и с такой-то наценкой. Мартин, как и другие, не заметил подвоха, решая эту задачу, и механически написал шестьдесят четыре и пять десятых фунта: он забыл, что в килограмме два фунта. После этого учитель не упустил случая торжествуяще заявить, что так все мясники в городе в два счета разорятся. Но мясники в городе и не думали разоряться — дела у них шли как нельзя лучше. Вильме очень понравился баран, она пропищала: «Сахар, сахар!» — и перевернула страницу. Здесь была изображена какая-то глупая тетка, покупавшая в рассрочку мотороллер. Генрих по-прежнему сидел за столом и подсчитывал что-то, нахмурив лоб: Мартин заглянул в его листок и увидел множество цифр, перечеркнутые столбики и подчеркнутые результаты. Он подошел к буфету, отодвинул в сторону хрустальную вазу с искусственными фруктами. Стекланные бананы, персики, апельсины. Особенно здорово был сделан виноград — Мартин всегда удивлялся, до чего же он похож на настоящий! Он знал, где что стояло. Вот алюминиевая коробка с хлебом, масленка с маргарином, блестящая жестянка с яблочным джемом. Мартин отрезал толстый ломоть хлеба, намазал его маргарином и джемом и стал торопливо есть. Он даже вздохнул от удовольствия. Дома никто не мог понять, кроме разве Глума и Больды, что ему очень нравится маргарин. Бабушка ужасалась, когда видела у него в руках бутерброд с маргарином, и своим роко-чущим голосом заводила длинный разговор о всевозможных болезнях, расписывая их во всех подробностях. Это были жуткие болезни, и самая опасная из них называлась *тебеце*. «Смотрите, дело кончится «тебе-

це», — причитала бабушка. Но Мартин находил маргарин вкусным. Не отходя от буфета, он намазал маргарином второй бутерброд. Вильма радостно заулыбалась, когда он снова уселся рядом с ней на полу. «О розы, розы алые», — пела наверху фрау Борусьяк. Ее голос, глубокий, грудной, вдруг показался ему родником, из которого ключом била кровь. На мгновение он ясно представил себе розы, алые розы, падавшие изо рта фрау Борусьяк, их очертания расплывались, сливались воедино, и вот уж изо рта ее струится кровь. Мартин решил когда-нибудь нарисовать это: белокурую фрау Борусьяк и льющийся у нее изо рта поток кровавых роз.

Вильма перелистала задачник почти до последней страницы. Здесь тоже речь шла о тоннах и килограммах. На картинках были изображены корабли в порту и товарные вагоны, бегущие по рельсам: грузовики и пакгаузы. Вильма указывала пальчиком на матросов, железнодорожников и шоферов и делила их на «пап» и на «Лео». «Лео» попадались гораздо чаще: у большинства людей на картинках лица были нахмуренные, угрюмые. «Лео — Лео — папа — Лео — Лео — Лео — папа». На одной из картинок рабочие валом валили из заводских ворот — всех их Вильма без разбора зачислила в «Лео». Катехизис разочаровал ее — в нем не было картинок, если не считать пары виньеток. Назвав гроздь и гирлянды «сахаром», Вильма отложила катехизис. Зато хрестоматия оказалась просто кладом: здесь «пап» на картинках оказалось куда больше, чем «Лео»; святой Николай, святой Мартин, танцующие в кругу дети — все сплошь были «папы».

Мартин снова взял Вильму на колени и стал кормить ее, отламывая кусок за куском от своего бутерброда. Ее бледное пухлое личико сияло, и перед каждым куском она провозглашала: «Сахар!» Потом она вдруг расшалилась и стала без конца выкрикивать: «Сахар, сахар, сахар!»

— Черт! — воскликнул Генрих. — Придумай какую-нибудь игру потише.

Вильма перепугалась, наморщила лобик и с важным видом приложила пальчик к губам.

Фрау Борусьяк перестала петь, и из столярной мастерской не доносилось ни звука. В этот миг вдруг зазвонили колокола. Вильма закрыла глаза и, пытаясь подражать их звону, стала кричать: «Дон-дон-дон».

Мартин тоже невольно закрыл глаза и перестал жевать. Звон колоколов стал зримым. За закрытыми веками возникла целая картина. Колокола вызванивали в воздухе сложные узоры, сверкающие кольца росли, ширились, потом распадались и исчезали, их сменяли квадраты и штрихи вроде тех, которые садовник граблями вычерчивал на дорожках сада. Причудливые многоугольники выплывали из мглы, словно штампованный орнамент из жести на серой стене. А серебряное «дин-дон» Вильмы, как маленькое долото, стучало в бесконечную серую стену, вбивая в нее ряды сверкающих точек. Потом краски смешались. Алый цвет кровавых роз — открытые круглые рты с ярко-алыми губами, желтые волнистые линии, а когда колокола сильно ударили в последний раз, появилось огромное темно-зеленое пятно; оно медленно бледнело, съеживалось и исчезало вместе с последними отзвуками колокола.

Вильма все еще сидела на полу, закрыв глаза, и твердила свое: «Дон-дон-дон».

Мартин, не вставая, протянул руку, достал второй бутерброд, который он положил на край кровати, и, отломив от него кусок, сунул в рот девочке. Вильма открыла глаза, улыбнулась и перестала выкрикивать «дон-дон».

Свободной рукой Мартин вытянул из-под кровати картонку, битком набитую игрушками Вильмы. На крышке большими буквами цвета ржавчины было написано: «Мыло Санлайт». В картонке лежали пустые коробки, кубики, искалеченные заводные автомобили.

Вильма соскользнула с его колен и с серьезным видом стала одну за другой вынимать игрушки из картонки. Она передавала игрушки Мартину и называла их единственным словом, обозначающим у нее все неодушевленные предметы: «Сахар». Но на этот раз она произносила его тихо, наморщив лобик и поглядывая на Генриха, который все еще что-то высчитывал.

Мартину хотелось, чтобы фрау Борусьяк снова запела; искоса глядел он на Генриха, по-прежнему важно восседавшего за столом, и ему вдруг стало жаль его.

— Что, опять смету составляешь? — спросил он.

— Эх, знал бы ты, как мне это надоело, — тотчас же отозвался Генрих, и лицо его расплылось в довольной улыбке, — тошнит прямо! Попробуй-ка сэкономить

двадцать марок в месяц. А приходится — маме надо новые зубы вставить.

— Да, новые зубы стоят дорого.

— Дорого! — рассмеялся Генрих. — Дорого — это, брат, не то слово! Где взять такую кучу денег! Но знаешь, что я обнаружил?

— Что?

— А вот что: уже два года дядя Лео недодает нам денег. Смотри: обед обходится нам не в тридцать пфеннигов, как мы тогда прикинули, а в добрые сорок. А завтрак? Нет, ты подумай, какое свинство — наша норма была двадцать граммов маргарина, а он жрет каждый день не меньше сорока граммов, да еще с собой бутерброды берет. Джем я уж и вовсе не считаю. Теперь яйцо — на яйцо он дает двадцать пфеннигов в день. Но скажи-ка, где ты найдешь яйцо по двадцать пфеннигов за штуку? Где?

Генрих даже охрип от возмущения.

— Не знаю, — согласился Мартин, — не знаю, где это они стоят так дешево.

— Вот и я не знаю, а то бы сам сломя голову туда побежал. Глядишь, и мы бы когда-нибудь яичницу съели.

Вильму, судя по всему, яйца совершенно не волновали. Она перестала раскладывать свои игрушки и сказала, сморщив личико: «Лео, Лео», — и потом вдруг: «Яйцо», — и тут же просияла: ее лексикон обогатился новым словом.

— Да и вообще, с какой стати мы обязаны каждое утро подавать ему яйцо?

— Всем отцам и всем дядям подают яйцо к завтраку, — нерешительно возразил Мартин и сейчас же поправился, — почти всем.

Он сам не был уверен в этом. До сих пор он не представлял себе чьего-нибудь отца или дядю, которому не подавали бы на завтрак яйцо. Но тут ему вдруг пришло в голову, что дядя Берендта не ест яиц по утрам.

— Ну, а я считаю, что это вовсе не обязательно, — сказал Генрих.

Он схватил карандаш и провел толстую косую черту на бумаге, словно вычеркивал утреннее яйцо из домашнего завтрака Лео.

Поблуднев от ярости, он продолжал:

— Вот и подсчитай теперь, на сколько он нас надул!

На маргарин он недодает по семь пфеннигов в день, если не больше — ведь он иногда делает себе бутерброды и вечером. На обед — по десять пфеннигов, да джем он жрет совсем бесплатно — это еще пфенниг. Теперь за яйцо с него ежедневно причитается на три пфеннига больше. Всего, стало быть, двадцать пфеннигов. Умножим это на тысячу, — он живет у нас почти три года, — получается двести марок! Понял? Дальше: за хлеб мы с него вовсе не берем. Последние два года мы получаем его бесплатно. Но посуди сам: если нам хлеб достается задаром, то значит ли это, что и он не должен за него платить?

— Нет, не значит, — сказал Мартин, совершенно подавленный. Бутерброд сразу показался ему вовсе не таким вкусным.

— То-то! Выходит, что с этого обжоры причитается еще сорок пфеннигов в день за хлеб, да пять пфеннигов за электричество — за него он тоже не платит. Пять пфеннигов умножить на тысячу будет пятьдесят марок плюс хлеб за два года — сорок пфеннигов на семьсот тридцать — это будет еще триста марок! Ты подумал об этом?

— Нет, — признался Мартин.

Генрих замолчал и снова уткнулся в свой листок.

— Яйцо, — пролепетала Вильма, — Лео, яйцо.

Она обнаружила в хрестоматии каких-то угрюмых мужчин. Это были шахтеры в забое, люди с сумрачными и сосредоточенными лицами.

— Лео, Лео, Лео — яйцо, яйцо, яйцо.

— Ты не кончил еще? — спросил Мартин.

— Нет, — ответил Генрих, — матери нужно вставить зубы, и я должен высчитать, сколько мы сможем экономить в месяц. Но Лео надул нас на пятьсот марок — это уже половина той суммы, которую придется уплатить дантисту.

Мартину очень хотелось, чтобы снова запела фрау Борусяк или зазвонили бы колокола. Он закрыл глаза, стал думать о фильме, который видел сегодня, и вспомнил сон, приснившийся ему, когда он задремал в кино: Лео с жерновом на шее опускается на дно океана. Ему почудилось, что он во сне слышал и лепет Вильмы: «Лео, сахар, папа, яйцо, Лео». И когда запела фрау Борусяк «У тропинки лесной незабудки цвели» и он снова почувствовал, как голос ее проникает ему в душу, он открыл глаза и спросил:

— Почему наши мамы не выходят снова замуж? Генриху этот вопрос показался настолько серьезным, что он даже оторвался от своих подсчетов. Он отбросил карандаш, всем своим видом подчеркивая, что после такой работы человек может позволить себе недолгий отдых. Опершись локтями на стол, он сказал:

— Ты не знаешь почему?

— Нет.

— Из-за пенсии, чудак! Ведь если мама выйдет замуж, ей перестанут выплачивать пенсию.

— Значит, фрау Борусьяк не получает пенсии?

— Нет. Но ведь ее муж и без того хорошо зарабатывает.

— Ну, а все-таки? — Мартин подумал немного и рассеянно улыбнулся Вильме, которая в этот момент наткнулась в хрестоматии на святого Иосифа и, сияя, нарекла его «папой». — Ну, а все-таки она бы получала пенсию, если бы не вышла замуж за господина Борусьяка и фамилия ее оставалась бы Горн?

— Конечно, получала бы. Но она так ни за что не сделает. Ведь это безнравственно, а она — набожная.

— А твоя мать набожная?

— Нет. А твоя?

— Не знаю. Иногда, пожалуй.

— А дядя Альберт?

— Он-то набожный.

Генрих еще крепче облокотился на стол и положил подбородок на скрещенные, сжатые в кулаки руки.

— Да,— протянул он,— у твоей мамы это не из-за пенсии. Деньги тут ни при чем.

— Ты так думаешь?

— Да.

— Слушай, как, по-твоему... — Мартин замялся было, но потом, собравшись с силами, выпалил: — Как ты думаешь, моя мать тоже сожительствует с мужчинами?

Генрих покраснел, не зная, что ответить. Когда Лео говорил о матери Мартина, он то и дело употреблял то самое слово. Но Генрих не хотел говорить об этом. Ведь Мартину будет тяжелей, чем ему, если он узнает, что и его мать сожительствует с мужчинами.

— Нет,— сказал он,— навряд ли.

Он знал, что говорит неправду, ибо был уверен в противном, и потому торопливо добавил:

— Ведь, кроме пенсии, есть еще и подходящий на-

лог. Все они говорят об этом — и кондуктор, который заходит к Лео вместе с фрау Гундаг, и другие. Но я тебе еще кое-что скажу.

— Что?

— Женщины не так боятся лишиться пенсии, как мужчины. Женщины говорят: «Ничего, перебьемся как-нибудь, живут ведь люди без пенсии». А вот мужчины и слышать об этом не хотят. Лео из себя выходит, когда мама начинает говорить с ним о замужестве.

— А моя мама сама злится, когда дядя Альберт говорит ей о замужестве.

— Вот как?

Генрих насторожился. Эти слова задели его за живое. Нет, он не хотел, чтобы дядя Альберт женился на матери Мартина.

— Вот как,— повторил он,— ты это точно знаешь?

— Сам слышал. Моя мать не хочет больше выходить замуж.

— Смешно,— сказал Генрих,— очень даже смешно. Все женщины, которых я знаю, только об этом и думают.

— И твоя мама тоже?

— А то как же! Она иногда говорит, что ей себя жалко. Да ведь это и безнравственно — так жить.

Мартин нехотя кивнул — это действительно было *безнравственно*. На мгновение ему даже захотелось, чтобы и его мать была «безнравственная» и чтобы все это знали. Тогда по крайней мере хотя в этом отношении он был бы ровней Генриху... и, чтобы утешить друга, он сказал:

— Может, и моя мама безнравственная? Как ты думаешь?

Генрих знал, что это на самом деле так, но подтвердить этого не стал. Слова Лео казались ему слишком уж ненадежным источником. Поэтому он ответил неопределенно:

— Может быть, только не верится что-то.

— Плохо, когда мы вот так не знаем чего-нибудь наверняка,— сказал Мартин.— Бабушка, например, часто говорит маме, когда она поздно приходит домой: «Где ты это все шляешься?» Это тоже безнравственно?

— Нет,— сказал Генрих.

Он был очень обрадован, что на этот раз может с уверенностью дать отрицательный ответ.

— Фрау Борусьяк своей дочке то же самое говорит, когда та приходит с гулянья, из кино или со спортивной площадки. Нет, шляться — это не безнравственно.

— Но почему-то кажется, что это так. Мама с бабушкой всегда долго шушукуются после этого.

— Пожалуй. Может быть, это иногда и безнравственно.

Мартин снова взял Вильму к себе на колени. Она засунула пальчик в рот и прижалась к его груди.

— Сожительствует ли моя мать с другими мужчинами или нет? В этом все дело! Если она сожительствует, то, значит, она безнравственная и нарушает шестую заповедь. Ведь она не замужем.

Генрих уклонился от прямого ответа.

— Да,— сказал он,— если мужчина и женщина сожительствуют, не поженившись, то это грешно, безнравственно.

После этих слов Генрих почувствовал себя легче. Полюнья стала шире, но вода подо льдом оказалась не столь уж глубокой. А все-таки странно, что мать Мартина не хочет выходить замуж. Это противоречило всему тому, что он видел и знал: фрау Гундаг хотела выйти замуж за друга Лео, кондуктора; и мать иногда робко говорила Лео, что пора им уже стать мужем и женой. Генрих знал, что мать Берендта часто плачет, потому что дядя, который живет у них, до сих пор не женится на ней. А хозяйка молочной лавки родила ребенка, а мужа у нее нет. Генрих слышал, как Лео сказал однажды: «Нет, Гуго на эту удочку не поймашь! Ни за что он на ней не женится».

У берега лед тонок, но вода здесь не очень глубокая — бояться особенно нечего.

Люди живут безнравственно и тут и там — и в глубине и на поверхности. Три мира знал Генрих Брилах. Первый мир — это школа: все, чему учили там, все, что говорил священник на уроке. И все это противоречило тому, что он видел в мире Лео, в мире, в котором он жил. Третий мир — мир Мартина — был совсем непохож на первые два. Это был мир холодильников, мир, где женщины не стремятся выйти замуж, а деньги не играют никакой роли. Три мира знал Генрих, но жить он хотел только в одном — в своем. И поэтому он решительно сказал, глядя на Мартина, который указывал засыпавшую Вильму:

— Знаешь, а слово, которое мама сказала кондитеру, вовсе не такое уж страшное.

На самом деле он считал его *очень страшным*, но ему вдруг захотелось раз и навсегда покончить со всеми недомолвками.

— Ты же, наверное, читал его не раз, внизу, на стене у лестницы.

Да, Мартин читал это слово и находил, что, когда видишь его написанным, оно еще отвратительней, чем тогда, когда его произносят. Но он просто старался не замечать его, как не замечал мясников, тащивших в лавку окровавленные телячьи туши, как не замечал *кровь в моче*, которую ему совали прямо под нос. Точно так же он не стал смотреть на Гребхак и Вольтерса, случайно наткнувшись на них в кустах... Густо покрасневшие лица, расстегнутые штаны, горьковатый запах свежей зелени.

Он не откликнулся на слова Генриха и лишь крепче прижал к себе уснувшую Вильму. Ребенок согрелся во сне и отяжелел.

— Вот видишь,— сказал Генрих,— у нас такие слова пишут на стенах, у нас их говорят, а у вас — нет. Тут уж ничего не поделаешь.

Но лед выдержал и на этот раз, хотя он сказал неправду. Он считал это слово *очень плохим*, а сказал, что не видит в нем ничего страшного. Ему вспомнился святой Иосиф на картинке. Добрый кроткий человек с белым лицом: «Да будет он вам примером». Добрый человек с белым лицом, ты видел когда-нибудь дядю Лео? И где мне найти тебя? Святой Иосиф стоит где-то там, глубоко подо льдом. Он неподвижен и лишь иногда оживает на мгновение и безуспешно пытается выплыть наверх. Но толщу льда ему не пробить! Да если и прорубить лед, его все равно не вытащишь. Он растает, наверное, или вновь уйдет в глубину, навсегда останется там, на дне, и только изредка беспомощно помашет рукой, он бессилен против Лео. И у святого Генриха, его ангела-хранителя, такое же смиренное лицо, но только построже. В соборе стоит его каменная статуя. Настоятель подарил ему как-то фотографию этой статуи. «Бери с него пример!»

— Знаешь, кто пишет на стене это слово? — твердо проговорил он, повернувшись к Мартину.— Лео! Теперь я убедился в этом.

Кирпично-красная рожа, пахнувшая одеколоном.

Он поет какие-то странные песни на мотив церковных псалмов. Слов не разобрать, но это уж, наверное, что-то непристойное. Мама всегда сердится и говорит: «Прекрати, пожалуйста».

Мартин не отвечал. К чему? Все равно ничего не поправишь. Молчал и Генрих. Он решил отказаться от намеченной поездки за город. Незачем ходить по тонкому льду — того и гляди провалишься. Это чувство никогда не покидало его даже в Битенхане — у дяди Вилля и матери Альберта, где они часами играли в футбол, и дядя Альберт тоже играл с ними, где они удили рыбу, ходили через долину Брера к плотине. Ярко светит солнце, ни забот, ни хлопот, чего еще нужно, казалось бы? А на душе беспокойно, предчувствие чего-то неизбежного, что разрушит эту радость. После Пасхи Мартин окончит начальную школу и поступит в гимназию. Он боялся даже думать об этом. Вильма что-то бормотала во сне, на полу остались разбросанные игрушки и открытая хрестоматия. Святой Мартин на вороном коне мчится сквозь метель, золотым мечом он рассекает свой плащ пополам, чтобы половину отдать нищему, — нищий очень жалок: нагой, костлявый старик среди снежных сугробов.

— Слушай, тебе надо идти, — сказал Генрих, — дядя Альберт просто с ума сойдет.

Мартин не ответил, он задремал. Усталый и голодный, он все же не хотел идти домой. И не потому, что боялся Альберта, а потому, что сам поступил по-свински и ему было стыдно.

— Эх ты, — сказал Генрих. На этот раз он говорил, не важничая, как обычно в таких случаях, а тихо и с грустью. — Дрянь ты! Если бы у меня был такой дядя, как Альберт...

Голос его задрожал, и он замолчал, с трудом сдерживая слезы. Если бы Альберт был его дядей... Вот открывается дверь, и входит Альберт в форме кондуктора. Его легко можно представить себе в этой форме. И он наделяет Альберта, помимо достоинств, свойственных ему, всеми привлекательными чертами Герта и Карла. Наверное, он не постеснялся бы сказать «дерьмо» — слово, оставшееся в наследство от Герта. Это слово не совсем к лицу дяде Альберту, но в его устах оно звучало бы добродушно, без злобы.

Стало совсем тихо. Только где-то высоко жужжал самолет, тянувший за собой по небу свой длинный

шлейф: «Готов ли ты ко всему?» — и вдруг опять запела фрау Борусьяк. Она пела свою любимую песню. Протяжная мелодия, полная нежной грусти: «Не оставь нас, Дева пресвятая». Голос стекал сверху медленно, капля за каплей, как густой душистый мед.

Добродетельная героиня, — она отказалась от пенсии, чтобы жить по закону. Пышная белокурая красавица обрела наконец тихую пристань. Всегда у нее в кармане конфеты, медовые карамельки для ребятисшек. «Не покинь в сей юдоли скорбей», — пела она. А на улице по-прежнему было тихо, только где-то совсем далеко жужжал самолет.

— В понедельник мы все-таки пойдем в кино, как уговорились, — не открывая глаз, сказал Мартин, — если твою маму не отпустят с работы, Больда посидит с девочкой.

— Ладно, — ответил Генрих, — ведь мы с тобой договорились.

Он все хотел сказать, что не поедет за город, но никак не мог решиться. Очень уж хорошо было в Битенхане, хотя он и знал, что будет робеть там, чего дома с ним никогда не случалось. Но там, в третьем непонятном мире, Генрих всегда робел. Школа и дом существовали как-то вместе. Даже церковь пока могла существовать рядом с домашним миром. Ведь он еще не стал безнравственным, не совершил ничего постыдного. Впрочем, он робел и в церкви, но эта робость была иной, это было твердое сознание, что здесь-то уж наверное добром дело не кончится. Слишком много вещей скрыто в глубине, и лишь очень немного остается на поверхности.

«В юдоли скорбей» — лучше не скажешь. Хорошо поет фрау Борусьяк.

— В «Атриум» ходить не стоит, — сказал Мартин, — картина там какая-то дурацкая.

— Как хочешь.

— А что идет в «Монте-Карло»?

— Туда сейчас не попадешь, — ответил Генрих, — детей до шестнадцати лет не пускают.

Полураздетая красотка, пышная и белокурая — ни дать ни взять фрау Борусьяк в ночной сорочке. Смуглый, подозрительного вида верзила слишком уж пылко обнимает ее. Над парочкой надпись: *Остерегайтесь блондинок*, а под грудью у нее наклеена красная по-

лоска, словно петля наброшена на красотку и ее смуглого верзилу — *дети до 16 лет на сеансы не допускаются.*

— Тогда в «Боккаччо»?

— Посмотрим, в пекарне висит сводная афиша.

Ничто не нарушало тишины, лишь стены дома дрожали вместе с мостовой, по которой непрерывным потоком шли машины. А когда мимо проезжал тяжелый грузовик или автобус — здесь ходил тридцать четвертый, — тихонько дребезжали оконные стекла. «В юдоли скорбей», — пела фрау Борусьяк.

— Ну, теперь беги домой, — сказал Генрих, — не будь таким гадом.

Мартин и сам понимал, что виноват. На душе у него кошки скребли. К тому же он страшно устал. Не отвечая, не открывая глаз, он неподвижно сидел у стены.

— Я сейчас зайду за мамой в пекарню. Пошли вместе, раз уж не хочешь идти домой. Заодно посмотрим, что идет в «Боккаччо».

— А Вильма? Она уже уснула!

— Разбуди ее, а то ее вечером не уложишь спать.

Мартин открыл глаза. Святой Мартин в хрестоматии все еще скакал во весь опор сквозь ветер и снег. Сверкнул золотой меч; еще мгновение, и он рассечет плащ пополам.

«Приди, не оставь нас в беде», — пела фрау Борусьяк.

Генрих знал, что Лео ни за что не даст денег. Но он все равно сунет ему прямо под нос свои *расчеты*. Как приятно будет отомстить Лео за тот случай с «хищением». С Лео причитается еще по двадцать марок в месяц, да десять Генрих надеялся сэкономить. Если платить врачу ежемесячно по тридцать марок, он согласится лечить маму. Но остается еще задаток в триста марок. Куча денег, неприступная вершина. Тут разве только чудо поможет. Тогда пусть свершится чудо. Оно должно свершиться! Ведь мама плачет из-за этих зубов. Лео, разумеется, и пфеннига лишнего не даст. Будет скандал. Ну и пусть! Если уж нет другого отца, то пусть хоть дядя будет другой. Любой дядя лучше, чем Лео.

— Буди Вильму, пора идти.

Мартин осторожно растормошил девочку. Вильма проснулась.

— К маме,— тихо сказал Мартин,— хочешь к маме?

— А ты домой не пойдешь? — сказал Генрих.— Не будь же такой свиньей!

— Да отвяжись ты от меня,— отмахнулся Мартин.

Что ему делать дома! Мать уехала, Больда моет полы в церкви, а дядя Альберт,— так ему и надо,— пусть поволнуется. Он ведь всегда волнуется, когда Мартин вовремя не приходит домой. Лучше всех в доме, что ни говори, Больда и Глум. Надо обязательно подарить им что-нибудь: Глуму — масляные краски, а Больде — новый молитвенник в красном кожаном переплете и синюю коленкорovou папку, чтобы ей было куда складывать свои кинопрограммы. Матери ничего не стоит дарить и Альберту тоже: записочник несчастный! Тоже, как и мама, начал трижды подчеркивать эти злосчастные слова: «не мог», «должен был», «нельзя было».

— Проходи, дай дверь запереть,— сказал Генрих.

— Я останусь здесь.

— Тогда, может, Вильму с тобой оставить?

— Нет, бери ее с собой.

— Ну как хочешь. Если надумаешь уходить, положи ключ под коврик у дверей. Ну и свинья же ты, скажу я тебе...

Лицо его опять стало солидное, *денежное*.

Мартин промолчал. Генрих вышел, а он по-прежнему сидел на полу у стены. Он слышал, как на лестнице фрау Борусьяк что-то ласково сказала Вильме, поговорила с Генрихом, и все трое стали спускаться вниз по лестнице. Мартин остался совсем один,— даже фрау Борусьяк ушла, не будет ее песен. Впрочем, может быть, она пошла лишь в молочную напротив купить кефиру. Господин Борусьяк очень любит кефир.

Хорошо другим ребятам! Вот у Поске, например, мать всегда дома. Сидит и вяжет или шьет. Приходит Поске из школы — мама уже ждет его. Суп горячий, картошка поджарена и даже на третье всегда есть что-нибудь. Фрау Поске вяжет свитера и жилеты, шерстяные чулки с затейливыми узорами, шьет брюки и куртки. На стене у них висит увеличенная фотография отца Поске. Большой портрет, почти такой же, как папин портрет дома, в гостиной. Отец у Поске был обер-ефрейтором — веселый обер-ефрейтор с орденской колодкой на груди. Дядя Берендта и новый отец Греб-

хаке — все они лучше дяди Лео. Они почти как настоящие отцы. А дядя Лео самый скверный из всех. Вот дядя Альберт — это настоящий дядя, ведь он с мамой не сожительствоует. Генриху живется хуже всех, еще хуже, чем ему самому. Генриху приходится все подсчитывать, и дядя у него плохой!

Мартин стал горячо молиться:

— Боже, сделай так, чтобы Генриху жилось лучше!

Ему стало стыдно за то, что он разозлился на друга. Надо было сразу же спросить его, что он пишет. Боже, пусть Генриху живется лучше! Ему так тяжело. Мать у него *безнравственная*, но ему от этого не легче. У Берендта и Вельцкама мамы тоже *безнравственные*, но зато по крайней мере дяди хорошие, совсем как настоящие отцы, им подают яйцо на завтрак, они приходят с работы, надевают домашние туфли, читают газету. А у Генриха ничего этого нет, хоть мама у него и *безнравственная*. Ему за все приходится расплачиваться. Так сделай же, чтобы ему жилось лучше! Ему так тяжело! Он целыми днями подсчитывает, экономит, а Лео не платит за маргарин, не платит за яйца и за хлеб. И на обед он слишком мало дает. Плохо живется Генриху. У него в самом деле так много забот, и все, что он делает, так важно, стоит ли обижаться на то, что иногда он напускает на себя важный вид.

Мартин не прочь был съесть еще один бутерброд, но ему вдруг стало стыдно за то, что он вообще ел бутерброды у Генриха. Боже, сделай, чтобы ему жилось получше! Мартин вспомнил, как бабушка расплачивается за ужин в погребке у Фовинкеля. Он как-то раз заглянул в счет. 18 марок 70 пфеннигов. Мартин встал и взял со стола листок с цифрами. В правом углу было написано: зубной врач — 900 марок, слева столбиком:

пособие 150 марок.

страховка — 100?

аванс — ???

остаётся достать — ???

Листок был исписан вдоль и поперек. Там были целые примеры на умножение и деление. «500:100××40 — маргарин» и рядом «хлеб, уксус», дальше какие-то каракули и потом снова разборчивым почерком: «До сих пор мы расходовали 28 марок в неделю, как быть дальше??»

Мартин снова уселся на полу у стены. 18 марок

70 пфеннигов заплатила бабушка кельнеру. Он вспомнил треск отрываемого чека. Ему стало страшно: деньги надвигались на него, приняли осязаемую форму. 28 марок в неделю и 18 марок 70 пфеннигов за один только ужин. Боже, пусть Генриху живется лучше!

Внизу во дворе к дверям столярной мастерской подъехал автомобиль. Он догадался, что это Альберт. И тотчас же услышал его голос: «Мартин!»

По лестнице поднималась фрау Борусьяк. Значит, она ходила в магазин напротив за кефиром для мужа и за конфетами для ребятишек.

Со двора снова донесся голос Альберта: «Мартин!» Он звал его негромко, и голос у него был робкий, почти умоляющий: это испугало Мартина больше, чем резкий окрик.

«Приди, о Дева Мария», — голос фрау Борусьяк уже изливался сверху как мед — капля за каплей. Ласковый, нежный голос.

Мартин встал, подошел к окну и чуть-чуть приоткрыл его. Увидев Альберта, он испугался еще больше. Альберт весь как-то осунулся, постарел, и лицо у него было очень печальное. Рядом с ним стоял столяр. Мартин распахнул окно.

— Мартин! — снова окликнул его Альберт. — Иди сюда! Скорей!

Выражение его лица сразу изменилось, он улыбнулся, покраснел.

— Иду, иду! — крикнул Мартин.

Окно осталось открытым, и он услышал, как снова запела фрау Борусьяк: «Я выросла в краю зеленом, среди лесов, среди полей». Мартину вдруг все кругом показалось зеленым — и Альберт, и столяр рядом с ним, и автомобиль, и двор, и небо. В таком краю, наверное, выросла фрау Борусьяк.

— Иди же, детка, — еще раз позвал Альберт.

Мартин запихал книги в ранец, вышел из комнаты, запер дверь и положил ключ под коврик. В прихожей он опять увидел в окно, как за стеной разрушенного дома медленно, от окна к окну, плывет самолет. Он исчез за стеной, пламеневшей теперь в лучах заходящего солнца, показался снова, повернул к колокольне и развернул свой длинный шлейф. Мартин еще раз прочел надпись на зеленом небе: *Готов ли ты ко всему?*

А фрау Борусьяк все пела: «Я выросла в краю зеленом...»

Тяжело вздыхая, он спустился по лестнице и пошел через двор к машине. Столяр покачал головой и сказал ему вслед: «И не стыдно тебе?» А дядя Альберт ничего не сказал. Лицо его стало совсем серым, взгляд был усталый. Он взял Мартина за руку: рука его была сухая и горячая.

— Поехали,— сказал Альберт,— у нас еще целый час. Потом захватим Генриха. Он ведь поедет с нами? — Наверное, поедет.

Альберт пожал столяру руку, и тот еще раз кивнул им, когда они сели в машину.

Прежде чем включить скорость, Альберт снова молча взял руку мальчика. Мартин еще не пришел в себя. Он не боялся дяди Альберта, но его пугало что-то другое; а что — он не мог понять. Альберт был сегодня не тот, что всегда.

16

Как только вышел мальчишка-ученик, кондитер снова схватил ее руку. Он стоял у стола, напротив нее, и одну за другой подвигал ей готовые трубочки с марципановой начинкой. Ей оставалось лишь залить их шоколадом. В тот момент, когда она потянулась за новым пирожным, он схватил ее руку, и она не стала вырывать ее. Обычно она старалась поскорей выдернуть руку и говорила с усмешкой: «Отстань! Не поможет!» Но на этот раз она уступила и тут же испугалась, увидев, как сильно подействовала на него эта маленькая поблажка. Бледное лицо кондитера, с которого он успел стереть мучную пыль, потемнело. Серые глаза его словно остекленели на мгновенье, но потом вдруг за сверкали. Вильме стало страшно, она попыталась вырвать руку, но кондитер цепко держал ее. Ей никогда еще не доводилось видеть, чтобы у человека так сверкали глаза. В обычно мутных зрачках кондитера блестели теперь зеленые огоньки. Лицо его приняло шоколадный оттенок. Раньше слово «страсть» всегда вызывало у нее улыбку; теперь она поняла, что это такое, но было уже поздно.

Неужели она так привлекательна? Мужчины всегда считали ее хорошенькой; она знала, что до сих пор не подурнела, несмотря на большие зубы. Но еще ни у одного мужчины при виде ее не сверкали зеленым огнем

глаза, а лицо не набухало от прилива крови и не окрашивалось в густой шоколадный цвет. Кондитер наклонился и стал целовать ее руку пересохшими губами, быстро, неловко, по-мальчишески. При этом он бормотал что-то — слов она не могла разобрать. Казалось, он читает стихи на чужом языке — чарующие и непонятные.

Потом из потока слов выплыло наконец знакомое: «Счастье, счастье мое!»

Боже ты мой, неужели это для него такое счастье — подержать ее руку в своей? Какие у него сухие губы и какая тяжелая, потная рука.

А кондитер все бормотал свои непонятные стихи, и она вспомнила, что и раньше он так же нараспев восхвалял радости любви. Ей пришло в голову, что теперь уже нечего и думать об авансе. Вон какое у него лицо — что твой шоколад, а если еще денег попросить, да сразу тысячу двести марок... Перегнувшись через стол, он поцеловал ее руку у локтя, потом вдруг выпрямился, выпустил ее и тихо сказал:

— Шабаш. Кончай работу.

— Нет, нет,— поспешно сказала она и, схватив готовую трубочку, принялась выводить на ней кистью затейливый шоколадный узор.

— Почему же? — спросил кондитер, и Вильма удивилась: голос его звучал теперь уверенно, по-хозяйски.— Почему? — повторил он.— Пойдем лучше погуляем, зайдем куда-нибудь.

Глаза его по-прежнему блестели, он вдруг радостно засмеялся и сказал:

— Милая ты моя!

— Нет,— сказала она,— давай лучше поработаем.

Она не хотела, чтобы ее так любили,— это пугало ее. Герт ни разу не говорил ей о любви, даже муж и тот никогда не произносил этого слова: улыбающийся ефрейтор, улыбающийся унтер-офицер, улыбающийся фельдфебель, сгоревший в танке где-то между Запорожьем и Днепропетровском. Он лишь изредка писал о любви в своих письмах. Писать об этом еще куда ни шло, но говорить? Лео, наверное, и вовсе не знал этого слова, да так оно и лучше. Любовь показывают в кино, о ней пишут в романах, говорят по радио, поют в песнях. Только в фильмах у мужчин сверкают глаза, а лица от страсти бледнеют или окрашиваются в шоколадный цвет. Но ей все это ни к чему.

— Нет, нет,— повторила она,— давай работаты!

Он робко взглянул на нее, снова взял ее руку, а она снова позволила ему это. И все началось сначала. Словно контакт сработал — дали ток — и в глазах кондитера снова зажглись зеленые огоньки, лицо набухло и окрасилось в шоколадный цвет, он опять стал целовать ее пальцы, потом перегнулся через стол, поцеловал ей руку у локтя и, не отрывая губ от ее руки, снова забормотал свою певучую непонятную молитву: «Руки твои милые,— разобрала она,— счастье мое, дорога...»

Она улыбнулась, покачав головой, совсем как в кино, точно герой фильма — бледный, лысеющий, с опухшим, дряблым лицом. Шоколадная страсть, зеленоватое счастье и приторный, горьковатый запах разведенного шоколада. Его надо замешать покруче, иначе он будет стекать с кисточки и узор не получится.

Он выпустил ее руку, и некоторое время они работали молча. Больше всего ей нравилось украшать большие и плоские торты. Она наносила на них шоколад широкими мазками — места было много. Обмакивая кисточку в шоколад, она рисовала на свежем песочном тесте цветы, животных, рыбок. Тесто было желтое. Вильма вспомнила «домашнюю лапшу» на фабрике Бамбергера. Аккуратные желтые полоски, голубые коробки и ярко-красные купоны.

У нее были способности к рисованию. Это восхищало кондитера, как, впрочем, и все, что касалось ее. Несколько легких движений, и на желтом песочном тесте появлялись замысловатые узоры: круглые шоколадные шары, домики, оконца с занавесками.

— Да ты просто художница!

С тех пор как подмастерье сбежал из пекарни, комната наверху пустовала. Она была большая, светлая. Рядом в коридоре умывальник, чистая и теплая уборная, облицованная белым кафелем. А на плоской крыше — целый цветник, перила, увитые диким виноградом. Тихо, никаких соседей, в окно виден Рейн; трубы пароходов, заунывные гудки, зовущие вдаль, и далеко на горизонте — мачты с разноцветными флажками.

Дрожащими руками кондитер резал хрустящие песочные коржи, только что снятые с листа. Она брала у него из-под рук желтые ромбики, украшала их шоколадными узорами и рисунками. Потом он нама-

зывает их кремом изнутри и наслаивал на другие ромбики.

Она рисовала на них домики с дымящимися трубами, окна со ставнями, садик, обнесенный забором.

— Прелестно! — воскликнул кондитер, и глаза его опять заблестели.

Новый рисунок — кружевные занавески, антенна на крыше, на телеграфных проводах сидят воробьи, а наверху в облаках — самолет.

— Да ты просто художница!

За комнату он с нее дорого не возьмет. А может быть, и вовсе ничего! Рядом в коридоре — маленькая каморка, заваленная всяким хламом: коробки из-под печенья, бутафория, рекламные куклы из папье-маше: голубой поваренок с сухариками на подносе и серебристый кот, лакающий какао. На полу валяются рваные мешки, жестянки из-под карамели. Может быть, он разрешит убрать все это и поселить там мальчика? Она вымоет крохотное оконце, повесит красивую занавеску, — оттуда тоже виден Рейн и парк на набережной.

Кондитер снова забормотал, всхлипывая и не отрывая губ от ее руки. Одно только скверно — он хочет детей, тоскует без них, а с нее и своих хватит. Ведь он небось разведет целый детский сад в цветнике на крыше. Какие уж от него дети: чахлые заморыши. Но руки у них, как у него, будут большие, белые, с длинными тонкими пальцами. Года через три он пристроит Генриха учеником в пекарню. Вильма представила себе, как сын приходит с «работы», усталый, весь в муке. А утром, взяв большую корзину, он поедет развозить хлеб покупателям... Вот он слезает с велосипеда, прислоняет к дверям виллы бумажный пакет со свежими поджаристыми булочками или кладет их по счету в полотняный мешочек, висящий на стене...

Кондитер взял песочный корж и, положив его перед собой на чистый лист бумаги, намазал густым слоем заварного крема; потом сверху положил другой ромбик, который она уже украсила шоколадными узорами.

Подвинув к свету готовое пирожное, он воскликнул:

— В тебе настоящий талант пропадает!

...Она вставит себе новые зубы. Тринадцать белоснежных фарфоровых зубов, которые не будут шататься.

— Я говорил с женой, — тихо сказал конди-

тер.— Она не возражает против того, чтобы ты поселилась у нас наверху.

— А дети как же?

— Она не больно любит детей, это верно! Ну ничего, как-нибудь привыкнет!

Амазонка в коричневой вельветовой куртке. Холодная улыбка и неизменная песенка о храбром маленьком барабанщике, который шел впереди. Она действительно не возражала против этого — расчет ее был весьма несложен: пусть живет у них эта куколка, платить ей много не надо, она получает пенсию. Жильем и питанием пусть пользуется бесплатно, и если положить ей еще небольшое жалованье, она согласится работать и в пекарне и на кухне.

А сама амазонка раз и навсегда избавится от домогательств мужа. Он уже не раз грозил ей разводом: отказ от исполнения супружеских обязанностей — для суда этого вполне достаточно. Впрочем, она лишь презрительно улыбалась в ответ. Дом принадлежал ей, ему — только пекарня, а кондитер он превосходный, о разводе и думать нечего.

— К чему эти разговоры? Пусть все остается по-старому. Ведь я предоставляю тебе полную свободу.

Правда, если эта куколка переедет к ним — монастырские заказы отпадают. Хлеб и пирожные к торжественным трапезам будет поставлять другой кондитер. Но невелика потеря: у этой куколки золотые руки. Ее шоколадные рисунки просто очаровательны. Приплаты она не требует, работает быстро, легко. Детишки из-за этих пирожных просто передрались готовы. Еще бы: тут тебе и лакомство, и книжки с картинками, и все за ту же цену.

— Теперь у нас развязаны руки,— сказал кондитер. На этот раз он не прикоснулся к ней, но зеленые огоньки в его глазах зажглись и без «контакта».

...На крыше можно загорать; темные очки, шезлонг. А под вечер — на пляж. Хорошо! Слово сон наяву. Замечтавшись, она бессильно опустила руку с кистью. Внезапно погас свет. В подвале стало темно. Только над головой, на застекленных люках блестели два ярких солнечных блика, словно круглые прозрачно-золотистые плафоны, привинченные к потолку. Внизу все было погружено в серую мглу, все расплывалось в неясных тенях. Кондитер стоял у выключателя, прямо под солнечным лучом, игравшим на стекле люка. Серый

брезентовый нагрудник, серое лицо с блестящими, как зеленые светлячки, глазами. Зеленые светлячки медленно приближаются к ней, они уже совсем близко.

— Зажги свет! — сказала она.

Он подошел к ней вплотную. Она видела теперь его опухшее, несвежее лицо и худые сильные ноги.

— Зажги свет, — повторила она, — за мной сынишка должен зайти сегодня.

Он не двинулся с места.

— Я перееду к тебе, — сказала она, — но сейчас зажги свет.

— Я только поцелую тебя, — сказал он умоляющим голосом, — счастье мое, милые руки мои... только один поцелуй...

И кондитер, склонив голову, снова забормотал свои непонятные стихи, какие-то обрывки слов, искаженная до неузнаваемости песнь любви.

— Только поцеловать тебя, только раз...

— Ладно, но не сегодня, — сказала она, — зажги свет.

— Сегодня вечером, — робко попросил он.

— Хорошо, — устало сказала она, — теперь зажги свет.

Он метнулся к выключателю. Снова вспыхнул свет. Солнечные пятна на потолке потускнели. Серые и черные тени дрогнули, из мглы выплыли знакомые краски — заалели вишни на блюде, на полке блеснули густой желтизной лимоны.

— Значит, договорились, — сегодня вечером в девять в кафе на поплавке.

...Пароходы на реке, светящиеся гирляндами разноцветных фонариков. С берега доносится пение, смех, звуки банджо; ватаги парней и девушек заполнили парк на набережной. Знакомые мелодии Гарри Лайма звучат в зеленоватом полумраке аллеи. Мороженое в высоких серебряных бокалах, прямо со льда, с вишнями и сбитыми сливками.

— Хорошо, — сказала она, — я буду там в девять.

— Милая ты моя!

Они снова принялись за работу. Кондитер резал песочные коржи ромбиками, она рисовала на них шоколадные картинки, гирлянды фонариков, деревья, столики под навесом, бокалы с мороженым.

...Наверху даже ванная есть! Чистая, облицованная розовым кафелем. Горелка сделана по-новому —

запальник горит постоянно, спичек не надо. Зимой там всегда тепло. А зубы... тринадцать новехоньких белоснежных зубов.

...Вишневый торт был готов. Она принялась украшать ананасный праздничный торт, заказанный ко дню рождения какого-то Гуго Андермана. Кондитер протянул ей шприц с кремом, наклонился и поцеловал ее руку у локтя... Она оттолкнула его, укоризненно покачав головой, и стала осторожно выводить на торте кремом цифру «50», увитую лаврами и гирляндами цветов. Сверху в рамке из вишен появилась белоснежная надпись — Гуго, — а по краям торта — цветочный орнамент. На песочном тесте чередовались яркие цветы: роза — тюльпан — ромашка — роза — тюльпан.

— Прелестно! — воскликнул кондитер.

Он отнес готовый торт наверх в магазин. Она слышала, как он, смеясь, говорил что-то жене. Потом звякнула кассовая машина, и амазонка сказала: «Побольше неси таких — их просто из рук рвут». Кондитер вернулся, улыбаясь, стал нарезать ромбами коржи и подвигать их ей. Сверху из кондитерской доносился неясный гул, звонки и время от времени слышался голос амазонки, громко, нараспев говорившей покупателям «до свидания».

Лязгнула чугунная калитка, послышался голосок маленькой Вильмы, радостно кричавшей: «Сахар! Сахар!»

Она бросила кисть и выбежала в полутемные сени. Там стояли мешки с мукой, коробки для тортов, ручная тележка. Подхватив девочку на руки, она расцеловала ее, положила ей в ротик марципановую конфетку. Но Вильма вырвалась из рук, подбежала к кондитеру и закричала: «Папа!» Никогда она еще не называла его так. Кондитер поднял девочку, поцеловал ее и стал кружиться с нею по пекарне.

А в квадрате дверей появилось бледное хорошенькое личико Генриха, нахмуренное и серьезное. Но вот он нерешительно улыбнулся и сразу стал похож на отца: улыбающийся ефрейтор, улыбающийся унтер-офицер, улыбающийся фельдфебель.

— Что же ты плачешь? — спросил кондитер, подошедший сзади с горой печенья в руках.

— Я плачу... ты не понимаешь? — сквозь слезы промолвила она.

Он покорно кивнул, подошел к мальчику и, взяв его за руку, притянул к себе.

— Теперь все будет по-другому! — сказал он.

— Не знаю, может быть, — отозвалась она.

Нелла остановилась у входа в летний бассейн. Двери были закрыты. Она взглянула на черную грифельную доску, на которой мелом записывали температуру, воды: последняя запись была трехдневной давности: 12.IX — 15°.

Нелла постучала, но никто не ответил, хотя из-за двери доносились мужские голоса. Она прошла вдоль длинного ряда кабин, перешагнула через невысокую ограду из гнутых прутьев и остановилась в тени, у крайней кабины. Служитель сидел у себя, на застекленной веранде перед бассейном и наблюдал, как двое рабочих чинят решетчатый деревянный настил в душевых. Они как раз вытягивали клещами ржавые гвозди из трухлявого сырого дерева. На цементных ступенях, ведущих к веранде, лежали свежеструганные планки. Служитель укладывал в чемодан все свое нехитрое имущество: банки с кремом для лица, флаконы с ореховым маслом для ровного загара, надувных зверей, разноцветные мячи для водного поло и резиновые шапочки. Каждую шапочку он складывал вдвое и завертывал в целлофан. На полу были грудой навалены пробковые пояса. Служитель походил на старого учителя гимнастики. Взгляд у него был грустный, обезьяний. Да и двигался он вяло, нерешительно, словно усталая старая обезьяна, осознавшая вдруг, что ее обычные занятия совершенно бессмысленны. Несколько банок с кремом выпали у него из рук и покатались по полу. Постояв с минуту в нерешительности, служитель все же нагнулся и стал подбирать их. Лысина его поблескивала у самого края стола, то и дело исчезая, пока, наконец, он не выпрямился, держа банки в руках. Рабочие в душевой вставляли новые планки в настил и привинчивали их длинными шурупами. Шурупы отливали тусклой стальной синевой. От старых планок, валявшихся на земле, пахло гнилью.

Вода в бассейне была светло-зеленая, ярко светило солнце. Нелла вышла из-за кабины и увидела, как слу-

житель испуганно вздрогнул. Но потом он улыбнулся и открыл окно на веранде. Она подошла ближе. Служитель только и ждал этого. Не дав ей сказать и слова, он, улыбаясь, покачал головой:

— Не стоит, право, не стоит! Вода очень холодная!

— А сколько градусов сегодня?

— Не знаю.— Он махнул рукой.— Я уж и мерить перестал, все равно больше никто не ходит.

— Знаете, я все-таки рискну,— сказала Нелла,— сделайте одолжение, измерьте температуру воды...

Служитель явно колебался. Нелла пустила в ход свою улыбку, и он сразу отошел от подоконника. Порывшись в ящике стола, он достал градусник. Рабочие в душевой, как по команде, подняли головы, но тут же занялись своим делом. Теперь они выскребали ломиками грязь из водосточного желоба. Скользкое, зловонное месиво: пыль, пот, вода — гнилой осадок пляжного блаженства.

Нелла и служитель подошли к бассейну. Уровень воды опустился. На бетонной стене остался илистый зеленый след.

Служитель поднялся на площадку для прыжков и забросил в бассейн термометр на длинном шнурке.

Обернувшись, он, снисходительно улыбаясь, посмотрел на Неллу.

— Мне бы еще купальник и полотенце,— сказала она.

Он кивнул, подергал шнурок,— термометр медленно закружился в зеленой воде. Служитель был похож на учителя гимнастики: мускулистый, сухой, с квадратными плечами и узким стриженным затылком.

Напротив, на террасе летнего кафе, сидели люди. В зелени кустов, окружавших террасу, белели фарфоровые кофейники. Прошел кельнер с подносом. Он нес пирожное — белые завитушки крема на желтом бисквите. Маленькая девчушка, расшалившись, перелезла через изгородь, отделявшую кафе от купальни, и побежала по газону прямо к бассейну, туда, где стояла Нелла. С террасы донесся женский голос:

— *Не подходи так близко к воде!*

Нелла вздрогнула и посмотрела на девочку, которая, замедлив шаги, нерешительно приближалась к бассейну.

— Оглохла ты, что ли? — закричала мать.— Говорят тебе, *не подходи так близко к воде!*

— Пятнадцать градусов,— сказал служитель.

— Ну что же, вполне терпимо.

— Дело ваше.

Они медленно пошли назад к веранде. Навстречу им рабочий тащил фанерную дверь с цифрой 9.

— Там новые петли надо поставить,— бросил он на ходу своему напарнику. Тот кивнул.

В гардеробной служитель дал Нелле оранжевый купальник, белую резиновую шапочку и мохнатое полотенце. Оставив у него сумочку, она пошла в кабину переодеваться. Кругом стояла тишина. Нелле стало жутко. Привычные сновидения не возвращались. Рай не приходил или появлялся совсем не таким, каким она хотела бы видеть его. Она покинула мир своих снов, словно съехала со старой обжитой квартиры. Тщетно искала она знакомые дороги, по которым столько раз проходила во сне. Разорвана в клочья лента старого фильма, знакомые кадры меркнут на горизонте — даль втягивает, поглощает их, как сток всасывает грязную воду из ванны. Глухое бульканье, словно последний, сдавленный вопль утопающего, и вода, коротко всхлипнув, уходит в отлив. Точно так же исчезло все то, из чего были сотканы ее сны. Ей вспомнилась ванна после купанья, в теплом, душноватом воздухе аромат туалетного мыла, смешанный со слабым запахом газа; на стеклянной полочке над умывальником забытый помазок, весь в засохшей мыльной пене.

Пора распахнуть окно — душно! Но там за окном — скверный рекламный фильм, без настроения, без полутонов, серые, тусклые кадры. Так вот каковы они — убийцы! Мелкие карьеристы на жалованье! Они читают доклады о поэзии и давно забыли о войне.

— *Не подходи так близко к воде!* Слышишь ты или нет? — надрывалась на террасе мать.

По звуку ее голоса Нелла поняла, что она кричит с набитым ртом. Непрожеванная трубочка со сливочным кремом, слипшийся комок из крема и теста глушил властные переливы материнского голоса. Но вскоре мамаша закричала снова, на этот раз пронзительно и отчетливо:

— *Осторожно! Смотри, куда идешь!*

Противный ком подкатил к горлу. Грязная вода, всхлипнув, ушла в отлив: фильм кончился. Неестественная, надуманная концовка — голос Гезелера, его рука на ее плече, смертельная скука в его обществе. Вот они каковы, убийцы! Жеребчик за рулем, в голосе поганень-

кая казарменная похоть, лихо ведет машину — все, больше ничего не скажешь!

Мамаша окончательно расправилась с пирожным и кричала во весь голос:

— *Не балуйся! Что ты носишься как угорелая!*

Газоны давно не подметали. Повсюду валялись ржавые металлические пробки от бутылок из-под лимонада. Нелла вернулась в кабину, и чтобы согреться, надев на босу ногу туфли, быстро побежала к бассейну. Девчушка все еще стояла на траве между кафе и бассейном, а мать следила за ней, перегнувшись через перила, — бесформенная туша в цветастом платье.

Скользкие, обомшелые ступени вели к воде. Вдалеке, над кронами деревьев, за террасой кафе темнела крыша Брернихского замка. Над гребнем ее Нелла увидела на голубом фоне неба флаг христианского союза деятелей культуры: золотой меч, красная книга и синий крест на белом фоне. Флаг слегка колыхался на ветру.

Нелла сняла туфли, отбросила их на газон и медленно спустилась по ступенькам. Войдя в воду, она наклонилась и, черпая воду пригоршнями, стала лить ее на себя. Это успокоило ее. Вода оказалась не такой уж холодной. Она зашла глубже, сначала по колени, потом по пояс. Купальник намок, отяжелел, по коже струилась прохлада. Она наклонилась вперед, окунулась и поплыла, неторопливо вынося руки и сильно загребая. Она тихо смеялась от удовольствия — было так приятно рассекать зеленую гладь воды.

Смотритель по-прежнему стоял на площадке и, заслонившись ладонью от солнца, глядел на нее. Доплыв до противоположной стенки, она повернула назад и помахала ему рукой. Девчушка на лужайке сделала было еще один шаг к бассейну, но цветастая туша тотчас же заголосила:

— *Не подходи так близко к воде!*

Ребенок послушно остановился и переступал с ноги на ногу. Нелла перевернулась на спину и поплыла еще медленней. Она совсем согрелась. От чужого купальника слегка пахло илом. Где-то высоко в небе жужжал невидимый самолет, только широкий дымный след тянулся от него по небу. Дым, вначале густой и плотный, постепенно расслаивался, волокнистые облачка таяли, исчезали. Самолет так и не показался. Нелла попыталась представить себе летчика в кабине. Кожаный шлем, очки, угрюмо-сосредоточенное выражение на худощавом лице. Она

представила себя на его месте за штурвалом самолета... Где-то там внизу блестит озеро, крохотное, величиной с булавочную головку или побольше — с монету, и уж во всяком случае не больше циферблата ручных часов. Светло-зеленая рябь воды среди темных пятен леса. А быть может, озера оттуда и вовсе не видно. Самолет медленно, словно из последних сил тянет за собой тяжелый шлейф. Дымное облако желтеет, расплзается. Из последних сил ползет самолет по бескрайней голубой пустыне. Жужжание стихло — теперь он уже далеко, там, за лесом, на горизонте. След его почти растаял, а над крышей замка, где он начинался, исчезли уже последние дымки. А флаг по-прежнему четко вырисовывается на ярком голубом небе и слегка колышется на ветру. Золотой меч, красная книга и синий крест на белом поле — тщательно продуманное символическое сочетание.

Участники семинара сидят, наверное, за вечерним кофе. Они потрясены докладом Гезелера и, видимо, пришли к заключению:

— *Еще не все потеряно!*

Нелла еще раз медленно проплывает на спине к противоположной стенке бассейна. Струйки воды с шапочки бегут по лицу, она чувствует на губах горьковатый вкус болотистой воды и против воли снова тихо смеется. Купанье чудесно освежило ее.

Из леса выехал почтовый автобус. Сдавленно протрубил механический рожок, охрипший на бесчисленных поворотах лесных дорог. Улыбаясь, Нелла подплыла к берегу, вылезла из воды и еще раз взглянула на небо: дымный след самолета над лесом круто шел к земле и терялся за вершинами деревьев. Она повернулась и прошла мимо веранды в свою кабину. Служитель одобрительно улыбнулся. От деревянного настила в кабине шел тяжелый запах гнили и сырости — запах минувшего лета. Брусья покрылись белой плесенью, а на полу белый цвет переходил в грязно-зеленый. Желтая краска на фанерных стенах потрескалась, облупилась. Только в одном месте она блестела, как новая: яркое пятно, небольшое, величиной с блюдо. Поперек него шла карандашная надпись: «Если ты любишь женщину, то лишь она счастлива,— сам же ты несчастен».

Энергичный почерк. Владелец его, как видно, неглуп, тверд душой, но порой бывает и нежен. Таким почерком проставляют обычно отметки: «Хорошо», «Не-

удовлетворительно», или «Весьма посредственно» на школьных сочинениях о Вильгельме Телле.

— *Не подходи так близко к воде! Сколько раз тебе говорить?* — надрывалась мамаша. Голос был пронзительный, не сдобренный кремом. Нелла расплатилась со служителем, одарила его улыбкой, и он, ухмыляясь, взял у нее из рук мокрый купальник, полотенце и шапочку.

На дороге снова затрубил почтовый рожок, фальшиво и бодро. Нелла издали помахала рукой водителю и бегом пустилась к автобусу.

Водитель терпеливо ждал, открыв кожаную сумку с билетами.

— До Брунна,— сказала она.

— В центр?

— Нет, до Рингштрассе.

— Два тридцать,— сказал водитель.

Она дала ему на двадцать пфеннигов больше, сказав:

— Сдачи не надо.

Водитель закрыл дверь и нажал на руле кнопку сигнала. Еще раз протрубил почтовый рожок, автобус тронулся.

18

— Все это пора кончать,— сказал Альберт и взглянул на Мартина, словно ожидая от него ответа.

Мартин молчал. Изменившееся лицо Альберта пугало его. С Альбертом что-то случилось: его узнать нельзя, и Мартин не мог понять, он ли один виноват в этом и только ли к его поступку относятся последние слова Альберта.

— Пора кончать,— повторил Альберт.— Теперь мы будем жить по-новому.

Он явно ждал ответа, и Мартин робко спросил:

— Как это «по-новому»?

Но в этот момент они подъехали к церкви. Альберт затормозил, вылез из машины и сказал:

— Посиди здесь, я зайду за Больдой.

Мартин знал, что Альберт просто с ума сходит, когда он где-нибудь задерживается, и мысль о том, что по его вине дядя Альберт четыре часа волновался, искал его по всему городу, теперь не давала ему покоя. Мартин догадывался, что Альберт жить без него не мо-

жет, но сознание своей власти над ним не радовало, а, напротив, угнетало его. С ребятами, у которых были настоящие отцы, этого не случилось. Отцы не волновались и не теряли голову, если сыновья их не приходили вовремя домой. Они без долгих разговоров задавали им вечером хорошую трепку, а то и без ужина оставляли. Наказание хотя и строгое, но вполне понятное. Однако Мартин вовсе не желал, чтобы Альберт задал ему трепку. Он ждал от него чего-то другого, хотя и не мог выразить это словами, не мог даже в мыслях ясно представить себе, чего он хочет. Были слова, значение которых Мартин толком не понимал, но они вызывали у него вполне определенные мысли и представления. Думая о *безнравственном*, Мартин всегда представлял себе огромный зал, и в нем целую толпу знакомых ему женщин. Тут были все — и *порядочные* и *безнравственные*. Они словно выстроились в две шеренги. Первой в ряду *безнравственных* стояла мать Генриха, а *порядочных* возглавляла фрау Борусьяк; она была для него воплощением нравственности. За ней шла фрау Поске, потом фрау Ниггемайер. А его мама была где-то посредине, у нее в этом зале не было определенного места. Она металась между матерью Генриха и фрау Борусьяк, словно персонаж из мультипликационного фильма.

Мартин уставился на дверь ризницы, думая о том, похож ли Альберт вообще на отца. Он решил, что не похож. По-отечески выглядели старый учитель, столяр и, пожалуй, Глум. Но Альберт... В братья он тоже не годился. Больше всего ему подходило быть «дядей», но и от обычного «дяди» он чем-то отличался.

Было уже около пяти. У Мартина голова кружилась от голода. К шести они собирались ехать в Битенхан. Мартин подумал о том, что дядя Вилль давно уже достал удочки, опробовал их одну за другой, накопил червей и теперь, наверное, чинит сеть на лужайке у самодельных футбольных ворот. Потом он привяжет сеть проволокой к колышкам, вбитым в землю, и, сияя от удовольствия, побежит в деревню сколачивать команду из тамошних ребят. Так что играть можно будет пять на пять, как всегда.

В дверях ризницы показались Альберт и Больда. Мартин перебрался назад, а Больда уселась рядом с Альбертом. Она повернулась и, притянув к себе Мартина, потрепала по щеке, взъерошила ему волосы. Ее

холодные, влажные пальцы пахли щелоком и мылом. От постоянного мытья полов тонкие руки Больды набрякли, покраснели, на кончиках пальцев появились белесые ямочки.

— Ну вот видишь,— сказала Больда,— никуда он не делся. Зря ты волновался. Лучше бы отшлепал его как следует — это ему очень полезно!

Она рассмеялась, но Альберт снова повторил, покачивая головой:

— По-новому будем жить!

— Как «по-новому»? — робко переспросил Мартин.

— Ты переедешь в Битенхан, там окончишь начальную школу, а потом поступишь в Брернихскую гимназию. Я сам тоже буду жить там.

Больда беспокойно заерзала на кожаном сиденье.

— Это еще зачем? — сказала она.— Мне даже подумать страшно, что в доме не будет ни мальчика, ни тебя: тогда уж бери и меня с собой, я коров умею доить.

Альберт ничего не ответил. Проехав по аллее до перекрестка, он на малой скорости свернул на Гельдерлинштрассе. Мартин думал, что он остановится у церкви, но они поехали дальше по Новалисштрассе до поворота на Рингштрассе. Альберт прибавил газ; промелькнули бараки городской окраины, потянулись сжатые поля. Вдалеке уже виднелась роща. Альберт ехал к старой крепости.

Больда украдкой посматривала на него.

На опушке Альберт остановил машину.

— Посидите здесь,— сказал он,— я скоро вернусь.

Выйдя из машины, он пошел сначала по дорожке, которая круто спускалась к воротам старого форта. На полпути Альберт неожиданно свернул в сторону и стал взбираться вверх по кособогу. Кусты скрыли его, но вскоре голова Альберта снова показалась над стеной низкорослого кустарника. Он вышел на небольшую расчищенную полянку, в центре которой высился старый могучий дуб. Постояв немного у дуба, Альберт сбежал по крутой насыпи прямо к воротам крепости.

— Не уезжай,— не оборачиваясь к Мартину, тихо сказала Больда,— или возьми и меня с собой.

Голос ее дрожал, она чуть не плакала, и Мартину стало страшно.

— На кого же ты нас оставишь? Хоть бабушку пожалей!

Мартин не ответил, он увидел, как на дорожке,

словно из-под земли, появился Альберт. Он быстро подошел к машине.

— Вылезай,— сказал он Мартину,— я хочу показать тебе кое-что.

— А ты можешь здесь подождать, если хочешь,— добавил он, обращаясь к Больде.

Но Больда молча вылезла из машины, и они втроем пошли по асфальтированной дорожке вниз к воротам крепости. Мартину было не по себе. Он несколько раз приходил сюда с Генрихом и другими ребятами. Именно здесь, в кустах, он наткнулся на Гребхаке и Вольтерса, которые делали что-то бесстыдное. От дома до крепости было с полчаса ходьбы. Ребятам очень нравилось играть в пересохшем рву, окружавшем форт.

Внизу, у крепостных стен, Рейн не был виден. Из-за вала торчали лишь мачты пароходов с разноцветными флажками. Зато с крыши форта открывался чудесный вид на Рейн. Был виден и мост, разрушенный во время бомбежки. Над гладью воды дико громоздились искореженные стальные балки.

У самого берега — красный гравий теннисных кортов, суetyащиеся белые фигурки игроков. Иногда оттуда долетают крики, смех, возгласы судьи, восседающего на маленькой вышке. Мартин бывал здесь редко: Альберт боялся отпускать его одного так далеко.

Теперь он шел, с беспокойством поглядывая на Альберта, который, видимо, привел его сюда не без умысла. На дорожке под насыпью было тихо, как в ущелье. Но у крепостных ворот они сразу услышали смех и крики детей, игравших на крыше форта.

— *Не подходи так близко к краю!* — раздался голос одной из мамаш.

На крышу вела лестница, начинавшаяся тут же у ворот. Ступени ее недавно отремонтировали, залили бетоном. Массивные чугунные ворота были выкрашены в черный цвет. На широкой крыше разбиты клумбы, цветут розы, журчит фонтан. По краям крыши две площадки, обнесенные невысокой стеной. Там высажены молодые липки, а если взобраться на стену,— Рейн виден как на ладони.

Мартин взбежал было вверх по лестнице, но Альберт остановился у ворот и позвал его назад. Больда вдруг сказала Альберту:

— Пожалуй, я пойду подожду в машине. Ты грибов хочешь купить?

— Нет,— ответил Альберт,— я только хочу показать Мартину каземат, в котором когда-то три дня держали его отца.

— Так это здесь было? — спросила Больда.

Альберт кивнул, и Больда поежилась, словно от холода. Потом она молча повернулась и пошла назад по дорожке.

Пока Альберт барабанил в ворота, Мартин прочел черную надпись на желтой вывеске: «Жорж Балломэн. Парниковые шампиньоны».

— Здесь убили Авессалома Биллига,— сказал Альберт,— человека, который написал портрет твоего отца.

Мартину стало страшно. Из каземата шел густой тяжелый запах — пахло навозом, сыростью темного погреба. Наконец заскрипели ворота и появилась какая-то девушка с перепачканными в земле руками. Она жевала соломинку. Увидев Альберта, девушка протянула разочарованным тоном:

— А я думала, навоз привезли.

Убили?.. Убивали в кино, в детективных романах и еще в Библии: Каин убил Авеля, а Давид — Голиафа. Мартину не хотелось идти в страшный темный погреб, но Альберт крепко держал его за руку. В подземных галереях царил полумрак. В казематах крыша была сделана из толстого полупрозрачного стекла — с потолка там брезжил серый свет. Кое-где по стенам тускло горели электрические лампочки, прикрытые картонными абажурами. Они освещали высокие грядки, как бы срезанные под косым углом. Грядки слоились, как пирожные; отдельные слои резко отличались друг от друга. В самом низу был слой земли, перемешанный с навозом, выше — зеленовато-желтый слой навоза, и потом — снова земля, но уже более темная, почти черная. На некоторых грядках из земли наверху выглядывали чахлые белые уродцы-шампиньоны. Шляпки грибов были осыпаны землей. Сами грядки походили на пюпитры,— какие-то таинственные пульты, из которых сами собой вырастали белые рычажки; они напоминали кнопки на регистрах органа, но выглядели зловеще и загадочно.

Здесь убивали людей, здесь когда-то *наци* били и топтали сапогами его отца и дядю Альберта. Мартин не совсем ясно представлял себе, кто такие были эти *наци*. Он знал только, что Альберт говорит о них одно, а учитель в школе — другое. В школе самым ужасным грехом считали *безнравственность*, но ему самому мама

Генриха не казалась такой ужасной женщиной. Страшным было только то слово, которое она произнесла как-то. Альберт говорил, что ничего нет ужасней *наци*, а в школе их считали *не столь уж страшными*. По словам учителя, на свете было кое-что пострашней, не столь уж страшны *наци*, говорил он, как страшны русские.

Девушка с соломинкой во рту пропустила их вперед, а из дощатой кабинки у стены навстречу им вышел мужчина в сером рабочем халате и в полотняном картузе. Он курил сигарету, и казалось, что его круглое добродушное лицо дымится. Серые клубы табачного дыма таяли в полумраке.

— Вы привезли навоз? — зачастил он. — Вот чудесно! Навоз совсем пропал — нигде не достанешь.

— Нет, — сказал Альберт, — я просто зашел сюда на минутку с мальчиком. В крепости когда-то был концлагерь, и мы сидели здесь вместе с его покойным отцом, а одного нашего общего друга нацисты замучили здесь до смерти.

Человек в халате отпрянул, сигарета у него в губах дрогнула. Поглубже надвинув на лоб картуз, он тихо воскликнул:

— Mon Dieu !¹

Альберт заглянул в галереи справа и слева. Сырые мрачные стены с зияющими черными провалами дверей, и повсюду рядки, рядки — зловещие пюпитры с уродливыми белыми кнопками наверху. От рядков подымался легкий пар. Мартину почудилось, что от кнопок и рычажков в землю уходят невидимые провода. А там, глубоко под землей, таится смерть и ждет, пока кто-нибудь нажмет на одну из кнопок.

На гвоздике, вбитом в стену, висело несколько серых халатов, у стены девушка с вымазанными руками перебирала грибы, бросая их в большую корзину, стоявшую у ее ног, а через застекленную дверь кабины Мартин увидел какую-то женщину, выписывающую за столом счета. Волосы у нее были накручены на бигуди. Женщина старательно выводила авторучкой слова и цифры на узких полосках бумаги. На крыше какой-то мальчишка забарабанил палкой по стеклу парников. Из темноты коридора, как из пещеры, отозвалось гулкое эхо. Наверху пронзительно закричала одна из мамаш:

— *Осторожней! Слышишь: осторожней!*

¹ Боже мой! (фр.)

— Его втоптали в землю здесь, в одном из этих коридоров,— сказал Альберт,— труп так и не нашли.

Он вдруг свернул в одну из боковых галерей и потянул за собой Мартина. Вскоре он остановился у входа в темную нишу. Пюпитры с выпиравшими вверх уродливыми кнопками стояли там почти вплотную друг к другу.

— Запомни,— сказал Альберт,— здесь били твоего отца, топтали его сапогами, и меня здесь били: запомни это навсегда!

— Mon Dieu! — сказал человек в сером халате.

— *Что ты носишься как угорелый!* — снова закричала мамаша наверху.

Альберт протянул руку человеку в халате.

— Простите за беспокойство,— сказал он и повел Мартина к выходу.

У открытых ворот стояла малолитражка с прицепом — приехал поставщик навоза, которого здесь, судя по всему, ждали с нетерпением. Хозяин, радостно улыбаясь, бросился к нему. Суется и мешая друг другу, они отцепили тележку, доверху наполненную свежим дымящимся навозом, и покатали ее к воротам.

— Нелегко он мне достался,— сказал приехавший.

— Слушай, надо глядеть в оба, кто-то явно хочет подставить нам ножку в школе верховой езды.

Толкая перед собой прицеп, они скрылись в смрадном полумраке. Оттуда долго еще долетали отдельные слова: «Глядеть в оба», «конкуренты», «школа верховой езды»... Потом из форта вышла девушка с соломинкой во рту и закрыла ворота.

Мартину очень хотелось сбежать на крышу, к клумбам и к фонтану, посмотреть на Рейн. Неплохо было бы спуститься и в ров; там валяются на земле обомшелые куски бетона, а наверху у самого края растут старые тополя.

Но Альберт тянул его за собой вверх, мимо ворот по асфальтированной дорожке. У машины на насыпи сидела Больда и махала им рукой.

— *Что ты носишься как угорелый!* — снова закричала наверху одна из мамаш.

— *Осторожней! Смотри, куда идешь!* — подхватила другая.

— *Не подходи так близко к краю!*

Они молча сели в машину. На этот раз позади села Больда. От нее все еще пахло чисто вымытым полом.

Смешанный запах воды, щелока и нашатыря. Она всегда подливала нашатырь в ведро.

Мартин сел рядом с Альбертом и, посмотрев на него сбоку, снова испугался. За эти несколько часов Альберт словно постарел на много лет, стал таким же старым, как учитель, как столяр. Мартин догадывался, что в этом виноваты *наци*. Ему стало стыдно, что он так смутно представляет их себе. Он знал, что Альберт говорит только правду, и был уверен, что *наци* в самом деле очень скверные люди. Но так говорил только один Альберт, а против него множество людей, которые считают, что нацисты не столь уж страшны.

Альберт крепко, до боли, сжал его руку и сказал:

— Запомни это навсегда. И попробуй только забыть!..

— Нет, нет, я ни за что не забуду,— поспешно ответил Мартин.

Боль в руке там, где ее сжал Альберт, еще долго не проходила, и Мартин чувствовал, как все это врезается в его память — тяжелый запах, полумрак, навоз, странные попитры с кнопками, похожие на регистры органа, провода, уходящие в черную землю. Там убивали людей, и он запомнил это навсегда, как и ужины в погребке у Фовинкеля.

— Боже мой! — запричитала Больда за его спиной. — Не забирай ты от нас парнишку! Я все буду делать, что ты скажешь! Сил не пожалею, только оставь его дома!

— И Генрих тоже будет жить в Битенхане? — в свою очередь робко спросил Мартин.

Он представил себе Генриха в Битенхане, без его вечных хлопот, без дяди Лео, вспомнил, как Виль с улыбкой подвигает ему масленку, то и дело подкладывая в нее масло.

— Ему можно поехать со мной? — спросил он уже настойчивей. — Или я останусь там совсем один?

— Я буду с тобой,— ответил Альберт,— мало тебе этого? А Генрих будет приезжать к тебе в гости, когда захочет. Я всегда могу подвезти его на машине,— ведь я каждый день буду ездить в город по делам. Для вас двоих там места не хватит. Да и мать Генриха его не отпустит: он же помогает ей по хозяйству.

— Без Вильмы Генрих не поедет,— нерешительно произнес Мартин.

Он уже представил себе новую школу, незнакомых ребят. Он знал лишь несколько ребят из деревни — тех, с которыми играл в футбол.

— Как это «без Вильмы не поедет»? Почему?

— Лео бьет ее, когда никого нет дома. Она боится оставаться с ним одна и плачет.

— Нет, это невозможно,— сказал Альберт,— не могу же я в самом деле поселить у матери сразу троих детей! Пойми, ведь не можешь ты всю жизнь вместе с Генрихом жить!

Альберт переключил скорость и молча объехал вокруг евангелической церкви. Потом он снова заговорил, заговорил бесстрастно, как служащий справочного бюро. Он делился чужой премудростью, скучно, без воодушевления, словно выдавал бесплатную справку. Текст справки раз и навсегда утвержден, и в голосе служащего полное безразличие.

— Когда-нибудь тебе все равно придется с нами расстаться, и со мной, и с мамой, и с Генрихом. А Битенхан ведь не на краю света! Тебе там будет лучше.

— Мы сейчас заедем за Генрихом?

— Нет, позднее,— сказал Альберт,— сначала надо позвонить твоей маме, потом заедем домой, заберем твои вещи, все, что тебе понадобится на первое время. Да перестань же ты хныкать! — сердито добавил он, обращаясь к Больде.

Но Больда продолжала плакать, и Мартина пугали ее слезы. Они поехали дальше. Воцарилось молчание, и слышно было только, как всхлипывает Больда.

Нелла закрыла глаза, снова открыла их, потом еще и еще раз, но наваждение не исчезало. По аллее вереницей тянулись теннисисты. Они шли группками по двое, по трою. Молодые актеры в отутуженных белых брюках — все сплошь первые любовники. Казалось, режиссер проинструктировал их в последний раз, напомнил о том, что у церковной паперти, напротив дома возлюбленной, неуместно пересчитывать деньги в портмоне, и теперь пропускал их по очереди перед объективом кинокамеры. Они бодрым шагом шли по аллее, в зеленоватом тенистом сумраке. Ходячие стебли спаржи! Словно целая процессия спаржевых человечков двигалась по заранее установленному маршруту. Стебельки обходили вокруг церкви, пересекали улицу и скрывались

в воротах парка. Мерещится ей все это, что ли? Или теннисный клуб дает сегодня в парке банкет? На матч это, во всяком случае, не похоже. Когда идет матч, с кортов непрерывно доносятся глухие удары, упруго ударяются о землю серые резиновые мячи.

...Ярко-красный гравий кортов, восклицания, смех, звон стекла у буфетной стойки, уставленной бутылками с лимонадом, а дальше за обрывом движутся мачты невидимых кораблей с пестрыми флажками. Словно чья-то невидимая рука управляет ими из-за кулис, тянет их вдоль сцены, и они исчезают на горизонте, в клубах черного дыма.

Нелла попробовала считать стебли спаржи, дефилировавшие по аллее, но вскоре ей это надоело. Дойдя до двадцати, она сбилась со счета. А они все шли и шли, смеялись, разговаривали друг с другом. Резвые стебельки спаржи,— все одинаковой величины, одинаково белые и одинаково тонкие. Спаржевые фантомы, весело улыбаясь, спускались от виллы Надольте, и в конце концов Нелле пришлось примириться с тем, что это не сон и не игра больного воображения. Тщетно пыталась она отогнать от себя это наваждение — ничто не помогало. Серой машины Альберта нигде не было видно. А прежние видения не возвращались. Рай не появлялся больше в аллее. Раньше ей почти всегда удавалось увидеть его, когда она этого хотела.

...Серебристо-серые стволы акаций покрывались вдруг ядовито-зелеными полосами. Ржавые мшистые пятна расползались по земле там, где скапливалась в вымоинах дождевая вода. Потом полосы на стволах чернели, будто их только что смазали дегтем. Шумела покрытая пылью листва, и в аллее появлялся Рай: он шел к дому от трамвайной остановки. Смертельно усталый, в безнадежном отчаянии, он все же шел домой, к ней. Прежние видения больше не возвращались, зато шагающие стебельки были вполне реальны. Нелла еще раз убедилась в этом, когда аллея опустела. Призрачная процессия окончилась самым обычным образом, чем и доказала свою реальность. А Рай так и не появился в аллее. Теперь оставалось только закурить сигарету да ухватиться покрепче за петлю из золотой парчи на гардине, чтобы не упасть. Ей почудилось, что она вновь слышит насмешливое эхо: ...арод, ...одина... эхо, не терпевшее лжи, тяжким проклятьем легло оно ей на плечи. Оказывается, и фабрика стандартных солдатских вдов

выпускает иногда бракованную продукцию, даже хахаля не удосужилась себе завести.

Клубы табачного дыма неподвижно висят в воздухе между стеклом и гардиной; она голодна, но ее мутит при одной мысли о том, что придется идти на кухню. Там стоит немытая посуда — грязные тарелки, чашки, кастрюля с засохшей коркой на дне; на блюдцах в лужайках кофе плавают окурки — все говорит о том, что обедали наспех, кое-как. Альберт не возвращался. Дом зatih, словно вымер, даже матери и той не слышно.

Проезжая Битенхан, Нелла надеялась увидеть из окна автобуса серый «мерседес» у дверей знакомого дома. Но машины там не было. Вилль, вооружившись молотком и зажав в зубах гвозди, чинил самодельные футбольные ворота на лужайке, белье с веревки уже сняли. Из «живописной долины Брера» дул свежий ветерок. У порога стояли зеленые ящики с пивными бутылками, а мать Альберта расплачивалась с мальчишкой из мясной лавки. Улыбаясь, она взяла у него из рук сочный красный окорок, и по сияющей физиономии подростка можно было догадаться, что ему хорошо дали на чай.

Но и дальше по пути Нелла нигде не заметила машины Альберта. Потом за окном автобуса потянулись городские окраины, и еще раз бодро протрубил механический почтовый рожок...

...Снова эхо минувшего забормотало где-то совсем рядом: ...юрер, ...арод, ...одина. Обезглавленная лож обрушивалась на нее словно проклятье. Казалось, с тех пор прошла уже тысяча лет. Целые поколения, поклонявшиеся этим идолам, давно истлели в земле. Три слова, всего лишь три исковерканных слова, но в жертву им принесены миллионы людей, сожженных, растоптанных, расстрелянных, удушенных в газовых камерах...

Вилла Надольте выплюнула в опустевшую аллею новую порцию спаржи. Пять одинаковых стебельков, белых и тонких, — это замыкающие праздничное шествие запасные игроки. Обогнув церковь, они как по команде повернули налево, пересекли улицу и исчезли в воротах парка.

Хорошо заехать иногда в гости к патеру Виллиброрду, вновь услышать его приятный, все разъясняющий, успокаивающий, убаюкивающий голос, голос, навевающий старые сны. Шурбигель — и тот иногда успокаивает. Он как услужливый парикмахер поставит теплый

компресс, сделает успокоительный массаж, — одним словом, осчастливит. Приятно, не правда ли? Что же, во всяком случае приятней, чем слушать заунывное пение монахинь в монастыре. Они поют, не сводя глаз с распятия. Хорошо им молиться: Альберт уладит все суетные мирские дела — проверит отчетность, составит счета. Благодарные монахини угощают его кофе с монастырским тортом, присылают трогательные подарки к праздникам: цветы из монастырского сада, крашеные яйца на Пасху, анисовые коржики к Рождеству. А сами все молятся, молятся. В часовне полумрак, духота, на голубых занавесках черная тень оконной решетки.

Нет, ей решительно не удастся убедить себя в том, что беседа с Виллибордом приятна. Страшно представить себе, что придется когда-нибудь снова слушать Шурбигеля. Рассеялся уютный полумрак дамского салона, и в резком свете юпитеров появилась физиономия Гезелера. Они все на один покрой — эти молодчики «не без способностей», словно пиджаки из магазина готового платья: износился один — не беда, всегда можно купить другой. Вот они какие — убийцы! В них нет ничего ужасного, такие не приснятся в ночном кошмаре, и для хорошего фильма они тоже не годятся. Место их — в скверных рекламных фильмах, снятых при неумелом «лобовом» освещении. Так они и кочуют из одной кинорекламы в другую, эти жеребчики за рулем.

И снова она услышала эхо. Стены часовни не пропустили лживых слов, отсекали у них начальные буквы и, обезглавив, выбросили прочь.

В опустевшей аллее появился белокурый мальчонка на самокате. Красный самокат мелькал между деревьями. Запасы спаржи, видимо, пришли к концу.

В дверь постучали, и Нелла, вздрогнув, машинально сказала:

— Войдите!

Увидев лицо Брезгота, она сразу поняла, что сейчас произойдет. Смертная тоска наложила печать на это лицо, как некогда на лицо Шербрудера. Оно, как зеркало, отражало ее всесильную улыбку.

— Да, да, войдите, — повторила она.

— Брезгот, — представился вошедший. — Я ждал Альберта в саду.

Нелла вспомнила, что где-то уже встречала его.

— Мы, кажется, знакомы? — сказала она.

— Да. Помните загородную прогулку летом?

Он подошел к ней.

— Ах да, верно,— сказала она.

Он подошел к ней почти вплотную. Смертная тоска на его лице проступила еще более явственно. Ее улыбка убила его наповал.

— Одно ваше слово, и я прикончу Гезелера!

— В самом деле?

— Убью на месте!

— Убивать Гезелера,— сказала она,— право, не стоит.

Почему эти отчаянные люди так плохо бредутся? Его колючая щетина оцарапала ей шею. Ей не хотелось разочаровывать его, но она не могла сдержать слез. Он прижал ее к себе, стал целовать. Они все ближе подвигались к кровати, и Нелла, пытаясь удержаться за что-нибудь, задела кнопку вентилятора. Мягко зашлепали резиновые лопасти, заглушив странные, глухие всхлипывания Брезгота. У нее мелькнула мысль: «Как мальчишка с девчонкой в заброшенном гараже, пытающиеся избавиться от страха и смертной тоски, но никогда не называющие это любовью».

— Оставьте меня, прошу вас! — сказала она.

— Мы еще встретимся? — спросил он рыдающим голосом.

— Хорошо, хорошо, но только потом, а сейчас уходите.

Она закрыла глаза, услышала шум удаляющихся шагов и ошупью выключила вентилятор. Но тишина была невыносима, и она снова включила его. Запах Брезгота словно прилип к щеке: солоноватый запах пота, смешанного с винным и табачным перегаром.

И бракованную продукцию фабрик стандартных солдатских вдов можно, оказывается, пустить в дело; ей, например, суждено избавиться от смертной тоски отчаявшегося небритого бродягу.

К дому подъехала машина. Она услышала голос Мартина, и никогда еще он не казался ей таким громким и чужим. Она слышала, как Мартин со всех ног побежал в комнату Альберта. Донесся смех Больды, голоса Брезгота и Альберта, и наконец она ясно услышала, как Брезгот сказал: «Нелла, то есть фрау Бах, уже дома». Она не сомневалась, что и без этих слов, по выражению его лица, Альберт это сразу понял.

Потом они стали пробовать мячи для пинг-понга.

Она слышала за стеной цоканье целлулоидных мячиков, ударявшихся об пол.

— А рубашки-то забыли,— закричал Мартин,— и учебники!

— Не волнуйся,— сказал Альберт,— я тебе все привезу.

Снова зацокали, ударяясь о пол, мячики, потом в дверь робко постучали, и сразу раздался сердитый голос Альберта:

— Не ходи туда, я же тебе сказал. Дай матери отдохнуть. Она потом придет к нам.

— Правда придет?

— Да. Я же сказал тебе?!

Нелла услышала, как перекатываются в коробке целлулоидные мячики, стучаясь друг о друга. Звук этот слабел, удалялся, но из сада он еще долетал к ней. Потом Брезгот сказал Альберту:

— Значит, ты решил ничего не предпринимать!

— Нет, ничего,— ответил Альберт.

Заработал мотор, шум его удалялся, и воцарилась тишина. Нелла была благодарна Альберту за то, что он ушел, не зайдя к ней, и не пустил в ее комнату Мартина. На кухне загрели тарелки: Больда принялась за мытье посуды и тихо, но ужасно фальшивя, пела: «От гибели спас он весь род людской».

Плеск воды, громохание посуды заглушали голос Больды, но вскоре Нелла снова услышала ее пение. «На него единого уповаем».

Заскрипели дверцы шкафа, щелкнул замок на кухне, и Больда, шаркая, медленно поднялась к себе наверх.

И только теперь в полной тишине Нелла услышала шаги матери. Она ходила по комнате взад и вперед, как узник в камере. А вентилятор по-прежнему тихо жужжал; Нелла совсем про него забыла. Она выключила его, но тут же ей показалось, что тишина душит ее, выжимает слезы из глаз. Нелла зарыдала.

Свидание в летнем кафе не состоялось: переезжать решили сегодня же.

В транспортной конторе заказали большой грузовик, и как вскоре выяснилось, совершенно напрасно. Пожитки фрау Брилах, переезжавшей к кондитеру, не

заняли и пятой части кузова. Под чехлами и цветной бумагой ее мебель в комнате имела «вполне приличный вид». Но на лестнице ничто не могло укрыться от всевидящего ока соседей, которые, покачивая головами, наблюдали за погрузкой. Переезд явился для них полной неожиданностью.

Рабочие вынесли ящик из-под маргарина, набитый игрушками, потом последовала кровать Генриха. Это, собственно говоря, была обычная дверь с приколочеными к ней деревянными брусками. Сходство с кроватью придавал ей лишь матрац из морской травы да остатки старой занавески, прибитые по краям. На машину погрузили два стула и старый стол... Сколько раз облакачивались на него Герт, Карл, Лео! Платяной шкаф заменяла доска с крючками, зажатая между стеной и буфетом и занавешенная клеенкой. Клеенка спасала одежду от пыли и водяных брызг. Более или менее пристойно выглядели только две вещи: сервант, выкрашенный под красное дерево — его купили два года назад, — и кровать Вильмы, которую подарила им фрау Борусяк: она больше не ждала детей. Приемник остался наверху у Лео — дверь у него была заперта на замок.

Восемь лет прожили они в этой комнате, много раз ремонтировали ее, белили потолок и стены. Но теперь, когда она опустела, ее убожество бросалось в глаза. Генрих ужаснулся: их вещи, такие привычные в комнате, на своих местах, превратились на улице в кучу рухляди, которую и перевозить-то не стоило. Кондитер стоял тут же и покрикивал на рабочих. Те с трудом удерживались от насмешливых замечаний по поводу всего этого хлама.

— Осторожней! Тут стекло! — воскликнул кондитер, увидев, как один из рабочих небрежно подхватил картонку с посудой.

На лице кондитера отражалась мучительная внутренняя борьба. Казалось, он сомневался, не слишком ли высокую цену приходится ему платить. Двое детей как снег на голову, и вся эта рухлядь у дверей его дома — стыда не оберешься.

Генриху велели успокоить Вильму, которая кричала, не закрывая рта, с тех пор, как незнакомый человек потащил куда-то ящик с ее игрушками.левой рукой Генрих держал за руку Вильму, в правой у него был ранец, в который наряду с учебниками, молитвенником и тетрадами он уместил и прочее свое «имущество»: отцовскую брошюрку «Что должен помнить автослесарь

перед сдачей экзамена на подмастерье», фотографию отца и несколько комиксов: «Призрак», «Тарзан», «Тиль Уленшпигель» и «Блонди». Там же лежала и фотография женщины, весившей когда-то семь пудов. Толстая женщина у виллы «Элизабет», названной так в ее честь; грот из вулканического туфа, в окне — мужчина с трубкой во рту и вдалеке на заднем плане — виноградники.

Бедность выступала все более явственно, по мере того как передвигали мебель и укладывали вещи. Но не только это пугало Генриха. Комната опустела с поразительной быстротой; это было не менее страшно. Не прошло и сорока минут, как все было кончено. На голых стенах выделялись лишь места, где обои не выцвели и хорошо сохранились; темно-желтые прямоугольники, окаймленные серым слоем пыли, остались на стене там, где висели фотография отца и репродукция «Тайной вечери», и напротив — там, где стоял буфет и была прибита доска с крючками. Мать вымела мусор из углов: осколки стекла, свалывшуюся в хлопья пыль, обрывки бумаги, какое-то загадочное черное вещество, заполнявшее все щели в полу. Кондитер опасливо провел пальцем по обоям, словно прикидывая, сколько времени не смахивали пыль, окаймлявшую темно-желтые прямоугольники на стене. Мать вдруг всхлипнула и швырнула на пол совок. Пытаясь успокоить ее, кондитер слегка обнял ее за плечи, осторожно погладил по голове. Но он нерешительно, словно с трудом, двигал руками, и выглядело это все не очень убедительно. Мать подняла совок и снова взялась за веник. Вильма кричала не переставая, то и дело порываясь выбежать из комнаты на поиски пропавших игрушек.

— Отведи ее вниз, бога ради,— сказал кондитер,— и коляску возьми.

Беспокойное, неуверенное выражение не сходило с его лица. Казалось, внезапность переселения, в которой он сам был повинен, теперь испугала его. В полпятого она позволила ему поцеловать ей руку у локтя, а в полседьмого — уже переезжала к нему.

Пора было трогаться, погрузка окончилась: вещи не заняли и пятой части кузова. Рабочие сидели внизу на подножке грузовика, поглядывали наверх и то и дело свистели, поторапливая хозяев.

Генрих смутно помнил, что давно когда-то им довелось переезжать с квартиры на квартиру. Промелькнули обрывки воспоминаний: холод, дождь, детская коляска,

заляпанные грязью транспортеры и грузовики, мать режет буханку хлеба, которую кто-то словно случайно сбросил им с проезжавшего мимо грузовика. Наиболее отчетливо он помнил зеленую армейскую баклажку — Герт забыл ее потом на какой-то стройке. Вспомнилось, как испугал его тогда американский хлеб: он был белый, как бумага.

Восемь лет они прожили в этой комнате — целую вечность.

Генрих мог с закрытыми глазами сразу найти все коварные трещины и щели в паркете, где тереть пол приходилось медленно и осторожно, чтобы не порвать суконку. Пол он натирал мастикой, — так требовал Лео. Генрих знал на память, в каких местах плитки паркета сидели непрочно: мастика там, сколько ее ни мажь, все равно уходила в щели. Зато в других местах она прилипла к полу, и ее нужно было наносить тонким слоем.

Он уставился на темно-желтое пятно на стене: здесь висела фотография отца.

— Ну иди же, чего стоишь? — закричал кондитер.

Генрих вышел в прихожую, но тотчас же вернулся и, подойдя к матери, сказал:

— Не забудь, пожалуйста, приемник — он наверху у Лео. У него еще наш кувшин, чашка и консервный нож.

— Нет, нет, не беспокойся, — сказала мать, но по голосу ее он понял, что приемник, кувшин и консервный нож потеряны навсегда, как и мамин халат, тоже висевший в комнате Лео. Генриху очень нравился этот халат — сказочные розовые цветы на черном фоне.

На лестнице стояла плачущая фрау Борусьяк. Она бросилась к Генриху, расцеловала его, потом прижала к себе Вильму.

— Славный ты мой мальчик, — всхлипывая, сказала она, — пусть хоть тебе будет там хорошо.

Столяр, стоявший рядом, проворчал, покачивая головой:

— Что здесь, что там — один грех!

Из-за двери донесся голос матери:

— Ты этого хотел, слышишь! Ты, ты, а не я! — кричала она.

Кондитер глухо пробормотал что-то в ответ, и хоть слов нельзя было разобрать, но прозвучали они не очень убедительно.

Все чаще и пронзительней свистели ожидавшие вни-

зу рабочие. Генрих подошел к окну в прихожей и выглянул на улицу. Сверху кузов грузовика походил на распоротое брюхо какого-то чудовища, проглотившего по ошибке лавку старьевщика. Грязные лохмотья, колченогие стулья, сваленная в кучу рухлядь и на самом верху его «кровать». Грузчики перевернули ее, и серая дверь тут же раскрыла тайну своего происхождения. Сверху ясно была видна украшавшая ее надпись: «Комната 547. Финансовый отдел». Герт приволок однажды вечером эту дверь и четыре бруска — распиленные потолочные балки. Нашелся у него и молоток с гвоздями. В пять минут кровать была готова.

— Ты погляди, какая роскошь! — сказал тогда Герт. — Теперь ложись, отдыхай.

Генрих лег, и кровать показалась ему действительно роскошной. И до сих пор, еще полчаса назад, он был уверен в этом.

Рабочие сидели на подножке грузовика, курили и, посматривая наверх, насвистывали.

«Что здесь, что там — один грех», — сказал столяр. Генрих снова вспомнил слово, что мать сказала кондитеру две недели тому назад. То же самое слово Лео писал на стене. Генрих горько усмехнулся, подумав, что «сожительство» и это слово означают, собственно, одно и то же. Мать вышла из комнаты, держа в руках совок, и Генрих увидел, что лицо ее покрылось круглыми багровыми пятнами. Такие пятна он уже не раз видел на лицах у других женщин, но у матери их никогда не бывало. Ее черные, всегда гладко зачесанные волосы растрепались и длинными прядями падали на лоб. Потом из комнаты вышел кондитер и встал рядом со столяром. От его недавнего гнева не осталось и следа, и лицо его вновь приняло обычное добродушное выражение.

Генрих всегда побаивался добродушных людей. В школе среди учителей тоже попадались такие покладистые; но с ними лучше не связываться. День — он добрый, два добрый, неделю, зато потом как расшумится! А под конец и сам не знает, что ему делать: то ли рукой махнуть, то ли снова разозлиться, словно актеру, позабывшему свою роль.

— Сказано тебе, иди вниз! — раскричался вдруг кондитер на Генриха. — Черт бы тебя побрал, сорванец проклятый! Возьми коляску и убирайся!

— Не смей орать на ребенка! — в свою очередь за-

кричала мать и, разрыдавшись, спрятала голову на груди у фрау Борусяк.

Столяр отвел кондитера в сторону, а мама сказала сквозь слезы:

— Иди, Генрих, иди, детка!

Но ему страшно было одному спускаться по лестнице. Внизу у дверей стояли соседи. Они обменивались насмешливыми замечаниями, разглядывая убогую мебель, а кто-то из Брезгенов сказал: «По барину и говядина!» И слова эти поползли от двери к двери — от Брезгенов к хозяйке молочной лавки, а от нее к старому пенсионеру, бывшему рассыльному из сберкасы. Он произнес их как приговор. В те времена, когда Генрих покупал ему продукты на черном рынке, старик всегда ласково разговаривал с ним. Но теперь он давно уже перестал здороваться с мамой, совсем как Карл. Хозяйка молочной лавки сама *безнравственная*, а Брезгены, по словам столяра, *грязные свиньи*. Кому же еще знать об этом, если не столяру, — он ведь домохозяйин.

Эх, если бы был жив отец. Он не дал бы его в обиду, взял бы его за руку, и они вместе вышли бы на улицу, даже не посмотрев на хозяйку молочной лавки, на старого рассыльного и на «свиней». Генрих так ясно представил себе отца, словно хорошо помнил его. Он с трудом удерживал душившие его слезы.

— Да, да, — услышал он голос пенсионера, — «по барину и говядина»: правильно люди говорят. Как было раньше, так оно и осталось!

Как он ненавидел их всех! Генрих презрительно улыбнулся, но слезы все же оказались сильнее его ненависти. Он застыл у окна, — нет, ни за что не пройдет он мимо них со слезами на глазах! Ему казалось, что рухлядь в кузове съезживается, становится все грязней и гаже. Ярко светило солнце, вокруг грузовика собралась толпа зевак, а Генрих все стоял у окна и смотрел вниз на ящики с тряпьем, на серую дверь с надписью: *Комната 547. Финансовый отдел*.

Слава богу, хоть Вильма замолчала. Но рабочие внизу свистели и смачно плевали на мостовую, стараясь попасть в брошенный окурок.

Генриху показалось, что он *проклят* на веки веков и обречен стоять здесь у окна, среди плачущих женщин. За спиной его — трусливый кондитер, внизу — омерзительная серая труба нищеты, вывалившаяся в кузов

грузовика. И как ни трудно было ему, он все же сдержал слезы. Ждать было нечего, время остановилось, *он проклят, обречен* — и нет ему спасения. Внизу бормотали *грязные свиньи*, за его спиной столяр что-то говорил кондитеру, и по голосу старика можно было догадаться, что он качает головой. И вдруг Генрих ясно услышал слово: *безнравственно*.

Наконец-то лед под ним подломился! Ну и пусть, так даже лучше!

Он вздрогнул, услышав знакомый сигнал машины Альберта. Взглянув вниз, он не поверил своим глазам: во двор въехал старенький серый «мерседес». Генрих смотрел на него невидящим взглядом, не веря, что Альберт действительно приехал. Нет, спасения не было, он *проклят, обречен* на веки веков. Внизу — *грязные свиньи*, за спиной — мать с пятнами на лице...

Рабочие на улице загалдели, водитель влез в кабину, и вскоре раздался вой гудка. Водитель, видимо, заклинил спичкой кнопку сигнала на руле — грузовик гудел не умолкая. *Непрерывный* вой гудка — словно труба *Страшного суда*. А внизу хихикали *грязные свиньи*.

Альберт быстро взбежал по лестнице. Генрих узнал его шаги и тут же услышал звонкий голос Мартина: — Генрих, Генрих! Что у вас случилось?

Но Генрих не обернулся на зов и крепко сжал ручонку Вильмы, которая хотела было броситься навстречу Мартину. Он не пошевелился даже тогда, когда Альберт положил ему на плечо руку. Он все еще не верил, что ему не придется одному спускаться по лестнице. Но теперь уже легче было сдерживать слезы. Потом Генрих быстро повернулся и, посмотрев прямо в глаза Альберту, сразу же увидел, что Альберт понял все. Только один Альберт мог понять все без слов. Он перевел испытующий взгляд на Мартина и убедился, что тот, напротив, *ничего не понял*.

Мартин увидел их нищету, так внезапно представшую перед ним во всей своей неприглядной наготе. Увидел — и ничего не понял. Генрих был удивлен и обрадован, но тут же подумал, что удивляться нечему, ведь Мартин еще ребенок, и это про таких, как он, было сказано в писании: *Будьте как дети*. Как хорошо, что Мартин ничего не понял, а Альберт понял все!

Мартин только спросил удивленно:

— Вы переезжаете?

— Да,— ответил Генрих,— мы переезжаем к кондитеру. Сегодня уже будем ночевать там.

Теперь Мартин понял, и оба они в этот момент вспомнили то слово, которое мать Генриха сказала кондитеру. В прихожей столяр, фрау Борусьяк и кондитер говорили с Альбертом. Мартин и Генрих одновременно посмотрели наверх, и им вовсе не показалось странным, что мама Генриха плачет на груди у дяди Альберта. Не удивились они и тому, что она вскоре перестала плакать и, взяв Альберта под руку, пошла вместе с ним к лестнице.

— Ну, теперь пойдем,— сказал Генрих.

Мартин взял его ранец, а сам он, подняв на руки Вильму, медленно, ступенька за ступенькой, стал спускаться вниз и смотрел на хозяйку молочной лавки, прямо в ее большие карие насмешливые глаза; он успел взглянуть даже на Брезгенов, выстроившихся у своих дверей. Четыре свиньи, круглые жирные рожи! Они что-то жевали, и челюсти их непрерывно двигались. Из-за плеча *безнравственной* хозяйки молочной лавки выглядывал Гуго, ее сожитель. Гуго тоже что-то жевал, и в тот момент когда они проходили мимо, выудил изо рта хвост шпроты. «Грязные свиньи», как по команде, опустили глаза, хозяйка молочной лавки выдержала взгляд Генриха, а старый рассыльный вдруг сказал:

— Что же ты, Генрих, и попрощаться со мной не хочешь?

Генрих даже не посмотрел в его сторону. За спиной он слышал шаги участников триумфального шествия. Альберт смеясь говорил что-то матери, а она как будто тоже смеялась. За ними шли фрау Борусьяк и столяр, позади всех — кондитер. Хозяйка молочной лавки прошипела: «Прямо свадебный кортеж!» — а Гуго, чавкая, дожевал шпротину и тут же отправил в рот вторую. Рыбка золотом блеснула в его руке.

Они спустились еще ниже, и Генрих увидел внизу яркий солнечный свет, проникавший на лестницу через распахнутые двери. Но он чувствовал, что мысли его еще там, наверху. Ему казалось, что он по-прежнему стоит у окна. Внизу *грязные свиньи*, за спиной — трусливый кондитер, он *обречен* — и нет ему спасения.

И Генрих навсегда запомнил, как он стоял у окна, словно осужденный на вечную муку, смотрел вниз на

рухлядь в кузове, а с улицы неся *непрерывный* вой гудка. Мартин уже несколько раз спрашивал его о чем-то. Генрих не отвечал. В мыслях он был еще там, наверху. Но одно знал твердо: Альберт и Мартин *поняли* именно то, что должны были понять. Спасение пришло в те сотые доли секунды, когда он взглянул в глаза Альберта и когда Мартин вовремя понял, что случилось. И это спасло его, избавило от проклятия.

— Ну, что же ты молчишь! — приставал к нему Мартин. — Вы насовсем переезжаете к кондитеру?

— Да, насовсем, — ответил Генрих, — ты же видишь, мы все берем с собой.

Рабочие на улице все еще свистели, но кондитер вдруг набрался храбрости.

— Да, да, сейчас идем! — громко крикнул он, и голос его на этот раз прозвучал уверенно и решительно.

— Идем, Генрих, — сказал Альберт за его спиной, — поедешь с нами в Битенхан вместе с Вильмой.

Генрих удивленно взглянул на мать, но та улыбнулась и сказала:

— Да, поезжай, так будет лучше. А в воскресенье вечером господин Мухов привезет тебя в город. К тому времени мы уже успеем все для тебя приготовить.

— Не знаю уж, как и благодарить вас, — добавила она, обращаясь к Альберту. Тот лишь молча кивнул и как-то странно посмотрел на нее. Генрих увидел, как в глазах матери засветилась *надежда*.

Казалось, мать и Альберт договорились о чем-то без слов, пообещали что-то друг другу, и этот *молчаливый* обет отразился в их взгляде. Глаза их встретились на миг, но в эту сотую долю секунды они вдруг поняли то, о чем никогда не думали раньше.

Альберт протянул матери руку, мать поцеловала Вильму, и вслед за Альбертом они пошли к машине. Увидев серый автомобиль, Вильма завизжала от радости.

Сбежавший подручный кондитера не оставил богатого наследства. Лишь немногие вещи напоминали о нем: фотография кинозвезды на стене, две пары равных носков, заржавленные бритвенные лезвия на подоконнике да выдавленный наполовину тубик зубной

пасты. На белом ночном столике видны были коричневые выжженные пятна — следы догоравших здесь сигарет. В ящике комода лежали прошлогодние газеты и картинка с надписью: *Вот она — настоящая Африка!* — реклама каких-то восточных сигарет. На картинке зебры неслись в саванне, жирафы оципывали листву с высоких деревьев, а туземцы с размалеванными лицами охотились на львов.

Кондитер приказал оставить во дворе «кровать» Генриха — дверь комнаты 547 финансового отдела с прибитыми к ней четырьмя брусками.

— Пусть спит в кровати подмастерья.

— А я?

— Разве у тебя нет кровати?

— Нет.

— Где же ты спала?

— У Лео, где же еще!

— А до него?

— До него у меня была кровать, но потом пришлось ее сжечь — она совсем развалилась.

После этого кровать Генриха все же втащили наверх, а ей досталась кровать подмастерья, почти новая железная кровать, покрашенная в белый цвет.

Пока рабочие втаскивали вещи наверх, в комнату подмастерья, она выносила хлам из чуланчика в коридор. Древние галеты из кукурузной муки перекатывались в жестяных коробках, словно камни. Она вынесла все в стоявший во дворе сарай. Чего только не было в чулане: коробки из-под сухарей, — когда она несла их вниз, сухарные крошки по-мышьиному скреблись о картон; истрепанные мешки из-под муки, куклы для витрин из папье-маше — некогда они рекламировали изделия шоколадных фабрик, давно уж обанкротившихся. Названия их давно вычеркнуты из списков кондитерских фирм. Шоколадные плитки из картона, комья серебряной бумаги величиной с футбольный мяч, картонные повара с длинными ложками в руках — реклама фабрики концентратов. Улыбающаяся жестяная индианка прижимала к груди коробку конфет. На коробке было написано: *Шербет — чудесные конфеты. Тают во рту.* Ярко-красные вишни из фанеры, бутафорские конфеты в зеленой обертке и огромная жестянка, которая до сих пор пахла эвкалиптовым маслом. Этот запах напомнил ей детство — она кашляла ночи напролет, а за ширмой ругался отец. И чем яростней он ру-

гался, тем сильнее она кашляла. А вот и они, старые знакомцы: голубой поваренок с сухариками и серебристый кот с чашкой какао в лапах.

Рабочие пересмеивались, втаскивая в комнату ее вещи.

Она услышала, как кондитер робко пытался урезонить их, и тут же вздрогнула, почувствовав на своем плече легкую, но властную руку, руку, которая даже рычаг кассовой машины сжимала, как штурвал корабля.

Кондитерша улыбнулась, но, как ни странно, в улыбке ее не было скрытой угрозы.

— Располагайтесь как дома. Вы хотите поместить здесь сынишку?

— Да.

— Это вы хорошо придумали! А всю рухлядь можно вынести в сарай. Но, может быть, кое-что оставить детям — пусть играют, они ведь любят такие вещицы.

— Конечно, это же лучше всяких игрушек!

Кондитерша подняла с полу фанерную плитку шоколада и вытянула из темного угла картонный грузовик — рекламу какой-то мельницы, и с улыбкой указала на жестяную индианку:

— Вот это уж, наверное, детям понравится!

— Еще бы!

— Ну и возьмите их.

— Спасибо вам большое.

— Не за что!

И снова легкая рука легла на ее плечо и ласково, по-дружески, прижала их.

— Желаю вам счастья!

— Спасибо!

— Надеюсь, вам будет здесь хорошо!

— О, конечно!

— Очень приятно! До свидания.

— До свидания!

Скатывая мешки, спускаясь в сарай со штабелями пустых коробок, она все время думала о нем, о дяде Мартина, как называл его Генрих. Неожиданно для себя самой она там, в прихожей, испуганная и обзленная, обняла его, чужого мужчину. Это получилось как-то само собой. Она тут же спохватилась и хотела отпрянуть от него, но почувствовала, как он слегка сжал ей руку, а щекой на миг коснулся ее шеи. А как он посмотрел на нее внизу, когда она прощалась с детьми! Мужчина не на каждую женщину так смотрит!

Улыбнувшись, она отодвинула рваную ширму в углу и даже вздрогнула от неожиданности: перед ней на полу стояли знакомые фанерные фигурки — они покрылись пылью и паутиной, но яркие краски до сих пор не выцвели. Она смахнула паутину рукой. Да, это были они, Бамбергеровские *герои германских саг*, точно такие же, как на картинках. Набор таких фигурок Бамбергер выдавал в качестве премии постоянным своим покупателям. Желтоволосый Зигфрид в ярко-зеленом камзоле замахнулся копьем на ядовито-зеленого дракона. Совсем как Георгий Победоносец! Рядом с ним — Кримхильда, Фолькер и Гаген, и еще этот, хорошенький, как же его звали? Да, Гильзегер! Фанерные фигурки были прибиты к широкой коричневой планке с ярко-желтой надписью: *Домашняя лапша Бамбергера*.

Она не услышала, как в чулан вошел кондитер. Он осторожно положил ей руку на плечо.

— Все готово! Пойди посмотри свою комнату. Боже мой, ты опять плачешь? Что с тобой?

Она молча стряхнула его руку с плеча, подняла с полу планку с фанерными фигурками и, даже не взглянув на него, понесла ее в свою комнату.

Кондитер шел за ней по пятам.

— Зачем они тебе?

— Повешу у себя на стену,— ответила она сквозь слезы.

— Эту дрянь! Брось ее, я куплю тебе хорошие картины, настоящие! — сказал он и, помолчав, робко добавил: — Горное озеро, часовню в лесу, или лань на полянке — все, что ты захочешь! Не вешай ты у себя эту дрянь!

— Оставь меня,— сказала она,— мне это нравится!

В комнате царил уже полный порядок: ее платья висели в шкафу, посуда была аккуратно расставлена в ящиках комода, а картонку с игрушками кондитер поставил под кровать. В углу стояла кроватка Вильмы.

— Разве Вильма здесь будет спать? — спросила она.

— Ты думаешь, неудобно?

— Не знаю,— нерешительно сказала она и, поставив на комод планку с бамбергеровскими фигурками, добавила: — Детям это понравится!

— Это же дешевка, лубок! — сказал он и отвернулся.

Она пододвинула к себе свою сумку и стала выни-

мать оттуда мелкие вещи. Прежде всего она достала фотографию мужа и повесила ее над изголовьем кровати на гвоздь, на котором поблескивало, словно венчик, медное кольцо от прежней картинки.

— Зачем же здесь? — сказал он.

— Так мне хочется, и оставим это!

Она извлекла из сумки старую зажигалку и резко, со стуком, поставила ее на комод; за зажигалкой последовали часики на потертом кожаном ремешке. Потом она быстро наклонилась и, порывшись в картонке с игрушками, достала брезентовый чехол, в котором Карл носил свой котелок. Чехол занял свое место на комодке рядом с часами и зажигалкой.

— Где моя шкатулка с нитками? — спросила она.

— Вот она, — ответил кондитер, выдвинув в комодке один из ящичков. Она вырвала шкатулку у него из рук и, разыскав в ней пилочку для ногтей — память о Лео, положила ее на комод рядом с брезентовым чехлом.

— Иди, — тихо сказала она, — я хочу побыть одна.

— Я хотел только показать тебе ванную, а вот возьми ключ от дверей цветника на крыше.

— Господи, — сказала она, — оставь ты меня в покое хоть на пять минут!

— Зачем тебе весь этот хлам? Я куплю тебе новые часы и зажигалку — твоя ведь заржавела и не работает.

— Боже мой! Уйди ты, наконец!

Кондитер попятился к двери.

Она задернула штору, легла на кровать, ногами к изголовью, и долго смотрела на фотографию улыбающегося фельдфебеля, висевшую перед ней. Справа на комодке стояли *герои германских саг*; их яркая раскраска видна была даже в сумерках. Она отыскивала глазами своего любимца — мужественного и в то же время мечтательно-нежного *Фолькера* в красном камзоле, с зеленой лирой в руках. На планке он стоял рядом с Гагеном.

Она думала сейчас не о Лео и даже не о погибшем муже, а о нем, о другом, чья щека на миг коснулась ее шеи. Она понравилась ему! Наверное, он сейчас тоже думает о ней! Он все понял, он помог ей, и она любила его так, как не любила еще никого. Там, в прихожей, она случайно обняла его, но он прижал ее к себе чуть крепче, чем это сделал бы другой на его месте. Он

еще вернется, привезет домой Генриха и Вильму, и она снова увидит его!

...Кондитер, не постучавшись, вошел в комнату и на цыпочках подошел к ней. Она в ярости закричала на него:

— Надо стучать, когдаходишь! Уйди, оставь меня!

Кондитер покорно вышел из комнаты, пробормотав на пороге еще что-то о ванной, о цветнике на крыше.

Она встала с кровати, заперла дверь на ключ и снова легла. Улыбающийся фельдфебель был слишком молод. Ей даже как-то неудобно вспомнить теперь, что когда-то она спала с этим мальчишкой-шалопаем.

Кусты за казарменным плацем, запах сапожной ваксы и склонившееся над ней нахмуренное, серьезное лицо юного ефрейтора. Ему первому она позволила все.

Снизу донесся резкий смех кондитерши.

Потом кондитер что-то сказал ей, и в его голосе звучала угроза и даже решимость. Злобно ворча, он поднялся по лестнице и рванул дверь.

— Отвори сейчас же! — закричал он.

Она не ответила ему — она думала о том, другом.

Она еще не знала его имени, но Эрих, Герт, Карл и Лео исчезли из ее памяти, словно растаяли на горизонте. А лицо кондитера она больше не могла себе представить, хотя он и стоял за дверью в двух шагах от нее.

— Откроешь ты или нет? — снова закричал он, но его угрожающий голос только рассмешил ее.

— Уходи, — тихо сказала она, — я не открою.

И он ушел.

Она услышала, как он спускался по лестнице, невнятно бормоча какие-то угрозы. Но она думала о другом — об Альберте, и знала, что он еще придет к ней.

Сначала они долго играли в футбол с деревенскими ребятами, которых пригласил дядя Виль. Он обо всем позаботился: подстриг траву, починил сетки на воротах. Они играли с азартом, но потом Генрих вдруг сказал: «Надоело, не хочу больше». Он убежал на веранду, где за столом сидел Альберт, потягивал из кружки пиво и просматривал газеты. Но и оттуда Генрих вскоре ушел.

Обойдя вокруг дома, он уселся на колоде у дровяного сарая. Рядом на земле лежал топор дяди Вилля.

Здесь Генриху никто не мешал. Вильль ушел в деревню исповедоваться, Альберт уткнулся в свои газеты — он мог читать их часами. Вильму мать Альберта отвела на кухню. Добрая старушка пекла там пироги и, как всегда, при этом бормотала себе под нос забавные присказки. «Как испечь пирог на праздник, коли нет припасов разных?» — медленно говорила она и заставляла Вильму повторять. Но у той получалось только «сахар» и «яйцо», и мать Альберта весело смеялась. На кухне пахло горячим сдобным тестом, совсем как в подвале у кондитера. На подоконнике остывал противень с готовым песочным печеньем.

Потом Генрих услышал, что и Мартин закричал: «Не хочу больше! Надоело!» Деревенские ребята поиграли еще немного и разошлись. Голос Мартина доносился теперь с веранды — Альберт учил его играть в пинг-понг. Слышно было, как они передвигали стол, укрепляли сетку. Альберт говорил Мартину: «Становись сюда! Смотри, вот как нужно!» Запрыгали целлулоидные мячики. Их звонкое цоканье сливалось с голосом матери Альберта: «Яйца нам нужны и сало — только этого нам мало; сахар мы возьмем, сметану и душистого шафрану», — говорила она, а Вильма кричала «сахар!», «яйцо!» — и старушка смеялась.

Хорошо здесь! Мячики так звонко цокают, и Вильма радостно кричит на кухне, а как только услышишь голос матери Альберта, так сразу поймешь, какая она добрая. И дядя Вильль добрый, и сам Альберт — тоже. «От шафрана — пирог румяный», — донесся из кухни голос старушки. Славная какая присказка, «шафран» — слово само какое-то вкусное! Но что ни говори, а все это для *детей!* Его не проведешь — тут что-то не так!

Генрих знал теперь, что кондитер вовсе не такой добрый, как казалось вначале. Когда мама сказала, что они переедут к нему, он подумал сначала: «*Вот здорово!*». Но потом понял, что это вовсе *не здорово!* Кондитер похож на тех «добрых» учителей в школе, которые еще хуже, чем злые: такие приходят в ярость в самый неподходящий момент.

С другой стороны, кондитер все же лучше, чем Лео. Одно-то уж, во всяком случае, ясно: денег у них наверняка будет больше.

Зажигалка дяди Эриха, мамины часы — подарок

Герта и брезентовый чехол, в котором Карл носил котелок, были в его памяти неотделимы друг от друга, словно они лежали на одной полке. Теперь он положил на эту полку и пилочку для ногтей, принадлежавшую Лео. В суматохе сборов мать случайно сунула ее в свою шкатулку с нитками. К особым запахам Эриха, Герта и Карла прибавился еще запах Лео — запах одеколона и помады. На кухне старушка, смеясь, говорила Вильме: «Сорока-белобока кашку варила, пирог пекла, гостей созывала...» Генрих представил себе, как она месит там желтое сладкое тесто, бормоча свои присказки, словно добрая волшебница заклинания: «...этот пальчик — дрова рубил, этот — печку топил, этот — воду носил, этот — муку покупал, а мизинчик мал, ничего не покупал, пришел и все съел!» Вильма смеялась звонко и радостно.

Из-за дома выглянул дядя Виль и внимательно посмотрел на него. Потом Генрих услышал, как он поднялся на веранду и спросил Альберта:

— Что это случилось с парнишкой?

— Оставь его, — ответил Альберт.

Они говорили негромко, но Генрих слышал каждое слово.

— Нельзя ли чем-нибудь помочь ему? — снова спросил Виль.

— Можно-то можно, — сказал Альберт, — но лучше оставь его сейчас в покое. В главном ты ведь ему не поможешь!

В деревне зазвонили колокола — печально и нежно. Генрих понял, почему разошлись ребята, игравшие в футбол. Звонили к обедне, а все они были служками в деревенской церкви.

— Ты пойдешь со мной? — крикнул Мартину Виль.

— Да, да, — ответил Мартин.

Цоканье мячиков сразу оборвалось. Генрих услышал, как Виль еще что-то спросил у Альберта про него.

— Не нужно, оставь его, — ответил Альберт и, помолчав, добавил: — Идите, я здесь посижу.

Глухо и протяжно звонили колокола. На кухне снова радостно запищала Вильма: ее кормили яичком всмятку. Хорошо здесь, все гладенько — без сучка, без задоринки, но все это не для него. Больно уж гладко! И запахи здесь один лучше другого. Пахнет свежей

древесиной, печеньем, свежим тестом, но и запахи эти чужие: слишком уж хорошие!

Он выпрямился, прислонился к стене сарая и стал смотреть в открытые окна. В зале рестораника за столами сидели люди, они пили пиво, ели бутерброды с ветчиной. Девушка-кельнерша то и дело приносила бутерброды и опять уходила на кухню. Там она резала хлеб, ветчину, делала новые бутерброды. Генрих увидел, как девушка, отрезав кусок ветчины, положила его в ротик Вильмы. Та начала жевать, недоверчиво нахмутив бровки. Забавно было смотреть, как постепенно морщинки на лбу ее разгладились и она одобрительно заулыбалась. Потом, разжевав кусок как следует и проглотив его, Вильма просияла. Мать Альберта и кельнерша так и покатались со смеху. Улыбнулся и Генрих — это и впрямь было забавно. Но улыбка получилась *усталой*. Он и сам знал, что улыбается *нехотя*, как обремененный заботами *взрослый человек*, которому не до смеха.

В этот момент к дому подъехало такси из города, и он испугался: наверное, сейчас что-то случится, если уже не случилось. Из машины вышли бабушка и мама Мартина. Бабушка, не вынимая изо рта дымящейся сигареты, громко сказала шоферу: «Подождите здесь, голубчик», — и побежала к крыльцу. Лицо у нее было красное, сердитое.

— Альберт! Альберт! — закричала она на весь двор.

Люди в ресторане повскакали с мест, бросились к окнам. В окне кухни показались испуганные лица кельнерши и матери Альберта, а сам Альберт выбежал во двор с газетой в руках. Увидев бабушку, он нахмурился и, медленно складывая газету, пошел ей навстречу. Мама Мартина подошла к окну кухни и заговорила с матерью Альберта с таким видом, будто бы это ее совершенно не касается.

— И ты ничего не хочешь предпринять? — сказала бабушка, яростно стряхивая пепел с сигареты. — Тогда я сама поеду туда и убью его собственными руками! Поедешь ты со мной или нет?

— Поеду, поеду, успокойся! — устало сказал Альберт. — Но что в этом толку?

— О чем только все вы думаете? — сказала бабушка. — Садись в машину!

— Как хочешь, — сказал Альберт.

Он положил газету на подоконник, влез в машину,

открыл изнутри заднюю дверцу и усадил бабушку рядом с собой.

— Ты, значит, останешься? — уже из машины крикнула бабушка матери Мартина.

— Да, я подожду вас здесь, — ответила та. — Не забудьте захватить мой чемодан, слышите?

Но шофер уже выехал со двора. Вскоре такси скрылось за поворотом. Колокола умолкли, и мать Альберта сказала матери Мартина: «Заходите, что же вы?» Та кивнула и сказала кельнерше: «Дайте-ка мне девочку!»

Кельнерша поставила Вильму на подоконник. Генрих очень удивился, увидев, как мать Мартина ловко взяла ее на руки и улыбаясь вошла в дом.

Потом зацокал целлулоидный мячик и донесся смех Вильмы. Хорошо это все, славно, но только не для него.

В ресторане затянули песню: *Милый лес, родимый лес, краше всех земных чудес!* Из кухни в зал прошла кельнерша с подносом, уставленным пивными кружками. Мать Альберта на кухне вскрыла большую банку с консервированными сосисками, потом стала готовить салат. На веранде смеялась мать Мартина. Смеялась и Вильма. Генрих удивился: мать Мартина показалась ему вдруг такой хорошей и доброй.

Да, все здесь хорошо, но ему от этого не легче. Ведь сейчас его мама «сожительствоует» с кондитером. Она променяла Лео на кондитера. Это хотя и выгодно, но ужасно!

На дороге напротив дома остановился желтый почтовый автобус. Распахнулись дверцы, на землю прыгнул Глум и помог сойти Больде. Больда подбежала к открытому окну кухни и воскликнула громко:

— Что-то теперь будет?

Но мать Альберта, улыбнувшись, ответила:

— Ничего там не случится! А ты вот скажи лучше, где я вас всех спать положу?

— Я не могу успокоиться, просто места себе не нахожу, — сказала Больда. — Ах, я и на старой кушетке выплюсь.

Глум засмеялся и сдавленно прохрипел:

— На полу! Солома есть?

Потом он с Больдой отправился в церковь, чтобы позвать Виля и Мартина.

Милый лес, родимый лес, краше всех земных чудес! — пели в ресторане, а мать Альберта на кухне вилкой выуживала из банки большие розовые сосиски.

С веранды донесся голос матери Мартина:

— *Не подходи так близко!* — закричала она и тут же засмеялась неприятно и резко. Генрих испугался и, обернувшись, увидел, что Вильма, бежавшая к утиному ставку, остановилась, услышав окрик, и засеменила обратно. Мать Мартина подозвала его к себе, взяла его за руку и спросила:

— Ты играешь в пинг-понг?

— Плохо, — ответил он. — Я как-то пробовал играть.

— Давай я научу тебя, хочешь?

— Да, — сказал он, хотя играть ему не хотелось.

Она выдвинула стол на середину веранды, снова укрепила сетку и подняла лежавшие на полу ракетки.

— Становись вот здесь, — сказала она и показала, как надо подавать мяч.

Удар был сильный, мяч пролетел высоко над сеткой, и Генрих легко отбил его.

Вильма ползала по полу и радостно повизгивала. Ей очень нравился белый летающий мячик. Каждый раз, когда он падал, она поднимала его и несла к столу. Но отдавала она мячик только матери Мартина, а не Генриху.

Все время Генрих думал о том, что его мама сожительствует сейчас с кондитером. Это было очень скверно и казалось ему куда более *безнравственным*, чем сожителство с Лео.

Колокола вновь зазвонили мерно и торжественно, священник сейчас благословляет паству. Потом курят ладан и поют «*Tantum ergo*». Он пожалел, что не пошел с Мартином, они стояли бы с ним рядом в полутьме между исповедальней и дверьми.

Генрих быстро усвоил, что мяч надо подавать резким и сильным ударом. Несколько раз ему уже удалось так подать мяч, что мать Мартина не смогла его отбить. Она засмеялась, но стала играть с ним всерьез, лицо ее приняло сосредоточенное выражение.

Трудно было следить за полетом мяча и вовремя отбивать его. Генрих думал совсем о другом: об отце, о дядях, о кондитере, который сейчас сожительствует с его мамой. А у Мартина мама красивая, высокая, стройная, белокурая. Теперь она очень нравилась ему, особенно когда, не прерывая игры, вдруг поворачива-

лась к Вильме и ласково улыбалась ей. Вильма сияла, ей это тоже очень нравилось.

Улыбка у мамы Мартина была светлая, такая же хорошая, как и все здесь,— как звон колоколов, как запах сдобного теста. Все это ему здесь дарили — и улыбку и колокольный звон,— и все же подарок оставался чужим. Ему снова вспомнился запах Лео — запах туалетной воды и помады, вспомнилась и его пилочка для ногтей. Она останется теперь навсегда у мамы в шкатулке с нитками.

Он стал играть внимательней, старался подавать мячи резко и сильно. Мячи пролетали низко над сеткой, и мама Мартина еле успевала отбивать их.

— С тобой, дружок, шутить не приходится! — сказала она.

Но вскоре все вернулись из церкви, и им пришлось прекратить игру. Мартин бросился к матери и крепко обнял ее. Глум сдвинул столы на веранде, а Больда накрыла их большой зеленой скатертью и расставила тарелки. Свежее, только что сбитое масло влажно поблескивало в масленке.

— А сливовое варенье ты и забыла! — сказал Виль сестре.— Ребята его очень любят!

— Принесу, принесу,— откликнулась старушка.— Чего уж там ребята, ты и сам до него большой охотник!

Виль покраснел, все рассмеялись. Глум хлопнул его по спине и, ухмыльнувшись, прохрипел: «Не робей, приятель!» И все снова рассмеялись. Вильме пора было спать, но ей разрешили посидеть еще немного. Все заспорили, где ее уложить. Все, кроме матери Мартина, наперебой зашумели: «Со мной!», «У меня!» — но когда наконец спросили об этом Вильму, она сразу же подбежала к брату. Генрих даже покраснел от радости.

В ресторане было шумно. Люди приходили, уходили. За столиками звали кельнершу, требовали пива. Больда встала и, отодвинув стул, сказала: «Пойду помогу на кухне». Глум взял пустой мешок и пошел во двор — набивать его соломой; вспотевший Виль носился по дому, собирая одеяла, а Генрих с Мартином поднялись наверх в комнату над верандой, где для них постелили большую двуспальную кровать. Там же уложили и Вильму.

Стемнело. На кухне Больда с кельнершей мыли посуду, разговаривали, смеялись. Мать Альберта пошла в зал за стойку, из ресторана доносились восклицания,

смех. Генрих выглянул в окно. Во дворе мерцали два тусклых огонька: Глум и Вилль, покуривая трубки, сидели на скамье у сарая. На веранде осталась только мать Мартина. Она сидела у стола, курила и задумчиво смотрела во мрак.

— Ребята, тушите свет и в постель, живо! — услышали они ее голос.

И тут только Мартин вспомнил, что он весь вечер не видел Альберта. Он крикнул в окно:

— Мама, а где дядя Альберт?

— Он скоро вернется. Они уехали с бабушкой.

— А куда?

— В Брерних.

— А зачем?

Мать помолчала. Потом вновь донесся ее голос:

— Там Гезелер. Он должен с ним поговорить.

Мартин замолчал. Облокотившись на подоконник, он смотрел вниз на темную веранду. За его спиной щелкнул выключатель, заскрипели пружины. Генрих забрался на кровать.

— Гезелер? — крикнул в темноту Мартин. — Значит, Гезелер жив?

Мать не ответила, а Мартин удивленно подумал, что нисколько не взволнован появлением Гезелера. Он никогда не говорил с Генрихом о смерти отца. История с Гезелером казалась ему слишком запутанной и сомнительной, как и вся бабушкина премудрость. Имя Гезелера так упорно вдавливали ему в голову и так упорно заставляли повторять, что оно перестало страшить его. Гораздо страшней было то, что случилось там, в подземелье, где выращивали грибы. Тут все было страшней и проще. В этом подземелье убили человека, который написал портрет папы. Там били и мучили папу и дядю Альберта. Правда, наци, сделавших все это, он представлял себе довольно смутно. Может быть, они и впрямь не такие уж страшные? Но погреб он видел сам, своими глазами! Смрадные темные коридоры, пюпитры с уродливыми кнопками, постаревшее лицо дяди Альберта, который всегда говорил правду. А вот о Гезелере Альберт говорил с ним очень редко. Внизу затаили новую песню:

На лесной опушке, где пасутся лани,
В хижине убогой я увидел свет.
Не забыть мне юность, первые признанья,
Милая отчизна сердцу шлет привет.

Мартин выпрямился, отошел от окна и осторожно забрался на кровать. Вильма уткнулась головкой ему в плечо. Повернувшись к Генриху, Мартин тихо спросил:

— Ты спишь?

И Генрих тотчас так же тихо, но отчетливо ответил:

— Нет, не сплю.

«В хижине убогой я увидел свет»,— пели внизу.

К дому подъехала машина, и Мартин услышал взволнованный голос Альберта: «Нелла! Нелла!» — громко звал он. Мама, все еще сидевшая на веранде, вскочила, опрокинув стул, и выбежала во двор. Больда на кухне сразу умолкла. Потом он услышал, как мать Альберта заговорила с людьми в ресторане, и песня внизу вдруг оборвалась. В доме внезапно все затихло.

— Что-то случилось! — прошептал Генрих.

На лестнице послышались стоны, плач. Мартин встал, на цыпочках подошел к двери и выглянул в узкий освещенный коридор.

Альберт и Больда под руки вели по лестнице бабушку. Он испугался: бабушка вдруг показалась ему совсем *старой*. Он никогда не думал, что она такая *старая*, и никогда еще не видел ее плачущей. Она бесильно повисла на плече у Альберта, и ее всегда румяное лицо стало землистым.

— Укол, скорей сделайте мне укол! — стонала она.

— Да, да, слышите? Нелла говорит по телефону с врачом,— ответил Альберт.

— Хорошо, только бы скорей!

Из-за плеча Больды выглядывал перепуганный Виль. Появился и Глум. Он пробрался вперед и, оттеснив Больду, подхватил бабушку под руку. Вдвоем с Альбертом они медленно повели ее в большую комнату в конце коридора. Тут Мартин увидел маму; она бежала по лестнице, прыгая через ступеньку, и крикнула:

— Я звонила Гурвеберу: он сейчас выезжает!

— Ну вот,— сказал Альберт бабушке,— не волнуйся, он сейчас приедет.

Но вот двери закрылись, и коридор опустел. Мартин долго смотрел на широкую коричневую дверь. Из комнаты не доносилось ни звука.

Первым в коридор вышел Глум, потом Виль и мама с Альбертом. С бабушкой осталась одна Больда. Генрих заворочался на кровати и сказал:

— Ложись скорей, простудишься!

Мартин тихонько прикрыл дверь и, не зажигая света, осторожно пробрался к кровати. Внизу снова запыли, но на этот раз очень тихо: «На лесной опушке, где пасутся лани, в хижине убогой я увидел свет!»

Дядя Альберт и мама ушли на веранду. Они тихо разговаривали о чем-то — слов нельзя было разобрать. Мартин чувствовал, что Генриху тоже не спится. Ему очень хотелось поговорить с Генрихом, но он не знал, как начать разговор.

Внизу перестали петь. Из зала доносился шум отодвигаемых стульев. Мартин слышал, как люди поднимались из-за столиков и, рассчитываясь с кельнершей, шутили и смеялись. Он тихо спросил Генриха:

— Окно не будем закрывать?

— А тебе не холодно?

— Нет, не холодно.

— Тогда не закрывай.

Генрих снова умолк, и Мартин сразу вспомнил все, что случилось сегодня. Вспомнил он и переселение, и то слово, которое мать Генриха сказала кондитеру: «Ну, не тебе меня...»

И он вдруг понял, о чем сейчас думает Генрих, понял, почему он так неожиданно убежал с лужайки. Ведь его мама сейчас, наверное, говорит кондитеру: «Теперь можешь меня...»

Страшно было даже подумать об этом. Мартину стало грустно и захотелось плакать. Но он сдержал слезы, хотя Генрих все равно не увидел бы в темноте, что он плачет. Все, все это *безнравственно*. Вот и бабушка потребовала сейчас, чтобы ей сделали укол, просто так, даже не покричав перед этим про *кровь в моче*. Мартин с испугом подумал, что раньше она кричала про *кровь в моче* через каждые три месяца; теперь не прошло и четырех дней, как ей сделали укол, а она уже снова посылает за доктором. Она старая стала, совсем старая! Сегодня он впервые увидел, как бабушка плачет. Ничего этого раньше не было! Но самое страшное, что бабушка даже не притворяется больше и не хочет ждать три месяца. Она уже и четырех дней не может прожить без укола. Жидкость бесцветная, шприц словно пустой! Что-то ушло из его жизни и больше не вернется. Он не мог понять, что это было. Но одно он знал: это как-то связано с Гезелером.

— Ты не спишь? — снова спросил он тихо, и снова Генрих ответил:

— Нет, не сплю.

Ему показалось, что Генрих сердится и не хочет говорить с ним. Понятно, почему Генрих такой грустный — его мама ушла от Лео, но осталась такой же *безнравственной*, если не хуже. Жить с Лео, конечно, тоже *безнравственно*, но она жила с ним уже не первый год. К этому все привыкли. А теперь она вдруг переехала к кондитеру и будет жить с ним. Это очень скверно, но ведь и бабушка поступает не лучше: требует, чтобы ей сделали укол, а про *кровь в моче* даже и не вспомнила.

— Нет, нет, — громко сказал вдруг Альберт на веранде, — лучше раз и навсегда оставить эти разговоры о нашем браке.

Мама тихо ответила ему что-то. Потом подошли Больда, Глум и Вилль. Альберт снова заговорил громче:

— ...Тогда она бросилась на него с кулаками. Ее пытались удержать, но не тут-то было. Шурбигелю она закатила пару хороших оплеух, а патера Виллиброрда так толкнула в грудь, что он чуть не упал... — Альберт как-то нехорошо засмеялся и продолжал: — Что же мне оставалось делать? Пришлось лезть в драку. Он-то узнал меня потом.

— Кто, Гезелер? — спросила мама.

— Да, он узнал меня, и, надеюсь, теперь он не потянет нас в суд. Тягаться с ними трудно!

— Еще бы! — решительно подтвердил Глум, и мама засмеялась. Но ее смех звучал неприятно и резко.

Они замолчали, и в наступившей тишине Мартин услышал спокойный шум мотора. Сначала он подумал, что подъехала машина доктора; но шум доносился из сада, только откуда-то сверху: это жужжал самолет. Звук медленно приближался, он плыл где-то высоко в небе, и Мартин даже вскрикнул от удивления, увидев вдруг в черном квадрате окна красные огоньки самолета и длинный сверкающий шлейф, который он тащил за собой. По темному небу скользили яркие передвигающиеся буквы: *Глуп тот, кто сам еще варит варенье!* Надпись проплыла в квадрате окна и скрылась гораздо раньше, чем он думал. Но вскоре снова донесся шум мотора, и другой самолет жужжа протачил по темному небу вторую надпись: *Гольштеге делает это за тебя.*

— Смотри скорей! — заволновался Мартин. — Это реклама бабушкиной фабрики!

Но Генрих не ответил, хотя и не спал.

Внизу вдруг зарыдала мама, а дядя Альберт громко выругался: «Мерзавцы! Какие же они мерзавцы!»

Шум моторов удалялся в направлении Брернихского замка, и вскоре вновь наступила тишина.

Мартин слышал только, как плачет внизу мама да время от времени звякают стаканы. Генрих все еще не спал, но он упорно молчал, и это пугало Мартина. Генрих дышал часто и глубоко, словно был взволнован чем-то, а рядом с ним ровно и тихо дышала спящая Вильма.

Мартин попытался заснуть — промелькнули в памяти ковбой Хоппелонг Кессиди и утенок Дональд Дак, но ему вдруг стало стыдно думать о таких пустяках. Вспомнились слова молитвы: *Если ты, Господи, не простишь нам грехи наши, то кто же тогда останется праведен?* И сразу же из мрака выплыл устрашающий первый вопрос катехизиса: *Зачем пришли мы в мир сей?* «Дабы служить Господу, возлюбить Его и вознестись в царствие небесное», — машинально прошептал он. «Но служить Господу, возлюбить Его и вознестись в царствие небесное» — это еще *не все*, этого мало! Заученный ответ на страшный вопрос вдруг показался ему жалким, и впервые осознанное сомнение охватило его.

Что-то ушло навсегда из его жизни, — он только не понимал, что это было. Ему хотелось заплакать так же громко, как плакала на веранде мама. Но Мартин сдержал слезы; он был уверен, что Генрих все еще не спит и думает о своей маме, о кондитере, о том слове, которое его мама сказала кондитеру.

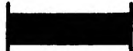
Но Генрих думал совсем о другом — он думал о надежде, озарившей на миг лицо его матери. Это длилось *одно лишь мгновение*, но он знал теперь, что *одно мгновение* может все изменить.

ХЛЕБ РАНИИХ ЛЕТ



Перевод М. Рудницкого

ПОВЕСТЬ



DAS BROT DER FRÜHEN JAHRE

Я помню день, когда приехала Хедвиг, это был понедельник, и в то утро, пока хозяйка не подсунула под мою дверь отцовское письмо, я, едва проснувшись, собрался снова с головой нырнуть под одеяло, совсем как прежде, когда жил в интернате, где частенько начинал понедельники именно так.

Но хозяйка из коридора крикнула:

— Вам письмо! Из дома!

И едва она протолкнула письмо под дверь, едва белоснежный прямоугольник с тихим шелестом скользнул в серую муть комнаты, я испуганно вскочил с кровати: вместо обычного круглого штемпеля, я сразу разглядел на конверте тревожный овал — письмо было срочное.

Отец ненавидит телеграммы, и за все семь лет моей самостоятельной городской жизни он лишь дважды присылал срочные депеши с овальным штемпелем: в первой сообщал о смерти мамы, во второй — о несчастье с ним самим, когда он сломал себе обе ноги, и вот теперь третье письмо. Я надорвал конверт, и только дочитав до конца, перевел дух. «Надеюсь, ты не забыл, — писал отец, — что дочка Муллеров Хедвиг, для которой ты подыскивал комнату, приезжает сегодня, поезд будет у вас в 11.47. Постарайся ее встретить, цветов купи и вообще будь с ней поласковой. Представь, каково у нее на душе: девочка первый раз едет в город совсем одна, не знает ни улицы, где будет жить, ни как добраться, вокруг одни чужие лица, а в полдень на вокзале всегда толкучка, она там вконец растеряется. Сам посуди: ей всего двадцать, она хочет стать учительницей и вот приехала в незнакомый город учиться. Жаль, что ты не можешь больше навещать меня каждое воскресенье, очень жаль. Искренне твой — отец».

Я потом часто размышлял, как бы все обернулось, не встретить я тогда Хедвиг на вокзале: я угодил бы в иную, совсем иную жизнь, как по ошибке садишься не в свой поезд,— в жизнь, которая прежде, до встречи с Хедвиг, казалась мне «вполне терпимой». Так, по крайней мере, я мысленно ее называл, эту жизнь, что стояла для меня наготове, как поезд по другую сторону платформы, в который я чуть было не угодил,— это сейчас, снова и снова прокручивая ее в воображении, я понимаю, что жизнь, казавшаяся мне «вполне терпимой», была бы сущим адом; я вижу себя в этой жизни, вижу свою неприкаемую улыбку, слышу свой голос — так порой видишь во сне брата-близнеца, которого у тебя никогда не было, хоть ты и знаешь его улыбку, слышишь его голос — улыбку и голос того, кто жил за долю секунды до тебя и всего лишь миг, пока семья, несшее в себе его жизнь, не пропало втуне.

Помню, я еще удивился, с чего вдруг отец именно это письмо вздумал отправить срочной почтой, и даже не знал, смогу ли выкроить время, чтобы встретить эту самую Хедвиг, ведь с тех пор как я работаю техником по ремонту и профилактике стиральных машин, выходные и понедельник у меня самые бойкие дни. Потому что как раз по субботам и воскресеньям отцы семейств торчат дома и обожают повозиться со стиральными машинами, дабы удостовериться в отменном качестве и безотказности новоприобретенной модной и дорогой игрушки,— ну, а мне остается только сидеть на телефоне и ждать вызовов, по которым приходится порой тащиться бог весть куда, на самую окраину, а то и в пригород. Едва зайдя в дом, я уже с порога чую вонь пережженных контактов и паленой резины или обнаруживаю на кухне пышные сугробы мыльной пены, что ползет из пасти агрегата, словно в мультфильме, я застаю затравленных мужчин и рыдающих женщин, которые из нескольких кнопок, что им полагалось нажать, одну нажать забыли либо, наоборот, нажали два раза, и тогда я упиваюсь собственной вальяжностью, неспешной деловитостью, с какой достаю из сумки инструменты, упиваюсь своим сосредоточенным видом, когда, нахмурия лоб и для важности слегка выпятив губы, сперва тщательно выискиваю, а затем устраняю неисправность, колдуя над ручками и кнопками, проводами и контактами, упиваюсь ровной любезностью своей улыбки, с которой я, залив воду и строго по инструк-

ции насыпав нужную дозу стирального порошка, включая машину и снова объясняю хозяевам порядок всех операций, а после, уже моя руки, снисходительно выслушиваю дилетантский лепет главы семейства, который счастлив, что его технические познания, оказывается, кто-то принимает всерьез. И, разумеется, он обычно уже не слишком вникает в такие мелочи, как время работы и километраж проезда, проставленные мной в квитанции, а я все с тем же невозмутимым видом сажусь в машину и качу к месту очередной домашней катастрофы.

И так по двенадцать часов в сутки, без выходных, и лишь от случая к случаю вечерок в кафе Йооса вместе с Вольфом и Уллой; а по воскресеньям вечерняя месса, на которую я обычно опаздывал, и, войдя, первым делом с испугом смотрел на священника, стараясь по его жестам угадать, начался сбор пожертвований или еще нет, и облегченный вздох, если сбор не начался, и усталость, что неоторимо влекла меня на ближайшую же скамью, где я порой тут же засыпал, пробуждаясь лишь от звона колокольчика, которым причетник извещал о конце службы. В иные часы я ненавидел себя, свою работу, свои руки.

В тот понедельник усталость навалилась прямо с утра, от воскресенья оставалось еще шесть вызовов, и я слышал, как хозяйка в прихожей говорит кому-то по телефону:

— Да-да, я обязательно ему передам.

Я сел на кровати, закурил и стал думать об отце.

Я видел, как у нас, в Кнохте, он тащится вечером через весь город на вокзал, чтобы отправить письмо с десятичасовым поездом; видел, как он бредет по площади мимо церкви, мимо дома Муллеров, потом узкой аллеей вдоль истерзанных, покалеченных деревьев; как после, чтобы срезать путь, он отпирает тяжелые ворота гимназии и, ступив под темные своды арки, входит на школьный двор, и взгляд его, привычно скользнув по желтой штукатурке стен, сразу отыскивает окна его, отцовского, класса; как он обходит дерево посреди двора, ствол которого провонял мочой — его исправно метит собака школьного зрителя; я видел, как отец отпирает своим ключом заднюю калитку, открытую обычно лишь от без пяти восемь до восьми специально

для приезжих учеников, что спешат в школу с вокзала, а Хоншайд, наш смотритель, стоя возле калитки на страже, бдительно следит, дабы свои, местные, не воспользовались льготой для приезжих,— к примеру, Альфред Груз, сын начальника станции, которому приходилось ежедневно делать длинный, нудный крюк, огибая целый квартал, только потому, что он был «из местных».

Летними вечерами закатное солнце алым заревом разливалось в незрячих окнах школы. В последний год, что я жил в Кнохте, мы с отцом часто ходили этой дорогой на вокзал отправить матери письмо или посылку с поездом, который идет в противоположную сторону и в половине одиннадцатого прибывает в Брехен, где мать тогда лежала в больнице.

И обратно отец обычно вел меня той же дорогой через школьный двор, это сокращало путь минуты на четыре, к тому же не надо было обходить унылый жилой квартал с его безобразной казенной застройкой, а кроме того, отцу, как правило, нужно было прихватить из школы книгу или стопку тетрадей. При воспоминании о тех летних воскресных вечерах в пустой гимназии на меня до сих пор накатывает тоска: серый полумрак коридоров, нелепые, сиротливые гимназические фуражки, позабытые на вешалках возле классных дверей, поблескивающий свежей мастикой пол, тусклое мерцание бронзовой позолоты на памятнике павшим гимназистам, над ним белоснежным пятном — зияющий прямоугольник на стене, где прежде висел портрет Гитлера, а возле учительской кроваво-красным бликом отсвечивает ворот мундира на портрете Шарнхорста.

Однажды я решил стащить заготовленный, уже с печатью, бланк гимназического аттестата, что лежал на столе в учительской, но бланк оказался таким неподатливо жестким и так зашуршал, когда я попробовал сунуть его под рубашку, что отец — он стоял возле книжного шкафа — обернулся, гневно выхватил глянцевитый лист у меня из рук и бросил на место. Он не стал его расправлять, разглаживать и не попрекнул меня ни словом, но с того раза мне полагалось ждать в коридоре, один на один с кроваво-красным воротником Шарнхорста, один на один с алыми губами Ифигении на картине возле дверей старшего класса, на мою долю было оставлено лишь ожидание, темно-серый полумрак коридора да еще изредка, для разнообразия, взгляд через

глазок в унылую пустоту классной комнаты. Как-то раз я нашел на свеженатертом полу червонного туза — того же алого цвета, что и губы Ифигении, что и воротник Шарнхорста, а сквозь резкий запах мастики слабо пробивался дразнящий аромат буфета, школьных завтраков. Возле каждой классной двери на линолеуме был ясно различим круглый след от огромной суповой кастрюли, и запах горячего супа, одна только мысль об этой кастрюле, которую в понедельник принесут и поставят у дверей нашего класса, будили во мне такой голод, что ни кровавый воротник Шарнхорста, ни алые уста Ифигении, ни красное сердечко червонного туза не могли его заглушить. И когда мы отправлялись домой, я всякий раз начинал упрашивать отца заглянуть к Фундалю, владельцу пекарни, просто заглянуть — и все, сказать «добрый вечер» и как бы невзначай спросить, не осталось ли у него буханки хлеба или куска темносерой коврижки с прослойкой повидла посередке, красного, как воротник Шарнхорста. И пока мы темными, глухими переулками брели к дому, я проговаривал отцу весь диалог, который следует провести с Фундалем, дабы придать нашему визиту налет случайности. Я сам дивился своей изобретательности, и чем ближе подходили мы к лавке Фундаля, тем настойчивей были мои мольбы и тем непринужденнее звучал воображаемый диалог, который отцу надлежало провести с Фундалем. Отец только энергично тряс головой, сын булочника учился в его классе, и учился плохо, но когда мы подходили к дому Фундаля, он в нерешительности останавливался. Я знал, как ему противно, но упрямо твердил свое, и отец всякий раз, словно солдатик в кинокомедии, как-то залихватски, по-строевому, всем корпусом поворачивался и, подойдя к двери, нажимал кнопку звонка, — это в воскресенье, в десять вечера; дальше неизменно разыгрывалась одна и та же сцена: кто-то из домочадцев Фундаля, но сам он — никогда, открывал дверь, отец смущенно мялся, от волнения забывал даже сказать «добрый вечер», и сын Фундаля, дочь либо супруга, — словом, тот, кто стоял перед нами в дверях, кричал куда-то назад, в темную глубину прихожей:

— Отец! Господин учитель...

И отец безропотно ждал на пороге, а я, стоя у него за спиной, по запахам старался определить, что у Фундаля сегодня на ужин, — из дома неслись ароматы ту-

шеного мяса, жареного сала, а если была открыта дверь в подвал, пахло хлебом. Потом показывался сам Фундаль, неторопливо шел в лавку, выносил буханку, которую никогда не заворачивал в бумагу, протягивал хлеб отцу, и отец брал молча, ни слова не говоря. В первый раз у нас не было с собой ни портфеля, ни бумаги, и отец до самого дома так и нес буханку под мышкой, а я молча шел рядом и украдкой следил за выражением его лица: это было, как всегда, веселое и даже гордое лицо независимого человека, и со стороны никто не смог бы догадаться, как скверно у отца на душе. Я хотел было забрать у него хлеб, но он только мягко покачал головой, и впредь, всякий раз, когда мы воскресным вечером отправлялись на вокзал к поезду отправить маме письмо или посылку, я находил предлог захватить с собой портфель. В иные, особенно голодные месяцы я, помню, уже со вторника начинал предвкушать эту вождеденную внеурочную буханку, пока однажды не наступило то роковое воскресенье, когда дверь распахнул сам Фундаль и по его лицу я сразу понял, что хлеба нам больше не видать: неподвижные темные глаза смотрели сурово, тяжелый подбородок окаменел, как у статуи, и он процедил, едва шевеля губами:

— Хлеб я отпускаю только по карточкам, но даже по карточкам только в рабочее время, а не по воскресеньям на ночь глядя.

И захлопнул у нас перед носом дверь, ту самую, что сейчас стала дверью его кафе, в котором по воскресеньям проводит свои вечера местный джаз-клуб. Я сам видел афишу: на кроваво-красном фоне ослепительной черноты негры прижимают к губам золотистые мундштуки своих тромбонов.

Ну, а тогда минуло несколько секунд, прежде чем мы пришли в себя и отправились восвояси, я — с ничемным портфелем, непривычно легким и сконфуженно обмякшим, будто это и не портфель вовсе, а заурядная хозяйственная сумка. Но лицо у отца было, как всегда, веселое и даже чуточку гордое. Он обронил:

— Пришлось вчера его сыну кол влепить.

Я слышал, как хозяйка мелет на кухне кофе, как она своим ласковым, тихим голосом уговаривает дочурку не шуметь, и мне все еще хотелось снова нырнуть в

постель и с головой укрыться одеялом; уж я-то помню, какое это блаженство, в интернате я бесподобно умел прикидываться больным, и так жалостливо кривил рот, изображая страдание, что наш наставник, капеллан Дерихс, тотчас же распорядился подать мне в постель чай и грелку, а я, дождавшись, пока все уйдут завтракать, снова проваливался в сон и продираал глаза только около одиннадцати, когда в нашу спальню приходила уборщица. Фамилия уборщицы была Вицель, и я до смерти боялся пронзительного взгляда ее холодных голубых глаз, боялся проворности ее ловких, неутомимых рук, и пока она заправляла простыни, складывала одеяла, обходя мою койку, словно ложе прокаженного, ее уста вновь и вновь изрекали одну и ту же зловещую присказку, которая и поныне угрозой звучит у меня в ушах: «Нет, человека из тебя не выйдет! Не выйдет из тебя человека!» — а ее сострадание, когда умерла мама и все меня жалели, было даже невыносимей ее угроз. Но когда после смерти мамы я снова надумал сменить свою будущую профессию и дни напролет торчал в интернате, откуда сердобольный капеллан подыскивал для меня новое место, а я тем временем чистил на кухне картошку либо слонялся со шваброй по коридорам, — от ее сострадания не осталось и следа, и, едва завидев меня, она исторгала свое мрачное пророчество: «Нет, человека из тебя не выйдет! Не выйдет из тебя человека!» Я страшился этих слов, точно скрипучего клекота хищной птицы, и спасался бегством на кухню, где под защитой старшей кухарки, добрейшей госпожи Фехтер, чувствовал себя в относительной безопасности: там я помогал шинковать капусту на засолку и в награду за труды мог даже рассчитывать иногда на порцию пудинга, — подкладывая белые кочаны под неутомимую сечку, я сладко задремывал под тихие песни молоденьких поварих. Отдельные куплеты или строчки, которые госпожа Фехтер считала «безнравственными» — вроде «И ночь глухую напролет они друг с другом миловались», — девушкам полагалось пропускать, напевая только мелодию. Но горка капустных кочанов на полу кухни таяла куда быстрее, чем мне того хотелось, и вскоре наступили два кошмарных дня, которые мне надлежало провести со шваброй в руках под командованием нашей фрау Вицель. А уж потом капеллан Дерихс подыскал для меня место у Виквебера, и я, побывав до того учеником в банке, в магазине,

в столярной мастерской, начал обучаться у Виквебера на электрика.

Совсем недавно, это уже через семь лет после интерната, проезжая по улице, я вдруг увидел фрау Вицель на трамвайной остановке, сразу же затормозил, вышел из машины и предложил подвезти ее в город. Она согласилась, но потом, уже выходя из машины возле своего дома, ласково так, по-доброму мне сказала:

— Спасибо, конечно. Только купить машину еще вовсе не значит стать человеком.

Я не нырнул с головой под одеяло и не стал утруждать себя размышлениями, права фрау Вицель или не права, потому что вышел из меня человек или нет — мне было решительно все равно.

Когда хозяйка вошла ко мне с завтраком, я все еще сидел на кровати. Я протянул ей отцовское письмо, и пока наливал себе кофе и намазывал бутерброд, она пробежала его глазами.

— Ну конечно, вам надо съездить, — сказала она, кладя письмо на поднос рядом с сахарницей. — Встретить, а потом и обедать пригласить. Учтите, эти молоденькие девушки обычно голодные, просто вида не подадут.

Она вышла, потому что телефон опять зазвонил, и я слышал, как она снова говорит: «Да-да, я ему передам, обязательно», — а вернувшись, сообщила:

— Женщина звонила, с Курбельштрассе, плачет, что-то у нее с машиной. Умоляет приехать срочно.

— Не могу, — ответил я. — У меня еще вчерашние вызовы.

Хозяйка пожалала плечами и вышла, а я покончил с завтраком, умылся и все время думал о дочке Муллеров, которую, в общем-то, совсем не знаю. Она должна была приехать еще в феврале, и я вволю посмеялся над письмом ее папаши, над его почерком, который помню по отметкам и замечаниям на моих плачевных работах по английскому, а особенно над стилем.

«Моя дочь Хедвиг, — писал тогда Муллер, — в феврале намерена переехать в город, дабы приступить к занятиям в Педагогической академии. Был бы весьма Вам признателен, если бы Вы согласились оказать мне услугу, подыскав для нее жилище. Вы, разумеется, вряд ли хорошо меня помните: я директор школы им. Гоф-

мана фон Фаллерслебена, где Вы на протяжении ряда лет проходили общеобразовательный курс», — столь многозначительным оборотом Муллер описывал тот факт моей биографии, что в шестнадцать лет, вторично оставшись на второй год, я бесславно покинул школу недоучкой. «Однако, быть может, Вы все же не совсем меня запомнили, — продолжал Муллер в том же духе, — и, смею надеяться, скромная просьба моя не обременит Вас чрезмерными хлопотами. Комнату для дочери следует подобрать не слишком шикарную, но и не бедную, хорошо бы неподалеку от Педагогической академии, однако, — если, конечно, это возможно, — не в окраинном и тем паче не в пригородном районе, а самое главное, — это обстоятельство я подчеркиваю особо, — комнату желательно снять недорого». Я читал это послание, и Муллер представлял в нем совсем не тем человеком, которого я удерживал в памяти: тот запомнился мне скорее мягким, рассеянным и даже слегка неряшливым чудачком, а тут передо мной был зануда и выжига, и два этих разных его обличья никак не могли ужиться в моем сознании.

Одного словечка «недорого» хватило за глаза, чтобы я, прежде вовсе не считавший Муллера достойным ненависти, тут же его возненавидел, ибо я ненавижу словечко «недорого». Отец мой тоже любит поразглагольствовать о былых временах, когда полкило масла стоило одну марку, а меблированная комната с завтраком — десять, когда с тридцатью пфеннигами в кармане можно было пригласить девушку на танцы, и в рассказах об этих временах словечко «недорого» неизменно произносится с укоризненным придыханием, будто именно тот, к кому адресуется рассказчик, и повинен в том, что масло нынче стоит вчетверо дороже. Мне-то все на свете цены пришлось изведать не понаслышке, и я хорошо их усвоил, потому что ни по одной не мог расплатиться, когда в шестнадцать годков один как перст оказался в городе: ценам меня обучил голод; при мысли о свежее испеченном хлебе у меня просто мутилось в голове, и по вечерам, бывало, я часами бродил по городу, думая только об одном: хлеба! Глаза мои горели, колени подгибались от слабости, и я чувствовал, как во мне пробуждается что-то волчье. Хлеба! Я бредил хлебом, как морфинист бредит морфием. Я боялся самого себя и все время вспоминал человека, который однажды читал нам в интернате лекцию о полярной экспедиции

и показывал диафильм: он говорил, что люди на Северном полюсе ели сырую рыбу, ловили и тут же ели почти живьем, раздирая рыбину на куски. Еще и сейчас, когда я, получив жалованье и расстав по карманам купюры и мелочь, слоняюсь по городу, на меня накатывает порой воспоминание о волчьем страхе тех дней, и тогда я покупаю хлеба, я покупаю хлеб всюду, где он выставлен в витрине, свежий, теплый, благоуханный,— сперва две самых красивых буханки в одной булочной, потом еще одну в следующей, и много-много булочек, золотистых, с поджаристой хрустящей корочкой, я их потом оставляю на кухне у хозяйки, потому что и четверти купленного хлеба мне одному не съесть, а при мысли, что хлеб зачерствеет и пропадет, меня охватывает ужас.

Тяжелее всего мне пришлось в первые месяцы после смерти мамы: учиться на электрика не хотелось, но я уже столько всего перепробовал — был учеником в банке, в магазине, в столярной мастерской, и всякий раз меня хватало ровно на два месяца, я возненавидел и эту новую профессию, а своего нового хозяина возненавидел так, что вечерами, когда в переполненном трамвае возвращался в интернат, меня просто тошнило от ненависти; но я выдержал, я доучился, потому что твердо решил — я им всем докажу. Четыре раза в неделю можно было ходить в госпиталь св. Винцента, где дальняя родственница матери работала на кухне: там давали суп, иногда с хлебом, и всякий раз на скамейке перед окошком раздачи я заставал четверых, а то и пятерых алчущих, таких же голодных, как я; по большей части это были старики, и едва окошко распахивалось, как только в нем показывались полные округлые локти сестры Клары, их трясущиеся руки, как по команде, тянулись к ней, да я и сам с трудом сдерживался, чтобы не вырвать миску с супом у нее из ладоней. Раздача супа происходила поздно вечером, когда больные уже спали,— вероятно, дабы понапрасну не смущать их души подозрениями, будто больничная благотворительность осуществляется за их счет,— и в приемной, где мы дожидались еды, горели только две тусклые лампочки по пятнадцать ватт, они-то и освещали нашу трапезу. Иногда наше дружное чавканье прерывалось новым стуком окошечка — сестра Клара выставляла тарелки с пудингом; пудинг всегда был красный, такой же пронзительно красный, как леденцовые

палочки, что продают с лотков на ярмарках, мы скопом кидались его расхватывать, а сестра Клара, глядя на нас из окошечка, только жалостливо качала головой и вздыхала, с трудом сдерживая слезы. Потом говорила: «Погодите», снова исчезала в недрах кухни и возвращалась с кастрюлькой соуса — ядовито-желтого, как сера или как солнце на аляповатых картинах тех горе-художников, что сбывают свою мазню на воскресных базарах. Мы съедали суп, съедали пудинг, съедали соус, втайне с замиранием сердца прислушиваясь, не хлопнет ли окошечко снова, — иногда нам доставалось еще по ломтю хлеба, а раз в месяц сестра Клара раздавала свой табачный рацион и каждый получал по одной, а то и по две драгоценных белоснежных сигареты, но обычно она открывала окошечко только для того, чтобы горестно сообщить: «Больше ничего нету». Каждый месяц группы, кормившиеся от щедрот сестры Клары, менялись днями, одна ходила три, другая — четыре раза в неделю, и этот четвертый день был воскресенье, а по воскресеньям иногда давали картошку с мясной подливкой, и я целый месяц страстно ждал этого перевода в «воскресную» смену, — наверно, с таким же вот нетерпением заключенный ждет в тюрьме конца срока.

С тех самых пор я и ненавижу словечко «недорого», слишком часто я слышал его из уст своего хозяина: Виквебер, вероятно, уже тогда принадлежал к числу тех, кого принято называть «порядочными», — прилежен, в деле знает толк и на свой лад даже незлобив. Мне еще шестнадцати не было, когда я попал к нему в обучение. В штате у него тогда было двое подмастерьев и четверо учеников, это не считая мастера, — тот, правда, большей частью пропадал на маленькой фабрике, которую Виквебер тогда как раз налаживал. Он солидный человек, наш Виквебер, основательный, пышет здоровьем и жизнелюбием, и даже набожность его не лишена известной искренности. В первые дни он мне просто не нравился, но два месяца спустя я уже люто его ненавидел из-за одних только запахов, что доносились с его кухни, оттуда пахло яствами, которых я в жизни не едал: домашними пирогами, тушеным мясом, поджаристым салом, а этот зверюга-голод, поселившийся у меня в кишках, подобных запахов просто не выносил, он ворочался и урчал, вздымая в моем нутре что-то горячее и кислое, и я начинал ненавидеть Виквебера пуще прежнего, ведь сам-то я ехал по утрам на работу,

прихватив с собой только два ломтя хлеба, склеенных красным повидлом, и судок холодного супа, который по идее можно было согреть в обеденный перерыв на соседней стройке и который я обычно даже не успевал донести до мастерской, жадно вылакав по дороге. Так я и приходил на работу, гремя пустой посудиною в сумке с инструментом и уповая на то, что какая-нибудь сердобольная клиентка предложит мне кусок хлеба, тарелку супа, все равно что — лишь бы поесть. И, как правило, мне действительно кое-что перепадало. Парень я был тогда застенчивый, очень тихий, рослый, худой, и, похоже, ни одна душа не подозревала, даже не догадывалась о волке, которого я носил в своем чреве. Однажды я случайно услышал, как женщина, — она не знала, что я ее слышу, — меня расхваливала, а под конец даже сказала: «И вообще — у него такой благородный вид...» «Отлично, — подумал я, — у тебя, значит, благородный вид». И стал пристальнее изучать себя в зеркале, что висело у нас в интернатской умывальной комнате; я вглядывался в свою бледную, продолговатую физиономию, выпячивал и снова поджимал губы и думал: вот, значит, как выглядит тот, у кого благородный вид. И громко произносил прямо в лицо своему отражению там, в зеркале: «Мне бы чего-нибудь пожрать...»

Отец тогда все писал, что обязательно приедет посмотреть, как я устроился, но так и не приехал. А когда я его навещал, он расспрашивал про городскую жизнь, ну, я и рассказывал — про черный рынок, про интернат, про свою работу; он только беспомощно тряс головой, а стоило мне заикнуться о голодухе, — я редко об этом заговаривал, но иногда само вырывалось, — он бежал на кухню и притаскивал все, что было в доме съестного — яблоки, хлеб, маргарин, а иной раз становился к плите и кружочками торопливо резал на сковородку вареные картофелины, дабы накормить меня жареной картошкой; однажды он вернулся совсем растерянный с кочаном капусты в руках и сказал:

— Больше ничего нет, но, наверно, из этого можно сделать салат.

Только не в радость было мне отцовское угощение. Все время казалось, будто я, рассказывая про жизнь в городе, поступаю нехорошо, неправильно или, может, выражаюсь неточно, — словом, будто я говорю неправду. А ведь я и цены называл — на хлеб, масло, на уголь, и отец всякий раз приходил в ужас, но потом, похоже,

всякий раз снова забывал о ценах, хоть и переводил мне иногда деньги, написав на квитке: «Купи себе хлеба!» — и я, получив перевод, прямо с почты шел на черный рынок, покупал большую, на килограмм, а то и на полтора, буханку, свежую, только что из пекарни, и, устроившись поблизости на скамейке или где-нибудь в развалинах, разламывал хлеб пополам и ел, грязными пальцами впиваясь в податливый мякиш и запихивая в рот кусок за куском; иногда хлеб почти дышал, внутри был еще совсем теплый, и мгновениями мне чудилось, будто в руках у меня живое существо, а я рву его на части, и тогда мне вспоминался человек, читавший нам лекцию о полярной экспедиции, про то, как люди на полюсе раздирали на куски пойманную рыбу и ели ее живьем. Случалось, я решал оставить часть буханки на потом, заворачивал в газету и засовывал в сумку с инструментом, но, не пройдя и ста шагов, снова останавливался, извлекал хлеб из сумки, разворачивал и прямо так, стоя посреди тротуара, доедал все до последней крошки. Если буханка была на полтора килограмма, я наедался так, что в интернате великодушно уступал кому-нибудь свой ужин, а сам тут же заваливался на койку; я лежал, укутавшись в одеяла, блаженно, всем нутром впитывая в себя сладость свежего хлеба и соловья от сытости. Было еще только восемь вечера, и впереди меня ждали целых одиннадцать часов сна, а сна мне тоже никогда не хватало вдосталь. Вероятно, отец в ту пору ни о чем, кроме маминой болезни, думать не мог; я, во всяком случае, бывая дома, изо всех сил старался избегать и самого слова «голод», и любых намеков на свои невзгоды, потому что знал — да и видел, — что сам-то он живет куда голодней меня; он пожелтел с лица, отощал, и вид у него был какой-то отрешенный. Потом мы ехали навещать маму, и она тоже, пока я сидел возле ее койки, все время уговаривала меня покушать, — она специально для меня всегда приберегала «что-нибудь вкусненькое» из своего больничного рациона или из передач других посетителей: фрукты, бутылку молока, пирожное, — но я не мог есть, я ведь знал, что у мамы плохо с легкими и ей самой нужно усиленное питание. А она настаивала, уверяла, что иначе все пропадет, отец же только горестно причитал:

— Клэр, тебе обязательно надо кушать, тебе обязательно нужно выздороветь!

Мама плакала, отвернув лицо к стене, а я все равно

не мог проглотить ни куска из припасенного мамой угощения. На соседней койке лежала женщина, в ее глазах я узнавал глаза своего волка, и знал: она-то хоть сейчас готова съесть все, что мама оставила, и чувствовал жар маминой ладони, когда она притрагивалась к моей руке, и видел в маминых глазах страх перед алчным взглядом соседки. Мама смотрела умоляюще, просила:

— Сыночек, родной, поешь, я же знаю, ты у меня голодный, я-то знаю, каково жить в городе.

Но я лишь тряс головой, отвечал на прикосновения маминых рук, крепко сжимая ее ладони в своих, и взглядом, только взглядом молил ее меня не упрашивать, — и тогда она улыбалась, больше о еде не заговаривала, и я знал, что она меня поняла. Я бормотал:

— Может, тебе лучше дома? Может, хочешь в другую палату?

На что мама всегда отвечала:

— В других палатах мест нет, а домой меня никто не отпустит, я ведь заразная.

А потом мы, отец и я, шли говорить с врачом, и я ненавидел врача за его казенное равнодушие; беседуя с нами, он всегда думал о чем-то своем, на вопросы отца отвечал скучно, поглядывая то на дверь, то в окно, и в ленивых движениях его красных, сытых, припухлых губ я читал одно: мама все равно умрет. Но женщина, что лежала на соседней койке, умерла раньше. Как-то мы пришли в воскресенье днем, и оказалось, что ночью она умерла, койка была пуста, а муж, которого, очевидно, только что известили, вошел в палату и стал рыться в тумбочке, торопясь забрать ее нехитрые больничные пожитки: шпильки, пудреницу, нижнее белье, коробку спичек; он проделал все это молча, деловито, даже не кивнув нам. Низенький, тощий, он чем-то походил на щуку: кожа темная, глазки маленькие, круглые, а когда вошла медсестра, он разорался на нее из-за банки тушенки, которой почему-то в тумбочке не оказалось.

— Где тушенка?! — завопил он, едва сестра появилась на пороге. — Я ее только вчера принес, вчера вечером, в десять, после работы! Не могла она ее съесть, коли ночью померла! — В ярости потрясая шпильками жены у сестры перед самым носом, брызжа слюной, что желтоватыми комочками скапливалась в уголках губ, он уже почти визжал: — Где тушенка?! Тушенку сюда!

Или вы сейчас же вернете мне консервы, или я разнесу всю вашу лавочку к чертям собачьим!

Сестра побагровела, тоже начала кричать, и по лицу ее я понял, что, наверно, тушенку прибрала к рукам именно она. Но мозгляк не унимался, в ярости он побросал вещи на пол и, топча их ногами, орал:

— Тушенку мне, слышите! У-у, сволочи! Потаскухи! Ворюги! Убийцы!

Это продолжалось недолго, отец выбежал в коридор звать на подмогу персонал, а я вклинился между медсестрой и мужчиной, который теперь от слов норовил перейти к рукоприкладству, но он был меньше и куда проворней меня и все равно изловчился несколько раз ударить сестру в грудь своими сухонькими коричневыми кулачками. И тут я увидел, что сквозь гримасу злобы лицо его ухмыляется, а зубы ощерены, как у крысы,— да, точно такой же оскал был у дохлых крыс, когда наша кухарка в интернате извлекала их из крысоловки.

— Отдавай тушенку, потаскуха! — визжал он.— Где моя тушенка?

Но тут подоспел отец в сопровождении двух дюжих санитаров, которые живо скрутили скандалиста и выволокли в коридор, однако из-за закрытых дверей мы еще несколько раз слышали его истошный вопль:

— Верните консервы! У-у, ворюги!

Когда наконец в коридоре стихло и мы переглянулись, мама спокойно проговорила:

— Всякий раз, как он приходил, у них начиналась ругань из-за денег. Она давала ему деньги на продукты. Он все время на нее орал, доказывал, что цены опять подскочили, а она не верила. Они такое друг другу говорили, просто ужас, а потом она давала ему денег на следующий раз.— Мама помолчала, глянула на опустевшую койку и тихо добавила: — Двадцать лет жены ты, а сын, он у них один был, на войне погиб. Она фотокарточку под подушкой держала, достанет иногда и плачет. Карточка и сейчас там лежит, и деньги тоже. Он их не нашел. А тушенку,— закончила она совсем тихо,— тушенку она сама успела съесть.

Я попробовал представить эту жуткую картину: среди ночи, совсем рядом с мамой, соседка, эта мрачная женщина с волчьим взглядом, уже при смерти, с угрюмой жадностью доедает мясо прямо из консервной банки.

В те годы, после смерти мамы, письма от отца приходили все чаще и становились все длинней. Обычно он писал, что скоро обязательно выберется посмотреть, как я устроился, но так и не выбрался; семь лет я прожил в городе один. Тогда, после маминой смерти, он предлагал мне переехать обратно в Кнохту, даже подыскать для меня подходящее место, но я не хотел уезжать из города, я уже помаленьку вставал на ноги, начал кое-что кумекать в делишках Виквебера и твердо решил у него доучиться. К тому же у меня появилась своя девушка, ослепительная блондинка, звали ее Вероникой, она работала у Виквебера в конторе, и мы часто с ней встречались: летними вечерами ходили гулять к Рейну, ели мороженое в кафе, целовались в темноте, сидя у самой реки на синем гранитном парапете набережной и свесив в воду босые ноги. А в светлые ночи, когда можно было разглядеть даже другой берег, добирались вплавь до середины реки, где ржавела на отмели полуразвалившаяся баржа, и садились на железную скамью, на которой когда-то, должно быть, коротал вечера старик шкипер со своей старухой женой,— рубку, что служила им жильем, давно растащили на доски, на ее месте торчала только железная мачта, к которой можно было прислониться. Внизу, под палубой, хлюпая и урча, перекатывалась вода. Потом, когда в контору Виквебера пришла работать его дочь Улла, а Веронику уволили, мы стали видеться все реже. А еще через год она вышла замуж — за пожилого вдовца, хозяина молочной лавки, что совсем неподалеку от моей нынешней квартиры. Когда машина в ремонте и мне приходится ездить на трамвае, я часто проезжаю мимо их магазина и почти всегда вижу там Веронику: она по-прежнему блондинка и по-прежнему ослепительна, но семь лет, что миновали с той поры, оставили свой след на ее лице. Она пополнела, как-то вся раздалась, во дворе у нее сушится на веревке детское бельишко, голубое и розовое, розовое, наверно, дочкино, а голубое — это сынишки. Однажды, когда дверь в магазин была открыта, я увидел Веронику в глубине, за прилавком: своими щедрыми, красивыми, белыми руками она разливала молоко. Мне она прежде, бывало, приносила хлеба — ее двоюродный брат работал на хлебозаводе — и очень любила кормить меня из рук; с тех пор я и запомнил эти руки, нежно подносящие кусочек хлеба к моим губам. Но однажды я показал ей мамино колечко и за-

метил в ее глазах тот же хищный желтоватый блеск, что мерцал в неподвижном взгляде маминой соседки по больничной палате.

Да, за эти семь лет я слишком хорошо усвоил все цены, чтобы спокойно слышать словечко «недорого»; недорогих цен не бывает, а на хлеб они вообще всегда чуть выше, чем следует.

Что ж, я встал на ноги — или как там это еще называется; я настолько хорошо овладел своим ремеслом, что Виквебер давно уже не рискует оплачивать мой труд «недорого», как делал это в первые три года. У меня машина, хоть и малолитражка, но своя, за которую я даже сполна все выплатил, и уже отложена приличная сумма на лицензию, которую я очень хочу выкупить, чтобы в любой момент иметь возможность уйти от Виквебера и стать его конкурентом. Большинство людей, с которыми я имею дело, относятся ко мне хорошо, и я стараюсь относиться к ним так же. В общем, все вполне терпимо. Я знаю цену себе, своим рукам, своим техническим навыкам, опыту и любезному обхождению с клиентами, которые наперебой расхваливают мое обаяние и безупречные манеры, — все это как нельзя кстати, потому что я ведь теперь не просто техник по ремонту стиральных машин, которые могу собирать и разбирать хоть с завязанными глазами, я еще и рекламный агент по их продаже, — да, я знаю себе цену и знаю, что могу набивать эту цену еще и еще, так что у меня все в полном ажуре, а цены на хлеб тем временем, как принято говорить, «выровнялись». Я работал по двенадцать, спал по восемь часов в сутки, еще целых четыре часа мне оставались на то, что принято называть «досугом», — в часы досуга я встречался с Уллой, дочерью моего хозяина, с которой хоть и не был помолвлен, во всяком случае, в той форме, которую принято считать официальной, но негласно само собой подразумевалось, что я на ней женюсь.

Но лишь к сестре Кларе из госпиталя св. Винцента, к той, что давала мне суп, хлеб, ядовито-красный пудинг с желтым, как сера, соусом, к той, что подарила мне в общей сложности штук двадцать сигарет, — пудинг, который я сегодня в рот бы не взял, сигареты, которые сегодня я побрезговал бы курить, — к сестре Кларе, что давно покоится в земле, за городом, в тиши монастыр-

ского кладбища,— к ней одной мое сердце питает куда больше нежности и тепла, чем ко всем прочим женщинам, с которыми я познакомился просто так, бывая где-то с Уллой: я смотрел им в глаза, я смотрел на их руки и ясно видел цену, которую придется заплатить, и тогда с меня мигом слетал весь мой хваленый шарм, а с них — весь их маскарад, все благоуханные ароматы, весь их безупречный лоск, цену которому я слишком хорошо знаю,— и я будил в себе волка, что все еще дремлет во мне, будил свой голод, который обучил меня ценам,— нежно склоняясь в танце над девичьей шеей, я слышал его утробный рык и видел, как прелестная ручка в моей ладони или у меня на плече превращается вдруг в когтистую лапку, готовую вырвать у меня хлеб. Лишь очень немногие одаривали меня просто так: отец, мама да еще иногда девчонки с фабрики...

II

Я обтер бритву гигиенической салфеткой — у меня возле умывальника висит целая пачка таких салфеток, мне их дарит агент парфюмерной фирмы; на каждом листочке отпечатаны алые женские губки, а под алыми губками надпись: «Пожалуйста, не стирайте вашу помаду полотенцем!» Есть у меня и другие салфетки, на них изображена мужская рука с бритвой, разрезающей полотенце, там и надпись другая: «Пожалуйста, вытирайте свою бритву только нашими салфетками!» — но я предпочитаю эти, с алыми женскими губками, а те, с бритвой, дарю детям хозяйки.

Я забрал моток кабеля, который Вольф занес мне вчера вечером, сгреб деньги с письменного стола, куда я их обычно бросаю накануне, придя с работы и вывернув все карманы,— и, уже выходя из комнаты, услышал телефонный звонок. Хозяйка снова сказала:

— Да, я обязательно ему передам,— а потом посмотрела на меня и молча протянула трубку. Я покачал головой, но она кивнула, и глаза у нее были такие серьезные, что я подошел. Женский голос что-то лепетал сквозь рыдания, я сумел разобрать только:

— Курбельштрассе, пожалуйста, приезжайте, прошу вас!

Я сказал:

— Хорошо, приеду.

Но женский голос продолжал всхлипывать и причитать, я понял только:

— Муж... мы поругались... пожалуйста, приезжайте поскорее...

Я повторил:

— Хорошо, я приеду, — и повесил трубку.

— Не забудьте про цветы, — напомнила хозяйка. — И пригласите ее поесть. Будет как раз обеденное время.

Про цветы я забыл, на вокзал пришлось ехать с самой окраины, хотя совсем рядом у меня оставался еще один заказ, за который спокойненько можно было вписать в квитанцию липовый километраж плюс время проезда. Ехал я быстро, было уже полдвенадцатого, а поезд в 11.47. Я знаю этот поезд, по понедельникам часто на нем возвращался, когда ездил на воскресенье к отцу. И пока ехал к вокзалу, все пытался представить, как выглядит эта девушка, дочка Муллера.

Семь лет назад, в тот последний год, что я жил дома, мне случалось ее видеть; в доме Муллеров я в тот год был ровно двенадцать раз — по одному разу в месяц, когда относил пачку тетрадок по иностранному языку, которые отец регулярно обязан был просматривать. На последней странице каждой тетрадки в самом низу красовались аккуратные подписи всех троих преподавателей иностранных языков: Му — это был Муллер, Цбк — это Цубанек, и Фен — это уже подпись отца, от которого я унаследовал фамилию Фендрих.

Отчетливей всего в доме Муллера мне запомнились почему-то темные пятна на стенах: до самых окон второго этажа светлую зелень штукатурки омрачали темные облачка сырости, что ползла от земли; фантастические эти разводы напоминали карты из какого-то таинственного атласа — летом они обсыхали по краям, отчего на пятнах появлялись белесые ободки, похожие на струпыя проказы, но и в самую жару облачка никогда не испарялись до конца, упорно храня свою темно-серую влажную сердцевину. Осенью же и зимой сырость снова расползалась, легко преодолевая белесые струпыя ободков и расплываясь, как чернильная клякса на промокашке — безнадежно и неудержимо. Хорошо помнилась мне и неряшливость Муллера, вялое шарканье его шлепанцев по полу, его длинная трубка, кожаные переплеты на книжных полках и фотография в прихожей, на которой красовался сам Муллер — еще молодой, в пестрой студенческой шапочке, а под фо-

тографией вензелями и завитушками выведено «Гевтония» или еще какая-то «...ония». Иногда я видел и сына Муллера, он на два года моложе меня, когда-то мы учились в одном классе, но в ту пору я уже безнадежно от него отстал. Коренастый, крепко сбитый, с короткой стрижкой, похожий на молоденького буйволена, он старался, исключительно по доброте душевной, не обременять меня своим обществом долее одной минуты, очевидно, ему было тягостно со мной разговаривать, потому что приходилось следить за интонациями, вытравляя из них все, что, как он считал, может меня обидеть: сочувствие, снисходительность и наигранную фамильярность. Поэтому, встречая меня, он ограничивался натужно-бодрым приветствием и сразу же вел к отцу в кабинет. И только два раза я видел дочку Муллера — щупленькую девчонку лет двенадцати или тринадцати: в первый раз она играла в саду с пустыми цветочными горшками — возле темно-зеленой замшелой стены она выстроила из этих веселых, красноватых горшков что-то вроде пирамиды и испуганно вздрогнула, когда женский голос вдруг позвал: «Хедвиг!» — казалось, ее испуг передался и всей ненадежной конструкции, потому что горшок, увенчавший вершину пирамиды, вдруг покачнулся, зашатался и скатился вниз, разбившись о темный влажный цемент садовой дорожки.

В другой раз я увидел ее в коридоре возле кабинета Муллера: в корзине для белья она устроила колыбель для своей куклы; светлые волосы, ниспадающие на хрупкую детскую шею, казались в полумраке прихожей почти зеленоватыми, и я услышал, как она, склонившись над куклой — самой куклы было не видно — тихо напевает загадочную мелодию, время от времени вставляя в нее совершенно непонятное слово, а может, имя: Зувейя-зу-зу-Зувейя; а когда я проходил мимо, она подняла глаза и на меня глянуло худенькое, бледное личико в обрамлении длинных, тонких прядей золотистых волос. Выходит, эта девчушка и есть та самая Хедвиг, для которой я теперь подыскал комнату.

Надо заметить, что комнату, какую заказал мне Муллер, ищут в нашем городе, наверное, тысяч двадцать желающих; а комнат таких на весь город, пожалуй, от силы две, а то и вообще одна, и сдает такую комнату разве что некий безвестный ангел, чудом затесавшийся среди прочих смертных, — мне-то повезло, у меня как раз такая комната, я нашел ее в ту пору,

когда упросил отца забрать меня из интерната. Комната просторная, небогато, но удобно обставленная, и все четыре года, что я в ней живу, длятся как один миг бесконечного блаженства; при мне здесь родились дети хозяйки, младшему я даже стал крестным отцом, потому что именно я среди ночи вызывал акушерку. В первые месяцы — я в ту пору все равно вставал ни свет ни заря — я согревал Роберту молоко и кормил его из бутылочки, потому что сама хозяйка, вымотавшись за ночь, по утрам крепко спала и у меня не хватало духу ее будить. Муж у нее — один из тех лентяев, кто выдает себя за «художника по призванию», чей талант сломлен превратностями судьбы и незаслуженно обойден славой: он готов часами оплакивать свою утраченную юность, якобы загубленную войной.

— Нас обманули, — сетует он, — украли у нас лучшие годы жизни, самый расцвет, от двадцати до двадцати восьми...

Прикрываясь этой своей украденной юностью, он занимается всяческой ерундой, а жена не только смотрит на это сквозь пальцы, но даже поощряет и финансирует его причуды, — он, видите ли, пишет картины, проектирует дома, сочиняет музыку... Ни того, ни другого, ни третьего, — по крайней мере на мой взгляд, — он толком не умеет, хотя время от времени кое-какие заработки ему переппадают. По всей квартире на стенах красуются его эскизы: «Вилла писателя в Альпах», «Вилла скульптора» и так далее, и на всех этих эскизах полным-полно аккуратных, искусственных деревьев, как их рисуют архитекторы, а я ненавижу эти архитектурные деревья, потому что вот уже пятый год люблюсь на них изо дня в день. Советы его я принимаю молча, как микстуру, которую выписал по дружбе знакомый врач.

— У нас в городе, — начинает он издавека, — в ваши годы, когда я тоже еще гулял холостяком, мне пришлось пройти через такое, чего я врагу не пожелаю, а тем более вам, — и я должен смекнуть, что он имеет в виду квартал проституток.

Вообще-то муж моей хозяйки по-своему очень даже милый человек, но, на мой взгляд, полный болван, единственная одаренность которого проявилась в умении сохранить любовь своей жены и наплодить с ней очаровательных детишек. Хозяйка же у меня — высокая белокурая красавица, в которую я одно время

был влюблен до беспамятства: тайком целовал ее передник, ее перчатки, а от ревности к ее болвану-мужу не мог заснуть по ночам. Однако она любит его, так что, выходит, мужчине вовсе не обязательно быть работающим и вообще преуспевать, чтобы пользоваться любовью такой женщины, — женщины, которой я до сих пор восхищаюсь. Иногда он стреляет у меня немного денег, чтобы сходить в одно из так называемых артистических кафе, щегольнуть там аляповатым галстуком и нечесаной шевелюрой, вылакав целую бутылку дешевого шнапса, — и я даю ему эти несколько марок, потому что боюсь обидеть его жену, унизив его отказом. А он знает об этом и пользуется, потому что наделен той хитростью, без которой все лентяи подошли бы с голода. Он и есть лентяй, но из тех, кто всем видом старается показать, будто его жизнь — сплошная импровизация, а он, мол, по части импровизации большой мастак, хотя я-то уверен, что он даже этого толком не умеет.

Мне всегда казалось, что второй такой комнаты, как у меня, не сыскать, — тем сильнее было мое изумление, когда я нашел для дочки Муллера почти такую же: в самом центре, в старом городе, в доме, где салон-прачечная, куда я регулярно наведываюсь по службе — проверяю, не износились ли резиновые прокладки, меняю обветшавшую проводку, чтобы не закоротило, подкручиваю для профилактики слабые болты. Я люблю старый город, эти уютные кварталы, что за последние полвека меняли своих жителей и домовладельцев словно почтенный старый фрак, — бог весть когда надетый однажды к свадьбе, он потом переходит к обедневшему дядюшке, который в свободное время не брезговал приработками музыканта, а после, заложенный, да так и не выкупленный родней этого умершего дядюшки, фрак из ломбарда попадает на аукцион и перекочевывает в руки костюмера, а тот по умеренной цене сдает его напрокат обнищавшим аристократам, внезапно приглашенным на прием к послу некоего зарубежного государства, местонахождение которого они тщетно пытаются разыскать в географическом атласе своего младшего сына.

Именно там, в доме, где салон-прачечная, я и подыскал для дочки Муллера комнату, почти полностью удовлетворявшую запросам ее папаши: просторную, со скромной, но вполне приличной мебелировкой и большим

окном, из которого открывался вид на старый, еще аристократических времен, господский сад; хоть и самый центр — а после пяти вечера здесь покой и благодать.

Комнату я снял с первого февраля. А потом началась морока, потому что в конце января Муллер вдруг написал, что дочь заболела и сможет приехать только в середине марта, а посему нельзя ли устроить так, чтобы комнату за дочерью оставить, но плату за проживание не взимать. Прочитав такое, я разразился яростным посланием, в котором очень доходчиво ему объяснил, как обстоит в городе с жильем, и, признаюсь, был потом пристыжен смиренным ответом старика, немедленно согласившегося оплатить эти злосчастные полтора месяца.

О самой девушке я за все это время вообще не успел подумать, — только удостоверился, прислал ли Муллер деньги, как обещал. Он их прислал, и когда я об этом осведомился, хозяйка задала мне вопрос, который уже задавала в первый день, когда я смотрел комнату.

— Это не ваша девушка? Это точно не ваша девушка?

— Господи, — ответил я со злостью, — я же сказал: я ее вообще не знаю.

— Учтите, я не потерплю, чтобы... — начала она, но я ее перебил.

— Знаю, знаю, чего вы не потерпите, но я вам еще раз повторяю: мы даже не знакомы.

— Допустим, — ухмыльнулась она, и за одну эту ухмылку я ее возненавидел. — Я ведь только потому спрашиваю, что для помолвленных я иногда делаю исключение.

— О, господи, — простонал я, — только помолвки мне недоставало. Да успокойтесь вы, ради бога.

Но она, похоже, не очень-то успокоилась.

На вокзал я опоздал минут на пять, и, бросая в прорезь автомата монетку и дожидаясь, пока автомат выдаст перронный билет, все пытался припомнить девушку, которая тогда возле дверей муллеровского кабинета, куда я пробирался в потемках с очередной стопкой тетрадок по иностранному языку, тянула свое загадочное «Зувейя». Я встал на виду, перед лестницей, что ведет с перрона, и твердил себе: блондинка, двадцать лет, будущая учительница, — но, взглядываясь в людской поток, устремлявшийся мимо меня к вы-

ходу, вскоре убедился, что на свете, очевидно, полным-полно двадцатилетних блондинок, — столько их сошло с этого поезда, и у каждой был в руках чемодан, и каждая, судя по выражению лица, вполне могла в будущем стать учительницей. А еще я понял, что нет у меня ни сил, ни охоты приставать хоть к одной из них с расспросами, и тогда, сунув в рот сигарету, я закурил и отошел в сторонку, — и тут возле перронной ограды заметил одинокую фигурку: примостившись на чемодане, девушка, видимо, уже довольно давно сидела у меня за спиной; волосы у нее были темные, а пальто — зеленое, цвета первой травы, что пробила теплая дождливой ночью, оно было такое зеленое, что казалось, я прямо слышу запах этой первой весенней муравы; а волосы были темные, как шиферная крыша после дождя, и белое, удивительно белое лицо, почти как свежая побелка стен, сквозь которую тепло просвечивает охра. Я даже решил, что она так накрасилась, но она вовсе не была накрашена. Я смотрел на это ярко-зеленое пальто, на это лицо, и внезапно ощутил страх, тот страх, который, должно быть, испытывают первооткрыватели, ступая на новую землю и зная, что другая экспедиция тоже в пути и, возможно, уже водрузила на этой земле свой флаг, объявив ее своим владением, — страх первооткрывателя, который чувствует, что все муки, все тяготы и невзгоды, весь смертельный риск долгого и опасного путешествия могут оказаться напрасными. Это лицо вошло в меня сразу и врезалось до самой сердцевины, как тяжелый чекан, что, опустившись вместо упругого серебра на податливый воск, расплющивает и прошибает его напрочь, — меня будто пронзило насквозь, но рана почему-то не кровоточила, и на какой-то безумный миг мною овладело желание немедленно это лицо разрушить — так художник вдребезги разбивает граверную доску, сняв с нее один-единственный оттиск.

Я выронил сигарету и побежал, хоть нас и разделяло всего шесть шагов. Но едва я очутился перед ней, страх исчез. Я спросил:

— Я могу чем-нибудь вам помочь?

Она улыбнулась и кивнула:

— Можете, если знаете, как попасть на Юденгассе.

— Юденгассе? — переспросил я, не веря своим

ушам: так бывает во сне, когда слышишь свое имя и никак не можешь сообразить, что зовут именно тебя. Да, я был не в себе и, кажется, впервые в жизни понимал, что это значит — быть не в себе.— Юденгасе? — повторил я еще раз.— Ах, Юденгасе! Ну конечно! Пойдемте!

Словно замороженный, я смотрел, как она встает, с некоторым удивлением взглянув на меня, сама берет тяжелый чемодан, и даже не подумал ей помочь,— я настолько оторопел, что напрочь забыл о всякой там вежливости. От мысли, которая в тот миг еще не вполне дошла до моего сознания,— что она и есть Хедвиг Муллер, хотя это первое, что должно было прийти мне в голову, едва девушка произнесла название улицы,— от этой мысли я чуть не ошалел. Нет, тут что-то не так, тут какая-то путаница: я был настолько убежден, что дочь Муллера — блондинка, одна из тех бесчисленных блондинок с лицами будущих учительниц, которые совсем недавно проходили перед моим взором, что просто не мог признать в ней дочку Муллера, и даже сегодня меня иной раз одолевают сомнения, действительно ли ее так зовут, и я не без робости произношу ее имя, ибо мне-то кажется, что настоящее ее имя мне еще только предстоит отыскать.

— Да-да,— сказал я в ответ на ее вопрошающий взгляд,— пойдемте, пойдемте же,— и пропустил ее с тяжелым чемоданом вперед, а сам последовал за ней к турникету.

И в те полминуты, идя за ней следом, понял, что буду владеть ею и ради того, чтобы владеть ею, готов сокрушить все, что встанет у меня на пути. Я видел, как крушу стиральные машины, как вдребезги разбиваю их тяжеленным молотом. Я смотрел на спину Хедвиг, на ее шею, на ее руки, смотрел на костяшки пальцев, побелевшие от тяжелой ноши. Я ревновал ее к контролеру, что посмел на секунду коснуться ее руки, когда она протянула ему билет, ревновал к асфальту перрона, по которому ступали ее ноги, и только почти у самого выхода сообразил, что надо взять у нее чемодан.

— Простите,— пробормотал я, подскочив к ней и забирая чемодан.

— Очень мило с вашей стороны, что вы пришли меня встретить,— сказала она.

— Как? — изумился я.— Разве вы меня знаете?

— Ну конечно,— она засмеялась.— Ведь ваша фотокарточка всегда стоит на письменном столе у вашего отца.

— Вы знаете моего отца?

— Еще бы,— ответила она.— Он же у нас преподавал.

Я сунул чемодан на заднее сиденье, поставил рядом ее сумку и помог ей сесть в машину,— так я впервые прикоснулся к ее ладони, к ее локтю: округлый и крепкий локоть, большая, но удивительно легкая ладонь, легкая, прохладная и сухая,— а когда я обходил машину, чтобы сесть за руль, я вдруг остановился перед радиатором и открыл капот, сделав вид, будто мне надо что-то посмотреть в моторе, но смотрел только на нее, замершую там, в машине, за ветровым стеклом, и внезапно ощутил страх, но уже не тот, прежний страх, что ее может открыть и завоевать кто-то другой, тот страх исчез, ибо я знал, что отныне не отойду от нее ни на шаг, ни в этот день, ни в дни, которые будут после, во все те дни, сумма которых зовется жизнью. Нет, то был совсем новый страх, страх перед тем, что теперь неминуемо должно случиться: поезд, в который я собирался сесть, был готов к отправлению, он стоял под паром, пассажиры заняли свои места, семафор открыт, кондуктор в красной фуражке поднял свою лопаточку, и все ждут только меня, а я уже вскочил на подножку, все ждут, когда я наконец войду в вагон,— но в этот самый миг я спрыгнул. Я думал о бесконечных разговорах по душам, которые мне предстоит выдержать, и понял вдруг, что всегда ненавидел разговоры по душам, всю эту нескончаемую и бессмысленную болтовню, унылые, бесплодные препирательства — кто виноват, а кто нет, попреки, скандалы, телефонные звонки, письма, вину, которую мне придется на себя взвалить,— вину, которая уже на мне. Я видел свою прежнюю, вполне «терпимую» жизнь — она работала на холостом ходу, как какая-то удивительно сложная машина, при которой не было механика; меня при ней не было; движок пошел вразнос, расшатывались болты, поршни раскалились докрасна, уже летели в воздух какие-то железяки и воняло гарью.

Я давно уже закрыл капот и, опершись локтями на нос машины, просто смотрел сквозь ветровое стекло на ее лицо, разделенное косой полоской «дворника»

на неравные части: мне казалось непостижимой загадкой, как это ни один мужчина до сих пор не заметил, до чего она прекрасна, почему еще ни один не распознал ее красоту, — или, быть может, эта красота явилась на свет лишь в тот миг, когда я узрел ее?

Она взглянула на меня, когда я влез в машину и уселся за руль, и в глазах у нее я прочел страх, что я сейчас что-нибудь скажу или, не дай бог, сделаю, но я ни слова не сказал, молча тронул машину с места, и мы поехали в город; лишь иногда, делая правый поворот, я краем глаза видел ее профиль и заметил, что она тоже искоса на меня поглядывает. Я въехал на Юденгассе и уже сбавил скорость, чтобы остановиться перед домом, где ей предстояло жить, но я понятия не имел, что мне делать, когда мы остановимся, вылезем из машины и войдем в дом, и, рванув дальше, проехал всю Юденгассе, потом прокатил ее чуть ли не по всему городу, снова вывернул на вокзал, с вокзала той же дорогой вернулся на Юденгассе и только теперь остановил машину.

Я не сказал ни слова, помогая ей выйти из машины и снова почувствовав в своей левой руке ее легкую сухую ладонь и крепкий округлый локоть. Я взял ее чемодан, подошел к парадному, позвонил и даже не позволил себе на нее оглянуться, зная, что она, прихватив сумку, идет за мной следом. Я первым, с чемоданом, вошел в дом, взбежал наверх, поставил чемодан перед дверью и, уже спускаясь вниз, встретил Хедвиг: с сумкой в руках, она медленно поднималась по лестнице. Я не знал, как к ней обратиться, Хедвиг — неудобно, «фройляйн Муллер» — тем более, поэтому я просто сказал:

— Через полчаса я заеду, и мы пойдем обедать, хорошо?

Она только кивнула, глядя куда-то мимо, и лицо у нее было такое, будто она что-то глотает и никак не может проглотить. Больше я ничего не стал говорить, сбежал вниз, сел в машину и поехал, сам не знаю куда. Я не помню, по каким улицам ехал, о чем думал, помню только, что почувствовал себя бесконечно одиноко в машине, на которой прежде почти всегда ездил один, лишь изредка вдвоем с Уллой, и я все пытался вспомнить, вообразить, как же это было час назад, когда я — еще без Хедвиг — ехал к вокзалу.

Но я не мог, не мог вспомнить, как это было: да, я

видел самого себя в своей машине, видел, как я один еду к вокзалу, но это был как бы и не я вовсе, а мой брат-близнец, с которым мы хоть и похожи как две капли воды, но только внешне, а так — ничего общего. Опомнился я, только поняв, что напрямик рулю к цветочному магазину, — я остановил машину, вошел. Меня обдало прохладой и сладковатым цветочным дурманом, в магазине было пусто. «Нужны зеленые розы, — думал я, — да, розы с зелеными лепестками», и тут увидел себя в зеркале, увидел, как достаю из кармана бумажник и вынимаю деньги; я даже не сразу себя узнал и тут же покраснел, поняв, что бормочу вслух — «зеленые розы», — и испугавшись, что меня кто-нибудь услышит; я и узнал-то себя только тогда, когда понял, что краснею, и подумал: «Так это, значит, и вправду ты, это у тебя такой благородный вид». Откуда-то из глубины выплыла пожилая продавщица, еще издали пытаясь ослепить меня сиянием своей улыбки и ровных искусственных зубов: видимо, она только что доела свой завтрак и, проглотив последний кусок, тут же натянула на лицо свою заученную улыбку, но мне показалось, что этот последний кусок ей все еще мешает и улыбка никак не натягивается. По лицу ее я сразу понял, что мысленно она уже зачислила меня в разряд «алая роза», и она, сияя улыбкой, действительно тотчас направилась к огромному букету красных роз, что стояли в серебряном ведерке. Ее пальцы уже ласково и умело перебирали цветы, но была в этих движениях какая-то непристойность, напомнившая мне про бордели, от которых Бротих, муж хозяйки, меня так рьяно предостерегал, и я вдруг понял, отчего мне так противно: тут все как в борделе, я это точно знал, хоть никогда в жизни в борделе не был.

— Прелесть, правда? — спросила продавщица.

Но я не хотел красные, я их вообще не люблю.

— Белые, — прохрипел я, и она с улыбкой подошла к другому, бронзовому ведерку, где стояли белые розы.

— Ах, вам на свадьбу, — понимающе сказала она.

— Да, — ответил я, — мне на свадьбу. — Из кармана пиджака я вынул все, что было, — две купюры и мелочь, — выложил все это на прилавок и сказал, как в детстве, когда, протягивая продавцу медяки, просил: «Конфет на все». — Белых роз на все... Только зелени побольше.

Продавщица взяла купюры, кончиками пальцев ловко перебрала мелочь, потом на листе оберточной бумаги быстренько вычислила, сколько роз мне причитается. Пересчитывая деньги, она перестала улыбаться, но едва направилась к бронзовому ведерку с белыми розами, улыбка тотчас же вернулась на ее лицо, непроизвольно, как икота. Сладковатый, удушливый дурман, заполнивший все вокруг, вдруг ударил мне в голову, точно смертельный яд,— я в два прыжка оказался у прилавка, сгреб свои деньги и выбежал вон.

Я вскочил в машину — и одновременно, точно откуда-то из несусветной дали, я видел, как вскакиваю в машину, словно бандит, только что ограбивший магазинную кассу,— рванул с места, а когда увидел перед собой вокзал, мне почудилось, что с тех пор как я встретил Хедвиг, я вижу его уже тысячу лет по тысячу раз на дню,— но стрелки вокзальных часов показывали лишь десять минут первого, а когда я бросал монету в автомат, было без четверти двенадцать: я все еще слышал жужжание, с которым автомат проглотил монету, а потом легкий издевательский щелчок, когда он выплюнул билетик,— но за эти минуты я успел напрочь забыть, кто я такой, как выгляжу и чем в жизни занимаюсь.

Я объехал вокруг вокзала, остановился у цветочного киоска возле ремесленного банка и на три марки попросил желтых тюльпанов — мне выдали десять штук, я протянул продавщице еще три марки и получил еще десять. Я отнес цветы в машину, бросил их на заднее сиденье рядом с чемоданчиком для инструментов, после чего, снова пройдя мимо цветочного киоска, вошел в ремесленный банк и тут, доставая из внутреннего кармана пиджака чековую книжку и неспешно направляясь к стойке кассы, сам себе показался немножко смешным, слишком торжественным, что ли, а еще мне было страшно — вдруг мне не выдадут мои деньги? На зеленой обложке чековой книжки у меня была записана сумма моих сбережений — 1710 марок 80 пфеннигов, и я медленно заполнил чек, выведя цифру 1700 в квадратике в правом углу, а внизу, в графе «сумма прописью» — «одна тысяча семьсот марок». И когда внизу, справа, поставил свою подпись — Вальтер Фендрих,— вдруг почувствовал себя мошенником, поддельвающим подпись под чужим чеком. И все еще боялся разоблачения, когда протянул

чек девушке-контролеру, но она, даже не взглянув на меня, взяла чек, бросила его на ленту транспортера и дала мне желтый картонный номерок. Я подошел к окошечку кассы, увидел, как по ленте транспортера рядком ползут чеки, вскоре приполз и мой, тем не менее я удивился, услышав, как кассир выкрикивает мой номер, положил на белую мраморную доску номерок и тут же получил деньги: десять сотенных и четырнадцать бумажек по пятьдесят.

Странное чувство владело мной, когда, с деньгами в кармане, я выходил из банка: да, это были мои деньги, я честно их скопил, честно и даже без особых усилий, потому что неплохо зарабатываю, и тем не менее все вокруг — белые мраморные колонны, тяжелая дверь в позолоте, через которую я вышел на улицу, суровое и неприступное лицо швейцара — все вокруг внушало мне чувство, будто я свои собственные деньги украл.

Однако, сев за руль, я рассмеялся и весело покатил обратно на Юденгассе.

Я позвонил в квартиру фрау Грольты, спиной открыл дверь, услышав щелчок замка, устало и обреченно поднялся по лестнице; я боялся того, что неминуемо должно случиться. Букет я тащил цветами вниз, словно авоську с картошкой. Я шел, как заведенный, — только вперед, не оглядываясь по сторонам. Не помню, какое лицо было у хозяйки, когда она меня встретила, — я на нее даже не взглянул.

Хедвиг сидела с книжкой у окна, но я сразу понял, что книгу она держит только для вида: я тихо-тихо прокрался по коридору до двери ее комнаты и дверь отворил бесшумно, как вор, — я никогда раньше так не делал и сам не знаю, где этому научился. Она сразу же захлопнула книгу, и стремительность этого ее жеста навсегда врезалась мне в память, как и ее улыбка, — я и сегодня слышу, как с треском хлопаются обе половинки переплета, а железнодорожный билет, который она вложила в книгу вместо закладки, описав дугу, спикировал на пол, и ни один из нас, ни она, ни я, не подумал его поднять.

Остановившись в дверях, я смотрел на старые деревья в саду, на платья Хедвиг, распакованные и в беспорядке разбросанные на столе и спинках стульев, на серую обложку книги, по которой красными буквами отчетливо было вытиснено: «Учебник педагоги-

ки». Хедвиг, замерев, стояла между кроватью и окном, руки опущены, но ладони почти сжаты в кулачки, словно у барабанщика, который собрался барабанить, только почему-то забыл взять палочки. Я смотрел на нее, но думал вовсе не о ней; думал я о рассказах одного парня, он был подмастерьем у Виквебера, и в первый год моего обучения мы почти всегда работали вместе. Звали его Грёммиг, это был тощий верзила, левый бицепс у него весь изгрызен шрамами от осколков ручной гранаты. Так вот этот Грёммиг обожал рассказывать мне, сколько он за войну поимел женщин и как иногда «за этим делом» закрывал им лица полотенцем,— я сам удивлялся, почему его рассказы почти не вызывали у меня омерзения. И только сейчас, шесть лет спустя, стоя перед Хедвиг с цветами в руках, я вдруг ужаснулся, вспомнив об этом,— казалось, ничего более отвратительного я в жизни не слышал. А ведь другие подмастерья тоже рассказывали всякие гнусности, но ни один из них не додумался закрывать женское лицо полотенцем, и поэтому все они, все, кто до этого не додумался, казались мне теперь невинными, как дети. Лицо Хедвиг — больше я ни о чем думать не мог.

— Уходите! — сказала она.— Сейчас же уходите!

— Да,— отозвался я.— Сейчас ухожу,— но и не думал уходить; то, что я хотел сейчас с нею сделать, я не делал еще ни с одной женщиной; есть много слов, много выражений, которыми это обозначается, и я почти все их знаю, обучился в интернате и среди однокашников в техникуме, но ни одно из них не подходило к тому, что я хотел с нею сделать,— слово это я до сих пор ищу. «Любовь» тоже не совсем то слово, оно выражает не все, хотя, вероятно, ближе других к сути дела.

В лице Хедвиг я читал все, что было написано на моем лице: ужас и страх, и ни намек на то, что обычно зовется «желанием»,— но вместе с тем и все то, о чем рассказывали мне другие мужчины, все, что они искали и никак не могли отыскать в женских лицах,— и тут вдруг я понял, что даже Грёммиг не исключение: закрывая женское лицо полотенцем, он тоже на свой лад искал красоту, не догадываясь, что надо бы — так мне казалось — просто убрать полотенце. С лица Хедвиг медленно сходила тень, брошенная на него моим лицом,— лицо ее как бы всплывало из этой тени, лицо, пронзившее меня до самой сердцевины.

— А теперь уходите,— сказала она.

— Вам цветы нравятся? — спросил я.

— Да.

Как были, прямо в бумаге, я положил цветы на кровать и теперь смотрел, как она разворачивает бумагу, перебирает бутоны, ласково расправляет длинные зеленые листья. И все это с таким видом, будто цветы ей дарят каждый божий день.

— Дайте мне, пожалуйста, вазу,— попросила она, и я принес ей вазу, что стояла неподалеку от меня на полу у комода; она шагнула мне навстречу, и, передавая ей вазу, я на миг коснулся ее руки, и в этот миг в голове у меня пронеслось все, что я мог бы попытаться сейчас сделать,— притянуть ее к себе, поцеловать и уже не выпускать из объятий,— но я ничего такого не сделал, не попытался, просто отошел на прежнее место и, прислонясь спиной к двери, продолжал наблюдать, как она наливает в вазу воду из кувшина, а потом ставит туда цветы; ваза была керамическая, темно-красная,— на подоконнике, куда Хедвиг их поставила, цветы в этой вазе были очень красивы.

— Уходите,— повторила она, и я, ни слова не говоря, повернулся, распахнул дверь и вышел. В коридоре было темно, только где-то впереди тусклым молочным пятном серело матовое окошко над входной дверью. Мне очень хотелось, чтобы она выбежала за мной, окликнула, но она ничего такого не сделала,— тогда я вышел из квартиры и спустился по лестнице.

Внизу, в парадном, я остановился, закурил, посмотрел на залитую солнцем улицу и стал изучать таблички с фамилиями жильцов: Хюнерт, Шмиц, Стефанидес, Кроль, наконец обнаружил фамилию хозяйки, Грольта, а потом и напечатанную типографским шрифтом табличку «Флинк — прием в стирку», это и была прачечная.

Не докурив сигарету, я перешел на другую сторону улицы и встал напротив дома, стараясь не спускать глаз с подъезда. Поэтому и испугался, когда услышал совсем рядом голос фрау Флинк, владелицы прачечного салона: как была, в белом халате, она, видимо, специально ради меня перешла улицу, а я и не заметил.

— Ах, господин Фендрих,— воскликнула она,— вас прямо бог послал. У меня одна машина греется. Наверно, девушка что-то напутала.

— Так отключите,— посоветовал я, даже не взглянув на фрау Флинк. Я не сводил глаз с подъезда.

— Как, а вы разве не можете посмотреть?

— Нет,— отрезал я.— Не могу.

— Но вы же все равно тут стоите!

— Да,— ответил я.— Я тут стою. Но машину посмотреть не могу. Именно потому, что стою тут.

— Нет, это неслыханно,— возмутилась фрау Флинк.— Стоит тут, и не может посмотреть машину!

Краем глаза я видел, как фрау Флинк ретировалась на другую сторону улицы, а минутой позже в дверях салона стайкой появились девушки, работницы прачечной, все четверо или пятеро, в белых халатах. Я слышал, как они хихикают, но мне было наплевать.

«Наверно,— подумал я,— так бывает, когда тонешь: кругом одна серая муть, ты в ней захлебываешься, ничего не видишь, ничего не слышишь, только мерный гул в ушах, а ты все глотаешь эту серую, пресную жижу, которая почему-то кажется сладкой на вкус».

Мозг мой лихорадочно работал сам по себе, словно машина, которую позабыли отключить: внезапно я нашел решение алгебраического примера, который два года назад не смог решить на экзамене в техникуме, и ощутил при этом прилив такого несказанного счастья, какое испытываешь, когда в голову приходит наконец забытое имя или слово, которое ты долго и мучительно пытался припомнить.

Английские слова, которых я не знал на уроках девять лет назад, теперь всплывали в сознании сами собой — я вдруг вспомнил, что «спички» называются «matsch». «Тед принес отцу спички, и отец закурил свою трубку. Огонь пылал в камине, и отец, прежде чем начать свои рассказы об Индии, подбросил в камин несколько свежих поленьев». Полено по-английски «log», я теперь смог бы перевести эту фразу, которую тогда никто из нас — даже первый ученик — не сумел осилить. Я был как во сне, и как во сне кто-то нашептывал мне слова, которых я никогда не учил, не читал, не слышал. Но глаза мои цепко держали на прицеле только одну мишень — дверь, из которой рано или поздно выйдет Хедвиг: это была новенькая, лоснящаяся свежей коричневой покраской дверь, и казалось, ничего важнее этой двери на свете нет и ничего, кроме нее, я в жизни не видел.

Не знаю, страдал ли я: темно-серые толщи вод сомкнулись надо мной, и в то же время голова у меня была ясная, как никогда,— я успел подумать, что теперь придется извиниться перед фрау Флинк, она всегда была так добра ко мне, это она подыскала комнату для Хедвиг, а иной раз, когда у меня был усталый вид, варила мне кофе. «Когда-нибудь,—думал я,— придется перед ней извиниться». Еще многое, многое мне придется сделать, и я думал обо всем этом, даже о той женщине с Курбельштрассе, которая рыдала сегодня в телефон и все еще, наверное, меня ждет.

Теперь я точно знал то, что знал всегда,— просто все эти шесть лет боялся признаться: я ненавижу эту работу, как ненавидел и все прочие работы, которым пробовал обучиться. Я ненавижу стиральные машины, меня тошнит от запаха мыльной воды, и это не просто физическая тошнота, а нечто большее. Я теперь знал, что всегда любил в своей работе только деньги, и деньги у меня есть; я сунул руку в карман — да, деньги тут.

Я снова закурил, но и это проделал машинально: достал пачку из кармана, щелчком вытолкнул из нее сигарету, дверь подъезда на мгновение озарилась красноватым пламенем зажигалки, а потом, тоже на миг, утонула в сизом облачке табачного дыма,— но сигарета не пошла, показалась невкусной, и я, не докурив, бросил ее в сточную канаву. А потом, когда захотел закурить еще одну, по весу пачки почувствовал, что сигареты кончились,— отправил туда же и пустую пачку.

И даже голод и легкое чувство дурноты, что поднималось откуда-то снизу, как жидкость в реторте,— все это было как бы не со мной, помимо меня, отдельно. Я никогда не умел петь, но сейчас, стоя перед дверью, из которой рано или поздно обязательно выйдет Хедвиг, я готов был запеть и знал: у меня получится.

Я всегда знал, что Виквебер жулик, хоть у него и все «по закону», но только сейчас, здесь, на шероховатом гранитном бруске тротуарного бордюра, глядя на эту дверь, я разгадал секрет жульничества: два года я работал у него на фабрике, а потом отвечал за технический контроль и сбыт электроприборов, которые там изготовлялись, приборов, цену на которые мы с Виквебером и Уллой вычисляли и устанавливали сами.

Сырье у нас было дешевое, дешевое и добротное, то же сырье шло на оборудование самолетов и подводных лодок, и Виквебер получал его вагонами, так что цену на бойлеры они скалькулировали по 90 марок за штуку: в ту пору это была цена трех буханок хлеба, если рынок был, как у них это называлось, «насыщен», и двух буханок, если он был, как у них это называлось, «жидковат». И я сам, лично, проверял каждый бойлер в камерке над книжной лавкой и на каждом отштамповывал свое клеймо с буквой «Ф» и датой проверки, после чего ученик оттаскивал бойлеры на склад, где их запаковывали в промасленную бумагу,— а год назад я купил такой бойлер для отца, Виквебер отпустил его мне по себестоимости, и кладовщик провел меня на склад, чтобы я сам выбрал, какой мне понравится. Я сунул бойлер в машину, отвез отцу, а когда устанавливал, обнаружил на корпусе свое личное клеймо с буквой «Ф» и дату — 19.02.47 — и уже тогда смутно почувствовал неладное, какая-то тут была закавыка, как в уравнении с одним неизвестным, но только сейчас, на тротуарном бордюре, перед дверью, откуда должна появиться Хедвиг, меня осенило, и вся схема жульничества стала мне ясна как дважды два, без всяких там неизвестных: бойлер, стоявший в ту пору три буханки хлеба, теперь стоит двести буханок, и даже мне, пайщику, который исправно получает свои проценты, покупка бойлера по «себестоимости» обошлась примерно в сто тридцать буханок,— помню, я сам ужасно удивился, осознав цену этого одного неизвестного, и сразу подумал обо всех утюгах, бойлерах, кипятильниках и электроплитках, на которых целых два года штамповал свою букву «Ф».

И почему-то тут же вспомнил свое возмущение — давно, еще в детстве, когда как-то зимой родители свозили меня в Альпы. Отец сфотографировал маму на фоне заснеженных горных вершин, я как сейчас вижу ее темные волосы и светлое пальто. Я стоял рядом с отцом, когда он делал снимок: все вокруг белым-бело, и на этом белом — темное пятно маминых волос; но когда дома отец показал мне негатив, все оказалось наоборот: на фоне угольных куч стояла белокурая негритянка. Я был возмущен до глубины души, и все объяснения химических процессов — в них, кстати, не было ничего особенно хитрого — меня не удовлетворили. Мне с тех пор всегда казалось, казалось всю

жизнь, вот до этой самой минуты, что с помощью химических формул всяких там солей и растворов объяснить это невозможно, зато, помню, меня буквально заворожило слово «проявитель»; потом, чтобы хоть как-то меня успокоить, отец специально повез нас за город и сфотографировал маму в черном пальто на фоне угольного склада, и тогда на негативе я увидел ту же белокурую негритянку в белом пальто на фоне высоченных снежных гор; черное опять стало белым, теперь это было только мамино лицо, зато ее черное пальто и груды угля сияли такой нестерпимой, такой праздничной белизной, что казалось, будто мама и вправду радостно улыбается, очутившись в сказочном снежном царстве.

После этого второго снимка возмущение мое ничуть не убавилось, и с тех пор фотокарточки сами по себе никогда меня не интересовали, я вообще не понимал, зачем их печатать, ведь это заведомая неправда: я хотел видеть негативы, меня магнитом тянуло в темную комнату, где отец в красноватом полумраке опускал белые прямоугольники в таинственные ванночки с «проявителем» и они плавали до тех пор, пока снег не становился снегом, а уголь — углем, но то был не взаврадашний снег и не взаврадашний уголь, вот снег на негативе казался мне настоящим снегом, и уголь на негативе — настоящим углем. Отец пытался меня успокоить, объясняя, что единственно верный снимок со всего, что есть на свете, хранится лишь в одном месте, нам, смертным, недоступном, — в темной комнате у Господа Бога, но и это объяснение казалось мне в ту пору слишком простым, потому что Бог — это всего лишь такое важное слово, которым взрослые норовят отделаться от всех непонятных вещей.

Но здесь, на этом тротуаре, я, кажется, понял отца: я знал, что с меня, стоящего вот тут, сейчас делается снимок, что образ мой — одинокая фигурка где-то там, глубоко, под толщами серых вод — уже запечатлен, и мне до смерти хотелось этот свой образ узреть. Если бы сейчас со мной заговорили по-английски, я бы запросто по-английски ответил, и только сейчас, здесь, на этом тротуаре, перед домом Хедвиг, мне стало ясно то, что я всегда страшился себе уяснить и в чем по застенчивости никому еще не отважился признаться: мне важно, бесконечно важно прийти к мессе до пожертвования и не менее важно потом, когда церковь опус-

теет, посидеть там одному, немножко, а иногда и долго, до тех пор, пока причетник не начнет так же демонстративно позвякивать связкой ключей, как официант демонстративно составляет стулья на столы, давая понять засидевшемуся посетителю, что заведение закрывается, и печаль, с которой этот посетитель отправляется восвояси, очень даже сродни той печали, которую испытываю я, когда меня таким вот образом выставляют из церкви, хоть я и пришел к самому концу службы. Казалось, теперь я понимаю то, что прежде было совершенно недоступно моему пониманию: что Виквебер, хоть он и пройдоха, при этом и в самом деле человек набожный, и что и то и другое — и набожность, и пройдошливость — в нем подлинно, и моя ненависть к нему вмиг улетучилась, как улетучивается из рук ребенка воздушный шарик, который он весь день крепко-накрепко держал за ниточку в кулачке, а тут вдруг выпустил и, задрав голову, смотрит, как шарик, взлетая в вечернее небо, становится все меньше, меньше, пока совсем не исчезнет из глаз. Я даже слышал собственный легкий вздох, когда моя ненависть к Виквеберу внезапно улетучилась.

«Лети с богом», — подумал я и на миг выпустил из вида дверь, пытаюсь проследить за своим отлетевшим вздохом, — и именно в этот миг ощутил в себе легкую пустоту там, где раньше была ненависть, пустоту, которая тянет меня куда-то вверх, как воздушный пузырь рыбу, но то был только миг, а потом это место наполнила свинцовая тяжесть, смертельный груз безразличия. А еще я время от времени поглядывал на часы, но не на часовую стрелку и не на минутную, а только на крошечный кружочек, как бы невзначай размещенный над цифрой шесть — только в этот кружочек убежало от меня время, только эта шустрая стрелка-побегунья еще способна была меня тронуть, большие же, неповоротливые и медлительные, — ничуть, зато эта, маленькая, неугомонная, трудилась всюду, она бежала очень быстро, эта ловкая и очень точная машинка, и с каждым тактом она словно открамсывала ломтик от чего-то незримого, от времени, и с каждым оборотом все глубже и глубже вгрызалась, ввинчивалась в пустоту, и пыль, которую она высверливала из этой пустоты, оседала на мне волшебным порошком, превращая меня в заколдованное изваяние.

Я видел, как девушки из салона-прачечной стайкой пошли обедать, потом видел, как они вернулись. Видел фрау Флинк, застывшую в дверях салона, видел, как она покачивает головой. У меня за спиной проходили люди, люди проходили и по тротуару напротив, мимо двери, из которой рано или поздно выйдет Хедвиг, и, проходя, они на секунду заслоняли дверь, а я думал обо всем, что мне еще надо бы сделать: пять адресов, имена пяти клиентов были записаны на листочке, который остался в машине, а на шесть у меня назначено свидание с Уллой в кафе Йооса, но на Улле мысль почему-то не задерживалась, все время проскакивала мимо.

Был понедельник, четырнадцатое марта, а Хедвиг все не выходила. Я приложил часы к левому уху и услышал издевательский, неумолимый стрекот маленькой стрелки, что выгрызала кружочки из пустоты, темные, аккуратные кружочки, которые вдруг пошли плясать у меня перед глазами, роем завертелись вокруг двери и снова растворились, исчезли в бледном белесом небе, как монетки, брошенные в воду; а потом, на какой-то миг, они снова застили мне взгляд дырчатым ситом, похожим на жестяной лист, из которого я на фабрике у Виквебера штамповал прямоугольные таблички, и в каждом из этих окошечек я видел дверь, одну и ту же дверь, крохотную, но точь-в-точь как настоящую, множество маленьких дверок, разделенных отрывными дырочками, как почтовые марки на большом фабричном листе: стократно воспроизведенная физиономия изобретателя свеч зажигания.

Я беспомощно рылся в карманах, ища сигареты, хоть и знал, что сигареты кончились; правда, в машине вроде бы должна быть еще одна пачка, но машина стояла справа, метрах в двадцати от двери, и расстояние это казалось неодолимым, как океан. Я снова вспомнил о женщине с Курбельштрассе, что рыдала сегодня в телефон, как могут рыдать только женщины, когда они не в ладах с бытовой техникой, и неожиданно понял, что бесполезно гнать от себя мысли об Улле, а раз так, я стал думать о ней: я решился на это, как решаешься включить наконец свет в комнате умершего,— потемки еще скрывали его кончину, позволяли думать, что он всего лишь уснул, можно было даже попытаться убедить себя, что ты слышишь, как он дышит, даже видишь, как мерно вздымается

его грудь,— но вот пронзительно яркий свет заливает комнату, и ты обнаруживаешь, что все уже готово к похоронам: расставлены в массивных подсвечниках свечи, внесены кадки с комнатными пальмами,— а где-то слева, в ногах у покойного, замечаешь странную, угловатую неровность, взбугрившую тяжелое черное покрывало: это служащий похоронного бюро заранее припрятал молоток, которым завтра забьет два гвоздя в крышку гроба, и ты уже сейчас слышишь то, что должен бы услышать только завтра,— короткие, злые, твякающие удары, в которых ни ритма, ни мелодии, одна только неотвратимость.

Оттого что сама Улла еще ничего не знает, думать о ней было вдвойне тяжко: ведь ничего уже нельзя изменить, ничего нельзя поправить, как нельзя вытащить гвозди, загнанные в крышку гроба,— а она еще этого не знает.

Я размышлял о том, какая у нас с ней могла бы сложиться жизнь; Улла все время смотрела на меня, как поглядывают на ручную гранату, из которой сделали пепельницу и поставили на пианино: по воскресеньям, после кофе, в нее беззаботно стряхивают пепел, по понедельникам из нее выбрасывают окурки, и всякий раз, выбрасывая окурки, испытываешь одну и ту же нервическую щекотку: столь опасный предмет — а теперь такое невинное, мирное приспособление, тем более что остряк-умелец, изготовивший из гранаты пепельницу, весьма оригинально использовал даже запал: стоит нажать на белую фарфоровую кнопку,— точно такую же, как кнопки выключателей на настольных лампах,— так вот, стоит нажать на эту кнопку, как включается вмонтированная в корпус пепельницы батарейка, накаляя две тоненьких проволочки, и от этого огонька можно прикуривать: просто прелестное, и такое мирное приспособление, изначально изготовленное отнюдь не для мирных целей,— девятьсот девяносто девять раз ты нажимаешь на белую кнопку, и все в полном порядке, но никто не поручится, что в тысячный раз не сработает некий тайный механизм и прелестная безделушка не взорвется. Правда, ничего особенно страшного не произойдет,— ну, просвистят два-три осколка, но не в самое сердце, а, по счастью, мимо, ты перепугаешься и впредь будешь обращаться с игрушкой поосторожнее.

Так и с Уллой, ничего страшного с ней не произойдет, в самое сердце ее это не поразит, хотя все, что помимо сердца, будет уязвлено и задето. Она будет говорить, и говорить долго, а я точно знал, что она скажет; она захочет быть правой, не ради чего-то, а просто так, вообще, и она будет права, и еще, я знал, она будет слегка торжествовать, а я всегда ненавидел людей, которые всегда правы и торжествуют, когда их правота подтверждается,— такие люди напоминают мне подписчиков, которые исправно получают только одну газету, но никогда не удосуживаются взглянуть на строчки внизу, где что-то говорится о «компетенции вышестоящих инстанций»,— а когда в одно прекрасное утро им газету не приносят, они впадают в неописуемую ярость, хотя им всего-навсего надо было, как в страховом полисе, не на заголовки глазеть, а повнимательнее читать то, что пропечатано мелким шрифтом.

Только потеряв из виду дверь, я вспомнил, зачем здесь стою: я ждал Хедвиг. А двери было не видно, ее заслонил большой темно-красный фургон, знакомый мне слишком хорошо: кремовыми буквами по фургону протянулась надпись — «Санитарная служба Виквебера»,— пришлось перейти на другую сторону улицы, чтобы было видно дверь. Я перешел медленно, как под водой, и вздохнул так же глубоко и жадно, как вздохнул бы тот, кто, медленно продравшись сквозь чащобы водорослей и наросты ракушек, прошествовав мимо изумленных рыб и с трудом, как по скалистому обрыву, вскарабкавшись по крутому дну, вдруг вышел на берег и испугался, ощутив плечами и затылком не тупую тяжесть водной толщи, а легкость атмосферного давления, которое мы и давлением-то не считаем.

Я обошел грузовик и, снова увидев дверь, уже знал: Хедвиг не выйдет, она там, наверху, у себя в комнате, лежит на кровати, покрытая с ног до головы незримой пылью, которую секундная стрелка все высверливает и высверливает из пустоты.

И я был рад, что она меня прогнала, когда я пришел с цветами, рад, что она сразу поняла все, что я хотел с ней сделать, и боялся того мига, когда она уже не захочет меня прогнать, мига, который все равно настанет, еще сегодня, в этот день, в этот нескончаемый понедельник.

Дверь меня больше не интересовала, глазеть на нее, как я, было, конечно, несусветной глупостью, почти такой же глупостью, как тайком целовать передник хозяйки. Я пошел к машине, открыл дверцу, достал из правого багажничка пачку сигарет,— она лежала под блоком квитанций, куда я вписывал километраж проезда и часы работы,— закурил и снова закрыл машину, не зная, что предпринять: то ли подняться к Хедвиг в комнату, то ли ехать к женщине на Курбельштрассе, которая так рыдала в телефонную трубку.

Внезапно рука Вольфа легла мне на плечо: я ощутил ее тяжесть, как недавно ощущал тяжесть водных толщ, и краем глаза, покосившись налево, увидел эту руку, столько раз дававшую мне сигареты, столько раз бравшую сигареты у меня, честную, трудолюбивую руку, и заметил, как поблескивает на ней в лучах мартовского солнца обручальное кольцо. По слабому, едва ощутимому подрагиванию этой руки я понял, что Вольф смеется — своим тихим, почти беззвучным, каким-то булькающим смехом, который запомнился мне еще с техникума, когда учитель потешал нас своими прибаутками, и тут, не успев я обернуться, на меня накатила тоска, точно такая же, как в тот вечер, когда отец уговорил меня сходить на встречу бывших одноклассников: как сейчас помню, вот они, сидят, те, с кем ты поделил годы жизни, с одними три, с другими четыре, с иными шесть, а то и все девять,— вы вместе спасались в бомбоубежище, вздрагивая от глухих разрывов, плечом к плечу выстаивали в битвах, которые именовались контрольными работами, вместе тушили загоревшуюся школу, перевязывали латиниста, когда того ранило, и вместе несли его на носилках, а кое с кем вместе оставались на второй год,— казалось, эти общие испытания свяжут вас навеки, однако они никого ни с кем не связали, а уж навеки и подавно, и единственное, что осталось в памяти,— горький вкус первой тайком выкуренной сигареты, вот почему так хотелось тронуть за руку официантку, разносившую пиво, только ее, которую ты и видел-то впервые в жизни, но которая казалась давней знакомой, чуть ли не родной, почти матерью в сравнении с этими чужими людьми, чья житейская мудрость лишь в том, что они утратили идеалы, которых у них никогда не было, идеалы,

которые начинаешь любить только за то, что они их утратили,— болваны несчастные, которые все как один малость привирают, стоит спросить об их месячном жалованье,— и ты внезапно осознаешь, что единственный друг, который у тебя был, это тот, кто умер во втором классе: Юрген Броласки, тот, с кем ты за все время и словом не перемолвился, слишком он казался нескладным, слишком угрюмым,— а он возьми да и утони как-то летним вечером во время купанья, затащило под плот, это там, вниз по реке, возле лесопилки, где зеленый ивняк пробился даже сквозь синий гранит набережной и где можно было в одних плавках кататься на роликовых коньках по бетонным скатам, по которым вытягивали на берег бревна,— так, на роликах, и летишь прямо в воду; заросшая бурьяном брусчатка набережной и беспомощные увещания — «Кончайте, ребята, да кончайте же!» — ночного сторожа, что собирал хворост для своей печурки. У тощего, нескладного Броласки не было своих роликов, зато у него были ярко-розовые плавки, мать скроила ему плавки из своей нижней юбки, и я иногда думал, что он, наверно, потому из воды не вылезает, чтобы мы не слишком на его плавки глазели: а если вылезет — так ненадолго, взберется на плот, сядет, обхватив руками колени, спиной к нам, лицом к Рейну, и неотрывно смотрит в темно-зеленую тень моста, которая к вечеру доползала до лесопилки; никто не видел, как он в последний раз нырнул, никто его не хватился, пока вечером мать не побежала по улицам от дома к дому, сквозь слезы вопрошая:

— Ты Юргена, сыночка моего, не видал?

— Нет.

А его отец стоял над могилой в мундире, ефрейтор без орденов, и, слегка вздрогнув, задумчиво поднял голову, когда мы затагнули: «До срока, брат, до срока в могилу ты сошел...»

Вот только о нем, о Броласки, я и смог думать на той школьной вечеринке, а еще о белой, красивой руке официантки, до которой мне так хотелось дотронуться; о ярко-розовых плавках, скроенных из материной нижней юбки, с продернутой в них широкой чулочной резинкой; он исчез, Юрген Броласки, канул в темно-зеленую тень моста...

До срока, брат, до срока в могилу ты сошел...

Я медленно повернулся к Вольфу, взглянул в его

доброе, честное лицо, которое знаю уже семь лет, и мне стало немного стыдно — как в тот раз, когда отец застукал меня за кражей аттестата.

— Мне нужна твоя помощь,— сказал Вольф.— Не могу найти дефект. Прошу тебя, пойдём.— Он потянул меня за руку, но осторожно, как слепого, и медленно повел к прачечной. В нос ударил запах, который я нюхаю каждый день: запах грязного белья,— я увидел знакомые желто-серые груды, увидел девушек, увидел фрау Флинк, все в белых халатах, и все возникли перед моим взором, как после взрыва, когда постепенно оседает пыль и появляются лица людей, которых ты уже не чаял видеть в живых.

— Греются,— донеслось до меня, как сквозь сон,— три раза запускали, каждый раз одно и то же, и если бы одна, а то все.

— Ты фильтры проверил? — спросил я Вольфа.

— Проверил, забиты, я их вычистил, снова поставил — все равно греются.

— Я теряю лучшего клиента,— причитала фрау Флинк,— Хунненхофа! Это же мой лучший клиент, если белье не будет готово к вечеру, я потеряю Хунненхофа!

— Шланги отсоедини,— скомандовал я, а сам наблюдал, как Вольф отвинчивает шланги со всех четырех машин, и краем уха слушал болтовню девушек о постельном белье — излюбленная тема их сплетен с гостиничными горничными; не раз они торжественно демонстрировали мне заляпанные губной помадой простыни, на которых соизволил переночевать какой-нибудь министр или актер, совали простыни мне прямо в нос, дабы я сам убедился, какими духами душитя очередная любовница известного партийного босса, и меня это даже не коробило, напротив, но теперь я вдруг понял, что мне глубоко наплевать на министров и партийных боссов, меня совершенно не интересует их личная жизнь, а уж интимные подробности этой жизни и подавно,— там, куда эти тайны уносит грязная мыльная вода, им самое место. И мне опять захотелось уйти, прочь отсюда, ненавижу машины, ненавижу тухлый запах мыльной воды...

Девушки, хихикая, пустили по рукам простыню известного своими похождениями киноактера.

Вольф отвинтил все патрубки и теперь смотрел на меня: вид у него был малость глуповатый.

— Водопровод чинили? — спросил я у фрау Флинк, даже не взглянув в ее сторону.

— Да,— ответила она.— Вчера на Корбмахергассе весь день копали, это как раз наша линия.

— Точно,— сказал Вольф, пуская воду.— Вода-то грязная, ржавчина одна.

— Пусть стечет, а когда чистая пойдет, привернешь шланги, и порядок. Не потеряете вы вашего клиента,— сказал я фрау Флинк,— будет ему к вечеру белье в лучшем виде,— и вышел вон, очутившись на улице, как во сне вдруг попадаешь из одного места совсем в другое.

Я сел на подножку виквеберовского фургона, но на дверь больше не смотрел; я закрыл глаза и на миг погрузился в полную тьму, откуда, как проявляющийся фотоснимок, постепенно проступило лицо того единственного человека, который, это я знаю точно, никогда не ругался, в жизни ни на кого не орал, единственного, чья набожность не вызывала у меня подозрений,— я увидел отца. Перед ним ящичек с «памятками», голубая деревянная коробочка, в которой когда-то хранились костяшки домино. Ящичек всегда битком набит «памятками» — это такие записочки одинакового формата, которые отец вырезает из любых клочков бумаги, бумага — это единственное, что он скаречно бережет. Из писем, которые он начал, но так и оборвал на полуслове, из школьных тетрадей, расточительно не исписанных до конца, из пригласительных и траурных открыток, извещающих о помолвках и смертях,— отовсюду он вырезает белые прямоугольники чистой бумаги, а уж разнообразная типографская продукция — торжественные, напечатанные на вощенной бумаге приглашения принять участие в очередной манифестации или еще более пышные, сияющие плотным глянцем воззвания, требующие от граждан немедленно внести свой вклад в дело свободы,— эта продукция наполняет душу отца поистине детским восторгом, ибо из каждой такой бумаженции можно вырезать минимум шесть белоснежных листочков, которые он с особой бережностью, как драгоценность, тут же помещает в старую коробочку из-под домино. «Памятки» — это отцовская страсть, они топорщатся из его книг, ими же забит его бумажник, любые свои мысли — и важные, и сущую ерунду — он поверяет этим записочкам. Раньше, когда я еще жил дома, я натыкался на них повсюду

ду. «Пуговицу к кальсонам» — было написано на одной, на другой — «Моцарт», на третьей — «pilageuse — pilage»¹, а как-то раз попалась и такая: «Лицо в трамвае — как у Христа в предсмертной агонии». Собираясь за покупками, он первым делом достает свои «памятки», тасует их, словно карты перед игрой, а потом, как в пасьянсе, сортирует записки по степени важности, раскладывая их в кучки: тузы, короли, дамы, валеты...

Из всех его книг высовываются длинные бумажные язычки этих «памяток» — большинство поистрепались, замызганы, в желтоватых пятнах, потому что книги обычно месяцами валяются где попало, прежде чем отец снова доберется до своих заметок. Зато на каникулы он собирает все в кучу, перечитывает места, привлечшие его внимание, и сортирует «памятки», на которых обычно записаны английские и французские слова, выражения, синтаксические конструкции, смысл которых окончательно проясняется для него лишь после того, как они повстречались ему два-три раза. Он ведет обширную переписку, делясь своими открытиями с коллегами, сверяясь с их мнением, выписывает толстенные словари и донимает вежливыми, но неотступно въедливыми запросами составителей справочников и энциклопедий.

А одну «памятку», в знак особой важности написанную красными чернилами, он постоянно носит в бумажнике; после каждого моего приезда этот листочек уничтожается, но вскоре заменяется новым, точно таким же, и написано на нем всегда одно: «Поговорить с мальчиком!»

Я вспомнил, как был изумлен, открыв в себе ту же отцовскую въедливость, когда начал учиться в техникуме: то, что я уже знал и постиг, привлекало меня куда меньше всего, чего я еще не постиг и не знаю, — и я не успокаивался, пока не осваивал очередную машину так, что мог разобрать и собрать ее хоть во сне; но эта моя любознательность накрепко срослась с другим стремлением — я любил знания, потому что они приносят деньги, — стремлением, которое совершенно неведомо и непонятно отцу. Он и не подумает подсчитать, во сколько ему порой обходится единственное словечко, ради которого он тратится на пересылку туда-сюда множества книг, а иной раз и на

¹ «растирающая — растирание» (фр.).

поездки,— он любит эти свои новооткрытые слова, как зоолог любит открытый им новый подвид животного, и ему даже в голову не придет, что за открытие можно получить деньги,— он бы и не взял их никогда.

Снова рука Вольфа легла на мое плечо, и я понял, что уже не сижу на подножке, а стою возле своей машины и сквозь стекло смотрю на сиденье, где сегодня сидела Хедвиг,— без нее оно казалось таким пустым и ненужным...

— Что с тобой? — спросил Вольф.— И что ты сделал с доброй старушкой Флинк? Она же сама не своя.

Я молчал; Вольф убрал руку с моего плеча и мягко повел меня прочь от машины куда-то в сторону Корбмахергассе.

— Она мне позвонила,— продолжал Вольф,— и у нее что-то такое было с голосом, что я сразу приехал, потому что понял: это не только из-за машин.

Я молчал.

— Пошли,— сказал Вольф.— Чашка кофе тебе сейчас совсем не повредит.— Я стряхнул его руку со своего плеча и, не оглядываясь, двинулся напрямик на Корбмахергассе, где знаю одно маленькое кафе.

Когда мы вошли, молодая женщина как раз вытряхнула на витрину свежие булочки из белого полотняного мешочка: булочки горкой уткнулись в стекло, я видел их гладкие коричневатые брюшки, их поджаристые спинки со светлыми полосками там, где пекарь сделал надрез; булочки были словно живые, они еще шевелились, когда женщина уже отошла к стойке, и на миг показались мне рыбами, толстыми тупоносыми карасями, которых плюхнули в витрину-аквариум.

— Сюда? — удивился Вольф.

— Сюда,— подтвердил я.

Покачивая головой, он вошел первым, но одобрительно улыбнулся, когда я провел его в маленькую комнату за стойкой, где не было ни души.

— А что, совсем неплохо,— сказал он, садясь за столик.

— Да,— подтвердил я.— Совсем неплохо.

— Ну,— изрек он,— по тебе сразу видно, что с тобой стряслось.

— Что же со мной стряслось? — спросил я.

— Да так,— он ухмыльнулся,— ничего особенного. Просто у тебя вид человека, покончившего счета с жизнью. И похоже, сегодня уже бесполезно на тебя рассчитывать.

Молодая женщина принесла кофе, который Вольф успел заказать, проходя мимо стойки.

— Отец вне себя,— сообщил Вольф.— Телефон все утро надрыгается, тебя нигде нет, ни по одному телефону, даже по тому номеру, который ты оставил хозяйке, фрау Бротих. Ты не слишком-то его раздражай,— посоветовал Вольф,— он и так на тебя разозлился. Ты же знаешь, в делах он шуток не любит.

— Да,— согласился я.— В делах он шуток не любит.

Глотнув кофе, я встал, вышел к стойке и попросил три булочки; женщина протянула мне тарелку и предложила нож, но я только покачал головой. Положив булочки на тарелку, я вернулся в комнату, сел к столу и разломил первую булочку, вернее, как бы вскрыл ее, погрузив оба больших пальца в белый надрез на спинке и вывернув хлебное тельце мякишем наружу; лишь проглотив первый кусок, я почувствовал, как дурнота, кружившая во мне, улеглась.

— Господи,— пробормотал Вольф,— ты что, так и будешь есть хлеб всухомятку?

— Да,— сказал я.— Так и буду есть хлеб всухомятку.

— Нет, сегодня с тобой не поговоришь.

— Нет,— отозвался я.— Сегодня со мной не поговоришь. Иди.

— Ладно,— согласился он.— Может, завтра ты придешь в норму.

Посмеиваясь, он встал, позвал женщину из-за стойки, расплатился за две чашки кофе и три булочки, но когда попытался дать две монетки на чай, женщина только улыбнулась и вложила монетки обратно в его чистую, прилежную ладонь, и он, покачав головой, сунул монетки обратно в кошелек. Я тем временем разодрал вторую булочку, чувствуя на себе взгляд Вольфа — он скользнул по моему затылку, волосам, оступал лицо и застыл на моих руках.

— Кстати,— сказал он,— дельце сладилось.— Я вопросительно поднял на него глаза.— Разве Улла тебе вчера не говорила о заказе для «Тритонии»?

— Говорила,— тихо подтвердил я.— Она мне вчера об этом говорила.

— Так вот, заказ теперь наш,— сияя, сообщил Вольф.— Сегодня утром они окончательно подтвердили свое решение. Так что, надеюсь, к пятнице, когда мы начнем работу, ты все-таки придешь в себя. А что отцу сказать? Что вообще ему говорить?! В такой ярости я его еще не видел — разве что тогда, после той дурацкой истории.

Я отложил булочку и встал.

— После какой истории? — спросил я. По его лицу было видно: он жалеет, что заикнулся об этом, но он заикнулся; я расстегнул задний карман брюк, где были припрятаны мои денежки, уже вытащил купюры и только тогда сообразил, что у меня там одни сотни и полусотенные,— я сунул деньги обратно, застегнул пуговицу и полез в карман пиджака, там ведь тоже были деньги, те, что я сгреб с прилавка цветочного магазина. Я отлистнул двадцатку, выискал монету в две марки и еще одну — в пятьдесят пфеннигов, схватил правую руку Вольфа, разжал ладонь и сунул ему все это в горсть.— Это за ту историю,— сказал я.— Конфорки, что я тогда стащил, шли по две двадцать пять за штуку. Отдашь эти деньги отцу, тут ровно за десять конфорок. Этой истории,— тихо добавил я,— наверно, уже лет шесть, а вы все забыть не можете. Я рад, что ты мне о ней напомнил.

— Мне очень жаль,— сказал Вольф,— что я об этом упомянул...

— Но ты упомянул, только что, вот на этом самом месте,— изволь, вот тебе деньги, отдашь отцу.

— Забери их,— попросил Вольф.— Так не делают.

— Почему же? — возразил я спокойно.— Я тогда стащил, а теперь плачу за то, что стащил. Или за мной еще какой должок?

Он не ответил, и мне стало его жалко, он ведь не знал, куда девать эти деньги, так и держал их в ладони, и я увидел, как в этой ладони образуются капельки пота, и на лице тоже, а лицо у Вольфа такое, какое бывало раньше, только когда на него орали рабочие или рассказывали при нем похабные анекдоты.

— Когда случилась эта история, нам обоим было по шестнадцати,— сказал я,— и мы вместе только начинали учиться; а сейчас тебе двадцать три, и ты

все забыть не можешь. Ладно, давай сюда деньги, раз уж они тебя так жгут. Могу и по почте послать.

Я снова разжал его ладонь, она была горячая и вся мокрая от пота, и сунул мелочь и бумажку обратно в карман пиджака.

— А теперь иди,— тихо сказал я, но он не двинулся с места, только смотрел на меня так же, как смотрел в тот раз, когда меня изобличили: он ведь не верил, что это я стащил конфорки, и защищал меня своим тоненьким, возмущенным мальчишечьим голоском,— мне тогда казалось, хоть мы с ним ровесники, даже в одном месяце родились, что он мой младший братишка, причем намного меня моложе, и берет на себя мою вину и причитающиеся мне побои; старик сперва на него орал, а под конец и пощечину влепил, и я готов был отдать тысячу буханок хлеба, лишь бы не признаваться в этом воровстве. Но пришлось признаваться — прямо там, во дворе мастерской, которой уже и видно не было в подслеповатом свете пятнадцатисвечевой лампочки, что беспомощно болталась в своем заржавелом патроне на ноябрьском ветру. Тоненький протестующий голосок Вольфа сразу осекся, убитый моим коротким «да» в ответ на вопрос хозяина, и они оба — отец и сын — молча пошли через двор к дому. В глубине своей детской души Вольф всегда считал меня, что называется, «отличным парнем», и ему, наверно, было очень тяжело лишить меня этого почетного звания. Я же чувствовал себя глупо и жалко, возвращаясь на трамвае в общежитие: я не испытывал ни малейших угрызений совести из-за этих украденных конфорок, которые обменял на хлеб и сигареты, ведь я уже тогда начал задумываться о ценах. Мне было решительно все равно, считает ли Вольф меня отличным парнем, но то, что у него на глазах меня лишили этого звания незаслуженно, несправедливо, почему-то было мне уже не так безразлично.

На следующее утро хозяин вызвал меня к себе в контору, Веронику куда-то отослал, нервно мямл сигарету своими темными, закрубелыми пальцами, потом — чего обычно никогда не делал — стащил с головы зеленую фетровую шляпу и сказал:

— Я вчера звонил капеллану Дерихсу. У тебя, оказывается, недавно мать умерла. Я не знал. Так что мы об этом забудем и никогда, слышишь, никогда не будем вспоминать. А теперь иди.

Я и пошел, а вернувшись в мастерскую, все никак не мог сообразить: о чем мы не будем вспоминать? Что мама умерла? И с той минуты возненавидел Виквебера пуще прежнего, не очень даже понимая, за что именно, но точно зная, что причина для ненависти у меня есть. С тех пор об этой истории действительно не вспоминали ни разу, а я больше ни разу не крал, но не потому, что раскаялся и понял, что красть нехорошо,— просто боялся, что меня снова захотят простить из-за маминой смерти.

— А теперь иди,— сказал я Вольфу.— Иди.

— Мне очень жаль,— пробормотал он.— Я... мне...— Глаза у него были такие, словно он до сих пор верит в «отличных парней», так что пришлось мне ему сказать:

— Ладно, все в порядке, не думай об этом. Иди.

Выглядел он сейчас лет на сорок, вернее, как мужчина, растерявший к сорока годам то, что принято называть идеалами: мешковатый, слегка расплывшийся добряк, про которого в прошлом тоже, наверно, говорили: «отличный парень».

— Так что отцу сказать?

— Это он тебя прислал?

— Нет,— ответил он.— Я только знаю, что он зол как черт, повсюду тебя ищет и не может найти: хочет обговорить с тобой этот заказ для «Тритонии».

— Скажи, что я пока ничего про себя не знаю.

— Ты и в самом деле не знаешь?

— Да,— ответил я.— И в самом деле не знаю.

— А правда то, что мне девчонки у фрау Флинк сказали? Что ты за какой-то девушкой увязался?

— Да,— ответил я.— Девчонки сказали тебе сущую правду, я увязался за девушкой.

— Господи,— вздохнул он.— Не надо бы оставлять тебя одного с такой кучей денег в кармане.

— Надо. И даже нужно,— сказал я тихо.— А теперь иди и, пожалуйста,— добавил я еще тише,— не спрашивай больше, что сказать отцу.

И он ушел, я видел его силуэт в витрине: голова свесилась, руки безвольно опущены,— словно боксер перед безнадежным поединком. Я выждал, пока он завернет за угол, потом подошел к открытой двери кафе и, выглянув на улицу, убедился, что фургон Виквебера удаляется в сторону вокзала. Тогда я вернулся в комнатку, стоя допил кофе и сунул третью

булочку в карман. Посмотрел на часы, но не на секундную стрелку, а на большие, которые двигают время медленно и бесшумно,— было всего четыре, а я-то надеялся, что уже шесть или на худой конец полшестого. Я сказал женщине за стойкой «до свиданья» и пошел к машине, еще издали завидев через щель между передними сиденьями белый уголок бумажки, на которой сегодня утром записал адреса и имена клиентов,— всех их я сегодня должен был обслужить. Я открыл дверцу, достал бумажку, разорвал в клочки, а клочки выбросил в сточную канаву. Больше всего мне хотелось снова оказаться на другой стороне улицы и снова с головой, глубоко-глубоко, уйти под воду, но при мысли об этом я покраснел, подошел к двери дома, где теперь жила Хедвиг, и нажал на кнопку звонка; нажал раз, другой, третий, потом еще раз, и все ждал жужжания зуммера, извещающего о том, что дверь открыта, но зуммер молчал, и я еще два раза нажал на кнопку, однако зуммер по-прежнему безмолвствовал, и вот тогда на меня накатила страх, тот прежний страх, что был со мной неразлучен, пока я не шагнул, не подбежал к Хедвиг на вокзале,— но тут я услышал шаги, и то была не тяжелая походка хозяйки, фрау Грольты, а легкие, торопливые шаги сперва вниз по лестнице, потом по коридору,— дверь открыла Хедвиг; она оказалась выше, чем я ее запомнил, почти одного роста со мной, и мы оба перепугались оттого, что стоим так близко друг к другу. Она отпрянула на шаг, но дверь не отпустила, придерживала, а я-то знаю, какая это тугая, неподатливая дверь, сам держал, когда мы вносили машины в салон фрау Флинк, пока она не вышла и не закрепила створку, набросив на стену крюк.

— Там есть крюк,— сказал я.

— Где?

— Да где-то тут,— сказал я, похлопав ладонью по внешней стороне двери; левая рука и лицо Хедвиг на несколько секунд исчезли в темноте, потом появились снова. Яркий свет с улицы бил ей в глаза, а я смотрел на нее в упор, я ее разглядывал, хоть и знал, что это ужасно неприятно, когда на тебя так вот глазеют, словно на картину, но она выдержала мой взгляд, только нижняя губа чуть дрогнула, она смотрела на меня так же неотрывно, как я на нее, и тут я почувствовал, что страх во мне исчез. Зато снова

ощутил боль — ее лицо опять вошло в меня глубоко-глубоко, до самой сердцевины.

— Тогда,— сказал я,— у вас были светлые волосы...

— Когда — тогда? — спросила она.

— Ну, семь лет назад, незадолго до того, как я уехал.

— А-а,— улыбнулась она.— Да, у меня были светлые волосы, а еще у меня было малокровие.

— Вот я на вокзале и высматривал блондинок,— пояснил я,— а вы, оказывается, все это время позади меня на чемодане сидели.

— Совсем недолго,— поспешила заверить она.— Я только села, тут как раз и вы пришли. Я вас сразу узнала, только заговорить не решилась.— Она снова улыбнулась.

— Почему?

— Потому что лицо у вас было злующее, а вид ужасно взрослый и важный, я таких важных людей побаиваюсь.

— И что же вы подумали?

— Да так, ничего,— сказала она.— Подумала: это, значит, и есть молодой Фендрих; на фотокарточке, ну, у вашего отца, вы куда моложе. И говорят про вас всякое. Один человек даже сказал, что вас поймали на воровстве.— Тут она покраснела, и я убедился, что малокровие ей больше не грозит: она побагровела так, что на нее больно было смотреть.

— Не надо,— тихо попросил я,— не надо краснеть. Я действительно украл, но это было шесть лет назад, и к тому же... я бы и сегодня поступил точно так же. Кто вам рассказал?

— Брат,— ответила она.— Вообще-то он хороший малый.

— Да,— подтвердил я.— Вообще-то он хороший малый. И сегодня, когда я ушел, вы об этом думали — о том, что я украл?

— Да,— призналась она,— думала, но недолго.

— Недолго — это сколько?

— Не помню уже,— она снова улыбнулась.— Я о разном думала. А потом есть очень захотелось, но я боялась спуститься, знала, что вы тут стоите.

Я достал из кармана булочку, она с улыбкой взяла ее и быстро разломил — я увидел, как ее сильный и нежный большой палец глубоко вонзается в хлебную мякоть, словно в подушку. Она проглотила первый

кусочек, но прежде чем отправила в рот второй, я спросил:

— А вы случайно не знаете, кто рассказал вашему брату о моем воровстве?

— Вам это так важно?

— Да,— кивнул я.— Очень.

— Видимо, те люди, у которых вы...— она опять покраснела,— ну, у которых вы это сделали. Брат так и сказал: «Мне это известно из первых рук».— Она съела еще кусочек и, глядя куда-то мимо, тихо добавила: — Мне очень жаль, что я вас прогнала, просто я очень напугалась. Но вовсе не из-за того случая, про который мне брат рассказал.

— Я уже начинаю жалеть, что и в самом деле не вор,— сказал я.— Но в том-то и глупость, что это была просто промашка. Молодой был, робкий, сегодня я провернул бы все это куда ловчей.

— Похоже, вы ничуть не раскаиваетесь, верно? — спросила она, отправляя в рот новый кусочек хлеба.

— Ничуть,— подтвердил я.— Жаль только, что попался, очень мерзко было, да и сказать нечего. А они меня простили. Знаете, как это замечательно, когда тебе прощают, а ты не чувствуешь за собой вины?

— Нет, не знаю,— сказала она,— но догадываюсь, что это, наверно, очень противно. А у вас случайно,— она улыбнулась,— еще хлеба в кармане не найдется? Зачем вы его с собой носите? Кормите птиц? Или боитесь голодной смерти?

— Я всегда боюсь голодной смерти,— признался я.— Хотите еще хлеба?

— Хочу.

— Пойдемте,— сказал я,— я куплю вам хлеба.

— Прямо как в пустыне,— пожаловалась она.— Семь часов ни крошки хлеба, ни глотка воды.

— Пойдемте,— повторил я.

Она молчала и уже не улыбалась.

— Я с вами пойду,— вымолвила она наконец,— но только если вы пообещаете не врываться больше ко мне в комнату так внезапно и с такой охапкой цветов.

— Обещаю,— сказал я.

Она наклонилась, снова на миг исчезнув за дверью, и сбросила крюк — я услышал, как он звякнул об стенку.

— Это рядом,— пояснил я,— два шага, сразу за

углом, пойдете.— Но она не тронулась с места; прислонясь к двери, она придерживала ее спиной и ждала, чтобы я пошел первым. Так мы и пошли, я чуть впереди, она следом, я иногда оглядывался, и только тут заметил, что она прихватила с собой сумочку.

За стойкой в кафе теперь стоял мужчина, длинным ножом он разрезал свежий яблочный пирог: проделывал он это с величайшей осторожностью, дабы не повредить поджарившуюся решеточку из теста поверх зеленоватой яблочной начинки. Мы молча стояли у стойки, любуясь его виртуозной работой.

— Еще здесь дают куриный бульон и суп-гуляш,— тихо сказал я Хедвиг.

— Точно,— подтвердил мужчина, не отрываясь от своего занятия.— Дают.

Его черные густые волосы выбились из-под белого колпака, и весь он пропах хлебом, как крестьянка молоком.

— Нет,— сказала Хедвиг,— не надо супа. Лучше пирога.

— Сколько? — спросил мужчина; он как раз отрезал последний кусок, мягким рывком вытянул нож из теста и теперь с улыбкой созерцал дело рук своих.— Спорим,— сказал он вдруг, и его смуглое, худое лицо едва не растворилось в ослепительно веселой улыбке,— спорим, что все куски одинаковые, и по величине, и по весу. От силы,— он отложил нож,— два-три грамма разницы, но это уж не в счет. Так спорим?

— Нет,— я улыбнулся.— Лучше не надо. Я же все равно проиграю.

Пирог был похож на круглое узорчатое окно, какие бывают только в соборах.

— Ясное дело,— с удовольствием согласился мужчина,— ясное дело, вы проиграете. Так сколько вам?

Я вопросительно глянул на Хедвиг. Она смущенно улыбнулась.

— Одного куска мало, а двух много.

— Значит, полтора,— определил мужчина.

— А так можно? — удивилась Хедвиг.

— Почему же нет,— ответил он, берясь за нож и разрезая один из кусков точнехонько на две половинки.

— Значит, на каждого по полтора,— сказал я,— и кофе.

На столике, за которым мы сидели с Вольфом, еще остались наши чашки, тут же стояла и моя тарелка с крошками от булочки. Хедвиг уселась на тот стул, на котором еще недавно сидел Вольф, я вытащил из кармана сигареты и предложил ей.

— Нет, спасибо,— отказалась она.— Может, потом.

— Еще кое о чем,— сказал я, садясь за столик,— еще кое о чем мне надо у вас спросить. Я всегда хотел спросить об этом вашего отца, да как-то стеснялся.

— О чем же?

— Как это вышло, что ваша фамилия Муллер, а не Мюллер?

— Ой,— сказала она,— это дурацкая история, я до сих пор из-за нее злюсь.

— Что за история?

— У моего деда еще была нормальная фамилия Мюллер, но у него было много денег, а фамилия казалась ему слишком простецкой, и он угрожал кучу денег на то, чтобы заменить «ю» на «у». Никогда ему не прощу.

— Почему?

— Потому что лучше жить под фамилией Мюллер, но с деньгами, которые он ухлопал на изничтожение ни в чем не повинной буквы. Будь у меня сейчас эти деньги, мне не пришлось бы становиться учительницей.

— А вы что, не хотите?

— Не то чтобы не хочу,— замялась она,— но и не слишком-то рвусь. Но отец говорит — надо, иначе себя не прокормишь.

— Если вы согласитесь,— сказал я тихо,— я готов вас прокормить.

Она покраснела, но я был рад, что наконец сказал об этом, и сказал именно так. А еще я был рад, что наконец-то подошел мужчина и подал кофе. Он поставил кофейник на стол, убрал грязную посуду и спросил:

— Вам сливок к пирогу дать?

— Да,— отозвался я.— Сливки, да, пожалуйста.

Он отошел, и Хедвиг разлила кофе по чашкам; она все еще краснела, и я отвел глаза, уставившись на картинку у нее над головой: это была фотография мраморной статуи какой-то женщины, памятник был знакомый, я часто мимо него проезжал, но так и не знал, кого он изображает, а теперь обрадовался, прочитав под фотографией надпись: «Памятник императрице Августе»,— значит, вот кто это такая.

Мужчина принес пирог. Я плеснул себе в кофе молока, размешал, ложечкой отломил кусок пирога, и обрадовался, когда Хедвиг тоже принялась за еду. Она уже перестала краснеть и, не поднимая глаз от тарелки, проговорила:

— Тоже мне пропитание, нечего сказать: охалка цветов и одна булочка всухомятку, да и то на ходу.

— Зато потом,— возразил я,— яблочный пирог со сливками и кофе. Но уж вечером непременно что-нибудь такое, что моя мама называла «нормальной едой».

— Да,— откликнулась она,— моя мама тоже говорила: хоть раз в день обязательно надо поесть нормально.

— Значит, часов в семь? — сказал я.

— Сегодня? — спросила она.

И я ответил:

— Сегодня.

— Нет, сегодня вечером я никак не могу. Надо навестить папину знакомую, она за городом живет, и ей давно не терпится взять надо мной шефство.

— Вам очень хочется туда ехать?

— Нет,— ответила она.— Она из тех женщин, которые, придя в гости, с порога определяют, когда хозяйева в последний раз стирали шторы, и что самое ужасное: она никогда не ошибается. Если бы она нас сейчас увидела, она сразу бы сказала: он хочет тебя соблазнить.

— Она бы и тут не ошиблась,— подтвердил я.— Я хочу вас соблазнить.

— Я знаю,— сказала Хедвиг.— Нет, мне совсем не хочется к ней ехать.

— Так не ездите,— посоветовал я.— Как было бы хорошо увидеться с вами еще раз уже вечером. А к людям, которые не нравятся, просто не надо ходить.

— Ладно,— сказала она,— я не поеду, только если я не поеду, она ведь сама заявится и утащит меня к себе. У нее своя машина, и она ужасно энергичная особа, нет, даже не так, отец всегда говорит: очень волевая.

— Ненавижу волевых людей,— сказал я.

— Я тоже,— заметила она. Она доела пирог и теперь ложечкой добирала с тарелки остатки сливок.

— А я все никак не решусь пойти туда, где должен быть к шести,— признался я.— У меня свидание с

девушкой, на которой я когда-то хотел жениться, и я собирался ей сказать, что жениться на ней не хочу.

Хедвиг как раз взяла кофейник, чтобы подлить себе кофе — рука ее замерла на полдороге.

— А скажете вы ей об этом сегодня или нет, зависит от меня, да? — спросила она.

— Нет, — ответил я. — Это только от меня зависит, и сказать все равно надо.

— Тогда идите и скажите. А кто она?

— Она как раз дочь того, кого я обокрал, и, вероятно, именно она проболталась тому, кто потом рассказал об этом вашему брату.

— Вот оно что, — заметила она. — Тогда вам, наверно, легче.

— Легче легкого, — согласился я. — Все равно что отказаться от подписки: жалко не самой газеты, жалко почтальоншу, которая лишится твоих ежемесячных чаевых.

— Тогда идите, — сказала она, — а я не поеду к папиной знакомой. Когда вам надо уходить?

— Ближе к шести, — ответил я. — Еще пяти нет.

— Оставьте меня одну, — попросила она. — Поищите писчебумажный магазин и купите мне открытку: я обещала своим каждый день писать домой.

— Хотите еще кофе? — спросил я.

— Нет, — сказала она. — Дайте мне сигарету.

Я протянул ей пачку, она взяла сигарету. Я дал ей прикурить и потом, уже стоя у стойки и расплачиваясь, смотрел, как она сидит и курит; сразу было видно, что курит она редко — сигарету держит неумело и дым выпускает, почти не затягиваясь, но когда я снова вернулся в комнату за стойкой, она подняла на меня глаза и проговорила:

— Идите же, — и я снова вышел, успев увидеть только, как она открывает сумочку: подкладка у сумочки была такого же зеленого цвета, как и ее пальто.

Я прошел всю Корбмахергассе, потом завернул за угол на Нетцмахергассе; стало прохладно, некоторые витрины уже зажглись. Я и всю Нетцмахергассе прошел, пока не набрел наконец на писчебумажный магазин.

В магазинчике на старомодных стеллажах в беспорядке теснились всевозможные канцтовары, на прилавке валялась колода карт — кто-то ее смотрел, но брать не стал, обнаружив дефекты, бракованные карты были выложены рядом с надорванной упаковкой: бубновый

туз с выцветшим красным ромбом в центре и девятка пик с надломленным уголком. Тут же лежали и шариковые ручки рядом с блокнотом, на котором пробовали, как они пишут. Опершись локтями на прилавок, я стал изучать блокнот. Тут были и прихотливые завитушки, и немислимые каракули, а кто-то написал «Бруноштрассе», но большинство покупателей предпочитали отрабатывать на блокноте свою подпись, причем первые буквы выводили с особым нажимом: вот ясным, уверенным округлым почерком написано «Мария Кэлиш», а рядом кто-то еще, словно заика, справился со своей фамилией только с третьего раза: «Роберт Б—Роберт Бр—Роберт Брах», причем и почерк был угловатый, старомодный и какой-то трогательный, я сразу решил, что писал, должно быть, старик. Кто-то подписался просто «Генрих» и тут же, рядом, тем же почерком, вывел: «незабудка», а еще кто-то перьевой авторучкой жирно и напористо начертал: «развалюха».

Наконец вышла молоденькая продавщица, приветливо кивнула мне и сунула колоду с обеими бракованными картами обратно в упаковку.

Я сперва попросил открытки, пять штук, и из стопки, которую она мне предложила, выбрал первые пять — с парками, соборами и еще с каким-то памятником, который я раньше никогда не видел: назывался он «Памятник Нольдеволю» и в бронзе запечатлел некоего мужчину во фраке и с рулоном бумаги в руках, который он зачем-то разворачивал.

— А кто такой этот Нольдеволь? — спросил я продавщицу, отдавая ей открытку, которую она положила в конверт к остальным. У нее было очень милое румяное лицо, черные волосы, разделенные строгим пробором, и вид женщины, которая хочет уйти в монастырь.

— Нольдеволь, — объяснила она, — строил наш Северный район.

Я знаю наш Северный район. Высоченные доходные дома, которые с 1910 года и по сей день все пыжятся, пытаюсь выглядеть солидными и респектабельными буржуазными жилищами; по улицам ползают старинные трамваи, их зеленые крутобокие вагончики пробуждают во мне те же романтические чувства, какие в 1910 году испытывал, должно быть, мой отец при виде почтовой кареты.

— Спасибо, — сказал я, а сам подумал: вот, значит, за что раньше ставили памятники.

— Еще что-нибудь желаете? — спросила продавщица, и я ответил:

— Да, пожалуйста, дайте мне пачку почтовой бумаги, вон ту, большую, в зеленой коробке.

Продавщица открыла витрину, достала коробку и сдула с нее пыль.

Я наблюдал, как она отрывает лист оберточной бумаги от рулона, что висел на стене у нее за спиной, любовался ее красивыми руками, маленькими, нежными и очень белыми, а потом вдруг ни с того ни с сего достал из кармана авторучку, отвинтил колпачок и запечатлел свой автограф под именем Марии Кэлиш на блокноте. Не знаю, зачем я это сделал — слишком велик был соблазн увековечить свое имя на этом белом листке.

— О,— спохватилась продавщица,— может, вы хотите заправить авторучку?

— Нет,— ответил я, чувствуя, что краснею,— нет, спасибо, я недавно ее заправил.

Она улыбнулась, и на миг мне почудилось, что она разгадала мое побуждение.

Я положил деньги на прилавок, потом достал из кармана чековую книжку, здесь же, на прилавке заполнил чек на двадцать две марки пятьдесят пфеннигов, по диагонали через весь чек написал: «Погашение задолженности», взял конверт, в котором продавщица подала мне открытки, открытки сунул в карман просто так, а чек вложил в конверт. Конверт был простенький, из самых дешевых, в таких присылают извещения из налоговой инспекции и из полиции. Едва я надписал конверт, адрес Виквебера тут же расползся на шершавой бумаге, я его зачеркнул и написал снова, медленно и разборчиво.

Из сдачи, что подала мне продавщица, я выудил монету в одну марку, подвинул ее обратно к продавщице и попросил:

— Дайте мне, пожалуйста, марки: одну за десять пфеннигов и еще одну — «В помощь нуждающимся».

Она выдвинула ящичек, извлекла марки из тетрадки и подала мне, а я наклеил обе марки на конверт.

Мне хотелось купить еще что-нибудь, и я медлил брать сдачу с прилавка, шаря взглядом по стеллажам; тут были и толстые общие тетради, в техникуме мы записывали в таких лекции — я выбрал одну, в пухлой обложке из зеленой кожи, и протянул продавщице через прилавок; она снова зашуршала рулоном с оберточной бумагой, а я, беря в руки аккуратный сверток, почему-то

тврдо знал, что в этой тетради Хедвиг никогда не будет записывать лекции.

Я шел обратно по Нетцмахергассе, и мне казалось, что этот день никогда не кончится: лишь окна витрин светились чуть ярче, чем прежде. Я бы с удовольствием еще что-нибудь купил, но ни в одной из витрин ничто мне не приглянулось; я, правда, постоял немного перед витриной похоронного бюро, разглядывая темно-коричневые и черные гробы, высвеченные приглушенным светом, потом пошел дальше и, уже заворачивая на Корбмахергассе, подумал об Улле. С ней все будет не так легко, как мне только что представлялось; она давно меня знает, и знает как облупленного, но и я ее знаю,— когда я ее целовал, сквозь черты ее красивого гладкого девичьего лица мне порой мерещился оскаленный череп, в который превратится когда-нибудь голова ее папаши: пустые глазницы и зеленая фетровая шляпа.

Это с ней, с ней заодно я облапошивал старика Виквебера, причем куда более изощренным и доходным способом, чем прежде, когда попался на конфорках; мы надували его куда серьезней, и зашибали немалые деньги на так называемом металлоломе; под моим руководством сколотили целую бригаду рабочих, которая разбирала развалины, предназначенные на снос, а мы с выгодой толкали налево все, что годилось в дело; иные квартиры, до которых мы добирались по высоченным приставным лестницам, стояли совершенно нетронутыми, и мы находили кухни и ваннные комнаты, где все — от кухонной плиты до газовой колонки, от раковины до последнего болтика в унитазе,— все было как новенькое, даже эмалированные крючки, на которых иной раз еще висели полотенца, даже стеклянные полочки в ванной, где еще лежали рядышком губная помада и бритвенный прибор, и сама ванна, с застоявшейся водой, мыльная пена известковыми хлопьями осела на дно, а вода совершенно прозрачная, и в ней еще плавают резиновые звери, которыми играли дети, что потом задохнулись в подвале, и я смотрел в зеркала, еще хранившие взгляды тех, кто смотрелся в них за несколько минут до кончины, зеркала, в которых я с бешенством и отвращением крушил молотком собственное лицо,— серебристые осколки сыпались на бритвенный прибор и губную помаду; и я вытаскивал затычку из ванны, и вода струей падала вниз с четвертого этажа, а резиновые звери плавно опускались на дно, в известковые хлопья.

Где-то, помню, стояла швейная машина, ее игла вгрызлась в кусок коричневой ткани, который не успел превратиться в детские штанишки, и никто меня не понял и не одобрил, когда я, минуя лестницу, швырнул машину в дверной проем и она вдребезги разбилась о каменные глыбы и обломки рухнувших стен; но больше всего я любил колошматить собственное лицо в зеркалах, когда мы их находили, — серебристые осколки летели вниз озорными каскадами звонких брызг. Пока Виквебер не начал удивляться — почему, мол, в нашем «вторсырье» никогда зеркала не попадают? — и не передал руководство бригадой по разборке руин другому подмастерью.

Однако именно меня они послали на место происшествия, когда разбился тот мальчишка-ученик — ночью он забрался в разрушенный дом, хотел вытащить электрическую стиральную машину; никто не мог объяснить, как он вскарабкался на третий этаж, но он вскарабкался и уже начал спускать машину, огромную, как комод, на канате, — тут-то и сорвался. Когда мы пришли, его тачка еще мирно стояла тут же, возле дома, во дворе на солнышке. Уже суетилась полиция, и еще кто-то с рулеткой замерял длину каната, качал головой и поглядывал вверх, где видна была распахнутая дверь кухни, и даже веник, прислоненный к голубой штукатурке стены. Стиральная машина раскололась, как орех, барабан выкатился, но сам мальчонка лежал, как живой, он свалился на груды полуистлевших матрацев, и казалось, утонул и запутался в водорослях, и даже горькая складка у рта была такая же, как всегда, — в ней была горечь голодного, который не верит в справедливость этого мира. Звали его Алоис Фруклар, и проработал он у Виквебера всего три дня. Когда я нес его в машину, присланную из морга, какая-то женщина на улице спросила:

— Это что же, ваш брат?

И я ответил:

— Да, это мой брат, — а после обеда увидел, как Улла, обмакнув ручку в пузырек с красными чернилами, ровненько, по линейке вычеркивает его фамилию из платежной ведомости: линия получилась аккуратная, отчетливая и красная, как кровь, красная, как воротник Шарнхорста, как губы Ифигении, как сердечко червонного туза.

Хедвиг сидела, оперев голову на руки, рукава зеленого свитера поддержались, и ее тугие белые руки воз-

вышались над поверхностью стола, как две бутылки, между горлышками которых покоилось ее лицо,— сужения горлышек обрамляли его плавный овал,— глаза были с теплым, почти цвета меда золотистым отливом, и я увидел, как моя тень отразилась в этих глазах. Но она меня не заметила, она смотрела мимо меня, куда-то вдаль, в полумрак той прихожей, куда я входил ровно двенадцать раз, неся в руках стопку тетрадок по иностранным языкам, и которая лишь смутно запечатлелась у меня в памяти: темно-красные обои,— впрочем, может, и кофейно-коричневые, там всегда было темно-вато,— фотография отца в студенческой шапочке и витиеватая надпись «...ония», запах табака и мятного чая, а еще полочка для нотных тетрадей, на самой верхней я однажды успел прочесть: Григ, «Танец Аниты».

Мне ужасно захотелось знать эту прихожую так же хорошо, как знает ее Хедвиг, и я лихорадочно искал в памяти хоть какие-нибудь зацепки, которые, возможно, помогли бы восстановить забытую картину: я шарил в своей памяти, как шарят во вспоротой подкладке, пытаюсь извлечь завалившуюся туда монету,— монету, которая в нужде оказалась целым состоянием, потому что она единственная и последняя; на нее можно купить две булочки, одну сигарету или стеклянную трубочку мятных таблеток, белых, похожих на облатки кружочков, которые так хорошо отбивают голод, наполняя желудок терпкой сладостью, словно воздухом, накачанным в безжизненно опавшие легкие.

И ты шарешь по подкладке, пальцы твои в поисках монетки перебирают пыль и сбившиеся в комочки ворсинки,— ты даже начинаешь надеяться: вдруг это не десять пфеннигов, а целая марка. Но нет, это были только десять пфеннигов, я их достал, и все равно им не было цены: над входом висел образ Христа Спасителя и горела лампада, я всегда успевал взглянуть на него, лишь когда уходил из церкви.

— Идите,— сказала Хедвиг,— я вас здесь подожду. Это надолго? — Она спросила, не взглянув на меня.

— В этом кафе,— ответил я,— закрывают в семь.

— А вы придете позже?

— Нет,— сказал я.— Точно нет. Так вы будете здесь?

— Буду,— ответила она.— Я буду здесь. Идите.

Я положил открытки на стол, рядом положил марки и пошел обратно на Юденгассе, сел в машину, бросил

оба пакета с подарками для Хедвиг на заднее сиденье. Я знал, что все это время боялся своей машины ничуть не меньше, чем своей работы, но сейчас даже с машиной у меня все ладилось, как прежде ладилось с сигаретами, когда я стоял на другой стороне улицы и глазел на дверь подъезда, — ладилось само собой, автоматически. Нажать педаль, нажать кнопку, отпустить педаль, отпустить кнопку, ручной тормоз на себя, рычаг скоростей — от себя. Машину я вел как во сне — все шло гладко, без сучка без задоринки, и мне казалось, что я еду совершенно один в совершенно бесшумном мире.

Я выехал на перекресток Юденгассе с Корбмахерштрассе и уже собрался повернуть в сторону Рентгенплатц, но тут где-то в самом конце Корбмахергассе, в меркнувшей перспективе улочки мелькнул зеленый свитер Хедвиг, мелькнул и исчез, — я круто развернулся прямо посреди перекрестка и направил машину туда. Хедвиг бежала, потом окликнула мужчину, что переходил улицу с буханкой хлеба под мышкой. Я притормозил, потому что оказался слишком уж близко, и увидел, как мужчина что-то ей объясняет и машет куда-то рукой. Она побежала дальше, а я медленно поехал следом по Нетцмахергассе, пока Хедвиг, поравнявшись с витриной того самого магазинчика, где я покупал открытки, не свернула за угол в узкий и темный проулок, которого я раньше не знал. Теперь она уже не бежала, черная сумочка мерно покачивалась на руке, а я, поскольку улочка не просматривалась, включил дальний свет и в тот же миг залился краской стыда: столбы света со всего маху уперлись в портал скромной церквушки, куда как раз входила Хедвиг. Я испытал ту же неловкость, какую, должно быть, испытывает кинооператор во время ночных съемок, когда свет его прожектора ненароком выхватывает из темноты обнявшуюся парочку.

III

Я поспешил объехать церковь, и уже за ней повернул в сторону Рентгенплатц. Туда я добрался ровно к шести и, уже выворачивая на площадь с Чандлерштрассе, издали заметил Уллу — она ждала меня возле мясной лавки; я все время ее видел, пока, зажатый со всех сторон другими машинами, медленно описывал круг по площади, прежде чем мне удалось наконец вырулить в переулок. Улла

была в красном плаще и черной шляпке, и я вдруг вспомнил, что когда-то, кажется, говорил ей, что в этом красном плаще она мне особенно нравится. Я приткнул машину к тротуару, а когда подбежал к Улле, она первым делом сказала:

— Там нельзя стоять. Это обойдется тебе в двадцатку.

Сразу было видно, что она уже поговорила с Вольфом: на розовую гладкость лица легли черные тени. У нее за спиной, в витрине мясной лавки между двух глыб белого сала, среди цветочных ваз на мраморных подставках выстроилась пирамида консервных банок, на этикетках которых пронзительно красными буквами повторялась одна и та же надпись: «Тушенка говяжья».

— Бог с ней, с машиной,— сказал я.— У нас мало времени.

— Глупости,— возразила она.— Давай ключи, вон место освободилось.

Я протянул ей ключи, а сам наблюдал, как она садится в мою машину и как ловко перегоняет ее с запрещенного места к другому тротуару, откуда только что отъехал чей-то лимузин. Я подошел к почтовому ящику на углу и бросил в него письмо, адресованное ее отцу.

— Глупость какая,— сказала она, подходя ко мне и отдавая ключи.— Можно подумать, у тебя деньги краденые.

Я вздохнул и подумал о бесконечности долгого, жизненного брака, в который чуть было с ней не пустился; об упреках, которые тридцать, а то и все сорок лет падали бы в меня, словно камни в колодец; о том, как бы она удивлялась, что эхо от падающих камней становится все тише, все глуше, короче, пока вообще не прекратится, зато над гладью воды вырастет горка камней, и этот образ забитого камнями колодца неотвязно преследовал меня, пока мы с Уллой заворачивали за угол, направляясь к кафе Йооса. Я спросил:

— Вольф тебе уже все сказал?

И она ответила:

— Да.

Мы стояли у входа в кафе, и я, придерживав ее за локоть, спросил:

— Так, может, нам не о чем говорить?

— Э-э, нет,— возразила она.— Нам есть о чем поговорить.

Она решительно увлекла меня за собой, и, отодвигая плюшевую портьеру, я понял, почему ей так важно посидеть со мной именно здесь: мы так часто бывали здесь с ней и Вольфом — еще в ту пору, когда я и Вольф вместе учились на вечерних курсах, и потом, когда уже сдали экзамены и больше не ходили в техникум, кафе Йооса оставалось неизменным местом наших встреч: сколько чашек кофе здесь выпито, сколько порций мороженого съедено, и по улыбке Уллы, которая сейчас, стоя возле меня, высматривала свободный столик, я догадался — она думает, что заманила меня в ловушку, потому что все здесь — стены, столики, стулья, запахи, даже лица официанток, — все было на ее стороне; здесь она будет играть со мной на своем поле, в родных стенах, при своих зрителях, но одного она не знает — что все эти годы, кажется три или четыре, теперь вычеркнуты из моей памяти, хотя еще только вчера мы с ней здесь сидели. Я просто их выбросил, эти годы, как выбрасывают безделушку, которую долго хранишь на память о чем-то, казавшемся прежде дорогим и важным: камешек, подобранный на вершине Монблана, где ты когда-то стоял, а теперь вдруг понял, что ничего особенного не было, только голова с непривычки кружилась от высоты, а камешек самый обычный, серый, величиной со спичечный коробок, и выглядит ничуть не лучше, чем миллиарды тонн других камней на этой земле, — и ты бросаешь его из окна поезда на железнодорожное полотно, где он смешивается с такой же серой и унылой щебенкой.

Еще вчера вечером мы сидели здесь допоздна: Улла притащила меня сюда после вечерней мессы; вон там, в туалетной комнате, я вымыл руки, грязные после целого дня работы, потом съел порцию паштета, выпил вина, а где-то в кармане брюк, среди смятых купюр, должно быть, еще завалялся счет, выписанный мне вчера официанткой. Я и сумму помню, шесть марок пятьдесят восемь пфеннигов, кажется, а вон и сама официантка, в глубине зала раскладывает газеты на газетницу.

— Присядем? — спросила Улла.

— Ладно, — ответил я. — Присядем.

Сама фрау Йоос стояла за стойкой, серебряной лопаточкой раскладывая шоколадные конфеты по хрустальным вазам. Я надеялся ускользнуть от ее неизменного приветствия, которому она придает особое значение, поскольку, если верить ее словам, «неравнодушна к молодежи», — но она уже выскочила из-за стойки, протянула

руки, схватила меня за запястья, благо руки у меня были заняты шляпой и ключами от машины, и воскликнула:

— Как я рада снова вас видеть!

И я почувствовал, что краснею, смущенно глядя в ее красивые, миндалевидные глаза, в которых ясно можно было прочесть, до чего я нравлюсь женщинам. Главным делом фрау Йоос были шоколадные конфеты, и ежедневное это занятие не прошло для нее бесследно; она и сама похожа на конфетку — сладенькая, чистенькая, аппетитная, а ее нежные пальчики от постоянного обращения с серебряной лопаточкой по привычке всегда чуть-чуть оттопырены. Маленького росточка, она не ходит, а скорее подпрыгивает, как пташка, и белые прядки ее волос, зачесанные от висков к затылку, неизменно напоминают мне полоски марципана на шоколадных конфетах — есть такой сорт; зато в головке у нее, в этом узком яйцеобразном вместилище, хранится поистине необъятная информация о шоколадно-конфетной топографии нашего города: она досконально помнит, кто из дам какие конфеты предпочитает, кого и чем можно особенно порадовать, — и потому совершенно незаменима как советчица всех галантных кавалеров и консультантка всех солидных фирм, которые по праздникам рассылают подарки женам своих особо важных клиентов. Какая супружеская измена свершилась, а какая еще только готовится, ей известно по излюбленным сортам и сочетаниям конфет — сама она, кстати, большая мастерица по изобретению новых сортов и сочетаний, которые очень ловко умеет пускать в оборот.

Она протянула руку Улле, одарила ее улыбкой; я тем временем успел сунуть ключи от машины в карман, после чего она, оторвавшись от Уллы, снова подала руку мне.

Я пристально глянул в эти красивые глаза и попытался представить, как бы она со мной заговорила, зайди я сюда семь лет назад попросить хлеба, — и тут же увидел, как эти миндалевидные глазки сужаются в злые щелки со зрачками, неподвижными и тупыми, как у гусыни, увидел, как эти нежные, томно оттопыренные пальчики превращаются в когти, а мягкая, ухоженная рука усыхает и желтеет, скрюченная судорогой жадности, и так поспешно выдернул свою ладонь из ее лапок, что бедняжка испуганно вздрогнула и, покачивая головой, вернулась за стойку с обиженным лицом, которое теперь напоминало конфету, брошенную в грязную лужу

конфету, из которой медленно вытекает тягучая начинка, причем не сладкая, а какая-то кислая.

Улла потащила меня дальше, и мы пошли сквозь строй занятых столиков по ржаво-красной ковровой дорожке в глубину зала, где она углядела два свободных места. Свободных столов не было, только эти два стула у столика на три персоны. Третий стул занимал мужчина, он читал газету, попыхивая сигарой, — сизые облачка дыма вылетали из сигары, как из трубы, и крошечные крупинки пепла плавно оседали на его темный костюм.

— Сюда? — спросил я.

— Других мест нет, — ответила Улла.

— Вот я и думаю, — сказал я, — не пойти ли нам лучше в другое кафе.

Она бросила на мужчину яростный взгляд, потом стала оглядываться по сторонам, и я увидел, каким торжеством вспыхнули ее глаза, когда в дальнем углу из-за столика поднялся мужчина и подал своей даме ее светло-голубое пальто. Для Уллы — я снова почувствовал это, идя за ней следом, — было несказанно важно провести объяснение со мной именно здесь. Она бросила свою сумочку на стул, где еще лежала обувная коробка, и дама в светло-голубом пальто, осуждающе покачав головой, подхватила коробку и направилась к своему спутнику, который уже стоял в проходе между столиками и расплачивался с официанткой.

Улла сдвинула в сторону грязную посуду и села на стул в уголок. Я присел на соседний стул, достал из кармана сигареты, предложил ей; она взяла сигарету, я дал ей огня, закурил сам и уставился на грязные тарелки с остатками сливочного крема, вишневыми косточками, на молочно-серую гущу в кофейной чашке.

— Надо мне было раньше думать, — сказала она, — еще когда я на фабрике за тобой следила, сидела за стеклянной перегородкой у себя в бухгалтерии и все на тебя поглядывала. Как ты этих девчонок, работниц наших, обхаживал, лишь бы они с тобой завтраком поделились; особенно одну, она обмотчицей работала, маленькая такая, чахлая, рахит у нее был, что ли, лицо мучнистое, все в прыщах — зато всегда отдавала тебе половину своего бутерброда с повидлом, а я глядела, как ты его уписываешь.

— Ты еще не все знаешь. Ты не знаешь, что я с ней даже целовался, и в кино ходил, и в темноте за ручку держал; и что она умерла как раз в те дни, когда

я экзамен сдавал. И что я все свое недельное жалование на цветы истратил, которые ей на могилу отнес. Надеюсь, она мне простила эти бутерброды с повидлом.

Улла смотрела на меня молча, потом отодвинула грязную посуду еще дальше, но я пододвинул посуду обратно, потому что одна из тарелок чуть не свалилась на пол.

— А вы,— продолжал я,— даже не сочли нужным послать венок ей на похороны, даже открытку с соболезнованиями родителям черкнуть; полагаю, ты аккуратненько, по линейке, красными чернилами вычеркнула ее фамилию из платежной ведомости — и все дела.

Подошла официантка, собрала грязные тарелки и чашки на поднос, спросила:

— Как всегда, кофе?

— Нет,— ответил я,— спасибо, мне не нужно.

— А мне дайте,— сказала Улла.

— А что для вас? — поинтересовалась девушка.

— Что угодно,— устало ответил я.

— Принесите господину Фендриху мятного чая,— попросила Улла.

— Да,— согласился я,— принесите мне мятного.

— Но у нас нет мятного,— огорчилась официантка,— только простой чай.

— Тогда простого,— сказал я, и девушка удалилась.

Я посмотрел на Уллу и уже не в первый раз удивился, как разительно превращаются ее полные, красивые губы в узенькую злую полоску — словно красная черта, проведенная по линейке.

Я снял с руки часы и положил перед собой на стол; было десять минут седьмого, а без четверти семь и ни минутой позже, я уйду.

— Я не пожалел бы двадцатку на штраф, чтобы поговорить с тобой на две минуты дольше, я с удовольствием подарил бы тебе эти две минуты на прощанье, как два роскошных цветка,— но ты сама лишила себя подарка. Мне-то за эти две минуты двадцатки не жалко.

— Еще бы,— съязвила Улла,— ты теперь благородный господин, готов раздаривать цветы по десять марок за штуку.

— Да,— заметил я,— я считаю, подарки того стоят, мы-то друг другу никогда ничего не дарили. Ведь верно?

— Верно,— согласилась она,— мы друг другу ничего не дарили. Мне с детства вдолбили, что подарок сперва

надо заслужить, а ты, как мне казалось, ни одного не заслужил, как, впрочем, и я — я тоже ни одного подарка не заслужила.

— Верно,— подтвердил я,— а единственный, который я хотел тебе подарить, пусть ты его и не заслужила, ты не взяла. А когда ходили в ресторан,— добавил я тихо,— мы никогда не забывали попросить счет на случай налоговой инспекции, и брали по очереди, один счет вы с Вольфом, другой я. А если бы и на поцелуи выдавали счета, они все у тебя были бы подшиты.

— Есть счета и на поцелуи,— возразила она.— И в свое время они будут тебе предъявлены.

Официантка принесла Улле кофе, мне чай, и пока она все это подавала, мне казалось, что церемонии сервировки не будет конца: тарелочки, чашечки, молочники, сахарница, розетка для пакетика с чаем на ниточке, а как венец всему еще и особая маленькая тарелочка с крохотными серебряными щипчиками, в челюстях которых хищно зажат тонюсенький ломтик лимона.

Улла молчала, и я боялся, что она закричит — однажды я слышал, как она кричит: она потребовала своей доли участия в делах фирмы, а отец отказал. Время застыло на месте: всего тринадцать минут седьмого.

— Черт возьми! — прошипела Улла.— Может, ты хоть часы уберешь?

Я прикрыл часы картой меню.

Мне казалось, что все это я уже бессчетное число раз видел, слышал, даже нюхал — как пластинку, которую верхние соседи каждый вечер крутят в одно и то же время, как фильм, который тебе показывают в аду, всегда один и тот же, и этот запах, неотвязный запах кофе и пота, духов, ликеров и сигарет, и мои слова, и слова Уллы — все это уже бессчетное число раз говорилось и все равно было неправдой, слова отдавали ложью даже на вкус, и я чувствовал этот вкус во рту: вот так же было, когда я рассказывал отцу о черном рынке и о голодухе — слова, едва изреченные, уже становились неправдой,— и тут вдруг я вспомнил, как Лена Френкель отдавала мне свой бутерброд с повидлом, отчетливо ощутил даже вкус этого повидла, красного, самого дешевого сорта, и меня страстно потянуло к Хедвиг, а еще — в темно-зеленую

тень моста, под которым навсегда исчез, сгинул Юрген Броласки.

— До конца,— сказала Улла,— я этого все равно не пойму, потому что не пойму, как это ты способен что-то делать не ради денег,— или у нее есть деньги?

— Нет,— ответил я,— денег у нее нет, зато она знает, что я украл; кто-то из вас разболтал, и это дошло до ее брата. Да и Вольф только что еще раз мне это припомнил.

— И очень хорошо сделал,— заметила она.— А то ты у нас такой благородный стал, что, похоже, уже начал забывать, как конфорки таскал, чтобы мелочью на сигареты разжиться.

— И на хлеб,— сказал я,— на хлеб, которого ни ты, ни отец мне не давали, только Вольф иногда делился. Хоть и не знал, что такое голод, но когда мы на пару работали, он всегда меня угощал. И знаешь,— добавил я совсем тихо,— если бы ты тогда хоть разочек дала мне хлеба, мы бы с тобой сейчас тут не сидели и я бы не смог так с тобой разговаривать.

— Мы всегда платили сверх тарифа, и каждый, кто у нас работал, имел паек, а на обед суп без всяких карточек.

— Да,— подтвердил я,— вы всегда платили сверх тарифа, и каждый, кто у вас работал, имел паек, а на обед суп без всяких карточек.

— Скотина! — выдохнула она.— Скотина неблагодарная!

Я убрал меню с часов, но стрелка еще не доползла даже до половины седьмого — я снова накрыл часы.

— Лучше просмотри еще раз платежные ведомости, которые ты вела,— сказал я,— но как следует просмотри, прочти все имена и фамилии, прочти вслух, громко и благоговейно, как литанию, и после каждого имени произнеси: «Прости нам!» — потом сложи все имена и помножь их число на тысячу хлебов, а результат помножь еще на тысячу,— вот тогда ты, пожалуй, подсчитаешь, сколько проклятий на лицевом счету у твоего отца. А единицей измерения пусть будет хлеб, хлеб наших ранних лет, что остались в моей памяти как в густом тумане, хлеб, а не суп, который нам подавали от хозяйских щедрот,— этот суп тяжело бултыхался у нас в желудках, поднимаясь к горлу горячей и кислой волной, когда мы вечером разъезжа-

лись по домам в трясучих трамваях: это была отрыжка бессилия, и единственной радостью, какую мы знали в жизни, была ненависть, ненависть, которая,— добавил я тихо,— давно прошла, отлетела вместе с отрыжкой, что комом сжимала мне все нутро. Господи, Улла,— сказал я тихо и в первый раз за все это время взглянул ей прямо в глаза,— неужели ты и вправду надеешься меня убедить, что тарелкой супа и мизерной прибавкой к жалованью все можно загладить? Неужели ты сама этому веришь? Вспомни хотя бы все эти рулоны промасленной бумаги...

Она помешала ложечкой кофе, снова подняла на меня глаза, потом протянула мне сигареты; я взял одну, дал ей прикурить, закурил сам.

— Мне даже наплевать, что вы рассказали об этой моей баснословной краже другим людям, но неужели ты всерьез думаешь меня убедить, что все мы, все, кто числился у вас в платежных ведомостях, не заслужили от вас — хоть иногда — лишний ломоть хлеба?

Она все еще молчала, смотрела куда-то мимо меня, и я сказал:

— Ведь я тогда, приезжая домой, воровал у отца книги, чтобы купить себе хлеба, книги, которые он любит, которые он всю жизнь собирал, ради которых он голодал в студенческие годы; книги, за которые он в свое время платил ценой двадцати буханок хлеба, я сбывал за полбуханки,— прикинь сама, какие проценты тут набегают: от минус двухсот до минус бесконечности...

— Нам тоже,— произнесла Улла,— нам тоже приходится расплачиваться по процентам, да по таким,— добавила она еще тише,— о которых ты и понятия не имеешь.

— Да,— ответил я,— вы расплачиваетесь, даже не зная толком, какую вам положили процентную ставку, а она очень высока,— но я-то хватал книги без разбора, вернее, хватал те, что потолще; у отца этих книг столько было, что я думал, он и не заметит,— только потом я узнал, что он каждую помнит как родную, помнит, как пастух овец в своем стаде, а одну, тонюсенькую, ветхую, дрянную, я отдал вообще за гроши, можно считать, за коробку спичек, и только после узнал, что она стоила целый вагон хлеба. Это уж потом отец меня попросил,— и еще покраснел при этом! — доверить про-

дажу книг ему, и с тех пор продавал книги сам, посылал мне деньги, а я покупал на них хлеб...

Она вздрогнула при слове «хлеб», и тут мне стало ее жалко.

— Ударь меня, если хочешь,— сказала она,— плесни мне чаем в физиономию, и говори, говори, ты ведь никогда со мной не говорил, но умоляю, не произноси больше слова «хлеб», я не могу этого слышать... пожалуйста,— добавила она, и я тихо сказал:

— Извини, больше не буду.

Я снова взглянул на нее и испугался: Улла, что сидела сейчас рядом со мной, менялась на глазах, от одних моих слов, а еще — от неутомимого вращения крохотной стрелочки, что под картой меню буравила и буравила время: это была уже другая Улла, совсем не та, которой предназначались мои слова. Я-то думал, что она будет говорить, и говорить долго, и будет права — не ради чего-то, а просто так, вообще,— вышло же все наоборот: это я долго говорил и я был прав, не ради чего-то, а просто так, вообще.

Она смотрела на меня, и я уже знал, что после, когда она по садовой дорожке мимо темной мастерской подойдет к отцовскому дому и остановится под кустами бузины, с ней случится то, чего я меньше всего от нее ожидал: она заплачет,— а Уллы, способной плакать, я раньше не знал.

Я-то думал, она будет торжествовать, но торжествовал на сей раз я, и это я изведаль, что у торжества кисловатый привкус.

Она не притронулась к кофе, только все помешивала его ложечкой, и я испугался ее голоса, когда она заговорила снова:

— Я бы с радостью вручила тебе открытый чек, чтобы ты списал с нашего лицевого счета все те проклятья. Думаешь, приятно узнавать, что все эти годы ты думал только об одном, только проклятья подсчитывал, а мне ничего не говорил...

— Ничего такого я все эти годы не думал,— сказал я.— Это иначе: только сегодня, быть может, только сейчас, здесь, мне все в голову пришло. Это как с подземными водами: сыплешь красную краску в источник, чтобы узнать, с какими родниками он связан, но иной раз проходят годы, прежде чем где-нибудь в совсем неожиданном месте вдруг набредешь

на красный ручеек. Сегодня все ручьи обагрились, и лишь сегодня я узнал, где мои истоки.

— Что ж, может, ты и прав,— проговорила Улла.— Я ведь тоже только сегодня, вот сейчас поняла, что деньги мне безразличны. Мне ничего не стоило бы выписать тебе и второй открытый чек, к тому же с доверенностью на право распоряжаться вкладом, ты бы мог снять со счета сколько угодно, и мне было бы нисколько не жалко, а я-то думала, что будет жалко. Возможно, ты и прав, но теперь все равно уже поздно.

— Да,— ответил я,— уже поздно: хоть и видишь, как лошадь, на которую чуть было не поставил тысячу, приходит первой, и даже держишь в руке заполненный бланк, этот белый талончик, который мог бы принести целое состояние,— ты не сделал ставку, и талончик теперь всего лишь бесполезный клочок бумаги, который даже нет смысла хранить на память.

— И остаешься просто при своей тысяче,— сказала она.— Хотя ты, наверно, и тысячу выбросил бы в канаву вместе с бумажкой.

— Да,— согласился я.— Наверное, я бы так и сделал.

Я плеснул молока в остывший чай, выжал туда же лимон и теперь смотрел, как молоко, сворачиваясь, желтовато-серыми хлопьями оседает на дно стакана. Потом протянул Улле сигареты, но она покачала головой, мне тоже курить не хотелось, и я сунул пачку обратно. Я слегка приподнял меню, украдкой взглянул на часы, увидел, что уже без десяти семь, и моментально прикрыл часы снова, но она все равно заметила и сказала:

— Иди уж, а я еще посижу.

— Может, отвезти тебя домой? — спросил я.

— Не надо,— ответила она.— Я еще посижу. Иди же.

Но я все еще сидел, и она попросила:

— Дай-ка мне руку.

Я протянул ей руку. Какое-то мгновенье Улла, не глядя, подержала мою ладонь в своей, а потом, прежде чем я успел сообразить что к чему, вдруг резко ее выпустила,— от неожиданности я ударился рукой о край стола.

— Прости,— вздохнула она,— этого я не хотела, нет.

И хотя ударился я сильно, я ей поверил: она не нарочно.

— Я часто смотрела на твои руки, как ты держишь инструменты, как берешься за любой электроприбор и сходу его раскручиваешь, и потом, поняв, как он работает, собираешь снова. Сразу было видно, что ты просто создан для этой работы и любишь ее, так что куда лучше было дать тебе возможность самому зарабатывать на хлеб, чем давать его даром.

— Я не люблю свою работу, — отчеканил я. — Я ее ненавижу, как боксер бокс.

— А теперь иди, — попросила она, — иди!

И я ушел, ни слова не говоря, даже не оглянувшись: дошел почти до самой стойки и только там резко повернул, чтобы подойти к официантке и, стоя в проходе между столиками, расплатиться за кофе и чай.

IV

Уже стемнело, и все еще был понедельник, когда я снова выехал на Юденгассе; я очень спешил. Но было уже семь, а у меня начисто вылетело из головы, что после семи проезд по Нудельбрайте закрывают, — пришлось объезжать, в отчаянии тыркаться по соседним, темным и незастроенным улицам, пока я снова не вырулил к церквушке, возле которой последний раз видел Хедвиг.

Тут я почему-то вспомнил, что они обе — Хедвиг и Улла — говорили мне: «Иди, иди же!»

Я снова проехал мимо канцелярского магазина, мимо похоронного бюро на Корбмахергассе, и едва не оцепенел от ужаса, когда увидел, что в кафе уже погашен свет. Я почти проскочил, хотел опять ехать на Юденгассе, но в последний миг краем глаза заметил зеленый свитер Хедвиг в дверях кафе, и так резко затормозил, что машину занесло и бросило в сторону — прямо на глинистую рытвину, где мостовую разобрали, а потом снова засыпали, и я стукнулся рукой, на сей раз левой, о ручку дверцы. Теперь у меня болели обе руки; я вылез из машины и в темноте двинулся к Хедвиг; она стояла в дверях точно так же, как стоят девицы, которые, случалось, окликали меня из подъездов, когда я вечером шел по темным улочкам: без пальто, в ярко-зеленом свитере, белое лицо в рамке темных волос, но еще белей — нестерпимо белой — была ее шея в узком, как лепесток, вырезе свитера, а рот выделялся на белом лице черным пятном, словно намалеванный тушью.

Она стояла неподвижно, молча, устремив взгляд в сторону, и я, ни слова не говоря, схватил ее за руку и потащил к машине.

Вокруг уже появились люди — визг моих тормозов всполошил всю улицу, и я быстро распахнул дверцу, почти впихнул Хедвиг в машину, перебежал на свою сторону, прыгнул за руль и рванул с места. Лишь минуту спустя — мы давно уже миновали вокзал — я мало-помалу пришел в себя и решился на нее взглянуть. Смертельно бледная, она сидела рядом, прямая и неподвижная, как изваяние.

Я подъехал к первому же фонарю и остановился. Мы оказались на темной улице, свет от фонаря падал в парк, вырезав из темноты полукружье аккуратно подстриженного газона; стояла мертвая тишина.

— Какой-то мужчина со мной заговорил, — произнесла Хедвиг, и я даже вздрогнул: она все еще сидела, как изваяние, глядя прямо перед собой. — Да, какой-то мужчина. Хотел меня увести или со мной пойти, не знаю; на вид очень милый, с папкой под мышкой, и зубы желтоватые, прокуренные: пожилой уже, лет тридцать пять, но очень милый.

— Хедвиг! — позвал я, но она по-прежнему смотрела в одну точку, и только когда я схватил ее за плечо, повернула голову и тихо сказала:

— Отвези меня домой, — и меня потрясла естественность, с какой она перешла вдруг на «ты».

— Я отвезу тебя домой, — ответил я. — О, господи...

— Нет, постой еще минутку, — попросила она. И наконец посмотрела на меня, она смотрела внимательно, пристально, неотрывно, так же как я смотрел на нее днем, но теперь уже я боялся поднять на нее глаза. Меня бросило в пот, и обе руки у меня болели, а этот день, этот понедельник, показался мне вдруг нескончаемо долгим, слишком долгим для одних суток, и я понял: не надо мне было тогда уходить из ее комнаты — я открыл свою землю, но все еще не водрузил на ней флаг. Это была прекрасная, удивительная земля, но чужая, столь же чужая, сколь и прекрасная.

— О, господи, — тихо заговорила она, — я так рада, что ты все-таки милее, чем он. Гораздо милей, а вот хозяин кафе совсем не такой милый, как показался поначалу. Ровно в семь он меня выставил. Нельзя тебе было опаздывать. А теперь поехали, — сказала она.

Я ехал медленно, и темные улицы, которыми мы проезжали, казались мне зыбкими тропками среди трясины, где машину в любую секунду может засосать; я ехал осторожно, словно с грузом взрывчатки, я слушал голос Хедвиг, ощущал ее руку на своем плече и чувствовал себя почти так же, как тот, кто прошел горнило испытаний в день Страшного суда.

— Я ведь чуть было с ним не пошла,— говорила Хедвиг.— Не знаю, сколько еще ему надо было продержаться, но он не продержался. Жениться на мне хотел, говорил, что разведется, а у него дети,— нет, очень милый; но убежал, как только фары твоей машины осветили улицу. Лишь минуту около меня постоял, пока все это нашептывал, торопливо так, будто ему очень некогда,— наверно, и было некогда,— а я за эту минуту целую жизнь вместе с ним прожила: представила себя в его объятиях, узнала, какой он после объятий, рожала от него детей, штопала ему носки, а вечером, когда он приходил с работы, целовала его в дверях и забирала у него из рук папку; радовалась вместе с ним, когда ему сделали новую вставную челюсть, а когда ему повысили жалованье, мы устроили маленький пир — с тортом, и мы потом в кино пошли, а он купил мне новую шляпу, красную, как вишневое повидло; и он делал со мною то, что хотел со мною сделать ты, и мне даже нравились его неумелые ласки; я помнила его костюмы, и как он их менял: когда парадный костюм терял лоск, он становился костюмом на каждый день, а «на выход» мы покупали новый, а потом и этот новый тоже снашивался, и мы покупали следующий, а детишки у нас подрастали, ходили в шапочках, красных, как вишневое повидло, и я запрещала им то, что всегда запрещали мне: гулять в дождь. И запрещала по той же причине, по какой запрещали мне: потому что от дождя одежда портится...

Потом я стала его вдовой и получила соболезнование от фирмы. Он работал калькулятором на шоколадной фабрике и как-то раз вечером выдал мне секрет, какие деньги загребает его фирма на шоколадных наборах «Юсупов»,— несусветные барыши, но он заклинал меня об этом помалкивать, а я конечно же проболталась, на следующее же утро в молочной лавке рассказала, сколько его фирма загребает на шоколадных наборах «Юсупов». Ему бы еще минутку-другую продержаться, но он не смог, убежал, удрал

как заяц, едва твоя машина вывернула из-за угла. А еще он мне сказал: «Вы не думайте, девушка, я не какой-нибудь недоучка...»

Я поехал еще медленнее, — левая рука у меня уже сильно побаливала, а правая стала понемногу опухать; на Юденгассе я въехал почти ползком, словно на мост, который вот-вот должен рухнуть.

— Зачем ты сюда? — спросила Хедвиг. — Ты что, хочешь здесь остановиться?

Я только покосился на нее, — наверно, так же затравленно, как тот мужчина.

— Ко мне мы не можем подняться, — сказала она, — там Хильда Каменц, она меня ждет. Я видела свет у себя в комнате, и ее машина стоит у подъезда.

Я медленно проехал мимо подъезда, мимо коричневой двери парадного, которая всегда будет стоять у меня перед глазами, словно фотоснимок, проступающий из красноватой полутьмы: множество снимков, и на всех одна и та же дверь, как на большом блоке почтовых марок, только что с типографского станка.

Возле парадного действительно стояла машина, вишнево-красного цвета.

Я смотрел на Хедвиг, не зная как быть.

— Хильда Каменц — это та самая знакомая моего отца, — пояснила она. — Поезжай за угол; там на соседней улице между домами есть пустырь, я видела из своего окошка: темная мостовая, а посерединке рытвина, мне даже померещилось там твое распростертое тело, — так я боялась, что ты совсем не придешь.

Я повернул и въехал на Корбмахергассе, все еще еле-еле, — казалось, я уже никогда в жизни не смогу ездить быстро. В нескольких домах от булочной и правда обнаружился небольшой пустырь, откуда была видна задняя стена дома Хедвиг; часть ее пряталась за густыми, развесистыми кронами, но один столбец окон просматривался целиком: на первом этаже было темно, на втором горел свет, на третьем — тоже.

— Мое окно, — сказала Хедвиг, — а если она подойдет, мы сможем полюбоваться ее силуэтом, так что ты влетел бы к ней, как муха в паутину, и она, конечно, потащила бы нас к себе домой показывать свою замечательную квартиру, где все ужасно красиво, хотя и как бы ненароком, но ты с первого взгляда видишь, что вся эта ненарошливость очень ловко подстроена, и сразу чувствуешь себя, как после кино, когда фильм

тебя потряс, а на выходе кто-то рядом вдруг скажет: «Да, фильм ничего, только вот музыка подкачала...»

Я оторвал глаза от Хедвиг и, взглянув на ее окно, увидел там женский силуэт в шляпке, и хоть я не мог разглядеть глаза этой дамы, но почувствовал, как она смотрит на машину, прямо на нас бдительным и цепким взглядом женщины, которая обожает наводить порядок в личной жизни своих знакомых.

— Поедем,— сказала Хедвиг,— поедем к тебе, я так боюсь, что она меня разглядит, а если уж мы попадемся к ней в руки, то это на весь вечер: придется сидеть в ее превосходной квартире, пить превосходный чай без всякой надежды даже на то, что дети проснутся и хотя бы ненадолго отвлекут мамашу, потому что дети у нее тоже воспитаны превосходно и спят как положено, с семи вечера до семи утра. Поехали,— и даже мужа ее не будет, он в отъезде, где-нибудь за гонорар оборудует чужие квартиры, чтобы в них тоже все было ужасно красиво и как бы ненароком. Поехали!

И я поехал, сперва по Корбмахергассе, потом по Нетцмахергассе, медленно пересек Нудельбрайте, описал круг по Рентгенплатц, бросив взгляд на витрину мясной лавки, где все так же красовалась пирамида из тушенки, и снова подумал об Улле и годах, проведенных с ней: годы эти вдруг как-то разом съежились, словно рубашка, что села после первой же стирки, за то время после полудня, после приезда Хедвиг,— это было уже совсем иное время.

Я устал, глаза у меня болели, а пока я катил вниз по длинной и прямой, как стрела, Мюнхнерштрассе, почти один по своей стороне, навстречу нам, теснясь и обгоняя друг дружку, заглушая все и вся ликующими гудками, потоком неслись машины: видимо, на стадионе только что закончился боксерский матч или велогонки,— я ехал почти наугад, ослепленный фарами встречных машин, этот яркий свет настырно бил мне в глаза вспышками боли, от которой я иногда даже постанывал, чувствуя, что меня будто гонят сквозь строй, сквозь бесконечный строй длинных, светящихся копий и каждое вонзалось в меня всей нестерпимой мукой своего сияния. Меня словно бичевали светом — и я думал о годах, когда каждое утро, просыпаясь и еще не разлепив веки, заранее ненавидел свет: битых два года я, как одержимый, повышал свою квалификацию, каждое утро поднимался в полшестого, проглатывал

чашку крепкого, горького чая и садился зубрить формулы или шел вниз, в подвал, где у меня была маленькая мастерская, орудовал напильником и паяльником, испытывая новые схемы и подвергая электросеть таким перегрузкам, что временами перегорали пробки, и тогда я слышал сверху возмущенные крики жильцов, которым почему-то не нравилось варить кофе в крошечной тьме. Рядом со мной на письменном столе или верстаке стоял будильник, он звонил ровно в восемь, а я по звонку поднимался наверх, принимал душ и шел на кухню забрать свой завтрак — к тому времени, когда все нормальные люди еще только начинали завтракать, я успевал уже два с половиной часа провести в трудах. Я ненавидел эти два с половиной часа работы спозаранку, хотя иногда и любил, однако не было дня, чтобы я позволил себе их пропустить. Но именно в ту пору, завтракая в своей солнечной комнате, я и познал эту пытку, это бичевание светом, которому подвергся и сейчас.

Она очень длинная, эта Мюнхнерштрассе, и я с облегчением вздохнул, когда мы наконец миновали стадион.

Хедвиг замешкалась, лишь на миг она замешкалась в нерешительности, когда мы остановились; я открыл ей дверцу, подал руку и, слегка пошатываясь, пошел впереди нее по лестнице.

Было полвосьмого, и казалось, этот понедельник длится целую вечность: а ведь не прошло и одиннадцати часов, как я вышел из дому.

В коридоре я прислушался, услышал смех хозяйкиных детей за ужином и только теперь понял, почему, когда поднимался по лестнице, едва волочил ноги: на ботинках комьями налипла глина, и туфли Хедвиг тоже были все в грязи — это от той рытвины в мостовой на Корбмахергассе.

— Я не буду зажигать свет,— шепнул я ей, когда мы вошли в комнату. Глаза у меня болели нестерпимо.

— Хорошо,— шепнула Хедвиг в ответ,— не зажигай.

И я прикрыл за ней дверь.

Слабый полусвет падал в комнату из окон дома напротив, и в его мерцании я смог разглядеть листочки бумаги на письменном столе — фрау Бротих, как всегда, записала вызовы на завтра. Для пущей надежности записки были придавлены камнем; я взял этот

камень, взвесил на руке, как гранату, и швырнул в сад; я слышал, как в темноте он шмякнулся на газон и, покотившись по траве, стукнулся о мусорное ведро. Оставив окно открытым, я взял со стола записки и пересчитал в темноте: их было семь, я разорвал их и бросил клочки в корзину для бумаг.

— Где у тебя мыло? — услышал я голос Хедвиг за спиной.— Хочу руки помыть, а то у меня в комнате вода какая-то грязная была, одна ржавчина.

— Мыло слева, на нижней полочке,— сказал я.

Я вынул сигарету из пачки, закурил, а когда повернулся, чтобы загасить спичку и бросить в пепельницу, я увидел лицо Хедвиг в зеркале: ее рот выделялся на серебристом прямоугольнике в точности как женский ротик на бумажных салфетках, которыми я обтираю бритву,— журчала вода, она мыла руки; я слышал, как она их трет друг о дружку. Я чего-то ждал, и понял чего, когда в дверь тихо постучали. Это была хозяйка, и я, быстро подойдя к двери и приоткрыв ее лишь наполовину, прошмыгнул в прихожую.

Она только что сняла передник и теперь его складывала, а я, глядя на нее, только сейчас, проживя у нее целых четыре года, вдруг заметил, что она похожа на фрау Вицель, слегка, но похожа. А еще — и тоже только сейчас — я заметил, сколько ей лет: все сорок. Она стояла передо мной с сигаретой во рту и смущенно встряхивала передник, проверяя, не загремят ли в кармане спички: спичек не было, и я тоже тщетно хлопывал себя по карманам, мои спички остались в комнате, поэтому я дал ей свою сигарету, она прикурила от нее, жадно сделала первую затяжку, после чего вернула мне сигарету; курит она как-то по-мужски, глубокими и самозабвенными затяжками.

— Ну и денек был,— проговорила она.— Под конец я и записывать перестала, какой смысл, когда вас все равно нигде нет. Как же вы забыли про эту женщину с Курбельштрассе?

Я пожал плечами, в упор глядя в ее серые, слегка раскосые глаза.

— Про цветы хоть не забыли?

— Забыл,— сказал я.— И про цветы забыл.

Она помолчала, смущенно вертя в руке сигарету, прислонилась к стене, и я знал, как трудно ей сказать то, что она хочет сказать. И хотел ей помочь, но слов не было; левой рукой она потерла лоб и сказала:

— Ваша еда на кухне.

Но она всегда оставляла мне ужин на кухне, и я ответил:

— Спасибо,— а потом, глядя мимо нее, не сводя глаз с узора на обоях, тихо добавил:— Ну, говорите же.

— Не по мне это,— произнесла она,— совсем не по мне, и ужасно неудобно, что я вам это говорю, но мне не нравится — не нравится, что эта девушка остается у вас на ночь.

— Вы ее видели? — спросил я.

— Нет,— ответила она.— Но я слышала вас обоих, было так тихо, а потом — ну, и я все сразу поняла. Так она останется?

— Да,— сказал я.— Она... это моя жена.

— Где же вы успели обвенчаться? — Она не улыбалась, а я не сводил глаз с узора на обоях, с этих оранжевых треугольников. Я молчал.— О господи,— проговорила она тихо,— вы же знаете, как неприятно мне это говорить, но я таких вещей просто не терплю. Не терплю, и вынуждена сказать вам об этом, и не только сказать, я...

— Но бывают ведь и срочные свадьбы,— сказал я.— Как и срочные крестины.

— Знаю,— ответила она,— знаю я все эти уловки. Не в пустыне живем и не в джунглях, где нет священников.

— Мы,— сказал я,— мы двое именно что в пустыне, именно что в джунглях, и что-то я не вижу священника, который мог бы нас обвенчать.

И закрыл глаза, потому что они все еще болели от истязания светом, и я устал, смертельно устал, к тому же руки у меня тоже болели. Перед глазами у меня поплыли оранжевые треугольники.

— Или,— спросил я,— вы знаете такого священника?

— Нет,— ответила она.— Не знаю.

Я взял пепельницу, что стояла на стуле около телефона, придавил в ней свою сигарету и протянул пепельницу хозяйке; она стряхнула туда пепел и забрала пепельницу у меня из рук.

Никогда в жизни я так не уставал. Оранжевые треугольники настырно лезли в глаза, как шипы, и я ненавидел ее мужа, который способен покупать такие обои только потому, что это, видите ли, современный стиль.

— Вы бы хоть об отце немного подумали. Ведь вы его любите?

— Да,— ответил я,— люблю, и как раз сегодня очень много о нем думал.— И снова вспомнил отца, увидел, как он кроваво-красными чернилами пишет очередную, самую главную свою памятку: «Поговорить с мальчиком!»

Хедвиг я заметил сперва в глазах хозяйки: темный промельк в приветливых серых зрачках. Я не обернулся к ней, почувствовал ее руку у себя на плече, услышал совсем рядом ее дыхание и по запаху понял, что она подкрасила губы: сладковатый аромат губной помады.

— Это фрау Бротих,— сказал я.— А это Хедвиг.

Хедвиг протянула хозяйке руку, и я опять поразился, какая крупная и сильная у нее ладонь, белая и щедрая: рука фрау Бротих почти утонула в ней.

Мы все трое молчали, и я слышал, как капает на кухне водопроводный кран, слышал мужские шаги на улице, слышал даже радостную легкость этой походки — трудный день позади, и я все еще улыбался, улыбался, сам не знаю как: слишком я устал, чтобы слегка раздвинуть губы в улыбке.

Фрау Бротих поставила пепельницу обратно на стул возле телефона, бросила на спинку передник, из пепельницы взметнулось облачко пепла и серой пудрой осыпалось на синий коврик дорожки. Она прикурила от горящей сигареты новую и сказала:

— Я иногда забываю, какой вы еще молоденький. Но теперь уходите, не вынуждайте меня гнать вас, уходите.

Я повернулся, схватил Хедвиг за руку и потащил за собой в комнату; там, в темноте, я долго искал ключи от машины, наконец нашарил их на письменном столе, и мы, шлепая грязной обувью, снова спустились вниз по лестнице; хорошо, что я не успел загнать машину в гараж, оставил на улице. Левая рука у меня почти онемела и слегка опухла, да и правая болела изрядно, видно, я сильно ее ушиб о мраморный столик в кафе. Усталый, голодный, я медленно поехал обратно в город; Хедвиг хранила молчание, держала в руках маленькое зеркальце, и я видел, что она придирчиво рассматривает только свои губы,— потом она достала из сумочки помаду и медленно, с нажимом, снова их обвела.

Нудельбрайте все еще была перекрыта, и еще не

было даже восьми, когда я, снова миновав церковь, завернул на Нетцмахергассе, потом въехал на Корбмахергассе и остановился напротив пустыря за булочной.

В окне Хедвиг по-прежнему горел свет, я проехал чуть дальше, увидел вишнево-красную машину у подъезда и тогда, обогнув весь квартал, снова остановился на том же пустыре. Было тихо и темно; мы оба молчали; голод во мне то просыпался, то замирал, потом возникал снова и снова проходил, — толчками, как волны землетрясения. В голове пронеслось, что чек, который я послал Виквеберу, теперь, пожалуй, уже не покроет мои долги, а еще я подумал о том, что Хедвиг так и не спросила меня о моей работе и даже не знает моего имени, только фамилию. Руки у меня были все сильнее, и стоило мне на секунду закрыть истерзанные светом глаза, как я тут же проваливался в бездонную вечность пляшущих оранжевых треугольников.

Но свет в окне Хедвиг все равно погаснет, сегодня, в этот понедельник, которому осталось всего четыре часа сроку; и рокот мотора вишнево-красной машины все равно затихнет вдали, мне казалось, я уже слышу, как этот рокот вгрызается в ночь и тонет в ней, оставляя после себя темноту и безмолвие. И мы взойдем по лестницам, будем тихо отворять двери и тихо закрывать их за собой. Хедвиг снова глянула в зеркальце на свои губы, снова — медленно, уверенно, с нажимом — обвела их помадой, словно они все еще недостаточно алы, и я уже сейчас ведал то, что мне еще только предстояло изведать.

Никогда прежде я ведать не ведал, что бессмертен — и так подвластен смерти: я слышал плач младенцев, убиенных в Вифлееме, и с этим плачем сливался предсмертный крик Фруклара, крик, которого не услышал никто, но который теперь долетел до моего слуха; я чувствовал смрадное дыхание львов, что терзали великомучеников, и львиные когти шипами вонзались в плоть мою; я вкушал соленую горечь моря, горчайшие капли из самых бездонных глубин, и я вглядывался в картины, что выходили из своих рам, как выходят из берегов воды, — пейзажи, которых я никогда не видывал, лица, которых я никогда не встречал, и

сквозь эти картины я все падал и падал куда-то вниз, к запрокинутому лицу Хедвиг, и, падая, налетал на Броласки, на Елену Френкель, на Фруклара, и сквозь их лица проваливался все глубже и глубже, к лицу Хедвиг, зная, что только это лицо и есть непреложность, зная, что обязательно увижу ее снова, под покрывалом, которое она внезапно отринет, чтобы открыть свое лицо Греммигу,— лицо Хедвиг, которое не могли различить мои глаза, ибо кругом была беспросветная ночь, но мне уже не нужны глаза, чтобы ее увидеть.

Картины, образы, лица наплывали из темноты, проявляясь, как фотографии: я видел самого себя — но со стороны, я был чужаком, что склонился сейчас над Хедвиг, и ревновал ее к этому чужаку, ревновал к самому себе; я видел мужчину, что заговорил с ней, видел его желтоватые, прокуренные зубы, его папку под мышкой, видел Моцарта, что улыбается, поглядывая с портрета на нашу соседку фройляйн Клонтик, учительницу музыки, и во все картины неизменно вторгался плач той женщины с Курбельштрассе, и все еще был понедельник, и я твердо знал, что не хочу больше пробиваться вперед, хочу обратно, куда — я и сам не знал, но твердо знал, что обратно.

Кил, Эчил (Ирландия), июль — сентябрь 1955 г.

ИРЛАНДСКИЙ ДНЕВНИК

Перевод С. Фридлянд и В. Нефедьева

IRISCHES TAGEBUCH

Такая Ирландия существует, однако пусть тот, кто поедет туда и не найдет ее, не требует от автора возмещения убытков.

*Я посвящаю эту маленькую книгу
Карлу Корфу, тому, кто побудил
меня ее написать*

ПРИБЫТИЕ I

Не успев еще подняться на борт парохода, я сразу увидел, услышал, учуял, что пересек границу. Я уже повидал одно из самых пригожих обличей Англии — почти буколический Кент и мимоходом — Лондон, это чудо топографии. Повидал я и одно из самых мрачных обличей Англии — Ливерпуль, но здесь, на пароходе, Англия кончилась. Здесь уже пахло торфом, со средней палубы и из бара доносился гортанный кельтский говор, и здесь общественный строй Европы принял совсем другие формы: бедность здесь уже перестала быть пороком, была не пороком и не доблестью, а просто фактором общественного самосознания, не значащим ровно ничего — как и богатство. Складки на брюках утратили остроту лезвия, и английская булавка, эта древняя застёжка кельтов и германцев, снова вступила в свои права. Там, где пуговица казалась точкой, которую поставил портной, словно запятую прикальвали булавку; знак вольной импровизации, она создавала складку в том месте, где пуговица делала ее невозможной. Я видел, как булавкой прикрепляли ярлык с обозначением цены, надставляли подтяжки, подменяли запонки и, наконец, как один мальчик употребил ее в качестве оружия, уколол в зад какого-то мужчину; мальчик удивился, даже испугался, потому что мужчина никак на это не реагировал; тогда мальчик ткнул в мужчину пальцем, чтобы установить, жив он еще или нет. Мужчина был жив, он расхохотался и хлопнул мальчика по плечу.

Все длиннее становилась очередь к окошечку, где за доступную цену выдавали щедрые порции западноевропейского нектара, именуемого чаем. Казалось, ир-

ландцы изо всех сил стараются удержать и этот мировой рекорд, в котором они идут непосредственно перед Англией, почти десять фунтов чая потребляется ежегодно в Ирландии на душу населения. Другими словами, ежегодно через каждую ирландскую глотку протекает маленькое озеро чая.

Пока я медленно продвигался к окошку, у меня было достаточно времени, чтобы освежить в памяти и другие рекорды Ирландии. Не только по чаепитию держит рекорд эта маленькая страна. Второй ее рекорд — по молодым священникам. (Кельнской епархии пришлось бы посвящать в сан почти тысячу священников ежегодно, чтобы сравниться с какой-нибудь маленькой ирландской епархией.) Третий рекорд Ирландии — посещаемость кино, и снова (как много общего, несмотря на все различия!) она идет непосредственно впереди Англии. И наконец, четвертый, самый важный (не берусь утверждать, что он находится в причинной связи с тремя первыми), — в Ирландии меньше самоубийств, чем где бы то ни было на этой земле. Рекорды потребления виски и сигарет еще не зафиксированы, но и в этой области Ирландия ушла далеко вперед, — Ирландия, маленькая страна, площадь которой равна Баварии, а населения в ней меньше, чем между Эссенем и Дортмундом.

Полуночная чашечка чаю, когда ты дрожишь на западном ветру, а пароход медленно выходит в открытое море; потом виски наверху в баре, где все еще звучит гортанная кельтская речь, хотя теперь только из одной ирландской глотки. В холле перед баром монахини, как большие птицы, устраиваются на ночлег; им тепло под чепцами, им тепло под длинными юбками, они медленно выбирают четки, как выбирает концы отходящее от причала судно. Молодой человек, стоящий у стойки с грудным младенцем на руках, потребовал пятаю кружку пива и получил отказ, и у его жены, которая с двухлетней девочкой стоит рядом, бармен тоже отобрал кружку и не стал наполнять ее снова; бар медленно пустеет, смолкла гортанная кельтская речь, тихо кивают во сне монахини; одна из них забыла выбрать свои четки, крупные бусины перекатываются от качки; двое с детьми, не получив больше пива, бредут мимо меня в угол, где из коробок и чемоданов соорудили для себя маленькую крепость, там, притулившись с обеих сторон к бабушке, спят еще

двое детей, и бабушкин черный платок греет всех троих. Грудного младенца и его двухлетнюю сестренку водворили в бельевую корзину, а родители молча протиснулись между двумя чемоданами и прижались друг к другу. Белая узкая рука мужчины, словно палатку, натягивает плащ. Все смолкло, только крепость из чемоданов тихо подрагивает в такт качке.

Я забыл приглядеть себе место на ночь, и теперь мне приходится шагать через ноги, ящики и чемоданы; в темноте светятся огоньки сигарет, ухо ловит обрывки таких разговоров: «Коннемара... безнадежно... официантка в Лондоне...». Я забился между шлюпкой и кучей спасательных поясов, но сюда задувает пронзительный сырой вест. Я встаю и иду по палубе парохода, где пассажиры скорее напоминают эмигрантов, чем людей, возвращающихся на родину. Ноги, огоньки сигарет, шепот, обрывки разговоров. Наконец какой-то священник хватает меня на полу и с улыбкой предлагает место возле себя. Я прислоняюсь к стенке, чтобы уснуть, но справа от священника из-под серо-зеленого полосатого пледа раздается нежный и чистый голос:

— Нет, отец мой, нет, нет... Думать об Ирландии слишком горько. Раз в год мне приходится сюда ездить, чтобы повидать родителей. Да и бабушка еще жива. Вы знаете графство Голуэй?

— Нет,— тихо сказал священник.

— Коннемару?

— Нет.

— Вам надо там побывать. И не забудьте на обратном пути посмотреть в Дублинском порту, что вывозит Ирландия: детей и священников, монахинь и печенье, виски и лошадей, пиво и собак...

— Дитя мое,— тихо сказал священник,— не следует поминать все это рядом...

Под серо-зеленым плодом вспыхнула спичка и на мгновение вырвала из темноты резкий профиль.

— Я не верю в Бога,— произнес нежный и чистый голос,— да, не верю,— так почему же я не могу поставить рядом священников и виски, монахинь и печенье; я не верю и в Kathleen ní Houlihan¹, в эту сказочную Ирландию. Я два года прослужила в Лондоне, официанткой: я видела, сколько проституток...

— Дитя мое,— тихо сказал священник.

¹ Кэтлин, дочь Холиэна (ирл.).

— ...сколько проституток поставляет Лондону Kathleen ni Houlihan — остров Святых.

— Дитя мое!

— Наш приходский священник тоже называл меня так: дитя мое... Он приезжал к нам издалека на велосипеде, чтобы отслужить воскресную мессу, но и он не мог воспрепятствовать Kathleen ni Houlihan вывозить самое ценное, что у нее есть, — своих детей. Поезжайте в Коннемару, отец, вы наверняка еще не встречали так много красивых пейзажей сразу и так мало людей на них. Может быть, вы и у нас когда-нибудь отслужите мессу... Тогда вы увидите, как смиренно я преклоняю колена в церкви по воскресеньям.

— Но вы же не верите в Бога?

— Неужели вы думаете, что я могу позволить себе не ходить в церковь и тем огорчать моих родителей? «Наша милая девочка набожна, все так же набожна. Наше милое дитя!» А когда я уезжаю, бабушка целует меня, благословляет и говорит: «Оставайся всегда такой же набожной, милое мое дитя...» Вы знаете, сколько внуков у моей бабушки?..

— Дитя мое, дитя мое, — тихо сказал священник.

Ярко вспыхнула сигарета и снова осветила на несколько секунд строгий профиль.

— Тридцать шесть внуков у моей бабушки, тридцать шесть; было тридцать восемь, но одного убили в боях за Англию, а другой пошел ко дну на английской подводной лодке. Тридцать шесть еще живы: двадцать в Ирландии, а остальные...

— Есть страны, — тихо сказал священник, — которые экспортируют гигиену и мысли о самоубийстве, атомное оружие, пулеметы, автомобили...

— Я знаю, — ответил нежный, чистый девичий голос, — я все это знаю. У меня у самой брат священник, и два двоюродных тоже: только у них одних из всей нашей родни есть свои машины.

— Дитя мое...

— Попробую вздремнуть. Доброй ночи, отец мой, доброй ночи.

Горящая сигарета полетела за борт. Серо-зеленый плед обтянул узкие плечи. Голова священника как бы укоризненно покачивалась из стороны в сторону, а может, движение парохода было тому виной.

— Дитя мое, — еще раз тихо сказал священник, но ответа не последовало.

Священник со вздохом откинулся назад и поднял воротник пальто: четыре английские булавки были приколоты на обратной стороне воротника, четыре, напизанные на пятаю, они раскачивались в такт легким толчкам судна, медленно подплывающего сквозь серую мглу к острову Святых.

ПРИБЫТИЕ II

Чашка чаю, теперь уже на рассвете, когда ты дрожишь на западном ветру, а остров Святых еще прячется от солнца в утреннем тумане. На этом острове живет единственный народ Европы, который никогда никого не завоевывал, хотя сам бывал завоеван неоднократно — датчанами, норманнами, англичанами. Лишь священников посылал он в другие земли, лишь монахов да миссионеров, которые окольным путем, через Ирландию, поставляли в Европу дух фивейской аскезы; более тысячи лет назад здесь, вдали от центра, задвинутое глубоко в Атлантический океан, лежало пылающее сердце Европы...

Как много серо-зеленых пледов, плотно окутывающих узкие плечи, как много суровых профилей вижу я вокруг, как много высоко поднятых священнических воротников с запасной английской булавкой, на которой болтаются еще две, три, четыре... Узкие лица, воспаленные от бессонной ночи глаза, младенец в бельевой корзине сосет из рожка молоко, покуда отец его тщетно требует пива там, где наливают чай. Утреннее солнце медленно извлекает из тумана белые дома, красно-белый огонь маяка обливает нас, а пароход, пыхтя, входит в гавань Дан-Лэре. Чайки приветствуют его. Серый силуэт Дублина выглянул из тумана и снова исчез; церкви, памятники, доки, газгольдер, робкие дымки из труб; время завтрака наступило пока для очень немногих, Ирландия еще спит. Носильщики на пристани протирают сонные глаза, таксисты дрожат на утреннем ветру. Ирландские слезы встречают и родину и вернувшихся. Имена, словно мячики, летают в воздухе.

Я устало перешел с корабля на поезд, с поезда через несколько минут — на большой темный вокзал Уэстленд-Роу, с вокзала на улицу. В окне черного дома молодая женщина убирала с подоконника оранже-

вый молочник. Она улыбнулась мне, и я улынулся в ответ.

Обладай я такой же несокрушимой наивностью, как тот молодой немецкий подмастерье, который в Амстердаме познавал жизнь и смерть, нищету и богатство господина Каннитферстана, я мог бы в Дублине узнать все о жизни и смерти, о нищете, богатстве и славе господина Сорри. Кого бы я ни спрашивал, о чем бы я ни спрашивал, я на все получал односложный ответ: «Сорри»¹. И хотя я не знал, но мог догадаться, что утренние часы между семью и десятью — единственные, когда ирландцы склонны к односложности. Поэтому я решил не пускать в ход свои скудные познания в языке и с горя утешился тем, что я по крайней мере не так наивен, как наш достойный зависти подмастерье в Амстердаме. А до чего же хотелось спросить: «Чьи это большие корабли стоят в гавани?» — «Сорри». — «А кто это высится на пьедестале среди утреннего тумана?» — «Сорри». — «А чьи это оборванные, босоногие детишки?» — «Сорри». — «А кто этот таинственный молодой человек, который стоит на задней площадке автобуса и очень здорово подражает автоматной очереди: так-так-так — разносится в утреннем тумане?» — «Сорри». — «А кто скачет, кто мчится под утренней мглой при сером цилиндре и с тростью большой?» — «Сорри».

Я решил полагаться не столько на свой язык и чужие уши, сколько на собственные глаза, и довериться вывескам. И тогда все эти Джойсы и Йейтсы, МакКарти и Моллои, О'Нилы и О'Конноры предстали передо мною в качестве бухгалтеров, трактирщиков, лавочников. Даже следы Джекки Кугана вели, казалось, сюда же, и наконец я вынужден был принять решение, вынужден был признаться самому себе, что человека, который все еще одиноко стоит на своем высоком пьедестале и зябнет на прохладном утреннем ветру, зовут вовсе не Сорри, а Нельсон.

Я купил газету, вернее, журнал, который назывался «Айриш дайджест», меня тотчас же соблазнило объявление, которое я перевел так: «Разумная кровать и разумный завтрак»², — и я решил для начала разумно позавтракать.

¹ Sorry — простите, не понимаю (англ.).

² «Bed and Breakfast Reasonable» — «Ночлег и завтрак по умеренным ценам» (англ.).

Если чай на континенте напоминает пожелтевший бланк почтового перевода, то на этих островах, к западу от Остенде, чай напоминает темные краски русских икон, сквозь которые светится позолота,— до тех пор, покуда его не забелят молоком, а тогда он приобретает цвет кожи перекормленного грудного младенца. На континенте чай заваривают жидко, а подают в дорогих фарфоровых чашках; здесь в услужение чужестранцу равнодушно и чуть не задаром наливают из помятых жестяных чайников в толстые фаянсовые чашки воистину божественный напиток.

Завтрак был хорош, чай достоин своей славы, а на закуску мы получили бесплатную улыбку молодой ирландки, которая разливала чай.

Я развернул газету и сразу же наткнулся на письмо читателя, требовавшего, чтобы статую Нельсона свергли с ее высокого пьедестала и заменили статуей Богоматери. Еще одно письмо с требованием свергнуть Нельсона, еще одно.

Пробило восемь часов, и тут вдруг ирландцы разговорились и увлекли меня за собой. Я был захлестнут потоком слов, из которых я понял только одно: *Germanu*¹. Тогда я дружелюбно, но твердо решил отбиваться их же оружием — словом «сорри» — и наслаждаться бесплатной улыбкой непричесанной богини чая, но вдруг меня спугнул внезапный грохот, я бы даже сказал — гром. Неужели на этом удивительном острове так много поездов? Гром не стихал, он распался на отдельные звуки, мощное вступление к «*Tantum Ergo*»² стало отчетливо слышно со слов «*Sacramentum — vegetum seipni*» до последнего слога, из соседней церкви святого Андрея разносясь над всей Уэстленд-Роу. Незабываемым — как первые чашки чая и те многие, что мне еще предстояло выпить в заброшенных грязных местечках, в отелях и у камина,— было и впечатление от всеобъемлющей набожности, заполонившей Уэстленд-Роу вскоре после «*Tantum Ergo*». У нас лишь на Пасху или на Рождество можно увидеть, чтобы из церкви выходило столько людей. Впрочем, я еще не забыл исповедь безбожницы со строгим профилем.

Было всего только восемь часов утра и воскресенье — слишком рано, чтобы будить того, кто меня

¹ Германия (англ.).

² Католическая молитва.

пригласил, но чай остыл, а в кафе запахло бараньим жиром, и посетители взяли свои картонки и чемоданы и устремились к автобусам. Я вяло перелистывал «Айриш дайджест», пытался переводить кое-какие первые строчки статей и заметок, покуда внимание мое не привлекла чья-то мудрость, опубликованная на странице двадцать третьей. Я понял смысл этого афоризма задолго до того, как успел перевести; не переведенный, не выраженный по-немецки и, однако же, понятый, он производил даже более сильное впечатление, чем после перевода. «Кладбища полны людей, без которых мир не мог обойтись».

Мне показалось, что ради этой фразы стоило совершить путешествие в Дублин, и я порешил запрятать ее поглубже у себя в сердце на тот случай, если я вдруг возомню о себе. (Позднее она служила ключом, помогающим мне понять удивительную смесь из страсти и равнодушия, чудовищной усталости и безразличия в соединении с фанатизмом, с которой мне часто приходилось сталкиваться.)

Прохладные большие виллы прятались за рододендронами, пальмами и олеандрами, и я, несмотря на неприлично ранний час, решился наконец разбудить своего хозяина. Вдалеке уже завиднелись горы и длинные ряды деревьев.

Всего через каких-нибудь восемь часов один мой соотечественник категорически заявит мне: «Здесь все грязно, все дорого и ни за какие деньги не достать настоящего карбонада», и я буду защищать Ирландию, хотя провел в ней всего десять часов, всего десять, из которых пять проспал, час просидел в ванне, час простоял в церкви и еще один час поспорил с вышеупомянутым соотечественником, выдвинувшим против моих десяти часов целых шесть месяцев. Я страстно защищал Ирландию. Чаем, «Tantum Ergo», Джойсом и Йейтсом сражался я против карбонада — оружия тем более для меня опасного, что я понятия о нем не имел и, борясь, лишь смутно догадывался, что мой враг — какое-то мясное блюдо. (Только уже вернувшись домой и заглянув в словарь Дудена, я выяснил, что карбонад — это кусок жареной свинины.) Однако боролся я напрасно: человек, едущий за границу, предпочитает оставлять дома все недостатки своей страны — о, эта домашняя суета! — но брать с собой ее

карбонад. Точно так же, должно быть, нельзя безнаказанно пить чай в Риме, как нельзя безнаказанно пить кофе в Ирландии, разве что его варил итальянец. Я сложил оружие, сел в автобус и поехал, любуясь по дороге бесконечными очередями перед кинотеатрами, которых здесь великое изобилие. Утром, подумалось мне, народ толпится в церквах и перед ними, вечером — в кинотеатрах и перед ними. В зеленом газетном киоске, где меня вновь покорила улыбка молодой ирландки, я купил газеты, шоколад, папиросы. И тут мой взгляд упал на книгу, затерявшуюся среди брошюр. Белая ее обложка с красной каймой уже порядком испачкалась; продавалась эта древность за один шиллинг, и я купил ее. Это был «Обломов» Гончарова на английском языке. Я знал, что Обломов — из тех мест, которые находятся на четыре тысячи километров восточнее Ирландии, и все-таки мне подумалось, что ему самое место в этой стране, где так не любят рано вставать.

ПОМОЛИСЬ ЗА ДУШУ МАЙКЛА О'НИЛА

На могиле Свифта я застудил сердце — так чисто было в соборе святого Патрика, так безлюдно, так много стояло там патриотических мраморных изваяний, так глубоко под холодными камнями покоился его неистовый настоятель и рядом с ним его жена — Стелла. Две квадратные медные таблички, надраенные до блеска, словно руками немецкой хозяйки; побольше — над Свифтом, поменьше — над Стеллой. Мне надо бы принести чертополох, цепкий, кустистый, голенастый, да несколько веточек клевера, да несколько нежных цветков без колючек, может быть жасмин или жимолость, — это был бы подходящий привет для обоих. Но руки мои были пусты, как эта церковь, холодны и чисты, как она. Со стен свисали приспущенные полковые знамена. Действительно ли они пахнут порохом? Судя по их виду, должны бы, но здесь пахло только тленом, как во всех церквах, где уже много столетий не курят ладан. Мне почудилось, будто в меня стреляют ледяными иглами, я обратился в бегство и только у самых дверей обнаружил, что в церкви все-таки был один человек — уборщица, которая

мыла щелоком входную дверь, чистила то, что и так было достаточно чистым.

Перед собором стоял ирландец-нищий — первый, который мне здесь встретился. Такие бывают только в южных странах, но на юге светит солнце, а здесь, к северу от пятьдесят третьего градуса северной широты, тряпье и лохмотья выглядят несколько иначе, чем к югу от тридцатого, здесь нищету поливает дождь, а грязь не покажется живописной даже самому неисправимому эстету, здесь нищета забила в трущобы вокруг святого Патрика, в закоулки и дома — точно такая, какой описал ее Свифт в 1743 году.

Болтались пустые рукава куртки нищего — грязные чехлы для несуществующих рук. По лицу пробегала эпилептическая дрожь, и все-таки это худое смуглое лицо было прекрасно красотой, которую предстоит запечатлеть в другой, не в моей записной книжке. Я должен был вставить зажженную сигарету прямо ему в рот, деньги положить прямо в карман. Мне показалось, что я подал милостыню покойнику. Темнота нависла над Дублином: все оттенки серого, какие только есть между белым и черным, отыскивали себе в небе по облачку; небо было усеяно перьями бесчисленной серости — ни клочка, ни полоски ирландской зелени. Медленно, дергаясь, побрел нищий под этим небом из парка святого Патрика в свои трущобы.

В трущобах грязь черными хлопьями покрывает оконные стекла, словно их нарочно забросали грязью, выскребли для этого из труб, выудили из каналов; впрочем, здесь мало что делается нарочно, да и само собой мало что делается. Здесь делается выпивка, любовь, молитва и брань, здесь пламенно любят Бога и, должно быть, так же пламенно его ненавидят.

В темных дворах, которые видел еще глаз Свифта, десятилетия и столетия откладывали эту грязь — гнетущий осадок времени. В окне лавки старьевщика навалена невообразимая пестрая рухлядь, а чуть поодаль я наткнулся на одну из целей моего путешествия — это был трактир, разделенный на стойла с кожаными занавесками. Здесь пьяница запирается сам, как запирают лошадь, чтобы остаться наедине со своим виски и своим горем, с верой и неверием; он спускается на дно своего времени, в кессонную камеру пассивности

и сидит там, пока не кончатся деньги, пока не придется снова вынырнуть на поверхность времени и через силу поработать веслом — совершая движения беспомощные и бессмысленные, ибо каждая лодка неуклонно приближается к темным водам Стикса. Не диво, что для женщин, этих тружениц нашей планеты, нет места в таких кабаках; мужчина здесь остается наедине со своим виски, далекий от всех дел, за которые ему пришлось взяться, дел, имя которым — семья, профессия, честь, общество. Виски горько и благотворно, а где-нибудь на четыре тысячи километров к западу и где-нибудь к востоку, за двумя морями, есть люди, верящие в деятельность и прогресс. Да, есть такие люди, так горько виски и так благотворно. Хозяин с бычьим затылком просовывает в стойло очередной стакан. Глаза у хозяина трезвые, голубые у него глаза, и он верит в то, во что не верят люди, его обогащающие. Деревянные переборки, обшивка, стены пропитаны шутками и проклятиями, надеждами и молитвами. Сколько их там?

Уже заметно, как кессонная камера для пьяниц-одинок все глубже опускается на темное дно времени, мимо рыб и затонувших кораблей, но и здесь, внизу, нет больше покоя с тех пор, как водолазы усовершенствовали свои приборы. А потому — вынырнуть, набрать в легкие побольше воздуха и снова заняться делами, имя которым — честь, профессия, семья, общество, покуда водолазы не пробуравили кессон! «Сколько?» Монеты, много монет брошено в жесткие голубые глаза хозяина.

Небо было по-прежнему затянуто всеми оттенками серого цвета, и по-прежнему не было видно ни одного из бесчисленных оттенков ирландской зелени, когда я направился к другой церкви. Прошло очень мало времени: у входа в церковь стоял тот самый нищий, и какой-то школьник вынимал у него изо рта сигарету, которую сунул я. Мальчик тщательно затушил ее, чтоб не пропало ни крошки табака, и бережно спрятал окурок в карман нищего, потом он снял с него шапку: кто же осмелится, даже если у него нет обеих рук, войти в божий храм, не сняв шапки? Для него придержали дверь, пустые рукава мазнули по дверному косяку, мокрые, грязные рукава, будто нищий вывалил их в сточной канаве, — но там, в церкви, никому нет дела до грязи.

Как безлюден, чист и прекрасен был собор святого Патрика; здесь же, в этой церкви, оказалось полно людей и аляповатых украшений, и была она не то чтобы грязная, а запущенная — так выглядят комнаты в многодетных семьях. Некоторые люди — среди них, я слышал, есть один немец, который таким путем распространяет в Ирландии достижения немецкой культуры, — зарабатывают немалые деньги на производстве гипсовых фигур, но гнев на фабрикантов халтуры слабеет при виде тех, кто преклоняет колена перед их продукцией: чем пестрей, тем лучше, чем аляповатей, тем лучше; хорошо бы, чтоб совсем «как живой!» (осторожней, богомолец: живой — это совсем не «как живой!»).

Темноволосая красавица — с вызывающим видом оскорбленного ангела — молится перед статуей Магдалины; на ее лице — зеленоватая бледность, ее мысли и молитвы заносятся в неведомую мне книгу. Школьники с клюшками для керлинга под мышкой вымаливают себе избавление от голгофы; в темных углах горят лампы перед Сердцем Христовым, перед Little Flower¹, перед святым Антонием, перед святым Франциском: здесь из религии вычерпывают все до самого дна. Нищий сидит на последней скамье и подставляет свое эпилептически подрагивающее лицо под струю благовоний.

Заслуживают внимания новинки божественной индустрии: неоновый нимб вокруг головы Девы Марии и фосфоресцирующий крест в чаше со святой водой, розовым светом озаряет он полумрак церкви. Будут ли отдельно занесены в Книгу те, кто молится здесь, перед этой безвкусицей, и те, кто молится в Италии перед фресками фра Анджелико?

Красавица с зеленоватой бледностью все еще не отводит взгляда от Магдалины, лицо нищего все еще подергивается, его тело охвачено дрожью, и от этой дрожи позвякивают монеты у него в кармане. Мальчики с клюшками, должно быть, знают нищего, умеют читать подрагивание его лица и тихое бормотание; один из них лезет к нищему в карман, на грязной мальчишеской ладони оказываются четыре монетки — два пенни, один шестипенсовик и один трехпенсовик. Одно пенни и трехпенсовик остаются на ладони маль-

¹ Маленький цветок (англ.).

чика, остальные со звоном падают в церковную кружку. Вот где проходят границы математики, психологии, экономики — границы всех более или менее точных наук, — они накладываются одна на другую в эпилептическом подергивании лица: основа слишком ненадежная, чтобы на нее можно было положиться. Но все еще живет в моем сердце холод, унесенный с могилы Свифта: чистота, безлюдье, мраморные статуи, полковые знамена и женщина, которая наводила чистоту там, где и без того уже достаточно чисто. Прекрасен был собор святого Патрика, уродлива эта церковь, но в ней молятся, и на скамьях я нашел то, что находил на многих церковных скамьях Ирландии, — маленькие эмалированные таблички с призывом молиться. *«Помолись за душу Майкла О'Нила, скончавшегося 17.1.1933 в возрасте 60 лет».* *«Помолись за душу Мэри Киген, скончавшейся 9 мая 1945 года в возрасте восемнадцати лет».* Какое благочестивое и ловкое принуждение: мертвые оживают, даты их смерти связываются в представлении того, кто прочтет табличку, с его собственными переживаниями в тот день, в тот месяц, в тот год. Гитлер с подергивающимся лицом ждал прихода к власти, когда здесь умер шестидесятилетний Майкл О'Нил; когда Германия капитулировала, здесь умерла восемнадцатилетняя Мэри Киген. *«Помолись, — прочел я, — за душу Кевина Кессиди, скончавшегося 20.12.1930 в возрасте тринадцати лет»*, — и меня словно ударило электрическим током, ибо в декабре 1930 года мне самому было тринадцать лет; в большой темной квартире богатого доходного дома — так их еще называли в 1908 году, — в южной части Кельна, я сидел с рождественским табелем в руках: начались каникулы, и сквозь прореху в коричневой шторе я глядел на заснеженную улицу.

Улица казалась красноватой, словно ее вымазали ненастоящей, бутафорской кровью: красны были сугробы, красно небо над городом, даже скрежет трамвая на кругу — и тот казался мне красным. Но когда я выглядывал в щель между шторами, я видел все так, как было на самом деле: тронутые коричневым края снежных холмиков, черный асфальт, у трамвая цвет давно не чищенных зубов, а когда трамвай разворачивался на кругу — скрежет его представлялся мне светло-зеленым — ядовитая зелень окропляла голые ветви деревьев.

Итак, в этот день в Дублине умер тринадцатилетний Кевин Кессиди, мой ровесник; здесь устанавливали катафалк, с хоров неслись звуки «Dies irae, dies illa»¹, перепуганные одноклассники Кевина заполняли скамьи: ладан, жар от свечей, серебряные кисти на черном покрове,— а я в это время спрятал табель и достал из сарая санки, чтобы идти кататься. Я получил четверку по латыни, а гроб Кевина опустили в могилу.

Потом, когда я покинул церковь и пошел по улице, рядом со мной неотступно шел Кевин Кессиди: я видел его живым, одного со мной возраста, а себя я увидел на несколько минут тридцатисемилетним Кевином Кессиди — он был отцом троих детей, жил в трущобах за собором святого Патрика, виски было горьким, холодным и дорогим, могила Свифта осыпала его ледяными стрелами, зеленоватая бледность была на лице у его темноволосой жены, и долги у него были, и маленький домик, каких великое множество в Лондоне и тысячи в Дублине: скромный, двухэтажный, бедный, мещанский, затхлый, безотрадный — сказал бы о нем неисправимый эстет (не увлекайся, эстет: в одном из таких домов родился Джеймс Джойс, в другом — Шон О'Кейси).

Так близко была тень Кевина, что, вернувшись в трактир, я заказал два виски. Но тень не поднесла стакан к губам, и тогда я сам выпил за Кевина Кессиди, скончавшегося 20.12.1930 в возрасте тринадцати лет, выпил вместо него — и за него.

МЕЙО — ДА ПОМОЖЕТ НАМ БОГ!

В центре Ирландии, в Атлоне, в двух с половиной часах от Дублина, если ехать скорым, поезд делят пополам. Лучшая часть, с вагоном-рестораном, идет дальше в Голуэй, часть похуже, та, где остались мы,— в Уэстпорт. Разлука с вагоном-рестораном, где как раз накрывали второй завтрак, была бы еще более печальной, будь у нас при себе деньги — английские или ирландские,— чтобы оплатить завтрак, первый ли, второй ли. Теперь же, поскольку между прибытием парохода и отправлением поезда у нас было всего пол-

¹ Строки реквиема.

часа, а дублинские банки открываются только в половине десятого, мы располагали лишь легкими, но совершенно здесь бесполезными купюрами, которые печатаются банками Германии; изображение Фуггера в средней Ирландии не котируется.

Я до сих пор не забыл, какого страху натерпелся в Дублине, когда в поисках обменного пункта выбежал из вокзала и меня чуть не переехал огненно-красный фургон, не имевший на себе иных украшений, кроме четко выведенной свастики. То ли кто-то продал Ирландии фургон «Фёлькишер беобахтер»¹, то ли у «Фёлькишер беобахтер» здесь сохранился филиал. Машины, которые я еще помню, выглядели точно так же, однако шофер, осенив себя крестом, любезно уступил мне дорогу, и, взглядевшись повнимательней, я все понял: это была просто-напросто машина прачечной «Свастика», и дата основания фирмы — 1912 год — была четко выведена под свастикой, но от простой мысли, что это мог быть один из тех автомобилей, у меня перехватило дыхание.

Все банки были закрыты, и, расстроенный, я вернулся на вокзал, решив пропустить сегодняшний поезд в Уэстпорт, потому что заплатить за билеты мне было нечем. У нас оставался выбор: либо снять до завтра номер в отеле и уехать завтрашним поездом (вечерний поезд не совпадал с расписанием нашего автобуса), либо изыскать *какой-нибудь* способ, чтобы уехать ближайшим поездом без билетов. *Какой-нибудь* способ сыскался: мы поехали в кредит. Начальник станции, тронутый видом троих невыспавшихся детишек, двух приунывших женщин и одного совершенно растерянного папаша (не забудьте, что две минуты назад он едва не угодил под машину со свастикой), подсчитал, что ночь в отеле будет стоить мне ровно столько же, сколько вся поездка в Уэстпорт. Он записал мое имя, *«число лиц, перевозимых в кредит»*, одобрительно пожал мне руку и дал сигнал к отправлению.

Вот так на этом удивительном острове мы сподобились единственного в своем роде кредита, которым никогда до сих пор не пользовались и даже не пытались пользоваться: кредита у железной дороги.

¹ Гитлеровский официоз.

Но — увы! — завтраков в кредит вагон-ресторан не предоставлял, и попытка получить его не увенчалась успехом. Физиономия Фуггера, хоть и отпечатанная на превосходной бумаге, не подействовала на старшего официанта. Мы со вздохом разменяли последний фунт и заказали термос чая и пакет бутербродов. А на долю проводников выпала нелегкая обязанность — заносить в свои книжечки наши диковинные имена. Занесли один раз, два, три, и мы забеспокоились: один раз, два или три придется нам выплачивать этот единственный в своем роде долг?

В Атлоне сменился проводник, пришел новый — рыжий, старательный и молодой. Когда я признался ему, что мы едем без билетов, лицо его озарилось светом полнейшего понимания: ему явно сообщили о нас, телеграф явно передавал со станции на станцию и наши имена, и *«число лиц, перевозимых в кредит»*.

За Атлоном наш после разделения ставший пассажирским поезд еще четыре часа полз, извиваясь, мимо все более мелких, все более западных станций. Самые приметные остановки между Атлоном (девять тысяч жителей) и побережьем таковы: Раскоммон и Клэрморрис, каждый с таким количеством жителей, которого хватило бы на три больших городских дома. Каслбар — столица графства Мейо — с четырьмя и Уэстпорт с тремя тысячами жителей; на отрезке пути, равном примерно расстоянию от Кельна до Франкфуртана-Майне, плотность населения неуклонно падает, потом начинается большая вода, а за ней — Нью-Йорк, где проживает в три раза больше людей, чем во всем Свободном Государстве Ирландия, и в три раза больше ирландцев, чем в трех ирландских графствах за Атлоном.

Вокзалы здесь маленькие, станционные постройки светло-зеленые, штaketники — снежно-белые, а на перроне обычно стоит мальчик, смастеривший себе из взятого у матери подноса и кожаного ремня лоток, на котором лежат три шоколадки, два яблока, несколько пакетиков с мятными лепешками, жевательная резинка и один комикс. Одному из этих мальчиков мы хотели доверить наш последний серебряный шиллинг, но затруднились выбором: женщины высказывались за яблоки и мятные лепешки, а дети — за резинку и комикс. Мы пошли на компромисс и купили комикс и шоколадку. У комикса было многообещающее на-

звание: «Человек — летучая мышь», и на его обложке можно было различить человека в маске, карабкавшегося по стене дома.

На маленьком вокзале среди болот в полном одиночестве остался улыбающийся мальчик. Цвел колючий дрок, уже набухли почки на фуксиях; нехоженые зеленые холмы, кучи торфа; да, Ирландия зелена, очень зелена, но ее зелень — это не только зелень лугов, но и — во всяком случае на пути от Роскоммона — заброшенности. Земля заброшена, она медленно, но неуклонно безлюдует; и нам — никто из нас еще не видел этого уголка Ирландии и не бывал в том доме, который мы сняли *где-то* на западе Ирландии, — нам стало немного не по себе; тщетно искали мои спутницы слева и справа от дороги картофельные поля и огороды, свежую, менее упадочную зелень салата и более темную — гороха. Мы разделили плитку шоколада и пытались утешиться комиксом, но «Человек — летучая мышь» оказался прежде всего плохим человеком: он не только карабкался на стены домов, как обещала обложка, одной из его любимых забав было пугать спящих женщин, кроме того, расправив полы своего пальто, он умел летать по воздуху, он похищал миллионы долларов, и все его похождения были описаны на таком английском языке, какой не изучают ни в школах на континенте, ни в школах Англии, ни в школах Ирландии. Он был очень сильный, этот человек, очень справедливый, но суровый, а по отношению к несправедливым даже и жестокий. Он мог при случае выбить кому-нибудь зубы, и звук, сопровождавший это действие, изображался выразительной подписью «хрясть». Нет, «Человек — летучая мышь» нас не утешил.

Впрочем, у нас осталось другое утешение: появился наш рыжий проводник и, улыбаясь, переписал наши имена в пятый раз. И тут наконец нам открылась великая тайна этого бесконечного переписывания: мы пересекли границу очередного графства и прибыли в Мейо. У ирландцев есть занятная привычка: всякий раз, когда произносят название графства Мейо (все равно — с похвалой, осуждением или просто так), короче, всякий раз, когда прозвучит слово «Мейо», ирландцы немедленно присовокупляют: «God help us!»¹ —

¹ Да поможет нам Бог! (англ.)

и это звучит как рефрен в богослужении: «Господи, помилуй нас!»

Проводник исчез, торжественно заверив нас, что переписывать больше не будет, и поезд остановился у маленькой станции. Выгружали здесь то же самое, что и всюду: сигареты, больше ничего. Мы уже научились судить по величине тюков о размерах прилегающего к станции района; проверка по карте подтвердила правильность этого метода. Я пошел вдоль поезда к багажному вагону посмотреть, сколько еще осталось тюков с сигаретами. Там лежал один маленький тюк и один большой — так я узнал, сколько нам еще осталось станций. Поезд угрожающе опустел. Я насчитал от начала до хвоста восемнадцать человек, а ведь одних нас было шестеро, и казалось, будто мы уже целую вечность едем мимо торфяных куч и мимо болот, хотя до сих пор нам ни разу не попалась на глаза ни свежая зелень салата, ни темная зелень гороха, ни горькая зелень картофельной ботвы. «Мейо,— шепнули мы,— да поможет нам Бог!»

Поезд остановился, выгрузил большой тюк сигарет, а поверх белоснежной ограды вдоль платформы смотрели на нас темные лица, затененные козырьками, мужчины, охраняющие, судя по всему, автоколонну. Мне уже и на других станциях бросались в глаза автомобили и мужчины при них, но лишь здесь я вспомнил, как часто видел их раньше. Они показались мне такими же привычными, как тюки с сигаретами, как наш проводник, как ирландские товарные вагоны, которые почти в два раза меньше английских и континентальных. Я прошел в багажный вагон, где наш рыжий друг примостился на последнем тюке с сигаретами. С превеликой осторожностью употребляя английские слова — так, верно, начинающий жонглер обращается с тарелками,— я спросил его, что это за люди с козырьками и зачем у них автомобили; я ожидал услышать в ответ какие-нибудь фольклорные толкования, перенесенные в современность — похищения, разбойники,— а получил ошеломляюще простое объяснение.

— Это такси,— ответил проводник, и я облегченно вздохнул.

Значит, такси здесь наверняка имеются, так же как и сигареты. Проводник, кажется, угадал мою скорбь: он протянул мне сигарету, я с удовольствием взял ее,

он дал мне прикурить и сказал с многообещающей улыбкой:

— Через десять минут мы будем у цели.

Через десять минут, точно по расписанию, мы оказались в Уэстпорте. Здесь нам устроили торжественную встречу. Сам начальник вокзала, крупный и представительный пожилой господин, приветливо улыбаясь, встречал нас у вагона и в знак приветствия поднес к фуражке большой латунный жезл — символ своего достоинства. Он помог выйти дамам, помог выйти детям, он кликнул носильщика, он целеустремленно, но незаметно подтолкнул меня к своему кабинету, записал мое имя, мой ирландский адрес и отечески посоветовал не обольщаться надеждой на то, что в Уэстпорте мне удастся обменять деньги. Он заулыбался еще приветливей, когда я показал ему портрет Фуггера, и, ткнув пальцем в Фуггера, сказал, чтобы успокоить меня:

— A nice man, a very nice man!¹ Это не к спеху, право же не к спеху, заплатите когда-нибудь. Не беспокойтесь, пожалуйста.

Я еще раз назвал ему обменный курс западногерманской марки, но представительный старец лишь качнул своим жезлом и сказал:

— На вашем месте я бы не стал беспокоиться. (I should not worry.) (Хотя плакаты самым решительным образом призывают нас беспокоиться: «Думайте о своем будущем!», «Уверенность прежде всего!», «Обеспечьте своих детей!».)

Но я все равно беспокоился. Досюда кредита хватило, но хватит ли его дальше — на два часа ожидания в Уэстпорте и еще два с половиной часа езды по графству Мейо — да поможет нам Бог!

Телефонным звонком мне удалось извлечь директора банка из дома; он высоко поднял брови, ибо рабочий день для него уже кончился; мне удалось также убедить его в относительной безвыходности своего положения — деньги есть, а в кармане ни гроша, — и брови его поползли вниз! Однако мне так и не удалось убедить его в истинной ценности бумажек с изображением Фуггера... Он, верно, прослышал что-нибудь о существовании восточной и западной марки, о раз-

¹ Славный человек, очень славный! (англ.)

нице между обеими валютами, а когда я показал ему слово «Франкфурт» как раз под портретом Фуггера, он сказал — не иначе у него была пятерка по географии: «В другой части Германии тоже есть Франкфурт». Тут мне ничего другого не осталось, как произвести сопоставление Майна и Одера — чего я, признаться, не люблю делать, — но по географии у него явно была все-таки простая пятерка, а не *summa cum laude*¹, и эти тонкие нюансы, даже при наличии официального обменного курса, показались ему слишком незначительным основанием для предоставления значительного кредита.

— Я должен переслать ваши деньги в Дублин, — сказал он.

— Деньги? — переспросил я. — Вот эти бумажки?

— Разумеется, — сказал он, — а что мне здесь с ними делать?

Я опустил голову: он прав, что ему здесь с ними делать?

— А сколько времени пройдет, пока вы получите ответ?

— Четыре дня, — сказал он.

— Четыре дня, — сказал я. — *God help us!* — Это я по крайней мере усвоил.

Но тогда не может ли он под залог моих денег предоставить мне хоть небольшой кредит? Он задумчиво поглядел на Фуггера, на Франкфурт, на меня, открыл сейф и дал мне два фунта.

Я промолчал, подписал одну квитанцию, получил от него другую и покинул банк. На улице, разумеется, шел дождь, и мои *people*², исполненные надежд, ждали меня на остановке автобуса. Голод смотрел на меня из их тоскующих глаз, ожидание помощи — надежной, мужской, отцовской, и я решил сделать то, на чем и зиждется миф о мужественности: я решил блефовать. Широким жестом я пригласил всех к чаю с ветчиной, и яйцами, и с салатом — и откуда он только здесь взялся? — с печеньем и мороженым и был счастлив, когда после уплаты по счету у меня осталось еще полкроны. Полкроны мне хватило на десяток сигарет, спички и на серебряный шиллинг про запас.

¹ Особые успехи, отмечаемые похвальной грамотой при экзамене на ученую степень.

² Домочадцы (англ.).

Тогда я еще не знал того, что узнал четыре часа спустя: что и чаевые можно давать в кредит. Но едва мы оказались у цели, на окраине Мейо, почти у мыса Акилл-Хед, откуда до Нью-Йорка нет ничего, кроме воды, кредит расцвел самым пышным цветом: белее снега был дом, цвета морской лазури рамы и наличники, в камине горел огонь. На торжественном — в нашу честь — обеде подавали свежую лососину. Море было светло-зеленым — там, где волны набегали на берег, темно-синим — до середины бухты, а там, где оно разбивалось об остров Клэр, виднелась узкая, очень белая кайма.

А вечером мы вдобавок получили то, что стоит не меньше наличных денег: мы получили в пользование от владельца магазина кредитную книгу. Книга была толстая, почти на восемьдесят страниц, очень основательно переплетенная в красный сафьян и, судя по всему, рассчитанная на века.

Итак, мы у цели, в Мейо — да поможет нам Бог!

СКЕЛЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Внезапно, когда мы поднялись на вершину горы, нам открылся на близлежащем склоне скелет заброшенной деревни. Никто нам о ней не рассказывал, никто нас не предвещал: в Ирландии так много заброшенных деревень. Церковь нам показали, и кратчайший путь к морю — тоже, и лавку, в которой продают чай, масло и сигареты, и газетный киоск, и почту, и маленькую пристань, где во время отлива остаются в тине убитые гарпуном акулы, они лежат кверху черными спинами, напоминая опрокинутые лодки, если только последняя волна прилива не перевернет их кверху белым брюхом, из которого вырезана печень, — все это сочли достойным упоминания, все, кроме покинутой деревни. Серые однообразные каменные фронтоны поначалу явились нам без перспективы, как неумело расставленные декорации для фильма с призракками. Затаив дыхание, мы начали их считать, досчитав до сорока, сбились со счета, а было их там не меньше сотни. За следующим поворотом дороги деревня предстала перед нами в другом ракурсе, и мы увидели ее теперь со стороны — остовы домов, которые, казалось, еще ждут руки плотника: серые каменные стены, темные проемы окон, ни кусочка дерева, ни клоч-

ка материи, ничего пестрого — словно тело, лишенное волос и глаз, плоти и крови; скелет деревни с жестокой отчетливостью построения — вот главная улица, на повороте, где маленькая круглая площадь, стоял, должно быть, трактир. Переулок, один, другой. Все, что не было из камня, съедено дождем, солнцем, ветром — и еще временем, которое сочится упорно и терпеливо, двадцать четыре большие капли времени в сутки: кислота, разъедающая все на свете так же незаметно, как смирение...

Если бы кто-нибудь попытался нарисовать это — костяк человеческого поселения, в котором сто лет назад жило, быть может, пятьсот человек: сплошь серые треугольники и четырехугольники на зеленовато-сером склоне горы, если бы он вставил в свою картину и девочку в красном пуловере, что как раз идет по главной улице с корзиной торфа (мазок красным — пуловер, темно-коричневым — торф, светло-коричневым — лицо), и если бы он добавил ко всему белых овец, которые, словно вши, расползлись между островами домов, этого художника сочли бы безумцем: настолько абстрактной выглядела здесь действительность. Все, что было не из камня, съедено ветром, солнцем, дождем и временем; на угрюмом склоне, как анатомическое пособие, живописно раскинулся скелет деревни — «вон там, посмотрите-ка, совсем как позвоночник», — главная улица, она даже искривлена немного, как позвоночник человека, привыкшего к тяжелой работе; все косточки целы: и руки на месте, и ноги — это переулки, и чуть смещенная в сторону голова — это церковь, серый треугольник, чуть побольше других. Левая нога — улица, что идет на восток, вверх по склону; правая — в долину, она немного короче, это скелет прихрамывающего существа. Так мог бы выглядеть — пролежи он триста лет в земле — вон тот человек, которого медленно гонят к пастбищу четыре тощие коровы, оставляя своего хозяина в приятном заблуждении, будто это он их гонит. Правая нога у него короче — из-за несчастного случая, спина согнута от трудной добычи торфа, да и голова непременно откатится в сторону, когда человека опустят в землю. Он уже обогнал нас и буркнул: «Nice day»¹, а мы все еще не набрались

¹ Добрый день (англ.).

духу, чтобы ответить ему или расспросить об этой деревне.

Разбомбленные города, разрушенные снарядами деревни выглядят не так. Бомбы и снаряды — это не более как удлинённые томагавки, топоры, молоты, с помощью которых люди разрушают и сокрушают, но здесь нет никаких следов насилия: время и стихия с бесконечным терпением пожрали все, что не было камнем, а из земли растут подушки — мох и трава, на которых, словно реликвии, покоятся кости.

Никто не пытался здесь опрокинуть стену или растащить на дрова заброшенный дом, хотя дрова здесь великая ценность (у нас это называется «выпотрошить», но здесь никто не «потрошит» дома). Даже дети, что по вечерам гонят скот поверху, мимо заброшенной деревни, даже дети и те не пытаются повалить стену или высадить дверь. Наши дети, едва мы очутились в деревне, сразу же попытались это сделать: сровнять что-нибудь с землей. Здесь никто ничего не сравнивает с землей, податливые части заброшенных жилищ оставлены в добычу ветру и дождю, солнцу и времени, и спустя шестьдесят, семьдесят или сто лет остаются лишь каменные остовы, и никогда больше ни один плотник не отпразднует здесь окончание стройки. Вот как выглядит человеческое поселение, которое после смерти оставили в покое.

Все еще с болью в сердце брели мы между голыми фасадами по главной улице, сворачивали в переулки, и боль мало-помалу стихала: на дорогах росла трава, мох затянул стены и картофельные поля, карабкался вверх по стенам: камни фронтонов, лишённые штукатурки, были уже не бутом и не кирпичом, а каменной осыпью, какую намывают в долину горные ручьи; перемычки над окнами и дверьми были как горные плато, а каменные плиты, торчавшие из стен в том месте, где был камин, — широкими, как плечевые кости: на них висела некогда цепь для чугунного котла, и бледные картофелины варились в бурой воде.

Мы шли от дома к дому, как разносчики, и каждый раз, когда мы переступали порог и узкая тень скользила над нашими головами, на нас обрушивался квадрат голубого неба: побольше — там, где жили когда-то люди с достатком, поменьше — у бедняков. Лишь размеры голубого квадрата еще раз напоминали теперь о различиях между людьми. Во многих комнатах уже

рос мох, многие пороги давно скрылись под бурой водой; из передних стен еще торчали кой-где крюки для скотины — бычьи бедренные кости, к которым крепили цепь.

— Здесь был очаг!

— Там кровать!

— Здесь, над камином, висело распятие.

Там стенной шкаф — две вертикальные каменные пластины, а между ними зажаты две горизонтальные. В этом шкафу один из детей обнаружил железный клин, который, едва мы его вытащили, раскрылся под руками, и остался только стержень не толще гвоздя, и по просьбе детей я сунул его в карман — на память.

Пять часов провели мы в этой деревне, и время промелькнуло быстро, потому что ничего не происходило. Мы только спугнули несколько птиц, да овца удрала от нас через пустой оконный проем вниз по склону. С окостеневших кустов фуксии свисали кровавые цветы. На отцветающем дреке, как грязные медяки, висели желтые лепестки; кристаллы кварца, словно кости, прорастали из мха; на улицах не было мусора, в канавах не было отбросов, в воздухе не было ни звука. Быть может, нам просто хотелось снова увидеть девочку в красном пуловере и с корзиной коричневого торфа, но она так и не пришла.

Когда на обратном пути я сунул руку в карман, чтобы еще раз взглянуть на железный стержень, я достал лишь горстку красно-бурой пыли того же цвета, что и болото справа и слева от нашей дороги; туда, в болото, я ее и высыпал.

Никто не мог нам точно сказать, когда и почему покинута деревня: в Ирландии так много покинутых домов; куда ни пойдешь, их за два часа прогулки попадется несколько: этот покинут лет десять назад, этот — двадцать, тот — пятьдесят или восемьдесят, а есть и такие дома, где еще не успели заржаветь гвозди в досках, которыми заколочены окна и двери, куда еще не проникли ни дождь, ни ветер.

Старушка, жившая в соседнем доме, тоже не могла нам сказать, давно ли покинута деревня; в 1880 году, когда она была еще девочкой, в деревне уже никто не жил. Из шести ее детей только двое остались в Ирландии; двое живут и работают в Манчестере, двое — в США. Одна дочь замужем здесь, в деревне (у этой

дочери тоже шестеро детей, и двое, наверно, тоже уедут в Англию, а двое — в Америку). С ней остался только старший сын; когда он гонит скотину с пастбища, его на расстоянии можно принять за шестнадцатилетнего, когда сворачивает на деревенскую улицу, ему не дашь больше тридцати пяти, а когда он с робкой ухмылкой заглядывает в наше окно, видно, что ему все пятьдесят.

— Он не хочет жениться,— говорит его мать,— ну не срам ли?

Конечно, срам. Он такой работающий и чистоплотный, он выкрасил в красный цвет ворота и каменные шишечки на ограде, в синий — оконные рамы под зеленой замшелой крышей; в глазах его всегда живет смех, и осла своего он похлопывает по холке очень ласково.

Вечером, когда мы брали у них молоко, мы спросили его о покинутой деревне, но и он ничего не сумел нам рассказать. Ровным счетом ничего. Он никогда там не бывал, пастбищ у них там нет, и торфяные ямы тоже лежат в другой стороне, к югу, неподалеку от памятника ирландскому патриоту, повешенному в 1799 году.

— Вы уже его видели?

Да, мы уже видели его, и Тони, пятидесяти лет от роду, снова уходит, но на углу он превращается в тридцатилетнего, выше, на склоне горы, где он мимоходом треплет осла по холке,— в шестнадцатилетнего, а когда он задерживается на мгновение возле живой изгороди из фуксий, прежде чем скрыться за ней, он вдруг становится похож на мальчишку, каким был когда-то.

СТРАНСТВУЮЩИЙ ДАНТИСТ ОТ ПОЛИТИКИ

— Скажи мне по совести,— спросил меня Патрик после пятой кружки пива,— считаешь ли ты всех ирландцев малость чокнутыми?

— Нет,— ответил я,— я считаю только половину ирландцев чокнутыми.

— Тебе бы надо стать дипломатом! — сказал Патрик и заказал шестую кружку.— А теперь скажи мне уж совсем по совести: считаешь ли ты ирландцев счастливым народом?

— Я считаю,— сказал я,— что вы счастливее, чем можете догадаться, а если б вы догадались, какие вы счастливые, вы б, уж верно, нашли какую-нибудь причину, чтобы стать несчастными. У вас есть много причин чувствовать себя несчастными, но главное — вы любите поэтическую сторону несчастья. Твое здоровье!

Мы снова выпили, и только после шестой кружки пива Патрик решил наконец спросить меня о том, о чем уже давно хотел спросить.

— А скажи-ка,— спросил он тихо,— ведь Гитлер был, мне думается, не такой уж плохой человек — просто он, мне думается, слишком далеко зашел.

Моя жена ободряюще кивнула мне.

— А ну,— тихо сказала она по-немецки,— не робей, выдерни у него этот зуб.

— Я не зубной врач,— так же тихо ответил я жене,— и мне надоело по вечерам ходить в бар; всякий раз я должен выдирать зубы, всякий раз одни и те же, хватит с меня.

— Дело того стоит,— сказала мне жена.

— Ладно, Патрик, слушай,— приветливо начал я,— мы точно знаем, куда зашел Гитлер: он шел по трупам миллионов евреев, детей...

Лицо Патрика болезненно передернулось. Он велел принести седьмую кружку и печально сказал:

— Эх, жалко, что и ты попался на удочку английской пропаганды, очень жалко.

Я не дотронулся до своего пива.

— Ладно,— сказал я,— дай уж я выдерну у тебя этот зуб; может, тебе будет немножко больно, но иначе нельзя. Только после этого ты станешь по-настоящему славным парнем. Так что давай я приведу в порядок твою челюсть, я все равно уже считаю себя странствующим дантистом...

— Гитлер был...— начал я и рассказал ему все. Я уже набил руку, я стал искусным врачом, а когда пациент тебе симпатичен, действуешь осторожнее, чем когда работаешь просто по привычке, просто по обязанности.— Гитлер был... Гитлер делал... Гитлер говорил...

Все болезненнее дергалось лицо Патрика, но я заказал виски, я выпил за его здоровье, и он выпил, чуть поперхнувшись.

— Ну как, очень было больно? — осторожно спросил я.

— Да,— сказал он,— очень, и пройдет еще несколько дней, пока вытечет весь гной.

— Не забывай регулярно полоскать рот, а если будет болеть, приходи ко мне — ты знаешь, где я живу.

— Я знаю, где ты живешь,— сказал Патрик,— и я непременно приду, потому что болеть будет наверняка.

— И все-таки,— сказал я,— хорошо, что зуб вырван.

Но Патрик промолчал.

— Выпьем еще по одной? — грустно спросил он.

— Да,— сказал я.— Гитлер был...

— Перестань,— сказал Патрик,— перестань, пожалуйста, там открытый нерв.

— Ну и прекрасно,— сказал я,— значит, он скоро отомрет, значит, надо выпить еще по одной.

— Неужели тебе не бывает грустно, когда у тебя выдерут зуб? — устало спросил Патрик.

— В первую минуту бывает,— сказал я,— а потом я радуюсь, когда больше не гноится.

— А всего глупей,— сказал Патрик,— что теперь я и вовсе не знаю, чем мне так нравятся немцы.

— Они,— тихо сказал я,— должны тебе нравиться не *благодаря*, а *вопреки* Гитлеру. Нет ничего тягостнее, чем если кто-нибудь черпает симпатии к тебе из сомнительных, на твой взгляд, источников. Допустим, если твой дедушка был налетчик и ты знакомишься с кем-то, кто восхищается тобой именно потому, что твой дедушка был налетчик, тебе крайне тягостно; другие, со своей стороны, восхищаются тобой именно потому, что ты не налетчик, но ты предпочел бы, чтобы они восхищались тобой, даже если ты станешь налетчиком.

Принесли восьмую кружку пива — ее заказал Генри, англичанин, который ежегодно проводит здесь отпуск. Он подсел к нам и удрученно покачал головой.

— Не знаю,— сказал он,— почему я каждый год езжу в Ирландию; не знаю, сколько раз я уже говорил вам, что никогда не жаловал ни Кромвеля, ни Пемброка и никогда не состоял с ними в родстве, что я всего-навсего лондонский клерк, которому полагается двухнедельный отпуск и который мечтает провести его у моря; не знаю, зачем я каждый год проделываю сюда далекий путь из Лондона ради того лишь, чтобы выслушать, какой я хороший и какие скверные все англичане; это так утомительно... А что до Гитлера...— сказал Генри.

— Ради бога,— сказал Патрик,— не говори о нем. Я больше не могу слышать это имя. Во всяком случае, не сейчас... Позднее, может быть...

— Здорово,— сказал мне Генри,— ты, кажется, хорошо поработал.

— У каждого есть свое честолюбие,— скромно сказал я,— а я, видишь ли, привык каждый вечер выдирать по зубу; я уже точно знаю, где он находится; я начал разбираться в политической стоматологии, я рву основательно и без наркоза...

— Видит Бог,— сказал Патрик,— но разве мы не превосходные люди, несмотря ни на что?

— Да, вы превосходные люди,— сказали мы все трое в один голос: моя жена, Генри и я.— Право же, вы превосходные люди, но вы и без нас отлично это знаете.

— Выпьем еще по одной,— сказал Патрик,— для приятных снов.

— И посошок на дорожку!

— И стопку за кошку! — сказал я.

— И рюмку за собачку!..

Мы выпили, а стрелки часов все еще показывали — как уже три недели подряд — половину одиннадцатого. Половина одиннадцатого — это полицейский час для сельских кабачков в летний сезон, но туристы, иностранцы, делают более сговорчивым неумолимое время. Когда подходит лето, хозяева достают отвертку, два болта и наглухо закрепляют обе стрелки, а некоторые покупают себе игрушечные часы с деревянными стрелками, которые можно прибить гвоздями. Тогда время останавливается, тогда поток черного пива льется все лето, не иссякая денно и ночью, а полицейские спят сном праведников.

ПОРТРЕТ ИРЛАНДСКОГО ГОРОДА

Лимерик утром

Лимериками называют определенную форму стихов, своего рода зашифрованные остроты, и о городе Лимерике, который дал имя этим стихам, у меня были самые радужные представления: остроумные рифмы, смеющиеся девушки, всюду звуки волынок, звонкое веселье на улицах. Мы немало уже повидали веселья на дорогах между Дублином и Лимериком: школьни-

ки всех возрастов — многие босиком — весело трусили под октябрьским дождичком, они сворачивали с полевых тропинок, издали было видно, как они пробираются по лужам между живыми изгородями, их было не счесть, они сливались воедино, как капли воды в струйку, как струйки — в ручей, как ручьи — в речушку, и порой наша машина пересекала их, как поток, который с готовностью расступается перед тобой. На несколько минут дорога пустела — когда позади оставалось большое селение, потом снова начинали стекаться капли — ирландские школьники, подталкивая и обгоняя друг друга, они были одеты в какие-то немислимые платья — пестрые, лоскутные, но зато все они были если даже не очень веселые, то по крайней мере спокойные. Порой они трусили под дождем много миль туда, много миль обратно, с клюшками для керлинга в руках, стянув учебники ремешком. Сто восемьдесят километров проехала наша машина сквозь поток ирландских школьников, и хотя лил дождь, хотя многие были разуты и большинство бедно одеты, вид почти у всех был веселый.

Мне показалось кощунством, когда кто-то в Германии сказал однажды: «Дорога принадлежит мотору». В Ирландии меня все время так и подмывало сказать: «Дорога принадлежит корове». И впрямь, ирландских коров отправляют на пастбище, как детей в школу, стадами заполняют они дорогу и высокомерно оборачиваются на гудки автомобиля, давая шоферу полную возможность проявить чувство юмора, показать свою выдержку и сноровку. Он осторожно подъезжает к стаду, робко протискивается в милостиво предоставленный ему проход, и лишь достигнув первой коровы и перегнав ее, он может дать газ и порадоваться от всей души, ибо избежал опасности, а что больше возбуждает, что лучше стимулирует чувство благодарности судьбе, чем мысль о минувшей опасности? Вот почему ирландский шофер всегда преисполнен чувства благодарности: он вечно должен бороться со школьниками и коровами за свою жизнь, за свои права и за свою скорость, уж он-то никогда бы не выдвинул снобистский лозунг: «Дорога принадлежит мотору». В Ирландии долго еще не будет решен вопрос, кому принадлежит дорога, — а до чего ж красивы эти дороги: стены, стены, деревья, стены, живые изгороди; камней, из которых в Ирландии сложены стены, хва-

тило бы, чтобы построить вавилонскую башню, но развалины Ирландии красноречиво свидетельствуют, что ее вряд ли следует строить. Во всяком случае, эти красивые дороги принадлежат не мотору, они принадлежат тому, кому нужны в данную минуту и кто всегда дает возможность тому, кому они вдруг понадобятся, проявить здесь свою сноровку. Некоторые дороги принадлежат ослам. В Ирландии великое множество ослов, которые не ходят в школу, — они обглаживают живые изгороди и меланхолически любят природу, повернувшись хвостом к проезжающим мимо автомобилям. Нет, дороги в Ирландии принадлежат кому угодно, только не мотору.

Много спокойствия и веселья среди коров, ослов и школьников повстречали мы между Дублином и Лимериком, а если прибавить к этому еще и веселые стихи «лимерики», кто усомнился бы на подступах к Лимерику, что это веселый город? Дороги, еще совсем недавно запруженные веселыми школьниками, надменными коровами и задумчивыми осликами, вдруг опустели. Дети, верно, уже добрались до школы, коровы — до пастбища, а ослов просто-напросто призвали к порядку. Дождевые облака нагнали с Атлантики, улицы Лимерика были сумрачны и пусты; белыми были только бутылки молока у дверей, пожалуй, даже чересчур белыми, да чайки, дробившие серость неба, облака жирных белых чаек — дробная белизна, которая сливалась порой в большое белое пятно. Зеленью отливал мох на древних стенах восьмого, девятого и всех последующих столетий, а стены двадцатого века мало чем отличались от стен восьмого: такой же мох, такие же развалины. В мясных лавках мерцали бело-красные части говяжьих туш, и лимерикские дети, свободные от занятий, демонстрировали там свою изобретательность: уцепившись за свиные ножки или бычьи хвосты, они раскачивались между тушами — веселая ухмылка на бледных мордашках. Поистине, ирландские дети — народ изобретательный, но неужели, кроме них, в городе нет других жителей?

Мы оставили машину неподалеку от собора и медленно побрели по угрюмым улицам. Под старинными мостами перекачивались серые воды Шаннона: слишком велика, слишком широка и неукротима была эта река для маленького угрюмого города; тоска охватила нас, чувство заброшенности и одиночества среди мхов,

старинных стен и множества бутылок, мучительно белых и словно предназначенных для давно умерших людей, даже дети, что раскачивались на говяжьих тушах в темноватых мясных лавках, казались призраками. Против одиночества, которое внезапно овладевает тобой в чужом городе, есть лишь одно средство: надо срочно что-нибудь купить — видовую открытку или жевательную резинку, карандаш или сигареты, подержать что-то в руках, приобщиться своей покупкой к жизни этого города, — но можно ли здесь, в Лимерике, в четверг в половине одиннадцатого утра что-нибудь купить? А вдруг мы сейчас очнемся и увидим, что мокнем посреди дороги около машины, Лимерик же исчез как фата-моргана — фата-моргана дождя. Мучительно белы эти бутылки, чуть потемней — крикливые чайки.

Старый Лимерик относится к Новому, как остров Ситэ относится к остальному Парижу, причем соотношение между Старым Лимериком и Ситэ — примерно один к трем, а между Новым Лимериком и Парижем — один к двумстам; датчане, норманны и лишь потом ирландцы заселили этот красивый и мрачный остров: серые мосты связывают его с берегами, Шаннон катит серые волны, а впереди, там, где мост упирается в сушу, поставили памятник камню, вернее, водрузили камень на пьедестал. На этом камне англичане поклялись предоставить ирландцам свободу вероисповедания, был заключен договор, расторгнутый впоследствии английским парламентом. Поэтому у Лимерика есть дополнительное имя — *Город нарушенного договора*.

В Дублине нам кто-то сказал: «Лимерик — самый набожный город в мире». И следовательно, нам было достаточно взглянуть на календарь, чтобы понять, отчего безлюдны улицы Лимерика, почему у дверей стоят непечатые бутылки с молоком, почему закрыты лавки: Лимерик был в церкви; утро, четверг, без малого одиннадцать. Вдруг, раньше, чем мы добрались до центра Нового Лимерика, распахнулись двери церквей, заполнились улицы, исчезли с крылец молочные бутылки. Это походило на завоевание, лимерикцы захватили свой город. Открылась даже почта, даже банк распахнул свои окошечки. И там, где всего лишь пять минут назад нам казалось, будто мы попали в заброшенный средневековый город, все стало пугающе нормальным, доступным и человечным.

Чтобы удостовериться в существовании этого города, мы стали покупать всякую всячину: сигареты, мыло, открытки, игру-головоломку. Сигареты мы курили, мыло нюхали, на открытках писали, а игру упаковали и бодро пошли на почту. Правда, здесь произошла некоторая заминка — начальница еще не вернулась из церкви, а подчиненная не могла ответить на наш вопрос: сколько стоит отправить в Германию бандероль (головоломку) весом в двести пятьдесят граммов? В поисках поддержки она обратила взор к изображению Богоматери, перед которым теплилась свеча. Мария молчала, улыбалась, как улыбается вот уже четыре столетия, и ее улыбка означала: терпение. Явились на свет какие-то странные гири, еще более странные весы, перед нами выложили ядовито-зеленые бланки, открывали и закрывали каталоги, но единственный выход оставался все тот же: терпение. И мы терпели. А вообще говоря, кто посылает в октябре бандеролью детскую игру из Лимерика в Германию? И кто не знает, что праздник Богородицы если не целиком, то хоть наполовину нерабочий день?

Уже потом, когда наша игра давным-давно была отправлена, мы увидели скептицизм в глазах суровых и печальных, угрюмость, блеснувшую в синих глазах, глазах цыганки, продававшей на улице изображения святых, и в глазах хозяйки гостиницы, и в глазах шофера такси: шипы вокруг розы, стрелы в сердце самого набожного города в мире.

Лимерик вечером

Обесцещены, раскупорены молочные бутылки: пустые, серые, грязные, стояли они у дверей и на подоконниках, грустно дожидаясь утра, когда им на смену придут их свежие, ослепительные сестры, и чайкам не хватало белизны, чтобы заменить ангельское сияние, исходящее поутру от невинных бутылок; чайки со свистом проносились над Шанноном, а он, зажатый здесь между каменными стенами, на протяжении двухсот метров ускорял свой бег; прокисшие серо-зеленые водоросли затягивали камень стен; сейчас был отлив; так и казалось, будто Старый Лимерик, заголившись самым непристойным образом и задрав свои одежды, обнажил те части, которые обычно скрыты под водой; мусорные

кучи по берегам тоже дожидались, когда их смоеет прилив; тусклый свет мерцал в окнах тотализаторов, пьяные одолевали канаву, а дети, те, что утром раскачивались в мясной лавке на говяжьих тушах, доказывали теперь всем своим видом, что существует такая степень бедности, при которой даже английская булавка — непозволительная роскошь; бечевка дешевле и годится для той же цели; то, что однажды, восемь лет назад, было недорогим, но новым пиджаком, сейчас заменяло пальто, куртку, рубашку и штаны разом; слишком длинные рукава высоко закатаны, живот подпоясан бечевкой, а в руках, как молоко, сияет белизной невинности та манна, которую в Ирландии можно приобрести в любой дыре, свежую и дешевую, — мороженое. По тротуару перекатываются камушки, а дети заглядывают в окно тотализатора, где как раз в это время отец ставит часть своего пособия по безработице на *Закат*. Все глубже опускается благодатный сумрак, камушки все стучат по выщербленным ступенькам лестницы, ведущей к дверям тотализатора. Не пойдет ли отец в соседний тотализатор, чтобы там поставить на *Ночную Бабочку*, в третий, чтобы поставить на *Иннишфри*? В Старом Лимерике хватает тотализаторов. Камушки ударяются о ступеньку, белоснежные капли мороженого падают в канаву, где на миг расцветают, будто звезды в тине, на единый миг, а потом их невинность засасывает тина.

Нет, отец не пойдет в другой тотализатор, он только заглянет в трактир, а выщербленные ступеньки трактира тоже вполне годятся для игры в камушки. Не даст ли отец еще денег на мороженое? Даст, даст! И для Джонни, и для Падди, и для Шейлы, и для Мойры, и для мамы, и для тети, а может, даже и для бабушки? Конечно, даст, покуда хватит денег. Выиграет ли *Закат*? Само собой, выиграет. *Должен* выиграть, черт подери, иначе...

— Потише, Джон, не разбей об стойку стакан. Еще налить?

— Конечно, налить. *Закат* должен выиграть.

А если нет даже бечевки, ее заменят пальцы, худые, грязные, озябшие детские пальцы левой руки, покуда правая рука катает или подбрасывает камушки.

— Нэд, а Нэд, дай лизнуть.

И вдруг среди вечерней темноты ясный детский голосок:

— Сегодня вечером служба. Пойдете?

Смех, раздумья, сомнения.

— Да, пойдём.

— А я нет.

— Пошли.

— Нет.

— Ну пошли же...

— Нет.

Стучат камушки по выщербленным ступенькам трактира.

Мой спутник дрожит от страха — он пал жертвой одного из самых горьких и глупых предрассудков: плохо одетые люди опасны или, во всяком случае, опаснее хорошо одетых. Ему бы надо дрожать в баре дублинского «Шэлбурн-отеля», а не здесь, в Лимерике, возле замка короля Джона. Ах, будь они хоть немножко опаснее, эти оборванцы, будь они так же опасны, как те, что кажутся такими безопасными в баре «Шэлбурн-отеля»!

Как раз в эту минуту хозяйка закуской набросилась на мальчика, который взял себе на двадцать пенни хрустящего картофеля и слишком обильно, по ее мнению, полил его уксусом из стоящей на столе бутылки.

— Ты что, собака, разорить меня хочешь?

Швырнет он свой картофель ей в лицо или нет? Нет, он не сумел ответить, за него ответила его задыхающаяся детская грудь, ответила свистом, вырвавшимся из слабого органчика — детских легких. Не Свифт ли более двухсот лет назад, в 1729 году, писал свою горчайшую сатиру, свое «Скромное предложение: как сделать, чтобы дети бедных ирландцев не становились обузой для своих родителей и для страны», где советовал английскому правительству отдавать все сто двадцать тысяч новорожденных — годовой прирост, установленный статистикой, — на съедение богатым англичанам, подробное, жестокое изложение проекта, который должен был служить многим целям и, помимо всего прочего, уменьшению числа папистов.

Схватка из-за шести капель уксуса еще не закончилась, грозно вздета рука хозяйки, свистящие звуки рвутся из груди мальчика. Равнодушные снуют мимо, пьяные шатаются, дети спешат с молитвенниками, чтобы не опоздать к вечерней службе. Но спаситель уже грядет: он велик, он толст и отечен, должно быть, у него недавно шла кровь из носа, темные пятна покрывают лицо вокруг носа и рта; он тоже скатился от

английских булавок к бечевке, но на башмаки даже бечевки не хватило — подметки отстают. Спаситель подходит к хозяйке, склоняется перед ней, как бы целуя ей руку, вынимает из кармана бумажку в десять шиллингов, вручает ее хозяйке — та испуганно берет — и любезно говорит:

— Могу ли я, милостивая государыня, просить вас счесть эти десять шиллингов достаточным вознаграждением за шесть капель уксуса?

Молчание в темноте за Королевским замком, потом человек с пятнами крови на лице вдруг понижает голос:

— А могу ли я, милостивая государыня, обратить ваше внимание также и на то, что уже настал час вечерней молитвы? Мой нижайший поклон господину священнику.

И он, пошатываясь, ушел, а мальчик испуганно убежал, и хозяйка осталась одна. Вдруг из глаз ее хлынули слезы, она с плачем бросилась в дом, и вопли ее были слышны даже тогда, когда за ней захлопнулась дверь.

Благодатные воды океана еще не докатились до Лимерика; обнаженные стены были все так же грязны, и чайки все так же недостаточно белы. Угрюмо вырос из темноты замок короля Джона — местная достопримечательность, водруженная среди жилых казарм двадцатых годов, и казармы двадцатого века казались более дряхлыми, нежели замок века тринадцатого; тусклый свет слабых лампочек не мог одолеть густую тень замка, и кислая темень захлестнула все.

Десять шиллингов за шесть капель уксуса! Лишь тот, кто живет поэзией, вместо того чтобы создавать ее, способен платить десять тысяч процентов. Куда он делся, темный запятнанный кровью пьяница, у которого хватило бечевки на пиджак и не хватило на башмаки? Уж не бросился ли он в Шаннон, в клокочущую серую теснину между обоими мостами, которую чайки облюбовали как бесплатный каток? Они все еще кружат в темноте, приникают к серой воде, скользят от моста к мосту и взлетают, чтобы снова и снова повторять эту игру бесконечно, ненасытно.

Из церкви доносилось пение, голоса молящихся, такси везли туристов из аэропорта Шаннон, зеленые автобусы сновали в серой мгле, черное горькое пиво лилось за занавешенными окнами пивных. *Закат должен прийти первым!*

Закатным пурпуром светилось большое сердце Иисуса в церкви, где уже кончилась вечерняя служба, горели свечи, молились запоздавшие, ладан и жар свечей, тишина, нарушаемая лишь причетником, который, шаркая ногами, задергивал занавески исповедален и вытряхивал деньги из церковных кружек. Пурпуром светилось сердце Иисуса.

Сколько же стоит пятидесяти-шестидесяти-семи-десятилетнее плавание от дока, имя которому рождение, до того места среди океана, где нас ждет наше кораблекрушение?

Опрятные парки, опрятные памятники, черные, строгие, прямые улицы; где-то здесь явилась на свет Лола Монтеc. Развалины времен восстания еще не стали древностью; заколоченные дома, где за черными досками копошатся крысы; полуразвалившиеся склады, окончательный снос которых передоверен времени; серо-зеленая тина на обнаженных стенах; и льется, льется черное пиво за победу *Заката*, которому не суждено победить. Улицы, улицы... Улицы, на мгновение заполняемые богомольцами, идущими с вечерней службы, улицы, где дома словно уменьшаются с каждым твоим шагом; стены тюрем, стены монастырей, стены церквей, стены казарм; какой-то лейтенант, вернувшись с дежурства, останавливает велосипед у дверей своего крохотного домика и застревает на пороге в куче своих детишек.

И снова запах ладана, жар свечей, тишина и молещущики, которые никак не могут расстаться с пурпурным сердцем Иисуса и которых причетник тихим голосом увещевает идти домой, в конце концов. Упрямое покачивание головой в ответ. «Но...» — и за этим «но» множество других аргументов причетника. Упрямое покачивание в ответ. Колени словно приклеены к скамеечке. Кто сочтет молитвы и проклятия, у кого есть счетчик Гейгера, который способен зарегистрировать надежды, прикованные в этот вечер к *Закату*? Две пары тонких лошадиных ног, а на них поставлено столько, что никому на свете не выкупить эту закладную. Но если *Закат* не выиграет, горе придется заливать таким же количеством пива, какое понадобилось для поддержания надежд. Все так же стучат камушки по выщербленным ступеням трактира, по выщербленным ступеням церквей и тотализаторов.

И совсем уже поздно я обнаружил последнюю не-

тронутую бутылку с молоком, такую же девственную, как и утром. Она стояла у дверей крохотного домика с закрытыми ставнями. У дверей соседнего домика я увидел пожилую женщину — седую и неопрятную; белой у нее была лишь сигарета. Я остановился.

— Где он? — тихо спросил я.

— Кто?

— Хозяин молока. Он еще спит?

— Нет, — тихо сказала она, — он сегодня уехал.

— И оставил молоко?

— Да.

— И не выключил свет?

— А что, горит еще?

— Разве вы не видите?

Я прильнул к желтой щели и заглянул внутрь. Там, в крохотной прихожей еще висело на двери полотенце, а на шкафу лежала шляпа, а на полу стояла грязная тарелка с недоеденной картошкой.

— А ведь и правда не выключил. Впрочем, что с того, в Австралию они ему счет не пошлют.

— В Австралию?

— Да.

— А счет за молоко?

— Он и по нему не заплатил.

Белизна сигареты вплотную приблизилась к темным губам, и женщина юркнула в свою дверь.

— Верно, — сказала она, — свет-то он мог бы и погасить.

Лимерик спал, осененный тысячами молитв и проклятий, растекался в черном пиве; одна-единственная белоснежная бутылка молока охраняла его сон, а снился ему пурпурный *Закат* и пурпурное сердце Христа.

КОГДА БОГ СОЗДАВАЛ ВРЕМЯ...

Тот факт, что богослужение не может начаться раньше, чем появится священник, не требует толкования, но тот, что и сеанс в кино не может начаться раньше, чем соберутся все священники, как местные, так и приезжие, кажется не совсем понятным чужестранцу, привыкшему к континентальным порядкам. Ему остается только надеяться, что местный священник и его друзья скоро завершат ужин и беседу после ужина, что они не слишком углубятся в школьные

воспоминания, ибо тема «А ты помнишь, как...» поистине неисчерпаема: а ты помнишь, как латинист, как математик, ну и, конечно же, как историк!..

Начало сеанса назначено на двадцать один час, но если есть в мире понятие, никого ни к чему не обязывающее, то именно этот срок. Даже принятая у нас сверхнеопределенная формула уговора «часиков в девять» представляет по сравнению с ним верх точности, ибо наше «часиков в девять» истекает ровно в половине десятого, после чего начинается «часиков в десять». Здешние же «двадцать один час», с недвусмысленной четкостью выведенные на афише,— чистой воды мошенничество.

Как ни странно, никто не сетует на эту задержку, ничуть не сетует. «Когда Бог создавал время,— говорят ирландцы,— Он создал его достаточно». Спору нет, это изречение столь же метко, сколь и достойно, чтобы над ним поразмыслить: если представить себе время как некую материю, которая отпущена нам на улаживание наших земных дел, то этой материи нам отпущено даже больше, чем нужно, потому что время всегда «терпит». Тот, у кого нет времени,— это чудовище, выродок; он где-то крадет время, утаивает его. (Сколько времени понадобилось просадить и сколько украсть для того, чтобы вошла в поговорку незаслуженно прославленная военная пунктуальность: миллиарды часов украденного времени — вот цена за эту расточительную пунктуальность, за выродков новейшего времени, у которых никогда нет времени. Мне они всегда напоминают людей, у которых слишком мало кожи...)

Времени для подобных размышлений достаточно, потому что уже давно перевалило за половину десятого; возможно, священники уже добрались до биолога, то есть уже до второстепенных дисциплин, и это подогревает надежду. Но даже о тех, кто не использует отсрочку для размышлений подобного рода, здесь позаботились. Для них не скупясь крутят пластинки, им щедрой рукой предлагают шоколад, мороженое и сигареты, потому что здесь — какое благоденствие! — в кино разрешают курить. Если бы в кино запретили курить, вспыхнул бы мятеж, ибо страсть ходить в кино неразрывно связана у ирландцев со страстью к курению.

Красноватые светильники на стенах излучают слабый свет, и в полутьме зала царит оживление, как на ярмарке: разговоры ведутся через четыре ряда, шутки

громогласно перелетают через восемь; впереди, на дешевых местах, дети затеяли веселую возню, совсем как на перемене; люди угощают друг друга шоколадками, меняются сигаретами; где-то в темноте раздается многозначительный скрип, с которым обычно извлекают пробку из бутылки виски, женщины подкрашиваются, достают флакончики с духами; кто-то заводит песню, ну а тем, кто не считает, что все эти звуки человеческой жизни, все эти движения и занятия — достойная трата времени, остается время для размышлений: поистине, когда Бог создавал время, Он создал его достаточно. Спору нет, при использовании времени можно наблюдать и расточительность, и бережливость, причем — как ни парадоксально это звучит — расточители времени всегда оказываются в результате самыми бережливыми, ибо когда кто-нибудь претендует на их время, — например, чтобы быстро отвезти кого-нибудь на вокзал или в больницу, — оно у них всегда находится. Подобно тому как у расточителя денег всегда можно попросить займы, так и расточители времени — это, по сути, сберегательные кассы, куда Господь складывает про запас свое время и держит его там на случай, что оно вдруг понадобится, поскольку какой-нибудь бережливец истратил свое не там, где надо.

И однако мы пришли в кино, чтобы посмотреть Энн Блайт, а не для того, чтобы размышлять, пусть даже размышлять здесь на редкость легко и приятно — здесь, на этой ярмарке беззаботности, где крестьяне с болот, торфяники и рыбаки угощают в темноте сигаретами многообещающе улыбающихся дам из тех, что целыми днями разъезжают по окрестностям в своих лимузинах, и принимают от них взамен шоколад; где отставной полковник толкует с почтальоном о достоинствах и недостатках индейцев. Здесь бесклассовое общество стало явью. Жаль только, что дышать почти нечем: духи, губная помада, сигареты, горький запах торфа от одежды, даже музыка и та словно чем-то пахнет — от нее несет грубой эротикой тридцатых годов, и даже кресла, роскошно обитые красным бархатом (если тебе очень повезет, можно даже отыскать кресло с почти целыми пружинами), даже кресла, которые, надо полагать, году в 1880 считались в Дублине верхом элегантности (они наверняка повидали на своем веку оперы и пьесы Салливана, а может, Йейтса, Синга, Шона О'Кейси и раннего Шоу), — даже кресла и те

пахнут так, как пахнет старый бархат, противящийся грубости пылесосов и бесцеремонности щеток,— а кинотеатр еще недостроен, и вентиляции в нем покамест нет.

Однако словоохотливые священники и капелланы, судя по всему, еще не добрались до биолога, а может, они обсуждают швейцара (неисчерпаемая тема) или первую тайком выкуренную сигарету? Кому не нравится воздух, тот может выйти и постоять, прислонившись к стене кинотеатра, на улице мягкий светлый вечер, и маяк на острове Клэр, в восемнадцати километрах отсюда, еще не зажегся; над спокойной поверхностью моря взгляд проникает на сорок — пятьдесят километров, через залив Клу до гор Коннемары и Голуэя, а если посмотреть вправо, на запад, можно увидеть Акилл-Хед, последние два километра Европы, которые еще отделяют его от Америки; дикая, как будто нарочно созданная для шабашей ведьм, поросшая мхом и вереском, высится там гора Крэгхайн — самая западная из европейских гор, круто обрываясь к морю с высоты семисот метров. Впереди, на одном из ее склонов, среди темной зелени болот выделяется светлый четырехугольник возделанной земли с большим серым домом: здесь проживал капитан Бойкот, благодаря которому человечество изобрело бойкот, здесь было подарено миру новое слово; метров на сто выше дома лежат обломки самолета: американский пилот на какую-то долю секунды раньше чем надо вообразил, что под ним открытый океан, безбрежная гладь которого одна только еще отделяет его от родины; последний утес Европы стал для него роковым, последний выступ той части света, про которую Фолкнер в своей «Легенде» сказал: «Тот маленький гнойник, что носит название Европа»...

Синева обволакивает море — многослойная, многоцветная; окутаны синевой острова, зеленые, похожие на большие пятна мха, или черные, щербатые, что торчат из моря, как обломки гнилых зубов.

Наконец-то (или к сожалению — сказать трудно) священники завершили или просто прервали обмен школьными воспоминаниями, наконец-то и они пришли посмотреть на обещанное афишей великолепие — на Энн Блайт. Гаснут красноватые светильники, утихает возня на дешевых местах, и все это бесклассовое общество погружается в молчаливое ожидание, под которое и начинается фильм — слащавый, цветной, широкоэкранный. То и дело принимается реветь какой-то трех-

или четырехлетний малыш, когда слишком натурально щелкает пистолет, когда по лбу героя струится кровь слишком настоящего вида, а то и вовсе когда темно-красные капли выступают на шее красавицы: ах, зачем было вонзать нож в эту дивную шею? Нет-нет, ее не напрочь отрезали, не бойся, детка, и орущему малышу поспешно суют в рот кусок шоколада; горе и шоколад дружно тают в темноте. К концу фильма возникает ощущение, которого ты не испытывал с детских лет, — будто ты объелся шоколадом, проглотил слишком много сладостей — о, эта мучительная и милая сердцу изжога от злоупотребления запретным плодом! После этой приторной сласти дают анонс с перчиком: черно-белый фильм, притон, злые, костлявые женщины, уродливые и решительные герои, снова неизбежные выстрелы, снова приходится совать шоколад в рот трехлетка. Большая, щедрая кинопрограмма на три часа, и едва загораются красноватые светильники, едва распахиваются двери — на лицах можно прочесть то, что всегда бывает на лицах после окончания любого фильма: легкое, скрытое под улыбкой смущение, когда стыдишься чувства, которое помимо своей воли израсходовал на этот фильм. Модная красотка садится в свой лимузин, вспыхивают задние огни, огромные, рубиново-красные, как тлеющий торф, и уплывают к отелю, а добытчик торфа тем временем устало бредет к своей хибаре; взрослые молчат, дети же, рассыпавшись в ночи, щебечут, смеются и еще раз пересказывают друг другу содержание фильма.

Время за полночь; давно уже засветили маяк на острове Клэр, синие очертания гор почернели, далеко на болоте редкие желтые огоньки — там ждут бабушка или мать, муж или жена, чтобы услышать подробный рассказ о том, что покажут в ближайшие дни, и до двух, до трех часов ночи будут люди сидеть у камина, ибо когда Бог создавал время — Он создал его достаточно.

Ослы перекликаются в теплой летней ночи, оглашая окрестности своей абстрактной песнью, безумный вопль — как скрип несмазанных дверей, как скрежет заржавленных насосов — непонятный сигнал, величественный и слишком абстрактный, чтобы казаться правдоподобным, неизбывная скорбь слышится в нем и — как ни странно — невозмутимость. Словно летучие мыши, с шорохом, без огней, носятся мимо велосипедисты на своих металлических ослах, и после них слышатся в ночи лишь мирные шаги пешеходов.

Дождь здесь вездесущ, грандиозен и устрашающ. Назвать этот дождь плохой погодой так же неуместно, как назвать палящее солнце — хорошей.

Можно, конечно, назвать такой дождь плохой погодой, что будет неверно. Это погода вообще, а в данном случае — непогода. Дождь настойчиво напоминает о том, что его стихия — вода, причем вода падающая. А вода — она твердая. Во время войны я видел однажды, как падал над побережьем Атлантики горящий самолет. Пилот посадил его на берег и бросился бежать, пока самолет не взорвался. Позднее я спросил у него, почему он не посадил горящий самолет на воду, и он ответил:

— Потому что вода тверже песка.

До сих пор я не верил ему, но здесь я понял: вода твердая.

Сколько же воды собирается над четырехтысячекилометровыми просторами Атлантики, воды, которая счастлива, что добралась наконец до людей, до домов, до твердой земли, после того как долго падала только в воду, только в самое себя. Велика ли радость дождю все время падать только в воду?

А потом, когда гаснет свет и первая лужа бесшумно просовывает под дверь свой язык, гладкий, поблескивающий в свете камина, когда игрушки, конечно же не убранные детьми, когда пробки и всякие деревяшки внезапно обретают плавучесть и язык лужи увлекает их вперед, когда напуганные дети спускаются по лестнице и устраиваются перед камином (впрочем, они больше удивлены, чем напуганы, поскольку и они сознают, до чего радостно встречаются друг с другом ветер и дождь, и они сознают, что этот рев — рев восторга), — тогда понимаешь, что никто не был так достоин ковчега, как Ной...

У жителей материка есть дурацкая привычка: открывать дверь, чтобы посмотреть, что там стряслось. Стряслось все: черепица, водосточный желоб, даже каменные стены и те не внушают доверия (ибо строят здесь на время, а живут в этих временках — если только не эмигрируют — вечность; у нас же, напротив, строят на века, не зная толком, понадобится ли следующему поколению такая основательность).

Хорошо иметь дома свечи, Библию и немного виски,

как у моряков, всегда готовых к бурям, ну и еще карты, табак, вязальные спицы и шерсть для женщин, ибо у бури много воздуха, у дождя много воды, а ночь длинна. И потом, когда из-под окна высунется второй язык воды и сольется с первым, когда по узкому языку игрушки медленно подплывут к окну, тогда хорошо проверить в Библии, точно ли Бог давал обещание не устраивать второго потопа. Точно, давал. Значит, можно зажечь очередную свечу, закурить очередную сигарету, снова перетасовать колоду, снова разлить виски по рюмкам и всецело довериться шуму дождя, вою ветра и постукиванию спиц. Обещание-то дано.

Слишком поздно услышали мы стук в дверь — сперва мы подумали, что это постукивает ненадетая цепочка, потом — что это неистовствует буря, и лишь потом догадались, что этот звук производит человеческая рука, а до какой глупости может дойти континентальный житель, видно хотя бы из высказанного мной предположения, уж не монтер ли это с электростанции. Ничуть не умней, чем ожидать в открытом море судебного исполнителя.

Мы быстро отворили дверь и втащили в дом насквозь промокшего современника; дверь закрыли снова, и вот он оказался перед нами: раскисший фибровый чемодан, вода ручьями бежала из рукавов, из башмаков, со шляпы, и невольно казалось, будто из глаз его тоже бежит вода — так выглядят одетые участники соревнований по спасению утопающих, впрочем, нашему гостю было чуждо спортивное честолюбие, он просто-напросто пришел с автобусной остановки — пятьдесят шагов под дождем, перепутал наш дом со своей гостиницей и был, по его словам, клерком у одного дублинского адвоката.

— Неужели автобус ходит в такую погоду?

— Да, ходит, только опоздал немного. Впрочем, он больше плыл, чем ехал... А здесь и в самом деле не отель?

— Нет, но...

Он — звали его Дермот, — пообсохнув, оказался изрядным знатоком Библии, изрядным игроком в карты, изрядным рассказчиком, изрядным любителем виски, и еще он научил нас, как быстро вскипятить чай в камине на тагане, как на том же древнем тагане приготовить баранью отбивную, как поджарить тосты на длинных вилках, назначение которых мы сами открыть не сумели, — но лишь утром он признался, что немного знает немецкий — он был в плену в Германии, и он рассказал нашим детям то, чего они никогда не смогут забыть и

никогда не должны забывать: как он хоронил маленьких цыганят, которые умерли, когда эвакуировали концлагерь Штутхоф, они были вот такие маленькие — он показал какие, — и он копал могилы в мерзлой земле, чтобы их похоронить.

— А почему они умерли? — спросил кто-то из детей.

— Потому что они были цыгане.

— Но ведь это же не причина, от этого же не умирают.

— Да, — сказал Дермот, — это не причина, от этого не умирают.

Мы встали. Уже совсем рассвело, и на улице вдруг стихло. Ветер и дождь ушли, солнце поднялось над горизонтом, и огромная радуга перекинулась через море. Она была так близко, что казалось, можно разглядеть, из чего она сделана: оболочка радуги была тонкой, будто у мыльного пузыря.

И когда мы пошли наверх, в спальню, пробки и деревянные все еще качались в лужице под окном.

САМЫЕ КРАСИВЫЕ НОГИ В МИРЕ

Чтобы развлечься, молодая жена врача начала было вязать, но тут же отбросила спицы и клубок в угол дивана, потом она открыла книгу, прочла несколько строк и снова закрыла, потом налила себе виски, задумчиво осушила рюмку маленькими глотками, открыла другую книгу, закрыла и эту, вздохнула, сняла телефонную трубку и положила обратно: кому звонить-то?

Потом кто-то из ее детей забормотал во сне, молодая женщина тихо прошла через прихожую в детскую, потеплее укрыла детей, расправила одеяла и простыни на четырех детских кроватках. В прихожей она остановилась перед большой картой страны — желтой от старости, покрытой таинственными значками и напоминавшей увеличенную карту Острова Сокровищ; кругом море, темно-коричневые — словно красного дерева — горы, светло-коричневым обозначены долины, черным — шоссе и дороги, зеленым — маленькие участки возделываемой земли вокруг крохотных деревень, и повсюду голубыми языками бухт вдается в остров море; маленькие крестики — церкви, часовни, кладбища; маленькие гавани, маяки, прибрежные скалы; ноготь указательного пальца,

покрытый серебристым лаком, медленно ползет вдоль дороги, по которой два часа назад уехал муж этой женщины; деревня, две мили болота, деревня, три мили болота, церковь — молодая женщина осеняет себя крестом, будто и впрямь проезжает мимо церкви, — пять миль болота, деревня, две мили болота, церковь — женщина снова крестится; бензоколонка, бар Тедди О'Малли, лавка Беккета, три мили болота; покрытый серебристым лаком ноготь, как сверкающая модель автомобиля, медленно ползет по карте до самого пролива, где жирная черная линия шоссе по мосту перебегает на твердую землю, а дорога, по которой проехал ее муж, вьется тоненькой черной ниточкой по краю острова, порой сливаясь с его контурами. Здесь карта темно-коричневая, береговая линия зубчатая и неправильная, как кардиограмма очень беспокойного сердца, и кто-то вывел шариковой ручкой по голубой краске моря: «200 футов», «380 футов», «300 футов», и от каждой из цифр отходит стрелка, которая объясняет, что цифры означают не глубину моря, а высоту берега над уровнем моря, берега, который совпадает тут с дорогой. Серебристый ноготь то и дело спотыкается, потому что женщина знает каждый метр этой дороги: она не раз сопровождала своего мужа, когда он ездил к больному в единственный — на шесть миль побережья — дом. Когда туристы ездят в солнечные дни по этой дороге, у них холодок пробегает по спине, если на протяжении нескольких километров они прямо под собой видят только белые языки моря, стоит шоферу чуть зазеваться — и машина разобьется о камни, о которые разбился уже не один корабль. Дорога мокрая, покрытая галькой и кое-где овечьим пометом — это там, где ее пересекают старые овечьи тропы. И вдруг ноготь резко останавливается: здесь дорога круто срывается к маленькой бухте и так же круто взмывает вверх, море яростно ревет на дне каньона; миллионы лет бушует эта ярость, подтачивая основание скалы. Палец снова спотыкается — здесь лежало маленькое кладбище для неокрещенных младенцев, сегодня здесь можно видеть лишь одну могилу, обложенную кусками кварца, остальные захоронения унесло море. Теперь машина осторожно преодолевает старый мост без перил, поворачивает, и в свете фар видно, как машут руками заждавшиеся женщины: здесь, в самом дальнем углу острова, живет Иден Мак-Намара, жена которого должна родить этой ночью.

Молодая женщина зябко вздрагивает и, покачав головой, медленно возвращается в комнату, подбрасывает торфа в камин, перемешивает, пока его не охватывает пламя, берет клубок, снова кидает его в угол дивана, встает, подходит к зеркалу, с полминуты задумчиво стоит перед ним, опустив голову, и вдруг вскидывает голову и смотрит на свое отражение: яркий макияж делает ее детское лицо еще более детским, почти кукольным, хотя у самой куклы уже четверо детей. Дублин так далеко — Графтон-стрит — О'Коннел-бридж — набережные; кино и танцы — Театр Аббатства — по будням в одиннадцать утра служба в церкви святой Терезы, куда надо приходиться загодя, если хочешь найти свободное место. Молодая женщина, вздохнув, снова подходит к камину. С чего это жена Идена Мак-Намары повадилась рожать детей только по ночам и только в сентябре? Но ведь Иден Мак-Намара с марта по декабрь работает в Англии и лишь под Рождество приезжает на три месяца домой, чтобы запасти торфа, покрасить дом, починить крышу, тайком половить лососей со скалистого обрыва, поискать, не вынесло ли море на берег какого добра, и еще — чтобы сделать очередного ребенка; вот почему дети Идена Мак-Намары появляются на свет всегда в сентябре и всегда числа двадцать третьего — через девять месяцев после Рождества, когда начинаются большие штормы и море на много миль захлестнуто яростной белой пеной. Иден, верно, сидит сейчас в Бирмингеме у стойки бара, волнуется, как всякий, кто готовится стать отцом, и прокликает упрямство своей жены, ни за что не желающей расстаться с этим одиночеством, — строптивая черноволосая красавица, все дети которой рождаются в сентябре; среди развалин заброшенной деревни она занимает единственный еще не заброшенный дом. В том месте побережья, красота которого причиняет боль, потому что в солнечные дни отсюда можно видеть за тридцать, за сорок километров и не обнаружить никаких признаков человеческого жилья — лишь синева, призрачные островки да море. Позади дома голый склон круто взмывает вверх на четыреста футов, а в трехстах шагах перед домом он так же круто обрывается вниз на триста футов; черные голые камни, ущелья, пещеры, вгрызшиеся в глубь скалы на пятьдесят — семьдесят метров; в штормовую погоду из пещер грозно вырывается пена, словно белый палец, на клочки раздираемый штормом.

Нуала Мак-Намара уехала отсюда в Нью-Йорк продавать шелковые чулки у Вулворта, Джон стал учителем в Дублине, Томми — иезуитом в Риме, Бриджит вышла замуж в Лондоне, — но Мэри упорно цепляется за этот безнадежный, заброшенный клочок земли, где вот уже четвертый год подряд в сентябре она производит на свет по ребенку.

— Приезжайте ко мне двадцать четвертого, доктор, часам к одиннадцати, и клянусь вам, вы приедете не напрасно.

А через десять дней она пройдет со старым посохом своего отца по краю обрыва посмотреть, как там ее овцы и как там насчет сокровищ, поиски которых заменяют жителям побережья лотерею (кстати, в лотереях они тоже участвуют). Зоркими глазами жительницы побережья она обшарит весь берег, а когда очертания и цвет какого-нибудь предмета скажут ее цепким глазам, что это не просто камень, возьмется за бинокль. Разве не знает она каждую скалу, каждый валун на шести милях этого берега, разве не знает она любой риф в любую пору прилива и отлива? В одном только октябре прошлого года, после долгих штормов, она нашла на берегу три тюка с каучуком и спрятала их выше уровня прилива в пещере — той самой, где ее предки уже за сотни лет до того прятали от жандармов тиковое дерево, медь, бочонки с ромом и обломки погибших кораблей.

Молодая женщина с серебристым лаком на ногтях улыбнулась: она выпила вторую рюмку виски, побольше, и уняла наконец свою тревогу: когда пьешь не спеша, с раздумьем, огненная вода действует не только вглубь, но и вширь. Разве сама она не родила уже четырех детей и разве муж ее не возвращался уже три раза из этой ночной поездки? Женщина улыбается: о чем говорит Мэри Мак-Намара при встрече? О предмете, который называется радар, ей нужен маленький портативный радар, с его помощью она собирается выискивать в бесчисленных бухточках и между скал медь и цинк, железо и серебро.

Молодая женщина снова идет в прихожую, еще раз прислушивается через открытую дверь к спокойному дыханию детей, улыбается и снова начинает водить по старой карте серебристым ногтем указательного пальца, водит и подсчитывает: полчаса по хорошей дороге до пролива, еще три четверти часа до дома Идена Мак-Намары, и если младенец действительно окажется таким

пунктуальным, а обе женщины из соседней деревни уже будут на месте, то примерно часа два на роды, еще полчаса на (это может оказаться чем угодно — от чашки чая до грандиозной трапезы) и еще три четверти часа плюс полчаса на обратную дорогу; итого пять часов. В девять Тед выехал — значит, около двух там внизу, где шоссе переваливает через гору, должны показаться фары его машины. Женщина смотрит на свои часы: сейчас половина первого. Еще раз медленно проводит она серебристым пальцем по карте: болото, деревня, церковь, болото, взорванная казарма, болото, деревня, болото.

Женщина возвращается к камину, снова подкладывает торфа, помешивает его, задумывается, берет газету. На первой странице идут частные объявления: рождения, смерти, помолвки, и еще особый столбец, над которым заголовок «In Memoriam»: в нем сообщают о годовщинах смерти, о шестинедельных заупокойных службах или просто напоминают о дате смерти: «В память о горячо любимой Мойре Мак-Дермот, которая год назад скончалась в Типперэри. Иисусе милосердный, упокой ее душу. Вознесите и вы, кто сегодня вспомнит о ней, свои молитвы к престолу Спасителя». Два столбца — сорок раз молодая женщина с серебристыми ногтями читает молитву — «Иисусе милосердный, упокой их души» — за Джойсов и Мак-Картти, за Моллоев и Галахеров.

Далее следуют серебряные свадьбы, потерянные кольца, найденные кошельки, официальные уведомления.

Семь монахинь, направляющихся в Австралию, и шесть — в Америку, улыбаются перед фоторепортером. Двадцать семь только что рукоположенных в сан священников улыбаются перед фоторепортером. Пятнадцать епископов, которые обсуждали проблемы эмиграции, делают то же самое.

На третьей странице — очередной бык, продолжающий линию премированных племенных производителей, затем Маленков, Булганин и Серов, дальше премированная овца с венком между рогами; молодая девушка, занявшая первое место на конкурсе песни, демонстрирует фотографам хорошенькое личико и прескверные зубы. Тридцать выпускниц закрытого пансиона встречаются через пятнадцать лет после выпуска, одни раздались в ширину, другие выделяются стройностью из общей массы; даже на газетной бумаге можно увидеть неуме-

ренный макияж: губы как бы жирно намазаны тушью, брови — два четких, изящных штриха; все тридцать запечатлены во время обедни, за чаем с пирожными и на вечерней службе.

Три ежедневных комикса с продолжением: «*Рип Кирби*», «*Хопалонг Кэссиди*» и «*Сердце Джульетты Джонс*». Ну и суровое сердце у Джульетты Джонс!

Бегло, мимоходом, когда ее глаза уже почти остановились на кинорекламе, читает молодая женщина репортаж из Западной Германии: «*Как жители Западной Германии используют свободу вероисповеданий*». «Впервые за всю немецкую историю, — читает женщина, — в Западной Германии гарантирована полная свобода вероисповедания»... «Бедная Германия, — думает женщина и завершает: — Иисусе милосердный, помилуй их».

Давно просмотрена кинореклама, теперь глаза женщины внимательно пробегают колонку, озаглавленную «*Свадебные колокола*», колонка длинная, итак, Дермот О'Хара женился на Шиван О'Шонесси (с подробнейшими сведениями о социальном положении и месте жительства родителей жениха и невесты, шафера, подружки, свидетелей).

Глубоко вздохнув и с тайной надеждой, что, быть может, уже прошел час, молодая женщина смотрит на циферблат: прошло всего полчаса, и она снова склоняется над газетой. Реклама туристского агентства, путешествия в Рим, Лурд, Лизье, в Париж на рю дю Барк, к мощам Катарины Лабуре, а там за несколько шиллингов можно вписать свое имя в «*Золотую книгу молитв*». Открылся новый молельный дом, сияя, выстроились перед объективом его учредители. В одном захолустном городке в Мейо — с четырьмястами пятьюдесятью жителями — благодаря активности местного фестивального комитета состоялся настоящий фестиваль: гонки на ослах, бег в мешках, прыжки в длину и конкурс на самого медленного велосипедиста: победитель конкурса, ухмыляясь, предоставляет свою физиономию в распоряжение фоторепортера; он, тщедушный ученик в торговле продовольственными товарами, лучше других умеет пользоваться тормозами.

На дворе разыгралась буря, даже сюда доносится грохот прибоя, женщина кладет газету, встает, подходит к окну и смотрит на бухту: скалы черны, как высохшие чернила, хоть и висит над ними ясная и полная моне-

та луны, в глубину моря тоже не проникает этот холодный и ясный свет, он растекается по самой поверхности, как вода по стеклу, он чуть трогает берег легкой ржавчиной и ложится плесенью на болото: внизу, у пристани, мерцает слабый огонек, пляшут черные лодки...

Кстати, может, стоит еще помолиться за душу Мэри Мак-Намара — вреда не будет. Бисеринки пота выступают на бледном гордом лице, в котором удивительно сочетаются суровость и доброта, — лицо пастушки, лицо рыбачки. Так, должно быть, выглядела Жанна д'Арк...

Молодая женщина бежит от лунного холода, зажигает сигарету, подавляет желание налить себе третью рюмку, снова берет газету, пробегает ее глазами, а в голове засело одно: «Иисусе милосердный, смилуйся над нами». Покуда глаза пробегают спортивную хронику, коммерческий раздел, расписание пароходов, она думает о Мэри Мак-Намара; сейчас там греют воду над торфяным огнем в роскошном медном котле, в большом, как детская ванночка, котле цвета червонного золота. Кто-то из предков Мэри якобы нашел его среди обломков Непобедимой армады; может быть, в этом котле испанские матросы варили пиво или похлебку. Масляные лампадки и свечи горят сейчас перед всеми ликами святых, а ноги Мэри, ища опоры, упираются в спинку кровати, соскальзывают, сейчас они видны целиком: белые, нежные, сильные, самые красивые ноги, какие когда-либо видела молодая жена врача. А она повидала много ног: в ортопедической клинике в Дублине, в одном из этих протезных складов, где она подрабатывала во время каникул: жалкие, страшные ноги, которые никогда уже не послужат своим хозяйкам; и на многих пляжах видела она голые ноги: в Дублине, в Килини, Россбее, Сандимаунте, Малахайде, в Брее, а летом, когда приезжают купальщики, — и здесь тоже. Но ни разу еще не видела она таких красивых ног, как у Мэри Мак-Намара. Нужно бы уметь слагать баллады, со вздохом думает она, чтобы достойно воспеть ноги Мэри, ноги, которые карабкаются по скалам и рифам, бродят по болотам, меряют дорожные мили, а сейчас упираются в спинку кровати, чтобы вытолкнуть ребенка из чрева, это самые красивые ноги в мире, белые, нежные, сильные, подвижные, почти как руки: ноги Афины, ноги Жанны д'Арк.

Молодая женщина не спеша погружается в газетные объявления. Продажа домов: семьдесят объявлений — значит, семьдесят эмигрантов, семьдесят поводов позвать к Иисусу Милосердному. Купят дом — два объявления. Ох, Кэтлин, дочь Холизна, что же ты делаешь со своими детьми! Продаются крестьянские дворы — девять. Желающих купить — ни одного. Требуются молодые мужчины, которые чувствуют призвание к монашеской жизни, молодые женщины, которые чувствуют призвание к монашеской жизни. Английские больницы ищут санитарок, льготные условия, оплаченный отпуск и раз в год поездка домой на казенный счет.

Еще один взгляд в зеркало, чуточку подкрасить губы, подправить брови щеточкой, подновить серебристый лак на указательном пальце правой руки — лак облупился во время путешествия по карте. И снова в прихожую, там подлакированный ноготь проделывает по карте путь до того места, где живет женщина с самыми красивыми в мире ногами, здесь палец можно задержать, чтобы вызвать это место в памяти: шесть миль обрывистого берега, а по летним дням бескрайняя синева, и среди нее, словно выдуманные, плывут острова, которые окружены гневной пеной моря; острова, в существование которых трудно поверить, — зеленые, черные; мираж, наводящий грусть именно потому, что это вовсе не мираж и не может им быть, а еще потому, то Иден Мак-Намара вынужден работать в Бирмингеме, чтобы его семья могла жить здесь. Разве не похожи ирландцы с западного побережья на отпускников, приехавших отдохнуть, поскольку деньги на жизнь они зарабатывают где-то в другом месте? Сурова синь морской дали, острова высятся из нее, как бы изваянные из базальта, и лишь изредка крохотная черная лодка: люди.

Рев прибоя страшит молодую женщину: ах, как она тоскует осенью или зимой, когда неделями не унимается шторм, неделями ревет прибой и хлещет дождь по темным городским стенам. Она идет к окну и снова глядит на часы: почти половина второго, луна уже передвинулась к западному концу бухты; и вдруг она видит два световых конуса от машины ее мужа — беспомощные, как руки, которым не за что ухватиться, шарят они по серым облакам, ползут вниз — значит, машина почти одолела подъем, — выскочив из-за перевала, оббегают крыши деревни и наконец падают на дорогу: еще две мили

болотом, потом деревня и сигнал — три раза и еще три, и теперь все в деревне знают, что Мэри Мак-Намара родила мальчика, точно в ночь с 24-го на 25 сентября; сейчас почтмейстер вскочит с постели и даст телеграммы в Бирмингем, в Рим, в Нью-Йорк, в Лондон, и еще сигнал для жителей верхней деревни — три раза: Мэри Мак-Намара родила мальчика.

Уже слышен шум мотора, громче, ближе, вот уже лучи фар тенями веерных пальм отчетливо ложатся на белые стены дома, застревают в сплетении олеандровых веток, останавливаются, и в свете, падающем из ее окна, молодая женщина видит огромный медный котел, который, должно быть, плавал на Великой Армаде. Муж, улыбаясь, выносит его на свет.

— Королевский гонорар, — тихо говорит он, и жена закрывает окно и, бросив еще один взгляд в зеркало, до краев наполняет две рюмки — за самые красивые в мире ноги.

МЕРТВЫЙ ИНДЕЕЦ НА ДЮК-СТРИТ

Лишь после некоторого раздумья ирландский полисмен поднял руку, чтобы остановить машину. Возможно, он потомок какого-нибудь короля или внук какого-нибудь поэта, а то и внучатый племянник какого-нибудь святого, возможно также, что у него, призванного охранять закон, лежит дома под подушкой другой пистолет, — пистолет борца за свободу, презревшего законы. Во всяком случае, обязанности, ныне им выполняемые, ни разу ни в одной из своих бесчисленных колыбельных не воспевала его мать. Сравнить номер, указанный в документе, с номером машины, мутную фотографию с лицом живого владельца — какое бессмысленное, почти унижительное занятие для потомка короля, внука поэта и внучатого племянника святого — для того, кто, быть может, предпочитает свой незаконный пистолет законному, тому, что болтается сейчас у него на бедре.

Итак, после мрачного раздумья он останавливает машину, сидящий внутри соотечественник опускает стекло, полицейский улыбается, соотечественник улыбается, теперь можно поговорить о деле.

— Денек нынче что надо, — говорит полицейский. — А как у вас дела?

— Отлично, а у вас?

— Можно бы и получше, но ведь правда, денек-то нынче хорош?

— Куда уж лучше... или, по-вашему, будет дождь?

Полицейский бросает торжественный взгляд на восток, на север, на запад, и на юг, и в той прочувствованной торжественности, с которой он, как бы принюхиваясь, вертит головой, кроется сожаление о том, что сторон света всего четыре, а то как бы здорово с той же прочувствованной торжественностью поглядеть на все шестнадцать сторон. Затем он раздумчиво отвечает соотечественнику:

— Не исключено, что пойдет дождь. Знаете, в тот день, когда моя старшая родила своего младшего — чудный карапуз, волосенки каштановые, а глаза — вот это глаза, доложу я вам, — так вот, три года назад и как раз об эту пору мы тоже думали, что день неплохой, но к вечеру припустил такой дождь!

— Да, — говорит соотечественник в машине, — когда моя невестка, жена моего второго сына, родила первого ребенка — премилая девчушка с такими беленькими волосиками, а глазки голубенькие-голубенькие, прелестный ребенок, доложу я вам, — так вот тогда погода была почти такая же, как сегодня.

— Между прочим, в тот день, когда моей жене вырвали коренной зуб, то же самое: утром — дождь, днем — солнце, вечером — опять дождь, ну совершенно как в тот день, когда Кэти Коглен зарезала настоятеля церкви святой Марии...

— А удалось, в конце концов, выяснить, почему она это сделала?

— Она зарезала его потому, что он не хотел отпустить ей грехи. На суде она то и дело повторяла в свое оправдание: что ж, говорит, мне так и помирать было со своими грехами? Как раз в тот день у третьего ребенка моей второй дочери прорезался первый зуб. Обычно мы отмечаем каждый зуб, а тут мне пришлось под проливным дождем шататься по Дублину и отыскивать Кэти.

— Нашли?

— Нет, она уже два часа сидела в участке и поджидала нас, а там никого не было, потому что все разбежались ее искать.

— Она раскаивалась?

— Да ни капельки. Она так и сказала: «По-моему, он

угодил прямехонько на небо, чего же ему еще надо?» И еще, поганый был день, когда Том Даффи спер у Вулворта большого шоколадного негра и притащил его в зоопарк угостить медведей. В нем было сорок фунтов чистого шоколада, и все звери прямо как взбесились — так громко урчали медведи. Этот день был солнечный, с раннего утра, и я хотел поехать к морю со старшей дочерью моей старшей дочери, а вместо того мне пришлось задерживать Тома, он лежал дома в постели и крепко спал, и знаете, что этот парень сказал, когда я его разбудил? Знаете?

— Что-то не припомню.

— Он сказал: «Черт побери, почему и этот роскошный негр тоже должен принадлежать Вулворту? А вы даже не дадите человеку спокойно поспать». И верно, до чего у нас дурацкий, до чего глупый мир, где все хорошие вещи принадлежат плохим людям... Такой чудный был день, а я изволь арестовывать этого дурака Тома.

— Да,— сказал соотечественник в машине,— и когда мой младший провалился на выпускных экзаменах, тоже был отличный день...

Если помножить число родственников на их возраст, эту цифру еще на триста шестьдесят пять, то можно приблизительно вычислить количество вариаций на тему «погода». И никогда не узнаешь, что важнее — убийство, которое совершила Кэти Коглен, или погода, которая была в тот день; невозможно установить, кто для кого служит алиби: то ли дождь для Кэти, то ли Кэти для дождя,— вопрос остается открытым. Украденный шоколадный негр, выдернутый зуб, невыдержанный экзамен — все эти события существуют в мире не сами по себе, они подчинены истории погоды и подключены к ней, они входят составной частью в таинственную, бесконечно сложную систему координат.

— А еще,— сказал полицейский,— была плохая погода в тот день, когда монахиня нашла на Дюк-стрит мертвого индейца: мы несем беднягу в участок, а ветер воеет и дождь хлещет прямо в лицо. Монахиня все время шла рядом и молилась за его бедную душу; воды набрала полные туфли, а ветер был такой сильный, что задирает тяжелый, намокший подол ее юбки, и тогда я мог видеть, что она заштопала свои коричневые панталоны розовыми нитками.

— Его убили?

— Индейца-то? Нет, мы так и не смогли установить, чей он и откуда взялся; следов яда в нем не обнаружили, следов насилия тоже. В руках он держал боевой томагавк, на голове у него был боевой убор, а на лице боевая раскраска, и поскольку человеку нельзя обойтись без имени, мы назвали его *«наш возлюбленный краснокожий брат, явившийся из воздуха»*. Монахиня все плакала и не уходила от него и повторяла: «Это ангел, конечно же, это ангел, вы только посмотрите на его лицо».

В глазах полицейского вспыхнул блеск, торжественно разгладилось его чуть отечное от виски лицо, и сам он вдруг помолодел.

— Теперь и я думаю, что это был ангел: иначе откуда бы он взялся?

— Удивительно,— шепнул мне соотечественник,— в жизни не слышал про этого индейца.

И я начал догадываться, что полицейский вовсе не внук поэта, что он сам поэт.

— Мы похоронили его только через неделю — все искали кого-нибудь, кто мог бы знать его, но никто его не знал. Самое любопытное, что и монахиня вдруг исчезла. А ведь я своими глазами видел розовую штопку на ее коричневых панталонах, когда ветер задирает ее тяжелый подол. Скандал, конечно, поднялся страшный, когда полиция пожелала осмотреть панталоны у всех ирландских монахинь.

— Ну и как, нашли?

— Нет,— сказал полицейский.— Панталон не нашли. Но я уверен, что монахиня тоже была ангелом. У меня только одно вызывает сомнение: неужели даже ангелы ходят в заштопанных панталонах?

— А вы спросите у архиепископа,— сказал соотечественник и, опустив стекло еще ниже, протянул полицейскому пачку сигарет. Полицейский взял сигарету.

Вероятно, этот маленький подарок напомнил полицейскому о реальной, о докучной земной жизни, потому что лицо у него внезапно постарело, стало по-прежнему угрюмым и отечным, и он спросил:

— Кстати, не покажете ли вы мне ваши документы?

Соотечественник даже не пытался сделать вид, будто он ищет что-то, не стал изображать то напускное вол-

нение, с каким мы ищем вещь, твердо зная, что ее при нас нет; он просто сказал:

— А я их оставил дома.

Полицейский не колебался ни секунды.

— Ну,— сказал он,— лицо-то у вас, я полагаю, ваше собственное.

А вот на собственной ли машине он ездит, не играет никакой роли, подумал я, когда мы поехали дальше. Мы ехали по чудесным аллеям, мимо великолепных развалин, но я почти ничего не видел: я думал о мертвом индейце, которого монахиня нашла на Дюкстрит, когда бушевал ветер и дождь хлестал в лицо; я видел их как во плоти — чету ангелов, из которых один был в боевом уборе, а другая в коричневых панталонах, заштопанных розовыми нитками,— видел гораздо явственнее, чем то, что мог видеть на самом деле: чудесные аллеи и великолепные развалины...

ГЛЯДЯ В ОГОНЬ

Существует широко распространенное заблуждение, будто топор в доме заменяет плотника; но иметь собственный торфяник все-таки приятно. У мистера О'Донована из Дублина есть таковой, как есть он у многих О'Нилов, Маллоев и Дейли из Дублина. В свободные дни (а свободных дней у него хватает) он берет заступ, садится на семнадцатый или сорок седьмой автобус и едет на свой торфяник: надо уплатить шесть пенсов за билет, несколько сэндвичей и термос с чаем лежат у него в кармане, теперь можно добывать свой собственный торф на своем собственном участке. Потом грузовик или запряженная ослом тележка доставят этот торф в город. Его соотечественникам в других графствах и того легче: у тех торф чуть ли не растет перед домом, и в солнечные дни на голых, испещренных черными и зелеными полосами холмах царит такое же оживление, как во время уборки урожая; здесь собирают урожай, возвращенный столетиями сырости меж голых скал, озер и зеленых лугов; торф — единственное природное богатство страны, которая уже сотни лет назад лишилась своих лесов, страны, которая не всегда имела и не всегда имеет хлеб свой насущный, зато всегда имела дождь свой насущный, хотя бы и кратко-

временный: например, когда крохотное облачко выплывает в ясное небо, где его шутя выжимают, как губку.

Высокими штабелями сохнут куски коричневого пирога за каждым домом, порой штабеля перерастают крышу — значит, одним добром вы обеспечены наверняка: в камине у вас всегда будет огонь — красное пламя, которое лижет темные комья и оставляет после себя светлый пепел, легкий и без запаха, почти как пепел сигары — белый кончик черной гаваны.

Камин делает ненужной одну наименее приятную (и наиболее необходимую) принадлежность всякого цивилизованного сборища — пепельницу. Если время, проведенное в доме, гость расчленил на сигареты и, уходя, оставил в пепельнице, а хозяйка потом опоражнивает это зловонное вместилище, на дне все равно остается какая-то гадость — вязкая, липучая, черносерая. Можно только удивляться, что до сих пор ни один психолог не проник в низины психологии и не открыл, как ответвление ее, науку окуркологию; тогда хозяйка, собирая расчлененное время, чтобы выкинуть его, могла бы не без пользы для себя поупражняться в психологии: вот докуренные только до половины, грубо смятые окурки тех, у кого никогда нет времени и кто своими сигаретами тщетно борется со временем за время; вот Эрос оставил темно-красную кайму на мундштуке, а курильщик трубки — пепел своей солидности: черный, рассыпчатый и сухой; а вот скудные окурки заядлого курильщика, который закурит вторую сигарету не раньше, чем огонь первой обожжет ему губы, — словом, в низинах психологии можно набрать по меньшей мере несколько явных улик как побочных продуктов цивилизованного сборища. И сколь благодворен огонь камина, который уничтожает все следы, остаются только чашки, да несколько рюмок, да рдеющее в камине ядро, которое хозяин время от времени обкладывает новыми черными брикетами торфа.

Бессмысленные проспекты — реклама холодильников, путешествия в Рим, «Золотая библиотека юмора», автомобили, брачные объявления — поток, который угрожающе растет, поток газет, оберточной бумаги, билетов и конвертов здесь можно непосредственно превращать в огонь, да еще подложить несколько

кусков плавника, подобранного во время прогулки по берегу; обломок коньячного ящика, чурбак, смытый с палубы какого-то корабля, сухой, белый и чистый; стоит поднести спичку — и вот уже взметнулись языки пламени, и время, время от пяти часов до полуночи, быстро делается добычей мирного огня. У камина разговаривают тихо, а если кто повысит голос, значит, одно из двух: он либо болен, либо смешон. У камина можно забыть школьные уроки европейской школы, когда Москва вот уже четыре часа, Берлин вот уже два и даже Дублин вот уже полчаса как погружены во мрак. Над морем еще стоит слабое сияние, а Атлантика упорно, пядь за пядью размывает западный форпост Европы, галька осыпается в море, бесшумные илистые ручьи увлекают в океан темную европейскую землю; под тихий лепет струй они по крупинке уносят за какие-нибудь несколько десятилетий целые поля и пашни.

И те, кто прогуливал уроки, с тяжелым сердцем подкладывают в камин новую порцию торфа, тщательно выложенные куски призваны дать свет для полуночной партии в домино; медленно ползет стрелка по шкале приемника, пытаюсь узнать время, но ловит только обрывки гимнов: и Польша еще не погибла, и Бог хранит королеву, а Маас и Мемель, Эч и Бельт все еще границы Германии (это не говорится и не поется, но слова эти врезаны в невинную мелодию, как в напев шарманки). И дети отчизны по-прежнему вешают аристократов на фонарях. Медленно меркнет зеленый огонек индикатора, и снова пламя набрасывается на торф, где лежит еще один час времени — четыре куска торфа поверх алого ядра; насыщенный дождь сегодня что-то запоздал; тихо, почти с улыбкой падает он на болото и на море.

Шум машины, увозящей гостей, удаляется в сторону огоньков, рассыпанных по болоту, по черным склонам, уже погруженным в глубокий мрак, тогда как на берегу и над морем еще светло. Купол тьмы не спеша опускается на горизонт, закрывая последнюю светлую щель в небосводе; но полной тьмы по-прежнему нет, а над Уралом так и вовсе светает: вся Европа не шире одной короткой летней ночи.

ЕСЛИ ШЕЙМУСУ ХОЧЕТСЯ ВЫПИТЬ...

Если Шеймусу (пишется Seamus) хочется выпить, он должен учитывать, в какое время можно дать волю своей жажде. Покуда в деревне есть приезжие (а они бывают далеко не в каждой деревне), он может предоставить своей жажде некоторую свободу, ибо приезжие имеют право пить всякий раз, как почувствуют жажду, и тогда местный житель может спокойно затесаться между ними у стойки, тем более что он представляет собой элемент местной экзотики, привлекающей туристов. Но вот после первого сентября Шеймусу нужно регулировать свою жажду. Полицейский час по будням наступает в десять, и это уже само по себе крайне неприятно, потому что в теплые и сухие сентябрьские дни Шеймус часто работает до половины десятого, а то и дольше.

По воскресеньям же он заставляет свою жажду просыпаться либо до двух часов, либо от шести до восьми вечера. Если обед слишком затянулся, жажда проснется только после двух, и тогда Шеймус найдет местный трактир закрытым, а хозяин — даже если удастся до него достучаться — будет чрезвычайно «сорри» и не выкажет ни малейшего желания из-за одной кружки пива или стакана виски платить пять фунтов штрафа, тащиться в главный город графства и терять целый день. По воскресеньям с двух до шести трактиры должны быть закрыты, а полностью доверять местному полицейскому нельзя: бывают люди, которые по воскресеньям после слишком плотного обеда испытывают приступ исполнительности и хмельную преданность закону. Но и Шеймус тоже слишком плотно пообедал, так что его страстное желание выпить кружку пива можно понять и уж никак нельзя осудить.

Итак, в пять минут третьего Шеймус стоит посреди деревенской площади и размышляет. Пересохшей глотке запретное пиво представляется гораздо более соблазнительным, чем было бы пиво доступное. Шеймус размышляет: выход есть — можно достать из сарая велосипед и отмахать шесть миль до соседней деревни, потому что тамошний трактирщик должен дать ему то, в чем должен отказать местный: его порцию пива. Этот

нескладный закон содержит оговорку, согласно которой путнику, удалившемуся от своего дома не менее чем на три мили, напитки отпускаются беспрепятственно. Шеймус все еще размышляет: географическое положение у него неблагоприятное, — к сожалению, человек не может сам выбрать, где ему родиться, и Шеймусу в этом смысле крайне не повезло, ибо ближайший трактир находится не в трех, а в шести милях отсюда — редкая для ирландца неудача, чтобы на шесть миль — и ни одного трактира. Шесть миль туда, шесть миль обратно — получается двенадцать миль, то есть больше восемнадцати километров, ради одной кружки пива, да вдобавок часть дороги идет в гору. Шеймус отнюдь не пьяница, иначе он не размышлял бы так долго, а давно бы уже крутил педали и весело брэнчал монетами в своем кармане. Ему всего только и хочется выпить кружку пива: окорок был так пересолен, капуста так переперчена, а разве подобает мужчине утолять свою жажду колодезной водой или пахтаньем? Он разглядывает плакат над трактиром: огромная, выполненная в натуралистической манере кружка пива, такой темный, цвета лакрицы, такой свежий, чуть горьковатый напиток, а поверх — пена, белая, белоснежная пена, которую слизывает томимый жаждой тюлень. «A lovely day for a Guinness»¹ О муки Тантала! Столько соли в окороке! Столько перца в капусте!

Чертыхаясь, возвращается Шеймус к себе, выводит велосипед из сарая и, яростно крутя педали, выезжает со двора. О Тантал и — о воздействие ловкой рекламы! Жарко, очень даже жарко, и гора крутая, Шеймус вынужден толкать велосипед в гору, он обливается потом, изрыгает ругательства, однако ругательства его не касаются сексуальной сферы, как у тех народов, которые потребляют виноградное вино; его ругательства — это ругательства человека, предпочитающего виноградным винам спиртные напитки, они кощунственнее и остроумнее, чем сексуальные, недаром же спиритус — это дух. Шеймус ругает правительство и, надо полагать, духовенство, упорно настаивающее на сохранении этого непонятного закона (ибо, когда в Ирландии раздают лицензии на содержание трактиров, назначают полицейский час или устраивают

¹ Реклама пива: «Чудный денек для кружки Гиннесса!» (англ.).

танцевальный вечер, решающий голос принадлежит духовенству), — он, наш вспотевший, изнывающий от жажды Шеймус, который всего лишь несколько часов назад так благочестиво и кротко стоял в церкви, слушая воскресную проповедь.

Наконец он взбирается на вершину горы, и здесь разыгрывается сценка, из которой я с удовольствием сделал бы скетч, ибо здесь Шеймус встречает своего двоюродного брата Дермота — из соседней деревни. Дермот тоже ел за обедом пересоленный окорок с переперченной капустой. Дермот тоже не пьяница, и ему тоже хватило бы одной кружки пива для утоления жажды, он тоже постоял у себя в деревне перед плакатом с очень натурально нарисованной кружкой пива и лакомкой тюленем, он тоже поразмыслил, выкатил из сарая велосипед, тоже тащил его в гору, потел, ругался — и вот теперь встретил Шеймуса; происходит краткий, но кошунственный диалог, после чего Шеймус мчится вниз под гору к трактиру Дермота, а Дермот — к трактиру Шеймуса, и оба сделают то, чего делать не собирались: оба напьются до бесчувствия, поскольку тащиться в такую даль ради одной кружки пива, ради одного стакана виски было бы просто нелепо. И через столько-то часов того же воскресенья они, качаясь и горланя песни, снова будут толкать свои велосипеды в гору и с головокружительной скоростью мчаться вниз по склону. И они, которых никак нельзя назвать пьяницами — а может, все-таки можно? — станут пьяными еще раньше, чем наступит вечер.

Но, возможно, Шеймус, который стоит в третьем часу на деревенской площади, томясь от жажды, и созерцает лакомку тюленя, решит погодить и не станет вытаскивать из сарая велосипед; возможно — какое унижение для настоящего мужчины! — он решит утолить свою жажду водой или пахтаньем и поваляться на кровати с воскресной газетой. От гнетущей пополуденной жары, от тишины он задремлет, потом вдруг проснется, глянет на часы и, вне себя от ужаса, словно за ним гонится черт, ринется в свой трактир, потому что на часах уже без четверти восемь и у его жажды осталось в распоряжении всего пятнадцать минут. Хозяин уже начал монотонно выкрикивать свое обычное: «Ready now, please, ready now!» — «Прошу заканчивать! Прошу заканчивать!» Сердито, впопыхах, то и дело поглядывая на часы, Шеймус опрокинет три, четыре,

пять кружек пива и несколько стаканов виски следом, потому что часовая стрелка все ближе подползает к восьми и выставленный у дверей пост уже сообщил, что к трактиру медленно приближается полицейский,— ведь есть же люди, на которых после воскресного обеда находит дурное настроение и преданность закону.

Тот, кто воскресным днем незадолго до восьми часов окажется в трактире и будет оглушен хозяйским: «Прошу заканчивать!» — может увидеть, как врываются в трактир все непьяницы, которым вдруг пришло в голову, что трактир скоро закроется, а они еще не сделали того, к чему у них, возможно, и не было бы охоты, не будь этого дурацкого закона,— они еще не напились. Без пяти восемь, наплыв посетителей превосходит всяческое вероятие; все усиленно заливают жажду, которая может проснуться часам к десяти — одиннадцати, а может и вообще не проснуться. Кроме того, каждый чувствует себя обязанным хоть немного поднести приятелю, и тут хозяин в отчаянии кличет на подмогу жену, племянниц, внуков, бабушку, прабабушку, тетю, потому что за три минуты, оставшиеся до восьми, ему нужно успеть семь раз обнести всех присутствующих, то есть налить шестьдесят кружек пива и столько же рюмок виски, а его клиентам — успеть их выпить. В азарте, с каким здесь пьют сами и ставят выпивку другим, есть что-то детское — так мальчишка тайком выкуривает сигарету и тайком блюет после нее,— а уж конец, когда ровно в восемь в дверях возникает полицейский, уж конец — это чистейшее варварство: бледные, ожесточившиеся семнадцатилетние юнцы, спрятавшись где-нибудь в хлеву, наливаются пивом и виски во исполнение бессмысленных правил игры, называемой «мужская солидарность», а хозяин... что ж, хозяин подсчитывает выручку: куча бумажек по фунту, звонкое серебро, все деньги, деньги, и закон соблюден...

А воскресенье кончится еще не скоро, сейчас ровно восемь — еще рано, и сценка, разыгранная в два часа пополудни Шеймусом и Дермотом, может быть повторена с любым числом участников; итак, вечером, примерно в четверть девятого, на вершине горы встречаются две группы пьяных: чтобы использовать трехмильный обход закона, нужно только поменяться деревнями, поменяться трактирами. Немало проклятий возносится

по воскресеньям к небу этой благочестивой страны, на землю которой, хоть она и католическая, никогда не ступала нога римского наемника; кусок католической Европы за пределами Римской империи.

ДЕВЯТЫЙ РЕБЕНОК МИССИС Д.

Девятого ребенка миссис Д. зовут Джеймс Патрик Пий. В тот день, когда он родился, старшей дочери миссис Д., Шиван, исполнилось семнадцать лет. Чем займется Шиван, уже решено. Она устроится на почту — будет обслуживать коммутатор, соединять и разъединять разговоры с Глазго, Ливерпулем и Лондоном, продавать марки, выписывать квитанции и выплачивать в десять раз больше денег, чем принимать: фунты из Англии, обмененные доллары из Америки, пособия по многодетности, премии тем, кто говорит по-гэльски, пенсии. Каждый день около часу, когда приезжает почтовая машина, она будет плавить на свечке сургуч и приклеивать большую печать с ирландской арфой на большой пакет, содержащий самые важные отправления. Но она не будет — как это делает сейчас ее отец — каждый день выпивать по кружке пива с шофером почтовой машины и заводить с ним короткий, ленивый разговор, сдержанностью своей больше напоминающий богослужение, нежели мужской разговор у стойки. Итак, вот чем будет заниматься Шиван: с восьми утра до двух часов дня вместе со своей помощницей она будет сидеть за окошечком, а вечером, с шести до десяти, сидеть на коммутаторе; у нее будет оставаться время, чтобы читать газеты или романы и смотреть в бинокль на море, приближать голубые острова, лежащие в двадцати километрах, до двух с половиной километров, а купальщиков на пляже с пятисотметрового отдаления на шестидесятиметровое: жительницы Дублина, элегантные и старомодные, бикини и прабабушкины купальники с оборками и юбочками. Но дольше, куда дольше, чем короткий купальный сезон, будет тянуться другой сезон, мертвый, тихий: ветер, дождь, ветер, лишь изредка какой-нибудь приезжий купит пятипенсовую марку, чтобы отправить письмо на континент, а то кто-то и вовсе надумает рассылать заказные письма в три-четыре унции весом по городам, которые называются Кельн, Франкфурт или Мюнхен, еще он заставит

ее открывать толстую книгу тарифов и делать сложные расчеты, или того хуже — у него окажутся друзья, которые вынудят ее расшифровать азбуку телеграмм, гласящих: «Eile geboten. Stop. Antwortet baldmöglichst»¹. Поймет ли она когда-нибудь, что означает «baldmöglichst» — слово, которое она старательно выпишет своим детским почерком на телеграфном бланке, и только вместо «ö» поставит «oe».

Как бы там ни было, за ее будущее можно не беспокоиться, если только вообще в этом мире существует хоть что-нибудь, за что можно не беспокоиться. И уж тем более можно не сомневаться, что она выйдет замуж: глаза у нее, как у Вивьен Ли, и по вечерам один молодой человек частенько сидит на барьере и, болтая ногами, ведет с Шиван тот неловкий, почти безмолвный флирт, который возможен лишь при пламенной любви и почти болезненной застенчивости.

— Хорошая погода, правда?

— Да.

Молчание, беглый взгляд, улыбка, много-много молчания. Шиван даже рада, что загудел коммутатор.

— Вы кончили говорить? Вы кончили говорить?

Разъединяет; улыбка, взгляд, молчание, много-много молчания.

— Отличная погода, правда?

— Отличная.

Молчание, улыбка, снова на помощь приходит коммутатор.

— Дукинетелла. Дукинетелла слушает.

Включает. Молчание, улыбаются глаза, как у Вивьен Ли, и молодой человек почти прерывающимся голосом:

— Правда, сказочная погода?

— О да, сказочная.

Замуж Шиван выйдет, но и после этого будет обслуживать коммутатор, продавать марки, выплачивать деньги и оттискивать на мягком сургуче круглую печать с ирландской арфой. Но, может, и на нее вдруг найдет — когда неделями дует ветер и люди бредут по улицам,

¹ Здесь: «Срываете сроки. Тчк. Отвечайте незамедлительно» (нем.).

наклонившись вперед, чтобы легче одолеть бурю, когда неделями хлещет дождь, и в бинокль не видны больше голубые острова, и туман прижимает к земле торфяной дым, тяжелый и горький. Так ли, иначе ли, а она может остаться здесь, и это невероятная удача: из восьми ее братьев и сестер здесь могут остаться только двое. Один сможет держать маленький пансион, другой сможет ему помогать, если не женится: две семьи на одном пансионе не прокормятся. Остальным придется эмигрировать или искать работу по всей Ирландии. Но где они ее найдут и сколько будут зарабатывать? Те немногие, кто имеет здесь постоянную работу — работает в порту, рыбачит, добывает торф или занят на берегу, где копает гравий либо песок, — те немногие зарабатывают от пяти до семи фунтов в неделю (1 фунт = 11,60). Если к тому же у них есть собственный торфяник, корова, куры, домик и дети, которые помогают по хозяйству, жить еще можно, но в Англии рабочий, если считать со сверхурочными, получает от двадцати до двадцати пяти фунтов в неделю, а без сверхурочных от двенадцати до пятнадцати, никак не меньше. Следовательно, молодой парень, если даже он расходует на себя десять фунтов в неделю, сможет посылать домой от двух до пятнадцати фунтов, а здесь отыщется немало старушек, которые живут на два фунта, присылаемых сыном или внуком, немало семей, которые живут на пять фунтов, присылаемых отцом.

Итак, не подлежит сомнению, что из девяти детей миссис Д. пятерым или шестерым придется эмигрировать. Неужели и маленький Пий, которого сейчас терпеливо укачивает старший брат, покуда мать жарит постояльцам глазунью, накладывает повидло, режет белый и ржаной хлеб, разливает чай, покуда она печет на торфяном жару булки, раскладывает тесто по железным формам и подгребает к ним угли (между прочим, это выходит и быстрее и дешевле, чем на электричестве), — неужели и маленький Пий в 1970 году, четырнадцати лет от роду, тоже первого октября или первого апреля, весь в значках и бляхах, будет стоять на автобусной остановке с фибровым чемоданом в руках, с пакетом отборных бутербродов, и всхлипывающая мать будет обнимать его перед большим путешествием в Кливленд, Огайо, Манчестер, Ливерпуль, Лондон или Сидней к какому-нибудь дяде, к двоюродному или родному брату,

который твердо пообещал заботиться о мальчике и что-нибудь для него сделать?

О, эти прощанья на ирландских вокзалах, на автобусных остановках среди болот, когда слезы мешаются с каплями дождя и дует ветер с Атлантики; здесь же стоит дедушка, он знает трущобы Манхэттена и Нью-Йоркский союз портовых рабочих, он тридцать лет бился с нуждой и потому украдкой сует еще одну фунтовую бумажку остриженному под машинку и шмыгающему носом внуку, которого оплакивают, как некогда Иаков оплакивал Иосифа; шофер автобуса осторожно сигналил, очень осторожно, но он, который доставил к поезду сотни, а может, и тысячи вырвавшихся у него на глазах детей, знает, что поезд ждать не станет и что прощанье завершнное легче вынести, чем предстоящее. Парнишка машет рукой, автобус едет по пустоши, мимо маленького белого домика на болоте, слезы мешаются с соплями, мимо лавки, мимо трактира, где отец по вечерам выпивал свою положенную кружку пива, мимо школы, мимо церкви — мальчишка осеняет себя крестом, шофер тоже, остановка, новые слезы, новые прощания. Ах ты господи! Майкл тоже уезжает, и Шейла. Слезы, слезы, ирландские, армянские, польские слезы...

За восемь часов автобус и поезд доставляют в Дублин; но те, кого подбирают по дороге, кто толпится в тамбурах с коробками, обшарпанными чемоданами и полотняными узлами, — девочки, которые еще намазывают на руки четки, мальчики, у которых в карманах еще бренчат камушки, весь этот груз — лишь ничтожная часть, какие-то несколько сотен из более чем сорока тысяч, ежегодно покидающих страну. Рабочие и врачи, медицинские сестры, служанки и учительницы — ирландские слезы, которые где-нибудь в Лондоне, Манхэттене, Кливленде, Ливерпуле или Сиднее смешаются с польскими либо итальянскими слезами.

Из восьмидесяти детей, слушающих воскресную мессу в церкви, через сорок лет здесь будут жить только сорок пять, но у этих сорока пяти будет столько детей, что снова восемьдесят детей будут по воскресеньям преклонять колена в церкви.

Итак, из девяти детей миссис Д. по меньшей мере пять или шесть должны будут эмигрировать. А покамест маленького Пия нянчит старший брат, мать же тем

временем бросает в большой котел омаров для своих постояльцев, подрумянивает лук на сковородке и кладет остудить дымящиеся хлебы на выложенный изразцами стол, а море тем временем шумит, и Шиван с глазами как у Вивьен Ли смотрит в бинокль на голубые острова — острова, где в ясную погоду еще можно разглядеть маленькие деревушки, дома, амбары, церковь с рухнувшей колокольной. Но жить там никто не живет, никто. Птицы вьют гнезда в комнатах, тюлени нежатся иногда на маленькой пристани, шумные чайки пронзительно кричат на заброшенных улицах, будто проклятые души. Птичий рай, говорят те, кому случается иногда перевозить на ту сторону какого-нибудь английского профессора-орнитолога.

— Вот теперь ее видно,— говорит Шиван.

— Кого ее? — спрашивает мать.

— Церковь: она совсем белая, ее всю облепили чайки.

— Подержи-ка Пия,— говорит брат,— мне надо идти доить корову.

Шиван кладет бинокль, берет малыша и, напевая песенку, ходит с ним из угла в угол — укачивает. Но, может быть, это она поедет в Америку и сделается там официанткой либо кинозвездой, а Пий останется здесь, будет продавать марки, сидеть на коммутаторе и через двадцать лет посмотрит в бинокль на покинутый остров, чтобы убедиться, что теперь завалилась вся церковь?

Будущее, проводы и слезы для семьи Д. еще не начались, никто из них еще не укладывал фибровый чемодан и не испытывал терпение шофера, чтобы хоть немного оттянуть разлуку, никто еще и не думает об этом, поскольку настоящее здесь весомее будущего, но перевес, из-за которого планы подменяются фантазиями, этот перевес еще будет оплачен слезами.

НЕБОЛЬШОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К МИФОЛОГИИ ЗАПАДНЫХ СТРАН

Пока лодка медленно входила в маленькую гавань, мы успели опознать старика, сидящего на каменной скамье возле каких-то развалин. Точно так же он мог сидеть здесь триста лет назад, и трубка, которую он

курил, не нарушала иллюзии: трубку, зажигалку и кепку от Вулворта можно было без труда перенести в семнадцатый век, они перешли бы туда вместе со стариком, с ним перешла бы даже кинокамера, которую Джордж заботливо держал на носу лодки. Вероятно, сотни лет назад уличные певцы и странствующие монахи точно так же приставали здесь к берегу, как сейчас приставали мы. Старик приподнял кепку — волосы у него были седые, густые и пушистые, — привязал нашу лодку, мы спрыгнули на берег и, улыбаясь, обменялись приветствиями: «Lovely day — nice day — wonderful day»¹ — изысканная простота приветствий, употребляемых в странах, где погода находится под вечной угрозой со стороны бога дождя; и едва мы ступили на землю маленького острова, нам почудилось, будто время сомкнулось у нас над головой, как водоворот. Словами не выразить, до чего зелена зелень этих деревьев и лугов; они отбрасывают зеленые тени на Шаннон, их зеленый цвет, кажется, достигает неба, где облака, словно болотные мшистые кочки, столпились вокруг солнца. Именно здесь могло бы разыгаться действие сказки о золотом дожде звезд. Зелень высится огромным сводом, солнце падает на деревья и луга пятнами золотых монет и лежит на них, большое и яркое, как монета; порой такое пятно попадает на спину дикого кролика и соскальзывает с него в траву.

Старику восемьдесят восемь лет, он ровесник Сунь Ятсена и Бузони, он родился тогда, когда Румыния еще не была тем, чем она уже давно перестала быть, — не была королевством; ему было четыре года, когда умер Диккенс, и он на один год старше, чем динамит. Сказанного достаточно для того, чтобы уловить старика в редкую сеть времени. Развалины, перед которыми он сидел, были остатками амбара, построенного в начале нашего века, зато в пятидесяти шагах от него были развалины шестого века: святой Кьяран Клонмакнуазский четырнадцать столетий назад построил здесь часовню. Тот, кто не обладает наметанным глазом археолога, едва ли отличит стены двадцатого века от стен шестого; и те и другие одинаково зелены и одинаково покрыты солнечными пятнами.

Именно здесь Джорджу приспичило испробовать новую цветную пленку, и старика, который был на целый

¹ Приятный денек, славный денек, чудесный денек (англ.).

год старше динамита, Джордж избрал статистом — старика предстояло запечатлеть на фоне заходящего солнца, на берегу Шаннона и с дымящей трубкой в зубах, чтобы через несколько дней его можно было увидеть на экранах американских телевизоров, и у всех американских ирландцев глаза увлажнятся от тоски по родине, и они заведут свои песни; подернутый зеленой дымкой, розовый от лучей заходящего солнца — вот как будет выглядеть старик, размноженный миллионами экранов, и синий, очень синий дымок будет подниматься из его трубки.

Но сначала нужно выпить чаю, много чаю, и много рассказать, и выплатить пошлину новостями, ибо, несмотря на радио и газеты, новость приобретает особый вес, если ты сам слышал ее из уст того, кому пожимал руку, с кем пил чай. Мы пили чай перед камином в гостиной заброшенного богатого дома; неизменные темно-зеленые отсветы деревьев, казалось, навечно окрасили в зеленый цвет стены комнаты, тронули благородной зеленью мебель времен Диккенса; отставной английский полковник, который доставил нас сюда в своей лодке, — длинноволосый, рыжий, с рыжей остроконечной бородкой, он напоминал одновременно и Робинзона Крузо, и Мефистофеля — завладел разговором, а я, к сожалению, не очень хорошо понимал его английский, хотя он из любезности и старался говорить «slowly», очень «slowly»¹. Сначала я понял только три слова: «Rommel», «war» и «fair»², а я знал, что fairness³ Роммеля во время войны — одна из любимых тем полковника; к тому же меня постоянно отвлекали дети, внуки и правнуки старика, которые либо заглядывали в комнату, либо подавали нам чай, хлеб и печенье (пятилетняя девочка принесла половинку собственного печенья и в знак своего гостеприимства положила ее на стол), и у всех, у детей, внуков, правнуков, были такие же острые, треугольные и хитрые лица почти сердцевидной формы, как те маски, что смотрят на прилежную землю с башен французских соборов.

Джордж сидел с приготовленной камерой и ждал захода солнца, но солнце в этот день почему-то мешкало, мне показалось даже, будто оно как-то по-особенному

¹ Медленно (англ.).

² Роммель, война, честь (англ.).

³ Благородство, рыцарство (англ.).

не торопится, и полковник перешел от своей любимой темы к другой и заговорил о каком-то Генри, который, судя по всему, был героем, когда воевал в России. Порой старик вопросительно и удивленно смотрел на меня своими круглыми, светло-голубыми глазами, и я утвердительно кивал: почему бы мне не признать героем какого-то Генри, которого я все равно не знаю, раз Робинзон-Мефистофель того хочет?

Наконец солнце, как и требовалось по замыслу, начало садиться, оно придвинулось ближе к горизонту и соответственно ближе к любителям телевидения в США, и мы медленно пошли на берег Шаннона. Теперь солнце двигалось быстро, и старик торопливо набил свою трубку, вот только выкурил он ее слишком поспешно, и когда солнце нижним краем коснулось горизонта, из нее больше не шел дым. Теперь кисет у старика был пуст, а солнце закатывалось очень быстро. Как мертвая, если она не дымит, трубка во рту крестьянина, стоящего на фоне заката: фигура национального фольклора — серебристые волосы, тронутые зеленым отсветом, розовые блики на лбу. Джордж наскоро размял пару сигарет, забил их в головку трубки, из нее заструился голубоватый дымок, и как раз в это мгновение солнце до половины ушло за горизонт — священная облатка, на глазах теряющая свой блеск. Дымила трубка, жужжала камера, и серебрились волосы старика — новая разновидность цветной открытки, приветы с любимой родины, слезы в глазах американских ирландцев.

— Мы пустим это под какую-нибудь славную мелодию на волынке, — сказал Джордж.

Национальный колорит в одном схож с наивностью: если ты сознаешь, что она у тебя есть, считай, что ее у тебя уже нет; и когда солнце окончательно зашло, старик слегка взгрустнул; сизый сумрак вобрал в себя зеленую пелену. Мы подошли к нему, размяли еще несколько сигарет и набили его трубку; вдруг стало прохладно, сырость сочилась отовсюду, и остров — это крошечное королевство, уже триста лет населяемое семьей старика, — остров показался мне вдруг большой зеленой губкой, которая была наполовину погружена в воду, наполовину возвышалась над ней и вбирала в себя влагу.

Огонь в камине погас, черными комьями лежал прогоревший торф на красных угольях, и когда мы медленно

шли к пристани, старик шел рядом и странно смотрел на меня; его взгляд тяготил меня, потому что в нем таилось — да-да, таилось — благоговение, а я не считаю, что способен внушать такие чувства. Сердечно, робко и с неподдельным волнением пожал он мне руку перед тем, как я сел в лодку.

— Роммель,— сказал он тихо и внятно, и в его голосе была весомость мифа.— Генри,— добавил он.

И вдруг все, чего я не понимал раньше, все, что было сказано про Генри, отчетливо выступило передо мной, как водяные знаки, которые видны лишь при определенном освещении. Я понял, что Генри — это просто-напросто я сам. Джордж прыгнул в лодку и наскоро отснял в сумерках часовню святого Кьярана. Он хмыкнул, когда увидел мое лицо.

Я набрался духу — нужно очень набраться духу, чтобы внести поправки в миф, но мне казалось несправедливостью по отношению к Роммелю, к Генри, к истории, наконец, оставить все как есть,— но лодку уже отвязали, но Робинзон-Мефистофель уже запустил мотор, и я выкрикнул в сторону острова:

— Роммель — это не война, и Генри — не герой! Совсем не герой, нет и нет.

Но старик, судя по всему, уловил только три слова: «Роммель», «Генри» и «герой»,— и тогда я громко выкрикнул одно-единственное слово:

— Нет, нет, нет, нет!

На этом маленьком островке в устье Шаннона, куда иностранцы попадают крайне редко, наверное, и спустя пятьдесят, и спустя сто лет будут перед багровым пламенем камина говорить о Роммеле, о войне и о Генри. Так проникает в медвежьи углы нашей планеты то, что мы называем историей. Не Сталинград, не миллионы убитых и погибших, не искалеченные лица европейских городов — нет, здесь война всегда будет называться Роммель, рыцарство и в придачу Генри — тот, что во плоти явился сюда из голубого сумрака и кричал с удаляющейся лодки: «Нет, нет, нет!..» — слово загадочное и потому вполне пригодное для мифа.

Джордж, улыбаясь, стоял подле меня. Он тоже накрутил на пленку целый миф: часовню святого Кьярана в сумерках и старика — седого, задумчивого; мы до сих

пор видели его белоснежные густые волосы, они мерцали у причальной стенки маленькой пристани — капля серебра в чернилах сумерек. Маленький островок-королевство погружался в Шаннон со всеми своими заблуждениями и истинами, и Робинзон-Мефистофель, сидя на руле, умиротворенно улыбнулся сам себе.

— Роммель,— сказал он тихо, и это звучало как заклинание.

НИ ОДНОГО ЛЕБЕДЯ

Рыжеволосая женщина тихо разговаривала в купе с молодым священником, который то и дело поднимал взгляд от своего требника, опускал, бормотал молитвы, снова поднимал взгляд, потом наконец захлопнул требник и целиком отдался разговору.

— Сан-Франциско? — спросил он.

— Да,— сказала рыжеволосая женщина,— муж отправил нас сюда, я теперь еду к его родителям. Я их еще не видела. Мне выходить в Баллимоте.

— У вас еще есть время,— тихо сказал священник,— еще много времени.

— Правда? — тихо спросила молодая женщина.

Она была очень большая, толстая и бледная, а детское выражение лица делало ее похожей на большую куклу. Ее трехлетняя дочь схватила требник и стала удивительно похоже передразнивать бормотанье священника. Молодая женщина уже подняла руку, чтобы наказать дочь, но священник удержал ее.

— Оставьте,— тихо сказал он.

Шел дождь. Вода сбегала по стеклам, крестьяне разъезжали в лодках по затопленным лугам, чтобы выудить из воды свое сено; на изгородях висело белье, отданное во власть дождя, мокрые собаки лаяли на поезд, овцы разбегались, а маленькая девочка молилась по требнику, вплетая иногда в свое бормотанье имена, знакомые ей по вечерней молитве: Иисус, дева Мария; не забывала и о бедных душах.

Поезд остановился. До нитки промокший станционный рабочий передал в багажный вагон корзины с шампиньонами, выгрузил оттуда сигареты, кипу вечерних газет и помог какой-то нервничающей женщине раскрыть зонтик...

Начальник станции проводил медленно тронувшийся поезд печальным взглядом, — наверное, он иногда спрашивает себя, уж не кладбищенский ли он сторож: четыре поезда за весь день — два туда, два обратно, а иногда еще товарный поезд, который так печально стучит колесами, словно едет на похороны другого товарного. В Ирландии шлагбаумы защищают не автомобили от поездов, а поезда от автомобилей: они поднимаются и опускаются не поперек шоссе, а поперек линии, и поэтому симпатично раскрашенные вокзалы немного смахивают на маленькие дома отдыха или на санатории, а начальники вокзалов больше похожи на фельдшеров, нежели на своих бравых коллег в других странах, тех, что вечно стоят в дыму паровозов, в грохоте вагонов и приветствуют на бегу стремительные товарные поезда. Вокруг маленьких ирландских станций растут цветы, хорошенькие, ухоженные клумбы, заботливо подстриженные деревья, и начальник станции улыбается вслед отходящему поезду, словно хочет сказать: «Нет, нет, это не сон, это явь, и сейчас действительно 16 часов 49 минут, как показывают мои станционные часы». Ибо пассажир всегда уверен, что поезд опаздывает, но поезд идет точно по расписанию, хотя сама эта точность похожа на надувательство: 16.49 — слишком точная цифра в расписании, чтобы она могла на таком вот вокзальчике соответствовать действительности. Не часы ошибаются, а время, которое придает значение даже минутной стрелке.

Овцы разбегались, коровы удивленно смотрели на поезд, мокрые собаки лаяли, а крестьяне разъезжали в лодках по своим лугам и вылавливали сено неводом.

Нежный напев ритмично лился с губ маленькой девочки, складываясь в слова: «Иисус», «дева Мария», и через равные промежутки времени следовало упоминание о бедных душах. Рыжая женщина тревожилась все больше.

— Да ведь не скоро еще, — тихо говорил священник, — до Баллимота еще две остановки.

— В Калифорнии так тепло, — сказала женщина, — так тепло и так много солнца. А Ирландия мне совсем чужая. Уже пятнадцать лет, как я уехала отсюда. Я теперь все считаю на доллары и никак не могу привыкнуть к фунтам, шиллингам и пенсам, и знаете, отец мой, Ирландия стала печальнее.

— Это из-за дождя, — вздохнул священник.

— Я никогда не ездила по этой дороге,— сказала женщина.— Ездила по другим, когда жила здесь, от Атлона до Голуэя, часто ездила, но мне кажется, что сейчас и там живет меньше людей, чем раньше. Так тихо, что сердце замирает. Страшно мне.

Священник вздохнул и промолчал.

— Мне страшно,— тихо сказала женщина.— От Баллимота еще двадцать миль на автобусе, а дальше пешком через болото, а я боюсь воды. Дожди и озера, реки и ручьи, и снова озера. Мне кажется, отец мой, что Ирландия вся в дырках. Никогда не высохнет белье на этих изгородях, и вечно будет плавать в воде это сено. А вам не страшно, отец мой?

— Это просто дождь,— сказал священник,— успокойтесь! Мне это знакомо. Порой мне бывает страшно. Два года у меня был маленький приход недалеко отсюда, между Кросмолиной и Ньюпортом, и там неделями шел дождь и дул сильный ветер, а вокруг не было ничего, кроме высоких гор, темно-зеленых и черных. Вы слышали про Нефин-Бег?

— Нет.

— Это было там, поблизости. Дождь, вода, болото. И когда меня кто-нибудь подвозил в Ньюпорт или в Фоксфорд, всю дорогу вода — либо по берегу озера, либо по берегу моря.

Девочка захлопнула требник, вскочила на скамейку, обвила руками шею матери и тихо спросила:

— Мама, правда, мы утонем?

— Нет, нет,— сказала мать, но, кажется, без особой уверенности.

Дождь хлестал по стеклу, поезд с трудом одолевал темноту. Девочка без охоты жевала бутерброд, женщина курила, священник снова взялся за свой требник, но теперь, сам того не замечая, он подражал девочке: из его бормотанья вдруг вырывались отчетливые слова: «Иисус Христос», «святой дух», «Мария». Потом он снова закрыл книгу.

— А в Калифорнии действительно так красиво? — спросил он.

— Чудесно,— сказала женщина и зябко поежилась.

— В Ирландии тоже красиво.

— Чудесно,— сказала женщина,— я знаю. Мне не пора?

— Да, на следующей.

Когда поезд прибыл в Слайго, все еще шел дождь. Под зонтиками звучали поцелуи, под зонтиками лились слезы. Шофер такси спал, уронив голову на скрещенные на руле руки. Я разбудил его; он принадлежал к той приятной разновидности людей, которые просыпаются с улыбкой.

— Куда? — спросил он.

— В Драмклиф-Черчард.

— Там же никто не живет.

— Ну и пусть не живет, — сказал я, — а мне хочется именно туда.

— И обратно?

— Да.

— Ладно.

Мы ехали по лужам, по пустынным улицам; в сумерках я увидел в открытом окне пианино, ноты выглядели так, словно их покрыл толстый слой пыли; парикмахер томился от скуки в дверях своего заведения и щелкал ножницами, словно хотел перерезать нити дождя; у входа в кино какая-то девушка подмазывала губы; дети с молитвенниками под мышкой бежали под дождем, какая-то старушка кричала через улицу какому-то старичку:

— *Haua je, Paddy?* ¹

И пожилой мужчина кричал в ответ:

— *I'm allright — with the help of God and His most blessed Mother!* ²

— А вы совершенно уверены, что вы хотите именно в Драмклиф-Черчард? — тихо спросил меня шофер.

— Совершенно.

На склонах холмов лежали линялые папоротники — словно мокрые рыжие волосы седеющей женщины, две мрачные скалы охраняли вход в маленькую бухту.

— Бен-Балбен и Нокнери, — сказал мне шофер, будто представлял двух дальних, совершенно ему безразличных родственников. — Там, — добавил он и показал вперед, где из мглы поднимался церковный шпиль. Вокруг шпиля носились вороны,

¹ Как поживаете, Падди? (англ.)

² Прекрасно — с помощью Господа Бога и Пресвятой Богоматери! (англ.)

тучи ворон, напоминавшие издали хлопья черного снега.

— Сдается мне,— сказал шофер,— вы разыскиваете поле битвы.

— Нет,— сказал я,— я не знаю ни о какой битве.

— В пятьсот шестьдесят первом году,— начал он кротким тоном гида,— здесь произошла единственная в своем роде битва — битва за авторское право.

Я посмотрел на него, недоверчиво качая головой.

— Это чистая правда,— сказал он,— приверженцы святого Колумбана списали псалтырь, принадлежавший перу святого Финиана, и произошла битва между приверженцами святого Колумбана и святого Финиана. Было три тысячи убитых, но король положил конец спору, он сказал: «Как каждой корове положен теленок, так и каждой книге положена копия». Значит, вы не хотите взглянуть на поле битвы?

— Нет,— сказал я,— я ищу одну могилу.

— Ах, Йейтса,— сказал шофер,— ну тогда вы еще захотите и в Иннишфри.

— Не знаю пока,— сказал я.— Подождите, пожалуйста.

Вороны взлетали со старых надгробий и каркали вокруг колокольни. Мокро было на могиле Йейтса, холоден был камень, и речение, которое Йейтс просил написать на своем надгробии, было холодным, как те ледяные иглы, что вонзились в меня из могилы Свифта: «Всадник, кинь холодный взгляд на жизнь и на смерть — и скачи дальше». Я поднял глаза: может быть, вороны — это и есть заколдованные лебеди? Вороны насмешливо каркали, носясь вокруг колокольни. Распластанные, придавленные дождем, лежали на холмах листья папоротника, ржавые и жухлые. Мне стало холодно.

— Поехали,— сказал я шоферу.

— Значит, все-таки Иннишфри?

— Нет,— сказал я,— обратнo на вокзал.

Скалы во мгле, одинокая церковь, окруженная черным вороньем, четыре тысячи километров воды по ту сторону могилы Йейтса. И ни одного лебедя.

Когда у нас в Германии что-нибудь случается — человек опоздал на поезд, сломал ногу, разорился, наконец, мы говорим: «Хуже просто быть не могло». Всякий раз то, что случилось сейчас, и есть самое страшное. У ирландцев же почти все наоборот: если здесь человек сломал ногу, опоздал на поезд, разорился, наконец, они говорят: «It could be worse» — «Могло быть и хуже»: вместо ноги можно было сломать шею, вместо поезда — проворонить царствие небесное, а вместо состояния потерять душевный покой (сама по себе потеря состояния не дает для этого ни малейшего повода). То, что произошло, никогда не бывает самым страшным — самое страшное никогда не происходит: у человека умирает горячо любимая и высокочтимая бабушка, но ведь вдобавок мог умереть столь же горячо любимый и не менее высокочтимый дедушка; сгорел двор, но кур удалось спасти, а ведь могли сгореть и куры, но если даже и куры сгорели, все равно самое страшное все-таки не произошло — сам-то человек не умер. А если даже и умер, значит, избавился от забот, ибо каждому раскаявшемуся грешнику уготовано небо — конечная цель утомительного земного паломничества после сломанных ног, пропущенных поездов и несмертельных разорений всякого рода. На мой взгляд, нам, если что-то произошло, сразу отказывают юмор и фантазия; в Ирландии они тут-то и разыгрываются. Тому, кто сломал ногу, лежит, изнывая от боли, либо ковыляет в гипсе, слова «могло быть и хуже» даруют не только утешение, но и занятие, которое предполагает в нем поэтический дар, порой с примесью легкого сатирисма: надо только почувствовать страдания человека, сломавшего шею, представить себе, как выглядит вывихнутое плечо или разmozженный череп, и вот уже человек, сломавший ногу, ковыляет дальше, благодаря судьбу за то, что она ниспослала ему столь незначительное несчастье.

Тем самым судьбе предоставлен неограниченный кредит, и проценты по нему выплачиваются безропотно и охотно: если дети лежат в коклюше, задыхаются от кашля, жалобно плачут и требуют самоотверженного ухода,— значит, надо радоваться, что ты сам держишься на ногах, можешь ходить за детьми, можешь работать для них. Фантазия здесь поистине не знает

границ. «It could be worse» — «Могло быть хуже» — здесь это наиболее употребительная поговорка, вероятно, и потому, что плохо бывает куда как часто, и худшее дарует, так сказать, утешительное сопоставление.

У поговорки «могло быть хуже» есть родная сестра, употребляемая столь же часто: «I shouldn't worry» — «Я бы не стал беспокоиться», причем, заметьте, это говорит народ, который ни днем ни ночью ни на единую минуту не остается без поводов для беспокойства: сто лет назад, когда был страшный голод и неурожай несколько лет подряд — это великое национальное бедствие, которое не только непосредственно опустошило страну, но и породило нервный шок, до сих пор передаваемый по наследству из рода в род, так вот, сто лет назад в Ирландии было почти семь миллионов жителей; в Польше, наверно, было тогда столько же, но зато сейчас в Польше более двадцати миллионов, а в Ирландии едва наберется четыре, хотя, видит Бог, Польшу тоже не щадили ее великие соседи. Подобное уменьшение числа жителей от семи миллионов до четырех в стране, где рождаемость превышает смертность, означает непрерывный поток эмигрантов.

Родители, которые видят, как подрастают их шестеро (а то и восьмеро или десятеро) детей, имеют, казалось бы, достаточно причин, чтобы беспокоиться денно и нощно. Они беспокоятся, надо полагать, но даже они с покорной улыбкой говорят: «Я бы не стал беспокоиться». Они еще не знают и никогда не узнают точно, кому из их детей суждено населить трущобы Ливерпуля, Лондона, Нью-Йорка или Сиднея, а кому повезет. Во всяком случае, когда-то пробьет час расставанья для двоих из шести, для троих из восьми. Шейла или Шон потащатся со своими чемоданами к автобусной остановке, автобус доставит их к поезду, поезд — к пароходу; потоки слез на автобусных остановках, на вокзалах, на Дублинской или Коркской пристани в дождливые, безрадостные, осенние дни: путь по болоту, мимо заброшенных домов, и никто из тех, кто весь в слезах остался на остановке, не знает точно, увидит ли он еще когда-нибудь Шейлу или Шона; далек путь из Сиднея в Дублин, далеко от Нью-Йорка до дома, а многие никогда больше не возвратятся даже из Лондона, они обзаведутся семьей, народят детей, будут посылать домой деньги — а впрочем, кто знает.

В то время как почти все европейские страны страдают нехватки рабочей силы, а некоторые уже ее испытывают, здесь двое из шести или трое из восьми братьев и сестер знают наверняка, что им придется эмигрировать — вот как глубоко проник нервный шок, вызванный великим голодом. Из рода в род лютует его зловещий призрак; порой невольно кажется, будто эмиграция — это своего рода привычка, своего рода обязанность, которую просто следует исполнять, — нет, экономические обстоятельства делают ее поистине необходимой. Когда в 1923 году Ирландия стала независимым государством, ей понадобилось не только наверстывать почти столетнее отставание в промышленном развитии, ей вдобавок пришлось поднажать и во всем остальном, что вытекает из развития: в ней почти нет городов, едва развита промышленность, нет рынка для сбыта рыбы. Нет, как хотите, а Шону или Шейле придется уехать.

ПРОЩАНИЕ

Прощанье вышло очень тяжелым именно потому, что все указывало на его необходимость: старые деньги кончились, новые были обещаны, но еще не поступили, стало холодно, и в пансионе (самом дешевом из всех, что мы смогли отыскать по вечерней газете) полы были такие покатые, что нам казалось, будто мы погружаемся вниз головой в бездонную пучину; по этой наклонной плоскости мы проскользнули через ничейную землю между воспоминанием и сном, миновали Дублин, и вокруг кровати, которая стояла посреди комнаты, заливаемой прибоем суеты и неоновом свете с Дорсет-стрит, разверзлись грозящие темные бездны; мы тесней прижимались друг к другу, а сонные вздохи детей с кроватей вдоль стены звучали как крики о помощи с другого, недоступного для нас берега.

Все экспонаты Национального музея, куда мы всякий раз возвращались после очередного отказа на почте, здесь, на ничейной земле между сном и воспоминанием, казались свертотчетливыми и застывшими, как восковые фигуры паноптикума; словно дорогой ужасов через сказочный лес мы стремглав падали туда вниз головой: тuffелька святой Бригитты нежно и серебристо мерцала во

тьме, большие черные кресты утешали и грозили, борцы за свободу в трогательно зеленых мундирах, обмотках и красных беретах показывали нам свои раны, свои солдатские книжки и детскими голосами читали нам строки прощальных писем: «Моя дорогая Мэри, свобода Ирландии...», котел из тринадцатого века проплыл мимо нас, каноэ из доисторических времен, сияли улыбкой золотые украшения, кельтские застёжки — золотые, медные и серебряные, как бесчисленные запятые, висели они на невидимой веревке для белья; мы въезжали в ворота Тринити-колледжа, но безлюден был его большой серый двор, лишь бледная девушка сидела и плакала на ступеньках библиотеки, держа в руках ядовито-зеленую шляпу — то ли ждала возлюбленного, то ли тосковала по нему. Суета и неоновый свет с Дорсет-стрит, вскипая, проносились мимо нас, как время, которое на мгновение становилось историей; то ли мимо нас провозили памятники, то ли нас провозили мимо них — суровые бронзовые мужи с мечами, перьями, свитками чертежей, поводьями или циркулем в руках, женщины с маленькой грудью дергали струны лиры и сладостно-печальными глазами глядели на много столетий назад, шпалерами стояли бесконечные вереницы одетых в синее девушек с клюшками в руках, они были безмолвны и строги, и мы боялись, что они взметнут свои клюшки, как палицы; обнявшись, мы скользили дальше. Все, что осмотрели мы, теперь осматривало нас, львы рыкали на нас, кувыркающиеся гиббоны перебегали нам дорогу, мы карабкались вверх и съезжали вниз по длинной шее жирафа, и ящерка с мертвыми глазами укоряла нас в своем уродстве, темные воды Лиффи, зеленые и грязные, бурлили мимо нас, кричали жирные чайки, глыба масла «двухсотлетней давности, найденная в болоте в Мейо», проплывала мимо нас, как глыба золота, которую отверг Дурень Ганс; полицейский, улыбаясь, показывал нам свою Книгу регистрации осадков, срок дней подряд он писал в ней одни нули — целая колонна яиц,— и бледная девушка с зеленой шляпой в руках все еще плакала на ступеньках библиотеки.

Почернели воды Лиффи; как обломки кораблекрушений, они уносили в море историю: грамоты, с которых грузилом свисали вниз печати, договоры с витиеватыми подписями, документы, отягощенные сургучом, деревянные мечи, пушки из папье-маше, арфы и стулья, кровати и шкафы, чернильницы и мумии, пелены

которых размотались и реяли в воде, словно темные пальмовые опахала, кондуктор раскручивал со своей катушки длинный билетный локон, а на ступеньках Ирландского банка сидела старушка и считала бумажки по одному доллару каждая, и дважды, и трижды, четырежды подходил к окошечку служащий главного почтамта и с огорченным видом говорил из-за решетки «Soggy».

Бесчисленные свечи горели перед статуей рыжеволосой грешницы Магдалины, акулий позвоночник, напоминающий волынку, покачиваясь, проплывал мимо, хрящи ломались, и позвонки, словно кольца для салфеток, по одному исчезали в ночи, семь сотен О'Мели строем прошли мимо нас: русые, белокурые, рыжие, они пели хвалебную песнь в честь своего клана.

Мы шептали друг другу слова утешения, мы крепко прижимались друг к другу, мы ехали через аллеи и парки, через ущелья Коннемары, через горы Керри, через болота Мейо, раскинувшиеся на двадцать — тридцать миль, мы все время боялись встретить допотопного ящера, но встречали только кино — в центре Коннемары, в центре Керри, в центре Мейо: здания были из бетона, окна были густо замазаны зеленой краской, а внутри, как хищный зверь в клетке, рычал проекционный аппарат, бросая на экран лица Монро, Треси и Лоллобриджиды. Все еще боясь ящера, ехали мы по тенистым зеленым дорогам, между нескончаемых стен, вдали от наших вздыхающих во сне детей, и вниз головой снова упали в предместья Дублина — мимо пальм и олеандров, сквозь заросли рододендронов. Все больше становились дома, все выше деревья, все шире пропасть между нами и нашими вздыхающими во сне детьми. Палисадники все разрастались и наконец разрослись так, что за ними уже не видно было домов, и мы еще быстрее вторглись в нежную зелень необъятных лугов...

Прощанье вышло очень тяжелым, хотя поутру в лязге дневного света хриплый голос хозяйки вымел, как ненужный хлам, добычу наших снов, и хотя тра-

та-та проезжающего мимо автобуса напугало нас, ибо до того напоминало пулеметную очередь, что мы приняли его за сигнал к революции, но Дублин думать не думал о революции, а думал он о завтраке, о скачках, о молитве и о покрытой изображениями целлулоидной ленте. Хриплый голос хозяйки позвал нас к завтраку, по чашкам был разлит прекрасный чай: хозяйка в халате сидела за столом вместе с нами, курила и рассказывала о голосах, терзающих ее по ночам: о голосе утонувшего брата, который зовет ее каждую ночь, о голосе покойной матери, которая напоминает дочери про обет, данный ею в день первого причастия, о голосе покойного супруга, который остерегает ее от виски; трио голосов слышит она в темной задней комнате, где сидит целый день наедине с бутылкой, тоской и халатом.

— Психиатр,— вдруг тихо сказала она,— утверждает, будто голоса идут из бутылки, но я заявила ему, чтоб он не смел так говорить про мои голоса,— в конце концов, он с них живет... Вот вы,— спросила она вдруг изменившимся голосом,— вы не хотели бы купить мой дом? Я его дешево отдам.

— Нет,— сказал я.

— Жаль.— Она покачала головой и ушла в свою темную комнату с бутылкой, тоской и халатом.

Убитые еще одним «сорри» служащего, мы вернулись в Национальный музей, оттуда пошли в картинную галерею, еще раз спустились в мрачное подземелье к мумиям, про которые один местный посетитель сказал: «Копченые селедки»; последние пенни мы истратили на свечи, быстро сгоревшие перед пестрыми образами, потом пошли вверх к Стивенс-грин, покормили уток, посидели на солнышке, послушали, есть ли у *Заката* шансы на выигрыш: оказалось, есть. В полдень много дублинцев вышло из церкви и растеклось по Графтон-стрит. Наши надежды услышать «yes»¹ из уст служащего на почте пошли прахом. Его «сорри» становилось раз от раза все печальнее и печальнее, и мне показалось, что он уже почти готов самовольно запустить руку в кассу и предоставить нам заем от лица министра почт, во всяком случае, пальцы его инстинктивно по-

¹ Да (англ.).

тянулись к сейфу, потом он со вздохом положил их на мраморную стойку.

На наше счастье, девушка с зеленой шляпой пригласила нас к чаю, угостила детей конфетами и поставила новые свечи перед тем святым, перед которым надо, — перед святым Антонием, и когда мы еще раз пришли на почту, улыбка служащего засияла навстречу нам через весь зал. Он радостно послюнил пальцы и начал торжествующе отсчитывать деньги на мраморной стойке: раз, два, много — он давал их нам самыми мелкими купюрами, потому что отсчет доставлял ему огромное удовольствие, и звякали на мраморе серебряные монеты; девушка с зеленой шляпой улыбалась: вот что значит поставить свечу перед тем, перед кем надо.

Прощание вышло очень тяжелым. Длинные ряды одетых в синее девочек с клюшками потеряли всякую грозность, не рыкали больше львы, и только ящерка с мертвыми глазами все так же выставляла напоказ свое первобытное уродство.

Гремели музыкальные автоматы, кондукторы разматывали длинные бумажные ленты со своих катушек, гудели корабли, легкий ветерок долетал с моря, много-много бочек пива исчезало в темных трюмах пароходов, и даже памятники улыбались: перья и поводья, арфы и мечи утратили мрачность сна, и лишь старые вечерние газеты плыли к морю по водам Лиффи.

А в свежем номере вечерней газеты были напечатаны три читательских письма с требованием снести Нельсона, тридцать семь объявлений о продаже домов, одно о покупке, а где-то в Керри благодаря активности местного фестивального комитета был проведен настоящий фестиваль: бег в мешках, гонки на ослах, соревнования по гребле и конкурс на самого медленного велосипедиста. Победительница в беге улыбалась перед газетным репортером и показывала нам свое хорошенькое личико и скверные зубы.

Последний час мы провели на покато́м полу нашей комнаты в пансионе, мы играли в карты, как на крыше, потому что стульев и стола в комнате не было. Сидя между чемоданами, раскрыв все окна и поставив чашки с чаем тут же на пол, мы прогоняли вальтера червей и туза пик сквозь длинный строй их родичей по

масти, веселый шум с Дорсет-стрит заливал нас, и покуда хозяйка сидела в задней комнате наедине с бутылкой, тоской и халатом, горничная, улыбаясь, наблюдала за нашей игрой.

— Смотрите, какой опять выдался красавец,— сказал шофер такси, который вез нас к вокзалу.— Просто загляденье.

— Кто красавец? — спросил я.

— Да денек нынче,— сказал он.— Правда, парень хоть куда?

Я согласился с ним и, расплачиваясь, поднял глаза на черный фасад высокого дома: молодая женщина только что выставила на подоконник оранжевый молочник. Она улыбнулась мне, и я улыбнулся в ответ.

1954—1957

В ДОЛИНЕ ГРОХОЧУЩИХ КОПЫТ

Повесть

Перевод Л. Черной

IM TAL DER DONNERNDEN HUFE

I

Мальчик даже не заметил, что подошла его очередь. Он пристально смотрел на плитки пола в проходе между боковым нефом и средним; плитки были, как соты, красные и белые, красные — в белую крапинку, белые — в красную; и уже невозможно было отличить белые от красных, в глазах рябило; темные полосы цементных швов стерлись; и пол, казалось, плыл, похожий на садовую дорожку из красных и белых камешков; красный цвет переходил в белый, белый в красный, а поверх всего, будто грязная сетка, лежали расползшиеся швы.

— Твоя очередь, — прошептала молодая женщина рядом с ним.

Он покачал головой и не очень решительно показал пальцем на исповедальню, и вот уже женщина прошла мимо него, на секунду запах лаванды усилился, стало слышно бормотание молитвы, под ее туфлями скрипнула деревянная ступенька, на которой она потом преклонила колени.

Смертный грех, подумал мальчик, смерть, грех; и сила, с которой он вдруг пожелал эту женщину, ужаснула его; он даже не видел ее лица, мимолетный запах лаванды, юный голос, легкий и в то же время четкий стук высоких каблуков, когда она прошла те четыре шага до исповедальни; этот стук, четкий и вместе с тем легкий, был всего лишь обрывком нескончаемой мелодии, которая дни и ночи звучала у него в ушах. По вечерам он лежал без сна, распахнув окно и прислушиваясь к женским шагам на мостовой, на тротуаре, к стуку их каблуков, четких, легких, бездумных; он слышал голоса, шепот и смех под каштанами. Их было

слишком много, и они были чересчур прекрасны; иногда в трамвае, перед кассой кинотеатра или у прилавка в магазине они открывали свои сумочки, оставляли открытые сумочки в машинах, и, заглянув в них, он видел помаду, носовой платок, деньги, скомканные трамвайные билеты, пачку сигарет, пудреницу. У него все еще рябило в глазах от убегающей и набегающей бело-красной, мощенной острыми камешками дороги, тернистой и бесконечной была эта дорога.

— Ваша ведь очередь,— сказал чей-то голос рядом с ним.

Он поднял глаза — не так уж часто к нему обращались на «вы» — и увидел маленькую девочку, краснощекую и черноволосую. Улыбнулся девочке и опять ткнул пальцем направо. У девчачьих полуботинок на низком каблуке не было ритма. Справа от него снова зашептались. В каких грехах он каялся в ее возрасте? Я брал сладости без спроса. Я лгал. Не слушался. Не делал уроков. Брал сладости без спроса, сахар из сахарницы, лакомился остатками от пиршеств взрослых: доедал пирожные с тарелок, допивал вино из рюмок. Докуривал сигары. Брал сладости без спроса.

— Твоя очередь.

Он уже почти машинально показал пальцем направо. Мужские башмаки. Шепот и этот навязчиво-неуловимый запах: не-пахнет-ничем.

И снова его взгляд приковали красные и белые плитки пола. Незащищенные глаза болели так сильно, как болели бы незащищенные ноги, если бы он босой шел по щебенке. Ступни моих глаз, думал он, блуждают вокруг их губ, словно вокруг алых озер. Ладони моих глаз блуждают по их коже.

Грех, смерть и ненавязчивая определенность этого ничем-не-пахнущего запаха. Хоть бы от одного из них пахло луком или гуляшом, простым мылом или бензином, трубочным табаком, липовым цветом или уличной пылью, едким запахом пота, каким летом несет от людей, тяжело поработавших. Но нет, все они неназойливо пахли ничем, ровно ничем.

Он оторвал взгляд от пола и устремил его туда, где стояли на коленях люди, уже получившие отпущение грехов и читавшие молитву. Там, где были эти люди, пахло субботой, умиротворенностью, горячей ванной, мылом, свежими маковыми булочками, новыми теннисными мячами, какие покупали в субботу его сест-

ры на карманные деньги; пахло прозрачным, хорошо очищенным маслом, каким отец по субботам протирал свой пистолет, черный и блестящий, вот уже десять лет как пистолет лежал без употребления, ничем не омраченная память о войне, достойный, хоть и бесполезный предмет, служивший только одной цели — будить воспоминания; когда отец разбирал его и чистил, пистолет отбрасывал на его лицо особый отблеск — отблеск былой власти над смертью, которую можно было выпустить одним легким нажатием пальца из темного, серебристо поблескивающего пистолетного магазина. Раз в неделю, по субботам, перед тем как отец шел в пивную, наступал высокаторжественный час, когда разбирались, ошупывались и смазывались блестящие пистолетные сочленения и внутренности, когда они, распростершись, лежали на голубой тряпиче, подобно внутренностям выпотрошенного животного: туловище, длинный металлический язык курка, части поменьше, суставы; ему разрешалось присутствовать при этом, и он стоял не дыша, зачарованный тем сиянием, которое излучало лицо отца; здесь вершился культ оружия, культ голой мужской силы: ведь из магазина выталкивалось семя смерти. И отец проверял, исправно ли действуют пружины магазина. Они все еще действовали исправно, и только предохранительная скоба удерживала семя смерти в стволе; его можно было освободить одним легким, почти незаметным движением большого пальца, но отец ни разу не сделал этого движения; он снова бережно собирал разобранные части, а потом прятал пистолет под чековыми книжками и копиями приходных ордеров.

— Твоя очередь.

Он снова качнул головой. Шепот. Ответный шепот. И опять тот же запах без запаха.

Здесь, в этом нефе, пахло вечными муками, грехом, липкой непристойностью, — словом, тем, чем пахли все семь дней недели, самым худшим из которых было воскресенье: скука, и на террасе гудит кофейная мельница. Скука в церкви, в летнем ресторанчике, на лодочной станции, в кино и в кафе, скука в виноградниках на горе, где проверяли, как созревает сорт под названием «Цишбруннский монастырский сад» и время от времени тонкие пальцы со знанием дела бесстыдно ошупывали виноградины; скука, из которой не видно другого ис-

хода, кроме греха. А грех, вот он, повсюду: в зеленой, красной, коричневой коже дамских сумочек.

Напротив, в среднем нефе, он заметил женщину, которую пропустил вперед, она была в пальто цвета ржавчины. Разглядел ее профиль: маленький нос, загорелая кожа, темный рот, увидел обручальное кольцо, высокие каблочки — некий хрупкий сосуд, в котором была заключена убийственная мелодия; он уже слышал, казалось, как каблочки удаляются по длинной-предлинной дороге, выстукивая по твердому асфальту, затем по неровной мостовой легкое и вместе с тем жесткое стаккато греха. Смерть, думал он, смертный грех.

Теперь она и впрямь собралась уходить: защелкнула сумочку, встала, опустилась на колени, перекрестилась, и ритм ее шагов передался от ног туфлям, от туфель каблочкам, от каблочков плиткам пола.

Узкий неф показался мальчику потоком, через который ему никогда не перебраться; навеки останется он на этом грешном берегу. Всего только четыре шага отделяли его от голоса, который вправе отпускать грехи и налагать покаяние, и всего только шесть — от среднего нефа, где царили суббота, умиротворение, радость спасения, но он сделал лишь два шага до прохода, пошел сперва медленно, потом бросился со всех ног, словно выбегал из горящего дома.

Стоило ему распахнуть обитую кожей дверь, как солнце и зной хлынули на него с такой силой, что на несколько секунд он ослеп, ударился левой рукой о дверной косяк и уронил молитвенник. Рука сильно заболела, он нагнулся, поднял молитвенник, а тем временем дверь с силой захлопнулась; мальчик, задержавшись в тамбуре, разгладил смятую страницу и, прежде чем закрыть молитвенник, прочел: «полное раскаяние», потом сунул молитвенник в карман брюк, потер ушибленную руку и приоткрыл дверь снова, осторожно толкнув ее коленом; той женщины уже и след простыл, площадь перед церковью была безлюдна, темно-зеленые листья каштанов покрыты пылью; у фонаря стояла белая тележка мороженщика, на крюке фонарного столба висела серая холщовая сумка, набитая вечерними газетами. Мороженщик сидел на тумбе и просматривал вечернюю газету, а разносчик газет примостился на оглобле тележки и лизал мороженое. Прогромыхал трамвай, он был почти пустой, только

на задней площадке стоял какой-то мальчишка и размахивал зелеными купальными трусами.

Пауль медленно открыл дверь и спустился по ступенькам; уже через несколько шагов он вспотел — было слишком жарко и слишком солнечно, — и он затосковал по полумраку церкви.

В иные дни он ненавидел все на свете, кроме себя самого, но сегодня был обычный день — и он ненавидел только себя, а все остальное любил: открытые окна домов, окружавших площадь, белые занавески, позвякивание кофейных чашек, мужской смех, голубой сигарный дым, который пускал кто-то невидимый — плотные голубые колечки выплывали из окна над сберегательной кассой; крем на куске торта, который держала девчонка в окне рядом с аптекой, — он был белее первого снега, и такими же ослепительно белыми казались следы крема вокруг ее рта.

Часы над сберегательной кассой показывали половину шестого.

Поравнявшись с тележкой мороженщика, Пауль заколебался, он колебался на секунду дольше, чем следовало, и мороженщик уже поднялся с тумбы и сложил газету; Пауль прочел на первой полосе в первой строке слово «Хрущев», а во второй «открытая могила» — и пошел дальше; мороженщик, укоризненно качая головой, снова развернул газету и присел на тумбу.

Пауль прошел сберегательную кассу в угловом доме, пересек улицу, свернул за следующий угол, и тут с берега донесся голос диктора, который объявлял о следующем заезде на соревнованиях по академической гребле: мужские четверки — «Убия», «Ренус», «Цишбрунн-67». Паулю почудилось, что он ощутил запах реки и услышал ее шум, хотя он находился от нее метрах в четырехстах; потянуло машинным маслом и водорослями, горьким дымом буксиров, раздался плеск воды — такой, какой бывает, когда колесные пароходы идут вниз по течению и вой сирен протяжен, будто уже наступил вечер, в прибрежных кафе загораются разноцветные фонарики и садовые стулья кажутся особенно алыми, словно язычки пламени в кустах.

Пауль услышал выстрел стартового пистолета, крики и рев толпы, толпа отчетливо скандировала в ритме взмаха весел: «Цишш-брунн — Рее-нус — Уу-би-а», но

потом все сбилось и с реки донеслось: «Ре-брунн, Циш-нус, Би-а-циш-у-нус».

В четверть восьмого, подумал Пауль, до четверти восьмого город будет так же безлюден, как сейчас. Машины стояли даже здесь, наверху, покинутые машины, раскаленные, пахнувшие маслом и солнцем, они стояли под деревьями вдоль всех тротуаров, в воротах.

Он еще раз завернул за угол, и перед ним открылись река и горы: машины стояли даже на горных склонах и на их школьном дворе; они доползли до самых виноградников. На тихих улицах, по которым он проходил, машины припарковали по обе стороны мостовой, и это еще усугубляло впечатление их заброшенности, сверкающая красота причиняла ему боль, впрочем, казалось, что их владельцы нарочно стараются умерить их блистательную элегантность, украшая машины безобразными талисманами — обезьянками, ежами, уродливыми зебрами с оскаленными зубами, гномами, прячущими свои зловещие ухмылки в рыжие бороды.

Рев толпы слышался здесь яснее, выкрики звонче, потом опять донесся голос диктора, который объявил о победе цишбруннской четверки... Рукоплесканья, туш, наконец пение: «О Цишбрунн — милый городок, вокруг тебя холмы и речка вьется прихотливо, и девушки твои прилежны и красивы, и вина лучшие готовят впрок...» Трубы выдували эту скучную мелодию толчками, будто мыльные пузыри.

Но вот он вошел в ворота, и сразу стало тихо. В этом дворе за домом Грифдунов шум с реки слышался не в полную силу, и голос диктора, процеженный сквозь деревья, поглощенный старыми сараями, приглушенный забором, звучал скорее робко:

— Женские двойки.

Выстрел стартового пистолета походил на треск детского пугача, а скандирующие голоса — на хор за стеной.

Сейчас, стало быть, сестры опустили в воду короткие весла, их обветренные лица посуровели, на верхней губе выступили капельки пота, желтые повязки на лбу потемнели; мать подкрутила бинокль и оттолкнула локтем руку отца, которая также потянулась к биноклю.

— Циш-циш-брунн-брунн,— этот рев перекрыл все остальное, только время от времени сквозь него жалобно прорывались обрывки других слов: «У-нус, Ре-би-а»,

а потом все слилось в один вопль, который здесь, во дворе, звучал, как полузадушенный хрип репродуктора.

Цишбруннская двойка победила; лица сестер ослабились; сестры сорвали со лбов темные от пота повязки; помахав рукой родителям, они уверенно подгребали к шлюпке у финиша.

— Циш, Циш,— кричали болельщики.— Ура! Циш!

На теннисные мячи, думал Пауль, пролить красную кровь на белые ворсистые мячи.

— Гриф,— позвал он тихо,— ты на верхотуре?

— Да,— ответил усталый голос,— поднимайся!

Деревянная лестница была вся пропитана летним зноем, пахло дегтем и канатами, которыми здесь вот уже лет двадцать не торговали. Дед Грифа еще владел всеми этими складами, строениями, заборами. Но уже при отце Грифа семейное состояние уменьшилось раз в десять. «Ну, а у меня,— всегда повторял Гриф,— у меня останется одна голубятня, где папа держал когда-то голубей. В голубятне удобно валяться, я заберусь туда и буду созерцать большой палец моей правой ноги. Но и голубятню мне оставят только потому, что на нее никто не позарится».

Стены наверху в мансарде пестрели старыми фотографиями. Фотографии были коричневые или скорее рыжие; белые места помутнели и пожелтели: пикники девяностых годов, гребные гонки двадцатых, лейтенанты сороковых; молодые девицы, изображенные здесь, умерли лет тридцать назад, предварительно став бабушками; они меланхолично взирали на своих спутников жизни, висевших на противоположной стене,— виноторговцев, торговцев канатами, хозяев верфей, чью бидермайеровскую меланхолию также запечатлели на пластинках первые любители дагерротипии; студент 1910 года, серьезный юноша, смотрел на своего сына, курсанта военного училища, который замерз на Припяти. На чердаке сваливали всякую рухлядь, и тут же стояла современная книжная полка со стеклянными банками; в пустых лежали свернутые красно-коричневые колечки — резинки, содержимое полных банок кое-где просвечивало сквозь густой слой пыли; то это было темное сливовое повидло, то вишневый компот, и краснота вишен казалась бледной, немощной, словно губы болезненной девушки.

Гриф лежал на кровати голый по пояс: его белая впалая грудь пугающе резко контрастировала с румя-

ными щеками; мальчик походил на цветок мака, чей стебель уже начал вянуть. Окно было занавешено простыней из сурового полотна; на свету четко вырисовывались все ее пятна, словно на рентгеновском снимке, и солнечные лучи, проникая сквозь этот фильтр в комнату, погружали ее в желтый сумрак. На полу валялись школьные учебники, на тумбочке распластались брюки, а на умывальнике — рубашка Грифа; зеленая вельветовая куртка болталась на гвозде, вбитом между распятием и почтовыми открытками с видами Италии: ослики, скалистый берег, кардиналы. Рядом с кроватью на полу стояла банка со сливовым повидлом, в которой торчала алюминиевая ложка.

— Они уже опять гребут. На лодках. На каноэ. Гребной спорт... Мне бы их проблемы. Танцульки, теннис, праздник сбора урожая, выпускной вечер. Хор. Какие колонны прилепят к новой ратуше: позолоченные, посеребренные или медные? Господи, Пауль,— сказал он, понизив голос,— неужели ты в самом деле ходил туда?

— Да.

— Ну и что?

— Ничего, ушел ни с чем. Не смог. Бесполезно. А ты?

— Я уже давно туда не хожу. К чему? Я думал вот о чем — какой рост считается для нашего возраста нормальным? Я — говорят они — слишком высокий для своих четырнадцати, а ты — слишком маленький. Знаешь ты кого-нибудь нормального роста?

— У Плокамма рост нормальный.

— Допустим. А ты хотел бы быть таким, как он?

— Нет.

— Вот видишь,— сказал Гриф,— есть...— он запнулся и смолк; теперь он следил за взглядом Пауля, беспокойно блуждавшем по комнате.— Что случилось? Что ты ищешь?

— Ищу,— сказал Пауль,— где он?

— Пистолет?

— Да. Давай его.

Я сделаю это над коробкой с новыми теннисными мячами, думал Пауль. Вслух он резко бросил:

— Давай, тащи его.

— Послушай,— сказал Гриф, покачал головой, нерешительно вынул ложку из сливового повидла, опять сунул ее в банку, сцепил пальцы.— Лучше поку-

рим. У нас еще есть время. До четверти восьмого. Гребной спорт, лодки, каное... А может, это затянется еще дольше. Праздник на открытом воздухе. Разноцветные фонарики. Чествование победителей. Твои сестры первыми пришли на двойке. Циш-циш-циш,— сказал он вполголоса.

— Покажи мне пистолет.

— Зачем? — Гриф сел на кровати, взял банку с повидлом и швырнул ее об стенку: осколки стекла полетели на пол, ложка ударилась о край книжной полки и, перевернувшись в воздухе, упала перед кроватью. Повидло заляпало книгу «Алгебра. Часть I»; остаток его, густая синяя масса потекла по стене, окрашенной желтой клеевой краской, и приобрела зеленоватый оттенок. Мальчики, не шевелясь, молча смотрели на стену; только после того как звук удара окончательно замер и последние остатки повидла сползли на пол, они с удивлением переглянулись: разбитая банка не произвела на них впечатления.

— Нет,— сказал Пауль,— это не то, что нужно. Пистолет лучше; может быть, годится и огонь. Пожар. Или вода, но лучше всего пистолет. Расстреливать...

— Кого же? — спросил мальчик на постели, нагнулся, поднял с полу ложку, облизал ее и бережным жестом аккуратно положил на тумбочку.— Кого же?

— Да хоть себя самого,— сказал Пауль хрипло.— Или теннисные мячи.

— Теннисные мячи?

— Не все ли равно. Давай его сюда. Чего ждать?

— Ладно,— сказал Гриф; он скинул с себя простыню, вскочил, отбросил ногой осколки стекла, наклонился и снял с полки в углу узкую коричневую коробку. Коробка была ненамного больше пачки сигарет.

— Что? — спросил Пауль.— Это он и есть? Там, внутри?

— Да,— сказал Гриф,— это он и есть.

— И из него ты выстрелил в консервную банку на расстоянии тридцати метров восемь раз? И семь раз попал?

— Да, семь раз,— повторил Гриф неуверенно.— Хочешь на него взглянуть?

— Нет, нет,— сказал Пауль. Он сердито смотрел на коробку; от нее пахло опилками, в которые укладывают пистоны для пугачей.— Нет, нет, не хочу. Покажи лучше патроны.

Гриф нагнулся. На его длинной, бледной спине проступали и вновь исчезали позвонки. В этот раз он быстро открыл ящичек величиной со спичечный коробок. Пауль вынул медный патрон; он держал его двумя пальцами, как бы измеряя на глаз длину патрона, поворачивал во все стороны и, качая головой, разглядывал его синюю головку.

— Нет,— сказал он,— это все равно что ничего... Вот у моего отца... Лучше уж я возьму отцовский пистолет...

— Так он же заперт,— сказал Гриф.

— Как-нибудь достану. Только это надо сделать до половины восьмого. В половине восьмого он всегда его чистит, а потом идет в свою пивную; он разбирает его... Пистолет у него большой, черный, гладкий и тяжелый, а патроны толстые, вот такие,— он показал какие.

Пауль замолчал и вздохнул. Над теннисными мячами, подумал он.

— Ты на самом деле хочешь застрелиться? По-настоящему?

— Может быть,— сказал Пауль. Ступни моих глаз изранены, думал он, ладони моих глаз изболелись.— Ты же знаешь.

Лицо Грифа потемнело и застыло; он сглотнул и пошел к двери, прошел всего несколько шагов и остановился.

— Ведь ты мой друг,— сказал он,— а может, нет?

— Конечно.

— Тогда возьми банку и тоже брось ее об стену. Ладно?

— Зачем?

— Мать сказала,— начал Гриф,— мать сказала, что желает взглянуть на мою комнату, когда вернется с праздника; хочет проверить, исправился ли я. Порядок и тому подобное. Она разозлилась на меня из-за отметок. Пусть взглянет на мою комнату... Ну, бери же банку. Возьмешь?

Пауль кивнул и вышел за дверь. Гриф крикнул ему вдогонку:

— Возьми мирабель, если она еще осталась. Желтое пятно будет красивей, гораздо симпатичней, чем этот красновато-синий потек.

В полутьме Пауль долго шарил среди банок, пока не обнаружил желтую мирабель. Они ничего не поймут, думал он. Ни один человек ничего не поймет, но

я все равно должен это сделать. Он вернулся в комнату, размахнулся и швырнул банку в стену.

— Это не то, что надо,— тихо сказал он, наблюдая вместе с Грифом, как потекло повидло.— Не этого мне хочется.

— А чего тебе хочется?

— Мне хочется что-нибудь сломать, разбить,— сказал Пауль,— но не банку, не дерево, не дом, и я не хочу, чтобы твоя мать сердилась, и моя тоже. Я люблю свою маму и твою... Все это чушь!

Гриф снова бросился на кровать, закрыл лицо руками и пробормотал:

— Куффанг закадрил ту девчонку.

— Пролинг?

— Да.

— У нее я тоже был,— сказал Пауль.

— Ты?

— Да. Но это несерьезно. Хихикает в чужих парадных... И она глупая. Глупая. Не знает, что это грех.

— Куффанг говорит, что это здорово.

— Нет, говорю тебе, нет. Ничего не здорово. Куффанг тоже болван. Ты ведь знаешь, какой он болван.

— Знаю. Ну и чего же ты хочешь?

— С девчонками — ничего. Они только и делают, что хихикают. Я уже пробовал. Это несерьезно. Хиханьки да хаханьки.— Он подошел к стене и размазал пальцем большое желтое пятно.— Нет,— сказал он, не оборачиваясь.— Я пойду и достану отцовский пистолет.

Над теннисными мячами, думал он. Они белые, как овечки после купанья. Кровь и агнцы.

— Это должна быть женщина,— сказал он тихо,— а не девчонка.

Гомон с реки звучал в комнате приглушенно, как бы процеженный. «Мужская восьмерка, Цишбрунн». На этот раз победил «Ренус». Повидло медленно подсыхало на деревянном полу, затвердевало, как коровья лепешка. С громким жужжаньем летали мухи, пахло сладким, мухи ползали по школьным учебникам, по одежде, алчно перелетали с пятна на пятно, с лужицы на лужицу, их губила алчность, они никак не могли усидеть на одном месте. Мальчики словно окаменели. Гриф лежал, вперив взгляд в потолок, с сигаретой в зубах. Пауль сидел на краешке кровати, согнувшись, словно старик. Тяжесть, причины которой он не сумел

бы назвать, давила на него, стискивала со всех сторон, подминала под себя, темная и непереносимая. Он вдруг вскочил, выбежал из комнаты на чердак, схватил еще одну банку с повидлом и, вернувшись в комнату, поднял над головой... Он не кинул банку, он так и остался стоять, вытянув руку кверху, а потом рука медленно опустилась, и мальчик поставил банку на сложенный бумажный пакет, который лежал на книжной полке. «Брюки Фюрст» — было написано на пакете. «Брюки — только у Фюрста».

— Нет,— сказал он,— лучше я пойду возьму его.

Гриф выпустил дым изо рта, стараясь попасть в муху на стене. Потом прицелился и бросил окуроч в лужицу на полу; мухи взлетели, но уже спустя секунду нерешительно окружили дымящийся окуроч, который медленно погружался в разлитое повидло, а потом с шипением погас.

— Завтра вечером,— сказал он,— я уже буду в Любеке у дяди. Рыбалка, парусные лодки, купанье в Балтийском море. А ты, ты будешь завтра в Долине Грохочущих Копыт.

Пауль сидел не шелохнувшись, завтра, думал он, завтра я хочу быть мертвым. Кровь на теннисных мячах, темно-красная кровь. Словно на шерсти агнца; агнец напитается моей кровью. Агнец!.. Я уже не увижу скромный лавровый веноч, завоеванный сестрами: «Женщинам-победительницам на двойке», черные буквы на золотом фоне; веноч будет висеть на стене между каникулярными фотографиями из Цаллигкофена, засушенными букетами и открытками с кошечками; рядом со вставленным в рамку свидетельством об окончании средней школы, которое красуется над кроватью Розы, неподалеку от диплома за плаванье над кроватью Франциски; между цветными репродукциями святых-заступниц, в честь которых называли сестер: Розы из Лимы и Франциски Романской, рядом с еще одним лавровым венком: «Женщинам-победительницам в парной гребле», прямо под распятым. От темно-красной крови ворс теннисных мячей склеится, станет жестким, кровь брата, который предпочел смерть греху.

— Когда-нибудь и я хочу ее увидеть. Долину Грохочущих Копыт,— сказал Гриф.— Сяду там наверху, где ты всегда сидишь, и услышу, как лошади галопом мчатся через перевал и спускаются к озеру, услышу, как грохочут копыта в узком ущелье и как кон-

ское ржанье перелетает через горные вершины, подобно... подобно летучей жидкости.

Пауль презрительно смотрел на Грифа, который присел на кровати и с воодушевлением описывал то, чего никогда в жизни не видел: лошадей, целые табуны лошадей, и как они преодолевают перевал, а потом, цоккая копытами, несутся вскачь в долину. Но ведь там паслась только *одна* молодая лошадка, и только *один* раз она, разорвав путы, удрала с выгона и поскакала вниз к озеру, но стук ее копыт напоминал не громopodobный грохот, а всего лишь легкое постукиванье. И как давно уже это было, года три назад, а может, и все четыре.

— Ну, а ты,— сказал он тихо,— ты будешь, значит, ездить на рыбалку, ходить под парусом, купаться в море и в высоких резиновых сапогах подыматься вверх по течению ручьев, ловить рыбу руками.

— Да,— сказал Гриф устало,— мой дядя ловит рыб руками, даже лососей, да...— Он опять опустил на кровать и вздохнул.

Его дядя в Любеке не поймал ни одной рыбы не то что руками, но и удочкой и сетью тоже. И он, Гриф, вообще сомневался, водятся ли в Балтийском море и в окрестных речушках лососи. У его дяди был небольшой консервный завод, в старых сараях на заднем дворе рыбу потрошили, засаливали и консервировали в масле или в томате; древняя машина загоняла рыб в банки; она опускалась на маленькие банки с усталым кряхтеньем и закупоривала рыб в светлую жесть. На дворе валялись комья влажной соли, рыбы кости, чешуя и внутренности; пронзительно кричали чайки, и рыба кровь забрызгивала белые руки работниц, а потом стекала по ним светло-красная, водянистая.

— Лососи,— сказал Гриф,— гладкие, серебристо-розовые, они сильные, и такие красивые, даже жалко есть; когда держишь лосося в руке, то чувствуешь, до чего он сильный.

Пауля передернуло: однажды на Рождество они ели дома консервы из лосося — прошитое осколками костей месиво цвета замазки плавало в розовой жидкости.

— И когда они выпрыгивают из воды, их можно поймать прямо на лету,— сказал Гриф; он поднялся на кровати, встал на колени и развел в стороны руки с растопыренными пальцами, а потом вдруг сдвинул их и за-

мер, словно вот-вот схватит кого-то за горло; руки мальчика были неподвижны, лицо окаменело, казалось, он молится какому-то суровому божеству; мягкий желтый свет падал на его застывшие руки, придавал румяному лицу темно-коричневый оттенок.

— Вот так,— тихо сказал наконец Гриф и сделал движение, будто ухватил на лету несуществующую рыбу, а потом вдруг опустил руки, они бессильно упали, словно неживые.— Да,— сказал он и, спрыгнув на пол, взял с полки картонную коробочку с пистолетом, открыл ее и так быстро протянул Паулю, что тот не успел отвернуться.— Посмотри-ка на него,— сказал он,— посмотри.

Пистолет был хлипкий, совсем плоский, ни дать ни взять игрушечный, только сделан из более прочного материала, из никеля, и лишь это придавало ему некоторую элегантность и серьезность.

А потом Гриф бросил открытую коробку с пистолетом на колени Паулю, пошел на чердак, снял с книжной полки запечатанную банку, вернулся, отвинтил крышку, вытащил из желоба чуть подгнившее резиновое колечко, вынул из коробки пистолет и медленно опустил его в повидло; оба мальчика наблюдали за тем, как повидло, слегка поднявшись, доползло до горлышка банки. Потом Гриф снова вложил в желобок резиновое колечко, завинтил крышку и поставил банку на старое место.

— Пошли,— сказал он, и его лицо опять стало жестким и темным,— пошли, достанем пистолет твоего отца.

— Тебе идти нельзя,— сказал Пауль,— придется влезть в окно, они не оставили мне ключ, я пройду с заднего двора, вдвоем нас скорее заметят; они не оставили мне ключ, думали, я приду смотреть греблю.

— Гребля,— сказал Гриф,— водный спорт, вот чем у них голова забита.— Он замолчал, и мальчики прислушались: на берегу кричали мороженщики, играл духовой оркестр, потом загудел пароход.

— Перерыв,— сказал Гриф.— Времени у нас вагон. Хорошо, иди один, но поклянись, что вернешься и принесешь сюда пистолет. Точно?

— Да.

— Дай руку.

Они пожали друг другу руки, ладони у них были теплые и сухие, но каждый из них пожалел, что рукопожатие товарища было не такое крепкое, как ему хотелось бы.

— Сколько времени у тебя уйдет?

— Двадцать минут,— сказал Пауль,— я так часто

проделывал это мысленно, но только мысленно... Надо открыть отверткой... У меня уйдет двадцать минут.

— Хорошо,— сказал Гриф, быстро перевернулся на другой бок и взял с тумбочки часы.— Сейчас без десяти шесть, в четверть седьмого ты уже вернешься.

— В четверть седьмого,— повторил Пауль. Он замешкался в дверях, рассматривая большие пятна на стене — желтое и красно-синее. На них сидел рой мух, но мальчишки и пальцем не пошевелили, чтобы согнать их. С берега реки донесся смех; в перерыве публику веселили клоуны-эксцентрики на воде. Из множества глоток вырвался одновременно возглас «Ах!», похожий на глубокий, мягкий вздох; мальчишки испуганно взглянули на простыню, словно ожидая, что она надуется, но желтоватая простыня по-прежнему свисала, как тряпка; пятна стали темнее, солнце передвинулось дальше на запад.

— Вассерский,— сказал Гриф,— клеет девиц на косметической фабрике.

С реки опять донесся возглас «О!», похожий на стон, но простыня и на этот раз не шелохнулась.

— Единственная из девчонок,— сказал Гриф вполголоса,— единственная, кто похож на женщину, это Мирцова.

Пауль не сдвинулся с места.

— Моя мать,— сказал Гриф,— нашла ту писульку, в которой говорились все эти гадости про Мирцову... И она была нарисована...

— Господи,— сказал Пауль,— и у тебя тоже оказался такой листок?

— Да,— сказал Гриф,— да. Я отдал за него все свои карманные деньги... я... и сам не знаю зачем. Я даже не стал заглядывать в него, не стал читать, сунул в школьный дневник. И тут моя мать нашла его. Знаешь, что там было написано?

— Нет,— сказал Пауль,— нет, знаю только, что все это вранье. И знать ничего не хочу. Все, что болтает Куффанг,— вранье. Я...

— Иди,— прервал его Гриф резко,— иди скорее, бери пистолет и бегом сюда. Ты обещал. Иди, иди...

— Хорошо,— сказал Пауль,— пойду.— Он постоял еще секунду, прислушиваясь: с реки доносились смех и звуки духового оркестра.

Как странно, что я ни разу не вспомнил о Мирцовой...

— Хорошо,— еще раз повторил он и пошел.

Похоже на печати, думала она, на миниатюры или на яркие медали; каждая картинка словно выгравирована, круглая, четкая; целая серия картинок; она видела их в бинокль на расстоянии тысячи двухсот метров, в двенадцатикратном увеличении видела церковь, сберкасса, аптеку и тележку мороженщика посреди серой площади. Это была первая картинка, совершенно законченная, но нереальная. А вот и вторая картинка, вторая миниатюра: клочок берега и полукругом до горизонта зеленая вода, а на ней лодки, пестрые флажки. Серию эту в любое время можно было продолжить до бесконечности. Холмы, покрытые лесом, и две статуи на самом верху... Как они называются?.. Ренания и Германия. Каменные девы на бронзовых постаментах, в руках факелы, суровые лица; они стоят друг против друга. Виноградники, светло-зеленые лозы; к горлу у нее подступило что-то солоноватое — ненависть, непримиримая и живительная; она ненавидела вино, ведь они без конца говорили о вине — все, что они делали, все, о чем пели, все, во что верили, было нерасторжимыми узами связано с вином: оплывшие физиономии, рты, из которых вырывалось кислое дыханье, хриплый хохот, отрыжка, женский визг и пошлость обрюзгших мужчин, уверенных, что они походят на этого... как его?.. на Бахуса... От картинки с виноградом она долго не могла оторвать взгляда. Непременно вклею ее в альбом «Мои воспоминания». Круглая зеленая картинка — виноградные лозы с подпорками. Может быть, думала она, я и могла бы поверить в тебя, Боженька, в того, в которого они верят, если бы кровь твоя не превращалась ради них в вино, если бы ты не растрачивал ее попусту, на потребу этим никчемным кретинам... Мои воспоминания будут неизгладимыми и столь же кислыми, как виноград в ту пору года, когда виноградины не больше горошинки.

Каждая маленькая картинка была четкой и сама просилась в альбом; миниатюры небесно-голубого цвета, зеленые, как трава, зеленые, как вода, красные, как флажки; и все это было перемешано с шумом, который шел понизу, как в звуковом кино — текст и музыка: скандирующая толпа, крики «ура!», победный рев, звуки духового оркестра и смех. А среди всего этого маленькие белые лодки, крохотные, будто перышки птенцов, и такие же легкие и верткие; белоснежные перышки про-

ворно сновали по зеленой воде, и когда они доходили до края бинокля, шум на реке становился немного громче. Вот, значит, как это останется в моих воспоминаниях: только маленький альбом со множеством миниатюр. И больше ничего... Стоит чуть-чуть повернуть колесико бинокля, и все цвета сливаются: красный с зеленым, синий с серым; еще крутнешь и видишь только мутное пятно. И шум уже тоже иной: кажется, что это призывы потерпевших бедствие альпинистов или сигналы спасательной команды.

Девочка снова повернула колесико и начала медленно водить биноклем по небу, вырезая круглые синие кружки; такие же кружки, какие вырезала мать жестяной формочкой из ровного, хорошо раскатанного желтого теста, когда пекла коржики. И девочка тоже вырезала сейчас свои кружки из ровного синего неба — круглые небесные коржики, — синие кружки, великое множество кружков... Но ведь и там, куда я поеду, будет синее небо. Зачем же наклеивать эти миниатюры в альбом? Не к чему? Бинокль медленно скользнул дальше. Осторожно, сказала она себе, теперь я лечу, и почувствовала легкое головокружение. Оторвалась от синей тверди и полетела со скоростью более километра в секунду к деревьям вдоль дороги, а потом перескочила через них, перескочила через серый шифер соседней крыши и заглянула в комнату чужого дома: пудреница, Божья Матерь с младенцем, зеркало, на натертом паркете один-одинешенек черный мужской ботинок; теперь она порхнула в гостиную: самовар, еще Божья Матерь с младенцем, большая семейная фотография, латунная полоска у порога, оранжево-коричневое, теплое мерцание красного дерева. Она остановилась, ее все еще укачивало, головокружение проходило очень медленно; и тут она увидела в прихожей открытую картонную коробку с белоснежными теннисными мячами. До чего отвратительны эти мячи, подумала она, похожи на женские груди алебастровых статуй, от которых меня воротит. А вот и терраса — под тентом накрытый скатертью стол, на нем грязная посуда, пустая винная бутылка, на горлышке которой еще остался белый станиолевый ободок.

Какое счастье, что я еду к тебе, папа, думала она, и какое счастье, что ты пьешь не вино, а водку.

С крыши гаража в нескольких местах по капелькам стекал вар; ах, как она испугалась, когда прямо перед ней возникло лицо Пауля, — оно было от нее на расстоя-

нии двадцати четырех метров, страшно далеко, но в бинокле всего в двух метрах. Бледное лицо, можно подумать, что он решился на отчаянный шаг; солнце било ему в глаза, он жмурился; руки, сжатые в кулаки, он опустил, словно держал что-то, но он ничего в них не держал, судорожно сжатые кулаки ничего не сжимали; он свернул за угол гаража, и весь мокрый, тяжело дыша, вскочил на террасу; на столе зазвенела посуда; Пауль дернул несколько раз ручку двери, затем сделал два шага влево, влез на подоконник и прыгнул в комнату. Он наткнулся на буфет, и самовар серебристо зазвенел, внутри буфета затренькали стаканы, один за другим, по цепочке, они все еще позвякивали, а мальчик уже бежал дальше, перепрыгнул через латунную полосу на пороге и вдруг остановился как вкопанный перед теннисными мячами; нагнулся, но до мячей не дотронулся; долго стоял он у открытой коробки, потом вытянул руки вперед, будто хотел благословить или погладить кого-то, неожиданно вытащил из кармана какую-то книжицу, бросил ее на пол, опять поднял, поцеловал, подошел к вешалке и положил книгу на маленькую полку под зеркалом. А потом девочка уже ничего не видела, кроме его ног, — он бегом поднимался по лестнице. И в центре этой миниатюры все время стояла коробка с теннисными мячами.

Вздохнув, она опустила бинокль и долго разглядывала ковер, он был ржаво-красного цвета с черным рисунком — множество квадратов, сцепленных между собой; целые лабиринты квадратов, и чем ближе к центру, тем меньше становилось красного, тем гуще казался черный цвет, безукоризненно черный и потому неприятный для глаз.

Его комната была дальше, выходила окнами на улицу, она помнила это, ведь когда-то ему еще позволяли играть с ней — год или два года назад; она играла с ним до той поры, пока он не начал со странным упорством глядеть на ее грудь; это мешало их играм, и однажды она спросила: «Чего ты уставился? Хочешь посмотреть?» И он, как во сне, кивнул. Тогда она расстегнула блузку. Нельзя было этого делать, но она поняла это слишком поздно, и поняла даже не по его глазам, а по глазам его матери, которая, оказывается, все это время была в комнате; тут она подлетела к ним и заорала, зрачки у нее стали твердые как камень... Ах, этот крик, его надо тоже увековечить на одной из пластинок

памяти; так, наверное, кричали женщины, когда сжигали на костре ведьм; об этом часто рассказывает тот чудак, который приходит к матери и с которым мать вечно спорит; он похож на монаха, потерявшего веру в Бога... да и мать похожа на монахиню, потерявшую веру в своего Бога; мать вернулась сюда, в этот Цишбрунн, после долгих лет горьких разочарований и с солоноватым привкусом ошибок на губах, закосневшая в своей потерянной вере во что-то, что называется коммунизмом, полная едких воспоминаний о человеке по фамилии Мирцов, который пил водку и никогда не верил в то, во что она теперь перестала верить; слова матери были такими же солоноватыми на вкус, как и ее губы.

Крик, черный рисунок ковра и разбросанные на полу игрушки — домики-макеты многоквартирных коттеджей, которые его отец, будучи уполномоченным строительной фирмы, предлагал лет двадцать назад своим клиентам, — таких коттеджей не строят вот уже двадцать лет, — и еще старые ящички от банковской пневматической почты и обрезки канатов — их притаскивал другой мальчик, с которым они играли, — да, его звали Гриф, — и наконец, пробки различной величины и формы; в тот день Грифа с ними не было. Все испортил этот дикий крик, который и сейчас висит над ней, подобно проклятью: с тех пор она считается девочкой, которая ведет себя так, как нельзя вести себя девочкам.

Вздыхая, она не отрывала взгляда от ржаво-красного ковра — сторожила коричневые полуботинки мальчика, которые рано или поздно должны были появиться на начищенном до блеска латунном пороге.

А потом усталым жестом перевела бинокль: терраса, стол под тентом, на столе темно-коричневая плетеная корзинка с целой горой апельсиновых корок, винная бутылка с этикеткой «Цишбруннский монастырский сад». Натюрморт за натюрмортом, а где-то понизу шел шум — соревнования по гребле. И еще — грязные блюдецки со следами мороженого; вечерняя газета: она сумела даже прочесть второе слово заголовка «Хрущев» и из второй строки текста — «...открытая могила...», разглядела в пепельнице окурки сигарет — с желтым фильтром и целиком белые, рекламный проспект фирмы холодильников — но ведь у них уже давно есть холодильник! — спичечный коробок; оранжево-коричневое красное дерево — таким цветом писали пламя на старинных полотнах, — на буфете сверкающий самовар,

надраенный до блеска серебристый самовар, которым не пользовались вот уже много лет, нечто вроде яркой игрушки или диковинного трофея. Сервировочный столик с солонкой и горчицей, большая семейная фотография: дети с родителями в загородном кафе, на заднем плане пруд с лебедями, официантка держит поднос, на котором стоят две кружки пива и три бутылки лимонада; на переднем плане — семья за столиком, справа в профиль — отец, он держит перед грудью вилку, на которую насажен кусок мяса с завитушками вермишели; слева — мать, в левой руке у нее салфетка, в правой ложка; в середине фотографии дети — их головы не доходят до подноса официантки; на уровне детских подбородков вазочки с мороженым; на щеках у девочек солнечные блики, пробившиеся сквозь листву; головы сестер в кудряшках, а вот и тот, кто только что замешкался у коробки с теннисными мячами, а потом побежал наверх — его коричневые полуботинки так и не переступили во второй раз через латунную полосу порога.

Опять мячи, справа от них вешалка: соломенные шляпы, зонтик, полотняный мешочек, из которого торчит щетка для ботинок; в зеркале видна большая картина, висящая слева на стене, на картине женщина собирает виноград, у женщины глаза как виноградины, рот как виноградина.

Усталым жестом она опустила бинокль, и ее взгляд сразу отбросило назад, глазам стало больно, и она закрыла их. И тут же за опущенными веками заплескали ржаво-красные и черные круги; тогда она снова открыла глаза и испугалась: как раз сейчас Пауль переступал через порог, в руке он сжимал какой-то предмет, блеснувший на солнце, на этот раз он не задержался у коробки с теннисными мячами; теперь, когда она увидела его лицо не через бинокль — оно выпало из ее коллекции миниатюр, — она вдруг ясно поняла, что он и впрямь решился на какой-то отчаянный шаг; снова зазвенел самовар, снова затренькали стаканы внутри буфета, один за другим, по цепочке, зашептались, как кумушки; теперь Пауль стоял на коленях в углу у окна, ей был виден только его правый локоть, который, словно поршень, равномерно ходил вверх-вниз, и когда он опускался вниз, то как бы ввинчивал что-то, а потом исчезал из поля зрения, — она мучительно рылась в памяти, размышляя, что бы значило это движение локтя, мысленно воспроизвела его и наконец поняла — мальчик орудовал

отверткой; рукав рубашки в красно-желтую клетку то приближался, то удалялся, а потом вдруг замер на месте, и Пауль слегка откинулся назад; она увидела его профиль, поднесла к глазам бинокль и вздрогнула — все оказалось так близко, — заглянула в открытый ящик: там лежали синие чековые книжки, аккуратно перевязанные белым шнурком, и копии приходных ордеров, скрепленные продетым сквозь дырочки синим шнурком; Пауль торопливо выбрасывал все эти пачки на ковер и наконец прижал к груди какой-то предмет, завернутый в синюю тряпку, потом положил его на пол и начал засовывать обратно в ящик чековые книжки и копии приходных ордеров; она опять видела только движение его локтя, и все это время сверток в синей тряпке лежал рядом с ним.

Но вот он развернул тряпку, и она вскрикнула: на его ладони маслянисто поблескивал гладкий черный пистолет, и ладонь была для него слишком мала; казалось, крик девочки вылетел из бинокля, как выстрел; Пауль мгновенно обернулся; она опустила бинокль, зажмурилась от боли глаза и громко позвала:

— Пауль! Пауль!

Держа пистолет у груди, он медленно вылезал через окно на террасу.

— Пауль! — крикнула она. — Иди сюда через сад.

Он сунул пистолет в карман, приставил ладонь к глазам и так же медленно спустился по ступенькам; волоча ноги, прошел по газону, по гравию у фонтанчика и вдруг вырос перед ней в тени увитой виноградом беседки; только теперь он опустил руку.

— Это ты, оказывается, — сказал он.

— Ты что, перестал узнавать мой голос?

— Перестал... Чего тебе?

— Я уезжаю, — сказала она.

— Я тоже уезжаю, — сказал он. — Ну и что из этого? Все наши уезжают, почти все. Завтра я еду в Цаллигкофен.

— Да нет, — возразила она, — я уезжаю насовсем. К отцу в Вену. — И вдруг подумала, что Вена тоже каким-то образом связана с вином, во всяком случае так поется в их песнях.

— Вена, — сказал он, — на юге... Ты там будешь жить?

— Да.

Ее испугал взгляд мальчика, он посмотрел на нее

снизу вверх, и притом как-то искоса, и глаза у него были остановившиеся, словно зачарованные.

Нет, я не твой Иерусалим, подумала она, нет, нет, и все же таким взглядом смотрели, наверное, паломники, когда перед ними представляли башни святого города.

— Я видела,— сказала она тихо,— я все видела. Он усмехнулся.

— Сойди вниз,— сказал он,— сойди-ка вниз.

— Не могу,— ответила она,— мама заперла меня, мне нельзя появляться на улице до самого отъезда, но ты...— Она вдруг замолкла, задышала часто и неглубоко; от волнения ей не хватало воздуха, и она сказала то, чего не хотела говорить: — Но ты... ты можешь влезть наверх.

Нет, я не твой Иерусалим, думала она, нет, нет. Не опуская взгляда, он спросил:

— А как мне взобраться?

— Влезь на крышу беседки, я подам тебе руку, и ты перейдешь на балкон.

— Я... меня ждет один человек...— Он не договорил, пробуя рукой, достаточно ли прочны перекладины беседки: они были заново приколочены и заново окрашены; плотные темные виноградные листья взбирались вверх по этим перекладинам, как по ступенькам стремянки. Пистолет тяжело бился о его бедро; ухватившись за флюгер, он вспомнил Грифа, который лежал сейчас у себя в камерке среди жужжащих мух, Грифа с бледной грудью и румяными щеками,— вспомнил и подумал о хлипком плоском никелевом пистолете: надо спросить Грифа, окисляется ли никель? Если да, то пусть скажет, чтобы они не ели повидло из той банки.

Ладони девочки были больше и крепче, чем ладони Грифа, больше и крепче, чем его собственные ладони, он это знал, и потому, когда она помогала ему перелезть с крыши беседки на перила балкона, чувствовал себя смущенным.

Отряхнув руки, он сказал, не глядя на девочку:

— Вот чудеса, я и правда тут.

— Очень хорошо, что ты здесь, я сижу взаперти уже с трех часов.

Он бросил осторожный взгляд на нее, на ее руку, которая придерживала пальто у груди.

— Почему ты в пальто?

— Ты ведь знаешь.

— Поэтому?

— Да.

Он подошел к ней ближе.

— Ты, наверное, рада, что уезжаешь. Да?

— Да!

— Один мальчишка,— сказал он тихо,— торговал сегодня утром у нас в школе теми писульками, в которых написано про тебя и... ты нарисована.

— Знаю,— сказала она,— и он всем говорит, будто я получаю часть выручки за его художества и будто он видел меня в таком виде, в каком нарисовал. Врет он.

— Знаю,— сказал он,— его фамилия Куффанг, он болван и всегда врет, это каждому известно.

— Но насчет *меня* ему верят.

— Да,— согласился он,— обалдеть можно, насчет тебя ему верят.

Она еще туже стянула пальто у себя на груди.

— Вот почему я должна так внезапно уехать, еще до того как народ вернется с соревнований... Они уже давно взъелись на меня. «Ты,— говорят они,— выставляешь напоказ свое тело». И говорят это, в чем бы я ни появилась: в открытом платье или в закрытом. А когда я надеваю свитер до горла, они и вовсе звереют... В чем же мне ходить?

Она говорила, а он холодно наблюдал за ней и думал: так вот она какая... Странно, что я никогда о ней не вспоминал. Никогда.

Волосы у девочки были белокурые, и глаза ее тоже показались ему белокурыми, они были цвета только что обструганного букового дерева — белокурые и слегка влажные.

— Я вовсе не выставляю напоказ свое тело,— сказала она,— просто оно у меня есть.

Мальчик промолчал, правой рукой он слегка сдвинул пистолет кверху, своей тяжестью он давил ему на бедро.

— Да,— сказал он.

И ей стало страшно, опять у него сделалось это отрешенное лицо: а тогда он был как слепой, пустые темные глаза с непостижимым выражением смотрели прямо на нее и в то же время куда-то вбок; и сейчас он опять был как слепой.

— Тот чудак,— сказала она быстро,— который иногда заходит к маме и вечно спорит с ней, ну, седой старик... Ты ведь его знаешь?

На балконе было тихо, река была далеко, и шум соревнований не мог спугнуть эту тишину.

— Ведь ты его знаешь? — повторила она резко.

— Конечно, знаю, — сказал он, — старик Дульгес.

— Ну да... Так вот он посмотрит на меня и так чудно говорит: «Лет триста назад они сожгли бы тебя на костре как ведьму... Сухо потрескивают женские волосы... — говорит он, — толпа орет в тысячу глоток... Их подлые души органически не выносят ничего прекрасного».

— Зачем ты зазвала меня наверх? — спросил он. — Чтобы сообщить это?

— Да, — сказала она, — и еще потому, что я все видела.

Он вытащил из кармана пистолет и прицелился в потолок. Усмехаясь, он ждал, что она закричит, но она не закричала.

— Что ты собираешься с ним делать?

— Сам не знаю, во что мне выстрелить.

— Во что?

— Может быть, в себя?

— Почему?

— Почему? — повторил он. — Почему? Грех, смерть. Смертный грех. Можешь ты это понять? — Осторожно, стараясь не дотронуться невзначай до девочки, он прошел через открытую дверь в кухню и со вздохом прислонился к шкафу; старая картина, которую он уже так давно не видел и которую иногда вспоминал, все еще висела там: из фабричных труб поднимались клубы красного дыма и соединялись в небе в одно кровавое облако. Девочка стояла в дверях, повернувшись к нему. На лице ее лежали тени, и она казалась взрослой женщиной.

— Входи тоже, — сказал он, — нас могут увидеть, и тебе не поздоровится... Сама знаешь.

— Через час, — сказала она, — я уже буду сидеть в поезде, вот билет «туда», обратного нет, — она подняла вверх коричневый билет, Пауль кивнул, и она снова сунула билет в карман. — В вагоне я сниму пальто и останусь в одной блузке. Понимаешь?

Он опять кивнул.

— Час это много... Ты знаешь, что такое грех? Смерть?.. Что такое смертный грех?

— Один раз, — сказала она, — этого добивался от меня аптекарь... и еще учитель, который преподает у вас историю.

— Дрэнш?

— Да... Я знаю, чего они добиваются. Но не понимаю смысла тех фраз, которые они говорят. Я знаю, что такое грех, но не понимаю этого, так же как не понимаю, что кричат мне вслед мальчишки, когда я в темноте возвращаюсь домой; они кричат из парадных, из окон, даже из машин; слова, которые они кричат, я знаю, но смысл их мне непонятен. А тебе все понятно?

— Да.

— Что же это такое? — спросила она. — И тебя мучает это?

— Да, — сказал он, — очень.

— И сейчас тоже?

— Да, — сказал он, — а тебя не мучает?

— Нет, — сказала она, — меня не мучает... Но я в отчаянье, что это вообще существует и что люди добиваются этого от меня... И что они кричат мне вдогонку. Скажи, почему ты хочешь застрелиться? Неужели из-за этого?

— Да, — сказал он, — только из-за этого. «...что вы свяжете на земле, то будет связанным на небе». Понимаешь, что это значит?

— Понимаю, — сказала она, — когда у нас в классе был Закон Божий, я иногда оставалась вместе со всеми.

— Раз так, — сказал он, — тогда ты, может, знаешь, что такое грех. И смерть.

— Да, знаю, — сказала она, — и ты на самом деле веришь в это?

— Да.

— Во все?

— Во все.

— А я не верю... Но знаю, что самым тяжким грехом считается у вас, верующих, застрелить себя или... Я это слышала собственными ушами, — сказала она громче и дотронулась левой рукой до уха, все так же придерживая правой пальто на груди, — слышала своими собственными ушами. Я слышала, как священник говорил: «Нельзя бросать Господу под ноги дарованную им жизнь».

— Дарованную им жизнь, — повторил он насмешливо, — и потом, у Господа нет ног.

— Нет? — спросила она тихо. — Нет ног? Разве их не пригвоздили?

Он промолчал, залился краской и тихо произнес:

— Да, правда.

— Если ты на самом деле веришь во все, как сказал, тогда надо верить и в это.

— Во что?

— В то, что нельзя бросаться своей жизнью.

— Да, да,— сказал он и поднял пистолет дулом кверху.

— Послушай,— сказала она вполголоса,— убери его. У тебя с ним такой дурацкий вид. Убери его, пожалуйста.

Он сунул пистолет в правый карман и тут же вынул из левого патроны. Три матовые обоймы с патронами лежали на его ладони.

— Этого за глаза довольно,— сказал он.

— Стреляй во что-нибудь еще,— предложила она,— например в...— она обернулась, посмотрела назад, бросила взгляд через открытое окно в его дом и договорила: — в теннисные мячи.

Перед глазами у него поплыло что-то красное, потом все потемнело. Руки повисли как плети, он даже выронил обоймы.

— Откуда ты знаешь? — пробормотал он.

— Что знаю?

Мальчик нагнулся, поднял с пола обоймы и осторожно засунул обратно один выпавший патрон; посмотрел через окно на свой дом, который стоял на самом солнцепеке; там лежали теннисные мячи в картонной коробке, белые и жесткие.

А здесь, в этой кухне, пахло ванной, умиротворением, свежим хлебом, сдобой, на столе лежали красные яблоки, газета и пол-огурца — срез огурца был посередине светло-зеленый, дряблый, но ближе к коже он становился темнее и крепче.

— Я тоже знаю,— продолжала девочка,— как они боролись с грехом. Сама слышала.

— Кто?

— Ваши святые. Священник рассказывал: они бичевали себя, постились и читали молитвы, но никто из них не убивал себя.— Она повернулась к Паулю, и ей снова стало страшно. Нет, нет, я не твой Иерусалим.

— Им было не четырнадцать лет,— сказал мальчик,— и даже не пятнадцать.

— Как кому,— возразила она.

— Нет,— сказал он,— нет, это неправда, большинство из них стало праведниками только после того, как они уже нагрешили.— Он подошел к ней ближе, прижимаясь спиной к подоконнику, чтобы не коснуться ее.

— Не ври,— сказала она,— некоторые вовсе не гре-

щили раньше, и вообще я во все это не верю... уж если во что верить, то скорее в Матерь Божью.

— «Скорее»,— он презрительно усмехнулся,— но ведь она была *Божьей* Матерью.

Взглянул девочке в лицо, отвернулся и тихо сказал:

— Извини... да, да, я это уже пробовал. Молился.

— А посты соблюдал?

— Что там посты,— сказал он,— на еду мне вообще наплевать.

— Это не называется поститься. И бичевать себя. Если бы я была верующая, я бы бичевала себя.

— Послушай,— сказал он вполголоса,— тебя это в самом деле не мучает?

— В самом деле не мучает,— сказала она.— У меня нет желания что-нибудь *сделать*, что-нибудь увидеть, что-нибудь сказать... А тебя мучает?

— Да.

— Как жаль, что ты такой набожный,— сказала она.

— Почему жаль?

— Я показала бы тебе мою грудь. С радостью... только тебе... сколько разговоров об этом, мальчишки кричат мне вдогонку всякие гадости, но никто никогда ее не видел.

— Никогда?

— Да,— сказала она,— никогда.

— Покажи мне это,— сказал он.

— Теперь все будет не так, как тогда? Понимаешь?

— Понимаю,— сказал он.

— Тебе тогда плохо пришлось?

— Только из-за того, что мать вела себя плохо. Она прямо взбесилась и всем раззвонила. Но для меня самого это было вовсе не плохо. Да я уже давно забыл. Ну...— сказал он.

Волосы у нее были гладкие и жесткие, это поразило его; он думал, что у нее мягкие волосы; а они были словно стеклянные нити, такими он представлял себе стеклянные нити.

— Не здесь,— сказала девочка. Теперь она подталкивала его, тихонько вела, потому что он не хотел выпускать ее голову из своих рук и настороженно вглядывался ей в лицо; так они двигались вперед, будто исполняли какие-то диковинные, ими самими сочиненные па; от открытой двери на балкон они прошли через всю кухню,— казалось, он все время наступает ей на носки, и она, делая шаг, каждый раз как бы приподнимает его.

Потом она открыла кухонную дверь, медленно провела его по коридору и толкнула дверь в свою комнату.
— Здесь,— сказала она,— у меня в комнате. Только не там.

— Мирцова,— прошептал он.

— Почему ты меня так называешь? Моя фамилия Мирцов. Катарина Мирцов.

— Тебя все так зовут, иначе я не могу тебя называть. Покажи это.— Он покраснел, потому что опять сказал «это», вместо того чтобы сказать «ее».

— Мне так жаль,— сказала она,— что для тебя это тяжкий грех.

— Я хочу это видеть,— сказал он.

— Ни одной душе...— сказала она,— ни одной душе ты не должен ничего рассказывать.

— Да.

— Даешь слово?

— Да... Но одному человеку я все же должен рассказать.

— Кому?

— Подумай сама,— сказал он тихо,— ты ведь знаешь...

Девочка прикусила губу; она все еще крепко стягивала на груди пальто; задумчиво посмотрев на него, она сказала:

— Ему ты, само собой, можешь рассказать, но больше ни одной душе.

— Да, да,— ответил он.— А теперь покажи.

Если она заулыбается или захихикает, я выстрелю. Но она не смеялась, она дрожала и была очень серьезна. И когда попыталась расстегнуть пуговицы, руки ее не послушались, пальцы были ледяные и не гнулись.

— Погоди,— сказал он тихо и ласково,— я помогу.

Руки у него были куда спокойней, страх его сидел глубже, чем у нее; он ощущал страх где-то в суставах ног; ему казалось, что ноги у него ватные и что он вот-вот грохнется. Он расстегивал пуговицы правой рукой, а левой гладил девочку по волосам, словно хотел ее утешить.

Слезы у нее полились совершенно неожиданно, без рыданий, без всхлипываний. Просто они вдруг беззвучно потекли у нее по щекам.

— Почему ты плачешь?

— Мне страшно,— сказала она,— а тебе нет?

— Мне тоже,— сказал он,— мне тоже страшно.

И вдруг он пришел в такое волнение, что чуть не оторвал последнюю пуговицу на ее блузке, но, увидев грудь девочки, он глубоко и облегченно вздохнул; ему было страшно, потому что он боялся почувствовать отвращение, боялся той минуты, когда придется из вежливости лицемерить, скрывая свое отвращение, но никакого отвращения он не почувствовал, и ему не пришлось лицемерить. Он вздохнул еще раз. И слезы девочки высохли так же внезапно, как появились. Она напряженно всматривалась в него, ловила каждое движение его лица, выражение глаз... И уже сейчас она знала, что когда-нибудь, много лет спустя, она будет ему благодарна за то, что именно он первый расстегнул пуговицы у нее на блузке.

Пауль не сводил глаз с девочки, но не дотрагивался до нее, только качал головой, и вдруг рассмеялся.

— Ты чего? — спросила она. — И мне тоже можно смеяться?

— Конечно, — сказал он, и она тоже засмеялась.

— Это очень красиво, — сказал он, и ему снова стало стыдно, потому что он сказал «это» вместо «она», он не мог заставить себя произнести слово «она».

— Застегни теперь, — сказала девочка.

— Нет, — сказал он, — застегни сама, только подожди еще минутку.

Было очень тихо, яркое солнце пробивалось сквозь желтую занавеску с темно-зелеными полосами. Темные полосы лежали и на лицах детей. В четырнадцать, думал мальчик, еще нельзя быть близким с женщиной.

— Я застегну, — сказала девочка.

— Хорошо, — согласился он, — застегни. — Но на мгновение еще задержал ее руки в своих, девочка посмотрела на него и громко рассмеялась.

— А почему ты сейчас смеешься?

— Я так рада. А ты?

— Я тоже, — сказал он, — я рад, что это так красиво.

Он выпустил ее руки и отступил назад, а когда она стала застегивать блузку, он отвернулся.

Потом обошел вокруг стола и начал разглядывать открытый чемодан, который стоял на кровати: свитера были сложены стопкой, белье рассортировано по целлофановым мешочкам; с кровати уже сняли простыни, и чемодан стоял на голубом чехле матраса.

— Ты, значит, правда уезжаешь? — спросил он.

— Да.

Он прошел еще несколько шагов и заглянул в открытый платяной шкаф, в нем остались только вешалки, и на одной из них болталась красная ленточка. Пауль захлопнул дверцы шкафа и посмотрел на книжную полку над кроватью, на полке ничего не было, кроме листка старой промокашки и тоненькой брошюрки, косо прислоненной к стене: «Что необходимо знать о виноделии».

Он оглянулся и увидел, что ее пальто лежит на полу. Поднял его, бросил на стол и выбежал из комнаты.

Она стояла в дверях кухни с биноклем у глаз и, когда он положил ей руку на плечо, вздрогнула, опустила бинокль и испуганно взглянула на него.

— Иди теперь,— сказала она,— теперь тебе пора уходить.

— Дай мне еще раз посмотреть.

— Нет, праздник скоро кончится, и мама придет, чтобы проводить меня на вокзал. Ты ведь знаешь, что будет, если кто-нибудь застанет тебя здесь.

Он молчал, но все еще не снимал руки с ее плеча. Тогда она быстро вывернулась, перебежала на другую сторону стола, вынула из ящика ножик, отрезала кусок огурца и впилась в него зубами, положив нож на место.

— Иди,— сказала она,— хватит таращить на меня глаза, а то ты станешь такой же, как аптекарь или как этот ваш Дрэнш.

— Молчи,— сказал он. Неожиданно приблизился к ней вплотную и крепко ухватил за плечо; она взглянула на него с удивлением, через его руку снова поднесла ко рту огурец и улыбнулась.

— Разве ты не понимаешь,— сказала она,— я ведь была так рада.

Потупившись, он отпустил ее, подошел к балкону, вскочил на перила и крикнул:

— Дай руку!

Она засмеялась, подбежала к нему, положила огурец на перила, ухватила обеими руками его руку и, упершись коленями в ограду балкона, крепко держала его, пока он спускался на крышу беседки.

— Кто-нибудь нас обязательно видел,— сказал он.

— Не сомневаюсь,— сказала она.— Отпускать?

— Подожди еще. Когда ты вернешься из Вены?

— Скоро,— сказала она.— Ты хочешь, чтобы поскорее?

Он уже стоял обеими ногами на крыше.

— Теперь можно отпускать,— сказал он.

Но она не отпускала и, смеясь, говорила:

— Я приеду обратно. Когда мне приехать?

— Тогда, когда мне можно будет увидеть это опять.

— Не так уж скоро.

— А когда?

— Сама не знаю,— сказала она и посмотрела на него задумчиво.— Сперва ты был как зачарованный, а потом вдруг стал почти такой же, как аптекарь. Не хочу, чтобы ты был похож на аптекаря, чтобы впал в смертный грех и был связанным и на небе.

— Теперь отпускай,— сказал он,— или помоги мне влезть обратно.

Она засмеялась, отпустила его, взяла с перил свой огурец и откусила от него еще раз.

— Но мне все равно надо во что-то пульнуть,— сказал он.

— Только не стреляй ни в кого живого,— сказала она,— стреляй лучше в теннисные мячи или в... или в банки с повидлом.

— Почему ты догадалась про банки с повидлом?

— Не знаю,— сказала она,— просто я представила себе, до чего здорово стрелять в банки с повидлом. Звон стекла, брызги... Обожди,— сказала она поспешно, так как он уже отвернулся и приготовился лезть дальше. Снова обернувшись, он серьезно посмотрел на нее.— Ты мог бы,— сказала она тихо,— ты мог бы встать у шлагбаума около водокачки. Знаешь? И мог бы выстрелить в воздух, когда мой поезд проедет мимо. Я высунусь в окно и буду махать тебе.

— Ну да,— сказал он,— я так и сделаю. Когда уходит твой поезд?

— В семь десять,— сказала она,— в семь тринадцать он будет у шлагбаума.

— Значит, я успею,— сказал он,— до свидания. Ты приедешь обратно?

— Приеду,— сказала она,— обязательно.— И, прикусив губу, повторила еще раз тише: — Приеду.

Она смотрела, как он спускался, держась за флюгер, пока его ноги не коснулись первой перекладки беседки, как он побежал по газону к террасе и влез в дом. Тут она увидела, что он опять переступил через латунную полоску порога, взял коробку с теннисными мячами, снова вылез на террасу, а потом она слышала, как хрустит гравий у него под ногами, когда он с коробкой под мышкой пробежал около гаража.

Надеюсь, он не забудет обернуться и помахать мне рукой, думала она. И вот он уже остановился у ворот гаража и замахал рукой, а потом вытащил из кармана пистолет, прижал его дулом к коробке с мячами и, прежде чем завернуть за угол и скрыться из виду, еще раз махнул рукой.

И снова благодаря биноклю она взлетела в поднебесье и опять принялась вырезать круглые синие кружки, медали из небесной субстанции; Ренания и Германия, берег реки с флагом соревнований, полукруг горизонта и зеленая река, прочерченная красным пунктиром вымпелов.

Мои волосы будут отлично потрескивать, думала она, они уже потрескивали, когда он гладил их. И в Вене тоже будут вина.

Ах уж эти виноградники: прозрачно-зеленые кислые ягоды, листья, которые эти жирные борозы нацепляют себе на лысины, чтобы походить на этого... как его?.. Бахуса.

Она обшарила биноклем все улицы, докуда хватало глаз, — на улицах не было ни души, она не увидела ничего, кроме покинутых автомобилей; тележка мороженщика все еще стояла на площади, Пауля нигде не было. И все же, думала она с улыбкой, снова направляя бинокль на реку, и все же я стану твоим Иерусалимом.

Когда мать открыла входную дверь и вошла в переднюю, девочка не повернула головы. Уже без четверти семь, думала она, надеюсь, он успеет прибежать к шлагбауму до семи тринадцати. Она услышала, как защелкнулся замок чемодана и как в нем повернулся крохотный ключик, услышала твердые шаги и от неожиданности вздрогнула: мать набросила ей на плечи пальто; руки матери задержались на ее плечах.

— Деньги взяла?

— Да.

— Билет?

— Да.

— Бутерброды?

— Да.

— Чемодан сложен аккуратно?

— Да.

— Ты ничего не забыла?

— Нет.

— Никому ничего не рассказала?

— Нет.

— Адрес в Вене помнишь?

— Да.

— Номер телефона?

— Да.

Короткая пауза была сумрачной, пугающей, ладони матери соскользнули с ее плеч на руки.

— Мне казалось правильной не быть с тобой в эти последние часы. Я знаю, так легче. Мне ведь в жизни не раз приходилось прощаться... и хорошо, что я тебя заперла. Ты ведь знаешь...

— Да. Хорошо. Знаю.

— А теперь пошли.

Ужасно, что мать заплакала, это было почти так же, как увидеть плачущий памятник; мать все еще красива, но ее красота кажется суровой, холодной. Прошлое витает над ней, подобно темному нимбу. Диковинные слова встречаются в истории ее жизни: Москва — коммунизм... красная монахиня... русский по фамилии Мирцов; а потом потеря веры, бегство, но в мозгу по-прежнему крутятся догматы утраченной веры, будто мозг — это ткацкий станок, шпульки которого продолжают вращаться, хотя нити больше нет; какие чудесные узоры тклет этот станок, но все впустую — только шум, как прежде, и бег вхолостую, особенно если мать находит антиподов, жрецов иных богов, таких, как Дульгес, отцы города, священник, учительницы, монахини. И когда закроешь глаза и слышишь их извечный спор, кажется, что это крутится шарманка или трещит неугомонная трещотка, которую приводит в движение ветер; но иногда, очень редко, мать выглядит как сейчас — обычно это бывает после нескольких рюмок, — и тогда люди говорят: «Боже, не смотря на все, она осталась нашей, истая цишбруннская девушка».

Как хорошо, что мать закурила; слезы, увлажнявшие сигарету, слезы, окутанные дымом, казались не столь уж серьезными, походили скорее на притворные слезы, хотя мать никогда не стала бы притворяться плачущей.

— Когда-нибудь я им отомщу, — сказала она. — Ужасно, что тебе надо уезжать. И что мне пришлось уступить.

— Так едем со мной.

— Нет, нет, ты вернешься, пройдет год, может, два,

и ты вернешься. Никогда не делай того, что они тебе приписывают. Никогда. А теперь пошли.

Девочка сунула руки в рукава пальто, застегнула пуговицы, проверила — тут ли билет, кошелек, и побежала в свою комнату за чемоданом, но мать покачала головой и не дала ей поднять чемодан.

— Я сама,— сказала она,— а ты поторапливайся. Уже поздно.

На лестнице была жарница, из подвала несло винным духом, там аптекарь разливал по бутылкам вино; кисловатый винный запах как нельзя лучше подходил к водянисто-лиловым стенам. Узкие улицы, темные провалы окон, парадные, из которых ей кричали те непонятные слова. Скорее! Шум, доносившийся с берега реки, стал громче, люди уже заводили машины — соревнования кончились. Скорее! Железнодорожник на контроле был с матерью на «ты»:

— О, Кэте, иди, голубушка, проходи без перронного.

Пьяный, покачиваясь, брел по темному подземному переходу, орал что-то, а потом шваркнул полную бутылку вина о сырую черную стену; зазвенели осколки стекла, и снова в нос ударил запах вина. Поезд уже стоял у перрона, мать внесла чемодан на площадку.

— Никогда не делай того, что они тебе приписывают. Никогда.

Хорошо, что их прощанье было таким коротким — у них оставалась одна-единственная минута, но и эта минута показалась им очень длинной, длиннее, чем весь прошедший день.

— Тебе, наверное, хочется взять с собой бинокль? Прислать его?

— Да, пришли. Ах, мама...

— Ну что?

— Я ведь с ним почти незнакома.

— Ничего, он славный, и он рад, что ты будешь жить с ним. Он никогда не верил в богов, в которых верила я.

— И он не пьет вина?

— Терпеть его не может... И у него есть деньги, он торгует разными вещами.

— Какими именно?

— Сама не знаю какими,— наверное, одеждой или чем-нибудь еще в этом роде. Тебе это все понравится.

Они не поцеловались. Нельзя целовать памятники,

даже если памятники плачут. Мать исчезла в подземном переходе, так и не обернувшись: воплощение злощастья, женщина, законсервированная в своем горьком, полном ошибок прошлом; вечером, если на кухне будет сидеть Дульгес, шарманка опять закрутится, заведет старые песни — мать разразится целой тирадой: «Разве слезы, как таковые, не являются пережитком буржуазного мировосприятия?» и «Неужели в бесклассовом обществе будут иметь место слезы?».

Уже осталась позади школа, плавательный бассейн, поезд промчался под небольшим мостом, потом долго-долго тянулись виноградники, сплошная стена виноградников, промелькнул лесок... а вот и шлагбаум у водокачки, оба мальчика тут как тут, она услышала звук выстрела, увидела черный пистолет у Пауля в руке и крикнула: «Иерусалим! Иерусалим!» — а потом, после того как мальчики уже скрылись из глаз, крикнула это слово еще раз, отерла слезы рукавом, взяла чемодан и побрела в вагон. Я не сниму пока пальто, думала она, пока еще рано.

III

— Что она кричала? — спросил Гриф.

— Разве ты не расслышал?

— Нет, а ты? Что она крикнула?

— «Иерусалим», — сказал Пауль тихо. — «Иерусалим» — она кричала это и после того, как поезд прошел. Пойдем. — Он обескураженно посмотрел на пистолет, который держал теперь дулом книзу, не снимая большого пальца с курка. А он-то думал, что выстрел будет громкий и пистолет задымится; представлял себя стоящим у полотна железной дороги с дымящимся пистолетом в руках, но пистолет не дымился, он даже не стал горячим. Пауль осторожно провел указательным пальцем по стволу, потом убрал палец. — Пошли, — сказал он. Слово «Иерусалим» я расслышал, думал он, но не знаю, что она хотела этим сказать.

Они свернули с дороги, тянувшейся параллельно рельсам; Гриф держал под мышкой банку с повидлом, которую прихватил из дома, Пауль нес пистолет; в лесу, когда на их лица упала зеленая тень, они разом остановились и поглядели друг на друга.

— Ты вправду решился на это?

— Нет,— сказал Пауль,— да нет же, надо...— Он покраснел и отвернулся.— Ты разложил мячи на дереве?

— Да,— сказал Гриф,— они все время скатывались, но потом я нашел в коре выемку.

— Какое между ними расстояние?

— В ладонь шириной, как ты велел... Послушай,— добавил он тише и остановился,— не могу я вернуться домой, не могу. В эту комнату... Ты ведь понимаешь, что в эту комнату мне путь закрыт.— Он переложил банку с повидлом в другую руку, и когда Пауль хотел было пойти дальше, схватил его за рукав куртки.— Закрыт.

— Да,— согласился Пауль,— я и сам не стал бы на твоём месте возвращаться в эту комнату.

— Мама заставит меня убирать. Послушай, это просто невозможно... ползать по полу, вытирать стены, книги, все убирать, а она будет стоять рядом.

— Да, это невозможно. Пошли!

— Что мне делать?

— Обожди, сперва мы постреляем, идем...

Они пошли дальше, время от времени поворачиваясь друг к другу зелеными лицами. У Грифа вид был испуганный, Пауль улыбался.

— Ты должен меня застрелить,— сказал Гриф,— послушай, ты это просто обязан сделать.

— Ненормальный,— сказал Пауль, закусил губу, поднял пистолет и направил его на Грифа; Гриф быстро нагнулся, тихонько заскулил, и Пауль сказал:

— Видишь, ты уже собрался орать, а пистолет, между прочим, стоит на предохранителе.

Они вышли на прогалину, и Пауль приставил ладонь к глазам; зажмурив один глаз, он рассматривал теннисные мячи, которые лежали в ряд на поваленном дереве: три мяча еще были в своей первозданной красе — белые и волосатые, как овечки, остальные уже успели испачкаться о влажную лесную землю.

— Иди,— сказал Пауль,— и поставь банку между третьим и четвертым мячами.

Гриф заковылял по прогалине и кое-как, криво, поставил банку позади мячей — каждую минуту она могла опрокинуться.

— Расстояние слишком маленькое, не лезет она между третьим и четвертым.

— Мотай оттуда,— сказал Пауль,— я стреляю. Иди сюда.

Он обождал, пока Гриф встал рядом с ним в тень, поднял пистолет, прицелился и спустил курок; эхо первого выстрела испугало его, и он начал яростно расстреливать всю обойму; звонкое эхо двух последних выстрелов вернулось из леса обратно, когда мальчик давно уже перестал стрелять. Мячи лежали на том же месте, даже банка с повидлом была цела и невредима.

Наступила тишина, слабо пахло порохом... А Пауль все еще стоял в той же позе с поднятым пистолетом, и казалось, он простоит так весь свой век. Он побледнел, холод неудачи замораживал ему кровь, в ушах звенело уже отзвучавшее эхо — отрывистый сухой лай. Эхо запечатлелось в памяти. И память повторяла его без конца. Мальчик с усилием закрыл глаза, потом опять открыл их: мячи лежали на том же месте, и даже банка с повидлом была цела и невредима. Вытянутая рука медленно опустилась. Пауль посмотрел на нее так, словно она вернулась откуда-то издалека, ощупал пальцами ствол пистолета — слава богу, на этот раз он немного нагрелся. Ногтем большого пальца мальчик вытянул обойму, потом вложил другую и поставил пистолет на предохранитель.

— Иди сюда,— сказал он тихо,— теперь твоя очередь.

Он сунул в руку Грифу пистолет, показал, как надо взводить курок, отошел назад в тень и, пытаясь примириться с собственной неудачей, подумал: надеюсь, хоть он-то попадет, хоть он-то попадет.

Гриф вскинул руку с пистолетом вверх и начал медленно опускать ее. Где-то он это вычитал, подумал Пауль, похоже, что он это где-то вычитал.

Стрелял Гриф не так, как Пауль, а с длинными паузами — выстрелит один раз и остановится, но мячи все равно лежали не шелохнувшись, и банка стояла на том же месте; под конец Гриф не выдержал и пальнул три раза подряд, и эхо, трижды пролаяв, вернулось назад к мальчикам. Однако поваленное дерево с шестью теннисными мячами и банкой сливового повидла было как заколдованное; оно застыло невдалеке, будто диковинный натюрморт.

Только эхо долетало из леса да слабо пахло порохом; покачав головой, Гриф отдал Паулю пистолет.

— Один выстрел у меня еще в запасе,— сказал Пауль,— ведь в первый раз я выстрелил в воздух. А после каждый может выстрелить еще по два раза, и один патрон у меня останется.

Теперь Пауль долго целился, хотя в глубине души знал, что все равно промажет, и он в самом деле промазал, эхо этого выстрела прозвучало жидко и одиноко, оно словно красный огонек проникло в тело мальчика, покружилось немного и снова вылетело. И Пауль почему-то сразу успокоился и спокойно отдал Грифу пистолет.

Гриф покачал головой:

— Цели чересчур мелкие, надо выбрать что-нибудь покрупнее, может, вокзальные часы или рекламу «Пиво оружейника».

— А где эта реклама висит?

— Напротив вокзала, на углу, там, где живет Дрэнш.

— А может, лучше выстрелить в оконное стекло или в самовар у нас дома? Мы обязательно должны во что-нибудь попасть. Неужели ты правда попадал из своего пистолета семь раз из восьми? В консервную банку в тридцати шагах?

— Нет,— сказал Гриф,— я вообще никогда раньше не стрелял. До сегодняшнего дня я никогда не стрелял.

Он подошел к дереву и столкнул ногой мячи и банку с повидлом; мячи покатались в траву, банка упала и зарылась в рыхлую землю, на которой ничего не росло из-за тени от поваленного дерева. Гриф схватил банку, хотел швырнуть ее об дерево, но Пауль удержал его руку и опять поставил банку на землю.

— Брось, не надо,— сказал он,— не надо, я не могу это видеть, все это быльем порастет, быльем...— И он представил себе, как трава постепенно прорастает, закрывает банку, как ее обнюхивают лесные звери и как из нее вылезает целая колония грибов, а потом, много лет спустя, он идет в лес гулять и находит банку; пистолет заржавел, повидло превратилось в пенистую плесень. Пауль снова взял банку, положил ее в яму на краю прогалины и ногами забросал мягкой землей.— Оставь ее в покое,— сказал он тихо.— И мячи тоже... Мы с тобой горе-стрелки.

— Все ложь,— сказал Гриф,— все ложь и обман.

— Да, все,— согласился Пауль. Но, ставя пистолет на предохранитель и засовывая его в карман, он шептал: «Иерусалим! Иерусалим!»

— Откуда ты узнал, что она уезжает?

— Встретил ее мать по дороге к тебе.

— Но она ведь вернется?

— Нет, она больше не вернется.

Гриф снова вышел на прогалину и ударил ногой по мячам, два из них, белея в траве, беззвучно покатались в темный лес.

— Иди сюда,— сказал он,— погляди-ка. Мы целились слишком высоко.

Пауль медленно подошел к нему и взглянул на расщепленный куст ежевики, на изрешеченную пулями ель — свежая смола, сломанная ветка.

— Пошли,— сказал он,— будем стрелять в рекламу «Пиво оружейника», она величиной с доброе колесо.

— Я не вернусь в город,— сказал Гриф,— исключено, поеду в Любек, билет у меня в кармане. Больше я никогда не вернусь.

Они медленно пошли той же дорогой, какой шли сюда: вот и шлагбаум, сплошная стена виноградников, школа. Припаркованных машин как не бывало; теперь музыка доносилась уже из города. Мальчики влезли на каменные столбы кладбищенских ворот, уселись на одинаковой высоте метрах в трех друг от друга, закурили.

— Чествуют победителей,— сказал Гриф.— Большой тарарам, вокруг лбов виноградные листья. Посмотри вниз, на дом Дрэнша, увидишь эту громадину — рекламу «Пиво оружейника».

— На этот раз я не промажу,— сказал Пауль.— Ну как, пошли со мной?

— Нет, я останусь здесь; буду сторожить здесь, пока ты не разнесешь ее вдребезги. Тогда я не торопясь пойду в Дрешенбрунн, сяду в поезд и поеду в Любек. Буду там плавать, подолгу плавать в морской воде, и, бог даст, подыметесь шторм, высокие волны, горы соленой воды.

Они молча курили, время от времени переглядываясь; улыбались друг другу и слушали шум города, который с каждой минутой становился громче.

— Копыта в самом деле грохотали? — спросил Гриф.

— Нет,— ответил Пауль,— нет, там паслась одна-единственная лошадка, и копыта у нее просто пощелкивали... А как насчет лососей?

— Я их ни разу не видел.

Мальчики опять улыбнулись друг другу и на некоторое время замолчали.

— Сейчас отец стоит перед шкафом,— сказал наконец Пауль,— он засучил рукава, мать расстилает клеенку. Вот он отпер ящик; может, он даже заметил царапину от отвертки, которая выскользнула у меня из рук; нет, не заметил, в том углу теперь темно; выдвинул ящик и отшатнулся — чековые книжки и приходные ордера лежат совсем не в том порядке, в каком он их кладет; отец заволновался, заорал на мать, выбросил на пол весь хлам, шарит в ящике... Вот оно! Началось! Как раз в эту секунду! — Пауль взглянул на церковные часы: минутная стрелка только что подползла к цифре «10», часовая неподвижно стояла перед цифрой «8».

— Раньше,— продолжал Пауль,— он был чемпионом своей дивизии по чистке пистолетов: за три минуты разбирал, чистил и собирал пистолет. Дома он заставлял меня стоять рядом и засекаеть время. Сроду у него не уходило на это больше трех минут.

Он швырнул на дорогу окурков и опять посмотрел на церковные часы.

— Ровно в семь пятьдесят он кончал со всей этой волюнкой, наводил марафет и в восемь ноль-ноль уже сидел за столиком в своей пивной.— Пауль соскользнул со столба и, подняв руку, протянул ее Грифу.— Когда мы опять увидимся? — спросил он.

— Не скоро,— ответил Гриф,— но когда-нибудь я все же вернусь в этот городишко. А пока буду работать у дяди: солить рыбу, потрошить... Девушки там все время улыбаются, а по вечерам ходят в кино, может быть, они не станут хихикать. Уверен. У них такие белые руки, и они такие хорошенькие. Когда я был маленький, они совали мне в рот шоколадки, но теперь я уже не маленький. Не могу я,— добавил он тише,— сам понимаешь, не могу я вернуться в эту комнату. Она ведь будет стоять у меня над душой, пока я все не уберу. У тебя есть деньги?

— Да, мне уже выдали на все каникулы. Дать?

— Давай. Я тебе их потом пришлю.

Пауль открыл кошелек, пересчитал мелочь, отогнул карманчик, где лежали бумажки.

— Это все мои деньги для Цаллигкофена. Восемнадцать марок. Устраивает?

— Да,— сказал Гриф, он взял бумажки, мелочь и сунул все вместе в карман брюк.— Я буду ждать здесь, пока ты не попадешь в рекламу «Пиво оружейника». Стреляй быстрее, выпусти всю обойму. Мне надо это услышать собственными ушами, увидеть собственными глазами, и тогда я не торопясь пойду в Дрешенбрунн и сяду на ближайший поезд. Только не говори никому, где я.

— Не скажу! — Пауль бежал, подбрасывая камешки носками ботинок; пробегая по подземному переходу, он заорал благим матом, чтобы услышать эхо; только у ограды вокзала, недалеко от пивнушки в доме Дрэнша, он замедлил шаг, потом пошел еще тише, обернулся, но кладбищенских ворот еще не было видно, он увидел только большой черный крест в середине кладбища и белые надгробья за ним; чем ближе он подходил к вокзалу, тем больше рядов могил за крестом открывалось его глазам — два ряда, потом три, пять... А вот и ворота; Гриф еще сидит на столбе. Пауль пересек привокзальную площадь, он шел очень медленно; сердце у него громко колотилось, но он знал, что это не от страха, а скорее от радости; он с удовольствием выпустил бы всю обойму в воздух и изо всех сил кричал бы при этом «Иерусалим». Ему было даже немного жаль большую круглую рекламу «Пиво оружейника» — две скрещенные сабли поддерживали снизу пивную кружку с переливающейся через край пеной.

Я не имею права промазать, думал он, вытаскивая из кармана пистолет. Перед ним была сплошная стена фасадов, он сделал несколько шагов назад к двери в мясную и чуть было не отдалил руки уборщице, которая мыла выложенный плитками порог.

— Убирайся отсюда, паразит! — донеслось до него из полутьмы.

— Извиняюсь,— сказал Пауль и встал неподалеку от входа. Мыльная пена текла у него между ног по асфальту в сточную канаву. Отсюда удобнее всего, думал он, она висит как раз передо мной, круглая, как луна в полнолуние. Отсюда я не промажу. Он вынул из кармана пистолет, взвел курок, и прежде чем под-

нять пистолет и прицелиться, улыбнулся. Теперь он не ощущал неодолимой потребности что-нибудь сломать, разбить. И все же он должен был выстрелить; существуют положения, когда отступать нельзя; если он спасует, Гриф не уедет в Любек, не увидит белые руки хорошеньких работниц, не пойдет с какой-нибудь из них в кино. О боже, думал Пауль, ведь я стою не на таком уж большом расстоянии. Я *должен* попасть, *должен*. Но он уже попал, звон разбитого стекла был, пожалуй, громче звука выстрелов. Сперва из рекламы вылетел круглый кусок — пивная кружка; потом выпали сабли; Пауль видел, как из стены дома поднимаются маленькие пыльные облачка — штукатурка, видел железный круглый остов, на котором держалась освещенная реклама: по краям его, словно бахрома, висели осколки стекла.

Визг уборщицы заглушил все; она бросилась на мостовую, ринулась обратно, не переставая визжать; какие-то мужчины тоже закричали, люди высыпали из здания вокзала, правда, их было не так уж много; народ выскочил из пивной. В доме наверху открыли окно, и в нем на секунду показалась физиономия Дрэнша. Но никто из толпы не решался подойти близко к Паулю, потому что он все еще держал в руке пистолет; мальчик поднял глаза, бросил взгляд в сторону кладбища: Гриф уже исчез.

Прошла целая вечность, прежде чем кто-то подошел к Паулю и взял у него из рук пистолет. За это время он успел подумать о многом. Вот уже десять минут, думал он, как отец орет на весь дом, обвиняет мать, мать, которой уже давным-давно доложили, что я влез на балкон к Катарине; об этом, впрочем, оповестили весь город, и никто не может понять, почему я так поступил и почему выстрелил в светящуюся рекламу пива. Было бы, наверное, лучше, если бы я выстрелил Дрэншу в окно. А потом он подумал, не пойти ли ему в церковь и не исповедаться ли: но туда его теперь не пустят. К тому же сейчас уже восемь часов, а после восьми нельзя исповедоваться. Овечка не напилась моей кровью, думал он, бедная овечка!

Все дело ограничилось разбитым стеклом, но зато он увидел грудь Катарини. Она вернется. И теперь у отца наконец появится веская причина почистить свой пистолет.

Он даже успел подумать о Грифе, который шагал сейчас в Дрешенбрунн, шел себе по холмам, мимо виноградников. И еще он подумал о теннисных мячах и о банке с повидлом, он вообразил их уже заросшими травой.

Вокруг него на почтительном расстоянии собралась целая толпа.

Дрёнш лежал на подоконнике, опершись на локти, с трубкой в зубах. Никогда я не буду похожим на него, подумал Пауль, никогда. Любимый конек Дрёнша был Тирпиц. «В отношении Тирпица была совершена несправедливость. Настанет время, и история воздаст Тирпицу должное. Беспристрастные ученые уже работают над тем, чтобы восстановить истину о Тирпице...» Тирпиц? Вот именно.

Подкрались сзади, думал он, я и сам мог бы догадаться, что они подкрадутся ко мне сзади... За мгновение до того как Пауля схватил полицейский, он ощутил запах форменного кителя: во-первых, запахло бензином, каким выводят пятна, во-вторых, печным дымом, в-третьих...

— Где ты живешь, поганец? — спросил полицейский.

— Где я живу?

Пауль знал этого полицейского, и тот, в свою очередь, знал его: полицейский продлевал отцовское удостоверение на право ношения оружия; он всегда вел себя очень корректно — прежде чем взять предложенную сигару, трижды отказывался. Да и сейчас он тоже вел себя не то чтобы некорректно — мог сжимать руку куда больнее.

— Да, где ты живешь?

— Я живу в Долине Грохочущих Копыт, — сказал Пауль.

— Враки, — завизжала женщина, которая мыла пол в подъезде мясника, — я знаю его как облупленного, он сын...

— Да, да, — прервал ее полицейский, — нам это известно. Пойдем, — сказал он, — я отведу тебя домой.

— Я живу в Иерусалиме, — сказал Пауль.

— Прекрати болтовню, — сказал полицейский, — и давай иди!

— Хорошо, — сказал Пауль, — прекращу.

Толпа молча смотрела, как мальчик шел впереди

полицейского вниз по темной улице. Он был как слепой, глаза его уставились в одну точку, а вокруг себя он, казалось, ничего не видит. Но он видел сложенную вечернюю газету в кармане полицейского. И сумел прочесть в первой строке «Хрущев» и во второй «открытая могила...».

— Боже мой,— сказал он полицейскому,— вы ведь сами хорошо знаете, где я живу.

— Конечно, знаю,— ответил полицейский.— Иди!

РАДИОПЬЕСЫ



HÖRSPIELE

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЧАЙ К ДОКТОРУ БОРЗИГУ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Зёнтген.
Доктор Борзиг.
Франциска.
Роберт.
Фрау Борзиг.
Секретарша.
Слуга.

Зёнтген (*медленно и отдельно произносит*).
Верить ли ты своим глазам? Верить ли ты своим
собственным глазам? Верить?..

Звук зуммера.

(*Другим тоном*). Слушаю.

Секретарша (*по селектору*). Вы назначали на
десять доктора Борзига.

Зёнтген (*по селектору*). Он пришел?

Секретарша. Да.

Зёнтген. Просите. И смотрите, чтобы нам не мешали.

Секретарша. Слушаюсь, господин директор.

Дверь открывается.

Борзиг. Господин директор...

Зёнтген. Садитесь, пожалуйста. По-прежнему не курите?

Борзиг. Нет. Спасибо.

Зёнтген. Прекрасно. (*Начинает издали.*) Видите ли, дорогой мой, у меня к вам серьезный разговор.

Но прежде всего поздравляю с брошюрой о Бехере — очень хорошая, отличная работа. Скажите, это правда, что вы разрешили тому молодому человеку, который ее составлял, брать на дом бехеровские документы? Его дневники, письма?..

Борзиг. Сущая правда, господин директор... Но позвольте заметить, что бумаги уже опять у нас в сейфе.

Зёнтген. Знаю... И все же считаю, что это было довольно опрометчиво с вашей стороны — дать документы какому-то молокососу, которого никто не знает. В них ведь... (*смеется*) в них, видит бог, мало лестного для ОРАМАГа.

Борзиг. Мой опыт говорит, что ничто так не обязывает, как полное доверие в щекотливом деле.

Зёнтген. А мой опыт говорит, что человека обязывают только деньги или соучастие в...

Борзиг. Некоторые люди чувствуют себя куда больше обязанными, если им дают возможность *не* участвовать кое в чем.

Зёнтген. Он получил от вас крупный куш?

Борзиг. Не все покупается за деньги.

Зёнтген. Вот это для меня новость. А я-то думал, и до сих пор твердо уверен, что за деньги можно купить все.

Борзиг. Ну уж извините... Не всегда.

Зёнтген (*вздыхнув*). Ладно... Оставим это. Будем надеяться, что нигде не сохранилось фотокопий. Для ЗУНАГа они были бы просто находкой. Брошюра о Бехере написана ловко, все неприятные моменты — а их в дневниках Бехера немало — нам удалось обойти. Молодой человек получил от вас соответствующие указания?

Борзиг. Нет. Я правил его черновик. Люди этого типа бывают чересчур щепетильны.

Зёнтген. Но он принял ваши поправки?

Борзиг. Я их с ним не согласовывал. И это, так сказать, часть эксперимента, которому я его подверг. Кстати, я возлагаю на этого молодого человека большие надежды... Но если бы он стал безропотно принимать все мои поправки, я был бы разочарован... Вы же понимаете, что с людьми, которые на все согласны, трудно работать. Вот если молодой человек сам поймет, что получилось не то, — тогда из него выйдет толк. Но есть, правда, и третья возможность: что он вообще не

захочет с нами связываться. (*Понизив голос.*) Право же, попадаются люди, которых за деньги не купить.

Зёнтген (*смеется*). Если когда-нибудь встретите такого монстра, вы меня с ним познакомьте.

Борзиг. Думаю, вы можете познакомиться с ним уже сегодня! Я пригласил моего юного коллегу на чашку чая.

Зёнтген. Ну что ж, буду очень рад... Впрочем, я хотел бы знать, что представлял собой первый набросок брошюры.

Борзиг. Вам сейчас его принесут.

Зёнтген. Хорошо. Но на будущее имейте в виду: о делах, в которых я так или иначе заинтересован, прошу докладывать мне *до того*, как они улажены.

Борзиг. Слушаюсь, господин директор.

Зёнтген (*вздыхнув*). Ну что ж, с этим, пожалуй, покончено... Но есть еще кое-что...

Звук зуммера.

Секретарша (*по селектору*). Слушаю, господин директор.

Зёнтген (*по селектору*). Будьте добры, принесите мне документы о проколорите.

Входит секретарша.

(*Продолжает.*) Спасибо... а минут через пять принесите мне чашку кофе. Вам тоже, Борзиг?

Борзиг. Да, пожалуйста.

Зёнтген. Стало быть, две чашки.

Секретарша уходит.

Боюсь, что без кофе не обойтись. От слова «проколорит» вам небось делается дурно.

Борзиг (*тихо*). Верно, с проколоритом мы потерпели неудачу... я...

Зёнтген (*резко*). Да, мы потерпели неудачу, но я не намерен на этом ставить точку. Я не желаю, чтобы вы оставили так это дело, доктор Борзиг. У ОРАМАГа не бывает неудач. Даже если проколорит и был до сих пор неудачей... одной из самых крупных неудач за всю историю нашей фирмы... то скоро все изменится. Он станет нашим достижением, как пантотал. (*Понизив голос.*) Надеюсь, вы поняли?

Борзиг. Но вы позволите напомнить вам, как было дело с пантоталом?

Зёнтген. Знаю, знаю. Тогда успехами мы были обязаны только *вам*. Знаю. И никто в ОРАМАГе этого не забудет, однако, дорогой Борзиг, эту победу вы одержали двадцать лет назад... с того дня, как вы так блестяще дали ход пантоталу, он пошел, так сказать, самоходом. (*Смеется.*) По-моему, его теперь будут покупать, даже если б мы начали против него кампанию. Да, так это, значит, был пантотал...

Борзиг. Простите, что я вас прерываю, господин директор, но почему *«был»*?

Зёнтген. Ладно, вы правы — пантоталом мы торгуем до сей поры, но сейчас речь идет о проколорите. Концерн, дорогой Борзиг, выпустил пятьсот тысяч коробок этого препарата. В первые дни мы продали пятьдесят тысяч, а потом — ни одной коробки, *ни одной...* этот препарат мертвым грузом залег на наших складах. А ведь мы дали указание фабрикам выпустить за два месяца еще пятьсот тысяч коробок. Понимаете, что это значит, дорогой Борзиг? Понимаете?

Борзиг. С вашего разрешения, я придумал отличную рекламу. Я...

Зёнтген. Вы придумали плохую рекламу. (*Медленно.*) «Веришь ли ты своим глазам?» Вы считаете, это так хорошо? Кто, между прочим, сочинил в свое время великолепную рекламу пантотала?

Борзиг (*цитирует*). «Если ты одинок, если тебя мучают заботы, если ты...»

Зёнтген (*сердито*). Хватит! Замолчите! Это был хороший текст, но я слышал его тысячу раз. Кто его придумал?

Борзиг. Винцент Надольт.

Зёнтген. Надольт? Так звали, по-моему, довольно известного поэта? Не он ли получил когда-то государственную премию?

Борзиг. Да, он. Конечно, ни одна душа не знала, что Надольт сочиняет для нас рекламы.

Зёнтген. А кто сочинил рекламу для синзолина?

Борзиг. Тоже Надольт.

Зёнтген. Хорошая была реклама! Почему же вы не работаете с этим поэтом? Он слишком дорого просят?

Борзиг. Нет, он умер...

Зёнтген. Ах да... правильно, припоминаю. Но разве у нас нет других поэтов?

Борзиг. Я привлек этого молодого человека не только для брошюры о Бехере.

Зёнтген. Ах так? Вы думаете, он может сочинить для нас хорошую рекламу? Он человек стоящий? Я хочу сказать — знаменитый?

Борзиг. В своем кругу он известен, его высоко ценят... и я сам считаю, что у него есть идеи... да, у него есть фантазия (*вздыхнув*), однако боюсь, он не захочет на нас работать. Он... Понимаете, эти люди страшные чудачки. Когда он писал брошюру, я дал ему два месяца сроку, помощника и тысячу марок. Не исключено, что он сделал бы эту работу и за пятьсот. Если я расскажу ему о проколорите, объясню, что это за лекарство и против чего его применяют... ему безусловно придет в голову масса интересных идей, но, если я потом попрошу: сочините мне рекламу — и вы за это получите три тысячи марок... он заупрямится, как осел. У него сразу возникнут подозрения.

Зёнтген. Тогда предложите ему меньше денег (*смеется*), если от их избытка он становится ослом. Надолг был такой же чудак?

Борзиг. Вначале и он упирался, но потом, когда оказался у меня в руках, сразу понял свою настоящую цену... и тогда стал заламывать такие деньги, каких не запросил бы самый прожженный делец. У этих людей свои странности, но фантазия у них великолепная, нам без них не обойтись... А потом вдруг наступает момент, когда их фантазией овладевают деньги...

Зёнтген. Что касается пантотала, то он всекупил... как будет с проколоритом, покажет время. Мы должны его протолкнуть, Борзиг. (*Тихо.*) Сами понимаете: все лекарства, которые выпускались при Бехере, все без исключения имели прекрасный сбыт. Проколорит — первое патентованное средство, которое выпущено после того, как я занял директорское кресло... И сразу — провал. Проколорит необходимо протолкнуть, Борзиг. Попытайтесь уломать этого поэта...

Борзиг. Я пригласил его сегодня на чашку чая. Не хотите ли с ним познакомиться?

Зёнтген. Да, меня он интересует... Я... Удивительно, что мы и впрямь нуждаемся в таких людях. Может, лучше нанять его на постоянную работу? Я подумаю на этот счет, не смогу ли я... Конечно, я хочу прежде удостовериться в его способностях.

Борзиг. Значит, вы зайдете ко мне, господин директор?

Зёнтген. Зайду. По-моему, это для нас важно.

Звук зуммера.

Секретарша (*по селектору*). Разрешите, господин директор?

Зёнтген. Несите.

Входит секретарша. Слышно, как звенит посуда.

Зёнтген. Благодарю.

Борзиг. Благодарю.

Секретарша. Пожалуйста.

Секретарша уходит.

Зёнтген (*смеется*). Кофе немножко запоздал, но все равно пейте. Хорошо, я сегодня приду к вам. Мы *должны* протолкнуть проколорит. Борзиг, скажите, вам не кажется, что кривая спроса на нашу продукцию имеет несколько странный вид?

Борзиг. Я... э... я не совсем понимаю...

Зёнтген. Наше лучшее лекарство, разумеется, брамин: это на самом деле хорошее средство от простуды. А как его покупают? Хуже всего... Наше самое скверное лекарство — пантотал, оно... между нами говоря... (*Совсем понизив голос.*) Ну да мы ведь понимаем друг друга... (*Смеется.*) А люди просто рвут его из рук...

Борзиг. И для проколорита это плохой прогноз, господин директор.

Зёнтген. Примем меры. Неужели хорошее лекарство нельзя хорошо продать?

Оба громко смеются, приблизив лица к селектору.

Потом сцена на минуту пустеет.

Комната на пятом этаже. Окна открыты, и слышен шум вокзала, расположенного напротив. Здесь, наверху, уличный гомон звучит несколько приглушенно, время от времени сквозь него прорывается монотонное бормотанье — голос диктора на вокзале.

Роберт (*лежа на кровати в глубине комнаты*). Не знаю, чего ты хочешь. Любая другая девушка радовалась бы, если бы ее возлюбленного, жениха, на-

реченного... называй меня как хочешь... пригласили бы в такой дом. Неужели я должен прозябать в этой комнатухе и получать жалкие гроши за работу, которую лучше меня никто не сделает? Я понимаю, тебе так хотелось в кино и теперь тебе обидно. Но неужели ты всерьез думаешь, что я могу туда *не* пойти? Могла бы хоть немножко за меня порадоваться.

Франциска (*стоя у окна*). А сам-то ты разве радуешься? Ты уверен, что так уж надо радоваться их приглашению?

Роберт. Послушай, неужели кто-нибудь на моем месте не пошел бы?

Франциска. Не равняйся на других. Опасно, когда удача сама лезет в руки... Но ты так и не ответил на мой вопрос: ты очень радуешься?

Роберт (*тихо*). Да нет же, ты знаешь: я не люблю этих людей, они наводят на меня тоску, но я не могу упустить такую возможность. Разве ты никогда не думаешь о нашем будущем?

Франциска. О будущем? Ради будущего всегда пренебрегают настоящим. Знаешь, кто это сказал? Ты! Ты учил меня не верить людям, которые болтают о будущем... А теперь... теперь ты сам о нем говоришь, и при этом таким тоном, так серьезно, что я, прости, тебя не узнаю. Твои слова звучат так, словно их произносит другой человек, я их слышала, но в твоих устах они кажутся чужими. Ты говоришь с чужого голоса... и мне страшно. Понимаешь?

Роберт (*вздыхая*). Может, ты и права, но, послушай, я не понимаю, чего ты боишься? Почему мне нельзя к ним пойти?

Франциска. Я так радовалась, я хотела сделать тебе сюрприз... и вот...

Роберт. И вот ты раскапризничалась, как ребенок, которому сказали, что гулянья не будет. Воздушные шарики лопнули... и дождь смыл краску с деревянных лошадок на карусели...

Франциска. Нет, я не ребенок, но я еще помню, как чувствует себя школьник, удравший с уроков. Груз, который зовут будущим, свалился с плеч, а пути, связывающие тебя с другими, с прошлым, перерезаны; и миг ты очутился в бесконечно долгом настоящем. Думаешь, я с легкой совестью наврала шефу, будто мне надо к врачу? Мне было неловко — работы хоть отбавляй, — зато потом, сидя в поезде, я так радовалась,

что уже к четырем буду у тебя и целых полдня, целый вечер проведу с тобой... Пусть счета остались неотправленными: Цюссерли — в Берн, Фройтцхему — в Кёльн, Бремке — в Берлин,— не так уж это важно! Небось их не огорчит задержка — навряд ли они обрадуются, узнав, каковы их денежные дела.

Роберт. Да, ты не любишь усложнять себе жизнь. Не знаю, возможно, взрослые несправедливы к детям, но и дети несправедливы к взрослым. Против ваших доводов трудно спорить: настоящее... карусель... ветер... солнце и вода... даже Бога — вы все пускаете в ход.

Франциска. О каких доводах ты говоришь? Поверь, я уже не ребенок...

Роберт. Тогда ты должна понять, что я с тяжелым сердцем иду к Борзигу. И как раз в тот вечер, когда ты решила сделать мне сюрприз.

Франциска. Значит, ты все же пойдешь?

Роберт. По-твоему, надо отказаться? Ведь ради меня он пригласил Зэнтгена.

Франциска. Ради тебя? Держи карман шире! Чтобы Борзиг делал что-нибудь ради других? Его интересует только он сам.

Роберт. Откуда ты его так хорошо знаешь?

Франциска. Удивительное дело, с тех пор как ты у них побывал, ты заговорил совсем другим языком.

Роберт. Ты была там со мной, видела этих людей, беседовала с ними.

Франциска. Да, я их видела, с ними беседовала, пила их чай, курила их сигареты и ела их печенье. То, что для нас — хлеб, для них — сухая корка; мы пьем вино, а их интересуют марки вин... год и название... Подло называть хлеб сухой коркой! Хоть бы ты посмеялся над ними... какое нам дело до этих людей?

Роберт. Да, раньше я над ними смеялся... но, как ни странно, теперь уже не могу.

Франциска. Раньше, когда я не знала этих людей, я их боялась, а теперь я боюсь только за тебя.

Роберт. Понимаю... Кто-то из них, не помню точно, кто именно, минут пять болтал о Зухоке... а я понятия не имел, что такое Зухок, только потом догадался, что это, видимо, название отеля или какого-то курорта. Но я так и не признался, что в первый раз слышу слово «Зухок»... и не мог посмеяться над всей этой ерундой. Ты на самом деле боишься за меня? Или просто ревнуешь?

Франциска. Нет, я ревновала к девушке, с которой ты встречался летом; она была красотка, умница, и притом очень милая, и я боялась, что ты останешься с ней навсегда... но к этим типам из Зухока я не могу тебя ревновать. Мне просто грустно: неужели ты не тот, за кого я тебя принимала? Я за тебя боюсь.

Роберт. Может, и за себя?

Франциска. И за себя тоже. Скоро я приду в эту комнату, если вообще приду — и буду лежать одна на подоконнике и глядеть вниз, и слушать шум поездов, который мы так любили слушать вдвоем...

Роберт. Ты говоришь так, будто все уже кончилось.

Франциска. Да, кончилось. И уже не вернется.

Роберт. Ты даже не спрашиваешь, зачем меня позвали к Борзигу.

Франциска. Знаю — пить чай... но это будет самый горький чай в твоей жизни, и он тебе дорого обойдется — ты будешь расплачиваться за каждый глоток.

Роберт. Оказывается, ты умеешь предсказывать судьбу. Я и не знал, что ты ясновидящая. Откуда только взялась твоя мудрость?

Франциска. Из того, что слышат мои уши и видят мои глаза: стоило мне поглядеть на их лица, послушать их голоса — и я поняла, что они хотят от тебя чего-то такого, на что ты не должен соглашаться...

Роберт. Что именно, ты знаешь? Меня подстерегает таинственная опасность? Да? Но если я уклонюсь от сегодняшнего визита, ты так и не поймешь, были ли основания для страха.

Франциска. Разве ты сам не чувствуешь, что тебя подстерегает опасность?

Роберт молчит.

Не чувствуешь?

Роберт. Это что, допрос?

Франциска. Дай бог, чтобы тебя никто, кроме меня, не допрашивал.

Роберт (*встает, подходит ближе*). Господи, с каким удовольствием я пошел бы с тобой в кино: увидел бы героиню, которая до смерти влюблена в героя, и героя, который не любит героиню, я выпил бы после сеанса стакан лимонада, зеленого, холодного...

Франциска. Теперь уже ничего не изменишь. Ты все время будешь думать, что упустил главный шанс в жизни.

Роберт. Может быть, это действительно самый большой шанс в моей жизни.

Франциска. Ну и ступай, лови его.

Роберт. А что ты будешь делать?

Франциска. Ждать тебя и слушать шум вокзала, глядеть на водосточный желоб, курить сигареты и наблюдать за тем, как дождь смывает окурки. Если ты до десяти не вернешься, я пойму, что ты заплатил ту цену, которую от тебя потребовали.

Роберт. Наверное, ты права: то, что было, уже не вернешь. Ты — умница. Если я пойду к Борзигу, воспоминания о том, чем я пожертвовал в этот вечер, останется у меня навсегда, прекрасное воспоминание. Я буду помнить фильм, которого так и не увидел, лимонад, которого так и не пил, часы, которые мог бы провести с тобой, а провел у этих людей... Ты — умница...

Франциска. Тебе пора, если ты решил идти.

Роберт. Странно как оборачивается: сперва ты не соглашалась, не пускала меня, а теперь — гонишь!

Франциска. Не забудь купить цветы для фрау Борзиг.

Роберт. Ну вот, теперь ты учишь меня правилам хорошего тона...

Франциска. Да нет же... ты не поверишь... но она была со мной так мила. И к тебе она тоже хорошо относится... Мы долго с ней беседовали. Она там будет?

Роберт. Не знаю. До свидания. *(Подходит ближе.)*

Франциска. Не забудь цветы... И помни о Зухоке... Обещаешь?

Роберт. Да.

Фрау Борзиг. Какой прелестный букет, вы очень любезны... но почему вы не привели ту молодую девушку, которая была с вами в прошлый раз?

Роберт. Франциску?.. Господин доктор ничего мне не сказал. Кроме того, мы...

Фрау Борзиг. Что — вы?

Роберт. Немного повздорили.

Стук в дверь.

Фрау Борзиг. Войдите.
Слуга. Чай, сударыня.
Фрау Борзиг. Спасибо...

Слуга накрывает на стол.

(После паузы.) Что еще? Чего вы ждете?

Слуга. Сударыня, я... простите... (Покашливает.)
Господин Борзиг строго-настрого приказал мне следить, чтобы вы не утомлялись, вы же знаете, врач...

Фрау Борзиг. Знаю, что сказал врач. Я скоро опять лягу, скоро лягу в постель...

Слуга. Значит, прибор для вас в кабинете не ставить?

Фрау Борзиг. Нет, не надо. Не беспокойтесь...
А сейчас оставьте нас, пожалуйста, одних.

Слуга уходит.

(Наливает чай.) Вам с молоком?

Роберт. Нет, спасибо.

Фрау Борзиг. С сахаром?

Роберт. Нет, спасибо.

Фрау Борзиг. В прошлый раз вы пили чай с сахаром.

Роберт. По-моему, без сахара вкуснее.

Фрау Борзиг. Как хотите (Внезапно меняет тон.)
Вам надо точно знать, какой чай вам больше по вкусу. Эти вещи знать нелегко: люди идут на страдания, чтобы найти свой стиль. Когда-то я была знакома с человеком, который не мог пить чай без сырого желтка, *не мог, и все...* Через несколько дней я поймала себя на том, что и я не могу пить чай без сырого желтка, *не могу, и все.* Я давилась этой бурдой, но пила. И ела сыры, от которых меня всю жизнь тошнило, меня и тогда от них тошнило, но я их ела, потому что ел их он. (Сухим тоном.) Знаете, как звали того человека? Отто Занзель.

Роберт. Поэт? Вы были с ним знакомы?

Фрау Борзиг. Он был другом отца, в то время ему было уже за шестьдесят — высокий, с белой гривой... красавец с бархатным голосом. Таких, как он, в тринадцатом году называли ловеласами, матери тщетно берегли от них своих дочерей... Целый месяц я пила чай с сы-

рым желтком, пока как-то раз папа не смахнул с блю-
дечка чашку с желтком. (*Смеется.*) Пятно до сих пор
видно. Если хотите, покажу — ковер лежит теперь в
гладильной. Исторический ковер (*торжественно*), ковер,
который испортил Винцент Надольт.

Роберт. Винцент Надольт... был вашим от-
цом?

Фрау Борзиг. Да, это мой отец.

Роберт. Тысячи, сотни тысяч людей чтят его имя.

Фрау Борзиг. А миллионы людей он загипноти-
зировал своими стихами.

Роберт. Простите, я не знал, что тиражи его книг...
что круг его почитателей так велик.

Фрау Борзиг. Откуда вам это знать? Не изви-
няйтесь. Миллионы людей, которые стали жертвой его
стихов, понятия не имели, что они ему... что их покори-
л Винцент Надольт. Он сочинил рекламные стихи для
пантотала. До сих пор это хранилось в строгой тайне,
но вам ее все равно откроют — либо мой муж, либо Зён-
ген посвятит вас сегодня в этот секрет...

Роберт. Не понимаю, почему вы открыли тайну
Винцента Надольта именно мне? Как печально, что автор
«Отторгнутых далей» и автор рекламных виршей о па-
тентованном лекарстве — одно и то же лицо. Это боль-
шой удар, не понимаю только, почему вы мне его на-
несли.

Фрау Борзиг. Могу ответить: я прочла несколько
ваших очень хороших стихов. Я читала все, что вы напе-
чатала. Не так много, но стихи запомнились, хотя про-
шел уже год. (*Тихо.*) «...Когда начнется всемирный по-
топ, скамейки в классах всплывут под самый потолок;
на колокольнях поселятся акулы; на радиостанциях
будут кружиться ленты с записями, и удивленные сельди
волей-неволей выслушают доклад о смысле искусства...
но, увы, ничего в нем не поймут...»

Роберт. Пожалуйста, не надо читать мои стихи,
прошу вас...

Фрау Борзиг. Вам их неприятно слушать? Верю.
Вам они уже разонравились? И этому я верю, но *мне*
они нравятся, и их написали вы. Я знаю, что с рекламой
проколорита пока ничего не вышло, они ищут подхо-
дящего человека. (*Продолжает вполголоса.*) Дела их не ра-
дуют, не говоря уже о положении с недвижимым иму-
ществом. Ладно, кончаю, не буду вас больше мучить.
(*Кашляет долго, с надрывом.*)

Р о б е р т. Вы совсем больны, сударыня, вам действительно надо поберечься.

Ф р а у Б о р з и г. Да, больна, но еще несколько минут вам придется терпеть мое общество. Из-за чего вы повздорили с Франциской?

Р о б е р т (*помедлив*). На то было много причин. Уже некоторое время... Словом, в наших отношениях образовалась трещина. Долго все это рассказывать...

Ф р а у Б о р з и г. Можете не говорить, я и не собираюсь лезть вам в душу. Простите, я волнуюсь... но ваши стихи так похожи на стихи моего отца, пока он не начал сочинять рекламу пантотала. Прошло почти двадцать лет, но тот вечер страшно напоминает мне сегодняшний. Отцу было сорок, и он уже считался известным поэтом... а моему мужу было двадцать пять, столько же, сколько сейчас вам. Отец пригласил его на чашку чая, молодой человек написал о нем диссертацию... Мы еще тогда не знали, что он стал начальником рекламного отдела фирмы ОРАМАГ. Можете заткнуть уши, можете считать меня взбалмошной... думайте что хотите... Пусть вам кажется, что те десять минут, которые вы пробыли со мной,— пропащее время, но я должна была вам все это рассказать. Не скрою, меня немного испугала ваша уступчивость,— я говорю о бехеровской брошюре.

Р о б е р т. Я ничего не уступал.

Ф р а у Б о р з и г. Но ведь брошюра вышла с очень существенными купюрами.

Р о б е р т. Купюрами? Я вообще ее не видел... Разве она уже вышла?

Ф р а у Б о р з и г. Если вам не трудно, подойдите к книжной полке. Справа, рядом с красными книжечками Гофмансталя, лежит маленький пакет — десять экземпляров брошюры, которая появилась вчера.

Тишина.

Р о б е р т (*идет к полке, затем возвращается и читает*). «Вернер Бехер, барон фон Букум. Жизнь, отданная фирме ОРАМАГ. Текст Роберта Вильке... Вернер Бехер вышел из низов — отец его был простым стрелочником,— уже с ранних лет проявил одаренность, которая отличает великие умы». (*Изменившимся голосом.*) Но здесь пропущено... этого я не писал... Здесь выпущено все, что придает своеобразие личности Бехера. Это ведь набор штампов!

Фрау Борзиг. Только не делайте из этого трагедии, ваша рукопись в прежнем виде никогда не увидела бы света. Этого вы действительно не могли требовать от ОРАМАГа. Не волнуйтесь, Бехер был гангстером, но он, по крайней мере, признавал, что он гангстер. Этим он отличается от Зэнтгена...

Роберт. Меня должны были хотя бы поставить в известность.

Фрау Борзиг. Конечно, вас должны были поставить в известность. Но не забудьте, что вам заплатили.

Роберт *(тихо)*. Кажется, Франциска была права.

Фрау Борзиг. Что она говорила?

Роберт. Она рассердилась... хотела сделать мне сюрприз и пойти со мной в кино. Она говорила почти то же, что и вы.

Фрау Борзиг. Я всю жизнь мечтала иметь такую дочь, как Франциска.

Роберт. Но ведь у вас есть дочери, простите за смелость — прелестные дочери!..

Фрау Борзиг. Вы по-прежнему любезны, даже несмотря на то, что вас бессовестно надули. Да, у меня прелестные дочери... Но мой вам совет: подойдите к телефону и вызовите такси... Почему вы еще здесь?

Роберт. По-вашему, мне надо уйти? Почему я не ухожу? Сам не знаю. Наверное, потому, что я их не боюсь. Может, мне здесь и не место, но мне интересно... Еще успею уйти.

Фрау Борзиг. Берегите время, часы уходят, дни исчезают, как дым от сигареты... годы мелькают, как скверная кинолента, и в один прекрасный день оказывается, что твои дочери похожи на кинозвезд, которые тебе никогда не нравились... и тебе остается только «налаженный дом», — кажется, так это принято называть? Чистота, все лежит на месте, но зато утром, когда ты просыпаешься, тебя слегка подташнивает, и ты сама не знаешь почему... Так будьте первым человеком, кто послушался чужого совета. Вы словно те глупые мальчишки, которые хотят своими глазами увидеть войну, хотя отцы рассказывали им, что это грязь и бессмыслица и что войну облагораживают лишь мертвецы — ангелы, захлебнувшиеся в грязи. Попробуйте выйти из рокового круга, не стремитесь ничего узнать, ни в чем убедиться, поверьте на слово: время, которое вы проведете за чаем в этом доме, выброшено на ветер.

Роберт. Благодарю вас, но я человек любопытный...

предоставьте меня самому себе. Жаль только, что вы не будете присутствовать на этой чашке чая...

Фрау Борзиг. Не могу, не могу больше слышать их голоса, не могу больше видеть их лица. Я уеду, уеду далеко-далеко. Позвольте напоследок рассказать вам, что написал мне перед смертью отец. Хотите?

Роберт. Хочу.

Фрау Борзиг. «В молодости, — писал мне отец, — я знал небритых мошенников: людей, которые писали плохие картины, плохие стихи, людей, которые продавали за десять пфеннигов лезвия для бритвы ценой в два пфеннига... позднее я жил в мире гладко выбритых мошенников, среди людей, которые писали плохие картины, плохие стихи и продавали вещи ценой в два пфеннига за целую марку. Когда я стал старше, мир небритых мошенников я вновь предпочел миру гладко выбритых мошенников».

У дома останавливается машина... Голоса... Смех в передней...

Фрау Борзиг (*понижив голос*). Ну что ж, ступайте в мир гладко выбритых мошенников.

На всем протяжении следующей сцены время от времени слышится звяканье чашек, чирканье спичек и т. д.

Зэнтген. Мне, как ближайшему другу Вернера Бехера и его нынешнему преемнику, было чрезвычайно интересно прочесть, милейший господин Вильке, вашу работу о высокоуважаемом шефе, проявлявшем обо мне поистине отеческую заботу. Рад познакомиться с вами...

Роберт. Я был потрясен, господин директор, узнав, что брошюра уже напечатана. Я полагал... я твердо рассчитывал, что мне покажут исправления. В результате, мне кажется, личность господина барона фон Букума изображена не совсем верно.

Зэнтген. Очень приятно, что вы вступаетесь за свою рукопись, защищаете свое детище. В противном случае я был бы в вас разочарован. (*Смеется*). Поздравляю, у вас бойкое перо.

Борзиг. Во всем виноват я, милый Вильке. Действительно, я не дал вам возможности ознакомиться с моей поправкой, но у меня была уважительная причина: времени оставалось в обрез, вы же знаете, что через четыре дня — юбилейная дата: день рождения Бехера...

Зэнтген. Мы оказали вам большое доверие —

дали на дом материал, который мог бы нанести фирме заметный, *весьма* заметный ущерб, попади он в руки конкурентам. Представьте, что вам пришлось бы в голову продать концерну ЗУНАГ ну, скажем, дневники Бехера, в которых высказаны довольно забавные мысли...

Р о б е р т. По-моему, я не давал вам повода...

З ё н т г е н. Я вас ни в чем не подозреваю, я просто говорю, что мы могли отнестись к вам с подозрением. Признаюсь, я пожурил доктора Борзига за оказанное доверие, а сейчас хвалю за риск. Ведь теперь мы уверены, что можем вам доверять. Не сомневайтесь, мы это оценим.

Б о р з и г. Вы так горячо защищаете свою рукопись, что позвольте и мне сказать несколько слов. Допустим, мы предложили бы читателям ваше сочинение об основателе без всяких поправок. Со страниц брошюры несомненно встал бы образ мудрого, очень своеобразного человека, который на склоне лет пришел к весьма интересным философским выводам о сущности бытия, так сказать, образ Скептика с большой буквы... Прекрасно... но ведь здесь, милый Вильке, мы вступаем уже в область чистой литературы. (*Совсем другим тоном.*) Неужели вы думаете, что после такого сочинения мы продали бы хоть одну лишнюю упаковку синзолина или коробку пантонала?

Р о б е р т (*тихо*). Не понимаю, почему именно мне вы доверили такую ответственную работу — брошюру памяти Бехера.

З ё н т г е н (*серьезно*). Причина очень простая: ваши прекрасные произведения навели нас на мысль создать своего рода литературный фонд, из которого мы сможем черпать материалы для информации о нашей фирме.

Б о р з и г. Давайте говорить конкретно: каждый уличный мальчишка, любая домашняя хозяйка понимает теперь, что наш век — век «Public relations». Это уже азбучная истина. На нас обрушивается поток информации: лозунги и рекламы. Но лозунги и рекламы, которые на первый взгляд кажутся блестящей импровизацией; короткие рекламные истории, которые как бы ненароком выходят из-под пера, — на самом деле плод тяжелого, кропотливого труда, они создаются на основе статистики, на обширном материале. Вы, милый Вильке, должны собирать для нас этот материал и его обрабатывать... Смею вас уверить, работа эта не такая уж скучная.

Зёнтген. Вот вам пример: мы начали выпускать новое лекарство, препарат, который спасает людей от дальтонизма. В современном городе на каждом шагу светофоры: зеленый свет, красный свет, желтый... Представьте, если бы дальтонизм вдруг стал массовым явлением: на красный свет водители едут, на зеленый — тормозят... катастрофа за катастрофой.

Роберт. Но я не совсем понимаю, что я могу или должен сделать для пропаганды этого препарата...

Борзиг. Ваша задача — показать людям все ужасы такой слепоты, мы... ведь знаем факты... вам надо только напрячь фантазию и расписать опасность дальтонизма так, чтобы ее почувствовал каждый. Простой перечень несчастных случаев на людей не действует, а коротенькая история с изложением известных всем обстоятельств...

Зёнтген. История, которая может произойти с любым... все ее сразу поймут. Мы знаем такой случай внезапного дальтонизма: агент какой-то фирмы попал в аварию, за одну ночь он вдруг потерял способность отличать красный цвет от зеленого... Неужели ваша фантазия молчит?.. Ведь история потрясающая!

Борзиг. Мы знаем, что он сел в машину, поехал к своим клиентам, а через час был уже мертв.

Роберт (*тихо и медленно*). А ваше средство в самом деле помогает против дальтонизма?

Зёнтген. Вы только что были справедливо обижены, почувствовав в моих словах недоверие... А сейчас позвольте и нам несколько... несколько удивиться. Неужели вы думаете, что мы продаем препараты, предварительно их не опробовав? Да нас, не говоря уже обо всем прочем, немедленно посадили бы на скамью подсудимых... Данные о несчастных случаях, конечно, тоже получены из официальных источников...

Роберт. Какой ужас! Подумать только: прими этот человек ваше лекарство, он жил бы до сих пор! Перед уходом он, наверно, поцеловал жену, попрощался с детьми... даже со стола еще не успели убрать... жена помогала детишкам уложить ранцы, вечером они, возможно, собирались сыграть в рич-рач или устроить домашний концерт... но вечером он уже не сможет поцеловать жену, не увидит детей, они так и не сыграют в рич-рач... Почему же он не принял ваше лекарство?

Зёнтген. Если бы он *принял проколорит*, вечером он смог бы поцеловать жену, обнять детей, поиграть с

ними... Великолепная реклама! Она хватается за сердце, берет за живое: дети не стали бы понапрасну ждать отца...

Роберт. К сожалению, история эта слишком страшная, она не для рекламы...

Борзиг. А вы подумайте вообще о значении цвета в жизни людей, цвет женских волос... губ... зелень травы...

Роберт. Вы можете себе представить, чтобы человек вдруг увидел зеленые губы, красную лужайку?.. Фантастика! Возьмем футболиста: красные трусы вдруг показались ему зелеными, он принял чужого игрока за своего, и это произошло в решающую минуту, у самых ворот, когда он собирался забить гол...

Борзиг. Он так и не забил гол. А из-за этого те, кто поставил на команду дальтоника, потеряли сто тысяч и всю команду перевели в низший класс...

Зёнтген. Превосходно! Реклама и футбол... Превосходно! Поздравляю вас, эти первые идеи — залог нашей успешной совместной работы. Не надо ссылаться на жертву автомобильной катастрофы. Это уж слишком... делать бизнес на смерти...

Роберт. У меня другое опасение: я не совсем уверен, что дальтонизм — такая уж опасность. И сомневаюсь, стоит ли запугивать человечество, если болезнь угрожает только горстке людей. А что если мы заставим пятьдесят тысяч человек купить препарат, который по-настоящему нужен только троим из них?..

Борзиг. Но мы спасем жизнь хотя бы этим троим...

Роберт. Из-за этого, по-вашему, пятьдесят тысяч должны выбросить на ветер по две марки и десять пфеннигов?

Борзиг. Разве человеческая жизнь ценится на деньги?

Роберт. Конечно, нет, но мои сомнения...

Зёнтген (*прерывает его*). Я хочу предложить вам вот что: предоставьте все сомнения нам... Пусть они вас не тревожат. Мы поручаем вам написать три-четыре маленьких рассказа, в них вы объясните людям опасность дальтонизма и целебные свойства проколорита. Обычная сделка: у вас есть идеи, у вас есть фантазия, мы эти идеи покупаем. Насчет цены договоримся, мы в таких делах — не мелочны...

Борзиг. И если вы действительно спасете хоть

одну человеческую жизнь, одну-единственную... если вы...

Роберт. Я... я еще ничего не решил, сначала я хочу убедиться, что дальтонизм — реальная опасность...

Борзиг. Поверьте, такая опасность *существует*. Зайдите ко мне, мы потолкуем, и я берусь вас в этом мгновенно убедить.

Роберт. Тогда надо подвергнуть каждого автомобилиста, а еще лучше всех взрослых вообще, специальным обследованиям. И прописать проколорит тем людям, которые больны этой болезнью или к ней предрасположены...

Зэнтген. Во-первых, это слишком долгая процедура. Сами знаете, как трудно расшевелить наши инстанции... На это нужна целая вечность... И к чему это приведет? В лучшем случае фирма продаст еще десять или двадцать тысяч коробок проколорита, а мы выпустили пятьсот тысяч и с огромным трудом продали только пятьдесят, да и то благодаря нашей хорошей репутации. Милейший Вильке, люди слишком самоуверенны... их надо попугать...

Роберт. Я ни под каким видом не приму в этом участия!.. Запугивать людей мнимой опасностью...

Борзиг. Да никто и не говорит, что вы должны сразу же дать согласие. Кроме того, у нас есть и другие планы: по-моему, очень важно показать, что за маркой промышленной фирмы скрываются живые люди. Все знают, что такое ОРАМАГ, но для большинства это нечто абстрактное, фантом, бессмысленное сочетание букв... На самом деле ОРАМАГ — это Бехер, ОРАМАГ — это Зэнтген, то есть за этими буквами стоят вполне определенные личности. Я считаю, что эта задача первостепенная. Ваша брошюра памяти Бехера уже отчасти ее выполнила. Теперь надо продолжить традицию, я бы сказал, традицию разрушения мифа, окутывающего нашу фирму.

Зэнтген. Прекрасная мысль... однако нельзя так долго вести серьезные, глубокомысленные разговоры... Вильке, вы еще так молоды, серьезность вам не к лицу. Попробуйте развеселиться! Послушайте, дорогой, а вы знаете, у скольких людей больные почки?

Роберт. Нет, не знаю.

Зэнтген. И я не знаю, но зато мне известно, что концерн ЗУНАГ продает ежемесячно тридцать тысяч коробок своего препарата от болезней почек. И все по-

тому, что они выпустили великолепную рекламу: гигантские плакаты, где изображена больная почка... а под ней глупая, но доходчивая надпись: «Не забывай о своих почках!» (*Смеется.*) Ну вот, с тех пор люди не забывают о своих почках и расхватывают лекарство ЗУНАГа... Неужели, по-вашему, я должен быть совестливее, чем мои конкуренты? У меня на руках крупное предприятие, служащие, на наших заводах прекрасно поставлено социальное обеспечение... у нас даже есть дом отдыха для кормящих матерей... а на складах фирмы мертвым грузом лежат четыреста пятьдесят тысяч непроданных коробок проколорита... (*Смеется.*) Ваше упрямство делает вам честь, оно мне по нутру: чем вы несговорчивее, тем больше мне хочется вас заполучить. Я не люблю молодых людей, которые сразу же готовы на все. Ну а теперь к столу... Идемте, не вешайте носа!.. Я слышал, вы собираетесь жениться, это правда?

Встает, стулья отодвигаются.

Р о б е р т. Жениться? Да... я подумывал об этом, вернее... вы меня навели на эту мысль...

Б о р з и г. Не беспокойтесь ни о чем, пусть вас больше не мучают сомнения... Пойдемте ужинать... (*Понизив голос.*) Знаете, у вас были неплохие предшественники... вы, конечно, слышали о Надольте?..

Р о б е р т. Да, я слышал о Надольте...

Б о р з и г. А знаете ли вы, что Надольт...

Р о б е р т (*прерывает его*). Знаю, и именно это и навело меня на размышления.

Б о р з и г. Откуда вы знаете? Не понимаю...

З ё н т г е н. Пошли, господа, довольно секретничать.

Все уходят. Шаги...

(*Слышен приглушенный голос Зёнтгена.*) Доктор Борзиг, этого поэта мы должны заполучить, у него есть фантазия, превосходные идеи... Вы слышите, мы должны его заполучить!

Те же звуки, что и во второй сцене, но теперь уличный шум уже стих; голос диктора на вокзале монотонно бубнит. Время от времени доносятся отдельные слова: «...пересадка...», «...отправление...», «...двадцать три часа...», «Поезд следует до...», «Просим поторопиться».

Ф р а н ц и с к а. «...Когда начнется всемирный потоп, морские львята будут разъезжать на эскалаторе, который

так и не остановится... окунь подцепит с люстры завтрак директора театра, бутерброд с яйцом, и невозмутимо сожрет его. Из людей останутся в живых только два школьника, прогулявших урок плавания ради того, чтобы взобраться на купол собора; самым безопасным местом окажется перекладина креста; водоворот вынесет к кресту кое-какие предметы, которые пригодятся ребятам: банку ананасного компота или целлулоидную утку — ее дали в придачу к полфунту маргарина... Рыбы будут охотнее всего метать икру возле шпилей готических соборов...»

Фрау Борзиг. Обидно, что отец уже не смог прочесть эти строки, ему бы они понравились.

Франциска. Мне они не особенно нравятся: может, это и хорошо звучит... но мне страшно, а я и так запугана. Ваш отец... В нашей школьной хрестоматии были напечатаны его рассказы. Такие хорошие рассказы. Зачем вы пришли? Сказать, чтобы я не верила этим рассказам?

Фрау Борзиг. Я боялась, как бы вы не согласились на такую жизнь, какую вела я. Толстый слой ваты отгородит вас от мира... и вы станете ужасно рассудительны. Вас будут пичкать порошками, пилюлями и таблетками в красивой упаковке... у вас появятся прелестные дочери и зятья — кумиры модных портных... плечи, талия, бедра — как у манекенов. При этом они образец интеллектуальности, интеллектуальности высшей марки.

Франциска. Может, вы и жили так, но я буду жить иначе.

Фрау Борзиг. Для этого я и пришла сюда. Я никогда ни с кем не откровенничала, никогда ни во что не вмешивалась. Только когда я увидела вас и его... когда узнала, что он должен делать то же, что делал мой отец... (*Горько.*) Знаете ли вы, что такое пантотал?

Франциска. С раннего детства. Пантотал...

Фрау Борзиг (*резко прерывает ее*). Массовый психоз... и ничего больше. Концерн продал миллионы коробок пантотала, отец писал к ним стихи, а мой муж распространял эти стихи по всему миру. Вот я и говорю...

Франциска. Дайте мне время подумать... Я ведь его предостерегала, но теперь не хочу злорадствовать. Глупо говорить: «Видишь, я была права». У нас ведь еще есть время.

Фрау Борзиг. У вас не так уж много времени, не обольщайтесь. Из дня в день, из года в год вы будете ждать, что наконец-то начнется настоящая жизнь, но она так и не начнется... Густая пыль покроеет все кругом, и время будет глядеть на вас глазами удава. Вы сами перестанете понимать, какое оно — бездушное или коварное... Ваша жизнь пройдет под знаком того, что будет написано в его договоре с фирмой: «Интересы ОРАМАГа превыше всего». Вы можете как угодно менять буквы в слове «ОРАМАГ»... переберите хоть весь алфавит, ничего от этого не изменится.

Франциска. Если вы думаете, что ничего не изменится, зачем вы тогда пришли?

Фрау Борзиг. Не отступайте ни на шаг, как отступила я, не давайте себя усыпить, не слушайте голоса благоразумия. Жизнь вынуждает делать многое, что нам не нравится... плохо, когда это начинает нравиться. Нельзя потакать тупости, как бы ее ни прославляли...

Франциска. У Роберта был очень жалкий вид?

Фрау Борзиг. Да нет, вид у него был совсем не жалкий. Но ему вообще не следовало с ними говорить. Их слова постепенно убаюкивают, они текут тонкой струйкой, как песок... Годы заносит песком, будто речную дельту... Люди десятилетиями глотают песчинки, одну за другой, а потом вдруг спохватываются: на дне их души образуется тяжелый как свинец осадок: лень и тоска... Сито оказалось недостаточно частым. Пуще всего опасайтесь благодушия — этой самой липкой и мягкой грязи... Плохо не то, что они переделали его сочинение о Бехере, плохо то, что он согласился с купюрами. Нет ничего более дурацкого, чем юбилейные издания фирм. Кто их принимает всерьез? Глупейшая штука... но пусть они творят эти глупости сами.

Франциска. Не хочу... Не хочу, чтобы мир превратился в сплошные штампы. Не хочу в один прекрасный день вжиться в штамп и почувствовать себя как в собственной шкуре! Не желаю быть даже самым частым ситом, сквозь которое проходят мельчайшие песчинки... я хочу быть стеклянной, чтобы не пропускать сквозь себя ничего... Но у меня еще есть время.

Фрау Борзиг. Да, время у вас еще *есть*. Но не зевайте, не то время распорядится вами по-своему. Время как повилика: незаметно оно обвивается вокруг нас, и вдруг вы понимаете, что попались в ловушку — время высосало из вас все соки, задушило... Сама не знаю, зачем

я пришла сюда: ради вас или ради себя. Но берегитесь, не то вас засосет мягкая тина благоразумия и все кончится тем, что вы решите: Бога было необходимо распять... Не давайте Роберту у них работать. Иначе вас начнет подташнивать по утрам и вы сами не будете знать отчего.

Франциска. Вам надо было там остаться. Вы бы мне рассказали, что он решил.

Фрау Борзиг. Не могу больше слышать их голоса, не могу видеть их лица. Скоро я уеду далеко-далеко, но прежде мне хотелось с вами поговорить: мне казалось, что игра стоит свеч. Берегитесь, вам сразу же набросят на глаза темное, тяжелое покрывало, и прежде чем вы соберетесь с силами и поднимете его,— окажется, что прошло уже десять лет. Это покрывало называется «Пожить для себя...». Вы сидите в темной комнате и беспомощно ерзаете, потом на секунду пробуждаетесь, но на вас уже успели накинуть второе покрывало под названием «Дети. Счастлирое материнство...», в темноте вы слышите смех, вы поднимаете покрывало и узнаете, что прошло еще десять лет. Потом наступает краткий миг озарения, и вы видите, что вокруг вас совершенно чужие люди, вскормленные пантоталом. Это — ваши дети. Третье покрывало называется, так же как и первое, «Пожить для себя...», вам уже сорок пять лет, и вы с ужасом смотрите, как быстро пролетела жизнь. И ничего у вас не осталось, кроме грязи, которую нанесли годы. (*Резче.*) Разгребайте ее руками, выплевывайте, бросайте назад в прошедшие годы, кричите, стараясь перекрычать вкрадчивое бормотание тупиц... Я не кричала, но зато теперь буду орать во все горло. Какое-то время осталось и у меня, и я воспользуюсь им...

Франциска (*прерывает*). Перестаньте, пожалуйста... у меня такое чувство, будто я уже много десятилетий глотаю грязь, о которой вы говорите. Мне страшно, мне кажется, что тело у меня налилось свинцом,— перестаньте, пожалуйста. Я должна была настоять, чтобы Роберт туда не ходил... нельзя гулять по болоту, либо ты его обойдешь, либо завязнешь. Я оказалась права, но теперь стыжусь своей правоты. Глупо торжествовать, надо ему как-то помочь, грош цена моей правоте... Все, что вы говорите, я и сама знала, но не так ясно... Просыпаясь, я пока еще не чувствую тошноты, я радуюсь ломтю хлеба, который съедаю за завтраком. Знаете, как вкусен хлеб... тот, что вы зовете сухой коркой?

Фрау Борзиг. Нет, забыла... Не знаю...

Франциска. Плохо! Это нельзя забывать, нельзя забывать, как ты разламываешь хлеб... как вонзаешь зубы в шероховатую корку... как ласкает твои губы мякиш и ты чувствуешь его сухую нежность. (Смеется.) И еще многое нельзя забывать: шум кофейной мельницы, которую по утрам вертела мама, шум этой маленькой, скрипучей кухонной шарманки... И как в соседнем доме хныкал ребенок. Нет, пока меня еще не тошнит, и мои дети будут моими детьми, и больше ничьими...

Фрау Борзиг. От всего сердца желаю вам удачи. Простите, если я вас напугала.

Франциска. Вы меня здорово напугали: грязью, которая с течением времени осядет во мне... и чувством тошноты по утрам... темными покрывалами, которые мне могут накинуть на глаза. Неужели я стану слепой игрушкой уходящих лет?.. Но в детстве вы, наверное, не плакали, сидя в зимний день на корточках перед булочной, и не вдыхали теплый, сладкий запах свежего хлеба...

Фрау Борзиг. Нет. А вы плакали... перед булочной?

Франциска. Да. Меня посылали купить несколько хлебцев, в руке я сжимала монетки, но прежде чем зайти в булочную, я становилась на колени прямо в сугроб у окна, окунала лицо в хлебный дух... И плакала.

Фрау Борзиг. Почему вы плакали?

Франциска. Не знаю почему... я не могла удержаться от слез и не понимала, как может жена булочника быть такой равнодушной... Когда я шла в школу, булочник стоял в дверях и курил, он был усталый, бледный и приветливый. Тогда мне становилось стыдно...

Фрау Борзиг (смеется). Чего вы стыдились?

Франциска. Не знаю... я стыдилась и его и себя... Может, мне было стыдно потому, что булочник был ко мне несправедлив,— впрочем, так же, как и я к нему... Такое же чувство бывает у меня, когда я плачу в кино. Роберт говорит, что ни один фильм не стоит слез.

Фрау Борзиг. Боже мой, вы плачете в кино! Но, детка моя... вы ведь должны... (Смеется.) Нет...

Франциска. Я знаю, что плакать глупо, этого делать не следует, но и Роберту не следует надо мной смеяться и ругать меня. Это так же, как с булочником... это так же, как со стихотворением о всемирном потопе. Вы правда находите его хорошим?

Фрау Борзиг. Я нахожу его прекрасным.

Франциска. А я — нет: может, оно и красивое, может, оно хорошо звучит... и картина, нарисованная в нем, прекрасна, но... я не знаю... мне кажется, что в нем — какая-то фальшь: если нас что-нибудь действительно страшит, надо плакать... А это стихотворение не вызывает слез, оно, видно, написано для людей, которые просыпаются по утрам с чувством тошноты, а меня еще пока не тошнит.

Фрау Борзиг. Я никогда не плакала перед окном булочной, никогда не плакала в кино и забыла, как вкусен хлеб... тот, что мы называем сухой коркой.

Франциска. Скажите, вы никогда не замечали, как красивы разноцветные леденцы: красные, зеленые... до чего же они зеленые, удивительно зеленые... меня это всегда трогает.

Фрау Борзиг. Мне их не разрешали сосать, это вредно для здоровья.

Франциска. Не так вредно, как глотать пыль, которую вы глотали всю жизнь. Они... *(Внезапно прерывает себя.)* Вот идет Роберт.

Тишина. Потом вдруг слышны шаги.

Фрау Борзиг. Мне надо уходить. Выпустите меня поскорее.

Роберт. Вы здесь? Я рад, что могу вас поблагодарить.

Фрау Борзиг. Я уйду, не благодарите меня... Лучше расскажите Франциске, как там было. Она вас ждет...

Роберт. Ничего особенного там не было... я так и предполагал. У меня осталось сожаление о том, чего не произошло в этот вечер, хотя могло бы произойти... и сожаление становится все более ощутимым.

Фрау Борзиг. Прощайте, я наговорила вам уйму глупостей. Стоит мне вспомнить, как вы плакали у порога булочной, и я чувствую, что могла и не приходить. Но я с радостью встретилась бы с вами еще раз.

Франциска. Я не забуду ваших слов: сито будет частым. Я постараюсь не пропустить сквозь него ни одной пылинки и не позволю времени обвивать меня, подобно повиликке. Я войду прямо в него, как в улицу, на которой плачут дети, на которой пекут хлеб и кофейные мельницы скрипят, подобно маленьким шарманкам. Любовь доплескивается до нас из чужих парадных; заметив мои

слезы, улыбается беспомощно булочник, ему стыдно... и мне стыдно, сама не знаю почему.

Фрау Борзиг. До свидания. Если у вас найдется свободный часок, пригласите меня на хлеб или на слезы в кино.

Франциска. До свидания.

Роберт. До свидания.

Дверь закрывается.

Франциска. Я боюсь тебя даже спрашивать.

Роберт. Что ты делала без меня все это время?

Франциска. Лежала на подоконнике и ждала. Твоя комната самая лучшая из всех комнат на свете: отсюда виден вокзал, слышен его шум, его запах... бормочущие голоса внизу, отдельные слова; они звучат таинственно, хотя ничего таинственного в них нет... Это самые простые слова: часы и минуты, станции, номера... Сегодня мне вдруг показалось, будто я знаю, что всемирного потопа не будет. Когда пришла фрау Борзиг, мне стало страшно; когда она заговорила, у меня было такое чувство, будто на меня покусились смерть, но смерть, надушенная грустью, обрызганная одеколоном, чем-то тошнотворным и в то же время имеющим привкус икры. Она по-своему права, как прав и булочник, который уже не умеет плакать, вдыхая запах хлеба... Зато я могу встать на колени прямо в сугроб и плакать над хлебом, потому что он так сладко пахнет, и над снегом, над его белизной... А что ты делал без меня?

Роберт. Ну, скучать было некогда: они хитрые. Но самое странное, что на них тоже лежит этот налет печали. Печаль может разжалобить. И все же они недостаточно хитры и недостаточно печальны... Я не могу сделать то, чего они от меня требуют. Не могу, даже если бы захотел. Я вижу их насквозь и представляю себе людей, обманутых моей рекламой: они кладут две марки и десять пфеннигов на прилавок аптеки, за эти деньги они могли бы купить себе хлеб, сигареты или пойти в кино. Эти деньги они могли бы кому-нибудь подарить. Я вижу монеты, сложенные в стопки; пфенниги кишат, словно мириады вредных насекомых. Доктор Борзиг сказал: «Не надо заглядывать чересчур далеко, не надо ни во что вникать». А как же можно далеко не заглядывать, не вникать?.. Люди видят красные губы, зеленую траву... Неужели я должен их уговаривать, что

они видят плохо, что губы им кажутся зелеными, а трава красной? «Их надо напугать»,— сказал Зёнтген. Но они и так уже напуганы. И я не хочу пичкать их дешевыми утешениями. А главное: я не хочу разжигать в них дешевый страх... Ну а чего ты ждала от меня?

Франциска. Я боялась и в то же время не теряла надежды. Я знала, что все случится именно так, как случилось. Я надеялась, что ко мне вернется тот, за кого я тебя принимала.

1955

ИТОГ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

К л а р а, под шестьдесят.

М а р т и н, шестьдесят с небольшим.

К р а м е р, шестьдесят с небольшим.

Л о р е н ц, около тридцати пяти.

А л ь б е р т.

Спальня Клары. В комнате тишина, она лишь изредка прерывается звуками извне: смехом, звяканьем кофейной посуды, стуком мячей пинг-понга, шумом проезжающей машины,— звуками, которые обычно доносятся через открытые окна в тихих кварталах города летом, в воскресный день после обеда.

К л а р а. Еще нет ответа?

М а р т и н. Нет.

К л а р а. Ты давно отправил телеграммы?

М а р т и н. Два часа назад.

К л а р а. Ответ мог уже быть, хотя бы от одного из детей.

М а р т и н. Наверно, их нет дома.

К л а р а. Да. Кто же в такой день сидит дома? Лето, праздник, солнце... Может, ты не слышал телефонного звонка?

М а р т и н. Нет. Я все время прислушиваюсь. Разве я хоть раз пропустил телефонный звонок?

К л а р а. Нет, никогда, ни разу с тех пор, как мы поженились. Но я почему-то всегда боялась, что мы не услышим звонка.

М а р т и н. Детей нет дома, Клара.

К л а р а. Они поздно вернутся, может, только ночью, они увидят под дверью желтый конверт, поднимут его, распечатают, прочтут... Что ты там написал?

М а р т и н. «Мама тяжело заболела, хочет вас всех видеть. Папа».

К л а р а. Ты должен был написать: «Мама умирает, мама умирает, приезжайте».

М а р т и н (спокойно). Ты не умрешь, Клара.

К л а р а (спокойно). Я умру, и умру сегодня, сегодня... Прежде чем зайдет солнце, я буду уже мертва. Я прочла это на лице врача, почувяла по запаху его рук, они пахли моей смертью, услышала по голосу, увидела по его движению, когда он захлопывал сумку. Он скрыл от меня, что написано на этикетке ампулы. Ты это прочел, ты знаешь. Он тебе сказал? (*Короткая пауза.*) Ты молчишь.

М а р т и н. Он сказал, что положение серьезное.

К л а р а. Серьезное, да, оно серьезное. Я не хочу вытягивать из тебя слово за словом то, что сказал врач. Я не хочу тебя мучить, но прошу, говори со мной так, будто ты веришь, что я... что я... Ты для меня это делаешь?

М а р т и н. Сделаю, хотя...

К л а р а (*перебивает его*). Не лги. Не произноси «хотя». Умирающим не говорят «хотя». И я не хочу знать, что тебе сказал, уходя, священник. Целых три минуты вы шептались там за дверью...

М а р т и н. Три минуты?

К л а р а. Три минуты и двадцать шесть секунд. Я смотрела на часы, не спускала глаз с секундной стрелки; она двигалась по кругу, все время по кругу... Почему часы всегда круглые? Ты никогда не замечал, какие они смешные, эти крошечные секундные стрелки, всегда за чем-то гонятся и никак не могут угнаться, никак. Они такие прилежные, по-дурацки прилежные, но никак не поймают того, что хотят поймать, никак. Целых три минуты и двадцать шесть секунд ты провел наедине со священником. Я не хочу знать, что он тебе говорил.

М а р т и н. У тебя больше ничего не болит?

К л а р а. Нет. Лекарство из ампулы сняло боль. Никогда еще я не чувствовала себя так хорошо, ничего не болит. Меня это даже беспокоит.

М а р т и н. Во время последнего приступа тебе тоже сделали укол.

К л а р а. Но не такой. У меня было много приступов, мне делали много уколов, но сегодня... Ты не видел его рук, когда он захлопывал сумку...

Мартин. Столько приступов, столько укулов... почему же...

Клара (*прерывая его*). Не будем спорить: ты это знаешь, и я это знаю. Мартин, скажи мне все, что ты хотел бы сказать, если бы не должен был ничего скрывать... (*Короткая пауза.*) Говори, что ты должен сказать. Тебе нечего...

Мартин. Ты знаешь, я тебя люблю. Скажи лучше ты, что я могу еще тебе дать, если... если тебе и правда так мало осталось.

Клара. Ну что ж, скажу, чего я хотела всю жизнь: я мечтала узнать до конца хотя бы одного человека на этой земле.

Мартин. Разве ты меня не знаешь?

Клара. А ты меня знаешь?

Мартин. Мы женаты тридцать восемь лет, у нас было пятеро детей, четверо из них еще живы.

Клара. Да, и еще зять, невестка и трое внуков.

Мартин. Что с тобой, Клара? Чего ты хочешь?

Клара. Я ведь сказала — мне так хотелось по-настоящему узнать хотя бы одного человека на этой земле.

Мартин. Разве ты меня не знаешь?

Клара. А ты меня знаешь? (*Короткая пауза.*) Мы все время возвращаемся к вопросу, на который необходимо ответить либо «да», либо «нет», но мы ничего не отвечаем.

Мартин. Мы неплохо прожили с тобой жизнь. Несколько лет, правда, было тяжелых. Сколько? Не так уж много. Но разве это была не жизнь?

Клара. Да, это была настоящая жизнь. Во всяком случае, меня миновало то, чего я с детства боялась: мне никогда не было скучно. Мы хорошо жили, даже денег и тех обычно хватало. Машина, дом, удачливые дети... кроме одного, одному из наших детей не повезло.

Мартин. Клара!

Клара (*тихо*). Ты меня не понял. Я думала не о Лоренце, а о Лизелотте, о моей маленькой дочурке, которую я потеряла так рано. Столбняк! Кто о нем думает, когда семнадцатилетняя девушка падает с велосипеда? На ранку кладут пластырь, — кто думает о смерти? Но смерть пришла, пришла в летний день в воскресенье, в такой же день, как нынче: на улицах было пусто, жарко и тихо... Только где-то скандалил

пьяный — он напился спозаранку,— скоро крик его затих в глубине бульвара. Но я увидела смерть на лице врача, почуяла в запахе его рук, когда он перед моим лицом пощупал пульс Лизелотты... а потом на лице молодого человека, который так безудержно рыдал над могилой. (Замолкает.)

М а р т и н. Какова его судьба, этого Беньямина Хуфса?

К л а р а. Да, его звали Беньямин Хуфс. Он знал это тело, лежавшее в гробу... ее плоть. Моя дочь Лизелотта... она была такая милая, тихая девушка, но Беньямин Хуфс...

М а р т и н. Зачем ты меня мучаешь, Клара? Зачем?

К л а р а. Я не хотела тебя мучить. Прости. Тебе это причиняет боль? Меня это утешает.

М а р т и н. Утешает? Я в это не верю. Зачем ты это говоришь?

К л а р а. Потому что я все знаю. Я знала уже тогда, а четыре года спустя он сам мне признался.

М а р т и н. Беньямин?

К л а р а. Да. Он зашел ко мне, когда приехал на побывку. Мы сидели на веранде кафе, за городом. Стояла осень, день был теплый, но очень ветренный... Да, в тот год была ветреная осень. Когда он мне рассказал, я рассердилась... но и Беньямин ведь уже давно умер. Я больше не сержусь. Не грусти, Мартин.

М а р т и н. Моя дочь Лизелотта... Зачем ты мне это рассказала?

К л а р а. Не для того, чтобы причинить тебе боль. Это не должно причинять боль. Но тебе больно?

М а р т и н. Больно... Что значит больно... Я думал о ней каждый день, каждый день. Сейчас она была бы молодой женщиной, у нее был бы муж, дети... красивая женщина, молодая... Она была такая умница. Я часто заходил за ней в школу, брал ее с собой в кафе выпить чашку кофе или съесть мороженое; я пил пиво и читал свежий выпуск вечерней газеты. Понимаешь ли ты, что значит сидеть на террасе кафе с семнадцатилетней дочкой и читать газеты? Люди проходят мимо... вечереет... и твоя дочь смеется. Зачем ты рассказываешь мне такие вещи? Может, это все ложь, может, ты прочла неправду на лице Беньямина... может, он тебе просто соврал, сам поверил, что его желание осуществилось.

К л а р а. Может, ты и прав. Тебе это на самом деле причиняет боль?

М а р т и н. Боль? Ну да, потому что ты это мне говоришь сейчас, когда мы разговариваем так, будто ты...

К л а р а. Будто я умираю? Да, я умираю. Наверно, оттого я такая злая. Но я сказала тебе не со зла.

М а р т и н. Почему же? Почему ты мне это сказала?

К л а р а. Потому что я хотела узнать хоть одного человека до конца. А я не знала даже Лизелотту, мою маленькую дочку, такую прелестную, тихую девочку. Ее лицо вдруг потемнело. Под вечер, как нынче. Было лето, воскресенье, светило солнце... на бульваре горлачил пьяный... Врач нес смерть на своих усталых плечах. *(Короткая пауза.)* Я думала о Лизелотте, когда говорила, что не все наши дети были удачливыми.

М а р т и н. А я подумал о Лоренце. *(Пауза.)* Ты была такой мрачной после смерти Лизелотты много лет подряд.

К л а р а. Да, я была мрачной. И злой. А ты — нет. Ты не был мрачным.

М а р т и н. Да, я просто горевал, я горюю до сих пор. Моя дочь, семнадцати лет. А Беньямин Хуфс... он часто ко мне приходил, пока у меня еще была адвокатская контора. После обеда он сидел наверху, в моей конторе на Оттоненвал, ты знаешь, поглядывал в окно на фонтан, на кладбище при церкви урсулинок. Он хотел стать юристом. Я знакомил его с делами, он набрасывался на них, как голодный набрасывается на хлеб. Этот мальчик...

К л а р а. Он умер. Ты на него еще сердишься?

М а р т и н. Да нет... Лизелотта...

К л а р а. Мне так захотелось поговорить о Лизелотте. У меня это просто вырвалось. А ты думал о Лоренце? Ты послал ему телеграмму?

М а р т и н. Какой смысл? Я позвонил Кузлику. Это будет трудно сделать, его... он... ты знаешь...

К л а р а. Знаю... Ты уже три раза за него ручался, и каждый раз он тебя подводит. *(Возбужденно.)* Ты думаешь, они его все же отпустят?

М а р т и н. Я звонил всем, кто может хоть что-нибудь сделать. Но ты ведь знаешь, он уже два раза... его отпускали только потому, что мы говорили... мы...

К л а р а. Мы говорили, что я умираю? Но я не умерла *(смеется)*, а Лоренц убежал. Кому ты звонил?

М а р т и н. Кузлику, Пехвену... и председателю.

К л а р а. Крамеру?

М а р т и н. Да.

К л а р а. А что сказал тебе Крамер?

М а р т и н. Он обещал сделать все, что в его силах.

К л а р а. А у него достаточно влияния и сил, чтобы Лоренца отпустили?

М а р т и н. Только у него есть и влияние и власть... От него все зависит. Мне было тяжело его еще раз об этом просить. Если Лоренц придет и опять... нарушит свое слово, это может стоить Крамеру его председательского места. Именно потому, что это Лоренц.

К л а р а. Не понимаю.

М а р т и н. Лоренц — сын его коллеги, его друга. Ведь в тюрьмах сидят сотни людей, чьи матери... тяжело больны.

К л а р а. Мартин, я должна увидеть Лоренца, должна. Позволь мне самой поговорить с Крамером. Пожалуйста, позволь. Крамер знает, что врач сказал тебе за дверью?

М а р т и н. Крамер пришлет его. Но Лоренц уже не в городской тюрьме. Он за городом, в Банвейлере, на сельскохозяйственных работах.

К л а р а. А что, если он как раз сегодня бежал?

М а р т и н. Крамер сам намерен его привезти.

К л а р а. Я не хочу видеть Крамера, я хочу видеть Лоренца. (Резко.) Не надо мне Крамера.

М а р т и н. Но он не оставит Лоренца одного ни на секунду.

К л а р а. Он тебе так сказал?

М а р т и н. Да, он привезет Лоренца, но не будет спускать с него глаз.

К л а р а. Надеюсь, Лоренц бежал.

М а р т и н. Тогда ты его сегодня не увидишь.

К л а р а. Это лучше, чем видеть его вместе с Крамером.

М а р т и н. Я могу позвонить Крамеру. Но он наверняка уже в пути. Почему ты не хочешь видеть Крамера? Он был всегда нашим другом, всегда был к нам расположен — чего только он не делал ради Лоренца! Чем только ради нас не рисковал! Не понимаю. Неужели мне нельзя привести их обоих к тебе?

К л а р а. Крамера не пускай... но сына... Как я могу прогнать Лоренца, зная, что умру?

М а р т и н. Ты не умрешь.

К л а р а. Не лги. Разве ты стал бы звонить Краме-

ру и просить его привезти сюда Лоренца, если бы ты не знал? Ах (*смеется*), Мартин, ты никогда не умел лгать, ты никогда не умел лгать. Всегда был просто-филей. Я знаю тебя тридцать восемь лет, и ты не часто пробовал меня обманывать. Всего раз шесть или семь за тридцать восемь лет. В первый раз — после того как нацисты тебя выгнали и ты брал по утрам портфель, термос с чаем и бутерброды и как ни в чем не бывало шел к трамвайной остановке, делая вид, будто спешишь на работу... Во время обеда ты мне звонил, но по твоему голосу я понимала, что они тебя выгнали. Во второй раз — когда нацисты заставили тебя бросить твою контору, помнишь?

Мартин. Ты хочешь припомнить каждую мою ложь?

Клара. Нет... но сейчас ты сам себя выдал: если бы я была просто тяжело больна, разве ты стал бы просить председателя Крамера отпустить Лоренца в четвертый раз, после того как мальчик трижды не сдержал своего слова.

Мартин. Я не могу поверить, что ты умрешь. Ты больна, тяжело больна, но многие болели тяжелее, чем ты, и выздоравливали.

Клара (*мягко*). Не лги, Мартин. У тебя не получается. Когда ты лжешь, ты ведешь себя, как мальчишка, который подражает взрослым. Не лги. Я... я — умею лгать.

Мартин. Ты меня часто обманывала?

Клара. Ты ведь сам знаешь, правда?

Мартин. Знаю, но, наверно, не все. Наверно, был обман, о котором я не знаю.

Клара. И хочешь узнать теперь?

Мартин. Ну вот ты и призналась, что был обман, о котором я ничего не знаю.

Клара. Лизелотта... Все, что я о ней рассказала, вырвалось у меня помимо воли. Ну а если бы я промолчала, разве это не была бы ложь? Разве она не была бы больше твоей дочерью?

Мартин. Она все равно моя дочь (*другим тоном, вполголоса*), а ты все равно жена и будешь ею, пока смерть нас не разлучит.

Клара. Она нас скоро разлучит, Мартин.

Мартин. Я не могу в это поверить. Ты любишь жизнь. Если бы ты была уверена, что ты... ты не была бы так спокойна.

К л а р а. А я не спокойна. На душе у меня горько, и, может быть, скоро в ней проснется злоба. Но тело мое меня не тревожит. После укола наступило перемирие... может, я примирилась с Богом... но пока еще не с людьми.

М а р т и н. На душе у тебя горько? Ты затаила злобу? На меня?

К л а р а. Нет. Не на тебя. На тебя меньше, чем на кого бы то ни было. Я всегда тебя любила.

М а р т и н. Правда, всегда?

К л а р а. Ты это о чем?

М а р т и н. Ты же знаешь.

К л а р а. Неужели мы станем об этом говорить?

М а р т и н. Но ведь ты хотела узнать хоть одного человека до конца. Разве ты не знаешь меня?

К л а р а. Теперь мне надо спросить: а ты знаешь меня? И мы снова вернемся к тому, с чего начали,— к недомолвкам... Разве это не было недомолвкой, когда я говорила с тобой о Лизелотте, а мы с тобой должны были говорить о Лоренце. Но сначала я хочу тебе ответить: нет, я тебя не знаю. Нет на земле человека, которого я знаю так хорошо, как знаю тебя, и все же — я не знаю ничего. В те времена ты каждый вечер уходил один — на час, на два, на три, иногда надолго. Один.

М а р т и н. Я выпивал рюмку, гулял, стараясь отвлечься... это было страшное время: никаких денег, никаких надежд, в глазах детей застыл немой вопрос... а ты... даже если ты и была дома, ты избегала моего взгляда. Ты смотрела мне прямо в лицо... и не видела меня. Этим искусством ты овладела в совершенстве: ты скашивала глаза ровно настолько, чтобы взгляд твой скользил мимо.

К л а р а. Знаю, ты выпивал рюмку, гулял, стараясь отвлечься... Никаких денег, никаких надежд, и в глазах детей застыл немой вопрос... И я избегала твоего взгляда... Но о чем ты думал все то время, о чем ты думал?

М а р т и н. Я думал о многом, чаще всего о детях, которые ушли от меня,— о Лизелотте и о Лоренце. Иногда они снова были со мной, им было столько лет, сколько я хотел... мои маленькие овечки, они опять были со мной. Молодая женщина целует меня, показывает своего ребенка, берет цветы, которые я принес, наливает воду в вазу, ставит цветы и с улыбкой говорит: смотри, какие красивые. Юноша везет меня на

машине к аэродрому, далеко-далеко, по зеленому полю к небольшому ангару. Мы останавливаемся, выходим из машины, и он выводит из ангара маленький самолет... потом мы летим выше туч, далеко над морем, видим изрезанные берега неведомых островов, реки, бегущие среди лесов, льды, вечные льды... Я и мой молодой Икар... Иногда я видел тебя, видел, как вхожу к тебе в комнату... Тысяча девятьсот восемнадцатый год, ты три дня ждала меня в отеле «Бельведер», в твоём чемоданчике лежала буханка хлеба, ночная рубашка и баночка джема, а в сумке — пудра, носовой платок и десяток сигарет... сигареты были для меня. Ты ждала три дня, ты была мне не жена и даже не невеста...

К л а р а (*перебивая его*). И мне было столько же лет, сколько Лизелотте. (*Короткая пауза.*) Слышишь?

Пауза.

Ты слышишь?

М а р т и н. Да, я слышу... Ты поэтому мне о ней рассказала?

К л а р а. И поэтому.

М а р т и н. Да? А еще почему?

К л а р а. Я сидела на кровати и плакала, потому что портье хотел меня выгнать. У меня не было ни денег, ни паспорта, ни багажа. Я ушла из дома без спроса, ничего не сказав. В семнадцать лет, в отель под названием «Бельведер», а на улицах запах голода, и серые фасады домов выглядят так, будто знают, что чему-то пришел конец.

М а р т и н. Да, чему-то пришел конец. Кто-то сказал, будто в городе убивают тех, кто носит офицерские погоны, а на мне были офицерские погоны. Я уже три недели был лейтенантом. Но меня не убили, когда я шел через заслоны, патруль дал мне буханку хлеба и четыре сигареты... и отобрал у меня пистолет. Я был рад от него избавиться. Портье в «Бельведере» подозрительно на меня посмотрел, узнав, что я иду к тебе в номер, но я отдал ему хлеб, и его подозрения рассеялись.

К л а р а. Зачем тебе нужно было пить и бродить в одиночестве, чтобы все снова увидеть? Ведь я была дома и ждала тебя.

М а р т и н. Ты не всегда была дома и не всегда ждала, не правда ли?

К л а р а (*тихо*). Да.

Мартин. Ты встречалась с каким-то мужчиной. Я не знал с кем. Не хотел этого знать.

Клара. Ты все еще не знаешь, кто это был?

Мартин. Нет.

Клара. Хочешь знать?

Мартин. Нет. Я хотел бы знать только одно: зачем ты это сделала?

Клара. Не знаю зачем. Не хочу об этом говорить. Это была точно хворь... и она быстро прошла.

Мартин. Тебе больно об этом говорить?

Клара. Да, больно, это еще мучительнее, чем смерть Лизелотты.

Мартин. Тогда не будем говорить. (*Другим тоном.*) А дети до сих пор молчат.

Клара. Да, до сих пор молчат. Альберт ни за что не пропустит своей прогулки с женой и ребенком. Через парк, вокруг пруда, они выпьют кофе с пирожными в ресторане, сфотографируются у памятника Барбароссе, вернутся назад через парк, обойдя пруд, поднимутся на вышку, снова щелкнут фотоаппаратом, запечатлеют резкую линию горизонта, над которой, подобно мечтам потонувших кораблей, вырисовываются колокольни, редкие крыши домов, похожие на обломки кораблекрушения. Мой сын Альберт родился уже взрослым: приветливый, интеллигентный, не эгоистичный... он всегда чувствовал, когда мне было плохо, приходил на кухню или в столовую, садился на кровать, раскладывал пасьянс и, отрываясь от карт, поглядывал на меня с улыбкой или как бы ненароком дотрагивался до моей руки. Взрослый с пеленок. Школа, университет, работа, прелестная жена, милый ребенок и сам он отличный супруг. Двадцать лет каждое воскресенье он фотографирует с вышки колокольню в Банвейлере. Он увеличивает снимки — пятьдесят на пятьдесят, — а потом смотрит на них через лупу. Ты когда-нибудь разглядывал его фотографии? Когда на них смотришь, просто захватывает дух... Вспоминаешь, что тридцатилетнему отцу семейства, который изображен в саду около церкви, уже пятьдесят, а его десятилетнему сынишке — тридцать, и он теперь играет с десятилетним мальчиком, своим сыном, а пирог на столе всегда один и тот же: сливовый пирог со взбитыми сливками. По снимкам видно, как растут деревья, растут, пока их не срубят... и на их месте вырастают новые деревья, — поселок почти не меняется. (*Взвол-*

нованно). Ты разглядывал когда-нибудь все эти фотографии подряд, одну за другой? Их ведь тысячи, тысяча раз повторяется все тот же поселок, снятый в воскресенье с вышки... куры у ручья, надпись на колокольне, которую, наверно, так никто и не прочел, небо вечерет, хотя на снимке этого и не видно... Банвейлер в дождь, в жару, в снег, в войну, в дни мира... деревушка, каких не счесть на этой убийственно унылой равнине. Мой сын Альберт, по воскресеньям возвращается с прогулки ровно в половине седьмого. В тридцать пять минут седьмого он позвонит нам или примчится на такси. Который час?

М а р т и н. Без четверти шесть.

К л а р а. Еще пятьдесят минут, только через пятьдесят минут я услышу голос Альберта, а может, дотронусь до его руки, посмотрю ему в глаза... Иосиф вернется домой поздно, он, наверно, ушел с какой-нибудь девушкой. И вернется очень поздно, пожалуй, только утром, усталый, угрюмый. Угрюмым он бывал и в шесть лет, когда я будила его по утрам в школу. Я просто приходила в бешенство, глядя на его лицо — пьяное от безразличия. С таким лицом он ходил часов до трех дня. Зато потом, когда уроки были кое-как сделаны, он становился совсем другой... помнишь? Он просто сиял. Иосиф любил послеобеденный досуг, вечер, ночь; он выполнял свои обязанности равнодушно и угрюмо, но он их выполнял; до трех часов дня он почти не открывал рта... Помнишь, в какой ярости были учителя, когда однажды он три недели подряд не отвечал на вопросы?.. Иосиф пошел гулять с какой-нибудь девушкой, его не будет дома до утра. Его я теперь уже больше не увижу, никогда не увижу моего младшенького. Школа, война, школа, работа, — скорей бы конец! Ты заходил когда-нибудь к нему в контору и видел, как он работает? Как он диктует письма? Глаза у него становятся жесткие, темные от безразличия... зато посмотри на него, когда он выходит из конторы, когда уже миновал швейцара. Он так и остался ребенком... Хорошо бы он вернулся сегодня пораньше... Может, лучше было послать телеграмму его хозяйке? Может, она знает, где Иосиф?

М а р т и н. Я послал телеграмму хозяйке, хотя...

К л а р а (мягко). Никаких «хотя», Мартин. Умирающим не говорят «хотя». Ты послал ей телеграмму... ты позаботился обо всем. А о Кларе ты тоже

подумал? Она не умела лгать, так же как и ты. Она совсем не умела лгать. А ей это искусство было нужней, чем кому бы то ни было. Улыбка Клары превращала мужчин в дураков, они сразу глупели, становились игрушкой в ее руках... И так она жила, пока не выяснила, что она не охотник, а дичь... и вот ее поймали, она в силках, запуганная и укрощенная... стирает пеленки, варит обед, подает домашние туфли... Моя красивая маленькая птичка, у нее подрезаны крылья, глаза потеряли блеск... Герои, увешанные орденами, плакали под ее окном, молодые поэты писали ей длинные письма... люди, которые шли на верную смерть, думали только о ней и больше ни о чем, а теперь... Но ведь Клара должна быть дома, правда?

Мартин. Да, ты права, я мог бы к ней съездить, посмотреть, не...

Клара. Нет, останься, останься со мной. Скоро приедет Лоренц. Подумать только, Лоренц приедет первый. Лоренц... Иногда я уже не помню, как он выглядит. А видела ли я его вообще, рожала ли я его?.. Каким он был в пять лет? Не знаю. Лет с десяти он никогда не сидел на месте... он прыгал с крыши форта со старым бабушкиным зонтиком... Он не сидел ни минуты: облазил все рвы и пещеры, все деревья... а потом поступил в школу планеристов... летал, потом началась война, опять летал... мир... Не знаю, где пропал мой сын. Тюрьма... война... тюрьма... мир... Неужели я давала ему каждый день хлеб? Давала хлеб маленькому? Не помню. У меня перед глазами руки всех моих детей. Руки, в которые я совала хлеб и яблоки, шоколад, грязные ручки, которые я мыла. Но его рук я не помню. Он никогда их ко мне не протягивал, никогда, ни за чем. Бывало, он что-нибудь приносил сам: орехи, птичьи перья, камушки... модель самолета. А как выглядел его ранец, и был ли у него ранец?

Мартин. Он не слишком жаловал свой ранец.

Клара. Скоро я его увижу, Мартин, скоро... Подумать только, его первого.

Мартин. Ты уверена, что Крамер привезет Лоренца?

Клара. Да, совершенно уверена. Крамер его привезет.

Мартин. Крамер всегда был хорошим другом. Еще в студенческие годы. Я им всегда восхищался.

Он весь светился, был такой искренний и в любую минуту готов...

К л а р а (*перебивая его*). Странное дело. Твои похвалы звучат так, словно ты когда-то выучил их наизусть. Ты не умеешь лгать даже тогда, когда сам не сознаешь, что слова твои лгут. Но я сразу слышу, когда ты лицемеришь.

М а р т и н. Говоря о Крамере? Зачем мне лгать, когда я о нем говорю?

К л а р а. Ты лжешь, сам того не сознавая. Он по-прежнему светится, о да. Таких людей, как Крамер, называют прекрасными товарищами. Ты им искренне восхищаешься. Как мне тяжело это слышать из твоих уст, больно.

М а р т и н. Больно? Так же больно, как от того, с чего мы начали наш разговор?

К л а р а. Еще больнее. (*Тише.*) Ты ведь знал его задолго до того, как узнал меня, правда?

М а р т и н. Мы учились в одной школе, вместе отбывали военную службу, во время войны были в одной роте, а потом вместе учились в университете, в один день сдали выпускные экзамены. Не забудь, вся наша семья умерла бы с голоду, если бы Крамер нам тогда не помог.

К л а р а. Да, знаю.

М а р т и н. Ты ведь не была знакома с ним до нашей женитьбы?

К л а р а. Нет, ты познакомил меня с Крамером, со своим другом. Не сразу. Мы были уже три года женаты. Альберт уже появился на свет, и я ожидала Лизелотту. Когда Лизелотта родилась, он приносил мне цветы. Тогда ты был его начальником.

М а р т и н. Сейчас он мой начальник.

К л а р а. Да, он стал председателем, и он привезет мне Лоренца.

М а р т и н. Для него это большая жертва. Ты должна понять, чем он рискует.

К л а р а. Он пойдет на риск, чтобы привезти Лоренца. Ты сообщил Крамеру, что я... что тебе сказал врач?

М а р т и н. Я уже сказал: положение очень серьезное.

К л а р а. Когда ты с ним разговаривал?

М а р т и н. После ухода священника, полчаса назад.

К л а р а. Сколько ему нужно времени, чтобы добраться до Банвейлера?

М а р т и н. Думаю, минут двадцать, не больше.

К л а р а. Тогда через двадцать минут он будет здесь, может быть, даже раньше. Ведь и председателю надо минут десять, чтобы вызволить Лоренца из-под стражи. Бог наказал меня: я не могу увидеть Лоренца, не встретившись с Крамером.

М а р т и н (тихо). С Крамером?..

Тишина, только какой-то звук слышен вдруг совершенно отчетливо: детский смех или стук мяча для пинг-понга, а может быть, звякнула кофейная посуда.

(Так же.) Но почему?

К л а р а. Потому, что я люблю тебя... и потому, что он придет... и ты все поймешь, даже если я тебе ничего не скажу. Может, тебе суждено то, что не суждено мне: узнать до конца хоть одного человека. Меня. Ту, которую ты любишь. Давай помолчим. Есть вещи, которые становятся еще страшнее, когда их произносишь вслух.

М а р т и н. Нет, говори.

К л а р а. Часы, дни... Если сложить эти часы и дни, то получатся месяцы, а может, и годы, когда ты был один. Ты пил? Ходил гулять? Да, знаю... Но ты же думал в это время, с кем-то говорил... О чем ты думал? С кем говорил? Ты тратил не больше тридцати секунд, чтобы мне рассказать, что ты тогда делал и о чем думал.

М а р т и н. Возможно, я был болен. Заболел от отращения. Мне всегда казалось,— у меня есть жена, дети, работа, которая дает мне достаточно денег, чтобы прокормить и одеть семью. Большого я не хотел. Долг, работа, жена, дети... Но потом я узнал — у меня нет ни жены, ни детей, а моя работа толкает на преступление, и я от нее отказался. Как отвратительны были эти окрошавленные полотенца в гардеробах палачей... Землекопы день и ночь, как кроты, рыли во дворе все новые и новые подвалы. Это было в тот год, когда умерла Лизелотта и ты начала избегать моего взгляда... в тот год, когда Лоренц ушел из дому.

К л а р а. Я любила тебя в те дни больше, чем когда бы то ни было... если вообще может быть «больше» или «меньше». И как раз тогда, в то время, после смерти Лизелотты... (Замолкает.)

Мартин. Что же было тогда, в то время?

Клара. Тогда ты начал пить. (Тихо). Будто зарядил обложной дождь — долгий, но мелкий. Чем больше ты пьянел, тем тише становился. Во сне твое лицо казалось таким спокойным. Я часто наклонялась над тобой по ночам. И подолгу... искала в твоём лице горечь, ту горечь, которую почувствовала после смерти дочери, но ничего не находила: ни горечи, ни злости... Я наклонялась над тобой, как тридцать восемь лет назад в отеле «Бельведер», когда, смертельно усталый, ты заснул рядом со мной и я осторожно, боясь разбудить тебя, взяла из твоих рук зажженную сигарету. Номер с бледно-зелеными обоями на стене — фотография какого-то принца, принц был слишком хилым для своего тяжелого мундира, казалось, что это проказник мальчишка, тайком пробравшийся на маскарад... Когда я наклонилась над тобой, ты был такой же, как двадцать лет назад, как тогда, в отеле «Бельведер»... такой, словно ты еще никогда не видел смерти. Зато я, я узнала ее: смерть сидела во мне — черная и горькая, она по капле проникала в меня...

Мартин. Я не всегда спал, когда ты наклонялась надо мной, я часто чувствовал твое лицо рядом с моим, но такое чужое, что я боялся открыть глаза и посмотреть на тебя. Я не хотел видеть на твоём лице того, что мог бы увидеть.

Клара. Ты должен был открыть глаза. Я этого ждала.

Мартин. Не хотел... и старался прийти домой тогда, когда постель твоя была пустой или ты уже заснула. И я не наклонялся над тобой. Боялся включить свет... тихо раздевался в темноте, а когда просыпался, постель твоя снова была пустой. Спать я мог долго. Для дел, которые у меня еще оставались, хватало второй половины дня. Их было немного. В суд нацисты меня не пускали. Воротник у меня залоснился, и я стал тем, чем меньше всего хотел бы стать: подпольным адвокатом. Я давал людям, которых встречал у трактирной стойки, юридические советы, они платили мне кружкой пива или рюмкой водки. За липкими столиками пивнушек я составлял заявления и сочинял жалобы, часами просиживал в моей бывшей конторе на Оттоненвал и думал о Лоренце и Лизелотте. Хорошо еще, что был Крамер. Он мне помогал. Он меня покрывал.

К л а р а. И он получил твое место.

М а р т и н. Я на него не в обиде. Тогда, после смерти Лизелотты, ко мне в контору часто заходил Бенъямин Хуфс и все повторял, как он мною восхищается. А когда его взяли в армию, он обещал бороться за то, что я олицетворяю.

К л а р а. Он погиб... и вовсе не за то, что ты олицетворяешь. Когда я узнала, что он убит, я обрадовалась, что он знал Лизелотту... ее тело, и больше чем тело, гораздо больше...

М а р т и н. Ты обрадовалась?

К л а р а. Да, обрадовалась. Сначала я пришла в ужас... но потом, когда он погиб... я радовалась, когда о них думала. Ты мне никогда не рассказывал, что Хуфс ходил к тебе в контору.

М а р т и н. Он никогда не говорил со мной о Лизелотте, ни разу. Он расспрашивал меня о законах... и мне приходилось рассказывать ему о беззакониях. Иногда он приглашал меня выпить чашку кофе или приносил немного спиртного, покупал мне сигарету... Он делал это очень тактично, чтобы меня не обидеть... он не понимал, что меня уже ничто не обижало. Во всяком случае, такое. Но он ни разу не заговорил о Лизелотте.

К л а р а. Тебе далеко не обо всем можно сказать. А ведь это я тебя обижала, а? Правда?

М а р т и н. Да. Потому что я ничего не понимал. Какая же это любовь? Разве ты еще любила меня?

К л а р а. Да. Дело было совсем в другом. Я чувствовала горечь и злобу. И это было вроде смерти. Я хотела выключиться из времени, из собственной жизни, и мне это удалось. Много дней и вечеров я проводила в местах, лежавших вне моей жизни, вне времени, время текло мимо меня. И жизнь моя текла мимо меня.

М а р т и н. Ты заблуждаешься. Время текло там, где ты была, и жизнь твоя шла там, где ты была, в другом месте тебя не было, не было совсем, ни следа. Иногда я возвращался домой неожиданно рано, часам к трем-четырем. Дети делали себе бутерброды, пили какао или чай, они спрашивали меня, где мама, и я качал головой,— я этого не знал. Альберту исполнилось восемнадцать... Кларе... ей исполнилось...

К л а р а. Да, знаю: Кларе было десять, Иосифу — шесть, знаю, знаю. Когда я возвращалась домой, время, от которого я хотела убежать, настигало меня с удвоен-

ной, с утроенной силой. Оно накидывалось на меня, хватало за горло. Дети ведь не знали, что со мной. А может, знали?

Мартин. Нет, они не знали, что с тобой. И все же чуяли: в воздухе пахнет бедой. В комнатах царило тягостное молчание, в прихожей притаился страх. Так мы сидели, не говоря ни слова, пили чай и ели хлеб.

Клара. Беда была близко. Часто я думала — выпрыгнуть, как из летящего самолета, прямо вниз, в синий воздушный океан... но он меня от этого удерживал. Он тебя боялся.

Мартин. Меня? Разве я из тех, кого можно бояться?

Клара. Ты сам не знаешь, как ты бываешь ужасен.

Мартин. Ужасен? Я — ужасен.

Клара. Да, потому, что ты... потому, что ты порядочный человек.

Мартин. Я — порядочный? Нет, ты действительно меня не знаешь. В этот год я иногда приводил в контору женщину. Кельнершу из кабачка.

Клара. Ты?

Мартин. Да. Я покупал бутылку дешевого вина, печенье, несколько сигарет. Мы пили вино, ели печенье, курили сигареты, я держал ее за руку. Иногда я клал голову ей на колени, закрывал глаза и просил ее что-нибудь рассказать — о своем детстве. Она выросла в рыбацкой деревушке, и когда, склонившись надо мной, она тихо рассказывала, я вдыхал запах водорослей, рыбы, слышал смех дачников, рев бури и прибой; часами бродил с ней по берегу моря, по сосновым лесам, болотистым лужайкам, осенью забирался с ней в заколоченные дачи — искал забытые сигареты и недопитое вино и консервы. Я растапливал камин в чужих домах, а снаружи ревели буря и грохотал прибой... Я слышал, как возвращаются баркасы, видел усталые лица рыбаков, в свете фонарей кровь на серебряной чешуе рыб... а когда я подымал голову с ее колен и пытался привлечь ее к себе, она отводила мои руки и, смеясь, говорила: «Брось, это тебе не идет». И я смеялся вместе с ней.

Клара. Смеялся? Думал об этом и смеялся? Смеялся?

Мартин. Да, смеялся. Я ничего не мог с собой поделаться. Потом я шел домой, пил с детьми чай, помо-

гал им делать уроки, подходил к зеркалу и даже немного гордился своим потертым воротником и преклонением передо мной Беньямина Хуфса. Мои сыновья становились старше — с ними уже можно было говорить по душам. Началась война... и в один прекрасный день ты к нам вернулась.

К л а р а. Я вернулась к вам, когда он уехал. Я была счастлива. Я мечтала, чтобы он погиб. Ни одна любовница не желала так сильно смерти своему любовнику, как я. Я его ненавидела потому, что он обманывал тебя. Он забрасывал меня письмами, я распечатывала их только для того, чтобы узнать, когда он придет в отпуск, на это время я уезжала.

М а р т и н. Почему ты ничего не говорила мне?

К л а р а. Почему ты не открывал глаз, когда я наклонялась над тобой по ночам? Я не могла тебе ничего сказать. Я понимала, что говорить об этом еще хуже, чем таиться. Жернов — вот что я чувствовала, на шее у меня висит жернов, и я тону, тону, а дна все не видно, кругом крошечный мрак, мимо проносятся какие-то чудовища, отовсюду несет зловонием, а я падаю все ниже... Смеяться... Ты говоришь, что не мог не смеяться. Тебе повезло с той женщиной: ты мог с ней смеяться. Мы с ним никогда не смеялись. Ни разу.

М а р т и н. Ты говоришь «с ним». Это действительно был Крамер?

К л а р а. Да, он.

М а р т и н. И кто был в этом виноват?

К л а р а. Не только он. Он, правда, начал первый. Он преследовал меня много лет. С тех пор как родилась Лизелотта и до самой ее смерти. Понимаешь? Семнадцать лет... Я никогда не любила его. С первого же дня я поняла, что он обманывает, обкрадывает тебя. В его речах и статьях я находила твои слова, твои мысли. Он был ловкач... Неужели ты не разгадал его игру? Не видел, как он разжигает в тебе отвращение, чтобы занять твое место, получить возможность нам помогать... ты сам посылал меня к нему. Он помогал нам — что правда, то правда. Мне приходилось часто ходить к Крамеру. После смерти девочки во мне была такая горечь и злость, меня пугала покорность, с какой ты принял эту смерть.

М а р т и н. Да, я сам посылал тебя к Крамеру. Он нам помогал.

К л а р а. Тебе тяжело, что ты это сейчас узнал?

М а р т и н. Так же, как и то, что я узнал о Лизелотте. Теперь я это знаю. Я не хотел этого знать. Хотя, наверно, такие вещи надо знать. Он был моим другом почти пятьдесят лет. Ты сказала, что примирилась с Богом... а с людьми еще нет... А вот мне люди никогда не были нужны.

К л а р а. Тебе? Мне казалось, ты любишь людей. Ты был такой добрый, приветливый, никогда ни на кого не сердился.

М а р т и н. Я не любил людей. Может, мне казалось, что на них даже не стоит сердиться. Почему? Когда беззаконие стало законом, я понял, что моя антипатия к людям — законна; они роились, как мухи, почуявшие дерьмо. Как мухи на падаль, так они кидались на деньги, на почести, на славу, на успех. Мне нужна была ты... дети, кельнерша... Беньямин Хуфс... И Бехер, помнишь патера, которому они запретили служить мессу? И несколько собутыльников, которых я приобрел в те дни, когда стал адвокатом с потертым воротничком.

К л а р а. А Крамер?

М а р т и н. Я видел, как дергались его губы, как дрожали руки, блестели глаза, когда его назначили председателем. И так же дрожали у него руки, блестели глаза и дергались губы, когда его произвели в лейтенанты, и потом, двадцать лет спустя, когда он занял мое место. Любить его? Нет. Из детей я больше всего любил Лоренца.

К л а р а. Лоренца? А я думала, Лизелотту.

М а р т и н. Лизелотта не в счет. Она осталась в моей памяти, как в стеклянном гробу. Моя дочка. Я помню запах свежей газеты на веранде кафе в осенний вечер... один миг — и все кончено. Зато Лоренц... он всегда оставался верен себе.

К л а р а. Он — вор.

М а р т и н. Вор и обманщик. Мой сын. Может, он догадался, что я презираю законы. Я никогда об этом не говорил. Но он, наверно, сам почувствовал, а потому так и поступал.

К л а р а. Ты презираешь законы?

М а р т и н. Да. Разве ты этого не знала? И людей я не любил. Может, твое желание еще исполнится: ты узнаешь меня до конца. Правосудие... в юности я был в него влюблен... холодное, как мрамор, и прекрасное.

Я обнимал его ноги, как молодой жрец обнимает ноги Зевса или Афины... но мне еще не было сорока, а я уже знал, что руки мои обнимают пустоту. Повсюду брали верх болтуны, власть захватили лжецы, дураки диктовали свою волю умным, сильные мира сего захлебывались от чванства. У меня оставалась только ты, ты и дети.

К л а р а. Я тоже?

М а р т и н. Да. Я ведь знал все еще двадцать лет назад... Разве ты была не со мной?

К л а р а. Да, я была с тобой. Теперь я все знаю, и я так рада, что... ты презирал законы, тебе не нужны были люди, ты приводил к себе в контору кельнершу... и бродил с ней по берегу моря, видел светлую кровь на серебряной чешуе рыб и зажигал огонь в чужих каминках. Хоть что-то я узнала о тебе.

М а р т и н. И ничего больше?

К л а р а. Чуть-чуть больше. Что я знаю? Твое тело. Лучше всего — руки. Твое лицо, почерк, походку. Знаю, как ты ешь, пьешь, улыбаешься, дышишь во сне, знаю голос... сигарету, что ты выкуриваешь по утрам в постели... знаю, как ты подносишь чашку ко рту... О боже...

Шум мотора все ближе и ближе, машина с резким скрежетом тормозит возле дома.

Лоренц! Крамер! (*Понизив голос.*) Ты откроешь дверь?

М а р т и н. Дверь открыта. Они сами найдут дорогу.

Входная дверь открывается и захлопывается, слышен торопливый топот шагов по лестнице, дверь в комнату распаивается.

Входят Лоренц и Крамер.

Л о р е н ц. Мама, это правда, что ты...

К л а р а. Да, правда. Иди сюда, садись или стань на колени рядом, тогда ты будешь ко мне ближе.

К р а м е р. Мне очень жаль, но я вынужден настаивать, чтобы вы разрешили мне здесь присутствовать.

К л а р а. Вы серьезно на этом настаиваете? Тогда можете увезти мальчика обратно.

К р а м е р. Мартин, ты ведь знаешь, объясни ей.

М а р т и н. Я так и сделал. Ты и впрямь настаиваешь?

К р а м е р. Не понимаю. Это было мое единственное условие, которое я поставил.

К л а р а. Я хочу побыть с ним вдвоем. Вдвоем. Мне необходимо с ним поговорить.

К р а м е р. Надеюсь, вы понимаете, чем мне это грозит.

К л а р а. Понимаю. Уходите. Оставьте нас вдвоем. Мартин, и ты тоже выйди на минутку. Ненадолго. Оставьте нас одних.

Мартин и Крамер выходят, закрыв за собой дверь.

(Продолжает вполголоса.) Запри дверь на ключ. *(Короткая пауза.)* Быстрей!

Лоренц подымается, поворачивает ключ в замке.

А теперь открой этот ящик. Здесь деньги. Не пересчитывай. Денег много. Бери все. Вон там ключ от машины. За сколько времени ты доберешься до границы?

Л о р е н ц. Через час я буду там.

К л а р а. А потом? За границей тебе кто-нибудь поможет?

Л о р е н ц. В Брюсселе у меня есть друг. Думероу. Я знаю его адрес. Он мне поможет. Но мне нужно переодеться. Смотри!

К л а р а. Открой отцовский шкаф. Быстрей!

Лоренц открывает шкаф.

Да, бери серый костюм и не забудь ботинки и галстук. Быстрей! Переодевайся! Быстрей! Возьми шляпу, серое пальто, не забудь перчатки... Нет, рубашки лежат справа... Да, здесь. Быстрей, быстрей!

Лоренц переодевается.

Живей, мальчик, живей!

Л о р е н ц. Но я хочу с тобой поговорить. И с отцом.

К л а р а. Говори со мной. Теперь у нас есть время, ты ведь уже переоделся. Положил деньги в карман? А ключ от машины? Какое-то время для тебя я выиграю. Мне так редко удавалось тебя видеть... Поди сюда! *(Еще тише.)* Тебе было шестнадцать, когда началась война, с тех пор прошло восемнадцать лет, и из этих восемнадцати лет восемь ты просидел в тюрьме.

Л о р е н ц. Девять, мама, ровно девять.

К л а р а. Девять на девять. Девять лет тюрьмы на

девять лет свободы. Разве игра стоила свеч? Разве цена была не слишком дорога?

Лоренц. Я никогда не задаю таких вопросов! Цена? Не знаю. Только в делах рассуждают о цене. Но я не делец. Я хочу только летать, летать! Я не желаю катать заспанных спекулянтов из Лондона в Брюссель и из Берлина в Париж, я не шофер автобуса. И не желаю сбрасывать бомбы или стрелять по перепуганным женщинам. Я хочу летать. Один. Как можно выше, мама, и один... понимаешь? Я ни разу не спрашивал себя, стоит ли красть самолет или деньги, чтобы взять его напрокат. (Смеется.) И не сержусь, когда меня сажают за решетку; раз поймали — пусть! Стоит ли — не стоит — этих слов нет в моем лексиконе. Над облаками, один — стоит ли? Стоит, мама, и за это я плачу.

Клара. Ты опять за свое!

Лоренц. Да, как всегда. Игра стоит свеч... Иногда ты долго летишь среди отары белых облаков — белых овечек, мама. В такие минуты я думаю: а вдруг я увижу ангела, пусть самого маленького. Пока я еще ни разу не видел ангела. Может, в один прекрасный день я встречу Лизелотту, сестру, там наверху, на облаке. Может, она меня поймет.

Клара. А мы тебя не понимаем?

Лоренц. Нет, вы спрашиваете, стоит это или не стоит. Скажи, стоит любить?

Короткая пауза.

Молчишь? Видно, не стоит. Стоит ли жениться, иметь детей, потом спокойно умереть?

Короткая пауза.

Молчишь? Видимо, не стоит. Как мне отсюда выбраться?

Клара. Вылезай в окно. Гараж открыт. Машину не заводи. Толкай ее вниз по улице. Включи мотор только на углу, у дома Бунгемана. И не гони. Какое-то время я для тебя выиграю.

Лоренц. Сколько?

Клара. Надолго они тебя отпустили?

Лоренц. До восьми.

Клара. На два часа? Я могу обещать тебе еще час. Хватит?

Лоренц. Хватит. Спасибо, мама. Ты на самом деле?.. Это правда?

Клара. Да, на самом деле. Правда.

Лоренц. Я не могу в это поверить.

Клара. А тогда, про Лизелотту, ты верил?

Лоренц. Нет.

Клара. В это никогда не веришь.

Лоренц. Нет. Никогда. Я никогда не верил. И после того, как это случилось с Клюном, и с Хутаком тоже. Они умерли, мои друзья, мои единственные друзья. Но меньше всего я мог поверить в смерть Лизелотты. Утром она помогала мне делать уроки, потом мы играли с ней в пинг-понг... после обеда я поехал на Грульсберг, в школу планеристов, и пробыл там всего три часа, а когда вернулся, она была уже мертва. Внизу, на бульваре, я встретил пьяного, его шатало, и он все время натыкался на забор. Я зашел к Хевельсам и позвонил, чтобы за ним прислали, потом отправился домой. Уже внизу, у калитки, я почувствовал беду, беду... Лизелотта умерла... Тишина... Я слышал только твой плач... Был такой же день, как сегодня... Сколько времени с тех пор прошло?

Клара. Восемнадцать лет.

Лоренц. Неправда.

Клара. Правда. Поверь мне. А теперь тебе пора. Поцелуй меня. Может, мы еще встретимся на белом облаке, теперь уже скоро. Подойди ко мне еще раз... Я тебя так редко видела... где ты пропадал все время? Тебе тридцать четыре года? Неправда!

Лоренц. Правда, мама, святая правда, так написано на двери моей камеры.

Клара. У тебя когда-нибудь был ранец? Никак не могу вспомнить.

Лоренц (смеется). Конечно, был, мама, конечно... я получил его в наследство от Альберта. Неужели не помнишь? Он был из рыжей кожи.

Клара. Разве это был твой ранец?

Лоренц. Прости, что я редко сидел дома. Спасибо тебе. А папа... я его так и не увижу?

Клара. Он тебя любит больше всех остальных детей. Я это знаю. Папу ты еще увидишь.

Лоренц. Да, если они привезут меня назад в тюрьму, на этот раз в наручниках. Шесть лет за пять! Цена все время повышается. Кланяйся отцу, Альберту, Кларе, Иосифу. Я их давно не видел, пусть и они когда-

нибудь придут ко мне. Кланяйся им. До свидания, мама.

К л а р а. До встречи на облаке.

Лоренц вскакивает на подоконник, прыгает оттуда на крышу гаража. Тишина. Мартин и Крамер шепчутся за дверью.

К л а р а (з о в е т). Мартин!

К р а м е р (и з - з а д в е р и). А где Лоренц?

К л а р а. Да, вынь ключ из замка в столовой и отопри дверь.

К р а м е р (и з - з а д в е р и). А где Лоренц?

К л а р а. Он здесь у меня.

Входят Мартин и Крамер.

К л а р а. Оставь нас с Крамером на три минуты.

М а р т и н. Я даю тебе три минуты и двадцать шесть секунд... Не больше. (Уходит.)

К р а м е р. Где Лоренц?

К л а р а. Его уже нет. Разве ты сам не видишь?

К р а м е р. Вижу. Надо думать, это шутка?

К л а р а. Нет, не шутка.

К р а м е р. Зачем ты меня мучаешь?

К л а р а. Ты всегда хотел сделать мне подарок, а я отказывалась. Помнишь? Теперь я приму от тебя подарок. Неужели это слишком дорогой подарок?

К р а м е р. Ты знаешь, чем грозит мне его побег...

К л а р а. Но он уже убежал. Подарок уже принят. И оплачен. Теперь я прошу у тебя то, чего у тебя уже нет. Лоренца ты упустил, как и свою должность.

К р а м е р. Лоренца мы поймаем.

К л а р а. Нет, если ты подождешь, мой маленький Икар окажется в безопасности.

К р а м е р. В безопасности? На сколько времени? Часа на два, на полгода? На неделю? Он одержимый, этот парень. А таких людей хватают быстро. За неделю, за месяц такая высокая цена?

К л а р а. Не считай, Крамер. Это не сделка. Стоит ли считать? Я вспоминаю Грульсхоф, те годы. За одно свидание ты обещал мне землю и небо. Ну, вот — свидание. И я требую, чтобы ты за него заплатил.

К р а м е р. Свидание через девятнадцать лет?

К л а р а. Девятнадцать? А я думала, что прошло всего восемнадцать. Пусть так, свидание со старухой.

К р а м е р. Мне все равно, сколько тебе лет. Я тотчас примчался, как только Мартин позвонил. Мне не по-

надобилось и сорока минут, чтобы съездить в Банвейлер, освободить Лоренца и приехать сюда.

К л а р а. А зачем ты приехал: сторожить Лоренца или увидеть меня?

К р а м е р. Не знаю... Наверно, и за тем и за другим.

К л а р а. Одним выстрелом убить двух зайцев... это так называется. Не получается, Крамер... никогда... будем считать, ты приехал только для того, чтобы повидать меня... и ни для чего другого. Лоренц убежал — ну и что же? Разве так уж важно быть председателем?

К р а м е р. Ты требуешь самую высокую плату... Ты сама не понимаешь, как много ты просишь.

К л а р а. А по-моему, это мизерная плата, дешевка, как на распродаже. На замужних женщин, которые согласны заниматься тем, что люди зовут любовью, в сомнительных гостиницах цены не высоки.

К р а м е р. Не смей так говорить. Я любил тебя... я до сих пор тебя люблю.

К л а р а. А все же не желаешь платить?

К р а м е р. Платить? Я не хотел тебя покупать.

К л а р а. Почему? Это было бы честнее. Обидно, что платил не ты, а я — той монетой, которая накопилась во мне после смерти Лизелотты; маленькими круглыми кусками смерти. Горечью, злостью, тоской... Почему мы с тобой никогда не смеялись, Крамер? Даже ни разу друг другу не улыбнулись. Улыбнись хоть сейчас, Крамер... подойди ко мне; если можешь, засмейся. Плати, не считая. Не будь таким скупым.

К р а м е р. Ты действительно умираешь?

К л а р а. Зачем спрашивать? Не веришь? Не криви душой... Неужели не видишь?

К р а м е р. Вижу... ты умираешь. Скажи, тебе важно, чтобы мальчик был свободен, или... или... это месть?

К л а р а. Это не месть, Крамер, поверь. Ступай, вноси свою плату и оставь меня, я устала.

К р а м е р. Таковую должность за свободу какого-то безумца! Если бы я хоть знал, что даю ему свободу навсегда... Но сколько времени он пробудет на свободе? День, два... может, неделю. Я плачу тебе без счета за то, чему не вижу цены. Понимаешь? Это нелегко.

К л а р а. Я устала, три минуты уже прошли. Подари мне то, что я прошу, и уйди.

К р а м е р. Я ждал тебя семнадцать лет... Четыре месяца ты была со мной... Потом снова ждал девятна-

дцать лет, чтобы побыть с тобой три минуты. Поцелуй меня.

К л а р а. Зачем?

К р а м е р. Дай мне твои руки.

К л а р а. Зачем? Возьми, если хочешь. (*Короткая пауза.*) Скажи «да», у меня по крайней мере будет какое-то оправдание, я буду знать, что ты любил меня.

К р а м е р. А ты меня никогда не любила?

К л а р а. Нет. Я не любила тебя никогда. Я давала тебе то, что во мне накопилось: черные монеты тоски, горечи, страха и злости. (*Тише.*) Ну, чего же ты? Зачем заставляешь меня торговаться?

К р а м е р. Хорошо, я заплачу. А Мартин... он знает?

К л а р а. Знает.

К р а м е р. Зачем? Зачем ему знать?.. Ты не должна была говорить. Хотя, пожалуй, мне так легче.

К л а р а. Легче? Почему?

К р а м е р. Он любит мальчика, правда? Ну вот я и дарю вам обоим его свободу — каждому по половине. Дай мне еще раз твою руку.

К л а р а. На, возьми, Крамер. Ну вот ты и улыбнулся...

К р а м е р уходит, слышны его шаги по лестнице, хлопает входная дверь, слышен шум отъезжающей машины. Входит Мартин.

М а р т и н. Четыре минуты, Клара. Я смотрел на часы.

К л а р а. Так было нужно, Мартин.

М а р т и н. Мальчика уже нет, а мне так хотелось с ним поговорить.

К л а р а. Ты его еще увидишь. Надо было спешить. Он просил всем кланяться. Я дала ему денег и ключ от машины, он надел твой серый костюм; его арестантский балахон висит в шкафу. Который час, Мартин?

М а р т и н. Двадцать пять минут седьмого.

К л а р а. Через десять минут позвонит Альберт... а может, даже приедет. Хорошо, если бы он заехал за Кларой. Не понимаю, где она.

М а р т и н. Наверно, тоже пошла пройтись.

К л а р а. Я так устала. Я чувствую, что перемирие кончилось.

М а р т и н. Опять начинаются боли?

К л а р а. Нет, я просто устала. Пойди, Мартин, возьми телефон и включи его сюда. Иди скорее!

М а р т и н бежит в переднюю, возвращается, включает телефон.

Ты не помнишь, когда телефон стоял здесь, возле кровати? Давно, правда?

М а р т и н. Двадцать лет назад, Клара. Когда я защищал мальчика, приговоренного к казни, я поставил в спальне розетку.

К л а р а. Что сделал этот мальчик?

М а р т и н. Он был ровесником Лизелотты. Семнадцать. Коммунист. Впятером они кого-то убили — они его считали предателем. Всех казнили. Мальчика, которого я защищал, звали Валентин Мобрехт, помнишь? Я был единственный, кого пускали в его камеру. Иногда он посылал за мной среди ночи, и я шел к нему. Без разрешения. Крамер покрывал меня.

К л а р а. Да, вспоминаю... У нас тогда не было денег, а поставить розетку стоило двадцать три марки. Но ты ее все же поставил, и как-то раз телефон зазвонил среди ночи, около трех.

М а р т и н. Это было в ночь казни. Я пошел к нему.

К л а р а. Ты мне об этом никогда не рассказывал.

М а р т и н. Им отрубили головы. Правосудие свершилось, не правосудие, а убийство. Лето кончилось, было четыре часа утра... прошло два месяца после смерти Лизелотты. Солнце только что взошло, все триста заключенных барабанили в двери камер, красные отсветы зари плыли в окнах. Тишина, слышен был только стук кулаков. Мобрехту исполнилось семнадцать, остальным было по восемнадцати, столько же, сколько тогда Альберту. Поспешно, тайком казнили их на сером тюремном дворе. Крамер, он был в кроваво-красной судейской мантии, тоже присутствовал. В семь часов утра в городе расклеили сообщения о казни. Мать Мобрехта торговала с тележки овощами. Она прочла сообщение, когда уезжала с рынка. Никто не верил, что мальчиков казнят.

К л а р а. Ты знал его мать?

М а р т и н. Я шел к ней, чтобы рассказать, но она уже повезла свою тележку на рынок. Я не застал ее дома, ей пришлось узнать обо всем из влажного, только что наклеенного плаката в кроваво-красной рамке: «Казнь... Валентин Мобрехт, семнадцати лет... сегодня утром...»

К л а р а. Ты никогда со мной об этом не говорил. Ты один пошел в три часа ночи через сумрачный город на темный тюремный двор и присутствовал при казни. Как держались мальчики?

М а р т и н. Двое — спокойно. Гордо. Как отлитые из бронзы. Двое тихо плакали, а один кричал, громко кричал.

К л а р а. Кто кричал? Мобрехт?

М а р т и н. Нет. Мобрехт был спокоен. Накануне ему стало страшно, он молил, цепляясь за мои колени... но в утро казни он был спокоен. Это было в те годы мое последнее судебное дело... телефон возле кровати мне больше не понадобился.

К л а р а. Не позвонить ли Альберту? Который час?

М а р т и н. Половина седьмого.

К л а р а. Лучше не надо звонить; может, он как раз набирает наш номер, и мы оба услышим гудки «занято». Куда девался Иосиф? И почему нет Клары?.. Лоренц... Мы еще встретимся на белом облаке... Кричал только один? Почему остальные молчали? Неужели им так хотелось быть похожими на отлитые в бронзе памятники? Или они гордились своими идеями, мученическим концом? Почему они не кричали?.. Надо было тебе, Мартин, видеть комнату, в которой мы с Крамером встретились в первый раз: обшарпанная комнатуха в дрянной гостинице где-то в предместье... дорого я платила за любовь, которой не было... из окна были видны задворки, где играли чумазные дети, они кидали камнями в эмалированную вывеску с изображением красотки, но что она рекламировала, нельзя было разобрать, эмаль отлетела... вместо рук были обрубки... Камнями отбили эмаль, и вместо того что она держала в руках, зияла дыра... Шоколад? Стиральный порошок? Я так и не знаю. Красивое лицо тоже было порядком побито камнями. Что за шум?.. Почему не звонит Альберт? Где Иосиф? Почему молчит Клара? Сдержит ли Крамер слово? Ты это узнаешь, Мартин. Ты меня еще слышишь? Ты меня еще слышишь?

М а р т и н. Успокойся, я тебя слышу.

К л а р а *(тихо)*. Перережь у меня на шее веревку, на ней висит жернов. Я тону, рядом какие-то чудовища, я падаю сквозь лес водорослей, сквозь крошечную зловонную тьму. А я хотела встретиться с Лоренцем, наверху, на белом облаке... Перережь веревку, Мартин, скорее режь... Почему ты не открывал глаза, когда я над тобой наклонялась?.. Режь скорее... *(Стонет, потом с облегчением вздыхает.)* Вот, вот, теперь я лечу вверх, как бумажный змей при попутном ветре. Воздух, целый океан воздуха, облака, как белые овечки...

(Смеется.) А вдруг я увижу ангела, которого никак не найдет Лоренц... Мою дочь Лизелотту. Спасибо, Мартин, ты перерезал веревку... (Кричит.) Все пятеро должны были кричать, все пятеро. Я лечу... (Внезапно замолкает.)

Короткая тишина, звонит телефон.

Мартин (поднимает трубку). Да? Альберт?

Голос Альберта. Папа! Я только что получил телеграмму... Мама... Как она?

Мартин. Мама умерла. Еще несколько секунд назад она услышала бы твой голос. Но ты точен, как всегда, сейчас тридцать пять минут седьмого.

Голос Альберта. Мама умерла? Не может быть. Неправда!

Мартин. В это никогда не верят. Я еще тоже не могу поверить. Приезжай, увидишь.

Голос Альберта. Я еду.

Мартин. Привези с собой Клару и Иосифа, если тебе удастся их разыскать.

Голос Альберта. А Лоренц?

Мартин. Лоренц был здесь.

Голос Альберта. Лоренц... только он один?

Мартин. Да, только он один. Там, где был Лоренц, человека всегда можно застать.

Голос Альберта. Я сейчас приеду. И если удастся, привезу Клару и Иосифа.

Мартин кладет трубку. Тишина. Потом слышны звуки, которые доносились на протяжении всей пьесы: стук мячей пинг-понга, звяканье кофейной посуды, детский смех.

ЧАС ОЖИДАНИЯ

Хрантокс-Донат
Носильщик
Шофер
Кельнер
Анна
Голос Бруно

I

Тихий закуток перед окошком камеры хранения на большом вокзале. Время от времени сюда доносится приглушенный грохот составов, перестук колес, далекий голос диктора, объявляющего о прибытии или отправлении поездов, топот пассажиров. То и дело со скривом отодвигается и задвигается заслонка окошечка камеры хранения.

Носильщик. Так я сдаю ваши чемоданы?

Хрантокс. Подождите.

Носильщик. Еще не решили?..

Хрантокс. Нет.

Носильщик. Ваш поезд отходит в тринадцать девять, через час с небольшим. Придется ждать, никуда не денешься.

Хрантокс. Я не предполагал, что здесь будет пересадка. Я поехал бы другим поездом. Вот ведь какая неприятность!

Носильщик. Зря огорчаетесь. До Афин не меньше трех суток, а тут всего час ожидания.

Хрантокс. Да дело не в этом часе, а в этом городе.

Носильщик. А вы осмотрите его. В нашем городе есть на что посмотреть: и старинные развалины,

и новые здания, и церкви, и памятники, да и люди у нас славные... Даже обидно, право слово (*устало*), а меня теперь нелегко обидеть.

Хрантокс. Я знаю этот город.

Носильщик. Вы здесь бывали?

Хрантокс. Жил.

Носильщик. И долго?

Хрантокс. Семнадцать лет.

Носильщик. Да что вы!

Хрантокс. Я жил здесь семнадцать лет. Вы что, мне не верите?

Носильщик. Да нет, я вам верю. Но как-то уж больно неправдоподобно. Семнадцать лет — это не шутка, а вам... (*прикидывает*) больше... больше сорока никак не дашь.

Хрантокс. Почти угадали — мне сорок три. А почему бы я не мог прожить тут семнадцать лет?

Носильщик. У вас вид иностранца.

Хрантокс. Я и есть иностранец.

Носильщик. Вы чисто говорите по-немецки, и даже, я бы сказал... в общем...

Хрантокс. Что в общем?

Носильщик. Я хочу сказать, что говорите вы вроде как на нашем диалекте, но это, видно, мне только кажется.

Хрантокс. А может, и не кажется.

Носильщик. Ну так как, будете сдавать вещи или подождете на перроне?

Хрантокс. Охотнее всего я бы сел в первый попавшийся поезд, доехал до следующей станции и там бы ждал поезда на Афины.

Носильщик. У вас с нашим городом связаны такие дурные воспоминания?

Хрантокс. И дурные и хорошие.

Носильщик. Так думайте о хорошем.

Хрантокс (*помолчав*). Сейчас одиннадцать пятьдесят семь. Поезд в тринадцать девять. Ждать, значит, больше часа. (*Чуть потеплевшим голосом.*) Война здесь была?

Носильщик. Да. Двенадцать лет назад она кончилась. Последняя война. (*Устало.*) Они у меня все перепутались в голове.

Хрантокс. Я жил в такой дали, что знаю обо всем этом только понаслышке... бомбежки... голод... смерть... убийства... Здесь много было разрушено?

Носильщик. Дай бог... Но сейчас вы даже и следов не увидите. Вы на какой улице жили?

Хрантокс. На Софиенштрассе.

Носильщик. О, квартал богачей! Он мало пострадал. Возле Софиенпарка? Да?

Хрантокс. Парк еще существует?

Носильщик. Конечно, его даже расширили.

Хрантокс. Кафе и танцевальная площадка?..

Носильщик. Да... Может, хотите посмотреть? (Хрантокс молчит, и носильщик продолжает после небольшой паузы.) Вот уже двенадцать лет прошло, как кончилась война, а длилась она шесть лет. Вы говорите, что жили у нас семнадцать лет. Когда же это было?

Хрантокс. Я тут родился.

Носильщик. А, понятно, вы эмигрировали?

Хрантокс. Да.

Носильщик. Вы... еврей?

Хрантокс. Нет.

Носильщик. Тогда, значит... политика?

Хрантокс. Тоже нет.

Носильщик. Тогда... извините... Но почему же вы уехали?

Хрантокс. Я иногда и сам себя спрашиваю: почему? Столько всего навалилось... Может быть, из-за одной девушки.

Носильщик. Несчастливая любовь?

Хрантокс. Да нет. (Помолчав.) Вы не понимаете?

Носильщик. Нет. Раз вы родились на Софиенштрассе, значит, ваш отец был человек состоятельный...

Хрантокс. Да, мой отец был богат.

Носильщик. Многие уезжают потому, что их отцы бедны.

Хрантокс. Верно, но мой был богат.

Носильщик. Тогда я ничего не понимаю.

Хрантокс. В то время мне все казалось абсолютно ясным, но теперь я не могу в точности припомнить, почему же я все-таки уехал... Наверное, просто захотелось уехать. Во всяком случае, какая-то причина, безусловно, была. Это произошло одним летним вечером... А может, просто захотелось уехать.

Носильщик. Но вы же сказали что-то о девушке?

Хрантокс. О девушке и о деньгах... Или о деньгах я не говорил? Я ведь взял с собой деньги.

Носильщик. Много?

Хрантокс. Да нет, не очень.

Носильщик. А она?

Хрантокс. Она любила меня. А я любил ее. Мой отец был богатый человек, и ее отец тоже.

Носильщик. Так... Так...

Хрантокс. Она была очень красивая, и я тоже был не урод.

Носильщик. Так, так... И вы вдруг уехали?

Хрантокс. Вдруг... И не из-за девушки, и не из-за денег...

Носильщик. А из-за чего?

Хрантокс. Да, знаете, все как-то сошлось одно к одному. Девушка, моя мать, летний вечер... (*Устало, почти раздраженно.*) Какого черта вы задаете мне вопросы, а я вам отвечаю? То, что я вам рассказываю, я никому никогда не рассказывал. Сколько вам платят за час?

Носильщик. Почасовая оплата зависит от того, что надо делать. Если работа тяжелая, то больше, если легкая, то меньше.

Хрантокс. Эта — легкая?

Носильщик. Не знаю. Во всяком случае, не очень трудная и интересная.

Хрантокс. Так. (*Смеется.*) Сколько же вы возьмете за час?

Носильщик. Пять марок — не слишком дорого?

Хрантокс. Нет. Значит, договорились. Вы курите?

Носильщик. Курю.

Хрантокс. Возьмите. (*Протягивает пачку сигарет, зажигает спичку.*)

Носильщик. Какие чудные сигареты... А ничего! Америка?

Хрантокс. Да. Южная.

Носильщик. Вы там живете?

Хрантокс. Последние десять лет.

Носильщик. Неужели там не чувствовалось войны? Ни в чем?

Хрантокс. Ни в чем. Только слышал о ней. Иногда читал какие-то сводки в газете. Впрочем, мало. Голод... бомбежки... убийства... Там в одном деревенском трактире висела карта Европы, правда совсем маленькая; трактирщик втыкал в нее флажки, передвигал их, но делал это весьма приблизительно — ошибиться на двести километров было для него сущим пустяком. На этой карте точка Варшавы была рядом с точ-

ками Москвы, Праги, Вены и Будапешта. Все эти города лепились друг к дружке, но все же было наглядно видно, что война распространяется, как эпидемия. Только эпидемия эта свирепствовала далеко-далеко... Нам она была не страшна. Вот быки — это да! Это было куда важнее. Цены на рогатый скот росли, даже кукуруза стала что-то стоить. Ведь до войны на нее не было никакого спроса, да что кукуруза, и кожа и солома — все приносило доллары.

Носильщик. А теперь, когда вы наконец попали сюда, вас приводит в отчаянье один час ожидания?

Хрантокс. Охотнее всего я бы вообще проехал мимо этого города...

Носильщик. Вот вы упомянули вашу матушку и знакомую девушку. Они знали, что вы уехали навсегда?

Хрантокс. Я ни с кем об этом не говорил.

Носильщик. А вдруг они живы?

Хрантокс. Маловероятно. (*Тихо.*) Ведь столько людей погибло в войну, и вообще...

Носильщик (*тоже тихо*). Да, многие погибли и в войну, и вообще.

Хрантокс (*тем же тоном*). Вы... кого-нибудь потеряли?

Носильщик. Да, сына... Его убили.

Хрантокс. Пал смертью храбрых?

Носильщик. Так говорят. Я называю это иначе.

Хрантокс. Сколько ему было лет? Может, он мой ровесник?

Носильщик. Он был моложе. Теперь ему было бы сорок.

Хрантокс. Как моему младшему брату.

Носильщик. У вас были братья и сестры?

Хрантокс. Да, два брата и сестра, но...

Носильщик (*тихо*). Что?

Хрантокс. Но только об одном из них хотел бы я знать, жив ли он, — о Крумене, моем младшем брате. Из-за него я чуть было не остался.

Носильщик. Крумен?

Хрантокс. Да, мы его так звали. Собственно, его настоящее имя было Герибер, но оно ему не нравилось... Крумен, Крумен... Он стоял у дверей, когда я уезжал, хотел сесть со мной в машину; обычно я брал его с собой, и мы мчались по шоссе на полной

скорости, а он все подзадоривал меня: жми, жми! Но в тот вечер я не взял его с собой.

Носильщик. Сколько ему было лет?

Хрантокс. Четырнадцать, а мне — семнадцать.

Носильщик. Он плакал?

Хрантокс. Нет. Я сказал ему: «Нет, Крумен, сегодня я тебя не возьму... Сегодня — нет...»

Носильщик. У вас в семнадцать лет была своя машина?

Хрантокс. Нет, это была машина моей матери. *(Тихо. Напряженно.)* Где-то в Арденнах я пустил ее в пропасть. Она расплющилась в лепешку, весь красный лак осыпался.

Носильщик. Девушка, деньги, машина, брат.

Хрантокс. Да, да. Но не из-за всего этого я уехал, не из-за этого.

Носильщик. А из-за чего же?

Хрантокс *(со смехом)*. Вы спрашиваете меня, словно отец, но мой отец так не спросил бы.

Носильщик *(тихо)*. Неужели вам не хочется узнать, кто из ваших еще жив?

Хрантокс. Только о Крумене.

Носильщик. Ваши родители были живы, когда вы ушли из дома?

Хрантокс. Матери было тогда сорок пять. Теперь ей... семьдесят один год.

Носильщик. И вы не хотели бы повидаться с матерью?

Хрантокс. Нет.

Носильщик. Опомнитесь — это же ваша мать. Давайте я сдам багаж, и вы поедете к вашей матушке.

Хрантокс. Не будем спешить. Не будем спешить.

Носильщик. А отец?

Хрантокс. Ему было бы семьдесят три.

Носильщик. Было бы, было бы! Может, он еще жив и ждет, двадцать шесть лет ждет вас!

Хрантокс. Наверно, ждет, если жив.

Носильщик. Было бы... если... Я вас просто не понимаю!

Хрантокс. Может, потом поймете. Я все забыл... Все и всех. Даже Крумена, Анну, название города. Только когда объявили, что поезд прибывает сюда, я кое-что вспомнил.

Носильщик. Вам туго пришлось там, на чужбине?

Хрантокс. Нет, легко. Я, правда, много работал, но мне неизменно сопутствовала удача. У меня почти всегда были деньги, да и сейчас есть. Мне просто везло. За что бы я ни брался, все получалось. Я ни на что не претендовал, хотел быть простым официантом или простым батраком, но стоило мне поступить в ресторан, как меня тут же сделали администратором, стоило наняться батраком, как я стал управляющим, а став управляющим, я вскоре и сам приобрел небольшую ферму. Кстати, носильщиком я тоже был, носильщиком и рассыльным, как и вы, правда только один день...

Носильщик. Вы в самом деле были носильщиком?

Хрантокс. Да, но только один день. Я обслужил только трех клиентов. Для первого я отнес на почту заказное письмо и, вернувшись в зал ожидания, вручил ему квитанцию; второму я поднес к поезду чемодан, сумку и коробку с ботинками. Третий велел мне позвонить какой-то даме, по имени Зейла, изменить голос, назваться Гарри и попросить у этой Зейлы свидания. Зейла назначила время, но на свидание я не пошел, а господин этот нанял меня в слуги, потом я стал его секретарем и даже другом, но мне и это вскоре надоело, и я ушел от него. Жили мы тогда в поместье, где все разговаривали друг с другом так, словно они выучили по какой-то книге, как люди должны друг с другом разговаривать. В то время я еще иногда вспоминал о доме.

Носильщик. Подумайте о ваших родителях. Ох, нелегко быть отцом или матерью! Ох, нелегко!..

Хрантокс. А сыном быть легче? А братом? Крумену еще не исполнилось пятнадцати, когда я ушел. Мне было семнадцать, Анне — шестнадцать. *(Тихо.)* Скажите, главное городское кладбище, то, что за городом, еще существует?

Носильщик. Существует.

Хрантокс. Оно все такое же, как было?

Носильщик. То есть как такое же?.. Там теперь во много раз больше покойников. Вы хотите поехать на кладбище?

Хрантокс. Да. Сдайте багаж. Мы возьмем такси.

Носильщик. Возьмем?

Хрантокс. Да. Я поехал бы вместе с вами — не хочу быть там один.

Носильщик. Но я ведь в униформе. Как же мне ехать?

Хрантокс. Послушайте, разве я вас не нанял?

Носильщик. Наняли. Значит, мне ехать с вами по долгу службы?

Хрантокс. Само собой, а как же еще? Пошли.

Носильщик. Вы настаиваете?

Хрантокс. Да, настаиваю.

Носильщик. Ладно, пошли.

Их удаляющиеся шаги заглушаются грохотом поезда, потом, когда грохот стихает, шаги снова доносятся отчетливей и вдруг затихают —

Хрантокс и носильщик остановились.

II

Уличный шум. Рокот автомобильного мотора.

Носильщик. Почему вы прежде всего решили ехать на кладбище?

Хрантокс. Потому что кладбище — самое надежное справочное бюро, во всяком случае для тех, кто жил на Софиенштрассе. Там на них заведена каменная адресная книга, а визитные карточки из белого мрамора приделаны к памятникам у входа в склепы. (*Шоферу.*) Пожалуйста, не гоните так.

Шофер. Можно и помедленней.

Хрантокс. В самом деле много понастроили, и все-таки город мало изменился. Видите вон то здание? Я ходил туда шесть лет.

Носильщик. Это гимназия имени Гете. Мой парень тоже там учился, и был в числе лучших. Хотел стать врачом, и получился бы из него отличный врач...

Хрантокс. Он какого года рождения?

Носильщик. Семнадцатого.

Хрантокс. Крумен тоже с семнадцатого и тоже учился в гетевской гимназии. Как звали вашего сына?

Носильщик. Бруно... Бруно Планер. А как ваша фамилия?

Хрантокс. Теперь моя фамилия Хрантокс, но прежде была Донат. Нет, я никогда не слышал имени вашего сына от Крумена.

Носильщик. Донат... Софиенштрассе... Значит, ваш отец был очень богат.

Хрантокс. Да, он был очень богат. А ваш сын никогда не говорил о Крумене?

Носильщик. Нет. Он никогда не упоминал фамилии Донат. Он приводил к нам много своих друзей, но Крумен... Донат... Гериберт... Нет, этих имен он не называл. Вот мы и подъехали к кладбищу. А моего мальчика так и не похоронили, он остался лежать где-то под Ленинградом, они его бросили. А нам переслали недописанное письмо.

Голос Бруно (*на это время затихают шум улицы и рокот мотора*). Дорогой отец, дорогая мать. Бельдонг убит. Помните его? Такой белобрысый, небольшого роста, которому я помогал по немецкому языку, сын лоточника с угла Вюльнергассе. Помните? Бельдонг убит. Его убили вчера. Он не пал. Почему вы позволяли, чтобы вам врал, чтобы говорили о солдатах, «павших» на войне. Можно подумать, что солдат убивают только когда они идут в атаку, но все, кто погиб на моих глазах, были убиты лежа, ни один из них не пал здесь — ни один. Бельдонг убит, я не могу это вынести, не могу. И если я не умру тут от холода, то умру от ненависти, да, от ненависти, а может быть, от того и от другого. Я не паду, и вы... и вы...

Снова в прежнюю силу зазвучали шумы улицы и рокот автомобильного мотора.

Носильщик. Вот и кладбище.

Машина останавливается.

Хрантокс (*шоферу*). Подождите нас несколько минут.

Шофер. С кладбища можно выйти и через другие ворота.

Хрантокс. Понятно. Вот вам десять марок. Достаточно?

Шофер. Спасибо, вполне, я подожду.

Тишина, щебет птиц, глухой звук шагов по кладбищенской дорожке.

Носильщик. А как пройти, вы знаете?

Хрантокс. Да, знаю. Здесь все по-прежнему. Накануне моего бегства я был здесь. Хоронили тетю Андреа. Вот смотрите. Это склеп фон Хумов. Вот этот — Фрулкамов, а тот, в сторонке, — семейства Кромлах.

Носильщик. Ба, да тут вся Софиенштрассе собралась.

Хрантокс. Вот именно. Тут они снова встречаются и развешивают на сером камне свои визитные карточки из белого мрамора. (*Жестко.*) Хотелось бы знать, продолжают ли они и в земле изменять друг другу, обмениваются ли и в могилах женами на уикэндах, мучают ли и там своих детей, договариваются ли между собой, чей черед давать взятку и за какую партию голосовать? Да, интересно, продолжают ли они и в земле...

Носильщик (*энергично его перебивает*). Не тревожьте мертвых, пусть покоятся с миром. Подумайте лучше о своих родителях.

Хрантокс. А я как раз думал о своих родителях.

Носильщик. Не нарушайте царящего здесь покоя.

Хрантокс. Помилуй бог, могу ли я нарушить покой мертвецов? Кто-нибудь протестует? (*Громче.*) Я спрашиваю: кто-нибудь протестует? Как будто ничего не слышно. Может, кто-нибудь все же хочет опровергнуть мои обвинения?.. Вот мы и пришли наконец.

Звук их шагов замолкает.

Носильщик. «Андреа Донат, родилась 12 апреля 1882 г., скончалась 16 июля 1931 г.». Вы бежали из дома в июле тридцать первого?

Хрантокс. Да. Валяйте дальше, прочтите все имена.

Носильщик (*тихо, но отчетливо*). «Гуго Донат, родился в 1786-м, скончался в 1832-м: Вернер Донат, родился в 1801-м, скончался в 1873-м. Готфрид Донат, родился в 1836-м, скончался в 1905-м, Эрих Донат, родился в 1881-м, скончался в 1943-м».

Хрантокс. Отец умер. И мать тоже.

Носильщик. «Эдит Донат, урожденная Шмил-

линг, 1886—1944 гг.». Что, мне всех читать, и женщин и детей?

Хрантокс. Нет, читайте только тех, кто умер после тридцать первого года.

Носильщик. «Гериберт Донат, родился в 1917-м, пал в 1941-м под Белогоршей, унтер-офицер».

Хрантокс. Да. Крумен умер. Я сразу заметил эту надпись: «унтер-офицер Донат». Скажите, то, что он унтер-офицер, имеет какое-нибудь значение?

Носильщик. Ровным счетом никакого.

Хрантокс. Эх, я должен был взять его с собой, я же собирался взять его с собой. Из Кобленца я повернул назад и доехал до самого Бопаруса, но потом передумал. В Триесте я снова повернул и долго ехал назад, вдоль Мозеля, а потом снова передумал. Так я и не вернулся за Круменом... Унтер-офицер Донат, пал под Белогоршей... Крумен. Теперь я понимаю, почему у меня не екнуло сердце, когда мы подъезжали к этому городу... Крумена нет в живых, и город этот со всеми своими римскими, романскими, готическими и барочными памятниками старины пуст для меня... Крумена больше нет. Он тоже хотел стать врачом, врачом-миссионером. Но эта проклятая земля не могла его терпеть дольше двадцати четырех лет. (Тише.) Знаете ли вы, что значит быть богатым, богатым на протяжении полутора веков, вечно богатым? Это как цвет кожи, от которого нельзя избавиться. Знаете ли вы, что значит в тринадцать лет застать мать с чужим мужчиной?

Носильщик. Нет, не знаю. Я знаю только, что значит быть бедным, вечно бедным. А вы это знаете?

Хрантокс. Нет. Всегда хотел узнать, но так и не удалось. Случалось, я голодал, иногда мои дела шли из рук вон плохо, однако всякий раз меня выручал «цвет кожи».

Носильщик. Здесь еще есть умершие после тридцать первого года.

Хрантокс. Анна Донат?

Носильщик. Кто?

Хрантокс. Жена Крумера.

Носильщик. Как, он был женат?

Хрантокс. Ему было четырнадцать лет, когда я ушел... Так что, не видно имени Анны Донат?

Носильщик. Нет.

Хрантокс. Значит, она, видимо, жива.

Носильщик. Кто?

Хрантокс. Анна. Ну-с, какие еще здесь имена умерших после тридцать первого года?

Носильщик. «Фредерика Шмиллинг, урожденная Донат, родилась в 1914 г., скончалась в 1942 г.»

Хрантокс. Ах, Фрицци, моя сестра. Ее уморил этот Шмиллинг. Она ни за что не хотела выходить за него. С детства она жила затворницей, вечно запиралась в своей комнате, не ходила ни в школу, ни в церковь, даже не обедала вместе со всеми. Она все лежала на своей кровати и думала о чем-то, чего и сама не понимала. Сестра была удивительно красива; лицо словно высечено из белого мрамора, черные волосы и глаза цвета меда. Этот мир ей не нравился, а в тот она не верила. Ела она только хлеб с маргарином и запивала жиденьким лимонадом. Единственный человек, присутствие которого она выносила, был Крумен. Он часто подолгу просиживал у нее после обеда, вечерами, а иногда даже ночью. Сидел возле кровати и держал ее за руку, она молчала, но когда он поднимался, чтобы уйти, она стискивала ему запястье, и он снова садился на стул. Мылась ли она, переодевалась ли, я не знаю. Фрицци... она никогда не плакала, никогда не смеялась, никогда не читала... Значит, они все-таки спарили ее с этим Шмиллингом. От этого она и умерла в тридцать лет!.. Кто там еще?

Носильщик. «Фредерика Донат, родилась в 1936-м, скончалась в 1944-м».

Хрантокс. Родилась после того, как я ушел, и умерла прежде, чем я вернулся. Фредерика Донат — восьми лет... Это может быть только дочурка Вернера. (Тише.) Мой брат Вернер был мне всегда чужим, мы с ним словно говорили на разных языках. Ни одного слова у нас не было общего. Мы были как два человека, случайно встретившиеся у окошечка банка,— на мгновенье они удивленно взглянули друг на друга, покачали головой и разошлись. Чужой... Пойдем дальше. Фамильный склеп фон дем Хюгелей вот здесь, за углом.

Носильщик. Вы не хотите помолиться за упокой души ваших близких? Не положите цветов на могилу?

Хрантокс. Цветов? Об этом надо было раньше подумать. Ну, ничего, это еще можно исправить. А вот

молиться... Я надеюсь, покойники за меня молятся. Крумен и Фрицци, и маленькая Фредерика...

Носильщик. Вы великолепно распределяете места в раю. Молитесь! (*И после небольшой паузы, гневно.*) Молитесь, говорю вам...

Тишина, щебет птиц.

Хрантокс. Пошли. Я не подойду к этому склепу... Я сяду вот на ту тумбу, а вы мне прочитайте имена тех, кто умер после тридцать первого года.

Носильщик. Вы ушли в июле?

Хрантокс. Да. Почему вы спрашиваете?

Носильщик. «Доротей фон дем Хюгель, урожденная Шмиллинг, родилась в марте 1890 г., скончалась в августе 1931-го».

Хрантокс. Ах, это мать Анны. Читайте дальше.

Носильщик. «Карл фон дем Хюгель, родился в 1916-м, пал под Амьеном в 1940 г., обер-лейтенант».

Хрантокс. Брат Анны, его тоже эта проклятая земля не могла терпеть дольше двадцати четырех лет. Когда я ушел в тридцать первом, ему было всего пятнадцать. Он шагал по городу под алым, как кровь, флагом и распевал песни о крови и мести. Как вы думаете, то, что он стал обер-лейтенантом, о чем-нибудь свидетельствует?

Носильщик. Ровно ни о чем.

Хрантокс. Читайте дальше.

Носильщик. «Вильгельм фон дем Хюгель, родился в 1885-м, скончался в 1942-м».

Хрантокс. Отец Анны. Дальше.

Носильщик. Все. Больше никто не умер после тридцать первого года.

Хрантокс. Она жива.

Носильщик. Вы можете ей позвонить.

Хрантокс. Да. Который час? (*Небольшая пауза.*) Двадцать пять минут первого. Как медленно ползет время! Сейчас мы вернемся на вокзал и посмотрим номер в телефонной книге, а заодно, может быть, и перекусим. Анна жива. Отец и мать умерли, Фрицци и Крумен тоже. А вот Вернер жив, и, может быть, Анна...

Носильщик. А больше вы ни о ком не хотите узнать?.. Однокашники, друзья, учителя?

Хрантокс. Может, и хотел бы кое о ком. Если бы вспомнил их имена, да если бы было время. Через тридцать пять минут отходит мой поезд.

Носильщик. А задержаться здесь вы не хотите?

Хрантокс. Ни в коем случае. Пошли.

Носильщик. Помолитесь. Нельзя уйти с кладбища, не помолившись за усопших.

Тишина, щебет птиц, потом шаги Хрантокса и носильщика.

Хрантокс. Шмиллинг, урожденная Фрулкам. Фрулкам, урожденная Шмиллинг. Донат, урожденная Шмиллинг, Шмиллинг, урожденная Донат, фон дем Хюгель, урожденная фон дем Хюгель. Четыре семьи, сочетающиеся на протяжении двух столетий; вступают в браки, перетасовываются.

Носильщик. Вы из-за этого уехали?

Хрантокс. И из-за этого тоже.

Носильщик. А ваша девушка?

Хрантокс. Ей теперь должно быть сорок два. После смерти Карла она, наверно, стала главой фирмы «Скобяные товары. Ковры».

Шум улицы приближается.

(Шоферу.) Так вы нас в самом деле ждете?

Шофер. А как же? На счетчике всего пять марок двадцать. Куда теперь?

Хрантокс. Назад на вокзал.

IV

Рокот мотора, шум улицы.

Носильщик. А брата вашего вы не хотите повидать?

Хрантокс. Зачем? Мы уже тогда были чужими. Неужели вы думаете, что двадцать шесть лет разлуки нас сблизили?

Носильщик. Ваш брат потерял маленькую дочку, брата, родителей, вас. Вы должны к нему пойти. Он же ваш брат.

Хрантокс. А у вас есть братья?

Носильщик. Было три. (*Короткая пауза.*) Вильгельма убили под Лютихом в 1914-м, Отто умер в 1942 году.

Хрантокс. От бомбежки?

Носильщик. Нет, от ангины.

Хрантокс. А третий?

Носильщик. Третий жив, но мы не понимаем друг друга. Он получил образование и стыдится меня. Настолько стыдится, что никогда не уезжает с главного вокзала из страха, что может там меня встретить. Вы это понимаете? Вы когда-нибудь стыдились кого-либо?

Хрантокс. Нет, даже знакомых богачей. Даже моей матери.

Носильщик. Матери?

Хрантокс. Она жила с другими мужчинами прямо у нас дома. С художниками. А отец, чтобы не остаться в долгу, занимался художницами.

Носильщик. Помилуйте, что вы говорите!

Хрантокс. То, что слышите; Крумен знал об этом, видел, слышал — а дома даже пахло прелюбодеянием, вот что я говорю!

Носильщик. А вы, вы разве этим не занимались?

Хрантокс. Нет.

Носильщик. Никогда?

Хрантокс. Никогда. Даже с Зейлой, с которой мне потом довелось познакомиться. Там у меня была жена. (*Шоферу.*) Пожалуйста, поедem по Софиенштрассе.

Шофер. Как прикажете.

Носильщик. Вы были женаты?

Хрантокс. Да. Но я вскоре расстался с женой, откупился золотом. Она хотела (*презрительно*) получить свободу. Я ей вернул свободу.

Носильщик. Детей не было?

Хрантокс. Нет. Ах, вот и Софиенштрассе! В самом деле она мало изменилась. Только деревянные оконные переплеты заменили на медные. Похоже, они стали еще богаче, чем были. Поглядите-ка на решетку сада Фрулкамов. Что, эти шишечки из золота?

Носильщик. Да, из золота.

Хрантокс. А вот и наш дом, он чертовски похож на Вернера, такой же солидный, отвечает требованиям

хорошего вкуса, незаметный, но богатый... Ой! Здесь живет Анна! Она жива! Жива!

Шофер. Остановиться?

Хрантокс. Нет, едем дальше.

Носильщик. С чего вы взяли, что она жива?

Хрантокс. Я это увидел по цветам на подоконниках. Она же с ума сходила по герани, но дома ей не разрешали разводить герань из-за запаха. Они считали этот запах слишком вульгарным. А вы заметили: все окна в герани...

Шофер. Теперь на вокзал?

Хрантокс. Да, на вокзал.

Носильщик. Вы действительно намерены уехать поездом тринадцать девять?

Хрантокс. Да, быть может, еще успею перекусить. А вы мне тем временем раздобудьте телефонную книгу.

Носильщик. Телефонная книга есть в буфете.

Хрантокс. Отлично.

Шофер. Вот и вокзал. Семь марок восемьдесят.

Хрантокс. Сдачи не нужно.

Шофер. Премного благодарен.

Хрантокс. До свиданья.

V

Носильщик. Вот телефонная книга.

Хрантокс. Спасибо. Вы хотите есть?

Носильщик. А вы будете?

Хрантокс. Не знаю.

Носильщик. Без четверти час. Вы действительно хотите есть?

Хрантокс. Нет, но пить хочу. Может, возьмем пива?

Носильщик. Давайте.

Хрантокс (кельнеру). Две кружки, пожалуйста. Два пива!

Кельнер. Два пива.

Хрантокс. Найдите, пожалуйста, в телефонной книге: Донат Анна, Софиенштрассе, 7.

Носильщик. Донат?

Хрантокс (с легким раздражением). Да, я полагаю, что она вышла за Крумена.

Носильщик. За вашего брата?

Хрантокс (*гневно*). Не задавайте вопросов, ищите.

Кельнер. Пожалуйста, два пива.

Хрантокс. Спасибо.

Носильщик (*листает телефонную книгу, бормочет*). Донан... Домщик... Домш... Дон-Боско-Гейм, Донат Вернер, Софиенштрассе, 9. Анны Донат нет.

Хрантокс. Посмотрите получше.

Носильщик. Я смотрю внимательно. Нету Анны Донат.

Хрантокс. Тогда посмотрите на фон дем Хюгель.

Носильщик. Смотреть на букву «х» или на «ф»?

Хрантокс (*нетерпеливо*). На «ф».

Носильщик (*листает книгу, бормочет*). Фон Аанен, фон Дерих, фон Дессен, фон дем Хюгель Анна, Софиенштрассе, 7.

Хрантокс. Профессия?

Носильщик. Не указана.

Хрантокс. Она не вышла замуж. Запишите номер телефона. (*Тише.*) Ей было шестнадцать, когда я ушел. Мы втроем были всегда вместе: Анна, Крумен и я. Вместе ездили на море, катались на аквапланах. Я вел моторку, а Анна и Крумен мчались на досках. Нам было весело. Мы вырезали свои инициалы на коре векового дуба: АФДХ-ПД-КД. Когда шел дождь, мы целые дни напролет носились по лесу, собирали ягоды и варили на костре суп из того, что нам удавалось выклянчить: немного крупы, картошки, иногда яйцо. Мы боялись идти домой, боялись не наказания, а того, что наши родители называли «своей свободой».

Носильщик. Может быть, вам следовало взять с собой брата и девушку?

Хрантокс. Началась война.

Носильщик. Война началась лишь в 1939 году, спустя восемь лет после того, как вы ушли из дома.

Хрантокс. О, вы точно все рассчитали. Нет. Крумен не пошел бы со мной без Анны.

Носильщик. А вы?

Хрантокс. А я бы во второй раз не ушел без

Крумена. Мне казалось правильное уйти одному и остаться одному. Я был уверен, что найду ее в телефонной книжке под фамилией Анны Донат.

Носильщик. Ах, вот оно как!

Хрантокс. Вы поняли?

Носильщик. Не совсем.

Хрантокс. Но хоть кое-что?

Носильщик. Да.

Хрантокс. Я сам, пожалуй, понимаю не больше. Но в тот летний вечер я твердо знал, что мне надо уйти одному, и я ушел.

Носильщик. И все же вы дважды поворачивали за братом, а не за девушкой.

Хрантокс. Совершенно верно — дважды поворачивал назад, но затем снова ехал вперед. Крумен любил меня, как любят только Господа Бога. Я был для него чистым, правдивым, великим. Все, что я делал, было благо, но на самом деле он один обладал теми качествами, которыми восхищался во мне. Мне правильной было уехать, чтобы Анна осталась с ним. Теперь вы понимаете?

Носильщик. Больше, но не все. (*Тише.*) Так вы не хотите позвонить по телефону?

Хрантокс. Анне Донат я мог бы позвонить, может быть, даже навестил бы ее, но Анне фон дем Хюгель — нет, не могу. Мне уже не семнадцать, мне на двадцать шесть лет больше, я многое забыл, почти все. Тогда я был уверен, что лучше уйти одному, оставив их здесь. Понимаете? Я плачу вам за час по таксе тяжелой работы, чтобы вы поняли. Хороший рассыльный обязан выслушивать различные признания.

Носильщик. Я понимаю все больше. Уже без четырнадцати минут час. Но вы ведь не поедете этим поездом?

Хрантокс. Почему бы мне им не поехать?

Носильщик. А что вы будете делать в Афинах?

Хрантокс. Я поселюсь в гостинице. Ненадолго. Там посмотрю. Может быть, вернусь назад в Латинскую Америку, а может быть, еще куда-нибудь. Деньги у меня есть. Мясо теперь в цене, а у меня большие стада. Мне сопутствовало счастье — я многое делал вовсе не ради денег и все же при этом изрядно зарабатывал. Я скупал у людей, покидавших страну, их то-

щие участки, их дома, их скот ради того, чтобы им помочь, дать им денег на дорогу, но все это потом превратилось в золото. Восемь лет спустя цены на землю подскочили, да и на дома тоже, а скот все дорожал. Мое добросердечие обернулось банкнотами, а сочувствие принесло неожиданный барыш.

Носильщик. Видно, Господь благословил ваши дела.

Хрантокс. Вы говорите — благословил. Что я, Авраам, Иаков или святой Иосиф?

Носильщик. Выпьем за здоровье... За здоровье вашей девушки. Сейчас без десяти минут час.

Хрантокс. Да, за здоровье Анны.

Носильщик. Вы сейчас позвоните по телефону, поедете к ней и узнаете, что у вас тогда не было никаких причин уйти одному.

Хрантокс. Крумен не мог бы жить без Анны.

Носильщик. А вы смогли.

Хрантокс. Да. И Крумен умер не от этого — ему было двадцать четыре. Вы записали номер телефона?

Носильщик. Да. Уже время. Если вы все-таки решили ехать этим поездом, то через четверть часа мне нужно взять чемоданы.

Хрантокс (*встает, оставляет на столе деньги*). Этого достаточно за пиво?

Носильщик. Вполне.

Хрантокс (*на ходу*). На телефонах-автоматах по-прежнему кнопки?

Носильщик. Нет. Теперь у нас прямое соединение.

Хрантокс. Хорошо, наберите номер, который вы записали, попросите к телефону фройляйн фон дем Хюгель, а когда она возьмет трубку, скажите: «Вас вызывает Нью-Йорк, минутку!» (*Небольшая пауза.*) Вам это не по душе? Но ведь я вас нанял.

Носильщик. Почему вы обязательно хотите положить между вашим голосом и голосом вашей девушки столько километров?

Хрантокс. Потому что я не хочу, чтобы мне снова стало семнадцать. Из-за прожитых двадцати шести лет разделяю я наши голоса этими тысячами

километров. А теперь набирайте номер. Соедините меня, потом пойдете за моими чемоданами и отнесете их на перрон. На какой, кстати?

Н о с и л ь щ и к. На третий.

VI

В телефонной будке. Скрип наборного диска.

А н н а. Фон дем Хюгель слушает.

Н о с и л ь щ и к. Анна фон дем Хюгель?

А н н а. Да.

Н о с и л ь щ и к. Минутку. Вас вызывает Нью-Йорк.

А н н а. Нью-Йорк?

Х р а н т о к с. Анна?

А н н а. Пауль?

Х р а н т о к с. Ты узнала мой голос?

А н н а. Я не знаю никого, кто бы мог мне позвонить из Нью-Йорка, кроме тебя, которого уже нет.

Х р а н т о к с. Я еще есть.

А н н а. Нет.

Короткая пауза, слышны далекие гудки локомотива, тиканье часов.

Х р а н т о к с. Меня уже нет?

А н н а. Нет. Для меня ты умер в день, когда тебе исполнилось тридцать.

Х р а н т о к с. В 1944 году?

А н н а. Да. До тех пор я еще надеялась, что ты вернешься или хотя бы напишешь. Хоть что-нибудь. Почему ты ушел?

Х р а н т о к с. Ты не знаешь?

А н н а. Знаю. Но ты был умнее нас, которых это касалось, умнее Крумена и меня.

Х р а н т о к с. Нет, ум тут был ни при чем.

А н н а. А что?

Х р а н т о к с. Скорее...

А н н а. Что? У тебя было двадцать шесть лет, чтобы это обдумать, или ты об этом не думал?

Х р а н т о к с. Не часто, но я твердо знаю, что ум тут ни при чем.

А н н а. Ревность?

Х р а н т о к с. Пожалуй. Я думал, так будет лучше для вас.

А н н а. Так не было лучше для нас. Так было для

нас плохо. Был ад, потому что тебя не было. Ты должен был остаться либо взять нас с собой.

Хрантокс. Остаться? Фельдфебель Донат, лейтенант Донат, ефрейтор Донат пал, нет, убит под Витебском, под Киевом, под Севастополем или под Берлином?

Анна. Возможно. А почему бы и нет? Все равно тебя больше не существует. Ты не пал, тебя не убили, и все же тебя больше не существует. Для меня, во всяком случае.

Хрантокс. Как Вернер?

Анна. Я его почти не вижу, а когда мы видимся, то не говорим о тебе.

Хрантокс. Фрици умерла, и твои родители, и мои, и Карл... Скажи, ты не вышла замуж за Крумена?

Анна. Нет. Мне это даже и в голову никогда не приходило. Давай кончать. Этот разговор стоит слишком дорого.

Хрантокс. У меня есть деньги. Пожалуйста, поговори еще немного с тем, кого больше нет. (*Небольшая пауза.*) Ты так и не вышла замуж?

Анна. Потом, после смерти Крумена и после того, как тебя не стало. Но вскоре я рассталась с мужем, он захотел получить (*презрительно*) свободу. Я ему ее дала.

Хрантокс. У меня тоже была жена. Она тоже захотела получить свободу. И получила. (*Небольшая пауза. Тихо.*) Я хотел бы тебя увидеть.

Анна. Нет.

Хрантокс. Я хотел бы тебя увидеть.

Анна. Нет. Зачем?

Хрантокс. Двадцатого июля, на следующий день после похорон тети Андреа, я лежал в траве в саду, когда ты стояла с Круменом в дверях. Двадцатого июля.

Анна. И ты все слышал? Все? Да?

Хрантокс. Да. В ту ночь я уехал.

Анна. Правда? В ту ночь?

Хрантокс. Правда.

Анна. У меня ребенок от Крумена, но это случилось уже позже, значительно позже, незадолго до того... до того, как он умер. Мальчик. Ему пятнадцать лет.

Хрантокс. Столько было Крумену, когда я ушел. Можно мне с ним повидаться?

А н н а. Да, потом.

Х р а н т о к с. А с тобой?

А н н а. Нет. Зачем? Я не в силах. Я была у Крумена и в последнюю ночь, перед расстрелом.

Х р а н т о к с. Перед расстрелом? Они его расстреляли?

А н н а. Да. На плите фамильного склепа начертано «пал», но он не пал. Они расстреляли его у стога, в польской деревне, поздно вечером, впопыхах, как убийцы. (*Небольшая пауза.*) Там был священник, но Крумен отверг его услуги; он не хотел никакого утешения, не хотел принять причастия из его рук... Крумен был один, слышишь, один — алло, ты слушаешь?

Х р а н т о к с (*тихо*). Слушаю. Почему? Почему они его расстреляли?

А н н а. Он помогал пленным бежать, открывал двери теплушек, в которых везли рабов в Германию, давал им хлеб.

Х р а н т о к с. За это его расстреляли? За то, что он давал им хлеб?

А н н а. Да, и за это тоже... Я... Я всегда старалась быть где-то рядом с ним, если только это было возможно. Ты все еще хочешь меня видеть? (*Пауза.*) Молчишь? Ты слушаешь?

Х р а н т о к с. Слушаю. Ты пошлешь ко мне сына Крумена?

А н н а. Пошлю. Позже.

Х р а н т о к с. Только смотри, не слишком поздно.

А н н а. Сделай все, чтобы он не умер смертью Крумена. А меня — меня ты не увидишь. Меня больше нет, так же как и тебя нет. Я любила того мальчика, семнадцатилетнего, продолжала его любить, когда он убежал, прихватив машину матери и деньги отца. Мальчика, который бросил своего брата, верившего только в него. Я ждала, ждала еще и после того, как умер Крумен и у меня родился от него сын, но потом наступил момент, когда тебя не стало. Ты — ты чужой, с голосом Пауля, сорокатрехлетний человек, приехавший бог весть откуда. Фельдфебель Донат, лейтенант Донат, ефрейтор Донат, убитый под Витебском, под Киевом или под Севастополем? Нет... Но хоть письмо, хоть одно письмо в год. Ничего.

Х р а н т о к с. Ты пошлешь ко мне мальчика?

А н н а. Да. И письма Крумена, которые он тебе

писал. Их много. Они все еще лежат здесь нераспечатанные, нечитанные, лежат уже пятнадцать, шестнадцать лет. Отправитель: унтер-офицер Донат, расстрелянный под Белогоршей, у стога, поздно вечером, он был один, один, слышишь, один... (*Бросает трубку.*)

Несколько мгновений еще звучат какие-то шумы, потом Хрантокс тоже вешает трубку и выходит из телефонной будки; гул вокзала, шаги Хрантокса.

Носильщик. Тринадцать пять. Ваш поезд уже прибыл: Вена, Белград, Афины.

Хрантокс. Да, хорошо.

Носильщик. Вы?..

Хрантокс. Я говорил с ней долго и все узнал. Мой брат тоже не пал. Они расстреляли его вечером, у стога, он был один, слышите, один.

Носильщик (*тихо*). Я слышу. Один.

Хрантокс. Один. А вы... вы тоже один?

Носильщик. У меня есть жена... Мы женаты уже сорок пять лет. Думаю, не я один, а она одна: вечерами, лежа рядом со мной в постели, она плачет; я утираю ей слезы — вот и все. (*Горячо.*) Не садитесь на этот поезд, пусть он уедет без вас. По глупости, по недоразумению ушли вы из дому, не повторяйте этой глупости: быть может, вы через двадцать лет будете лежать рядом с ней и хоть слезы ей утирать.

Хрантокс. Я? Меня больше нет. Вы отнесли чемоданы?

Носильщик. Да, в вагон первого класса. Правильно?

Хрантокс. Правильно. Сколько я вам должен?

Носильщик. Прошло полтора часа. Как, по-вашему, работа была тяжелой?

Хрантокс. Да. Значит, семь марок пятьдесят. Потом вы пойдете на кладбище, это еще час. Всего двенадцать марок пятьдесят. Купите цветы — для Крумена, для Фрици, для маленькой Фредерики и для Карла.

Носильщик. Какие цветы?

Хрантокс. Скорее, вот деньги, берите же, поезд уже отходит. (*Шум отходящего поезда.*)

Носильщик (*с перрона*). А родителям? Родителям? Им не надо цветов?

Хрантокс. Если хотите. Можете мне помахать на прощанье.

Носильщик (*кричит вдогонку*). Я буду вам махать так, словно я — ваш брат, ваша девушка, ваша сестра, ваша маленькая племянница, которую вы никогда не видели... До свиданья!

Шум уходящего поезда.

Хрантокс. Еще несколько взмахов руки, несколько едва приметных взмахов, и все.

Шум поезда усиливается.

РАССКАЗЫ, ЭССЕ



ERZÄHLUNGEN. ESSAYS

НЕЗВАННЫЕ ГОСТИ

Я вовсе не против зверей, совсем наоборот: я к ним очень тепло отношусь, и я люблю по вечерам гладить нашу собаку, усадив на колени кошку. Мне приятно смотреть, как дети кормят в углу комнаты черепаху. Даже маленький бегемот, которого мы держим в ванной, занимает уголок в моем сердце, а кролики, свободно разгуливающие по всей квартире, уже давным-давно не волнуют меня. Кроме того, я привык заставить у себя по вечерам неожиданных визитеров — жалобно попискивающего цыпленка или бездомного пса, которого приютила моя жена. Ибо моя жена — добрая женщина, она никому не отказывает в приюте, будь то человек или зверь, и уже давным-давно в вечерние молитвы наших детей включена следующая просьба: «Пошли нам, Боже, нищих и зверей».

Гораздо печальнее то обстоятельство, что моя жена не способна оказывать сопротивление также коммивояжерам и торговцам вразнос, поэтому у нас растет гора предметов не первой, на мой взгляд, необходимости: мыло, щетки, бритвенные лезвия и шерсть для штопки, а в ящике стола накапливаются документы, которые вызывают у меня беспокойство, — всякого рода счета и обязательства. Мои сыновья застрахованы на время обучения, мои дочери — до замужества, но мы не можем до самой свадьбы или до конца государственных экзаменов кормить их мылом или штопкой, и даже бритвенные лезвия далеко не всегда полезны человеческому организму.

Отсюда понятно, что я время от времени выказываю признаки легкого нетерпения, хотя вообще-то я слышу человеком чрезвычайно спокойным. Часто я

ловлю себя на том, что с завистью гляжу на кроликов, которые уютно устроились под столом и преспокойно хрупают морковкой, а тупой взгляд бегемота, который разводит плесень в нашей ванной, иногда побуждает меня высунуть ему язык. Даже черепаха, стоически гложущая листья салата, нимало не подозревает, какие заботы гложут мое сердце: мечта о чашке ароматного кофе, о табаке, хлебе и яйцах, о благодатном тепле, разливающимся после рюмки водки в глотках обремененных заботами людей. Единственная моя отрада — это Белло, наш пес: он воеет с голоду точно так же, как и я. А если ко всему еще заявляются незваные гости — современники, небритые, как и я, мамыши с младенцами, которых надлежит поить горячим молоком и кормить размоченными сухарями, — тогда мне остается только собрать все силы, чтобы сохранить спокойствие. Но я сохраняю его, ибо больше мне уже сохранять нечего.

Бывают дни, когда от одного взгляда на только что отваренный желтый картофель у меня текут слюнки, поскольку уже давно — я признаю это с большим трудом, признаю и заливаюсь краской, — уже давно кухня наша не заслуживает звания благопристойной. Окруженные зверьем и гостями человеческой породы, мы просто время от времени устраиваем импровизированные приемы пищи стоя.

К счастью, моя жена на длительный срок лишена возможности приобретать ненужные нам вещи, поскольку наличных денег у нас не осталось, все причитающиеся мне суммы задержаны на неопределенный срок, а сам я вынужден, вырядившись так, чтобы сделать свою внешность неузнаваемой, разъезжать вечерами по пригородам и продавать населению лезвия, мыло и пуговицы по цене, много ниже установленной, ибо наше положение наводит на раздумья. Правда, у нас есть еще несколько центнеров мыла, несколько тысяч лезвий, огромный выбор пуговиц, и, добравшись за полночь домой, я выгребаю из кармана деньги, а мои дети, мои звери и моя жена обступают меня с горящими глазами, так как обычно я делаю по пути какие-нибудь закупки: хлеб, кофе, яблоки, жир, картофель — короче, что-нибудь из съестного, чего настоятельно требуют дети и звери; в полночный час вся семья собирается за радостной трапезой; довольные дети и довольные звери окружают меня, жена улы-

бается мне, мы нарочно распахиваем дверь в ванную, чтобы бегемот не изнывал от одиночества, и его довольное хрюканье доносится к нам из ванной. Обычно в таких случаях жена сознается, что припрятала в чулане какого-нибудь дополнительного гостя, но показывают мне его не раньше, чем мои нервы подкрепятся едой; и вот какие-нибудь робкие, небритые мужчины присаживаются, потирая руки, к нашему столу, а женщины втискиваются на скамейку между детьми и тут же кипятят молоко для ревущих младенцев. Таким же путем меня знакомят и со зверями, которые мне неуютны: чайки, лисицы, свиньи, а однажды мне представили небольшого одногорбого верблюжонка.

— Ну правда, прелесть? — спросила жена, и я был вынужден признать, что верблюд прелестный, и с легкой примесью беспокойства следил, как это животное цвета моих шлепанцев изо всех сил работает челюстями и посматривает на меня своими серыми глазками. К счастью, верблюд прожил у нас всего одну неделю, а дела у меня в ту пору шли хорошо: высокое качество товара и низкие цены принесли мне известность, и я мог продавать предметы, даже не пользующиеся спросом в обычных условиях, как-то: щетки и шнурки для ботинок. Это привело к кажущемуся процветанию, и моя жена — совершенно игнорируя законы экономики — произнесла по этому поводу фразу, которая меня смутила: «Мы на подъеме». Я-то со своей стороны видел, что запасы мыла убывают, что число лезвий сокращается и что даже запасы щеток и штопки не внушают теперь уверенности.

И вот однажды вечером, именно в то время, когда мне очень и очень не помешала бы моральная поддержка, мы мирно сидели за столом, но вдруг наш дом задрожал как бы от землетрясения средней силы: закачались картины, пошатнулся стол, и круг кровяной колбасы соскользнул с моей тарелки. Я было вскочил, чтобы узнать, в чем дело, но увидел, что дети мои еле удерживаются от смеха.

— Что здесь происходит? — вскричал я и впервые за всю свою богатую приключениями жизнь действительно вышел из себя.

— Вальтер, — тихо сказала жена, отложив вилку, — это просто Волло.

Тут она зарыдала, а против слез жены я бессилён, ибо она подарила мне семерых детей.

— Какой Волло? — спросил я устало. И в эту минуту дом опять сотрясся.

— Волло — это слон, который сидит у нас в подвале, — сказала младшая дочь.

Сознаюсь, я был ошеломлен, и вы легко поймете причины моего ошеломления. До сих пор мы не давали приюта зверям крупнее верблюда, и я считал, что для слона наша квартира несколько маловата, потому что от благ государственного строительства жилых домов нам пока ничего не перепало.

Жена и дети, ничуть не смутившись, все мне объяснили: обанкротившийся хозяин цирка решил припрятать у нас своего слона. Слон спокойно съехал в подвал по желобу, по которому мы обычно спускали уголь.

— Он свернулся в клубок, — сказал мой старший сын, — он такой умный.

Я не позволил себе усомниться в умственных способностях слона, примирился с его присутствием, и меня торжественно повели в подвал. Слон оказался не особенно большой, он хлопал ушами и, судя по всему, прекрасно себя чувствовал, если учесть, что ему выделили на прокорм целую гору сена.

— Ну правда, прелесть? — спросила меня жена, но я воздержался от ответа. Слово «прелесть» показалось мне неподходящим для слона. И вообще семейство было явно разочаровано моими весьма умеренными восторгами. Выходя из подвала, жена даже упрекнула меня: — Как ты низок! Неужели ты хочешь, чтобы несчастное животное пошло с молотка?

— При чем здесь молоток и при чем низость? Укрывательство предметов, подлежащих продаже с аукциона, карается по закону.

— Мне все равно, — ответила жена, — но животное нужно спасти.

Среди ночи нас разбудил хозяин цирка, робкий темноволосый человек. Он поинтересовался, не можем ли мы дать приют еще одному зверю.

— Это все, что у меня осталось, мое последнее достояние. И всего на одну ночь. А как поживает слон?

— Хорошо, — сказала жена, — вот только его желудок меня беспокоит.

— Это естественно, — ответил хозяин цирка, — перемена обстановки, знаете ли. Ведь звери так воспри-

имчивы. Ну так как же, берете вы мою кису — всего на одну ночь?

Он поглядел на меня, а жена толкнула меня в бок и сказала:

— Не будь таким бессердечным.

— Бессердечным? — повторил я. — Хорошо, я не буду бессердечным. Можешь положить кошку на кухне.

— Она у меня на улице, в машине, — сказал хозяин.

Дальнейшее устройство кошки я предоставил жене и залез обратно в постель. Жена вернулась какая-то бледная, и мне даже показалось, что она слегка дрожит.

— Замерзла? — спросил я.

— Да, — ответила она, — меня почему-то знобит.

— Это от усталости.

— Возможно, — сказала жена и как-то странно на меня взглянула.

Ночь прошла спокойно. Но даже во сне я видел странный взгляд жены и по непонятной причине проснулся раньше обычного. Тогда я решил раз в жизни побриться.

В кухне под столом лежал лев средних размеров: он спокойно спал, только кончик хвоста у него чуть подергивался, производя легкий стук — словно кто-то играл в мяч.

Я осторожно намылился, стараясь по возможности не шуметь, но, когда я повернул голову вправо, чтобы выбрить левую щеку, я увидел, что лев открыл глаза и наблюдает за мной. «Они в самом деле похожи на кошек», — подумал я. Что подумал при этом лев, мне неизвестно, но он продолжал наблюдать за мной, а я продолжал бриться и даже не порезался, хотя должен заметить, что это странное ощущение — бриться в присутствии льва. У меня был самый ничтожный опыт в обращении с хищниками, поэтому я ограничился тем, что пристально взглянул льву в глаза, вытер лицо и вернулся в спальню. Жена уже проснулась и хотела что-то сказать, но я не дал ей раскрыть рта и закричал:

— О чем тут еще говорить?

Тогда жена расплакалась, и я погладил ее по голове и сказал:

— Согласись все-таки, что это немножко странно.

— А что, по-твоему, не странно? — сказала жена, и я не нашелся что ответить.

Меж тем проснулись кролики, в ванной зашумели дети, бегемот — его звали Готлиб — принялся трубить, Белло уже потягивался со сна, и только черепаха продолжала спать — впрочем, она спит почти все время.

Я впустил кроликов в кухню — там у них под шкафом стоит кормушка, — кролики обнюхали льва, лев обнюхал кроликов, а дети — они у меня очень бойкие и привыкли возиться со зверьем — уже давным-давно пробрались в кухню. Мне даже показалось, что лев улыбается: мой третий по старшинству сын тут же придумал для него имя — Бомбилиус. На том и порешили.

Несколько дней спустя льва и слона увезли. Должен признаться, что я не грустил, расставаясь со слоном — он мне казался туповатым; а вот спокойная и приветливая задумчивость льва покорила мое сердце, и отъезд Бомбилиуса меня крайне огорчил. Я очень привязался к нему — он был первым из зверей, кто сумел завоевать мое расположение.

1954

ВКУС ХЛЕБА

Из подвала на него пахнуло спертым кислым воздухом; он медленно спускался по липким ступеням, нащупывая путь в желтоватом мраке; откуда-то сверху капало, — должно быть, крыша прохудилась или лопнула водопроводная труба; вода смешалась с пылью и мусором, и ступени от этого стали скользкими, как дно аквариума. Он прошел дальше. Из двери позади него падал слабый свет, справа, в полутьме он увидел табличку: «Рентгеновский кабинет, просьба не входить». Он подошел поближе к свету, свет был желтый, мягкий, и по мерцанию он понял, что, должно быть, горит свеча. Идя дальше, он заглядывал в темные помещения, где можно было различить наваленные в беспорядке стулья, кожаные кушетки и сплюснутые шкафы.

Дверь, из которой падал свет, была открыта настежь. Возле высокой алтарной свечи стояла монашка в голубом одеянии, она руками перемешивала салат в большой эмалированной миске; зеленые листочки были облиты беловатым соусом, тихонько плескавшимся на дне миски. Широкая розовая ладонь монашки круго-

выми движениями перемешивала салат, и мелкие листики иногда падали через край; монашка спокойно подбирала их и бросала обратно в миску. Рядом с подсвечником стоял большой жестяной бидон, от которого пахло горячим бульоном, луком и зеленью.

Он громко произнес:

— Добрый вечер.

Монашка обернулась, на ее широком розовом лице отразился страх, она еле слышно спросила:

— О Боже, что вам угодно?

С ее пальцев капал молочный соус, а на белых, почти детских руках налипли мелкие листики салата.

— Боже, как вы меня напугали, вам что-то нужно?

— Я хочу есть,— тихо признался он.

На монашку он больше не смотрел, взгляд его упал на стоящий справа шкаф, дверцу которого словно сорвало ветром, ее фанерный обломок болтался на петлях, а пол был усеян шелухой сблупившегося лака. В шкафу лежал хлеб, много хлеба. Ковриги были небрежно положены одна на другую, больше дюжины помятых ковриг. Рот его мгновенно заполнился слюной, он с трудом, давась, проглотил ее и подумал: «Я хочу хлеба, во что бы то ни стало хочу хлеба...»

Он посмотрел на монашку, ее детские глаза выражали сострадание и страх.

— Вы хотите есть? — спросила она, — да? — и вопросительно взглянула сперва на миску, потом на бидон с бульоном и на полку с хлебом.

— Хлеб,— сказал он,— пожалуйста, дайте мне хлеба.

Она подошла к полке, сняла одну ковригу, положила ее на стол и принялась искать нож в ящике стола.

— Спасибо,— сказал он тихо,— да бросьте вы искать, хлеб можно и разломить...

Монашка обхватила рукой миску с салатом, взяла бидон с бульоном и ушла.

Он отломил горбушку; подбородок его дрожал, он чувствовал, как дергаются у него губы, как сводит челюсти. Наконец он впился зубами в мякиш неровного разлома и начал жевать. Он ел хлеб. Хлеб был старый. Недельной, наверно, выпечки, черствый серый хлеб, опоясанный красноватой бумажной лентой с маркой

какой-то фабрики. Он все глубже вонзал зубы в мякиш, пока не добрался до поджаристой, словно бы кожаной корки, потом схватил ковригу обеими руками и отломил новый кусок; правой рукой он подносил ломоть ко рту, а левой прижимал к себе ковригу; продолжая жевать, он присел на край какого-то ящика; каждый следующий ломоть он принимался есть с мякиша, ощущая прикосновение хлеба к лицу, его суховатую ласку, меж тем как зубы продолжали делать свое дело.

1955

МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА МУРКЕ

Каждое утро, едва переступив порог Дома радио, доктор Мурке выполнял одно упражнение экзистенциальной гимнастики: он вскакивал в кабину непрерывно движущегося лифта «патерностер», но вместо того чтобы выйти на третьем этаже, где помещалась его редакция, проезжал выше — мимо четвертого, пятого, шестого, и всякий раз, когда пол кабины поднимался над уровнем шестого этажа, сама кабина перемещалась в пустом пространстве, а смазанные маслом цепи и кряхтящий ворот с лязгом и скрипом переводили ее из подъемной шахты в спусковую, Мурке испытывал страх; в страхе смотрел он на это единственное, ничем не приукрашенное место во всем здании, а когда кабина, приняв нужное положение и миновав страшное место, начинала плавно спускаться мимо шестого, пятого, четвертого этажей, Мурке облегченно вздыхал. Он знал, что страх его ни на чем не основан, что ничего плохого с ним не случится, да и не может случиться, а если даже и случится, если даже на худой конец он будет как раз наверху, когда лифт остановится, то и тогда он просидит в кабине час, ну от силы два, только и всего. В кармане у него всегда лежит какая-нибудь книга, есть и сигареты, но с тех пор, как стоит Дом радио, другими словами — за три года лифт еще ни разу нигде не застревал. Случалось, что лифт ставили на проверку, и тогда приходилось отказываться от привычных четырех с половиной секунд страха. В такие дни Мурке нервничал и у него было скверное настроение, как у человека, которому не удалось

позавтракать. Четыре с половиной секунды страха были ему необходимы, как другим необходимы кофе, овсянка или фруктовый сок.

На третьем этаже, где помещался отдел культуры, он выскакивал из лифта в наилучшем расположении духа. Такое расположение знакомо всем, кто любит свою работу и хорошо с ней справляется. Отперев дверь редакции, он неторопливо подходил к своему креслу, усаживался в него и закуривал сигарету: он всегда первым являлся на службу. Он был молод, неглуп и чрезвычайно обходителен; и даже его высокомерие, которое по временам давало себя знать, даже это высокомерие ему легко прощали, зная, что, во-первых, он неглуп, а во-вторых, изучал психологию и успешно защитил диссертацию.

Но вот уже целых два дня Мурке по некоторым причинам воздерживался от обычной порции страха на завтрак: он приходил к восьми, тотчас мчался в студию и принимался за работу, так как получил от главного редактора задание отредактировать два записанных на пленку выступления великого Бур-Малотке о сущности искусства в соответствии с указаниями самого Бур-Малотке. Дело в том, что Бур-Малотке, которого увлек общий религиозный подъем 1945 года, вдруг «среди ночи», по его собственному выражению, «обуяли сомнения религиозного порядка», он вдруг осознал свою долю вины за религиозный уклон, в который впало немецкое радиовещание, а потому решил в двух своих получасовых выступлениях о сущности искусства вычеркнуть часто встречающееся там слово «бог» и заменить его формулировкой, более соответствующей тому образу мыслей, которого Бур-Малотке придерживался до 1945 года. Бур-Малотке предложил главному заменить слово «бог» выражением «то высшее существо, которое мы чтим», но снова наговаривать всю пленку не пожелал и просил только вырезать слово «бог» и вклеить вместо него слова «то высшее существо, которое мы чтим». Бур-Малотке состоял в дружеских отношениях с главным, но не дружбой объяснялась уступчивость шефа: Бур-Малотке был не из тех, кому можно перечить. Во-первых, он написал множество книг критико-философско-религиозно-культурно-исторического содержания, во-вторых, сотрудничал в редакциях двух газет и трех журналов и, наконец, занимал должность главного редактора в одном из крупнейших-

ших издательств. Бур-Малотке изъявил готовность заехать в Дом радио в среду на четверть часа и столько раз наговорить на пленку «то высшее существо, которое мы чтим», сколько раз встречалось у него слово «бог». В остальном же он вполне полагался на опыт и техническую сноровку сотрудников.

Шеф не сразу сообразил, кому можно навязать подобную работу; он, правда, сразу подумал о Мурке, но его насторожило именно то обстоятельство, что сразу — шеф был человек здоровый, исполненный жизненной силы, — поэтому он поразмыслил еще минут пять, перебрал в уме Швендлинга, Хумкоке, фройляйн Брольдин и опять вернулся к Мурке. Шеф не любил Мурке, хотя в свое время он принял Мурке на службу, как только ему его порекомендовали: так директор зоопарка, чье сердце отдано ланям и кроликам, приобретает хищных зверей, потому что какой же это зоопарк без хищников? Но все-таки шеф предпочитал ланей и кроликов, а Мурке был для него хищник с интеллектом. Наконец жизненные силы шефа восторжествовали, и он поручил именно Мурке резать выступления Бур-Малотке. Оба выступления значились в программе передач на четверг и пятницу, сомнения религиозного порядка обуяли Малотке в ночь с воскресенья на понедельник, тому, кто осмелился бы вступить с ним в спор, лучше было сразу покончить жизнь самоубийством; а главный был слишком полон жизненных сил, чтобы помышлять о самоубийстве.

В понедельник после обеда и во вторник утром Мурке трижды прослушал оба получасовых выступления о сущности искусства, вырезал слово «бог», а в короткие перерывы вместе с техником молча курил, размышлял о жизненных силах шефа и о низком существе, которое чтит Бур-Малотке. До этого времени он не прочел ни одной строчки Бур-Малотке, не слышал ни одного его выступления. В ночь с понедельника на вторник он видел во сне лестницу, высокую и крутую, как Эйфелева башня, он полез наверх, но вдруг заметил, что ступеньки смазаны мылом, а внизу стоял шеф и кричал: «Ну, смелей, Мурке, смелей, покажите, на что вы способны!» В ночь со вторника на среду ему привиделся похожий сон, будто он попал на народное гулянье, решил прокатиться на «американских горках» и заплатил за вход тридцать пфеннигов какому-то че-

ловеку, чье лицо показалось ему знакомым. Но когда он поднялся на «американские горки», то убедился, что высотой они не меньше десяти километров, а повернуть назад уже нельзя, и тут его осенило: человек, взявший с него тридцать пфеннигов, был сам шеф.

Естественно, что после таких снов Мурке уже не испытывал потребности в безобидной утренней порции страха к завтраку.

Была уже среда. Этой ночью ему не снилось ни мыло, ни «американские горы», ни шеф. Улыбаясь, он вошел в Дом радио, вскочил в «патерностер», поднялся до седьмого этажа — четыре с половиной секунды страха, ляг цепей, ничем не приукрашенное место, — потом спустился на пятый, выпрыгнул и пошел в студию, где договорился встретиться с Бур-Малотке. Без двух минут десять он сел в зеленое кресло, поздоровался с техником и закурил сигарету. Спокойно дыша, он вынул из нагрудного кармана записку и взглянул на часы: Бур-Малотке был пунктуален, во всяком случае, о его пунктуальности ходили легенды, и когда секундная стрелка отметила шестидесятую секунду, минутная переползла на двенадцать, а часовая — на десять, дверь распахнулась и в студию вошел Бур-Малотке. Мурке с любезной улыбкой встал навстречу Бур-Малотке и назвал себя. Бур-Малотке пожал ему руку, тоже улыбнулся и сказал:

— Что ж, начнем!

Мурке взял со стола записку, сунул в рот сигарету и, заглянув в бумажку, сказал:

— В ваших выступлениях «бог» встречается ровно двадцать семь раз. Следовательно, я должен просить вас двадцать семь раз сказать то, что нам надо вклеить вместо «бога». Мы были бы вам признательны, если бы вы наговорили тридцать пять раз, чтобы при расклейке у нас имелся некоторый запас.

— Согласен, — улыбнулся Бур-Малотке и сел.

— Тут, правда, есть одно затруднение, — продолжал Мурке. — В вашем выступлении слово «бог» не требовало согласования с другими словами, а вот «то высшее существо, которое мы чтим» потребует согласования существительного с указательным местоимением и прилагательным. У нас здесь насчитывается, — он любезно улыбнулся Бур-Малотке, — десять именительных па-

дежей и пять винительных, то есть пятнадцать раз надо сказать «то высшее существо, которое мы чтим», затем пять дательных, то есть «тому высшему существу, которое мы чтим», и наконец, семь родительных: «того высшего существа, которое мы чтим». Остается еще звательный падеж — там, где вы говорите: «О боже!» Я позволил бы себе предложить вам сохранить звательный падеж и сказать: «О ты, высшее существо, которое мы чтим!»

Бур-Малотке явно не предвидел этих затруднений, он даже вспотел: история с падежами его крайне опечалила.

Мурке любезно продолжал:

— В общей сложности, если двадцать семь раз произнести вставленные слова, это займет одну минуту двадцать секунд, тогда как слово «бог», повторенное двадцать семь раз, занимало всего двадцать секунд. Следовательно, из-за внесенных дополнений нам придется сократить каждую передачу на полминуты за счет других слов.

Бур-Малотке вспотел еще сильнее. Мысленно он выругал себя за непрошенные сомнения религиозного порядка, а вслух спросил:

— Вы уже вырезали «бога»?

— Да,— ответил Мурке, вытащил из кармана жестяную коробочку из-под сигарет, открыл ее и показал Бур-Малотке: там лежали крошечные темные обрезки пленки. Мурке тихо сказал: — Вот «бог», которого вы наговорили двадцать семь раз. Возьмете себе?

— Нет! — свирепо ответил Бур-Малотке.— Спасибо, я поговорю с шефом относительно этих полуминут. Какие передачи идут после меня?

— Завтра,— сказал Мурке,— передача из цикла «Обзор культурной жизни», ведет доктор Грем.

— Проклятие! — выругался Бур-Малотке.— С Гремом не договоришься!

— А послезавтра,— продолжал Мурке,— за вашим выступлением идет передача «Мы пустились в пляс».

— Ведет Хуглиме! — простонал Бур-Малотке.— В жизни еще не бывало, чтобы отдел развлечений уступил культуре хоть десять секунд.

— Да,— подтвердил Мурке,— не бывало, по крайней мере...— он постарался придать своему юношескому

лицу выражение безграничной скромности,— по крайней мере с тех пор, как я здесь работаю.

— Ладно,— сказал Малотке и взглянул на часы,— за десять минут мы, вероятно, управимся, потом я поговорю с главным насчет своей минуты. Начнем же. Вы можете мне дать вашу записочку?

— С удовольствием,— ответил Мурке,— я все цифры уже знаю наизусть.

Когда Мурке вошел в застекленную кабину, техник отложил газету. Он улыбнулся Мурке. За шесть часов совместной работы в понедельник и вторник, когда они прослушивали выступления Бур-Малотке и вырезали слово «бог», Мурке и техник не обменялись ни единым словом, не относящимся к работе. Они только посматривали друг на друга и в перерывах протягивали друг другу пачку сигарет — то техник Мурке, то Мурке технику; но когда теперь Мурке увидел его улыбку, он подумал: «Если существует на свете дружба, этот человек мне друг». Потом он положил на стол жестяную коробку с обрезками выступления Бур-Малотке и сказал вполголоса:

— Сейчас начнется.

Мурке включил студию и сказал в микрофон:

— Я считаю, господин профессор, что мы можем обойтись без пробы. Давайте сразу приступим. Я просил бы вас начать с именительного.

Бур-Малотке кивнул. Мурке отключился, нажал кнопку, отчего в студии вспыхнула зеленая лампочка, и они услышали торжественный и хорошо поставленный голос: «То высшее существо, которое мы чтим», «то высшее существо...»

Губы Малотке тянулись к овальной рожице микрофона, словно он хотел поцеловать ее, пот струился по лицу Малотке, а Мурке сквозь стекло хладнокровно наблюдал за его терзаниями. Потом он вдруг отключил магнитофон, дал докрутиться до конца пленке, на которую записывал Малотке, и несколько секунд молча и с наслаждением рассматривал его сквозь стекло, как толстую красивую рыбу. После чего он включил студию и спокойно сказал:

— Очень сожалею, но пленка оказалась дефектной. Я попрошу вас повторить именительные падежи.

Бур-Малотке разразился проклятиями, но это были немые проклятия, которые мог слышать только он один, потому что Мурке снова отключил студию и включил

лишь тогда, когда Малотке начал говорить «то высшее существо...».

Мурке был слишком молод и считал себя слишком культурным, чтобы любить слово «ненависть», но здесь, глядя через стекло на Бур-Малотке, уже перешедшего к родительному падежу, он вдруг понял, что это такое: он ненавидел этого высокого, толстого, представительного человека, книги которого тиражом в два миллиона триста пятьдесят тысяч экземпляров наводняли библиотеки, книжные шкафы и книжные магазины,— ненавидел и даже не пытался подавить свою ненависть. После того как Бур-Малотке наговорил два родительных падежа, Мурке опять подключился к студии и спокойно сказал:

— Простите, что я вас перебиваю, именительный падеж просто превосходен, первый родительный тоже, но вот второй я попросил бы вас повторить чуть помягче, поровней, сейчас я вам прокручу все сначала.

И хотя Бур-Малотке решительно замотал головой, Мурке дал технику знак переключить магнитофон на студию.

Они видели, как Бур-Малотке вздрогнул, опять покрылся потом, зажал уши и не открывал их, пока лента не кончилась. Потом он что-то сказал, но Мурке с техником выключили его и ничего не услышали. Мурке хладнокровно выжидал и, увидев по губам Малотке, что тот опять приступил к «высшему существу», запустил пленку, и Малотке принялся за дательный: «Тому высшему существу, которое мы чтим...»

Покончив с дательным, разъяренный Бур-Малотке скомкал записку Мурке и, вытирая пот, пошел к дверям, но вкрадчивый и приветливый голос Мурке остановил его. Мурке сказал:

— Господин профессор, вы забыли про звательный падеж.

Бур-Малотке с ненавистью поглядел на него, вернулся и сказал в микрофон:

— О ты, высшее существо, которое мы чтим!

Затем он снова направился к двери, но голос Мурке снова остановил его.

— Простите, господин профессор,— заметил Мурке,— но эта фраза, произнесенная таким образом, никуда не годится.

— Ради бога,— шепнул техник,— не хватите через край!

Бур-Малотке спиной к стеклянной кабине застыл у дверей, словно голос Мурке пригвоздил его к месту. С ним случилось то, чего не случалось никогда: он растерялся. Этот молодой, приветливый, безукоризненно корректный голос терзал его, как не терзало ничто и никогда.

Мурке продолжал:

— Я, конечно, могу вклеить и в таком виде, но позвольте вам заметить, господин профессор, это производит нехорошее впечатление.

Бур-Малотке повернулся, подошел к микрофону и сказал негромко и торжественно:

— О ты, высшее существо, которое мы чтим!

Не глядя на Мурке, он вышел из студии. Было ровно четверть одиннадцатого, и в дверях он столкнулся с молодой хорошенькой женщиной, которая держала в руках ноты. Волосы у нее были рыжие, вид — самый цветущий. Она энергично подошла к микрофону, повернула его и отодвинула стол, чтобы удобней было стоять перед микрофоном. В камере Мурке полминуты разговаривал с Хуглиме — редактором отдела развлечений. Указывая на коробку из-под сигарет, Хуглиме спросил:

— Она вам еще нужна?

И Мурке ответил:

— Да, она мне еще нужна.

А в студии уже пела рыжеволосая молодая женщина:

Целуй мои губы, такие, как есть,
Они ведь и так хороши.

Хуглиме подключился к студии и спокойно сказал:

— Закрой варежку секунд на двадцать, я еще не совсем готов.

Женщина засмеялась, надула губы и ответила:

— Ах ты, извращенец!

— Я вернусь в одиннадцать, мы разрежем ленту и подклеим все, как надо,— сказал Мурке технику.

— А прослушивать будем? — спросил техник.

— Нет,— ответил Мурке,— я и за миллион марок не стану это еще раз слушать.

Техник кивнул, поставил ленту для рыжеволосой певицы, а Мурке ушел.

Он сунул в рот сигарету, но закуривать не стал, пересек холл в обратном направлении ко второму лифту, который находился в южной части здания и на котором спускались в буфет. Ковры, мебель, холлы, картины — все раздражало его. Это были красивые холлы, красивые ковры, красивая мебель и со вкусом подобранные картины, но Мурке вдруг захотелось увидеть где-нибудь на стене лубочную картинку с изображением Сердца Христова, которую прислала ему мать. Он остановился, огляделся по сторонам, прислушался, вытащил картинку из кармана и засунул ее под край обоев у двери, ведущей в комнату помощника режиссера редакции литературно-драматических передач. Картинка была пестрая, аляповатая, и под изображением Сердца Христова стояло: «Я молилась за тебя в церкви святого Иакова».

Мурке дошел до «патерностера», вскочил в кабину и поехал вниз. Эта часть Дома радио уже была оснащена пепельницами Шрершнауца, которые получили первую премию на конкурсе пепельниц. Они висели около каждой светящейся красной цифры, обозначавшей этаж: красная четверка — и рядом пепельница Шрершнауца, красная тройка — и рядом пепельница Шрершнауца, красная двойка — и рядом пепельница Шрершнауца. Это были красивые медные пепельницы в форме раковины на медной же подставке, изображавшей какое-то морское растение, что-то вроде узловатых, причудливых водорослей, и каждая такая пепельница стоила двести пятьдесят восемь марок семьдесят семь пфеннигов. Они были до того хороши, что Мурке еще ни разу не дерзнул осквернить это произведение искусства пеплом сигареты или, того хуже, чем-нибудь неэстетичным, например окурком. Все курильщики, видимо, испытывали то же самое: пустые коробки из-под сигарет, окурки и пепел постоянно усеивали пол под этими красивыми предметами: обращаться с ними как с простыми пепельницами никто не осмеливался; они были медные, сверкающие и всегда пустые.

Мурке увидел приближающуюся пятую пепельницу, а рядом с ней красный ноль: потянуло теплом и запахом кухни. Мурке выпрыгнул и, пошатываясь, вошел в буфет.

В углу за одним столом сидели три внештатных

сотрудника. Стол был заставлен рюмками для яиц, тарелками с хлебом и кофейниками. Все трое сообща составили серию передач «Легкое — внутренний орган человека», сообща получили гонорар, сообща позавтракали, сообща пропустили по рюмочке и теперь обсуждали налоговые проблемы. Одного из них — Вендриха — Мурке хорошо знал, но Вендрих как раз воскликнул: «Искусство!» — и опять: «Искусство! Искусство!» Мурке испуганно дернулся, как лягушка, на которой Гальвани изучал действие электрического тока. Слово «искусство» встречалось в выступлениях Бур-Малотке ровно сто тридцать четыре раза, Мурке три раза прослушал каждое выступление, следовательно, слово «искусство» он слышал четыреста два раза, а это слишком много, чтобы испытывать хотя бы малейшее желание побеседовать об искусстве. Потому он пробрался крадучись мимо стойки к нише в противоположном углу зала и облегченно вздохнул, увидев, что она никем не занята.

Усевшись в желтое мягкое кресло, Мурке раскурил сигарету, и когда к нему подошла Вулла, официантка, сказал:

— Яблочного сока, пожалуйста.

К его радости, Вулла сразу же отошла. Он закрыл глаза, но невольно прислушивался к разговору внештатников: там уже разгорелся яростный спор об искусстве. Каждый раз, когда кто-нибудь из троих выкрикивал «искусство», Мурке вздрагивал. «Как от удара кнутом», — подумал он.

Вулла принесла яблочный сок и озабоченно посмотрела на него. Она была крупная и сильная, но не толстая, со здоровым и веселым лицом. Переливая сок из графина в стакан, она сказала:

— Вам надо бы взять отпуск, господин доктор, и потом, бросить курить.

Раньше ее звали Вильфрида-Улла, но для простоты свели оба имени в одно — Вулла. К работникам отдела культуры Вулла относилась с особым почтением.

— Оставьте меня! — сказал Мурке. — Пожалуйста, оставьте меня!

— И еще вам надо бы сходить в кино с какой-нибудь немудрящей хорошей девушкой, — продолжала Вулла.

— Я это сделаю сегодня же вечером, — ответил Мурке, — даю вам слово.

— И вовсе не обязательно идти с какой-нибудь шлюшкой,— сказала Вулла,— на свете еще найдется немало простых, хороших девушек с любящим сердцем.

— Знаю, что найдется,— сказал Мурке,— я думаю, что даже знаком с одной из них.

«Ну то-то же!» — подумала Вулла и подошла к авторам передачи «Легкое — внутренний орган человека», из которых один заказал три рюмки водки и три чашки кофе.

«Бедняги,— подумала она,— совсем свихнулись из-за своего искусства». Вулла очень любила внештатных сотрудников и изо всех сил старалась приучить их к бережливости. «Ведь вот не уймутся, пока не спустят все до последнего пфеннига»,— подумала она и, неодобрительно покачивая головой, передала буфетчику заказ: три рюмки водки и три чашки кофе.

Мурке хлебнул сока, ткнул сигарету в пепельницу и с ужасом представил себе, как между одиннадцатью и часом они будут резать на куски сегодняшнюю запись голоса Бур-Малотке и потом вклеивать их в его выступление. В два часа главный желает прослушать оба монтажа у себя. Мурке вспомнил про мыло, про лестницу, крутую лестницу, и про «американские горы», потом про жизненные силы шефа, потом про Бур-Малотке и перепугался, увидев входящего в столовую Швендлинга. Облаченный в клетчатую рубашку — крупные красные и черные клетки,— Швендлинг решительно направился к нише, где притаился Мурке. Он напевал популярный шлягер «Целуй мои губы такие, как есть...», но, увидев Мурке, запнулся и сказал:

— А, это ты? Я-то думал, что ты кромсаешь болтовню Бур-Малотке.

— В одиннадцать опять начнем,— отвечает Мурке.

— Вулла, кружку пива! — рявкнул Швендлинг, повернувшись к стойке.— Пол-литровую.— И продолжал, снова обращаясь к Мурке: — Ты заслужил внеочередной отпуск. Представляю себе, какой это ужас! Старик рассказывал мне, в чем там дело.

Мурке промолчал, и Швендлинг добавил:

— Ты знаешь последние новости о Муквице?

Сперва Мурке вяло помотал головой, потом из вежливости спросил:

— Какие новости?

Вулла принесла пиво. Швендлинг выпил, отдышался и медленно изрек:

— Муквиц делает передачу про тайгу.

Мурке засмеялся и спросил:

— А Фенн?

— Фенн делает передачу про тундру,— ответил Швендлинг.

— А Веггухт?

— Веггухт делает передачу про меня, а потом я про него, ибо сказано: сделай передачу из меня — я сделаю передачу из тебя...

Один из внештатных сотрудников вдруг вскочил и заорал на всю столовую:

— Искусство! Искусство! Искусство! Вот основа основ!

Мурке втянул голову в плечи, точно солдат, слышавший из вражеского окопа треск выстрелов. Он глотнул соку и снова вздрогнул, потому что из громкоговорителя раздался голос:

— Доктор Мурке, вас ожидают в студии номер тринадцать. Доктор Мурке, вас ожидают в студии номер тринадцать.

Мурке взглянул на часы. Всего половина одиннадцатого, но неумолимый голос продолжал:

— Доктор Мурке, вас ожидают в студии номер тринадцать. Доктор Мурке, вас ожидают в студии номер тринадцать.

Громкоговоритель висел над стойкой, чуть пониже лозунга, выведенного на стене по приказу главного: «Дисциплина — это все!»

— Ну, ступай,— сказал Швендлинг.— Тут уж ничего не поделаешь.

— Верно,— ответил Мурке,— тут уж ничего не поделаешь.

Он встал, положил на столик деньги за сок, проскользнул мимо спорящих, вскочил в «патерностер» и снова поехал вверх мимо пяти пепельниц Шрершна-уца, снова увидел Христово сердце возле двери помрежа и подумал: «Ну, слава богу, теперь на радио есть хоть одна безвкусная картина!»

Открыв дверь в студию, Мурке увидел техника, спокойно сидевшего перед четырьмя коробками, и устало спросил:

— Ну, в чем дело?

— Они управились раньше, чем рассчитывали, и мы выиграли полчаса,— сказал техник.— Я думал, вы захотите воспользоваться этим получасом.

— Конечно, захочу,— ответил Мурке.— У меня в час свидание. Давайте начнем. Что это за коробки?

— У меня для каждого падежа своя коробка,— ответил техник.— В первой — именительный и винительный, во второй — родительный, в третьей — дательный, а в этой,— он указал на крайнюю справа маленькую коробочку с надписью «Натуральный шоколад»,— в этой оба звательных падежа: справа — удачный, слева — бракованный.

— Замечательно! — сказал Мурке.— Значит, вы уже успели разрезать это дерьмо на части?

— Да,— ответил техник.— И если вы записали, в каком порядке клеить падежи, мы управимся за какой-нибудь час. Вы записали?

— Да,— сказал Мурке. Он достал из кармана записку, на которой столбиком были выписаны цифры от «1» до «27», а против каждой цифры — название падежа.

Мурке сел, протянул технику сигареты. Пока закуривали, техник вставил в аппарат кусок ленты с выступлением Бур-Малотке.

— Сначала винительный...— начал Мурке.

Техник сунул руку в первую коробку, вытащил отрезок ленты и клеил в нужное место.

— Теперь дательный,— сказал Мурке.

Работа шла быстро, и Мурке с облегчением вздохнул, убедившись, что никаких затруднений не предвидится.

— Так, теперь звательный,— продолжал Мурке.— Возьмем, разумеется, тот, что похуже.

Техник рассмеялся и клеил в пленку бракованный звательный падеж Бур-Малотке.

— Дальше что? — спросил он.

— Родительный,— ответил Мурке.

Главный редактор имел обыкновение добросовестно прочитывать все письма радиослушателей. То, которое он читал сейчас, было следующего содержания:

«Дорогое радио! У тебя наверняка нет более преданной слушательницы, чем я. Я уже пожилая женщина, мне семьдесят семь лет. Я слушаю тебя ежедневно вот уже тридцать лет и никогда не скупилась на похвалы. Ты, может, помнишь мое письмо о твоей передаче «Семь душ коровы Кавейды». Это была чудесная пере-

дача. Но теперь я на тебя сердита. Меня просто начинает возмущать то пренебрежение, с которым наше радиовещание относится к собачьей душе. И это ты называешь гуманизмом? У Гитлера были, конечно, свои недостатки; если верить всему, что о нем говорят, это вообще был ужасный человек, но одного у него нельзя отнять: от любил собак, и немало для них сделал. Когда же наконец собака займет подобающее ей место в немецком радиовещании?.. Твою передачу «Как кошка с собакой» нельзя в этом смысле признать удачной, любая собака сочла бы ее оскорблением. Если бы мой Лоэнгринчик умел говорить, уж он бы тебе ответил. Он так лаял, когда слушал твою возмутительную передачу, так лаял, что можно было просто сгореть со стыда. Я честно плачу за свой приемник две марки в месяц, как и все слушатели, а поэтому хочу воспользоваться своим правом и задать тебе вопрос: «Когда наконец собачья душа займет подобающее место в немецком радиовещании?»

С дружеским приветом — хотя я очень тобой недовольна —

Ядвига Херхен, домохозяйка.

Р. S. А если никто из тех циничных субъектов, которые пишут для тебя передачи, не сумеет достойным образом воспеть собачью душу, прилагаю к сему свои скромные опыты. Гонорара мне не надо. Можешь передать его Обществу покровительства животным. Приложение: 35 рукописей. Твоя Я. Х.»

Шеф вздохнул, пошарил у себя на столе, но рукописей не обнаружил: секретарша, должно быть, уже успела их убрать. Тогда он набил трубку, зажег ее и, облизнув витальные губы, попросил коммутатор соединить его с Кроши. Кроши занимал малюсенький кабинетик с малюсеньким, но красивым письменным столиком наверху, в отделе культуры. Он вел на радио рубрику, малюсенькую, как и его столик, — «Культура и животные».

— Послушайте, Кроши, — изрек шеф, когда Кроши скромно произнес: «У телефона», — когда мы давали последний раз передачу про собак?

— Про собак? — повторил Кроши. — По-моему, господин редактор, ни разу не давали, при мне, во всяком случае, нет.

— А вы давно у нас работаете? — спросил шеф, и Кроши затрепетал, потому что у шефа вдруг сделался вкрадчивый голос, а он хорошо знал: если у шефа делается вкрадчивый голос, добра не жди.

— Десять лет, господин редактор, — сказал Кроши.

— Черт знает что, — возмутился шеф, — за десять лет ни одной передачи про собак! В конце концов, вы ведете эту рубрику! Как называлась ваша последняя передача?

— Моя по-по-следняя передача... — Кроши за-
пнулся.

— Вам незачем повторять мои слова, — сказал шеф, — мы с вами не в армии.

— «Сычи на развалинах», — робко сказал Кроши.

— Даю вам три недели сроку, — изрек шеф, и голос его опять стал вкрадчивым, — подготовьте за это время передачу про собачью душу.

— Слушаюсь, — ответил Кроши, и в телефоне щелкнуло: это шеф положил трубку. Потом Кроши глубоко вздохнул и сказал: — Господи ты боже мой!

А шеф взялся за очередное письмо.

Тут вошел Бур-Малотке. Он мог позволить себе входить в любое время без доклада, и позволял себе это частенько. Он до сих пор был весь в поту и, тяжело опустившись на стул против главного, сказал:

— Итак, доброе утро.

— Доброе утро! — отозвался главный, отложив в сторону письмо радиослушателя. — Чем могу служить?

— Я прошу вас об одной-единственной минуте, — сказал Бур-Малотке.

— Бур-Малотке! — вскричал главный и сделал великолепный витальный жест. — Вам ли просить у меня минуту! Располагайте моими часами, днями, всем моим временем!

— Да нет, — сказал Бур-Малотке, — речь идет не о простой минуте, а о радиоминуте. Моя речь из-за внесенных в нее изменений стала длинней на одну минуту.

Главный стал серьезным, как сатрап, раздающий провинции.

— Надеюсь, после вас не политическая передача? — кисло спросил он.

— Нет, — ответил Бур-Малотке, — полминуты я при-
хватываю у местного отдела и полминуты — у развлечений.

— Слава богу,— сказал главный,— у отдела развлечений перерасход в семьдесят девять секунд, а у местного — в восемьдесят три. Бур-Малотке, я охотно дарю вам эту минуту.

— Мне просто совестно,— сказал Бур-Малотке.

Редактор повторил свой великолепный жест, но на этот раз как сатрап, уже раздавший провинции.

— Чем еще могу служить?

— Я был бы вам очень признателен,— ответил Бур-Малотке,— если бы мы при случае могли подправить все записи моих выступлений, начиная с сорок пятого года. Настанет день,— он провел рукой по лбу и горестно взглянул на подлинного Брюллера над столом редактора,— настанет день, когда и я...— и он опять умолк: столь прискорбен был для потомков факт, о котором он хотел поведать,—...когда и я покину этот мир...— новая пауза, давшая редактору возможность ужаснуться и замахать руками,— и для меня невыносима мысль, что после моей смерти, быть может, будут передаваться выступления, где я излагаю взгляды, которых более не придерживаюсь. Особенно ужасно, что в угаре сорок пятого года я дал подстрекнуть себя на высказывания, которые теперь кажутся мне в высшей степени сомнительными и которые я могу объяснить только юношеской пылкостью, отличающей все мои произведения. Сейчас идет корректура моих печатных трудов, я прошу вас в ближайшем будущем предоставить мне возможность внести поправки и в мои радиовыступления.

Редактор промолчал, слегка откашлялся, и мелкие капельки пота выступили у него на лбу: он успел прикинуть в уме, что с 1945 года Бур-Малотке каждый месяц давал на радио по крайней мере часовую передачу, а если двенадцать часов умножить на десять, получится сто двадцать часов сплошного Бур-Малотке.

— Только низкие души,— сказал Бур-Малотке,— могут считать педантичность недостойной гения. Но мы знаем,— редактор был явно польщен, ибо это «мы» причисляло его к разряду высоких душ,— мы знаем, что истинные, что величайшие гении всегда были педантами. Химмельсхайм велел однажды за свой счет заново набрать «Seelon» только потому, что три или четыре предложения в середине книги не соответствовали более его новым взглядам. Для меня нестерпима мысль, что в эфир будут передаваться выступления, со-

державшие взгляды, которых я уже не разделял к моменту своей неизбежной кончины... Просто нестерпима! Какой же выход из положения вы мне предложите?

Капли пота на лбу у редактора заметно увеличились.

— Надо бы составить перечень ваших передач и потом проверить в архиве, все ли эти пленки целы,— тихо сказал он.

— Полагаю, что ни одна пленка с моим выступлением не могла быть уничтожена без того, чтобы меня не поставили в известность,— ответил Бур-Малотке.— А меня никто не ставил в известность, и, следовательно, все пленки целы.

— Я все организую,— сказал главный.

— Да уж, пожалуйста, организуйте,— сухо заметил Бур-Малотке и встал.— Всего хорошего.

— Всего хорошего,— ответил редактор и проводил Бур-Малотке до дверей.

Внештатные сотрудники решили заодно и пообедать. За это время они успели еще больше выпить и еще больше наговорить об искусстве. Разговор об искусстве велся с прежним пылом, хотя и принял более мирное направление. Когда в буфет вошел Вандербурн, они испуганно вскочили. Вандербурн был писатель, рослый, симпатичный, с меланхолическим лицом, уже отмеченным печатью славы. Сегодня он не брился, отчего выглядел еще симпатичнее. Вандербурн медленными шагами приблизился к их столу и в полном изнеможении опустился на стул.

— Ребята,— сказал Вандербурн,— дайте мне чего-нибудь выпить. В этом заведении мне всегда кажется, будто я вот-вот умру от жажды.

Ему дали остатки водки, смешанные с остатками минеральной воды. Вандербурн хлебнул, отставил стакан, по очереди обвел взглядом всех троих и сказал:

— Бегите от радио: это просто нужник, нарядный, разукрашенный, напомаженный нужник! Радио всех нас загонит в гроб!

Предостережение было самое искреннее и глубоко потрясло молодых людей. Правда, ни один из них не знал, что Вандербурн только что побывал в кассе, где получил изрядный куш за незначительную переработку книги Иова.

— Они режут нас, высасывают из нас все соки, потом они нас расклеивают, и никому из нас этого не выдержать.

Вандербурн допил свой стакан, встал и направился к двери; плащ его меланхолически развевался на ходу.

В двенадцать Мурке кончил расклейку. Как только они вклеили последний кусок — дательный падеж, — Мурке встал со стула; он уже взялся за дверную ручку, но тут техник сказал:

— Хотел бы и я иметь такую же чуткую и дорогостоящую совесть. А с этим что делать?

Он указал на жестяную коробку из-под сигарет, которая стояла на полке между картонками с неиспользованной пленкой.

— Пусть стоит, — ответил Мурке.

— Зачем?

— Может, еще понадобится.

— Вы допускаете, что его опять охватят сомнения?

— Кто знает? — сказал Мурке. — Лучше подождем. До свидания.

Мурке пошел к переднему «патерностеру», спустился на третий этаж и впервые за весь день переступил порог своей редакции. Секретарша ушла обедать. Заведующий редакцией Хумкоке сидел у телефона и читал книгу. Увидев Мурке, он улыбнулся и встал.

— Ну как, вы еще живы? Скажите, это ваша книга? Это вы ее положили на письменный стол? — Он показал книгу Мурке, и тот ответил:

— Да, моя.

Книга была в серо-зелено-оранжевой суперобложке и называлась «Источники лирики Бэтли». Речь в ней шла о молодом английском поэте, который сто лет назад составил каталог лондонского сленга.

— Превосходная книга, — сказал Мурке.

— Да, — согласился Хумкоке, — книга превосходная, но вы так никогда и не поймете... — (Мурке вопросительно посмотрел на него) — ...не поймете, что нельзя оставлять на столе превосходные книги, если может зайти Вандербурн, а он может зайти в любую минуту. Он ее сразу же заметил, раскрыл, полистал пять минут, и, как по-вашему, что мы имеем в результате? (Мурке молчал.) В результате мы имеем две ча-

совые передачи Вандербурна о книге «Источники лирики». Этот человек в один прекрасный день сделает передачу из своей собственной бабушки. А самое страшное, что одна из его бабушек была также и моей бабушкой. Итак, Мурке, запомните раз и навсегда: никаких превосходных книг на столе, когда может зайти Вандербурн, а я повторяю вам: он может зайти в любую минуту! Теперь вы свободны, ступайте и отдохните остаток дня. Я считаю, что вы вполне заслужили небольшой отдых. А эта дребедень готова? Вы ее прослушали еще раз?

— Готова,— ответил Мурке,— а прослушивать еще раз я просто не в силах.

— Не в силах — это, знаете ли, звучит как-то по-детски,— сказал Хумкоке.

— Если я сегодня еще раз услышу слово «искусство», у меня будет истерика.

— У вас и так истерика,— сказал Хумкоке.— Впрочем, у вас есть для этого все основания. Три часа сплошного Бур-Малотке могут доконать даже самого сильного человека, а вы не такой уж сильный человек.

Бросив книгу на стол, он подошел к Мурке поближе и продолжал:

— Когда я был в вашем возрасте, мне поручили однажды сократить на три минуты четырехчасовую речь Гитлера. Я трижды прослушал эту речь, прежде чем мне дозволили предложить, какие именно три минуты надо вырезать. Когда мы запустили пленку в первый раз, я был еще убежденным нацистом. После третьего раза я уже не был нацистом. Это было мучительное, это было жестокое, но весьма эффективное лечение.

— Вы забываете,— возразил Мурке,— что от Бур-Малотке я излечился еще до того, как прослушал запись его выступления.

— Ну и фрукт же вы! — засмеялся Хумкоке.— Ладно, идите. Главный будет прослушивать запись в два часа. Так что до трех вы должны быть в пределах досягаемости на случай, если что-нибудь окажется не в порядке.

— От двух до трех я буду дома,— ответил Мурке.

— И еще одно,— сказал Хумкоке, снимая с полки возле стола Мурке желтую коробку из-под печенья.— Что за обрезки вы здесь храните?

Мурке покраснел.

— Это...— начал он,— это... я собираю своего рода остатки.

— Какого же рода? — полюбопытствовал Хумкоке.

— Молчание,— ответил Мурке,— я собираю молчание.

Хумкоке вопросительно взглянул на него. И Мурке пояснил:

— Когда мне приходится вырезать из ленты те места, где выступающие почему-либо молчали, делали паузу, вздыхали, переводили дух или просто безмолвствовали, я не выбрасываю их в корзину, а собираю. Но у Бур-Малотке я не нашел ни секунды молчания.

Хумкоке рассмеялся.

— Ясно, этот молчать не станет. А на что вам эти обрезки?

— Я склеиваю их и потом запускаю пленку, когда вечером прихожу домой. У меня пока набралось очень мало — всего три минуты, но ведь и молчат у нас очень мало.

— Должен вам заметить, что уносить домой куски пленок строго запрещается.

— Даже молчание? — спросил Мурке.

Хумкоке рассмеялся и сказал:

— Ну, идите, идите!

Мурке ушел.

Когда в самом начале третьего главный редактор зашел в студию, там как раз началось прослушивание первого выступления Бур-Малотке:

«...и где только, как только, почему только и когда только разговор ни зайдет о сущности искусства, мы прежде всего должны обратить взоры к тому высшему существу, которое мы чтим, должны склониться перед тем высшим существом, которое мы чтим, и принять искусство как великую милость из рук того высшего существа, которое мы чтим. Искусство...»

«Нет,— подумал редактор,— я просто не могу заставить кого-нибудь сто двадцать часов слушать Бур-Малотке! Есть вещи, которые просто выше сил человеческих, даже Мурке я этого не пожелаю!»

Редактор вернулся в свой кабинет и включил громкоговоритель. Из рупора послышался голос Бур-Малотке: «О ты, высшее существо, которое мы чтим...»

«Нет,— подумал редактор,— нет, ни за что...»

Мурке лежал на диване и курил. Возле него на стуле стояла чашка чая. Мурке смотрел в белый потолок. У его письменного стола сидела прехорошенькая блондинка и неподвижным взглядом смотрела в окно.

На низком столике между Мурке и девушкой стоял включенный магнитофон. Но Мурке и девушка молчали, в комнате царила полная тишина. Девушка была так хороша и неподвижна, что могла бы служить отличной фотомodelью.

— Я больше не могу,— сказала вдруг девушка,— не могу, и все. То, что ты требуешь, просто бесчеловечно. Есть мужчины, которые заставляют девушек делать всякие гадости, но, честное слово, то, что меня заставляешь делать ты, еще хуже.

Мурке вздохнул.

— О господи,— сказал он.— Рина, дорогая, теперь мне придется вырезать все, что ты тут наболтала. Будь умницей, намолчи мне еще хоть пять минуток!

— Намолчи! — промолвила девушка. Она сказала это таким тоном, который тридцать лет назад можно было бы назвать нелюбезным.— Намолчи! Это тоже твоя выдумка! Я с радостью наговорила бы пленку, но намолчать?!

Мурке поднялся с дивана и включил магнитофон.

— Ах, Рина, Рина,— сказал он,— знала бы ты, как дорого мне твое молчание! По вечерам, когда я, усталый, сижу один дома, я включаю запись молчания. Ну будь хорошей девочкой, намолчи хоть три минуты, чтобы мне не пришлось резать. Ты ведь знаешь, что для меня значит резать.

— Ладно,— сказала девушка.— По крайней мере дай мне сигарету.

Мурке улыбнулся, поцеловал девушку в лоб, дал ей сигарету, сказал:

— Как у меня здорово получается — целых два молчания, ты и в жизни молчишь, и на пленке,— и включил аппарат.

Так они и сидели, не говоря ни слова, пока не зазвонил телефон.

Мурке опять выключил аппарат, беспомощно пожал плечами, подошел к телефону и снял трубку.

— Привет,— сказал Хумкоке.— Оба выступления сошли гладко. По крайней мере шеф ни к чему не при-

дрался. Можете идти в кино. И не забывайте про снег.

— Какой там еще снег? — крикнул Мурке, взглянув на улицу, залитую ослепительным летним солнцем.

— Господи! — возмутился Хумкоке. — Вы же знаете, что нам пора думать о зимней программе. Мне нужны снежные песни, снежные рассказы. Нельзя всю жизнь сидеть на Шуберте и Штифтере, а никому даже в голову не приходит об этом позаботиться! Мы не напасемся снежных передач, если будет долгая и суровая зима. Сообразите-ка что-нибудь снежненькое!

— Хорошо, — ответил Мурке, — соображу.

Но Хумкоке уже повесил трубку.

— Пошли! — сказал Мурке девушке. — Теперь мы можем идти в кино.

— И мне можно говорить?

— Сделай одолжение!..

А в это время помощник режиссера редакции литературно-драматических передач последний раз прослушивал сегодняшнюю вечернюю передачу. Передача ему понравилась, если не считать конца.

Помощник режиссера задумчиво сидел в застекленной камере студии № 13 рядом с техником и, жуя спичку, еще раз просматривал текст:

(Голос раздается под сводами пустой и огромной церкви.)

Атеист *(говорит громко и отчетливо)*. Кто вспомнит обо мне, когда я стану добычей червей?

(Молчание.)

Атеист *(чуть погромче, почти вызывающе)*. Кто будет ждать меня, когда я обращусь в прах?

(Молчание.)

Атеист *(еще громче, уже с возмущением)*. А кто вспомнит обо мне, когда я опять листвою поднимусь из земли?

(Молчание.)

Вопросов, которые атеист выкрикивал в церкви, было двенадцать, и после каждого вопроса в тексте стояло: «Молчание».

Помощник режиссера вынул изо рта изжеванную спичку, засунул в рот новую и вопросительно поглядел на техника.

— Да,— сказал техник,— лично я считаю, что в передаче многовато молчания.

— Вот и мне кажется,— сказал помощник режиссера.— И автору тоже, он разрешил мне заменить молчание голосом, который говорит «бог», только этот голос уже не должен разноситься под сводами пустой церкви, ему, так сказать, потребна другая акустика. Ну а что толку? Где я сейчас возьму голос?

Техник рассмеялся и схватил жестяную коробку, которая все еще стояла на полке.

— Вот, пожалуйста, очень приличный голос, говорит «бог», и как раз в помещении, лишенном всякого резонанса.

От удивления помощник режиссера чуть не поперхнулся спичкой, с трудом откашлялся и вытолкал ее на прежнее место.

— Все очень просто,— улыбаясь, сказал техник.— Мы двадцать семь раз вырезали это слово из одного выступления.

— Двадцать семь раз мне не нужно,— ответил помреж,— с меня хватит и двенадцати.

— Мне ничего не стоит,— сказал техник,— вырезать молчание и двенадцать раз вклеить слово «бог», но только на вашу ответственность.

— Вы ангел,— сказал помощник режиссера.— Конечно, на мою ответственность.— Он радостно посмотрел на маленькие матовые обрезки ленты в коробке Мурке.— Вы ангел,— повторил он.— Ну, давайте приступим.

Техник тоже радовался; он подумал, как много молчания он сможет подарить Мурке — почти целую минуту, он ни разу еще не дарил Мурке столько молчания, а Мурке ему нравился.

— Хорошо,— улыбнулся он,— начнем.

Помощник режиссера полез в карман за пачкой сигарет, но вместе с сигаретами вытащил смятую бумажку и, разгладив ее, протянул технику.

— Ну не смешно ли,— сказал он,— что на радио можно найти такую безвкусицу? Это я нашел у себя возле своей двери.

Техник поглядел на бумажку, сказал:

— И впрямь смешно.— После чего прочел вслух: — «Я молилась за тебя в церкви святого Иакова».

Не знаю, как это могло случиться; в конце концов, я ведь давно не ребенок, мне почти пятьдесят, должен был бы сознавать, что делаю — и все-таки сделал это, да к тому же, когда мой рабочий день уже кончился, так что и случаться-то было нечему. Но это случилось, и под Рождество я получил хорошенький подарок: меня уволили. Сначала все шло как положено: я обслуживал праздничный стол, рюмок не разбивал, соусниц не опрокидывал, вина клиентам на рукава не плескал; обслужил, получил чаевые и пошел к себе, скинул пиджак и галстук, бросил на кровать, отстегнул подтяжки, открыл бутылочку пива, снял крышку супницы, понюхал: суп гороховый. Я сам его заказывал у повара, с салом, но без лука, а главное — чтоб со слезой. Вы, конечно, не знаете, что значит «со слезой», а объяснять тяжело, потому что долго. Моя мать как-то часа три объясняла, что и как надо делать, чтобы суп вышел со слезой. Пахло от супа отлично, ну, я взял черпачок, наполнил тарелку, попробовал — действительно, слезу вышибает, и тут вдруг дверь открывается и входит этот мальчуган, я его еще внизу приметил, за одним из моих столиков: щупленький, бледный такой, лет восьми, наверное; я тогда наливал, наливал ему тарелку, чуть ли не до краев налил, так он все молчал, а потом и говорит: «унесите», и с остальными блюдами то же самое — ни индейки с каштанами, ни телятины с трюфелями, да что там — даже к десерту не притронулся, хотя что-что, а сладкое-то любой ребенок любит, спросил себе только пять груш, не целых, а половинок, вылил на них почти весь шоколадный крем и тоже не притронулся, но при этом не привередничал, а сидел так, будто все происходящее его вообще не касается. И вот он тихонько так является в мою комнату, заглядывает мне сперва в тарелку, а потом в глаза и спрашивает: «Что это такое?» — «Суп, — говорю, — гороховый». — «Не бывает», — говорит он мне удивленно так, — такого супа, он только в сказке бывает, про короля, который в лесу заблудился, я читал». Я люблю, когда дети меня на «ты» называют; те, которые тебе «вы» говорят, часто куда вреднее взрослых. «Ну, — говорю, — думай, что хочешь, только суп этот точно гороховый». — «А попробовать можно?» — «Конечно, — говорю, — садись, пожалуйста». Он сел и слопал одну за

другой три тарелки, а я сидел рядом на кровати, пил пиво, курил и своими глазами видел, как его животик все круглеет и круглеет, и, сидя на кровати, я много о чем думал, сейчас и не вспомнить, десять минут, пятнадцать, а то и больше, так что за это время каких только мыслей у меня не перебывало: и о сказках, и о детях, и о родителях, ну, и так далее. Наконец мальчуган наелся, настала моя очередь, и я доел этот суп, там было еще на полторы тарелки, а он сел на кровать. Не знаю, может, не надо было мне заглядывать потом в пустую супницу, потому что он сказал: «Господи, ведь я весь твой суп съел». — «Ерунда, — сказал я, — мне хватило. А ты зачем пришел-то, супу, что ли, захотелось?» — «Нет, я просто хотел найти где-нибудь лунку, я думал, ты знаешь, где ее здесь можно найти». — Лунка, лунка, подумал я, какая лунка? И тут вспомнил про игру в шарики и сказал: «С лунками, брат, у нас тут туго». — «А может, мы сами сделаем, — спросил он, — прямо в полу?»

Не знаю, как это могло случиться, но я именно так и поступил, и когда шеф начал кричать: «Как вы могли?!» — я не знал, что ему ответить. Наверное, надо было ему напомнить, что мы сами обязались выполнять любые пожелания клиентов, чтобы обеспечить им полноценный рождественский вечер. Но этого я не сделал, я промолчал. Кто же мог знать, что потом в эту лунку угодит его мамаша и сломает себе ногу, когда ночью, пьяная, будет возвращаться из бара?! Откуда мне было это знать? И что страховая компания начнет разбирательство, ну, и так далее. В суде потом долго выясняли, за что администрация несет ответственность, а за что не несет, и все время повторяли: невероятно! невероятно! Ну как было им объяснить, что я три часа, битых три часа играл с этим мальцом в шарики, что он все время выигрывал и даже выпил немножко пива, а потом свалился на кровать и тут же заснул? Я не стал им ничего объяснять; правда, когда меня спросили, кто сделал эту лунку, я или не я, я не стал отпираться. Но про гороховый суп они от меня ничего не узнали, это навсегда осталось нашей с ним тайной. Тридцать пять лет стажа, ни одного нарекания. Не знаю, как это могло случиться: должен ведь был знать, что делаю, и все равно сделал: спустился на лифте к швейцару, взял у него долото и молоток, поднялся обратно и выбил прямо в паркетном полу эту лунку. Я и в самом деле не знал, что его мамаша угодит прямо

в нее и ломает ногу, когда под утро будет возвращаться из бара пьяная в стельку. Хотя, честно говоря, я не шибко жалею, что все так случилось и что меня выставили. Хорошие-то кельнеры везде нужны.

1955

НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ!

Рассказ о бурной деятельности

Пожалуй, самым примечательным в моей жизни был тот период, когда я работал на фабрике Альфреда Вунзиделя. От природы я больше склонен к раздумью и безделью, чем к труду, однако время от времени длительное безденежье вынуждает меня пускаться на поиски работы — ведь раздумья столь же неприбыльное занятие, как и безделье.

И вот как-то раз, вновь попав в такое положение, я вверил себя заботам посреднической конторы по найму рабочей силы и вместе с семьей товарищами по несчастью попал на фабрику Вунзиделя, где нам всем должны были устроить испытание на годность.

Уже сам вид фабрики заставил меня насторожиться: стены ее были сложены из сплошных стеклянных плит, а мое отвращение к светлым зданиям и помещениям может сравниться разве лишь с моим отвращением к труду. Еще больше встревожился я, оказавшись в светлой, сияющей радужными красками столовой, где хорошенькие официантки мгновенно подали нам завтрак: яйца, кофе и ломтики поджаренного хлеба. В изящных графинах искрился апельсиновый сок, золотые рыбки тыкались тупыми носами в стенки светло-зеленых аквариумов. Официантки — все как одна — так и светились от радости. Казалось, она распирает их и вот-вот взорвет изнутри. Лишь громадным усилием воли сдерживали они залиvistые трели, так и рвавшие из груди. Неспетые песни распирала их, как кур распирают неснесенные яйца.

В отличие от моих наивных товарищей по несчастью я тотчас же смекнул: этот завтрак тоже входит в программу испытания. И вот я принялся пережевывать пищу с самозабвенным и торжественным видом человека, сознающего важность восполнения запаса питательных веществ в организме. Я даже решился на то, к чему в нормальной обстановке меня не принудили бы никакой

силой: принял натошак стакан апельсинового сока, не дотронулся ни до яйца, ни до кофе, закусил кусочком поджаренного хлеба и, встав из-за стола, принялся нетерпеливо мерять шагами зал, демонстрируя неудержимую тягу к бурной деятельности.

Вот почему меня первого пригласили в комнату для испытаний, где на легких столиках уже были разложены анкеты. Комната была выдержана в мягких зеленых тонах и у знатоков интерьера непременно исторгла бы возгласы восхищения. Казалось, там никого не было, и все же я был настолько уверен, что за мной наблюдают, что вел себя так, как полагается человеку, рвущемуся к активной деятельности и думающему, что его никто не видит: нетерпеливо выхватил я из кармана пиджака авторучку, отвинтил колпачок, присел к первому попавшемуся столу и придвинул к себе анкету жестом, каким раздражительные люди хватают гостиничные счета.

Первый вопрос: Считаете ли вы закономерным, что у человека две руки, две ноги и по паре глаз и ушей? Вот когда я впервые мог пожать плоды своих раздумий! Не колеблясь ни минуты, я написал: «Имей я даже по две пары рук, ног и ушей, моя жажда деятельности все равно не была бы утолена. Слишком уж скупо оснащен природой человек».

Второй вопрос: По скольким телефонам вы можете говорить одновременно?

На этот вопрос ответить было не труднее, чем решить уравнение с одним неизвестным. «Если телефонов всего семь,— написал я,— я страдаю от недогрузки. И только когда их девять, я чувствую себя удовлетворенным».

Третий вопрос: Чем вы занимаетесь на досуге? «Не знаю слова «досуг»,— ответил я.— Когда мне исполнилось пятнадцать лет, я исключил его из своего словаря, ибо вначале было дело».

Естественно, место досталось мне. Но оказалось, что и при девяти телефонах я не чувствовал себя удовлетворенным. Целыми днями я вопил в трубки: «Действуйте немедленно!» Или: «Надо что-то делать!», «Кое-что уже сделано!», «Все должно быть сделано!». Однако чаще всего я пользовался повелительным наклоением: мне казалось, что это как-то больше в духе времени.

Обеденные перерывы, во время которых мы, собравшись в столовой, источавшей здоровый оптимизм, дружно поедали витаминизированные блюда, также были весь-

ма содержательными. На фабрике Вунзиделя было полным-полно людей, горевших желанием поведать другим историю своей жизни, что вообще свойственно деятельным натурам. История их жизни им куда важнее самой жизни. Один неосторожный вопрос — и на вас низвергается целый водопад излиятий.

Заместителем Вунзиделя был некий Брошек, известный тем, что еще будучи студентом, содержал семерых детей и парализованную жену, для чего работал по ночам, успешно подвизаясь в качестве агента четырех торговых фирм одновременно, и тем не менее за два года с отличием окончил два факультета. На вопрос репортеров: «Когда же вы спите, Брошек?» — он отвечал: «Спать грешно!»

Секретарша Вунзиделя некогда зарабатывала на жизнь вязанием, содержала разбитого параличом мужа и четверых детей, что не помешало ей в то же время защитить диссертации по психологии и географии, заниматься разведением овчарок и под кличкой «Женщина-Вампир 7» прославиться в амплуа кафешантанной певицы.

Сам Вунзидель был одним из тех людей, которые с самого утра, едва восстав от сна, уже полны жажды действий. «Надо действовать!» — думают они, энергично затягивая пояс халата. «Надо действовать!» — думают они, бреясь, и бросают взгляды победителя на сбритую щетину, смываемую вместе с мыльной пеной: эти остатки волосяного покрова — первые жертвы их неудержимой энергии.

Этим людям приносят удовлетворение и более интимные жизненные отправления: вода журчит, бумага идет в дело. Кое-что уже сделано! Хлеб поедается, с яичка сдирается скорлупа.

Самые обычные действия Вунзиделя выглядели необычайно решительными поступками: вот он надевает шляпу, вот он — дрожа от избытка энергии — застегивает пальто и целует жену — все это не поступки даже, а деяния.

Входя в свою контору, он вместо приветствия говорит секретарше: «Надо кое-что сделать!» И та радостно откликается: «Все будет сделано!» После чего Вунзидель отправляется по отделам и цехам, везде радостно восклицая: «Надо кое-что сделать!» На что все хором отвечают: «Все будет сделано!» Когда он входит в мою

комнату, я тоже, сияя от счастья, восклицаю: «Все будет сделано!»

В течение первой недели я довел число обслуживаемых мной телефонов до одиннадцати, за вторую неделю — до тринадцати. По утрам в трамвае я развлекался тем, что изобретал новые виды предложений в повелительном наклонении или придумывал, в каком еще виде и залоге употребить глагол «делать». Два дня подряд я повторял в трубки одну и ту же особенно полубившуюся мне фразу: «Кое-что должно было бы быть сделано!», — а последующие два дня — другую: «Это не должно было бы быть сделано!»

И только я было начал ощущать действительно полное удовлетворение от своей работы, как вдруг мне и вправду пришлось что-то делать: однажды, во вторник, — рабочий день только начался, и я еще даже не успел как следует усесться за стол, — Вунзидель ворвался в мою комнату со своим обычным «Надо кое-что сделать!». Однако на его лице было какое-то странное выражение, из-за которого я не смог ответить быстро, бодро и радостно, как положено: «Все будет сделано!» Видимо, я довольно долго медлил с ответом, потому что Вунзидель, почти никогда не повышавший голоса, заорал: «Отвечайте же! Отвечайте, как положено!» И я ответил сквозь зубы, надувшись, как ребенок, которого заставляют сказать: «Я дурной мальчик». С большим трудом выдавил я из себя эту фразу: «Все будет сделано!»

Но едва я закрыл рот, как Вунзидель и впрямь кое-что сделал: рухнул на пол и растянулся во весь рост на пороге. Я сразу понял, в чем потом убедился окончательно, когда медленно вышел из-за стола и приблизился к лежащему: он был мертв.

Сокрушенно покачивая головой, я перешагнул через Вунзиделя, вяло поплелся по коридору к кабинету Брошека и вошел, не постучавшись. Брошек сидел за письменным столом, держа в каждой руке по телефонной трубке, а во рту — шариковую ручку, которой он что-то заносил в блокнот, одновременно нажимая босыми ногами на педали и кнопки вязальной машины, стоявшей под столом (таким образом он вносил свой вклад в комплектование гардероба членов семьи). «Надо что-то делать», — тихо сказал я. Брошек выплюнул шариковую ручку, бросил обе трубки на рычаги и снял ноги с вязальной машины. «А что именно надо делать?» — спросил он. «Господин Вунзидель скончал-

ся», — сказал я. «Не может быть», — возразил Брошек. «Скончался, — повторил я. — Пойдемте». — «Не верю, — сказал Брошек. — Это невозможно». Но все же сунул ноги в шлепанцы и пошел за мной по коридору. «Не верю, — повторил он, когда мы уже стояли над трупом Вунзиделя. — Нет, не верю». Я не стал спорить. Осторожно повернув Вунзиделя на спину, закрыл ему глаза и долго в раздумье смотрел на него.

Я испытывал к нему чувство, близкое к нежности, и впервые понял, что никогда не питал к нему ненависти. На его лице застыло такое выражение, какое бывает у детей, упорно не желающих отказаться от веры в аиста, хотя доводы приятелей и звучат весьма убедительно. «Нет, — сказал Брошек. — Нет, не может быть!» — «Надо что-то делать», — тихо сказал я Брошеку. «Да, — ответил Брошек. — Надо что-то делать». И «это» было сделано: Вунзиделя похоронили, и мне выпала честь нести за его гробом венок из искусственных роз, ибо природа наделила меня не только склонностью к раздумью и безделью, но и внешностью, к которой чрезвычайно идут черные костюмы. Очевидно, шествуя за гробом Вунзиделя с венком из искусственных роз в руках, я являл собой великолепное зрелище. Ибо некое весьма солидное похоронное бюро официально предложило мне постоянную должность «скорбящего».

«Вы словно рождены для этой роли, — сказал мне глава фирмы. — Экипировка за наш счет. Ваше лицо для нас настоящая находка!»

Я подал Брошеку заявление об уходе, обосновав его тем, что не получаю удовлетворения от работы из-за постоянной недогрузки, так как даже тринадцать телефонов не дают мне возможности полностью использовать все заложенные во мне способности.

Уже после первых похорон я понял: вот мое призвание, вот мое место в жизни. Погруженный в раздумье, стою я у гроба во время отпевания, держа в руке скромный букет и прислушиваясь к звукам Largo Генделя — вещи, в наше время незаслуженно забытой. Кафе неподалеку от кладбища стало моим излюбленным пристанищем в часы между дежурствами. Однако иногда я провожаю в последний путь и таких покойников, на похороны которых меня не приглашали, покупаю на собственные деньги букет и составляю компанию чиновнику из отдела общественного вспомоществования, одиноко бредущему за гробом бездомного.

Время от времени я навещаю и могилу Вунзиделя, ибо в конце концов именно ему я обязан тем, что мне открылась моя истинная профессия — профессия, при которой задумчивость прямо-таки необходима, а безделье даже обязательно.

Лишь много позже мне пришло в голову, что я ни разу не поинтересовался, что именно выпускала фабрика Вунзиделя. Кажется, там делали мыло.

1956

КАК В ПЛОХИХ РОМАНАХ

В этот вечер мы пригласили к себе Цумпенов, милых людей, знакомством с которыми я обязан своему тестю. С тех пор как я женился на Берте, он старается сводить меня с людьми, которые могут быть мне полезны, а Цумпен безусловно человек нужный. Он возглавляет комиссию, распределяющую подряды на строительство разного рода поселков, меня же мой брак сделал совладельцем фирмы, которая ведет земляные работы.

Я нервничал в этот вечер, а Берта меня успокаивала.

— Одно то, что он вообще согласился прийти, уже кое-что значит, — сказала она. — Тебе нужно осторожно завести разговор о подряде, вот и все. Ведь завтра должны объявить результаты конкурса.

Я стоял за портьерой у входной двери и ждал Цумпена. Я курил, затапывал окурки и засовывал их под циновку. Потом устроился под окном в ванной и стал думать, почему же все-таки Цумпен принял наше приглашение — ужин в нашем обществе вряд ли представлял для него интерес, а то, что завтра состоится официальное распределение заказов по конкурсу, в котором участвовал и я, должно было, как мне казалось, вызывать у него такое же мучительное чувство неловкости, как у меня.

Еще я думал о самом подряде: я заработал бы на нем двадцать тысяч марок, и мне очень хотелось получить эти деньги.

Берта посоветовала мне, как одеться: темный пиджак, брюки чуть посветлее и галстук нейтрального цвета. Таким вещам она научилась в родительском доме и в пансионе у монахинь. И принимать гостей тоже: в каких случаях пьют коньяк, в каких — вермут, что

подавать на десерт; легче жить, если жена у тебя дока по этой части.

Но и Берта тоже волновалась: когда она, положив руки мне на плечи, коснулась моей шеи, я почувствовал, что пальцы у нее холодные и влажные.

— Все будет хорошо,— сказала она,— ты получишь подряд.

— Боже милостивый,— сказал я,— ведь это двадцать тысяч марок, а ты знаешь, как бы они нам пригодились.

— Не следует поминать имя Господне в связи с деньгами,— тихо сказала Берта.

Перед нашим домом остановилась машина неизвестной мне марки, но, кажется, итальянская.

— Не торопись,— прошептала Берта,— подожди, пока они позвонят, пусть еще постоят две-три секунды, потом, не спеша, подойдешь к двери и откроешь.

Я смотрел, как Цумпены поднимаются по ступенькам, он — высокий и стройный, с седыми висками, мужчин такого типа тридцать лет назад называли сердцедами; госпожа Цумпен — из тех худых брюнеток, вид которых вызывает в моей памяти лимон. Я видел по его лицу, что ему смертельно скучно идти к нам ужинать. Потом раздался звонок, я подождал секунду, подождал другую, не торопясь, подошел к двери и открыл.

— Ах,— сказал я,— как мило, что вы пришли.

Держа в руках рюмки с коньяком, мы обошли нашу квартиру, которую Цумпены захотели посмотреть. Берта осталась в кухне украшать бутерброды с острой закуской, выдавливая на них майонез из тубика. Она делает это очень мило — сердечки, завитушки, домики. Цумпенам понравилась наша квартира, они с улыбкой переглянулись, когда увидели большой письменный стол в моем кабинете, и я в душе согласился с ними, что стол, пожалуй, великоват.

Цумпен похвалил шкафчик рококо, свадебный подарок моей бабушки, и мадонну барокко в нашей спальне.

Мы вернулись в столовую; Берта уже накрыла на стол, она и это сделала мило — красиво и вместе с тем по-домашнему, и ужин удался на славу. Мы обсуждали кинофильмы и книги, и недавние выборы, и Цумпен хвалил различные сорта сыра, а госпожа Цумпен хвалила кофе и пирожные. Потом мы показали Цум-

пенам фотографии, сделанные во время свадебного путешествия,— виды бретонского побережья, испанские ослики и улицы Касабланки.

Мы снова пили коньяк, я хотел сходить за коробкой с фотографиями времен нашей помолвки, но Берта сделала мне знак, и я не пошел. Две минуты стояла тишина, потому что говорить было больше не о чем, и все думали о подряде; я думал о двадцати тысячах марок, и мне пришло в голову, что стоимость бутылки коньяка надо бы вычесть из налога. Цумпен посмотрел на часы, сказал:

— К сожалению, уже десять, нам пора. Какой милый был вечер!

А госпожа Цумпен сказала:

— Было чудесно, надеемся как-нибудь видеть вас у себя.

— Мы с удовольствием придем,— сказала Берта.

Мы поднялись и постояли еще полминуты, опять все думали о подряде, и я чувствовал, что Цумпен ждет, чтобы я отвел его в сторонку и заговорил об этом. Но я этого не сделал. Цумпен поцеловал Берте руку, и я прошел вперед, отворяя двери, и внизу распахнул перед госпожой Цумпен дверцу автомобиля.

— Почему ты не поговорил с ним о подряде? — кротко спросила Берта.— Ведь ты же знаешь, что завтра должны объявить результат конкурса.

— Боже милостивый,— сказал я,— я не знал, как к этому подойти.

— Ну как же,— кротко сказала она,— надо было под каким-нибудь предлогом увести его к себе в кабинет и там с ним поговорить. Как ты заметил, он интересуется искусством. Надо было сказать: у меня еще есть наперсный крест восемнадцатого века, может быть, вам интересно взглянуть, и тогда...

Я молчал, и она вздохнула и надела передник. Я пошел за ней в кухню; мы убрали в холодильник оставшиеся бутерброды, и я ползал по полу на четвереньках, разыскивая крышечку от тубика с майонезом. Я убрал остаток коньяка, сосчитал сигары: Цумпен выкурил только одну; я вытряхнул пепел из пепельниц, стоя съел пирожное и посмотрел, не остался ли кофе в кофейнике. Когда я вернулся в кухню, в руках у Берты был ключ от машины.

— В чем дело? — спросил я.

— Надо туда поехать,— сказала она.

— Куда?

— К Цумпенам,— сказала она.— А то куда же?

— Уже половина одиннадцатого.

— А хоть бы и все двенадцать,— сказала Берта.— Насколько мне известно, речь идет о двадцати тысячах. Не такие уж они щепетильные, можешь быть уверен.

Она пошла в ванную привести себя в порядок, а я стоял у нее за спиной, наблюдая, как она стирает помаду и заново красит губы, и тут я впервые заметил, какой у нее большой простоватый рот. Когда она поправляла мне узел галстука, я мог бы ее поцеловать, как делал всегда, когда она завязывала мне галстук, но не поцеловал.

В городе сияли огнями кафе и рестораны. Люди сидели на открытых террасах, и свет фонарей дробился в серебряных вазочках с мороженым и ведерках со льдом. Когда мы остановились у дома Цумпенов, Берта подбодрила меня взглядом, но осталась в машине, и я сразу же нажал кнопку звонка и очень удивился тому, как быстро мне открыли. А госпожа Цумпен, казалось, не удивилась, увидев меня; она была в черном домашнем костюме с широкими развевающимися штанинами, расшитыми желтыми цветами, и больше чем когда-либо вызывала в памяти лимон.

— Простите,— сказал я,— мне хотелось бы поговорить с вашим мужем.

— Его еще нет,— сказала она,— он вернется через полчаса.

В холле я увидел много мадонн, готических и в стиле барокко, и даже в стиле рококо, если такие бывают.

— Прекрасно,— сказал я,— если разрешите, я приду еще раз через полчаса.

Берта купила вечернюю газету и просматривала ее, куря сигарету. Когда я сел рядом, она сказала:

— Я думаю, ты мог бы поговорить об этом и с ней.

— Откуда ты знаешь, что его нет дома?

— Я знаю, что он всегда по средам в это время играет в шахматы в цеховом клубе.

— Ты могла бы сказать мне об этом раньше.

— Пойми же меня, наконец,— сказала Берта и сложила газету.— Я хочу тебе помочь, хочу, чтобы ты научился сам устраивать такие дела. Мы могли бы попросить папу, и он устроил бы тебе этот подряд, ему стоило только позвонить; но я хочу, чтобы подряд получил ты сам.

— Прекрасно,— сказал я,— так что же мы будем делать: подождем полчаса или поднимемся и поговорим с ней?

— Лучше всего подняться,— сказала Берта.

Мы вышли из машины и вместе поднялись в лифте.

— Жизнь,— сказала Берта,— складывается из компромиссов и уступок.

Госпожа Цумпен удивилась не больше, чем минуту назад, когда я приходил один. Она сказала «добрый вечер» и провела нас в кабинет мужа. Потом принесла бутылку коньяку и разлила его по рюмкам; я не успел и заикнуться о подряде, а она уже положила передо мной желтый скоросшиватель. «Поселок Еловая Роща»,— прочитал я и испуганно посмотрел сначала на госпожу Цумпен, потом на Берту, но обе они улыбались, а госпожа Цумпен сказала: «Откройте папку». И я открыл; внутри был другой скоросшиватель, розовый, на нем я прочел: «Поселок Еловая Роща — земляные работы». Я открыл и эту папку и увидел, что сверху лежит моя смета; в верхнем углу кто-то написал красным карандашом: «Дешевле всех».

Я почувствовал, что от радости заливаюсь краской, почувствовал биение своего сердца и подумал о двадцати тысячах марок.

— Боже милостивый,— сказал я тихо и закрыл папку, и на этот раз Берта забыла сделать мне замечание.

— Итак, выпьем,— сказала госпожа Цумпен.— Ваше здоровье!

Мы выпили, и я встал и сказал:

— Может быть, это неудобно, но вы, наверно, поймете меня — я хотел бы сейчас уйти домой.

— Я вас хорошо понимаю,— сказала госпожа Цумпен,— осталось только уладить одну мелочь.

Она взяла папку, перелистала ее и сказала:

— Ваша расценка за кубический метр на тридцать пфеннигов ниже, чем в самой дешевой из остальных предложенных смет. Я советую вам поднять расценку еще на пятнадцать пфеннигов, тогда ваше предложение все равно останется самым выгодным, а вы к тому же заработаете на четыре тысячи пятьсот марок больше. Сделайте-ка это сейчас же!

Берта вынула из сумочки авторучку и подала ее мне, но я был слишком взволнован, чтобы писать; я передал папку Берте и наблюдал за тем, как она твер-

дой рукой исправила расценку за метр, написала новую итоговую сумму и возвратила папку госпоже Цумпен.

— А теперь,— сказала госпожа Цумпен,— осталась еще одна мелочь. Возьмите вашу чековую книжку и выпишите чек на три тысячи марок, это должен быть чек на оплату наличными, дисконтированный вами.

Она обращалась ко мне, но не я, а Берта вынула нашу чековую книжку из своей сумочки и выписала чек.

— Но ведь у нас и денег таких нет,— сказал я тихо.

— Когда объявят результат конкурса, вы получите аванс, и тогда у вас будут такие деньги,— сказала госпожа Цумпен.

Наверно, в эту минуту я ничего не понял. В лифте Берта сказала, что она счастлива, но я молчал.

Берта поехала другой дорогой, мы проезжали по тихим улицам, в открытых окнах горел свет, люди сидели на балконах и пили вино; была светлая, теплая ночь.

Только один раз я тихо спросил:

— Чек был для Цумпена?

И Берта ответила так же тихо:

— Конечно.

Я смотрел на маленькие смуглые руки Берты, уверенно и спокойно ведущие машину. Эти руки, думал я, подписывают чеки и нажимают на тюбики с майонезом, и я перевел взгляд выше — на ее губы, и опять не ощутил никакого желания поцеловать их.

В этот вечер я не помогал Берте ставить машину в гараж, и мыть посуду тоже не помогал. Я выпил большую рюмку коньяку, поднялся в кабинет и сел за свой письменный стол, который был слишком, слишком велик для меня. Я думал о чем-то, потом встал, пошел в спальню и посмотрел на мадонну барокко, но и там то, о чем я думал, не сделалось для меня яснее.

Телефонный звонок прервал мои размышления; я снял трубку, и не удивился, услышав голос Цумпена.

— Ваша жена,— сказал он,— допустила небольшую ошибку. Она повысила расценку за метр не на пятнадцать, а на двадцать пять пфеннигов.

Одно мгновение я размышлял, а потом сказал:

— Это не ошибка, это было согласовано со мной.

Он помолчал, а потом рассмеялся и сказал:

— Значит, вы предварительно обсудили различные возможности?

— Да,— сказал я.

— Прекрасно, тогда выпишите еще один чек на тысячу.

— Пятьсот,— сказал я и подумал: совсем как в плохих романах. В точности.

— Восемьсот,— сказал он, а я рассмеялся и сказал:

— Шестьсот.

И я знал, хотя у меня не было никакого опыта, что сейчас он скажет «семьсот пятьдесят», и когда он действительно это сказал, я сказал «хорошо» и повесил трубку.

Еще не было полуночи, когда я спустился по лестнице и вынес чек Цумпену, сидевшему в машине; он был один; я протянул ему сложенный вдвое чек, и он рассмеялся.

Я медленно вошел в дом. Берты нигде не было видно, она не пришла ко мне, когда я вернулся в кабинет, она не пришла, когда я еще раз спустился, чтобы взять себе стакан молока из холодильника, и я знал, что она думает. Она думала: ему надо как-то это пережить, пусть побудет один, он должен это понять.

Но я так и не понял, да это и в самом деле непостижимо.

1956

МОГУЧИЙ ОТЕЦ УНДИНЫ

Я во всем готов верить Рейну, вот только летней его веселости не верю никогда; я всегда искал эту его веселость, но не находил; может, изъян зрения или изъян характера мешает мне ее обнаружить. Мой Рейн — темный и меланхоличный; слишком много он повидал хитрых изворотливых купцов, чтобы я мог поверить его летнему юношескому лицу.

Я плавал на белых кораблях, взбирался на рейнские скалы, ездил на велосипеде от Майнца до Кёльна, от Рюдесгейма до Дойтца, от Кёльна до Ксантена, осенью, весною и летом, а в зимнее время жил в маленьких отелях неподалеку от берега, и мой Рейн никогда не был летним Рейном. Мой Рейн такой, каким я его знаю с раннего детства: темная, меланхоличная река, которой я всегда боялся и которую всегда любил; я родился в трех минутах ходьбы от Рейна; я

еще не умел говорить, я едва научился ходить, но уже играл на его берегу: до колен увязая в опавшей листве, мы искали свои бумажные колесики, которые доверяли восточному ветру, а он гнал их — слишком быстро для наших детских ног — на запад, к древним крепостным рвам.

Стояла осень, всюду властвовала буря, дождевые облака и дым паровых труб висели в воздухе, туман лежал в Рейнской долине, глухо трубили туманные горы, красные, зеленые огни на марсе, на так называемых «вороньих гнездах», проплывали мимо, точно огни призрачных кораблей, и мы перевешивались через перила моста, вслушиваясь в резкие, нервные сигналы плотогонов, плывших вниз по течению.

Наступала зима: льдины, громадные как футбольные поля, белые, покрытые толстым слоем снега; тихо бывало на Рейне в такие ясные дни; единственными пассажирами были вороны, что на льдинах плыли в сторону Голландии, спокойно ехали туда на своих гигантских, фантастически элегантных такси.

В течение долгих недель Рейн был тихим; узкие серые разводья между огромными белыми льдинами. Чайки парили под пролетами мостов, льдины с грохотом разбивались об их опоры, а в феврале или в марте мы, затаив дыхание, ждали большого ледохода с верховьев Рейна. Волнующие душу арктические громады льда двигались оттуда, и невозможно было поверить, что по берегам этой реки растет виноград, прекрасный виноград. Многослойный грохочущий ломающийся лед двигался мимо деревень и городов, вырывая с корнем деревья, сплющивая дома, и уже утративший силу, уже менее опасный, подходил к Кёльну. Без сомнения, существует два Рейна: верхний, Рейн любителей вина, и нижний, Рейн любителей шнапса, этот менее известен, и я хочу замолвить за него словечко; это Рейн, так по сей день по-настоящему и не примирившийся со своим восточным берегом; там, где раньше дымились жертвенные огни германцев, теперь дымят трубы, от Кёльна вниз по течению и дальше на север, к Дуйсбургу — красные, желтые, зеленые огни, призрачные кулисы большой индустрии, тогда как западный, левый берег по-прежнему больше напоминает буколическую картинку: коровы, ветлы, камыши и следы зимних лагерей римлян; здесь стояли они, римские солдаты, и глядели на непримиримый восточный берег;

приносили жертвы Венере, Дионису, праздновали рождение Агриппины: рейнская девочка была дочерью Германика, сестрой Калигулы, матерью Нерона, женой и убийцей Клавдия, позднее ее сын Нерон убил ее. Рейнская кровь в жилах Нерона!

Она рождена была среди казарм: казарм всадников, матросов, пехотинцев; на западном берегу уже и тогда были виллы торговцев, правительственных чиновников, офицеров, термы, бассейны; наше время еще не вкусило этой роскоши, что погребена на десятиметровой глубине под мусором столетий, под игровыми площадками наших детей.

Слишком много воинов повидала эта река, старый зеленый Рейн: римляне, германцы, гунны, казаки, рыцари-разбойники — победители и побежденные — и последние посланцы нынешней истории, те, кто совершил самый далекий путь: парни из Висконсина, Кливленда или Манилы, они продолжают торговлю, начатую римскими наемниками в самом начале нашей эры. Чересчур много торговли, чересчур много истории видел этот широкий, зелено-серый, спокойно текущий Рейн, чтобы я мог поверить его летнему юношескому лицу. Куда больше доверия внушает его меланхолия, его мрачность; и угрюмые руины замков рыцарей-разбойников на его холмах напоминают об отнюдь не веселых временах междоусобия. В начале нашей эры здесь девичью честь меняли на римскую мишуру, а в году 1947 — цейсовские стекла меняли на кофе и сигареты, эти маленькие белые трубочки, эти символы бренности. И уж ни в коем случае нибелунги, жившие там, где растет виноград, не были веселым народом. Кровь была их монетой, одна сторона которой — верность, а другая — предательство.

Рейн любителей вина кончается приблизительно около Бонна, дальше — своего рода карантинная зона, до Кёльна, а там уж начинается Рейн любителей шнапса; для многих Рейн здесь и кончается. Мой Рейн начинается именно здесь, здесь он становится невозмутимым и меланхоличным, не забывая, однако, что он видел и чему научился в своих верховьях: по мере приближения к устью, он делается все серьезнее, пока не умрет в Северном море, пока его вода не смешается с водами океана; Рейн прелестных среднерейнских мадонн течет к Рембрандту и теряется в туманах Северного моря.

Мой Рейн — это зимний Рейн, Рейн ворон, на льдинах плывущих к северу, к Нидерландам, Рейн Брейгеля: серо-зеленые краски, черное и белое, и серого тоже много, и коричневатые фасады домов, что вновь принарядятся к приходу лета; тихий Рейн, еще достаточно просто и величественно владеющий собой, чтобы еще хоть несколько недель не подпускать к своему древнему руслу хитроумных поклонников Гермеса, отдавая предпочтение только птицам, рыбам, льдам. Я по-прежнему боюсь Рейна, который по весне бывает очень сердитым, когда затягивает в свои пучины домашний скарб, утонувший скот, вырванные с корнем деревья, когда на берегу висят таблички: «Осторожно!», когда глинистая вода все прибывает, когда вот-вот оборвутся цепи, которыми крепятся мощные жилые баржи, я боюсь Рейна, который зловеще, но так нежно нашептывает что-то спящим детям, боюсь этого мрачного бога, который хочет показать, что он еще потребует жертв: языческий бог, сама природа, ни капли доброты... он разольется широко, как море, ворвется в жилища, затопит зеленоватой водой подвалы, зальет набережные каналов, взревет под пролетами мостов: могучий отец Ундины.

1956

СТОЛИЧНЫЙ ДНЕВНИК

Понедельник

К сожалению, я приехал так поздно, что уже нельзя было ни погулять, ни зайти к кому-нибудь; в гостиницу я прибыл в 23.30, и к тому же устал. Мне не оставалось ничего иного, как поглядеть на город из окна отеля; жизнь здесь так и бьет ключом, клокочет и бурлит, буквально через край переливается; в этом городе много нерастроченной энергии, которая когда-нибудь еще проявится. Да, наша столица пока не стала тем, чем она могла бы стать.

Я закурил сигару — как увлекательно, какой заряд бодрости! Некоторое время я колебался, не позвонить ли мне Инн, но в конце концов со вздохом отказался от этой мысли и вновь углубился в изучение моих важных бумаг. В постель я лег около полуночи, здесь я всегда ложусь спать неохотно. Столичная жизнь не благоприятствует сну.

Тогда же. Ночью

Мне приснился диковинный, на редкость диковинный сон: будто я иду по лесу монументов, монументы расположены ровными рядами; на небольших полянах разбиты изящные скверики, посреди которых опять-таки высятся монументы, сплошь одинаковые, их сотни, даже тысячи — на постаменте мужчина, стоящий по стойке «вольно», видимо офицер, если судить по мягким складкам на сапогах, хотя грудь, лицо и пьедестал повсюду еще занавешены покрывалом; но вот внезапно со всех монументов разом спадают покровы, и я вижу — собственно говоря, без особого удивления, — что на всех постаментах стою... я. Я двигаюсь, улыбаюсь и читаю свое имя — ведь покровы с постаментов тоже спали, — читаю свое имя, запечатленное много тысяч раз: *Эрих фон Махорка-Муфф*. Я смеюсь, и смех возвращается ко мне, тысячекратно повторенный мною самим.

Вторник

Снова я заснул, переполненный ощущением невиданного счастья; проснулся свежий и с улыбкой посмотрел в зеркало — такие сны видишь только в столице. Я еще брился, когда в первый раз позвонила Инн. (Так я называю свою старую приятельницу Иннигу фон Цастер-Пенунц, Цастеры не из старой аристократии, хотя род у них солидный. Но несмотря на то что Эрнст фон Цастер, отец Инниги, был возведен в дворянское достоинство всего лишь за два дня до отречения кайзера, я не колеблясь считаю Инн себе ровней.)

Инн была, как всегда, нежна и, посплетничав немножко, дала мне понять в своей обычной манере, что проект, ради которого я прибыл в столицу, успешно продвигается.

— Наши дела идут как по маслу, — сказала она тихо и прибавила, чуточку помолчав: — Еще сегодня мы окрестим младенца. — Опасаясь, как бы я от нетерпения не начал задавать вопросы, она быстро повесила трубку.

В раздумье я отправился завтракать: имела ли она в виду закладку фундамента? Порой я, прямодушный старый вояка, не понимаю Инн, ведь она все зашифровывает.

В ресторане, как обычно, я обнаружил много энергичных лиц, преимущественно чистой расы; по привычке я коротал время, соображая, кого на какой должности

можно использовать; не успел я очистить яйцо, как уже наилучшим образом укомплектовал два штаба полка и один штаб дивизии, причем у меня еще остались люди для генерального штаба; конечно, это всего лишь игра, но знатому человеческих душ вроде меня она все же приносит уладу. При воспоминании о недавнем сне мое хорошее настроение еще улучшилось. Удивительно — гулять по лесу, сплошь состоящему из монументов, в каждом из которых узнаешь себя! Удивительно! Психологи, увы, не постигли еще все глубины человеческого «я»!

Кофе я приказал подать в холл; закулив сигару, я не без улыбки стал следить за часовой стрелкой — было девять часов пятьдесят шесть минут: будет ли Хеффлинг точен? Вот уже шесть лет, как мы не виделись, правда, время от времени подавали друг другу весточку (обычный обмен открытками, как водится между командиром и одним из нижних чинов).

Я поймал себя на том, что меня очень волнует, будет ли Хеффлинг пунктуален; по натуре я склонен усматривать во всем симптомы: пунктуальность Хеффлинга служит в моих глазах *мерилом* пунктуальности рядового состава в целом. Растроганный, я вспомнил одно из изречений моего старого командира дивизии Велька фон Шномма, который, бывало, говорил: «Махо, вы идеалист, и всегда таковым останетесь». (Не забыть внести плату, чтобы возобновить уход за могилой Шномма!)

Правда ли, что я идеалист? Я погрузился в размышления; к действительности меня вернул голос Хеффлинга, прежде всего я посмотрел на часы — было две минуты одиннадцатого (такой минимальный запас самостоятельности я всегда предоставлял Хеффлингу), потом взглянул на него: до чего же парень раздобрел — вокруг шеи жировые складки, волосы поредели, зато в глазах у Хеффлинга я по-прежнему видел эротический блеск, а его слова: «Явился по вашему приказанию, господин полковник!» — прозвучали совсем как в старые времена.

— Хеффлинг! — воскликнул я, хлопая его по плечу, и заказал для него двойную порцию водки. Взяв рюмку с подноса кельнера, он приосанился, но я дернул его за рукав, повел в укромный уголок, где мы и углубились в воспоминания.

— Помните, тогда под Швихи-Швалохе, помните девятую?..

Приятно убеждаться в том, что здоровый характер нашего народа почти не пострадал от всяких этих новомодных штук, в народе мы все еще встречаем грубоватое простодушие, мужской юмор и неизменный вкус к соленой шутке.

В то время как Хеффлинг полушепотом рассказывал мне очередной вариант одного старого анекдота, я увидел, как Муркс-Малохе вошел в зал и, согласно нашей договоренности, не подходя ко мне, исчез в задних комнатах ресторана. Взглянув на часы, я дал Хеффлингу понять, что спешу, и он со свойственным простому народу здоровым тактом сразу сообразил, что ему пора идти.

— Заходите к нам как-нибудь, господин полковник, моя супружница будет очень рада.— Громко смеясь, мы отправились вместе с ним к комнатке портье, и я обещал Хеффлингу навестить его. Быть может, у меня завяжется интрижка с его женой, время от времени во мне просыпается аппетит к грубой эротике низших классов, и кто знает, какую стрелу припас для меня амур в своем колчане?

Я сел рядом с Мурксом, заказал коньяк и, когда кельнер ушел, произнес со свойственной мне прямоотой:

— А ну, выкладывай, дело действительно выгорело?

— Да, мы все обстряпали.— Муркс положил свою руку на мою и прошептал: — Я так рад, так рад, Махо.

— Я тоже рад,— сказал я растроганно,— рад, что один из моих юношеских снов воплотился в жизнь. И произошло это в демократическом государстве.

— Демократия куда лучше, чем диктатура, если только парламентское большинство на нашей стороне.

Я почувствовал потребность встать, на душе у меня было празднично, исторические минуты всегда вдохновляли меня.

— Муркс,— сказал я со слезами умиления в голосе,— значит, это действительно правда?

— Правда, Махо,— ответил он.

— Она создана?

— Да, создана... сегодня ты произнесешь речь по случаю ее торжественного открытия. Первый курс уже набран. Слушатели размещены по гостиницам, но это временно, пока проект не будет доведен до сведения публики.

— А публика проглотит это?

— Проглотит. Она все глотает,— сказал Муркс.

— Встань, Муркс,— произнес я,— давай выпьем за боевой дух, который воцарится в этом учреждении, за дух военных воспоминаний.

Мы чокнулись и выпили.

Я был так потрясен в то утро, что оказался не способным предпринять еще что-либо серьезное; не в силах успокоиться, я пошел к себе в номер, оттуда в холл, а потом, когда Муркс уехал в министерство, отправился бродить по городу, обворожившему меня. Я был в штатском, но, несмотря на это, мне вдруг показалось, будто на боку у меня палаш и будто я все время тащу его за собой,— есть чувства, для которых во что бы то ни стало требуется мундир. И пока я шатался по городу, предвкушая свидание с Инн, окрыленный сознанием того, что мой план воплотился в жизнь, мне снова вспомнились слова Шномма. «Махо, Махо,— часто говаривал он,— ты всегда витаешь в облаках». Он говорил это и тогда, когда в моем полку насчитывалось всего тринадцать солдат и четырех из них я приказал расстрелять как бунтовщиков.

В честь торжественного дня я позволил себе выпить около вокзала аперитив, перелистал газеты, бегло просмотрел несколько передовиц, посвященных обороне, и попробовал представить себе, что сказал бы он, если бы был жив и прочел эти статьи. «Вот так христианские демократы,— заметил бы он,— вот так христианские демократы, кто бы мог от них такого ожидать!»

Наконец настало время идти в отель, чтобы переодеться перед встречей с Инн; услышав сигнал ее автомобиля — бетховенскую мелодию,— я выглянул в окно, она помахала мне рукой из своей лимонно-желтой машины, у нее были лимонно-желтые волосы, лимонно-желтое платье и черные перчатки. Послав ей воздушный поцелуй, я со вздохом подошел к зеркалу, завязал галстук и спустился по лестнице; Инн была бы подходящей женой для меня, но она разводилась уже семь раз, и немудрено, что относится скептически ко всякому брачному эксперименту; кроме того, между нами лежит идеологическая пропасть: Инн происходит из чисто протестантской семьи, а я — из чисто католической; и все же мы символически связаны между собой чис-

лами: она семь раз разводилась, я был семь раз ранен. Инн! Я еще не совсем привык к тому, что меня целуют посреди улицы...

Инн разбудила меня приблизительно в шестнадцать часов семнадцать минут: крепкий чай и имбирное печенье были уже на столе, мы быстро проглядели еще раз материалы о незабвенном маршале Хюрлангере-Хиссе, памяти которого решено было посвятить наше детище.

Зазвучал марш, я услышал его, когда, положив руку на плечо Инн и еще не остыв от недавних любовных утех, изучал документы, касающиеся Хюрлангера. Мне взгрустнулось: ведь и эту музыку, и все, что случилось со мной сегодня, было несказанно тяжело переживать в штатском.

Звуки марша и близость Инн отвлекали меня от штудирования документов, но Инн уже достаточно рассказала о Хюрлангере, так что я был вполне вооружен для своей речи. Когда Инн наливала мне вторую чашку чаю, раздался звонок, я испугался, однако Инн успокаивающе улыбнулась.

— Почтенный гость,— сказала она, возвращаясь из передней.— Такого гостя мы не можем принять здесь.— С усмешкой она показала на развороченную постель, где все еще царил очаровательный любовный беспорядок.— Пошли,— сказала она. Я встал и в некотором смущении последовал за ней; увидев у нее в гостиной военного министра, я был глубоко удивлен. Простодушное, открытое лицо министра сияло.

— Генерал фон Махорка-Муфф,— сказал он восторженно,— добро пожаловать в столицу!

Я не верил собственным ушам. Усмехаясь, министр вручил мне приказ о моем производстве в генералы.

Когда я вспоминаю об этом дне, мне кажется, что в тот момент я пошатнулся и с трудом сдержал слезы, однако же сказать точно, что происходило в глубине моего существа, не могу, помню только, что у меня вырвалось:

— Но, господин министр... как же с мундиром... ведь до начала церемонии всего полчаса...

С ухмылкой министр взглянул на Инн — о, как благороден этот человек! — Инн улыбнулась ему в ответ, отодвинула цветастую занавеску, отделявшую уголок комнаты, и я увидел его, увидел мой мундир со всеми орденами...

События и переживания следовали друг за другом с такой быстротой, что, оглядываясь назад, я могу лишь вкратце зафиксировать их ход.

Пока я переодевался в комнате Инн, министр подкрепился глотком пива.

Затем поездка на земельный участок, которого я никогда еще не видел; меня необычайно тронул вид местности, где должен воплотиться в жизнь мой любимейший проект — *Академия по сбору военных воспоминаний*; каждый бывший военный служащий от майора и выше получит возможность создавать там мемуары, беседуя с товарищами, работая совместно с военно-историческим отделом министерства. Я полагал, что можно ограничиться шестинедельным курсом, но парламент готов предоставить средства для трехмесячного. Кроме того, я собирался поселить в специальном флигеле нескольких здоровых девушек из народа, дабы они услаждали старых, беспощадно терзаемых воспоминаниями вояк в свободные вечерние часы. Очень много усилий понадобилось мне для того, чтобы найти нужные изречения. Так, на главном корпусе золотыми буквами будет начертано: «*Memoria dextera est*»;¹ для флигеля с девушками, где должны помещаться также ваннные комнаты, я подобрал совсем другую надпись: «*Balneum et amor Martis decor*»². Но по пути министр дал мне все же понять, что об этой части проекта пока не стоит распространяться: он опасался — может быть, не без оснований — возражений со стороны своих коллег по христианской фракции, хотя и сообщил с ухмылкой, что на недостаток либерализма у них пожаловаться нельзя.

Окрестности были украшены флагами; когда я вместе с министром подходил к трибуне, оркестр заиграл «*Был у меня товарищ*». Министр из присущей ему скромности не захотел взять предоставленное слово, и тогда я сразу же поднялся на трибуну, оглядел ряды соратников, выстроившихся передо мной, и, заметив, что Инн подмигнула мне в знак одобрения, начал:

— Господин министр, друзья! Цель этого учреждения, которое будет называться *Академией по сбору военных воспоминаний имени Хюрлангера-Хисса*, не

¹ Память не ошибается (лат.).

² Баня и любовь — награда воину (лат.).

нуждается в оправданиях, зато в оправдании нуждается сам Хюрлангер-Хисс, имя которого долго — я бы сказал, вплоть до сегодняшнего дня — считалось опозоренным. Вы все знаете, какое пятно лежит на нем: когда армия маршала Эмиля фон Хюрлангера-Хисса была вынуждена отступить под Швихи-Швалохе, Хюрлангер-Хисс сумел доказать, что он потерял всего лишь 8500 человек. А между тем, согласно подсчетам сведущих специалистов Тапира по вопросам отступления — Тапиром мы, как вы знаете, называли в своем кругу Гитлера, — армия Хюрлангера, прояви она надлежащий боевой дух, должна была понести потери в количестве 12 300 человек. Господин министр, друзья! Все вы знаете также, какому позорному наказанию подвергся Хюрлангер-Хисс: его перевели в Биарриц, где он умер, отравившись омарами. Долгие годы, целых четырнадцать лет, позорное пятно лежало на его имени. Весь материал об армии Хюрлангера попал в руки подручных Тапира, а позднее в руки союзников, но сегодня, сегодня, — я повысил голос, а потом сделал паузу, чтобы следующие слова прозвучали с надлежащей выразительностью, — сегодня можно считать доказанным — и с этой целью я готов предать гласности все материалы, — можно наконец-то считать доказанным, что армия нашего досточтимого маршала понесла под Швихи-Швалохе потери в количестве 14 700 человек, повторяю, в количестве 14 700 человек; таким образом, можно считать установленным, что армия Хюрлангера сражалась с беспримерным мужеством, и теперь имя маршала вновь сияет во всей своей красе.

Мои слова были встречены оглушительными аплодисментами, но я, как человек скромный, знаком дал понять, чтобы чествовали не меня, а министра, и в то же время, оглядывая лица товарищей, понял, что все присутствующие ошеломлены сообщением о Хюрлангере — вот до чего искусно проводила Инн свои изыскания!

Под звуки песни «На востоке встает заря для нас» я взял из рук каменщика мастерок и кирпич и заложил первый камень, в который были вделаны фотография Хюрлангера-Хисса и один из его двух погонов.

Затем колонна во главе со мной промаршировала к вилле «У золотого Цастера»; семья Инн предоставила ее в наше распоряжение до того времени, пока не будет

выстроено здание Академии. Здесь нас ждала краткая, но крепкая выпивка, министр произнес благодарственную речь, и нам зачитали телеграмму канцлера, после чего началась художественная часть.

Открыли художественную часть семь бывших генералов, игравших на семи барабанах; произведению, которое они исполнили, было с разрешения композитора — капитана с артистическими наклонностями — присвоено название: Септет памяти Хюрлангера-Хисса. Художественная часть прошла очень успешно: мы пели песни, рассказывали анекдоты, многие обнимались, все старые распри были забыты.

Среда

У нас оставался еще час времени, чтобы подготовиться к торжественному богослужению, примерно в семь часов тридцать минут мы строем отправились к собору. В церкви Инн стояла рядом со мной; я развесялся, когда она шепнула мне, что один из присутствующих полковников ее второй муж, один из подполковников — пятый, а один из капитанов — шестой.

— Зато твой восьмой будет генералом,— шепнул я ей.

Да, я уже принял решение! Инн покраснела, но после богослужения не колеблясь пошла вместе со мной в ризницу, где я представил ее прелату, который служил мессу.

— В самом деле, дорогая,— сказал прелат, после того как мы обсудили церковно-правовую сторону вопроса,— поскольку ни один из ваших предыдущих браков не был освящен церковью, я не вижу никаких препятствий оформить ваш брак с господином генералом фон Махорка-Муфф церковным порядком.

После столь счастливых предзнаменований наш завтрак вдвоем с Инн прошел очень весело. Инн была в особенно приподнятом настроении, такой я ее никогда не видел.

— Это бывает со мной всякий раз,— сказала она,— когда я становлюсь невестой.

Я заказал шампанское.

Чтобы хоть как-то отпраздновать нашу помолвку, которую мы пока решили держать в секрете, мы с Инн поднялись на Петербург, где нас пригласила к обеду кузина Инн — урожденная Цехине. Кузина была очаровательна.

Послеобеденное время и вечер были посвящены любви, ночь — сну.

Четверг

Я все еще не могу привыкнуть к мысли, что живу и работаю здесь — это слишком невероятно; утром читал первую лекцию: «Воспоминания как историческая миссия».

Днем — неприятности. По поручению министра ко мне на виллу «У золотого Цастера» приехал Муркс-Малохе и сообщил, что оппозиция неодобрительно высказалась о нашем проекте создания Академии.

— Оппозиция? — спросил я. — Это еще что такое?

Муркс объяснил. У меня было такое чувство, словно я упал с неба на землю.

— В чем дело? — спросил я нетерпеливо. — Есть у нас большинство в парламенте или его у нас нет?

— Оно у нас есть, — сказал Муркс.

— Так о чем же речь? — спросил я. — Оппозиция — странное слово, оно мне совершенно не нравится, это слово роковым образом напоминает о тех временах, которые, как я полагал, уже канули в Лету.

Когда за чаем я сообщил Инн о неприятностях, она принялась утешать меня.

— Эрих, — сказала она и положила свою маленькую ручку на мою, — никто никогда не был в силах противостать нашей семье.

1957

ВЫБРАСЫВАТЕЛЬ

Вот уже несколько недель, как я избегаю всяких контактов с людьми, которые могли бы поинтересоваться, чем я занимаюсь; если бы мне пришлось дать своей профессии ее точное определение, я должен был бы произнести слово, которое напомнило бы моим собеседникам об одном очень неприятном для них явлении нашего века. Потому-то я и предпочел для признания столь абстрактный способ, как перо и бумага.

Впрочем, еще не так давно я не побоялся бы признаться в этом вслух; наоборот, я прямо-таки навязывался со своими признаниями, называл себя то изобретателем, то внештатным ученым, порою даже студентом, а временами, опьяненный пафосом своей

деятельности, и непризнанным гением. Я грелся в лучах своей славы, которую, по всей видимости, испускал мой заношенный воротничок, и гордо и независимо брал маргарин, эрзац-кофе и низкосортный табак в кредит, что неохотно предоставляли мне недоверчивые торговцы, тоскливо следившие за исчезновением своего товара в карманах моего пальто. Я купался в ярком свете собственной неухоженности и с утра до вечера вкушал сладкий мед богемной жизни: нет большего счастья, чем чувствовать себя изгоем.

Но вот уже несколько недель подряд я каждое утро около половины восьмого сажусь, как и все, в трамвай на углу Роонштрассе, покорно протягивая контролеру проездной, на мне серый двубортный костюм, зеленая рубашка и галстук в тон, а в руках у меня — завтрак в алюминиевой коробочке и утренняя газета, свернутая в трубочку. Я выгляжу, как добропорядочный гражданин, которому наконец удалось научиться ни о чем не задумываться всерьез. Через три остановки я встаю с места, чтобы уступить его одной из тех пожилых работниц, что садятся в рабочем поселке. Принеся таким образом свое сидячее место в жертву чувству социального сострадания, я дальше читаю газету стоя, лишь изредка примирительно возвышая голос, когда мои поутреннему мрачно настроенные сограждане затевают очередную трамвайную склоку: я исправляю их грубые политические и исторические ошибки (объясняя своим попутчикам, например, в чем разница между СА и США); когда кто-то берет в рот сигарету, я тут же ненавязчиво подношу ему свою верную зажигалку, чтобы ее маленьким, но абсолютно надежным пламенем зажечь человеку его утреннюю сигарету. И этим тонким штрихом завершаю свой портрет вполне приличного господина, который еще достаточно молод для того, чтобы его можно было назвать «хорошо воспитанным».

Судя по всему, мне действительно удалось найти маску, исключаящую всякие расспросы о моей профессии. Меня скорее всего считают высококвалифицированным специалистом по торговле какими-нибудь приятно пахнущими товарами в красивой упаковке: кофе, чаем, пряностями, или мелкими, но дорогими предметами, призванными радовать глаз — драгоценными камнями, часами; или служащим, который сидит в уютной конторе, обставленной старинной мебелью,

где на стенах висят потемневшие портреты основателей фирмы, и ровно в десять звонит супруге, умело придавая своему деланно-безразличному голосу тот оттенок нежности, который неопровержимо свидетельствует о глубочайшей любви и заботе. А поскольку я всегда откликаюсь на шутку и не скуплюсь на улыбки, когда чиновник из муниципалитета, заглядывая в вагон на Шлиффенштрассе, каждый раз орет во все горло: «Крепи единство левого крыла!» (хотя там, по-моему, речь шла скорее о правом), поскольку я не скрываю своего отношения ни к свежим новостям, ни к результатам последнего тиража лотереи, то меня, оценив к тому же качество моего костюма, наверняка считают человеком хоть и не бедным, но тем не менее вполне демократичным. И невидимой броней этой полнейшей лояльности я укрыт не хуже, чем Спящая царевна — прозрачными стенками своего хрустального гроба.

Когда за окном трамвая медленно проплывает обгоняющий его грузовик, на минуту превращая это окно в зеркало, я привычно контролирую выражение лица: не пала ли на него тень раздумья или, упаси боже, боли? Осторожно удаляя с него последние следы мыслей, я придаю ему то выражение, которое и должно на нем быть: не слишком замкнутое, но и не слишком открытое, не слишком серьезное, но и не легкомысленное.

Да, маскировка, видимо, удастся, потому что когда я выхожу на Мариенплатц и смешиваюсь с публикой в старой части города, где расположено столько уютных, старомодно обставленных контор, приемных и консультаций, никому и в голову не приходит, что направляюсь я к служебному входу компании «Убиа», которая гордится тем, что кормит триста пятьдесят своих агентов, успевших застраховать уже более четырехсот тысяч жизней. Швейцар у двери черного хода с улыбкой приветствует меня, я миную его, спускаюсь в подвал и приступаю к работе, которую должен закончить к половине девятого, когда служащие компании начнут рассаживаться по кабинетам. Работа, которую я выполняю в подвале этой уважаемой компании с восьми до восьми тридцати, производит в буквальном смысле слова опустошающее действие: я выбрасываю.

На то, чтобы создать эту свою профессию и с цифрами в руках доказать ее полезность, я потратил годы; диаграммы и графики покрывали, да и теперь еще по-

крывают все стены моей квартиры. Я годами скользил по абсциссам, карабкался по ординатам: я погружался в выкладки и замирал от леденящей красоты формул. Но с тех пор, как я начал заниматься ею, с тех пор, как увидел все свои теории в действии, меня охватывает тоска — как она, вероятно, охватывает генерала, вынужденного спуститься с сияющих вершин стратегии в сумрачные низины тактики.

Я вхожу в свой кабинет, снимаю пиджак, надеваю серый рабочий халат и незамедлительно принимаюсь за дело. Открываю мешки, которые швейцар еще на рассвете притащил с почты, и высыпаю их содержимое в два больших деревянных корыта, изготовленных по моему заказу и находящихся по обе стороны от моего стола, справа и слева. Я, точно пловец, вытягиваю руки и принимаюсь за сортировку почты. Сначала я отделяю почтовые отправления от обычных писем: дело простое, достаточно только взглянуть на франкировку. Почтовые тарифы я помню наизусть, так что мне не приходится долго возиться. Благодаря опыту, накопленному за годы, я сортирую все за полчаса; бьет полдевятого, и я слышу над головой шаги служащих, спешащих в свои кабинеты. Я звоню швейцару, который должен развести отсортированные письма адресатам. Мне всегда делается грустно, когда я вижу, как он в довольно-таки маленькой жестяной коробке, размерами не больше школьного ранца, уносит то, что еще недавно составляло содержимое трех огромных мешков. Мне бы радоваться, ибо этот результат блестяще подтверждает теорию сортировки, над которой я корпел столько лет: однако никакой радости я не ощущаю. Оказывается, не так уж много радости сознавать, что ты прав.

Но вот швейцар уходит, и теперь надо еще разобрать оставшуюся гору почтовых отправлений — проверить, не затесалось ли среди них письмо с неправильной франкировкой или счет. Но сие случается редко, поскольку и почта, и наши корреспонденты обычно на удивление аккуратны. Должен признать, что здесь я допустил ошибку в расчетах: я полагал, что рассеянных и неаккуратных людей окажется больше.

Но, так или иначе, а ни одна открытка, письмо или счет, затесавшиеся между почтовыми отправлениями, не ускользнут от моего внимания; в полдесятого я снова звоню швейцару, чтобы он разнес по отделам и

эти, последние плоды моих изысканий. Теперь можно и подкрепить ослабшие силы. Жена швейцара варит мне кофе, я достаю из алюминиевой коробочки свой завтрак, ем и беседую с женой швейцара о ее детках. Исправил ли Альфред свою двойку по арифметике? Выучилась ли Гертруда наконец писать без ошибок? Нет, двойки Альфред не исправил, зато писать грамотно Гертруда научилась. Вызрели ли в этом году помидоры, набирают ли вес кролики, и удался ли эксперимент с дынями? Помидоры нынче не вызрели, кролики вес набирают, а вот с дынями пока неясно. С живейшим интересом и во всех подробностях мы обсуждаем с ней такие немаловажные проблемы, как закупка картошки на зиму или воспитание детей: надо ли родителям просвещать их или лучше, наоборот, подождать, пока они сами начнут просвещать родителей?

Около одиннадцати жена швейцара уходит: обычно она просит оставить для нее рекламные проспекты разных бюро путешествий. Она их собирает, а я посмеиваюсь про себя над этой страстью, потому что она будит во мне сентиментальные воспоминания: в детстве я тоже собирал такие проспекты, выжывая их из мусорной корзины в кабинете отца. Уже тогда мне не давало покоя, почему отец выбрасывает почти все бумаги, только что принесенные почтальоном, не удостоив их даже взгляда? Эта безжалостная расправа оскорбляла мое врожденное чувство бережливости: кто-то придумывал, писал, печатал все это, вкладывал в конверты, франкировал и отправлял, а потом оно неисповедимыми почтовыми путями попадало к нам: эти бумаги были политы потом художников, писарей, наборщиков и подмастерьев, наклеивавших марки, они стоили — на разных этапах и по разным расценкам — немалые в сумме деньги: и все это — для того, чтобы их, даже не просмотрев, отправили напрямик в корзину?

Годам к одиннадцати у меня уже вошло в привычку доставать из корзины эти бумаги, когда отец уйдет на службу, рассматривать и сортировать их: я складывал их в ящик с игрушками. Таким образом, к двенадцати годам у меня скопилось довольно большая коллекция рекламок рислинга разных марок, каталогов по истории искусств и сортам искусственного меда, а мое собрание проспектов бюро путешествий разрослось до размеров целой географической энциклопедии:

Далмация была мне знакома не хуже, чем норвежские фьорды, в Шотландии я ориентировался столь же уверенно, сколь и в Закопане, а богемские леса умиротворяли меня так же, как волновали штормы Атлантики. Меня уговаривали покупать шарниры, виллы и пуговицы, разные политические партии хотели получить мой голос, а бесчисленные фонды и комитеты — деньги: лотереи сулили мне богатство, секты обещали бедность. Читатель легко может сам вообразить, как выглядела моя коллекция к тому времени, когда мне исполнилось семнадцать, и однажды, повинуясь внезапному приступу безразличия к своему сокровищу, я снес его к старьевщику, который уплатил мне за все семь марок и шестьдесят пфеннигов.

Тем временем я, получив аттестат зрелости, уже пошел по стопам отца и оказался на первой ступени той служебной лестницы, с которой начинается блестящая карьера конторского служащего.

За семь марок и шестьдесят пфеннигов я купил себе стопку миллиметровой бумаги, три цветных карандаша — и довольно скоро убедился в мучительной бесплодности своей первой попытки добиться успеха на поприще конторской службы, ибо во мне уже тогда дремал талант выбрасывателя. Все свое свободное время я проводил за сложнейшими расчетами. Хронометр, карандаш, логарифмическая линейка и миллиметровка составляли основу моего увлечения: я высчитывал, сколько времени уходит на то, чтобы вскрыть конверт обычного, среднего и большого формата, с рисунком и без оно, убедиться в полной бессмысленности его содержимого и отправить то и другое в корзину; минимальное время, необходимое для этого, равнялось пяти секундам, максимальное — двадцати пяти; если содержимое выглядело привлекательно — например, в нем были картинки, да и текст был составлен толково, — это могло занять уже несколько минут, а то и целую четверть часа. Я высчитывал и время, необходимое для изготовления подобных бумаг, и объем минимальных затрат, для чего вел переговоры с типографиями, притворяясь, будто хочу заказать у них что-то. Я постоянно проверял на практике результаты расчетов, уточнял их (так, мне только года через два пришло в голову, что учитывать следует и затраты труда уборщиц, ежедневно опорожняющих мусорные корзины); я делал расчеты для предприятия с десятком,

двумя десятками, сотней и более работающих — и приходил к таким результатам, которые любой экономист, не кривя душой, счел бы поводом для серьезнейшего беспокойства.

Результаты своих расчетов я в приступе лояльности сначала показал собственному начальству. Неблагодарности я, положим, ожидал; ужаснули же меня ее масштабы — оказалось, что я трачу служебное время на личные дела, веду себя, как нигилист и, очевидно, помешался в уме, и потому уволен; к большому сожалению родителей, пришлось прервать едва начавшуюся блестящую карьеру и начать все сызнова, но и вторая попытка окончилась неудачей, и тогда я расстался с уютом родительского дома, избрав для себя, как уже говорилось, жребий непризнанного гения. Я познал все печальные радости изобретателя и целых четыре года играл роль антиобщественного элемента, причем играл ее столь успешно, что к отверстию на моей перфокарте, означавшему умственную неполноценность, в Центральной картотеке прибавилась еще и отметка об антиобщественном поведении.

Зная все эти обстоятельства, каждый легко поймет, в какое замешательство я пришел, узнав, что кому-то — в данном случае директору компании «Убиа» — наконец открылся глубокий смысл моих глубокомысленных расчетов; как ни тяжело мне было привыкать носить галстук в тон, однако этот маскарад был необходим, чтобы никто не узнал, чем я занимаюсь на самом деле. И вот я в страхе напрягаю мышцы лица, стараясь придать ему выражение, приличествующее реакции либерально настроенного гражданина на невинную остроту про Шлиффена, ибо нет на свете людей более тщеславных, чем остряки, заполняющие трамвай по утрам. Но иногда мне делается жутко от мысли, что со мной в одном трамвае едут люди, вчера добросовестно выполнившие работу, которая сегодня будет мной уничтожена: типографские рабочие, наборщики, художники, авторы текстов для рекламных проспектов, граверы, фальцовщицы, упаковщицы, подмастерья каких-то фирм: ведь я с восьми до половины девятого утра безжалостно уничтожаю изделия известных бумажных фабрик, уважаемых типографий, гениальных граверов, одареннейших мастеров пера; листы глянцевой и мелованной бумаги, оттиски с медных форм глубокой печати — все это я без тени сентиментально-

сти извлекаю из почтовых мешков и, не разворачивая, увязываю в пачки, удобные для приемщиков макулатуры. За какой-нибудь час я уничтожаю результат по меньшей мере двухсот часов упорного труда, сберегая компании «Убия» тем самым еще как минимум сотню часов рабочего времени, так что в итоге мой «выход» (извините, что приходится переходить на собственный жаргон) составляет 1:300. Когда жена швейцара уходит, унося пустой кофейник и свои любимые проспекты, я заканчиваю работу. Я мою руки, передеваюсь из халата обратно в пиджак, беру утреннюю газету и покидаю здание фирмы «Убия» через черный ход. Бродя по городу, я размышляю, как бы вернуться обратно из сферы тактики в сферу стратегии. Мои формулы были великолепны, пока я видел их на бумаге; их практическое осуществление разочаровало меня, потому что оказалось слишком легким. Все это вполне можно было бы поручить помощникам. Самому же мне, вероятно, следовало бы открыть школу по подготовке рассортировщиков-выбрасывателей. Возможно, стоит ввести должность выбрасывателя в почтовых отделениях, а если получится, то и в типографиях — это привело бы к огромной экономии сил, материалов и умственного труда, к сокращению почтовых расходов; может быть, удалось бы прервать и сам процесс изготовления проспектов где-нибудь на стадии набора — пусть бы их сочиняли, иллюстрировали, даже шрифты подбирали, но не печатали. Все эти проблемы нуждаются, конечно, в основательном изучении.

Простое же выбрасывание входящей почты меня мало интересует; все усовершенствования, которых тут можно добиться, уже предусмотрены моей основной формулой. Я уже давно занимаюсь расчетами, связанными с конвертами, пакетами и прочим упаковочным материалом; это настоящая целина, никем до сих пор не тронутая, тут еще можно избавить человечество от массы усилий, обрекающих его на бесполезные муки. Людям ведь ежедневно приходится выполнять миллиарды движений, потребных для выбрасывания чего-либо, они тратят силы, которые, будучи применены с толком, могли бы изменить облик Земли. Было бы неплохо получить разрешение на эксперименты в крупных магазинах: может быть, там удалось бы совершенно отказаться от упаковки или хотя бы поставить рядом с каждым прилавком квалифицированного

выбрасывателя, который бы разворачивал только что упакованный товар и связывал оберточные материалы в пачки, удобные для приемщиков макулатуры. Вот проблемы, тоже требующие своего решения. Я давно заметил, что во многих магазинах покупатели просто умоляют продавцов не заворачивать купленный товар, но им все равно заворачивают его насильно. В нервных клиниках растет число больных, дошедших до нервного срыва при разворачивании очередного флакончика духов, или при открывании коробки шоколадных конфет или пачки сигарет; я тщательно изучаю сейчас историю одного молодого человека, моего соседа, в поте лица зарабатывавшего горький хлеб рецензента и временами совершенно забрасывавшего свою работу, потому что ему уже не вмоготу было разрывать прочную бечевку, которой связывались пачки присылаемых ему на рецензию книг; если он, собрав последние силы, разрывал бечевку, то оставалась еще прочная картонная коробка, оклеенная лентами гуммированной бумаги, одолеть которые он был уже не в состоянии. Вид этого молодого человека производит ужасающее впечатление, и к тому же теперь он вынужден писать рецензии, не читая присылаемых ему книг, пачки с ними он ставит на полку нераспечатанными. Читатель легко вообразит, какие общественные последствия могло бы иметь широкое распространение подобных случаев.

Гуляя по городу с одиннадцати до часу дня, я отмечаю для себя целый ряд немаловажных мелочей; я захожу в магазины и незаметно наблюдаю, как заворачивают товары, останавливаюсь у аптек и табачных лавок, ведя свою статистику; время от времени я и сам покупаю разные мелочи, чтобы на собственном опыте убедиться в бессмысленности проделываемой над покупателем процедуры — и вычислить, сколько лишнего времени и труда уходит у человека, чтобы взять наконец в руки выбранный и купленный им предмет.

Вот так я, в безупречном костюме, с одиннадцати до часу довершаю свой портрет хорошо обеспеченного человека, способного позволить себе некоторую праздность и около часу заходящего в небольшой, но изысканный ресторан, чтобы рассеяться, выбрать себе обед из лучших блюд и сделать на картонных кружочках под пиво некоторые заметки, которые легко принять как за биржевые курсы акций, так и за стихотворные опыты, и умеющего облечь свое удовлетворе-

ние или неудовлетворение качеством мяса в такие выражения, что даже самому опытному кельнеру становится ясно, что он имеет дело со знатоком; при выборе десерта допустить легкую заминку: спросить ли сыра, кексов или мороженого? — и смахнуть со стола свои расчеты таким движением, что не остается никакого сомнения в том, что я и в самом деле записывал биржевые курсы акций. Я покидаю ресторан в ужасе от результатов собственных расчетов. Лицо мое становится все задумчивее, пока я ищу какое-нибудь маленькое кафе, чтобы до трех часов убить там время за чтением газеты. В три я снова вхожу через черный ход в здание компании «Убия», чтобы заняться вечерней почтой, почти целиком состоящей из рекламы. Те максимум десять или двенадцать писем, которые обычно находятся среди этой корреспонденции, можно выбрать за какие-нибудь четверть часа; после этого даже руки мыть не нужно — я просто отряхиваю их, отдаю письма швейцару, выхожу на улицу и сажусь в трамвай на Мариенплац, радуясь, что хотя бы на обратном пути мне не придется смеяться остроте насчет Шлиффена. Когда окна трамвая заслоняет тень очередного грузовика, я смотрю на свое лицо: оно выражает усталость, то есть задумчивость, почти мечтательность, и я счастлив, что теперь мне не нужно следить за ним, потому что мои утренние попутчики заканчивают работу позже меня. Я выхожу на Роонштрассе, покупаю себе пару булочек, сыра или колбасы, молотого кофе и иду домой, в небольшую квартиру, где все стены увешаны диаграммами и взмывающими вверх кривыми; при виде абсцисс и ординат у меня возникает ощущение начинающегося жара, ибо ни одна из кривых не опускается и ни одна из формул не успокаивает меня. Стеная под гнетом обуревающих меня экономических фантазий, я, пока закипает вода для кофе, раскладываю на столе логарифмическую линейку, листки с заметками, карандаши и бумагу.

Обстановка у меня более чем скромная, как в лаборатории. Я пью кофе стоя, наспех заедая его бутербродами, нисколько не напоминая того гурмана и знатока, каким был еще сегодня днем. Вымыть руки, зажечь сигарету, потом включить хронометр — и можно приступать к распаковке патентованных пилюль для укрепления нервной системы, купленных во время утреннего обхода города: внешняя обертка, целлофан,

потом коробочка, внутренняя обертка плюс инструкция, заботливо прихваченная резинкой: тридцать семь секунд. Чтобы распаковать эти пилюли, я затратил больше нервной энергии, чем получу, если съем одну пилюлю; впрочем, на то могут быть субъективные причины, которые я не учитываю в своих расчетах. Во всяком случае ясно, что ценность всех этих оберток значительно превышает ценность самих пилюль, да и не могут эти двадцать пять желтых шариков сами по себе стоить столько денег. Однако эти рассуждения затрагивают уже этическую сторону дела, а этики в своих формулах я принципиально не касаюсь. Мои расчеты ограничены чисто экономической сферой.

Множество предметов дожидается, чтобы я распаковал их, кипы листов с заметками требуют обработки; баночки с красной, зеленой, синей тушью ждут своего применения. Спать я обычно ложусь очень поздно, и перед глазами у меня долго мелькают формулы, громоздятся горы никому не нужных бумаг; некоторые формулы взрываются, как динамит, и грохот взрыва раскатывается подобно смеху — это мой собственный смех, это я смеюсь над остротой про Шлиффена, потому что боюсь остряка-чиновника из городского муниципалитета. Может быть, у него есть доступ к картотеке и он уже видел мою перфокарту и узнал, что я считаюсь человеком не только «умственно неполноценным», но и «антиобщественным», что гораздо хуже. Ведь любое отверстие заделать проще, чем такую малюсенькую дырочку в перфокарте; так что вполне возможно, что этим своим смехом над дурацкой остротой насчет Шлиффена я плачу за свою анонимность. Нет, мне не хочется признаваться вслух в том, о чем легче написать на бумаге: о том, что моя профессия — выбрасыватель.

1957

ВОКЗАЛ В ЦИМПРЕНЕ

Вокзал в Цимпрене давно уже стал пугалом для служащих Вёнишского отделения железной дороги.

Когда кто-нибудь халатно относится к делу или чем-либо иным навлекает на себя неудовольствие начальства, о нем говорят: «Будет продолжать в том же духе — его, того и гляди, переведут в Цимпрен».

А ведь всего два года назад перевод в Цимпрен был заветной мечтой всех железнодорожников округа.

После того как неподалеку от Цимпрена началось бурение скважин и черное золото забило из земли струями толщиной в метр, цены на земельные участки сразу же подскочили в десять раз. Но умные крестьяне по-прежнему выжидали, и поскольку через четыре месяца жидкое золото все еще било из земли струями толщиной в метр, цены выросли уже в сто раз. Потом цена перестала подниматься, ибо струи стали тоньше — восемьдесят, шестьдесят три, наконец, сорок сантиметров; эта цифра оставалась неизменной полгода, и цены на участки, которые упали было до пятидесятикратного размера первоначальной стоимости, снова поднялись — теперь они были в шестьдесят девять раз выше изначальной. Акции компании «Sub terra spes»¹ после значительных колебаний стали наконец стабильными.

Лишь одно-единственное лицо в Цимпрене противилось неожиданной благодати — шестидесятилетняя вдова Клип; вместе со своим слабоумным работником Госвином она продолжала обрабатывать свою землю, в то время как вокруг ее угодий вырастали колонии бараков из гофрированного железа, ларьки, кинотеатры и дети рабочих играли у маслянистых луж в геологов-разведчиков. Вскоре в специальных журналах появились первые социологические исследования, посвященные буму в Цимпрене — толковые работы, которые вызвали в соответствующих кругах соответствующий интерес. Был написан документальный роман «Рай и ад Цимпрена», отснят кинофильм, а одна молодая аристократка в иллюстрированной газете опубликовала свои в высшей степени целомудренные мемуары под названием «На панели Цимпрена». Население Цимпрена за два года выросло с трехсот восьмидесяти семи человек до пятидесяти шести тысяч восьмисот девятнадцати.

Управление дороги быстро перестроилось в связи с неожиданной благодатью: в сроки, которые явно противоречили ошибочно вошедшей в поговорку неповоротливости железнодорожных властей, был воздвигнут новый современный вокзал с большим залом ожидания, залом для просмотра кинохроники, книж-

¹ Наша надежда — под землей (лат.).

ным киоском, рестораном и погрузочной платформой. Начальник Вёнишского отделения дороги выдвинул лозунг: «Цимпрен — наше будущее». Заслуженных железнодорожников, продвижению которых до сих пор препятствовала нехватка штатных единиц, теперь быстро повысили и перевели в Цимпрен; таким образом, в Цимпрене сосредоточились лучшие силы округа. На срочно созванном чрезвычайном заседании комиссии по расписанию было решено сделать Цимпрен остановкой скорых поездов. Ход событий поначалу оправдывал такое рвение — неиссякаемые потоки людей в поисках работы устремлялись в Цимпрен и стояли в очередях перед конторами по найму.

Добрая вдова Клип и ее работник Госвин пользовались большой популярностью в пивных, открывшихся в Цимпрене; эти аборигены, носители вымирающих народных обычаев, выказывали потрясающее умение пить и говорили присловьями, ставшими для приезжих постоянным источником бурного веселья. Приезжие с удовольствием ставили Флоре Клип кружку-другую крепкого пива, лишь бы услышать, как она скажет: «Бойтесь земли, не копайте глубже, чем на сто восемь сантиметров»; а Госвин после двух-трех стопок водки повторял, если его об этом просили, присловье, уже известное большинству его слушателей из признаний молодой аристократки, которая утверждала, правда без всяких на то оснований, что состояла в интимной связи и с Госвином; итак, тот, кто обращался к Госвину, слышал ответ: «Вы еще увидите, увидите еще!»

Цимпрен между тем расцветал неудержимо: беспорядочное скопление бараков, ларьков, сомнительных пивнушек превращалось в прекрасно распланированный городок, в котором однажды даже происходил конгресс градостроителей. Компания «Наша надежда — под землей» давно уже отказалась от мысли выцыганить у вдовы Клип ее участок, который был расположен весьма благоприятно, близ вокзала и, как считалось вначале, стоял на пути у дальнейшего развития; потом умные архитекторы объявили его «редкостным декором» и включили в планировку города; таким образом, там, где, по идее, должен был выситься административный корпус и раскинуться плавательный бассейн для руководящих инженеров, росли капуста, картошка и репа.

Флора Клип оставалась непреклонной, а Госвин

непреложно, как «аминь» в конце молитвы, повторял свое присловье: «Вы еще увидите, увидите еще!» С присущими ему тщанием и заботливостью он продолжал прореживать репу и ровными рядами сажать картошку и нечленораздельными звуками выражал свою обиду на то, что маслянистая сажа лишает зелень ее естественного вида.

Поговаривали — это было похоже на слух, да и передавалось, как слух, шепотом — что струи нефти стали тоньше: теперь их толщина будто бы уже не сорок сантиметров, а тридцать шесть — так шептали друг другу люди; в действительности же было всего лишь двадцать восемь, а когда официальная цифра стала тридцать четыре, на самом деле было всего девятнадцать. Официозная ложь зашла так далеко, что, в конце концов, когда из многострадальной земли не сочилось уже больше ничего, — ни капли! — было объявлено, что толщина струи — пятнадцать сантиметров. Таким образом, официально нефть текла еще две недели после того, как иссякла: под покровом ночи с отдаленных разработок компании привозили в цистернах нефть, которая затем как цимпенская передавалась для погрузки ничего не подозревавшему железнодорожному начальству. Все же в официальных отчетах стали постепенно снижать толщину струи — с пятнадцати сантиметров до двенадцати, с двенадцати до семи, а потом — смелым скачком до нуля, якобы временно, хотя посвященные знали, что нефть исчезла навсегда.

Для цимпенского вокзала именно этот период был порой расцвета: правда, составов с нефтью приходилось отправлять меньше, однако бурный приток ищущих работы как раз теперь был особенно велик, что следовало приписать талантам заведующего рекламным бюро компании; в то же время Цимпен уже начали покидать уволенные, причем даже те, кто смело мог бы проработать еще год на демонтаже предприятий, увольнялись, напуганные слухами; в результате у касс и в камере хранения был огромный наплыв народа, и начальник станции, видя, что силы его лучших служащих на исходе, в отчаянии потребовал подкреплений. Было созвано чрезвычайное заседание управления дороги, и Цимпену срочно дали еще одну — пятнадцатую — штатную единицу. Говорят, если можно верить людским толкам, что на этом чрезвычайном заседании кипели страсти: многие были против расширения штатов, но

начальник Вёнишского отделения дороги будто бы заявил: «Наш долг — противопоставить необоснованным пессимистическим слухам оптимистический ответ».

Ресторан вокзала в Цимпрене переживал такой же наплыв, как и кассы: уволенные хотели спрыснуть свое невезенье, вновь прибывшие — свои надежды, за кружкой пива легко развязывались языки, и каждый вечер дело завершалось грандиозной попойкой, в которой объединялись обе группы. При этом оказалось, что слабоумный Госвин вполне в состоянии перевести свое присловье из будущего времени в настоящее, он говорил: «Теперь вы видите, видите теперь?»

Техническое руководство компании прилагало отчаянные усилия, чтобы вновь вызвать нефть из земли. Из дальних краев привезли на самолете загорелого, исполненного отваги молодого человека в ковбойке; целыми днями мощные взрывы сотрясали землю и людей; но и загорелому не удалось выманить из матушки-земли хотя бы одну-единственную струйку даже в миллиметр толщиной. Однажды Флора Клип, собиравшая морковь на одной из своих делянок, битый час наблюдала за юным инженером, который лихорадочно крутил ручку насоса; наконец она перелезла через забор, обняла молодого человека за плечи и, заметив, что он плачет, ласково сказала: «Видит бог, мальчик, ежели корова больше не доится, стало быть, на нет и суда нет».

И так как все это столь явно противоречило официальным прогнозам, мрачные слухи стали приправляться словом, которое должно было отвлечь умы — вредительство. Не остановились перед тем, чтобы арестовать и подвергнуть допросу Госвина, и хотя его пришлось оправдать за недостатком улик, выяснилась одна подробность из его прошлого, заставившая многих призадуматься: в молодости он два года жил в одном квартале с трамвайщиком-коммунистом. Недоверие не пощадило даже добрую Флору Клип: у нее в доме был произведен обыск, но ничего подозрительного не нашли, кроме красной подвязки; объяснение, которое она дала по этому поводу, — она-де в молодости любила красные подвязки, — комиссия сочла не вполне убедительным.

Акции компании «Наша надежда — под землей» стали дешевы, как опавшие листья осенью; было объяв-

лено, что политические причины, обнародование которых повредило бы благополучию государства, заставляют компанию очистить поле боя.

Цимпрен быстро опустел; буровые вышки были разобраны, бараки распроданы с аукциона, земельные участки стали вполтину дешевле, и все-таки ни один крестьянин не решался попытать счастья на этой оскверненной, растерзанной земле. Жилые кварталы были проданы на слом, канализационные трубы вырыты. Целый год Цимпрен был землей обетованной для старьевщиков и торговцев ломом; однако они не приносили дохода вокзалу, ибо увозили свою добычу на стареньких грузовиках; таким путем снова исчезли из Цимпрена шкафы и больничное оборудование, пивные кружки, письменные столы и трамвайные рельсы.

Долгое время начальник Вёнишского отделения дороги ежедневно получал анонимные открытки, гласившие: «Цимпрен — наше будущее». Все попытки обнаружить отправителя были безуспешны. Еще полгода Цимпрен оставался стоянкой скорых поездов, потому что это значилось в международных расписаниях: бешено мчащиеся поезда дальнего следования останавливались перед новеньким вокзалом на станции, где никто не сходил и никто не садился; и, бывало, какой-нибудь пассажир, зевающий у открытого окна, удивлялся, как и вообще порой удивляются пассажиры на некоторых станциях: «Интересно, почему мы здесь остановились?» И не ошибся ли он: у этого железнодорожника с интеллигентным лицом, дрожащей рукой подающего сигнал к отправлению, на глазах слезы?

Пассажир не ошибался: начальник станции Вайнерт плакал; в свое время он добился перевода в Цимпрен из Хулькина, станции скорых поездов, не имевшей будущего, и теперь его ум, опыт, административные способности пропадали здесь втуне. И еще одна фигура заставляла сонного пассажира навсегда запомнить эту станцию — оборванец, который стоял, опираясь на тяпку, и кричал вслед поезду, медленно набирающему скорость за шлагбаумом: «Теперь вы видите, видите теперь?»

Прошло два унылых года, и в Цимпрене снова образовалась община, правда маленькая, потому что когда участки в конце концов стали в десять раз дешевле своей первоначальной стоимости, умная Флора

Клип скупила почти всю цимпренскую землю, основательно расчищенную старьевщиками и торговцами ломом; однако оказалось, что и госпожа Клип поторопилась, ибо ей не удалось залучить в Цимпрен достаточно рабочей силы для обработки этой земли.

Единственное, что осталось неизменным в Цимпрене, был новый вокзал: рассчитанный на город со стотысячным населением, он теперь обслуживал восемьдесят семь человек. Большой вокзал, современный, вполне комфортабельный. В свое время управление дороги не поскупилось на художественное оформление, и теперь глухую северную стену здания украшает огромная фреска гениального Ханса Отто Винклера; фреска, развивающая предложенную управлением тему «Человек и колесо», выполнена в изысканных серо-зеленых, черных и оранжевых тонах и изображает историю колеса. Однако железнодорожники предпочитали северной стороне южную, и долгое время ее единственным созерцателем был слабоумный Госвин; подготавливая участок, где раньше находилась погрузочная платформа нефтяной компании, под посадку картофеля, он уминал свой скромный обед, сидя прямо перед фреской.

Когда вышло новое расписание, в котором Цимпрен уже не значился стоянкой скорых поездов, рухнул деланный оптимизм, несколько месяцев поддерживавший железнодорожников. Раньше они пытались утешить себя словом «кризис», а теперь уже нельзя было закрывать глаза на то, что это оптимистическое слово не подходит к существующему положению вещей, явно установившемуся надолго. Станцию по-прежнему населяли пятнадцать служащих, и шестеро из них с семьями, а между тем скорые поезда с презрением проносились мимо, ежедневно молча проходило мимо три товарных состава и останавливались только два поезда — один пассажирский из Зенштеттена до Хёнкимме и другой — из Хёнкимме до Зенштеттена; так что фактически Цимпрену требовались только две штатные единицы, а их было пятнадцать.

Начальник управления, смелый как всегда, предложил просто-напросто упразднить эти единицы, а заслуженных железнодорожников перевести на перспективные станции, но Союз железнодорожников воспротивился, сославшись — вполне основательно — на закон, согласно которому упразднить штатную единицу

так же невозможно, как отстранить от должности федерального канцлера. Кроме того, Союз представил заключение специалиста-изыскателя, который утверждал, что бурение в Цимпрене производили недостаточно глубоко, что слишком рано сложили оружие. Он полагал, что на цимпренской нефти еще рано ставить крест и что изыскатели компании «Наша надежда — под землей», как всем известно, люди без чести и совести.

Спор между управлением дороги и Союзом переходил из инстанции в инстанцию, был передан наконец в суд, который решил дело в пользу Союза, и штатные единицы в Цимпрене остались и по-прежнему должны были заполняться.

Особенно яростно сетовал на судьбу молодой Зухток: когда-то в школе ему пророчили блестящую карьеру, а теперь в Цимпрене он руководил участком, за два года не обслужившим даже и одного пассажира — камерой хранения. Старшему кассиру чуть-чуть получше, впрочем, разве что только чуть-чуть. Телеграфисты находят слабое утешение в том, что слышат, как гудят провода, — сообщения, адресованные не им: это доказывает, что где-то, хотя и не в Цимпрене, что-то происходит.

Жены пожилых служащих организовали клуб для игры в бридж, а жены служащих помоложе играли в бадминтон. И тем и другим отравляла удовольствие Флора Клип, которая за недостатком рабочей силы надрывалась на делянках вокруг вокзала; время от времени она прерывала работу и кричала в сторону вокзального здания: «Бездельники! Интеллигентская сволочь!» Были и выражения покрепче, вульгарные выражения, которые, однако, здесь привести невозможно. Госвин тоже воспринимал как вызов поведение молодых, красивых женщин, игравших в бадминтон перед вокзалом, и кричал: «Шлюхи, сплошь одни шлюхи!» — как видим, его лексикон обогатился. Железнодорожники помоложе и неженатые объясняли это знакомством Госвина с молодой аристократкой.

В конце концов дамы всех возрастов сошлись во мнении, что они не могут больше терпеть эту хулу; была подана жалоба, назначено слушание дела, прибыли адвокаты, и Зухток, два года в глаза не видевший клиентов, удовлетворенно потирал руки: за один день сдали две папки и три зонтика! Но радость его была

преждевременна: его подчиненный Ульшайд объяснил ему, что дело Зухтока — общее руководство, а принимать вещи входит в его, Ульшайда, обязанности. Ульшайд был прав, и Зухтоку пришлось довольствоваться тем, что вечером, когда за вещами пришли, он получил плату — пять раз по тридцать пфеннигов; впервые за два года затренькал новенький кассовый аппарат.

Умному начальнику станции тем временем удалось договориться с Флорой Клип: она заявила, что готова прекратить свои, как она теперь видит, несправедливые нападки, вдобавок она поручилась за то, что и Госвин больше не позволит себе подобных выходок. Взамен начальник станции, так сказать, в частном порядке, ибо формально это, конечно, недопустимо, разрешил вдове Клип держать в мужском туалете сельскохозяйственный инвентарь, а дамский использовать по прямому назначению. Более того, вдова Клип имеет право — но это уже далеко выходит за пределы обычной любезности и потому должно храниться в строгой тайне — ставить трактор в помещении товарного склада и съесть свой обед, сидя на мягких стульях огромного ресторана. По доброте душевной она иногда сдает продовольственную сумку или зонтик в камеру хранения, потому что ей жаль молодого Зухтока.

Лишь немногим служащим удалось добиться, чтобы их куда-нибудь перевели из Цимпрена; освобождающиеся места все равно должны заполняться, а в управлении округа давно уже не секрет, что Цимпрен — место ссылки; таким образом, к ужасу порядочных людей, еще не успевших добиться перевода, там становится все больше скандалистов, пьяниц, нарушителей порядка.

Несколько дней назад начальник станции с грустью подписал годовой отчет, который засвидетельствовал доход в сумме тринадцати марок и восемнадцати пфеннигов: было продано два билета до Зенштеттена и обратно — причетник и церковный служка приняли участие в ежегодной коллективной прогулке в живописную Лурдскую пещеру близ Зенштеттена; два билета до Хёнкимме — соседней станции — и обратно: старый Бандики возил сына к ушнику; один билет только до Хёнкимме — дряхлая матушка Глуш ездила к своей овдовевшей невестке помочь ей варить сливовое варенье, а обратно ее привез Госвин на багажнике

велосипеда; восемь раз сдавался на хранение багаж — две папки и три зонтика адвокатов, два раза продовольственная сумка и один раз зонтик Флоры Клип. И два перронных билета — священник провожал и встречал причетника и служку.

Очень печальный итог для способного начальника станции, который в свое время сам просил перевести его сюда из Хулькина, потому что верил в будущее. Теперь он давно уже в него не верит. Это он до сих пор посылает своему шефу анонимные открытки, иногда даже звонит ему по телефону и, изменив голос, повторяет то же самое: «Цимпрен — наше будущее».

Правда, недавно Цимпрен стал местом паломничества юного студента художественной школы — он пишет дипломную работу о творчестве Ханса Отто Винклера, который за это время успел умереть; часами просиживает молодой человек в пустом комфортабельном помещении вокзала, ожидает погоды, подходящей для фотографирования, и приводит в порядок свои заметки; там же он съедает свои бутерброды, сожалея, что здесь не продают спиртных напитков в разлив. Тепловатая вода из водопровода ему противна; возмущает его и то, что в мужском туалете хранятся «не связанные с железной дорогой предметы». Молодой человек приезжает не так уж редко, потому что огромную фреску можно фотографировать только по частям; но, увы, это не влияет на доходы вокзала, потому что студент приезжает с обратным билетом и не пользуется камерой хранения.

Единственный, кому есть какой-то прок от любви студента к путешествиям, — молодой проводник Брем, переведенный в Цимпрен за пьянство на работе: этот счастливчик пробивает обратный билет студента — подарок судьбы, вызывающий зависть у сослуживцев. Ему-то и вручил студент свою жалобу на состояние мужского туалета, и Брем сумел раздуть скандал, который на некоторое время снова привлек внимание к Цимпрену. Всем памятен процесс о «хранении посторонних предметов в железнодорожном помещении». Но и это давно уже в прошлом. Начальник станции надеялся, что после скандала его переведут куда-нибудь в наказание — тщетная надежда! В наказание переводят только в Цимпрен, но не из Цимпрена.

ВОСКРЕШЕНИЕ СОВЕСТИ

Один поэт приехал из Парижа в Германию, чтобы читать в разных городах свои стихи. Друзья у него здесь были, и он еще приобрел новых, а также, как бы «между делом», совершил нечто выдающееся: он добился, чтобы одну одиннадцатилетнюю девочку перевели в следующий класс. Судьба этой девочки была уже решена, ее оставили на второй год, но поэт отвел неотвратимое. Тот, кому хоть раз грозило или пришлось остаться на второй год, знает, каким кошмаром могут обернуться для него последние дни перед пасхальными каникулами. Страшная неумолимость официальных решений тоже известна каждому. Однако в данном случае неумолимое оказалось умолимым, и вопрос, каким же образом поэту удалось предотвратить роковой удар, имеет столь же простой, сколь и мало вразумительный ответ: подействовало его слово, его личность; он убедил учительницу, описав ей страх ребенка, он боролся за этого ребенка, которого совсем не знал и с которым никогда не будет знаком; поэт добился того, чего не могли добиться ни рыдающие родители, ни сам ребенок: девочку перевели в следующий класс. Чего не сделаешь ради счастья ребенка.

Этот случай действительно произошел, и его можно было бы назвать трогательным, если бы в том же классе, где сидит эта девочка, за несколько дней до приезда поэта не приключилось следующее: учительница заговорила о евреях и выяснила, что из сорока детей ни один не

знал ничего об уничтожении евреев, об этом самом хладнокровном из всех погромов, какие знала когда-либо европейская история.

А этот поэт — сам еврей, и его родителей уничтожили так же, как уничтожили шесть миллионов девяносто три тысячи евреев.

Наши дети ничего не знают о том, что происходило десять лет назад. Они учат названия городов, ставших символами безвкусной героики: Лейтен, Ватерлоо, Аустерлиц, но ничего не слышали об Освенциме. Нашим детям рассказывают на редкость сомнительные легенды, например, про императора Барбароссу, сидящего в пещерах Кифгейзера с вороном на плече; однако историческая реальность таких мест, как Треблинка и Майданек, им совершенно неизвестна.

Хотя следы геноцида в отношении евреев можно найти и в Кёльне. Кёльнских евреев собирали на территории нынешней ярмарки, в одном из тех мест, которые привлекают теперь из-за границы многие тысячи желающих поглядеть на «германское экономическое чудо». Уже одно это слово «чудо», примененное к подъему экономики, должно было бы заставить нас, христиан, задуматься: ведь чудом считается воскресение Иисуса Христа, так что, если уж быть точным, называть так экономический расцвет — кощунство. Мебель и фотоаппараты, ткани и станки демонстрируются сегодня на месте, ставшем для тысяч евреев из Кёльна и его окрестностей первой остановкой на пути в смерть.

Наши дети этого не знают, а мы, зная, стараемся не думать и не говорить об этом, — это явление любят теперь оправдывать расхожим словечком «жизнелюбие». Но жизнелюбие, вызвавшее к жизни германское «экономическое чудо», не дает алиби нашей с вами совести. Мы молимся о павших и пропавших без вести, о жертвах войны, но наша омертвевшая совесть не в состоянии произнести ясную и недвусмысленную молитву об убитых евреях; однако имеющий глаза и уши получает напоминание о них ежедневно. Один из следов, теряющихся в безымянности этого геноцида, обнаружился в одном из голландских лагерей, в помещении бывшего монастыря; он неумолимо ведет обратно в Кёльн — это след Эдит Штейн; ее имя сохранилось, потому что она была известным философом; но имя Эдит Штейн

свидетельствует не об одной ее жизни, жизни философа и монахини-кармелитки, оно свидетельствует об убийстве евреев. Товарный поезд, шедший из Голландии на Восток, записка, брошенная на полном ходу из вагона,— этот след уходит в один из восточных лагерей смерти; но начинается он в самом сердце Кёльна, в кёльнском «Кармеле». Многие из этих следов, теряющихся в товарных вагонах, берут свое начало в Кёльне — как, впрочем, и в любом ином немецком городе. Неосведомленность детей доказывает, что совесть их родителей — наша совесть — мертва: может быть, ее убил стыд, может быть, это жизнелюбие ее убило, но заблуждаться не стоит: то жизнелюбие, которое вызвало к жизни «германское экономическое чудо», не может служить алиби для христианской совести. Существует христианское жизнелюбие, но оно не имеет ничего общего с «германским чудом».

1955

ГОЛОС ВОЛЬФГАНГА БОРХЕРТА

Небольшой сборник рассказов Борхерта — его можно приобрести за ту же цену, что и билет в кино,— обращен в первую очередь к тем, кому сейчас столько же лет, сколько было Борхерту, когда он впервые попал в военную тюрьму: письма двадцатилетнего солдата Вольфганга Борхерта были признаны опасными для фашистского государства; он был сразу же приговорен к расстрелу и шесть недель просидел в камере смертников, пока его не помиловали. Ему было двадцать лет, и он просидел шесть недель в камере, зная, что умрет, умрет из-за каких-то нескольких писем, в которых высказал свое мнение о Гитлере и о войне! Читатели этой тоненькой книжки — вы, кому минуло сейчас двадцать лет,— знайте, как трудно было порой иметь свое мнение, какой дорогой ценой приходилось за это платить.

Вольфганга Борхерта помиловали, но и помилование его явилось одной из тех случайностей, какие так характерны для жестокости и произвола фашистской диктатуры. Брата и сестру Шолье не помиловали, хотя им тоже едва минуло двадцать лет. А позднее двадцатичетырехлетнего Борхерта вновь бросили в тюрьму из-за нескольких рассказанных им анекдотов. Для того чтобы отом-

стить двадцатичетырехлетнему юноше за его письма и остроты, был пущен в ход весь лживый аппарат фашистской юстиции. Вот до чего чувствительны фашистские государства; а между тем когда в карту генерального штаба втыкали одну-единственную булавку, гибли десятки тысяч человеческих жизней, ибо это означало, что их «вводят в дело»; но сами они, фашистские государства, не выносили даже булавочных уколов свободы; ответ у них на такие вещи был только один: смерть!

Когда началась война, Вольфгангу Борхерту было семнадцать лет, когда она кончилась — двадцать четыре. Война и тюрьма подорвали его здоровье, остальное довершили голодные послевоенные годы; он умер 20 ноября 1947 года в возрасте двадцати шести лет. Писать ему довелось всего два года, и эти два года он писал наперегонки со смертью; у Вольфганга Борхерта времени было в обрез, и он это знал. Борхерт — жертва войны; после того как отгремели выстрелы, в его распоряжении оказалось совсем немного времени, чтобы сказать всем тем, кто уцелел и кто уже успел прикрыть прошлое фальшивой позолотой благодушия, все то, о чем не в силах были сказать загубленные войной, — а к ним принадлежал и сам Борхерт, — сказать, что спокойствие, невозмутимость и «мудрость» уцелевших, их красивые слова — только ложь, и притом самая отвратительная из всех, какие существуют на свете. Ведь и ура-патриотические песни о знаменах, и трескотня выстрелов над свежими могилами, и пресная героика траурных маршей — все это безразлично для мертвых! Знамена, траурные салюты, похоронная музыка могут звучать торжественно только для тех, кто сознательно жертвует своей жизнью за свободу, для восставших, которых история столь охотно именует безумцами. Нас не должны обмануть ни знамена, ни залпы, ни оркестры, — ведь наши братья все убиты на войне! Пусть история отметит в своих анналах, что в пункте «икс» мы выиграли битву, а в пункте «игрек» проиграли, что «А» оказался на щите, а «Б» со щитом. Для писателя, для Борхерта, истина заключалась в том, что обе эти битвы — и та, которую мы выиграли, и та, которую проиграли, — в конечном счете были кровавой бойней, что мертвецы уже не могут любоваться цветами, вкушать свой хлеб и ощущать дуновение ветра, что дети этих мертвецов стали сиротами, а жены их — вдовами, что родители оплакивают своих сыновей.

Как часто встречаемся мы с мемуарной литературой,

в которой авторы равнодушно и устало пожимают плечами, подобно Пилату, умывающему руки!

Диалог Бекмана с безыменным полковником в пьесе Борхерта «На улице перед дверью» и небольшая книжка его рассказов более весомы, чем все высокомерное равнодушие этих людей, устало пожимающих плечами, подобно Пилату, которого следовало бы провозгласить духовным отцом пишущих мемуары.

Двадцатилетние, для кого в первую очередь предназначена эта книжка, должны вспомнить надпись на кроваво-красных вагонах железных дорог нацистского «рейха»: «шесть лошадей или сорок человек»; так перевозили людей во время войны, такой мерой их мерили. Надпись эта могла бы послужить заглавием для одного из рассказов Вольфганга Борхерта. Вагоны остались и сейчас, только надпись на них иная, сделанная иной краской, но достаточно нескольких тонн белил и нескольких трафаретов — и снова на вагонах появится: «шесть лошадей или сорок человек» — сорок солдат, посылаемых на убой, или сорок евреев, обреченных на истребление; а чтобы вагоны обратно не шли порожняком, их могут нагрузить рабами для заводов — мужчинами, женщинами, детьми того народа, который будет спешно объявлен «низшей расой».

У нас много говорили и писали о «крике души Борхерта», но и этот термин «крик» придуман равнодушными. Ведь сами равнодушные не кричат — пророков душевной «усталости» не может расшевелить даже горечь смерти...

Писатели — даже те, кто, казалось бы, витает в сфере чистой эстетики, весьма далекой от земных дел, — знают, что в определенной точке течение жизни индивидуума тесно смыкается с ходом самой истории; и эти писатели, как говорится в стихотворении Гюнтера Айха, должны «не быть равнодушными». Они всегда исполнены волнения, и никому не дано освободить их от ноши, которую они взвалили на свои плечи, — эту ношу нес и Вольфганг Борхерт, — от необходимости выразить свое волнение в форме, кажущейся со стороны невозмутимой. Внутренняя взволнованность и внешнее спокойствие — именно это и составляет для писателя наивысшее соответствие между формой и содержанием. Примером такого соответствия может служить рассказ Борхерта «Хлеб»: это документ, протокол, составленный человеком, пережившим голод, и вместе с тем мастерский рас-

сказ — бесстрастный и предельно сжатый, где сказано все и где нет ни одного лишнего слова. Читая «Хлеб», мы понимаем, как много еще мог сделать Борхерт; этот маленький рассказ стоит многих умных рассуждений о голоде в послевоенные годы, более того, он является блестящим образцом короткого рассказа, написанного в определенной манере, в той манере, когда писатель действует не методом нагнетания или разъяснения всем известных моральных истин, а правдиво рассказывает и тем самым изображает действительность. На примере рассказа «Хлеб» можно также увидеть разницу между художественным творчеством и столь неправильно понимаемым у нас жанром репортажа: поводом к репортажу всегда служит конкретное событие — голод, наводнение, забастовка, так же как поводом к рентгеновскому снимку — конкретный несчастный случай: сломанная нога или вывихнутое плечо. Но рентгеновский снимок показывает не только то место, где была сломана нога или вывихнуто плечо; он одновременно дает и мгновенную картину остановленной жизни, снимок всего скелета человека, изумляющий и утрашающий. Там, где писатель, подобно рентгеновскому лучу, проникает сквозь толщу конкретных событий, он также видит всего человека в целом — и это тоже изумляет и утрашает. Именно так показан человек в рассказе Борхерта «Хлеб». «Герои» рассказа — весьма обыденные люди: старая супружеская пара, прожившая вместе тридцать девять лет. Незначителен и сам «объект» спора — ломоть хлеба (хотя в то же время он и грандиозен, и это до сих пор еще помнят все люди, сами пережившие голод). Рассказ предельно краток и бесстрастен. Но в нем показано все убожество и все величие человека, наподобие того, как на рентгеновском снимке сломанной переносицы бывает запечатлен целиком весь череп пострадавшего. Рассказ «Хлеб» одновременно и документ, и высокая литература, как и памфлет Джонатана Свифта о голодном существовании ирландского народа.

Достаточно познакомиться с этим маленьким рассказом, чтобы понять: Борхерт — это писатель, который запечатлел то, что история так охотно предаст забвению — страдание, испытываемое отдельной личностью, делающей историю и являющейся ее объектом. Линия, проведенная на карте генерального штаба, обозначает «полк на марше», а булавка с красной, зеленой, синей или желтой головкой — «дивизию в бою»; над картами скло-

нялись люди, втыкали в них флажки и булавки, определяли координаты. А мера всех этих операций была обозначена на красных, как кровь, вагонах железных дорог нацистского «рейха»: «шесть лошадей или сорок человек».

Но для судеб обычных людей у нас не существовало тактических обозначений. Об этих людях — старике, который тайком, среди ночи отрезает себе ломоть хлеба, его жене, отдавшей ему свой хлебный паек, о павших мужьях и братьях, сыновьях и отцах писал Борхерт. История, пожав плечами, обычно проходит мимо всего этого, Пилат умывает руки. Когда в наших исторических трудах говорится: «Сталинград» или «кризис снабжения» — за этими словами исчезают судьбы людей. Они хранятся лишь в памяти писателя, в памяти Вольфганга Борхерта, который не мог оставаться равнодушным.

1956

В КУНСТКАМЕРЕ ЕЩЕ ЕСТЬ МЕСТА

Джеймс Джонс, «Отныне и вовеки веков»,

и Ярослав Гашек, «Похождения бравого солдата Швейка»

Смутно, словно в сумерках, я вижу перед собою двух человек, которых мне представили как ярых антимилитаристов; тот, что сидит слева, бледный, напряженный, достиг невероятного успеха — на протяжении семисот семидесяти двух страниц он ни разу не улыбнулся, лишь изредка чуть ухмыльнется, и все.

А тот, что сидит справа, толстый, маленький, круглый, наоборот, все время улыбается, вот так же он улыбался почти на каждой из пятисот семнадцати страниц.

Оба они сидят передо мной в качестве претендентов на место в кунсткамере истинных несолдат. Мне хорошо известен их жизненный путь.

Тот, что слева, затеял нечто такое, что не могло кончиться добром: будучи в социально стесненном положении, он сам, добровольно, обрек себя на безрадостную жизнь солдата на целых тридцать лет. Он пошел в армию, дабы избежать большой дороги, голода и неминуемо проистекающего отсюда тюрем-

ного заключения. Поначалу все шло хорошо. Он занимался боксом, играл в полковом оркестре и однажды даже сподобился сыграть вечернюю зорю в Арлингтоне (кажется, это нечто вроде американского Потсдама); этим он всю жизнь будет гордиться, ну да ладно; однако потом ему стали в тягость гомосексуальные интриги в военном оркестре, он попросил перевести его в другую роту и угодил как раз в роту капитана Холмса, я говорю «как раз», ибо Холмс был полковым тренером по боксу и командир полка то и дело допекал его из-за предстоящего чемпионата дивизии; мой кандидат на место в кунсткамере — отличный боксер, но он дал зарок никогда больше не выходить на ринг, ибо однажды так неудачно нанес удар противнику, что тот ослеп.

И тут начинается борьба одиночки с безымянной коррупцией в полку. Моему претенденту следовало бы все-таки различать — совершается ли тут просто несправедливость, или же он ищет для себя верную позицию, чтобы, найдя ее, бросить вызов — а это отнюдь не одно и то же; он, однако, не видит этой разницы, в результате происходит все, чего и следовало ожидать: притворная сухость, обманчивая гуманность обыкновенного армейского устава; в этом трухлявом заборе — уставе — столько дыр, что это позволяет легально замучить до смерти целые полки непокорных парней, довести их до безумия, самоубийства или же вынудить в конце концов пойти на все уступки...

Но герой сумел выстоять (а мне бы хотелось на месте силача, закаленного спортсмена, видеть какого-нибудь астматика, страдающего плоскостопием), и когда кажется, что победа вот-вот будет за ним, он, поддавшись на провокацию фельдфебеля, ввязывается в драку, а ведь ему следовало бы знать: все, что угодно, только не это — разве можно бить фельдфебеля! Его сажают в тюрьму, в ту самую тюрьму, где Джон Диллинджер решил стать не политиком, а преступником.

Мне всегда казалось, что тот, кто ищет справедливости, должен бы настаивать на своих правах, но он не пожелал доказывать, что фельдфебель угрожал ему ножом (а мог бы это доказать!). И тут происходит нечто уж совсем ужасное: в тюрьме он начинает гордиться тем, что он хороший солдат, и еще он гордится своим товарищем по несчастью Мад-

жио, потому что они из одной роты и тот тоже хороший солдат; эта бессмысленная и столь типичная гордость ненавистным и все-таки любимым коллективом побуждает меня, покачав головой, отказать ему в праве на место в кунсткамере; более того, даже в вестибюль я его не пущу, ибо вижу в нем слишком много Лили-Марленизма, он слишком много наглотался ложно понятой романтики вечерней зори.

Что же касается того, кто сидит справа, то следует знать, что он не солдат и никогда им не станет, никогда никому даже в голову не придет посчитать его таковым и никому никогда не удастся сделать из него солдата. Его жизнь была единственной в своем роде и поистине грандиозной: он был уволен из армии с диагнозом «идиотизм», а потом, во время войны, в сумасшедшем доме объявлен симулянтом; его жизненный путь лежал через тюрьмы, карцеры, больницы, он носил форму, какая ему доставалась, даже и вражескую, и не видел в этом ничего особенного; ему много раз грозила казнь: петля, пушка, пулемет, пистолет — все, что могло нести смерть, было направлено на него, однако его ничто даже не зацепило, более того, он еще получил награды: первую — за приличное поведение в отхожем месте, правда, всего лишь бронзовую, а потом были еще две серебряные за храбрость перед лицом врага, хотя врагов у него не было и храбрость ему была так же несвойственна, как и трусость.

Желчным генералам, взволнованным шпиикам, нервным докторам и чрезвычайно серьезным лейтенантам в минуты величайшей спешки он рассказывал то, что любого нетерпеливого человека доводит до белого каления: анекдоты. Он доказывал военной машине всю ее абсурдность, причем сам воспринимал ее буквально и всегда готов был «до последнего вздоха служить Его императорскому величеству», и никто не замечал, что он бессмертен.

При виде сидящих рядом кандидатов, бледного, тощего, по фамилии Превитт, и круглого, цветущего, по фамилии Швейк, любой счел бы цветущего Швейка с его тремя орденами на груди за человека, умеющего-таки извлечь выгоду из милитаризма, а другого, без орденов, за жертву, но все обстоит как раз наоборот. Превитт разминулся с орденами и с войной, он умер

от болезни, широко распространенной среди мнимых антимилитаристов — от Лили-Марленизма.

Ни один из них, ни Превитт, ни тем паче Швейк, не отвечают своей предварительной характеристике: Превитт ни в коей мере не антимилитарист, а Швейк куда больше чем антимилитарист: он просто не солдат, по самой своей природе не солдат, так что пусть себе гордо марширует мимо меня в кунсткамеру, он останется там стоять со всеми своими орденами, тогда как другому, Превитту, я вынужден буду закрыть туда доступ.

Боюсь, что Швейку придется пребывать в кунсткамере в мраморном одиночестве, точно в одиночной камере, ибо в немецких военных романах — по крайней мере, мне так представляется — ему сотоварища не найдется: там всегда излюбленным героем будет орденосный солдат, который в глубине своего сердца не хочет войны. Дабы снять со своих героев все подозрения в зависти, авторы наделяют их высокими чинами, красотой, наградами, умом и спортивными талантами; потом эта персона с обложки иллюстрированного журнала непременно завоюет чье-нибудь сердечко, такое чистое и демократичное, о каком можно только мечтать. А поскольку здесь уже приходится вторгаться в область психологии, то женский образ будет скроен по соответствующей мерке — лучше всего взять сверхрассудительную дочку рассудительного папаши из левых; конечно, она должна быть сексуально привлекательной, а иначе в ней можно будет заподозрить комплекс, развивающийся от ожидания у стены танцевального зала, когда другие танцуют.

Теперь эта парочка может спокойно отправляться на мировую войну; герою предстоит — в зависимости от продолжительности войны — дослужиться до оберлейтенанта, получить Рыцарский крест, а она, его возлюбленная, может ухаживать за ранеными, разносить суп, работать трамвайным кондуктором или даже в глубокой шахте добывать уголь для военных нужд. Эти чистые души так прозрачны, что никто их ни в чем не заподозрит. Разве стеклянного человека уличишь в грязных мыслях?

Очень важна и вторая, фашистская, пара: милитарист, который — ну хоть убей! — никак не получит Рыцарский крест; он — вот так сюрприз! — оказался еще и трусом, еле-еле дослужился до оберлейтенанта,

несмотря на пресмыкательство перед партией и презрение к нижестоящим; зато потом, во время денацификации, он будет выведен на чистую воду принцем Стеклянное Сердце и так выварен в щелоке, что превзойдет всех и вся своей безукоризненной чистотой.

Его возлюбленная непременно обладает следующими качествами: она и умна (будем же справедливы!), и красива (ибо мы действительно справедливы), она дочь немецкого националиста, который выгораживает Гитлера («Фюрер ничего обо всей этой грязи не знает»). Однако этой особе не следует — вот тут-то она и докажет свою моральную несостоятельность — что-нибудь создавать или добывать, лучше пусть работает медицинской сестрой в невропатологическом госпитале для высших чинов; там она — со слезами на глазах, но все-таки добровольно — приносит жертвы отечественной Венере; Крым или прекрасные курорты Южной Венгрии — самое подходящее место действия, но богатые лесами области все же предпочтительнее.

По крайней мере, так оно должно быть: националисты — трусы, а противники режима, наоборот, исполняют свой национальный долг, а так как противников режима больше, чем приверженцев, то национальный долг будет исполнен самым парадоксальным образом. Теперь война должна длиться до тех пор, покуда наш офицер, противник режима, не рухнет под тяжестью своих орденов. Может ли быть лучшая смерть для солдата?

В этих романах нет даже и проблеска надежды на зависть, ибо автор, прежде чем отослать рукопись издателю, тщательно опрыскивает своих героев романым ДДТ. А о том, что же такое зависть, было достаточно разговоров, и слово это превратилось в смертоносное оружие.

Тут я даже готов похвалить Превитта, ибо он имеет одно позитивное свойство: он асоциален, эта асоциальность — горе истинного наемника. В военном романе мне хотелось бы видеть хоть три грамма Швейка — для героя подобного романа поистине королевское богатство — и пусть он страдает плоскостопием, близорукостью, пусть он будет католик и трус, и уж особой премии достоин будет автор, который решится наградить своего героя астмой, а заодно и упрятать в тюрьму.

1956

Когда в Германии после войны формировалась новая литература, то сорока- и пятидесятилетних, не обинуясь, называли молодыми; такого определения удостаивалась порой седая или лысая голова. Йозефу Роту, когда он скончался в парижской клинике в мае 1939 года, еще не исполнилось сорока пяти лет — сегодня ему было бы шестьдесят два; он оставил после себя тринадцать романов, восемь больших повестей, несколько томов эссе, тысячи статей, репортажей, рецензий; и все это писалось им за столиком в кафе, за ночным столиком в отеле; от шести до восьми часов ежедневно уделял он своей главной возлюбленной — немецкой прозе, которой он, по сравнению со всеми другими своими возлюбленными, пренебрегал меньше всего.

То, что теперь выходит в свет трехтомник его произведений, — не только акт справедливости; трехтомник не просто восполняет пробел в большинстве библиотек: это издание — подарок, сюрприз, ибо доносит до нас произведения писателя, которые можно назвать классическими. Кто перелистает сперва эти три тысячи страниц, прежде чем доставить себе радость одним духом прочесть какую-то из вещей (если он раскроет книгу в начале одного из романов, то не сумеет устоять перед завораживающей четкостью, в которой редкостно сочетаются сухость и чувственность), — кто сперва лишь перелистает эти страницы, тому едва ли удастся найти хотя бы один абзац, где Рот допустил бы языковую или смысловую небрежность: даже самые пустяковые репортажи, ни к чему не обязывающие статьи ясны по мысли и по стилю; таков трехтомник произведений сорокапятилетнего, — если угодно, молодого, — писателя, которому, правда, было, по его собственному признанию, двести лет от роду.

Рот был старше: ему было пять тысяч лет; в нем заключались вся мудрость еврейского народа, его юмор, его горький реализм; вся печаль Галиции, вся грация и меланхолия Австрии; и Рот был человеком богемным и галантным. Начала его романов подобны тщательно скомпонованной увертюре, которая вводит читателя в огромную залу, где происходит бал: бал с многочисленной публикой, с императорами и беспризорными, с впавшими в уныние императорскими и королевскими офицерами, торговцами кораллами, контрабандистами,

трактирщиками и купцами; они вводят в миры, которых больше не существует: мир восточных евреев, каким его описал Рот в «Иове» (1930 г.) и который существовал еще до 1940 года; в этом году в него вторглись убийцы, и торговец кораллами Пиченик, Мендель Зингер, его жена Дебора, все эти бесчисленные дети, мужчины и женщины еврейской национальности — все они были убиты в Освенциме и Майданеке.

Так что произведения Рота — это не только поэзия и большая проза, это также документ еврейских будней, каких поискать. Рот, который писал в 1930 году о своем издателе Густаве Кипенхойере: «Он (Кипенхойер) любит евреев, а я нет», — опубликовал в то же самое время своего «Иова», пожалуй, наипрекраснейшую среди книг, появившихся между войнами, пусть даже ее венчает несколько непродуманная концовка, подобно тому как наряд галантного кавалера завершает легкомысленно завязанный галстук. Он опубликовал книгу еврейского повседневного быта, который для Деборы Зингер состоял в том, чтобы неделю обходиться двадцатью копейками, помноженными на двенадцать, а по пятницам драить пол до тех пор, «пока он не становился желтым, как шафран, и не встречал возвращающегося домой мужа блеском, подобно расплавленному солнцу».

Роман «Марш Радецкого», который, наверное, ныне наиболее известен, — это великая лебединая песнь старой Австро-Венгрии: в захолустье на границе Австро-Венгрии с Россией коротает жизнь, исполненную тихого отчаянья и одновременно гнетущей конфликтности, племянник «героя Сольферино». Точность описания у Рота часто является подавляющей: кажется, что она, как в часовом механизме, зиждется на алмазах, на потаенной твердыне; реализм становится тут прозрачным, ибо автор не допускает никакой слабости, нигде не видно разрывов.

Все есть в произведении Рота: волшебство Польши, печаль Австрии и меланхолия Галиции, болота Волыни, неподкупная точность служебного, имперского и королевского отчета. И как же по-идиотски звучат все тезисы об оседлости, укорененности, о «сроднении с землей» — непременно условии для писательства: в затхлости захолустнейшего провинциального местечка изгоняется все простодушие превосходных людей, все безоглядное усердие смельчака, который безмятежно предается своей богатой фантазии. Рот не дает языку изливаться

простецки и не закручивает его с ироничной самоудовлетворенностью, как локон, который укладывает перед зеркалом фат. Этот язык прозрачен, как стекло, свободен от сентиментальности и полон чувств — не только по форме, но и по своему духу: небольшая рецензия на первый роман Эрнста фон Саломона уже содержит в себе критику «Опросного листа», который был написан тринадцать лет спустя после смерти Рота.

Плодовитый писатель Рот, чье творческое наследие (созданное за сорок пять лет) производит монументальное впечатление, никогда не сбивался на болтовню. Он владел языком, язык владел им, и потому Роту подвластно все: роман и репортаж, рецензии, путевые очерки, ему подвластна пророческая проза «Антихриста», в котором неугасимая ненависть Рота к Гитлеру достигает апокалиптических масштабов.

То, что надлежало бы оплакивать, в утраченной традиции, что было пущено по ветру из подлежащего сохранению, — это было отчасти утрачено вместе с Ротом и в связи с ним: речь не о приевшейся высокопарности, которая обычно выдается за традицию и продается в качестве таковой. В лице Рота немецкая проза имела творца-хранителя, он был для нее тем спектром, который еще раз вобрал в себя блеск и жесткость, меланхолию и легкомыслие. Этот объемистый трехтомник, куда втиснуты все его творения, подобен памятнику. Хотелось бы надеяться, что он не станет лишь памятником, который разглядывают только извне.

1956

РИСК ПИСАТЕЛЬСТВА

Семь лет тому назад я зашел к издателю одного известного журнала, чтобы предложить ему свое сочинение; едва я был допущен к нему, как тут же передал ему рукопись — это был рассказ, — но он, даже не взглянув, положил ее на стопку других рукописей, во множестве громоздившихся на его письменном столе, велел секретарше принести мне чашку кофе, сам выпил стакан воды и сказал:

— Я прочту вашу рукопись, но позднее, возможно, лишь через несколько месяцев, вы же видите, сколько их тут, но прошу вас, ответьте мне прежде на один вопрос, на который ни один из ваших предшественни-

ков — а их только с утра у меня побывало уже семеро — не смог дать мне вразумительного ответа: как это получается, что на свете так много — я говорю без всякой иронии,— так много гениев и так мало издателей, вроде меня. Я люблю свой журнал, но я вполне пережил бы, если бы мне пришлось вернуться к моей прежней профессии: я заведовал отделом рекламы на фабрике бритвенных лезвий и, кроме того, писал критические статьи о театре, ибо это доставляло мне удовольствие. У вас есть профессия? Какая?

— В настоящее время я служу в статистическом управлении.

— И вы ненавидите это занятие, вам оно кажется унижительным?

— Нет,— сказал я,— ни о какой ненависти, и уж тем паче унижительности и речи быть не может; благодаря этой профессии я — худо-бедно — но содержу жену и детей.

— Но у вас есть потребность разъезжать по редакциям с мятыми, плохо напечатанными рукописями, или же вы доверяете их почте, а когда все они возвращаются к вам, принимаетесь за новые?

— Да,— отвечал я.

— А почему вы это делаете? Обдумайте хорошенько свой ответ, ибо это и будет ответом на мой первый вопрос.

Этого вопроса мне еще никто не задавал, и я задумался, а редактор начал читать мой рассказ.

— У меня,— произнес я наконец,— у меня просто нет другого выхода.

Редактор оторвался от рукописи, поднял брови и сказал:

— Золотые слова, то же самое я слышал от одного человека, ограбившего банк; судья спросил его, почему он решил ограбить банк. «У меня не было другого выхода»,— ответил тот.

— Вероятно, он был прав,— заметил я,— не исключено, что и я прав.

Редактор умолк и стал дочитывать мой рассказ, в нем было четыре машинописных страницы, и в те десять минут, что понадобились ему для чтения, я думал, нельзя ли было получше ответить на его вопрос, но лучшего ответа не находилось; я пил кофе, курил, но мне было бы приятнее, если бы мой рассказ читали не при мне. Наконец он дочитал, а я как раз закурил вторую сигарету.

— Ваш ответ на мой вопрос мне понравился, а вот ваш рассказ — нет. Есть у вас еще что-нибудь?

— Да,— сказал я, и выбрал из пяти рассказов, лежавших у меня в кармане, самый короткий.— Я лучше пройду немного, пока вы читаете.

— Нет,— сказал он,— лучше вы побудьте здесь. Второй рассказ был короче, всего три странички, ровно столько, сколько надо, чтобы докурить сигарету.

— А вот этот рассказ хорош,— объявил редактор,— настолько хорош, что мне просто не верится, что оба написаны одним и тем же человеком.

— Но так оно и есть,— сказал я,— оба они написаны мною.

— Не понимаю,— воскликнул редактор,— это даже как-то неправдоподобно: первый рассказ — претенциозная, а потому особенно непригодная разновидность религиозного китча, а второй — у меня ведь нет ни малейших оснований лстыть вам — второй мне представляется просто великолепным. Объясните, в чем дело!

Я не мог ему этого объяснить, я и по сей день не нахожу этому объяснения. В самом деле, мне кажется вполне правомерным сравнение писателя с тем грабителем, который с невероятными усилиями готовит ограбление банка и в смертельном одиночестве, ночью, взламывает сейф, не зная, сколько денег, сколько драгоценностей он там найдет: ему может грозить тюрьма на двадцать лет, депортация, исправительная колония, а он не знает, какова будет его добыча. Писатель или поэт, на мой взгляд, с каждой новой работой, за которую они берутся, ставят на карту все, что написали до сих пор; это риск, что сейф окажется пустым, что ты будешь схвачен и пропадет все нажитое прежними взломами. Конечно, разница в том, что писатель один такой, со своим стилем, со своим «водяным знаком», отличающим его от других, со своим клеймом мастера; но едва читатели и критики отметят его этой печатью, как начинается подлинное испытание, ибо теперь уже «писать» вовсе не всегда означает «не иметь другого выхода», это становится уже просто рутинной, но, разумеется, рутинной с клеймом мастера. Так же как для преуспевшего грабителя, преуспевшего боксера каждый новый взлом, каждый новый бой будет горше и опаснее предыдущего — ведь, так сказать, невинность утеряна, ее место

заняло знание,— так же обстоит и с писателем, и я убежден: многие испытывают то же самое, хоть в их библиотеке и висит свидетельство о получении ими звания мастера с печатью цеха. Для художника существует много всяческих возможностей, кроме одной — уйти на покой, и слова «свободное время» — великие человеческие слова, достойные быть предметом зависти, попросту неведомы ему; будь это иначе, «его искусству пришел бы конец», навсегда или на некоторое время, а решившись признать этот факт, он перестает быть художником; я, разумеется, даже не в состоянии себе это представить. Как-то я прочел в рецензии на какую-то книгу, автора рецензии я, увы, назвать не могу, поскольку забыл его фамилию: «Нельзя быть *немножко* беременной», и мне кажется, нельзя быть *немножко* художником, какая бы у тебя ни была профессия.

Не иметь другого выхода, прекрасно сказано, но я и до сих пор не нашел лучшего ответа на вопрос, почему я пишу: искусство — одна из немногих возможностей по-настоящему жить и поддерживать жизнь в тех, кто творит искусство, и в тех, кто его воспринимает. Рождение и смерть и все, что между ними, так же мало могут стать рутинной, как и искусство. Разумеется, есть люди рутинно проживающие свою жизнь, но только — они ведь уже не живут. Есть художники, мастера, ставшие чистой воды рутинерами, но они — не признаваясь в этом ни себе, ни другим — перестали быть художниками. Человек перестает быть художником не оттого, что делает что-то дурное, нет, он перестает им быть в то мгновение, когда начинает бояться какого бы то ни было риска.

1956

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ ГЕРОЕВ

Сегодня, в официально установленный для поминовения героев день, нам не хотелось бы подменять приказным пафосом ту боль, что никогда не изъявляет себя публично.

Помпезностью торжеств заглушается именно то, во что мы обязаны вслушаться: в молчание мертвых. Так пусть же замрут на маршрутах поезда, стихнет никчемная суতোлка уличного движения.

Мы должны привести на большие кладбища школьников: могилы убеждают так проникновенно, что комментарию не требуется, один взгляд на надгробную плиту — и вот он, отмеренный между годом рожденья и годом смерти, краткий промежуток времени, который принадлежал им: жизнь. Большинство из них погибли молодыми; нелегко умирать, когда ты молод и знаешь: ни один врач, никакое лекарство, ничто на свете не остановит противника, имя которому — Смерть. Независимо от того, взываешь ли ты к отцу, матери, к жене, девушке — или обретаешь успокоение с долей некоторого презрения; молишься ли ты или ругаешься. Совсем немногим было дано перейти от жизни к смерти неожиданно, так, как это пытаются выразить словом «павший» — этим мелким официальным подлогом, который выискан потому, что слово «умерший» звучит приватно и не создает впечатления неожиданности. Будто смерть — не столь же приватный акт, сколь и рожденье; будто время — количественная величина, которую удастся вычислить по испытываемой боли; в единый миг можно пробежать каталог миротворенья, можно причинить несказанную боль, ведь распрощаться навсегда — это значит осознать, что в могильную тьму нельзя взять с собой ничего: ни ветра, ни трав, ни волос любимой, ни улыбки ребенка, ни запаха реки, ни очертаний дерева, ни звучания голоса. Ничего. Умирающие всегда мерзнут. Величие, нисходящее на них, леденит.

Все ли они были героями — те, кто на позициях, в больницах, на полях, в укрытиях, в грузовиках и крестьянских повозках, в железнодорожных вагонах кричали и молились, ругались или обретали успокоение так, что оно было неотличимо от презрения?

Мне думается, большинство из них не согласилось бы с этим званием, считавшимся почетным, если бы знали об убийствах, совершенных во имя того, ради чего они умирали. Мы можем восславить их, если только освободим их от проклятий, примирим их молчание с тем молчанием, которое царит на местах великих побоищ. Ни об одном из них мы не знаем, что за пространства открылись ему, когда он увидел в лицо Смерть; слова относятся — обоснованно или необоснованно — к нашему миру, смерть — к иному.

Слово «герой» предполагает другое слово — «деяние». Герои действуют, по собственной воле жертвуют

собой ради какой-то идеи, какого-то дела; их казнят или убивают; они умирают под огнем батальона и взывают к потомкам: свобода! Герои, которым суждено выжить, никогда не придерживаются того, что обещали в момент свершения подвига; блеск мгновения, слава деяния меркнут.

Мертвые, к которым сегодня обращены наши мысли, не были героями в этом смысле; большинство из них вели себя не активно, а пассивно; они просто умерли, заплатились жизнью; может быть, героем сегодня считается всякий, кто умирает, принимает вызов Ее холодного Величества Смерти; однако в таком случае следует найти новое обозначение для героев, по доброй воле принесших себя в жертву. Фальшивыми титулами мы не окажем чести мертвым, а лишь оскорбим их память.

Их геройская смерть, столь великодушно удостоверенная,— это политическая разменная монета, и как таковая является фальшивой. Мертвые не принадлежат больше государствам, партиям. Их молчание нельзя превратить в один из лозунгов. На нынешние торжества направлена страшная машина по обработке мнений — пресса, радио, кино; громкая музыка, официальные слезы, подвижная мимика лица, дрожащая длань — все это преподносится современнику, который созерцает траурный акт, сидя в клубном кресле; он почитает своим долгом растрогаться и на секунду откладывает в сторону сигару, но лишь на одну секунду, наш современник, обремененный виною куда большей, нежели политическое заблуждение — равнодушием.

Крупные цифры позволяют современнику быть равнодушным без стеснений: миллионы человек убиты, миллионы погибли как солдаты, миллионы умерли как беженцы, на проселках. Невинные были принесены в жертву за смерть невинных. За большим числом жертв не видно отдельного человека, остается только имя, отдающее себя ненависти или почитанию; заблуждением, чреватых большими последствиями, было бы воздавать таковым почести осужденных на смертную казнь, одаривать их пафосом судебного разбирательства, вопросами и ответами, которые относятся к той категории, в соответствии с которой их вине были дарованы расхожие наименования, для их лиц был заготовлен целый альбом. Они делали историю — так это будет называться, и слово «история» нравится современнику, он смакует его, оно тает у него во рту, на секунду он

удерживает его вкус, пока опять не принимается за свою сигару.

Нам нравится, когда время, в которое мы живем, называют единственным, эпохальным; так оно и есть: наверное, никогда еще не были так велики масштабы равнодушия по отношению к гигантскому итогу страданий, причитаниям страждущих. Вероятно, никогда так незначительно не оценивалось величие смерти. Эта недооценка ведет к тому, что признается правомерной завтрашняя смерть, что можно ничтоже сумняшеся переступить через завтрашнюю смерть, уже сегодня принять ее в расчет. Печаль — это неизвестная величина, страдания не имеют курсовой стоимости. Зевая, переходят современники к текущим делам, предаваясь иллюзии, будто перестали существовать силы, учинившие беду; их-де можно обуздать с помощью другой формы государства, поставить под контроль комиссий; в один прекрасный день они-де будут уничтожены в зародыше. Роковое заблуждение. Зачинщики беды достигли своей цели, коль скоро, как это оказывается в нашем обществе, уже без всякого уважения относятся к смерти отдельного человека.

Печаль — это количественная величина, страдание обладает ценностью.

Наш голос слаб по сравнению с могучим грохотом вальцов, фабрикующих мнения, создающих настроение, изготавливающих сменные лозунги, которые, если они следуют друг за другом с интервалом в два дня, вполне могут противоречить друг другу, не повергая современника в раздумья. В таком обществе печаль становится собственностью, боль приобретает цену, каждый, кто еще способен почувствовать ее, превращается в героя. Мертвые, которых мы сегодня поминаем, — не принадлежат ни армиям, ни государствам, ни партиям; эти институты не имеют права быть в трауре по ним; это отцы и матери вправе оплакивать своих сыновей, жены — мужей, дети — родителей; боль не подводится ни под какую государственно-политическую категорию, для траура не существует параграфа в армейском уставе, в партийных статутах. Давайте не смешивать официальный пафос, который так легко перечеканить в мелкую монету пропаганды, с болью оставшихся в живых. Только у них и есть право сегодня говорить, велеть музыке смолкнуть.

Почему молчат матери в этот день, почему молчат

сыновья, дочери и жены тех, кого мы сегодня вспоминаем?

Видимо, они не осмеливаются востребовать назад своих мертвых с пьедесталов, с этих каменных колонн, из этих массивных бронзовых изваяний, которые, как это происходит вновь и вновь, преподносят смерть как общественное достояние, утверждают ложь об «умерших во имя грядущих поколений», являют их смерть как собственность истории в виде документов из мрамора, камня и меди. Зачастую мы были свидетелями смерти этих героев; из их уст мы слышали не те изречения, что значатся на памятниках, мы слышали крики, слышали молитвы, ругательства, мы видели, как многие из них обретали успокоение так, что оно было неотличимо от презрения, презрения, которое как бы предвосхищало гнетущее равнодушие потомков. Они называли имя своей жены, своей матери, им нужны были рукопожатие, глоток кофе, сигарета, что-то земное в качестве последнего привета, когда к ним приближалась Ее холодное Величество Смерть. Смерть не делала их историей, она отрывала их от истории, в которой они, в большинстве своем не желая того, участвовали. Смерть возвратила их тем, кто сегодня о них горюет, — оставшимся в живых.

1957

ПИСЬМО МОЛОДОМУ КАТОЛИКУ

Дорогой господин М.!

Недавно, когда мы познакомились с Вами в доме священника У., Вы как раз вернулись с «дня укрепления веры», какие у нас устраивают для будущих новобранцев. Там Вас остерегали от моральных опасностей солдатской жизни, и, разумеется, как всегда в подобных случаях, мораль отождествлялась прежде всего с моралью сексуальной. Не собираюсь подробно растолковывать Вам, какое грандиозное теологическое заблуждение кроется за этой подменой понятий — оно и так достаточно очевидно; столь однобоким пониманием морали вот уже почти столетие болен весь европейский католицизм.

В Ваши годы, когда мне было двадцать, — а было это в 1938 году, — я тоже, поддавшись на уговоры, принял участие в этом «дне укрепления» для будущих ново-

бранцев. На пригласительной открытке значилось что-то насчет «духовного вооружения для предстоящей армейской службы». Само «укрепление в вере» происходило в одном из тех монастырей, что напоследок подарило нам минувшее девятнадцатое столетие: кладка желтого кирпича и темные неоготические коридоры, где застоялся кислый дух унылого, бездумного смирения. Невзрачный монастырь укрывал в своих стенах интернат для молоденьких девушек, коих обучали здесь искусству ведения «респектабельного домашнего хозяйства». Подавать нам завтрак после святой мессы были — очевидно, с особым тщанием — отобранные наименее хорошенькие из них; но какая восемнадцатилетняя девушка покажется дурнушкой на фоне безотрадной архитектуры конца минувшего столетия?

После завтрака началось «духовное вооружение». Сперва говорил священник, — очевидно, он был ответственный за все мероприятие, — примерно с полчаса он разглагольствовал о капернаумском сотнике, на чьи слабые плечи вот уже лет сто принято взваливать теологическое оправдание всеобщей воинской повинности. Увы, мертвые беззащитны, так что пришлось капернаумскому бедняге отдуваться за всю идеологическую трескотню, которая тогда была в ходу: «народ без пространства», «большевистская угроза», «оправданная оборона»... Мой юный друг, будьте начеку всякий раз, когда теологи начинают рассуждать об оправданной обороне. Это столь громкие и столь пустые слова, что, будь моя воля, я бы их запретил. Внуков тех новобранцев, что погибли в 1914 году, сегодня обучают стрелять из атомных пушек, но и сегодня, сорок четыре года спустя, историки не пришли к единому мнению в вопросе о том, кто тогда, в 1914 году, находился в состоянии оправданной обороны. Какой же прок от этого термина и кого, скажите, он способен утешить? Впрочем, если Вам нужны исторические примеры оправданной обороны, Вы легко отыщете их в недавнем прошлом: Советская Россия в 1941 году, когда на нее вероломно напали войска германского вермахта, находилась в состоянии оправданной обороны, — равно как и Дания, Норвегия, Франция, — взгляните на карту Европы, и Вам не составит труда перечислить все остальные страны.

Священник, руководивший нашим укреплением в вере, как выяснилось, и сам имел за плечами кое-какой опыт солдатской жизни: в первую мировую он, оказы-

вается, был фельдфебелем и одним из немногих удостоился креста «Pour le Mérite»¹ унтер-офицерской степени. За вводной частью о капернаумском сотнике — ох уж этот неистребимый пиетет немецкого обывателя перед чинами и званиями — последовал раздел практических наставлений, в основном состоявший из советов, как во время совершенно неизбежных солдатских попок уберечься от алкогольного опьянения; уберечься же было необходимо потому, что завершаются подобные попойки и прочие армейские увеселения, как правило, коллективным походом в бордель; таким вот образом нас предостерегали от «нравственных опасностей» — то есть, опять-таки, от опасностей сексуальных.

В ту пору, летом 1938 года, большинство моих школьных приятелей давно уже вышли из всевозможных католических молодежных общин и переметнулись в гитлерюгенд или в юнгфольк; иных я порой встречал, когда они во главе колонны бодро маршировали по улицам — они улыбались мне извиняющейся улыбкой, а колонна тем временем во всю горланила: «Пусть кровь еврея брызнет под клинком...» — на извиняющиеся улыбки я не отвечал. Не знаю, какая нравственная опасность страшней: распевать во главе сотни десятилетних мальчишек «Пусть кровь еврея брызнет под клинком...» или сексуальное прегрешение. За годы, проведенные в рядах вермахта, мне довелось повидать немало мерзостей, но чтобы кого-то понуждали к сексуальным прегрешениям — такого не припомню, чего не было — того не было.

Священник рекомендовал нам перед такими солдатскими вечеринками есть побольше мяса, чем жирней — тем лучше, или сырой фарш и хорошую свиную колбасу — перед выпивкой надо, мол, уплотнить желудок надежной «прокладкой», что позволит избежать опьянения и тем самым уберечься от последующих нравственных опасностей. У меня и сегодня пропадает всякий аппетит, едва вспомню в подробностях эти тошнотворные кулинарные наставления, кстати, не только совершенно безграмотные с медицинской точки зрения, но и практически по сути невыполнимые в силу их вопиющей наивности: где, скажите Бога ради, несчастный новобранец призыва сорокового или сорок первого года мог раздобыть мясо — да еще в таких количествах?!

¹ «За заслуги» (фр.).

Затем последовало,— прошу простить, но шлюхи действительно были на первом плане,— подробное разъяснение о гнусных повадках этих бесстыжих бестий; ему самому,— рассказывал священник,— в первую мировую довелось служить ординарцем у одного беспутного капитана и не однажды приходилось самолично доставлять «дамочек» на квартиру своего командира; видимо, ему ни разу даже в голову не пришло отказаться от выполнения подобного приказа (хотя это было вполне возможно даже с юридической точки зрения, но, надо понимать, приказ начальства — закон для немецкого католика) — вместо этого он теперь расписывал нам тактические уловки, с помощью которых ему удавалось противостоять наглým заигрываниям этих опасных особ. Он говорил с нами открыто, «с солдатской прямоотой», и прямота эта была достаточно омерзительна.

Потом был совместный обед и последовали новые наставления, суть которых сводилась к тому, чтобы призвать нас к храбрости и соблюдению армейской дисциплины, все это по излюбленному шаблону: католики всегда в первых рядах, мы не какие-нибудь слюнтяи! Ах, мой юный друг, два, нет — три царства за священника, который найдет в себе мужество защитить слабого, трусоватого, плоскостопого, наконец, просто неуклюжего от этой физкультурной идеологии немецкой нации! Напоследок снова был помянут капернаумский воитель, потом подали кофе. Вправду ли обслуживавшие нас девушки так похорошели, или мне это просто казалось после восьмичасового заточения в монастырских стенах?

Потом нас наконец отпустили. Ни слова о Гитлере, ни слова об антисемитизме, о возможных конфликтах между приказом и совестью. Духовно вооруженные до зубов, мы поплелись домой по унылой пригородной улочке.

Четыре года спустя я состоял переводчиком при военной комендатуре в курортном городишке во Франции, и одной из моих обязанностей была в высшей степени ответственная и благородная миссия: каждое утро, что-то около девяти, отправляться в бордель и забирать там вещи, позабытые ночью в этих тоскливых чертогах Венеры пьяными фельдфебелями, унтер-офицерами и чинами рангом повыше,— бумажники, кошельки, водительские удостоверения, а иной раз, бывало, и пистолет или заветный конверт с фотографиями любящей супру-

ги и любимых чад. Сколь тоскливое зрелище являли собой эти маленькие курортные городки на французском побережье! Население большей частью эвакуировалось, огромные курортные отели гибнут в запустении, пляжи усыпаны битым кирпичом, в казино по игорным столам разгуливают крысы, устраивая карусель на рулетке; на убогом причале ни души, солдаты маются в бункерах, с тоской поглядывая на небо — не летит ли в сторону Англии почтовый голубь. Был специальный приказ этих «шпионских» голубей отстреливать — то-то было радости у измученных, одуревших от безделья и скуки вояк, когда голубь и вправду появлялся: палили из всех щелей и углов, грохот стоял, как на стрелковом празднике, — иногда, правда редко, даже попадали; перехваченные донесения, которые этим красивым птицам надлежало доставить в Англию, тут же лихорадочно расшифровывались в полковых штабах, но сообщалось в них почти всегда одно и то же: моральный дух противника подорван, в частях голод.

Через такой вот унылый, обезлюдевший городишко я и брел каждое утро с карабином за спиной в казарму любви, дабы подобрать трофеи, оставленные на поприще утех славными воителями Венеры всех званий и степеней; пожилая дама с оплывшим лицом ставила передо мной чашечку кофе, а сама по скрипучей рассохшейся лестнице поднималась наверх, откуда вскоре слышались сердитые, раздраженные голоса усталых после бессонной ночи девушек. В баре, где я обычно дожидался, согревая ладони кофейной чашкой, было еще не прибрано; ранним утром зрелище многое повидавшей за ночь питейной стойки — надо ли мне Вам его описывать? Ждать иной раз приходилось долго, я тогда шел на кухню и наливал себе вторую чашечку кофе, — мне такое самоуправство дозволялось, ведь мы с мадам почти подружились, — а если очень везло, мне удавалось дождаться прихода уборщицы, молодой крестьянки из соседней деревни, и один вид ее лица, разгоряченного поездкой на велосипеде, ее ладной, крепкой фигуры, один взгляд ее чистых светло-серых глаз согревал мне сердце; я помогал ей составлять стулья на столы, вычищать пепельницы, таскал ей воду — моя подорванная мораль укреплялась от сознания того, что среди всего этого хаоса и разброда я могу сделать хоть что-то осмысленное: составить стулья, вычистить пепельницы, натаскать воды, да еще для столь миловидной молодой

особы. После, когда мадам, спустившись вниз, вручала мне утерянные вещи, мы втроем садились пить кофе, рассуждая о различиях между практикующими и непрактикующими католиками: Жермена, молодая крестьянка, как и я, регулярно ходила в церковь, а мадам нет. Иногда к нам спускались две-три девушки, которым уже не удалось заснуть, и мы всей компанией завтракали, после чего, пока Жермена продолжала уборку, а мадам шла подсчитывать выручку, я, прихлебывая остывающий кофе, играл с девушками во что-то вроде «братец, не сердись» или мы, покачивая головами, разглядывали семейные фотографии ночных клиентов: бог мой, вот эта простушка, жена школьного учителя, с прелестной дочуркой на руках, неужели только для того и снялась на веранде, чтобы продемонстрировать своему супругу-лейтенанту, какую шикарную блузку ей сшили из присланного французского шелка?

Нравственная опасность? Таковая, безусловно, была, но исходила она вовсе не от этих профессиональных обольстительниц. Я, кстати, так и не научился презирать клиентов подобных заведений, ибо совершенно не в состоянии презирать то, что по странному недоразумению принято именовать «плотской любовью», ведь и эта любовь — одна из сущностей святого причастия, и я питаю к ней то же благоговение, что и к неосвященному хлебу, который тоже частица тела Христова; разделение любви на так называемую «плотскую» и иную по меньшей мере спорно, чтобы не сказать недопустимо — и в той, и в иной неизбежно присутствует хоть крохотная примесь своей противоположности. Ведь мы, люди, создания отнюдь не только сугубо плотские либо, наоборот, чисто духовные, плоть и дух перемешаны в нас в разных, постоянно меняющихся пропорциях, и как знать, возможно, ангелы завидуют этому нашему свойству. К примеру, человек пишет письмо — занятие это иной раз сродни чувственному акту: лист бумаги, перо и руки, эти инструменты удивительной, а порой и тончайшей нежности. Некоторых шлюх я, правда, потом стал презирать — но не за их ремесло, а как презираешь священника, способного потешаться над истовостью веры своих прихожан. И если верны утверждения некоторых теологов, что в вине святого причастия растворен дух Бахуса и Диониса, то не логично ли предположить, что и таинство брака осенено дыханием Афродиты и Венеры? А коли так — тогда и так называемая

«плотская любовь», заслуживает иного, отнюдь не столь грубого и презрительного к себе отношения.

Впрочем, в презрении к клиентам и Жермена, и мадам, и сами девушки проявляли столь редкостное и прискорбное единодушие, что вскоре их высокоморальные речи прискучивали мне уже через час, я тщетно надеялся услышать в них хоть намек на сострадание, но, так и не дождавшись, покидал заведение и шел заливать тоску вином.

Сострадал я и молоденькому офицеру инженерных войск, которому было поручено ответственное боевое задание: взорвать несколько отелей и детских пансионатов, поскольку они якобы ограничивали «сектор обстрела» в случае высадки неприятельского десанта. Где-то в наших штабных тылах, как призрак, орудовал некий генерал, — за время пребывания во всевозможных училищах, академиях и на прочих курсах военных наук он, судя по всему, кроме понятия «сектор обстрела» мало что усвоил. Вот и взлетали на воздух гостиницы, пансионаты, санатории, а славное немецкое воинство выказывало поистине муравьиное усердие, накануне взрыва подчистую растаскивая из этих зданий все, что можно вынести: постельное белье, одеяла и скатерти, детские игрушки, — под покровом ночи из обреченных строений разворовывалось все, а затем — в строгом соответствии с почтовым предписанием — разнималось на части допустимого к пересылке веса и объема; почтовые весы были в большой цене, так что спустя несколько дней прилежная рука немецкой домохозяйки где-нибудь в Померании, Вюртемберге или на Рейне, разложив на столе лоскуты наподобие детской головоломки, наново шивала трофей, присланный с чужбины заботливым супругом.

Служить орудием разрушения — что может быть нелепее и абсурдней? Тут уж не спасет никакое «трагическое сознание». Нравственная опасность? Таковая, безусловно, была, и заключалась она в почти полной бессмыслице подобного времяпрепровождения: месяцы, годы тянуть одну и ту же одуряющую лямку — да тут счастьем покажется составлять для Жермены стулья, вычищать пепельницы и играть с полусонными бордельными девицами в «братец, не сердись». Нравственные опасности, угрожающие солдату, действительно велики, но сексуальная опасность — наименьшая среди них, Вы уж поверьте.

Когда мне стало совсем немогоду от тоски, я сказался больным, выискав себе болезнь, которая требовала поездки в Париж к врачу-специалисту; в Париже я купил книжку «Дневников» Леона Блуа и, сидя на террасе кафе и вооружившись карманным словариком, одолевал страницу за страницей, пока в последнем из дневников не наткнулся на запись, датированную святым праздником Рождества 1916 года, которая начинается фразой: «Нам прислали гуся из Бретани...» — и несколькими строчками ниже прочел: «Удовлетворение мое было бы поистине безмерным, если бы знать с полной уверенностью, что в вечер нашей рождественской трапезы вся Германия поддыхает с голоду». Это написано в 1916 году, в канун святого Рождества, в дни, когда моя мать с пятью детьми на руках и вправду была на волосок от голодной смерти, а прочитано в 1942, когда в Кёльне моя жена, мои родители, мои братья и сестры по нескольку раз на дню подвергались смертельной опасности; а вдруг проклятье Блуа сбудется, и все немцы действительно подохнут — если не от голода, то под градом вражеских бомб? Нет, не мог я поверить в коллективную вину всей немецкой нации — иначе бы дезертировал или нашел способ уехать в эмиграцию; а так я гулял теперь по Парижу, и немецкая армия была мне столь же чужда, как и французское население, чья враждебность производила впечатление убийственной именно потому, что распространялась на всех немцев коллективно — без исключений и различий; я заливал тоску вином, иногда на полчаса заходил посидеть в церковь, смотрел кино, а потом шел к себе в гостиницу и писал очередное длинное письмо жене, прежде чем лечь в кровать и еще долго ворочаться без сна. Нелегко мне было отречься от Леона Блуа, но не мог я понять и простить, не мог воспроизвести в себе эту ненависть, ненависть старого уже человека, — и я отрекся от Блуа той ночью в убогой парижской гостинице, один посреди враждебного города, где даже интеллигентные лица иных немецких офицеров были мне столь же чужды, как и холодная ненависть местного населения.

Нравственные опасности? Таковые, друг мой, безусловно существуют — в абсолютном отчаянии, в осознании полнейшей бессмыслицы подобного образа жизни. Выходы, впрочем, тоже есть: это культура, цинизм, шкурничество. Возьмем первый вариант — культурный: Вы принимаете любую ситуацию как данность и по

возможности обогащаетесь духовно — осматриваете соборы и картинные галереи, строя из себя этакое странствующего сноба; тут есть свои бесспорные преимущества: Вы попадаете в хорошую часть, под начало вежливых и понимающих командиров из тех высококультурных и — без всяких кавычек — гуманных офицеров, которые умеют видеть и уважать в вас интеллигентного человека. Следующая стадия — цинизм — уже на ступеньку откровеннее: Вы с наслаждением отдаетесь превратностям судьбы, предоставив волнам истории нести Вас куда им вздумается: из роскошной ванной богатой парижской квартиры — в смертоносную бойню, какой была война в России. Вы непроницаемы для всякой боли, не позволяете себе страдать, а на страдания других взираете со спокойной и деловитой безучастностью владельца похоронного бюро, который, в конце концов, все же не убийца. Шкурничество: Вы наживаетесь на войне где и сколько возможно; нужен поистине рентгеновский взгляд, чтобы с достоверностью выяснить, сколько состояний нашей благоденствующей республики проистекает из этого источника: вагон швейцарских часов на вокзале в Амьене, два зенитных орудия, загадочным образом исчезнувших в Одессе, или те фиктивные строительные работы, которые некий смысленный фельдфебель годами поручал фиктивным строителям, начисляя за них отнюдь не фиктивное жалованье; жалованье выплачивалось исправно, его делили между собой все тот же фельдфебель и французские подрядчики. Есть, наконец, и еще один выход: самоубийство. Маленький бледный унтер-офицер с криво нашитыми лычками на погонах — утром часовой обнаружил его возле бункера, он лежал точнехонько на линии прилива, пистолет под боком, перед застывшим взором — серая, бескрайняя гладь равнодушного океана. Что он чувствовал в миг своей кончины, этот бледный преподаватель гимназии, наизусть шпаривший своего любимого Плавта?

Дорогой М., не слушайте уверений, будто все это пустяки, будто нравственные опасности исходят лишь от бордельных красоток. Нравственные опасности грозят совсем иначе и с иной стороны. Сейчас вошло в привычку, чуть кто-то усомнится в нравственной позиции официальной католической церкви в Германии времен нацизма, тут же в опровержение перечисляют имена католиков, мужчин и женщин, которые были казнены или томились в лагерях и тюрьмах. Но эти люди —

прелат Лихтенберг, священник Делп и многие, многие другие — они ведь действовали не по приказу церкви, а по велению иной инстанции, само упоминание которой стало в наши дни чуть ли не предосудительным, — по велению совести.

Помнится, Вы мне сказали, что одну из прослушанных Вами лекций читал некто майор Ш. Советую Вам: не верьте майору Ш. Он неплохой человек, он не выбрал бы ни один из перечисленных возможных вариантов: культура, цинизм, шкурничество, самоубийство. Я знаю майора Ш. больше двадцати лет: как и многие другие, он тоже распевал во главе своей колонны мальчиков «Пусть кровь еврея брызнет под клинком» и улыбался мне извиняющейся улыбкой, когда я встречал его на улице за этим доблестным занятием, и при том он был «оппозиционно настроен», то есть при случае где-нибудь в укромном уголке парка пел со своей группой «недозволенные» песни — «На том краю долины стояли их шатры» или еще что-нибудь в этом роде. Такие были времена, что даже это считалось актом невероятного мужества, — надо же было дать выход юношескому духу противоречия, пусть хотя бы в форме «запретных» песен, которые негласно дозволялось петь тайком, дабы этот дух не воспротивился чему-то более существенному: строевой подготовке, военизированным учениям на местности и т. д.

Майор Ш. — вполне добропорядочный католик, без всяких кавычек, просто у него есть кое-какие мелкие недостатки — короткая память, умеренный интеллект, — присущие всякому оппортунисту, но даже в оппортунизме своем он неповинен, это столь же неотъемлемая черта его натуры, как у другого человека, скажем, голубые глаза. Не слишком-то доверяйтесь жизнерадостному и беззаботному «критическому пафосу», который так привлекает Вас в речах майора Ш. — это вроде пения тех запретных песен, которые сами по себе, в сущности, были совершенно безобидны. Майор Ш., — я тем временем тоже имел удовольствие прослушать одну из его лекций, — неизменно начинается с критики бундесвера, дабы с ходу завоевать симпатию молодежной аудитории; такая открытость, что и говорить, импонирует, в ней есть вроде бы даже спортивный азарт; я был бы весьма разочарован, узнав, что Вы клонули на эту удочку. Я знавал сотни таких, как майор Ш.: среди людей этого толка встречаются даже культурные

экземпляры — однажды мне пришлось послужить чем-то вроде амурного посредника при молодом лейтенанте, от всего облика которого за три сотни метров исходил сияющий отсвет католического молодежного движения начала века; я должен был устраивать для него randevу и на первых randevу исполнять миссию переводчика, то есть воспроизводить по-французски весь его высококультурный треп — от и до, вдоль и поперек, от Гвардини до Эрнста Юнгера, от Ницше до Кароссы, от Мориака и Андре Жида вплоть до «ле Рейх»; то была тяжкая работа, поверьте, в эти дни мне нелегко доставалось мое жалование обер-ефрейтора, которое я вечерами горько пропивал в укромном кабачке, где хозяин изливал мне свою коммунистическую душу. Нет, я вовсе не ощущаю за собой морального превосходства, дабы учинять здесь над майором Ш. нечто вроде запоздалой денацификации, я только перечисляю способы жизни, и не пристало мне судить тех, кто пошел по пути наименьшего сопротивления, активно и во всю глотку распевал «Пусть кровь еврея...», на том лишь основании, что сам я вел себя пассивно и ничего подобного не совершал; не могу поручиться, что сумел бы сделать окончательные выводы, от меня этого, слава Богу, не потребовалось, — так что лично я, пишуший Вам эти строки, не имею за душой никакого морального кредита, кроме разве того, чисто механически-возрастного, что мне было пятнадцать лет, когда государство Ватикан первым установило дипломатические отношения с Гитлером, и двадцать восемь, когда я вернулся домой из американского лагеря для военнопленных.

Вас, конечно, удивит, почему я все это Вам пишу, а не рассказал в тот же вечер, когда мы познакомились в гостях у священника У. На то есть своя причина, и я не собираюсь о ней умалчивать: в присутствии священника У. мне претит говорить о вещах, которые я принимаю всерьез; я знаю священника У. больше двадцати лет, в ту пору мы с ним беседовали о Бернаносе и Блуа (причем священник У., как и все, за немногими исключениями, немецкие католики, с завидным постоянством и по сей день пребывает в заблуждении, считая Бернаноса левым католиком, чем доказывает только одно: что можно быть еще правее Бернаноса, — но это заблуждение, равно как и многообразные роковые его последствия, — тема особого разговора). Уже тогда священник У. замечательно умел рассказывать самые

смешные анекдоты про генеральный викариат, и, разумеется, мне, молодому человеку, было лестно их слушать, — я как бы приобщался к сонму посвященных и особо привилегированных лиц. Но анекдоты про генеральный викариат (они, кстати, за истекшие двадцать лет очень мало изменились) — это примерно то же самое, что для майора Ш. — его юношеская увлеченность «запретными» песнопениями или его сегодняшняя «критика» бундесвера; не обманывайтесь на сей счет — когда дело доходит до принципиальных вещей, эти люди обнаруживают редкостную увертливость. По-своему я даже ценю священника У. — он остроумен, обаятелен, неплохо разбирается в литературе, предлагает гостям превосходные вина и отличные сигареты, и поверьте, все эти вещи я очень даже умею ценить, но не более чем они того заслуживают, то есть — как сопутствующие; но при моем ремесле требуется умение наблюдать, и я наблюдаю за священником У. вот уже больше двадцати лет, пытаюсь совместить его образ с долей того отчаяния, которое, должно быть, испытал бледный молоденький унтер-офицер, когда застрелился в предрассветном тумане, уставясь на серую, бескрайнюю гладь равнодушного океана; или хотя бы с долей шкурничества того интеллигентного фельдфебеля, который на войне наживался. Я, безусловно, многое ценю в священнике У., но разговаривать с ним мне неинтересно; лучше уж я побуду дома и сыграю с детьми в «братец, не сердись».

Немецкие католики — а священник У. до известной степени типичный их представитель — десятилетиями не знают иных забот, кроме забот о совершенствовании литургии и о воспитании вкуса; занятия, что и говорить, весьма похвальные, но я спрашиваю себя, хватит ли этого в качестве алиби для одного, а то и для двух поколений? Стало хорошим тоном, чуть ли не идейной платформой ругать на чем свет стоит генеральный викариат, епископов, вообще клерус (причем именно клирики усердней других изошряются в ругани), но умонастроения, изъясляющие себя во всех этих модных повадках, ничуть не серьезней, чем фрондерство шкодливого гимназиста, потешающегося в компании одноклассников над своим классным руководителем. За этими детскими шалостями священника У., как и многих других католиков, скрывается безысходное отчаяние: литература, образованность, литургия — все это только средство заглушить угрызения совести; ведь все они

достаточно пронизательны и умны, чтобы понимать, сколь пагубно почти безраздельное слияние церкви с ХДС, ибо слияние это чревато гибелью теологии; читая сегодня высказывания теологов по политическим вопросам, не испытываешь ничего, кроме неловкости, потому что произносятся все эти высказывания исключительно с оглядкой на Бонн — за каждой фразой только угодливое ожидание покровительственного хлопывания по плечу.

Так что, дорогой М., можете спокойно высказывать в гостях у священника У. любые сомнения в догме о телесном вознесении Девы Марии; в ответ Вас деликатно поправят, Вам с мягкой укоризной изложат чрезвычайно тонкое, ловкое — без сучка, без задоринки — теологическое толкование; другое дело, если Вам взбредет на ум высказать сомнение в (негласной) догме о безупречности ХДС, — тут священник У. почему-то сразу занервничает и с него вмиг слетит вся его деликатность. Вы можете спокойно перевести разговор на богоявление Христа Святому отцу — Вам любезнейшим образом разъяснят, что Вы вовсе не обязаны в это верить; но стоит Вам усомниться хоть в одном из речений Святого отца, которое способно оправдать возрождение германской армии, разговор опять-таки примет крайне неприятный оборот. А еще в доме священника У. Вы сведете знакомство с рядом весьма любезных и обходительных либералов старого и нового призыва, которые, пройдя через очистительное горнило ХДС, «снова обрели себя в лоне церкви». Разумеется, ни в какую «мистику» эти люди не верят, но на Пасху и на Рождество (на Троицу нет, слишком хороша в июне погода) они ходят на безупречное, совершаемое по всем канонам литургии богослужение в безупречную, по всем канонам древней архитектуры отреставрированную церковь (старинную, по меньшей мере XIII век!) и все решительней склоняются к мысли, что «это совсем не такое уж зряшное дело». Вопрос, действительно ли человек верует, становится в обществе непростительным фо па; вопрос, соответствуют ли убеждения человека его публичным высказываниям, воспринимается как детское недомыслие. Таких вопросов «просто не задают», это все равно что закапать красным вином белую скатерть. Мы живем в стране оппортунистов, ну а юношеский дух противоречия — для него всегда можно подыскать отводной клапан.

Когда у нас обсуждался вопрос о возрождении германской армии, правление Союза немецкой католической молодежи выпустило в свет небезынтересную брошюрку; сочинитель ее делится своими мучительными раздумьями о том, какими «формальными параметрами» должен обладать молитвенник будущего немецкого солдата; по его мысли, «необходимые гибкость и прочность» молитвенника следует обеспечить за счет «тончайшей бумаги и эластичного переплета». Вот они — типичные заботы немецких католиков! Тут что ни слово — то перл, и чуть ли не каждое достойно отдельного памфлета: «прочность», «гибкость», «тончайшая бумага», «эластичный переплет»! В России мне довелось видеть слишком много смертей — на боевых позициях и в лазаретах, и я не могу воспринимать эту фразу иначе, как чудовищное надругательство, корни которого я вынужден возводить все к той же озабоченности немецких католиков проблемами вкуса. Перед лицом смерти, которую приняли братья и сестры по вере, которую, возможно, претерпели увезенные в Освенцим соседи и соученики сочинителя, лишь официально заверенный врачами документ о его слабоумии способен заставить меня ему эту фразу простить, что, однако, ни в коей мере не сняло бы ответственности с правления Союза немецкой католической молодежи, раз уж оно способно доверить написание подобной брошюры слабоумному; между тем два миллиона членов Союза, судя по всему, встретили ее публикацию без малейших возражений, и ни одному из пастырей душ, видимо, и в голову не пришло, сколько поистине дьявольского коварства таит в себе одна эта фраза; к физкультурной теологии у нас, значит, добавилась еще и книгоиздательская. Что ж, подождем, пока в один прекрасный день не потребуют себе специального молитвенника дантисты, графики, изготовители искусственного меда...

Не пекитесь о своем молитвеннике, дорогой М., и никогда не подпевайте тем, кто так любит ругать и вышучивать генеральный викариат и епископов: это недостойно ни Вашего ума, ни Вашей серьезности; принимайте угощения и вина священника У., его навык остроумно поддерживать беседу, его непринужденные и толковые рассуждения о литературе — принимайте все эти приятности, как они того заслуживают, то есть как изящную безделицу, но ради Бога, не принимайте

их слишком всерьез и не ждите надежных советов по части нравственных опасностей, которые, конечно же, Вас не минуют. Для меня, когда я был в Вашем возрасте, первостепенной нравственной опасностью стал договор, который Ватикан первым из государств заключил с Гитлером; это дипломатическое признание повлекло за собой куда больше последствий, чем если бы сегодня, допустим, Бонн заявил о признании Восточного Берлина. Вскоре после заключения этого договора между Ватиканом и Гитлером стало особым шиком идти к причастию в форме СА, да, это стало шиком и даже модой, но дело не в шике и моде, дело в том, что тут обнажилась своя логика: сходя в форме СА к святой мессе, можно было спокойно отправляться на службу и распевать «Пусть кровь еврея (русского, поляка) брызнет под клинком...». Тридцать миллионов поляков, русских, евреев приняли смерть в те годы, дорогой М. Нравственные опасности? Им несть числа, стоит только начать думать, а по Вашему лицу я понял, что от раздумий Вам никуда не уйти. И от эластичных переплетов тут толку ни на грош, а тончайшая бумага, возможно, осчастливит Вас лишь тем, что замечательно годится на самокрутки: какая-никакая, но все-таки польза, ибо я надеюсь, что несколько молитв, способных облегчить Вам душу, Вы знаете наизусть. Только не доверяйтесь тому бодряческому оптимизму, тому беззаботному молодецкому энтузиазму, которым лучится физиономия Вашего будущего высшего военачальника — министра обороны, а если теологи начнут талдычить Вам об оправданной обороне, проявите дотошность и спросите у них: а нельзя ли привести конкретные исторические примеры оправданной обороны? Или так: а какие предпосылки делают оборону оправданной? Или еще: кто и когда определяет, где начинается оборона и кончается нападение? Может статья, Вы будете кружить над Европой в элегантном самолете с атомной бомбой на борту и в Вас заговорит вдруг голос той инстанции, само упоминание о которой стало в наши дни предосудительным, — голос совести. Да, совесть тоже очень громкое слово, я знаю, и инстанция, которая этим словом обозначается, зависит от неисчислимого множества непредсказуемых обстоятельств, но помните: именно к голосу этой инстанции прислушивались те, кто решился оказать Гитлеру сопротивление, и они знали, на что идут и какой ценой

придется расплачиваться, и еще — если весьма приблизительное и в сущности дурацкое разделение на «правых» и «левых» вконец собьет Вас с толку, помните вот о чем: эти люди пришли в Сопротивление как из крайне левых, так и из крайне правых, а сентиментальная болтовня насчет «безродных левых» — особо подлый вид лицемерия, ибо есть и «безродные правые», которые точно так же не примыкают ни к какой партии; их дух запечатлен в некоторых из тех смельчаков, что 20 июля предприняли отчаянную попытку уничтожить Гитлера. Вся эта болтовня насчет «правых» и «левых» тоже не что иное, как увертки. Игра в правых и левых напоминает футбол, только ворота наглухо заколочены досками; а еще политики бесподобно наловчились играть в милую детскую игру под названием «деревце» — кому не повезло, кто не успел занять свое «деревце», тот «вылетает» — вот тут-то он, прикрыв лицо ладошками, и пускает слезу, объявляя себя «безродным» или оппозиционером. Политика в наши дни — штука жесткая, зато теология явно обмякла. Ересей больше нет, теологи вовлеклись в политические игрища и беспомощно тыркаются между заколоченными воротами. Аденауэр — католик, Штраус и иже с ним — тоже, куда уж дальше ехать?

И вправду, ехать нам дальше некуда, да мы, похоже, и не хотим. Зато у нас теперь вдосталь времени, чтобы предаться излюбленному национальному спорту: мы истово строим, посвящаем себя дальнейшему развитию вкуса и совершенствованию литургии, тешимся эластичностью гибких и прочных переплетов. Когда мы, интеллигентные католики, бываем в своем кругу, к которому непременно принадлежат и отдельные духовные лица, мы вышучиваем генеральный викариат, потешаемся над епископами, — это же наши сладости, наши конфетки для посвященных, и здесь, в своем кругу, можно даже позволить себе в меру двусмысленную остроту, не подвергаясь при этом нравственной опасности; мы снисходительно посмеиваемся над проповедями, которые — что поделать — приходится выслушивать во время святой мессы, и при этом уверены, что к нам-то они никакого отношения не имеют, — а к кому, позвольте спросить, они тогда имеют хоть какое-то отношение? Чем тогда живут простые смертные, не удостоенные приобщения к этим снобистским конфеткам и к последующему желудочному расстройству, которое, судя по

всему, становится главной темой в разговорах между «интеллигентными католиками»?

Будьте воздержанны, дорогой М., не дайте себя обкормить этими сладостями — критикой, анекдотцами, разговорчиками о литературе. Иначе вскоре Вы непременно почувствуете, как бунтует Ваш желудок, требуя хлеба, а не пустопорожних рассуждений о социологии, политике и культуре, которыми нас потчуют все кому не лень; желудок бунтует, а мозг жаждет, до изнеможения жаждет ясности и определенности, ибо людям нужно осознавать непреложность обязательств, но слышат они лишь пустые и необязательные слова. А уж если Вам хоть разок выпадет сомнительное счастье прослушать одну из «современных» проповедей, скроенных по последней моде очередным умельцем риторической кройки и шитья, насладиться этой жестикуляцией, этой вымученно многозначительной мимикой, этой словесной мишурой, чтобы не сказать шелухой (все это по многу раз отрепетировано перед зеркалом и наговорено на магнитофон, прежде чем внедриться в Ваши уши, прежде чем поразить Ваши глаза, прежде чем Вас «пронять»), — тогда Вы очень скоро испытаете еще более сильные ощущения — позывы тошноты, ибо от этого просто с души воротит. Так что радуйтесь любому священнику, который еще способен хоть разок запнуться. Не хлебом единым жив человек, но то, что помимо хлеба — Слово — ему, к сожалению, дают слишком редко, и однако же много, на удивление много людей взыскуют Слова, такого же простого, как хлеб, Слова, что было в начале и пребудет в конце.

Нравственные опасности, и притом немалые, действительно грозят Вам, дорогой М.; ибо та — совершенно незаслуженно порицаемая — инстанция, что зовется совестью, все равно заявит о себе; и горчайшая из всех тягот солдатской жизни — оупение, о чем Вас, конечно же, забыли предупредить, — все равно подстережет Вас независимо от вида оружия и рода войск. Не верьте стандартным посулам и утешениям, которые Вам будут подсовывать, — всем этим словесам об увлекательной сложности современной военной техники, об армейской физической закалке, а тем паче о духе боевого товарищества, который обожают демонстрировать люди вроде майора Ш., — ободряющее похлопывание по плечу за кружкой пива и снисходительное: «Да брось ты, ерунда все это!» Не ходите на богослужения, которые

регулярно совершает дивизионный священник; в конце концов, никто ведь не организует специальных богослужений, допустим, для зубных врачей, а двое высокорослых причетников в военной форме — всего лишь небольшой оптический спектакль, без которого Вы легко можете обойтись; вообразите аналогичное мероприятие в гимнастическом союзе — оно выглядело бы смешно, в лучшем случае — всего лишь трогательно; но армия — это не гимнастический союз, ей вверен страшнейший из всех уделов, она владычица Смерти, распорядительница миллионов людских судеб. Если же Вам нужны образцы для подражания — им несть числа, возьмите любой, например, маленького еврейского мальчика, безыменного, из галицийской деревни, которого прямо из песочницы с игрушками потащили в вагон, а потом на платформе в Биркенау вырвали из рук матери и — невинного младенца — убили на месте. Или если Вам нужен пример иного рода, пример поступка, — пусть это будет граф Шверин фон Шваненфельд, который на заседании чрезвычайного народного суда, когда на него орал Фрайслер, тихим и отчетливым голосом ответил: «Я думал об этих бесконечных убийствах». Христианин и офицер, он связал свою судьбу с людьми, которые и по происхождению, и по политическим убеждениям были полной его противоположностью, — с марксистами и профсоюзными деятелями; дух этого братского союза не сохранился, не вошел в нашу послевоенную политическую жизнь; у нас могла быть своя традиция, вот эта, но не похоже, чтобы ее удалось совместить с современной политикой — здесь теперь задают тон супермены, примитивные тактики, доблестные мужи, начисто лишенные памяти, витальные здоровяки, не желающие «оглядываться назад» и предаваться пороку, называемому размышлением и именуемому у них не иначе как «бесплодными умствованиями», опиумом для «пресловутых» интеллигентов; со спокойной душой храните в себе способность к умствованию, освободите для нее один из участков Вашего сознания и постарайтесь понять отчаяние того маленького унтер-офицера, который не смог вынести поступь истории.

Многих католиков в Германии скоро будет объединять с их братьями и сестрами во Христе только одно — вера; да-да, Вы не ошиблись, я так и написал: *только*; ведь в мире уже нет места для религиозных противоречий, остались одни политические, и даже

религиозные поступки, акты совести, обречены на ярлык поступков политических: грядут тощие годы, ибо теологи отказывают нам в том ином,— в Слове,— чем мы живы, а будет ли у нас завтра хлеб — это и подавно неясно. Нас принуждают жить политикой, а это весьма сомнительная пища: тут, в зависимости от тактических соображений, сегодня дадут конфеты, а завтра — жиденькую баланду; печь же себе хлеб и печься о Слове мы должны теперь сами.

Сердечно обнимаю Вас.

Ваш Генрих Бёлль

КОММЕНТАРИИ

Во второй том Собрания сочинений Генриха Бёлля входят произведения разных жанров, написанные, а в большинстве своем и опубликованные в 1954—1958 годах. С точки зрения внутренней эволюции писателя это время больших творческих удач, которым сопутствовал неуклонный рост его литературной славы, время набора высоты, когда художник с каждой новой вещью прибавляет в мастерстве, открывая в своем искусстве все новые возможности и перспективы. Именно с этой поры можно, пожалуй, применить к творчеству Бёлля определение, к которому впоследствии не раз прибегал он сам: «писание-продвижение» («Fortschreiben»), когда каждое новое произведение становится как бы очередной главой единой целостной книги.

Вместе с тем наивно было бы не заметить, что по мере роста художественного мастерства писателя возрастает и сложность, конфликтность его взаимоотношений с западногерманской действительностью тех лет. Это обусловлено, с одной стороны, обострившейся социальной зоркостью Бёлля, его все более пристальным и вдумчивым вниманием к сфере социального бытия, с другой же стороны — самим развитием западногерманского общества в первое послевоенное десятилетие. Видимо, стоит напомнить, что именно в эту пору в стране окончательно возобладали консервативные политические силы, возглавляемые первым канцлером ФРГ, председателем ХДС Конрадом Аденауэром, под руководством которого шла усиленная реставрация капиталистических отношений и идеи «сильной государственности», были возрождены вооруженные силы (бундесвер), наращивалось производство вооружений, наконец, в 1955 году ФРГ присоединилась к НАТО. В идеологической сфере нагнеталась антисоветская истерия в духе «холодной войны», поощрялись откровенно реваншистские настроения и снисходительное отношение к фашистскому прошлому Германии; на практике эти установки реализовывались и в негласном попустительстве неофашистским организациям, и в проникновении бывших нацистских функционеров средней руки в политическое руководство страны, и в создании всевозможных «землячеств», политическая программа которых неизменно включала

в себя требование пересмотра государственных границ, сложившихся после второй мировой войны. Сами итоги этой войны то и дело преподносились в прессе, не говоря уж о расцветшей пышным цветом мемуарной литературе, как досадное историческое недоразумение, в котором повинны разве что Гитлер и его ближайшие приспешники. Недавнее историческое прошлое страны либо бесстыдным образом искажалось, либо стыдливо замалчивалось.

Понятно, что такое развитие западногерманского общества никак не вязалось с чаяниями Генриха Бёлля. Он пришел в литературу в первые послевоенные годы не только с твердым намерением рассказать соотечественникам правду о фашизме и войне, но и с горячей надеждой на коренное обновление всей общественной жизни. По воспитанию и убеждениям человек глубоко религиозный, он мыслил это обновление на путях соединения христианского гуманизма с социалистическими идеалами. В интервью, данном позднее, в 1975 году, он так и скажет: «Разумеется, после такой войны нам следовало бы — помимо денацификации и сверх нее — действительно начать нечто новое, что, вполне возможно, стоило бы назвать и социализмом, найти некую взаимосвязь христианских и социальных, а если угодно — и социалистических идей». Здесь вряд ли уместно подробно рассуждать, а тем более спорить о том, насколько обоснованными и конкретными были тогда представления писателя о социализме и как они увязывались с христианством. Для понимания искусства Бёлля и его идейных первооснов гораздо важнее знать, что такие (пусть даже утопические) надежды у него были, что будущее своей родины он видел на путях, альтернативных традиционному, «классическому» варианту капиталистических общественных отношений. Действительность обманула эти ожидания: в Западной Германии реставрировался, а иногда и почти силой насаждался именно традиционный буржуазно-демократический общественный строй. В том же интервью Бёлль скажет об этом совершенно недвусмысленно: «В конечном счете... возоблагодало то, что мы называем реставрацией; старые формы были возрождены и почти что навязаны, снова семейный эгоизм, снова культ имущества, снова буржуазность. Буржуазность, бесспорно, тоже модус жизни, причем модус, на исторической практике доказавший свою плодотворность; однако в качестве реконструированной модели после 1950 года буржуазность, по-моему, уже ничем себя не оправдывала».

С этой точки зрения и стоит приглядеться к произведениям Бёлля середины 50-х годов, к их идейному контексту. На первый план в творчестве писателя выходит критика застоя в западногерманском обществе, того застоя, который неизбежно сопутствует реставрационным процессам, — речь, понятное дело, идет не о реставрации фашизма (в нашей критике тех лет Бёллю очень часто и без достаточных на то оснований приписывали эту мысль), а о реставрации буржуазных жизненных ценностей, которые, по мысли писа-

теля, безнадежно скомпрометированы ходом истории, и прежде всего войной. Искусственно насаждаемые, они влекут за собой ханжеское растление общественной морали и утрату исторической памяти, стремление «не поминать старое», забыть о своей истории. Культ преуспеяния, успеха любой ценой плодит поколения безликих приспособленцев, людей без нравственной сердцевины, без подлинно человеческого, гуманного содержания, — в прозе Бёлля этих лет мы встретим целую галерею подобных «пустых» или, как он еще говорил, «омертвелых» персонажей, пожертвовавших своей человеческой полноценностью во имя сомнительных социальных благ. Наконец, особое место в критических инвективах Бёлля занимает церковь: писатель-католик, он никогда не мог простить западногерманской католической церкви, что та молчаливо солидаризировалась с процессами морального оскудения общества.

Таков — в самых общих очертаниях — идеологический и социально-политический фон творчества Бёлля середины 50-х годов, такова — в самом поверхностном описании — идейная направленность его произведений той поры.

ДОМ БЕЗ ХОЗЯИНА

Роман вышел в свет в 1954 году в издательстве Кипенхойер унд Вич (Кёльн), в русском переводе впервые опубликован в 1960 году (Москва, Государственное издательство художественной литературы).

«Дом без хозяина» — второе после романа «И не сказал ни единого слова» (1952), подробное, так сказать, «специальное» и развернутое художественное высказывание Бёлля о западногерманской действительности. Сохраняя, как и предыдущий роман, все внешние приметы сугубо камерного семейного повествования (с той лишь разницей, что на сей раз автор показывает нам жизнь двух семей), это произведение захватывает гораздо более широкие пласты общественной жизни: политику, культуру, мораль и, что особенно важно, проблему отношения к недавнему историческому прошлому. Характерная деталь: в первых рассказах и повестях Бёлля герои несли с собой лишь немногие подробности своих биографий — ровно столько, сколько нужно было, чтобы обнажить трагедию их обманутого сознания, чтобы установить причинно-следственные связи между ужасами войны и идеологической практикой фашизма. Начиная же с романа «Дом без хозяина» едва ли не главным свойством бёллевских героев становится памятьливость: их взгляд тревожно фиксирует зловещие приметы прошлого, с легкостью уживающиеся в настоящем.

Выявилась в этом романе и еще одна особенность прозы Бёлля, которая надолго станет характерной чертой его повествовательной манеры: внешняя, событийная сторона происходящего занимает писателя куда меньше, нежели внутренний мир его героев, своеобразная

сейсмограмма их мыслей и чувств. Это приводит к пересмотру привычных, традиционных канонов жизнеподобия: так, например, время движется в Бёллевском повествовании неравномерно, оно то как бы останавливается, то стремительно летит, то растягивается до бесконечности, вбирая в себя всю полноту душевной жизни героев, то как бы «проскакивает» не существенные для развития темы события и бытовые подробности. Показательная деталь: в огромном и донельзя запущенном доме Гольштеге затевается чуть ли не капитальный ремонт, а описание этого — как-никак весьма долговременного — мероприятия занимает в романе один небольшой абзац.

Все дело в том, что Бёлля-художника интересуют не события, но состояния: состояние души человека, состояние общества, в котором он живет, наконец, состояние отношений между человеком и обществом. Когда эти отношения конфликтны (а у Бёлля они всегда конфликтны), происходит постепенное нагнетание конфликта и затем — его развязка, отнюдь не обязательно явленная в ореоле бытовой достоверности, напротив, часто несколько нарочитая, подчеркивающая практическую неразрешимость конфликта в реальной жизни. Именно это и наблюдается в романе «Дом без хозяина»: все фабульные узлы повествования развязываются здесь лишь «для проформы»; дело кончается заурядной потасовкой, в которой едва ли не главную роль играет полусумасшедшая старуха; дальнейшие судьбы героев во многом неясны, зато предельно ясно их отношение к окружающей действительности, к своему времени. Собственно, сердцевинный сюжет романа в том и состоит: размышляя о своем времени, герои полнее осознают в нем себя.

Стр. 11. *Блонди, Хоппелонг Кессиди и Дональд Дак* — персонажи американских детских комиксов, которые получили широкое распространение в ФРГ с начала 50-х годов.

Стр. 12. *Катехизис* — изложение учения (в данном случае — основ христианской веры) в форме вопросов и ответов.

Стр. 16. *...Эрих, который носил коричневую форму...* — Коричневую форму носили члены СА (штурмовые отряды), после 1934 года эта организация выполняла функции вспомогательной полиции. Коричневые форменные куртки были также у членов нацистских молодежных организаций — Союз немецкой молодежи (гитлерюгенд) и Союз немецких девушек (гитлермедхен).

Стр. 20. *«Dies irae, dies illa»* (лат.) — «День гнева, судный день». Начальные строки католического реквиема.

Стр. 22. *...потому что выпустили новые деньги...* — Денежная реформа в западных оккупационных зонах Германии была проведена 20 июля 1948 года.

Стр. 23. *Конфирмация* — обряд приема подростков в церковную общину.

Стр. 26. *Сартр Жан-Поль* (1905—1980) — французский писатель

и философ-экзистенциалист. *Клодель Поль* (1868—1955) — французский писатель-католик.

Стр. 28. ...а когда сын... спрягал *tithemi*, на устах отца появлялась дурацкая усмешка...— Утраченный при переводе намек на созвучие латинского глагола с просторечным немецким словом *Titten* — грудь, титьки.

...тут неоднократно приводился пример с апостолом Павлом...— В христианской традиции Павел, «апостол язычников», не знавший Христа при его жизни, первоначально был ярым врагом христианства, но затем сподобился божественного откровения (на подступах к Дамаску, куда он направлялся искоренять христиан, «внезапно осиял его свет с неба», и он услышал голос Господа — Деяния апостолов, 9, 3—4), принял крещение и стал миссионером. Сравнение Шурбигеля с Павлом в данном контексте носит язвительно-иронический характер.

Стр. 29. ...перешли на фельетон...— Фельетоном в западной прессе называется раздел культурной жизни.

Стр. 34. «*Фёлькишер беобахтер*» — официальная газета немецких национал-социалистов.

Стр. 36. *Францисканец* — член христианского «нищенствующего» ордена, основанного в Италии в 1207—1209 годах Франциском Ассизским.

...о боях под Верденом...— Под Верденом (Франция) происходило одно из наиболее ожесточенных сражений первой мировой войны между германскими и французскими войсками с февраля по декабрь 1916 года.

Стр. 38. *Курбе* Гюстав (1819—1877) — французский живописец.

Стр. 46. *Зигфрид*, *Кримхильда* — герои древнегерманской эпической поэмы «Песнь о Нибелунгах», активно использовавшейся нацистами для утверждения культа всего исконно немецкого.

Стр. 48. «*На берете реют перья*», «*Смелый барабанщик*» — нацистские молодежные песни.

Стр. 49. *Гаген*, *Аттила*, *Гильзегер* — правильней: Хаген, Этцель, Гильзехер — герои «Песни о Нибелунгах».

Стр. 51. *Дитрих фон Берн*, или Дитрих Бернский, — герой «Песни о Нибелунгах».

Стр. 54. ...в комнате с большой... картиной на стене...— По описанию нетрудно узнать в этой картине знаменитую «Сикстинскую мадонну» Рафаэля Санти (1483—1520).

Стр. 55. ...Петр... возле него папская тиара...— В христианском предании Петр занимает среди апостолов особое место: ему Христос предназначает ключи от царства небесного (Матф., 16, 18—19) и миссию основателя христианской церкви. В западной иконографии со времен средневековья Петр как основоположник римской церкви часто изображался в папском облачении и головном уборе (тиаре).

Стр. 63. ...святой Павел, которого на пути в Дамаск поразила молния Господня...— См. комментарий к с. 28.

Мария Горетти (1890—1902) — католическая святая; погибла ребенком от руки сексуального маньяка; канонизирована в 1950 году.

Стр. 84. ...забрызганное кровью одеяние египетского Иосифа и... львов, мирно возлегавших... вокруг Даниила.— По библейскому преданию, Иосиф, прародитель двух колен Израилевых, прославившийся своими деяниями в Египте, в юности был чуть не убит завистниками-братьями, которые сорвали с него рубашку и бросили его в ров, рубашку же вымазали кровью козла и предъявили отцу Иакову как доказательство смерти его любимого сына; ров, однако, оказался без воды, что и позволило Иосифу спастись (Бытие, 37, 16—24); чудом спасся и пророк Даниил, брошенный по приказу царя Давида в ров со львами (Даниил, 6, 7—22).

Стр. 90. ...вышли замуж за нацистов и обвенчались под дубами.— Дуб — священное дерево у древних германцев, ритуальную символику которых нацисты всячески стремились возродить.

Стр. 96. Авгуры — жрецы в Древнем Риме, толковавшие волю богов по полету и крикам птиц.

Стр. 98. «Тереза Декейру» — роман французского писателя-католика Франсуа Мориака (1885—1970), опубликован в 1927 году.

Стр. 112. ...начнет в загадочных выражениях кружить вокруг шестой заповеди.— Десять заповедей — этический кодекс древних иудеев, провозглашенный Богом на горе Синае первопророку Моисею (Исход, 19—20). Шестая заповедь гласит: «Не прелюбодействуй».

Стр. 118. Антоний (ок. 250—356) — христианский святой, отшельник, основатель христианского монашества; Тереза из Лизье (1873—1897), католическая святая, монахиня из монастыря кармелиток в г. Лизье (Франция), умерла от туберкулеза, обладала даром исцеления и пророчества, написала книгу «История души». Канонизирована в 1925 году.

Стр. 122. ...когда Чемберлен вылетел в Германию для переговоров с Гитлером.— Имеется в виду Мюнхенское соглашение 29—30 сентября 1938 года, заключенное премьер-министром Великобритании Н. Чемберленом, а также главами правительств Франции, Германии и Италии и содержавшее многие уступки агрессивным притязаниям фашизма.

Стр. 124. ...синеватая часовня с желтой альфой и омегой...— Ср.: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель» (Откровение Иоанна Богослова, 1, 8).

Стр. 125. ...фильм с участием Чарли Чаплина...— На все фильмы Чаплина в нацистской Германии был наложен строжайший запрет.

Стр. 151. Икар — в греческой мифологии сын изобретателя и умельца Дедала, вместе с отцом на самодельных (склеенных из

перьев с помощью воска) крыльях отважился подняться в воздух, но взлетел слишком близко к солнцу, которое растопило воск, и Икар упал в море.

Стр. 158. «Из бездны взываю к тебе, о Господи» — начало католического псалма.

Стр. 159. «Внемши, о Господи» — католическая молитва.

Стр. 162. *Фрагонар* Оноре (1732—1806) — французский живописец.

Стр. 190. *Тинг* — место собрания племени у древних германцев, обычаи которых нацисты всячески пропагандировали, особенно в молодежной среде.

Стр. 199. «*Media in vita*» (лат.) — «Во цвете лет», традиционное словосочетание для эпитафии.

Стр. 202. *Неужели так вот пришла Юдифь в стан Олоферна?* — По ветхозаветному преданию (Книга Юдифи), прекрасная Юдифь, дабы спасти свой город, осажденный войсками ассирийского полководца Олоферна, пришла во вражеский лагерь, пленила Олоферна своей красотой и, воспользовавшись его опьянением, отрубила ему голову.

Стр. 209. *Роммель* Эрвин (1891—1944) — гитлеровский генерал, затем фельдмаршал; командовал немецкими войсками в Северной Африке, в Италии и Франции. Участник антигитлеровского заговора, завершившегося покушением на Гитлера 20 июля 1944 года; опасаясь неминуемой смертной казни, покончил жизнь самоубийством.

Стр. 217. *Святой Николай, святой Мартин* — святые, особенно популярные среди детей, поскольку с первым связана вся мифология детских рождественских подарков, а со вторым — детский карнавал и факельное шествие.

Стр. 224. *Святой Генрих* — Генрих II (975—1024), германский король и римский император; основал епископство Бамберг; канонизирован в XII веке.

Стр. 247. *...Каин убил Авеля, а Давид — Голиафа.* — В сознании мальчика здесь сопрягаются два эпизода библейского предания: убийство Каином своего брата Авеля (Бытие, 4, 1—17) и поединок юноши Давида с великаном Голиафом (1-я Книга Царств, 17).

Стр. 262. *Будьте как дети.* — В оригинале более отчетливая переключка с евангельским речением Христа: «...если... не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Матф., 18, 3).

Стр. 268. *...герои германских саг...* — См. комментарий к с. 46.

Стр. 274. «*Tantum ergo*» — начало католической молитвы.

ХЛЕБ РАННИХ ЛЕТ

Повесть вышла в свет в 1955 году в издательстве Кипенхойерунд Вич (Кёльн). На русском языке опубликована в 1959 году в

переводе Л. Черной и Д. Мельникова (М., Издательство иностранной литературы).

Одно из наиболее поэтичных произведений писателя, «Хлеб ранних лет» с поразительной отчетливостью ставит вопрос о несовместимости подлинной человечности с культом бездуховного преуспеяния. Лишь пережив чудо любви, осознав и «вспомнив» в себе человека, герой прозревает и мизерность жизненных целей, которые он себе определил, и постылую пустоту, нравственную ущербность существования, ориентированного сугубо на материальное благополучие.

При всей своей внешней простоте, повесть отличается виртуозной художественной организацией: ее ключевые темы развиваются по законам музыкального контрапункта, а насыщенная образность выявляет тяготение прозы Бёлля к закономерностям поэтической речи. Главная тема — о двух несовместимых жизнях — решена Бёллем в цветовой гамме. Прошлому, «волчьему» существованию героя отдан красный цвет, цвет крови; новой, пришедшей вместе с любовью подлинной жизни дарован зеленый цвет, цвет свежей травы. (Цвет у Бёлля вообще чрезвычайно важен, почти каждое упоминание цвета вводит в повествование «знак» и, как правило, акцентируется повтором.) Подхваченные ритмом долгих, взволнованно-исповедальных периодов и настойчивых повторов, эти два цвета ведут и ведут свои музыкальные партии через всю повесть. Стоит указать и на обилие развернутых сравнений, которые, по сути, «работают» у Бёлля поэтическими метафорами, перерастая иногда в самостоятельные лирические миниатюры.

Стр. 286. *Шарнхорст* Герхард Иоганн Давид (1755—1813) — прусский генерал, участник освободительной войны 1813 года против Наполеона; смертельно ранен в бою при Лютцене (май 1813 г.).

Ифигения — в греч. миф. дочь царя Агамемнона, который согласился принести ее в жертву богине Артемиде, но в момент жертвоприношения богиня похитила девушку, заменив ее ланью. Сюжет неоднократно использовался в живописи, музыке и литературе, в частности, в трагедии И.-В. Гете «Ифигения в Тавриде».

Стр. 290—291. *Гофман фон Фаллерслебен* Август Генрих (1798—1874) — немецкий поэт либерально-демократической ориентации.

Стр. 344. «*Тевтония*» — латинское обозначение Германии, здесь — название студенческой корпорации.

Стр. 365. ...я слышал плач младенцев, убиенных в Вифлееме... — Узнав, что в Вифлееме родился Иисус Христос, новый «царь иудейский», царь Ирод, приказал уничтожить всех младенцев в селении (Матф., 2).

...смердное дыхание львов, что терзали великомучеников... — Подобный вид казни, очевидно, распространенный в пору преследований первых христиан, — частый мотив в жизнеописаниях христианских святых.

ИРЛАНДСКИЙ ДНЕВНИК

Отдельной книгой вышел в 1957 году в издательстве Кипенхойер унд Вич (Кёльн), однако бóльшая часть очерков была опубликована во «Франкфуртер альгемайне цайтунг» с декабря 1954 по июль 1956 года. На русском языке впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1964, № 5), хотя фрагмент из книги публиковался еще раньше в журнале «Вокруг света» (1963, № 5).

Формально обозначенный жанровым определением «рассказы», «Ирландский дневник», конечно же, гораздо больше связан с иной жанровой традицией, имеющей давние корни в немецкоязычной литературе, — с традицией путевых очерков. Достаточно свободный по форме жанр дает простор для импровизации, лирических отступлений и непринужденной беседы с читателем — возможности, которыми Бёлль воспользовался в этой книге сполна, впервые выступив на пространстве большой книги не от лица одного из своих персонажей, а от собственного имени.

В Ирландии, начиная с 1954 года, Бёлль вместе с семьей неоднократно проводил лето, и книга его показывает, что быт, традиции, культура и общественная жизнь этой страны отнюдь не были для писателя лишь приятным фоном для «туристических» впечатлений, — к своеобразию отдаленной европейской провинции Бёлль отнесся с вдумчивым вниманием и пристальным интересом, обнаружив в ее патриархальном жизненном укладе многое из того, что напрочь утрачено его соотечественниками в погоне за благами «экономического чуда». Раздумья над магистральными путями развития современной цивилизации и становятся главной темой этой книги.

Стр. 369. *Кент* — графство на юго-востоке Англии.

Стр. 370. *...населения в ней меньше, чем между Эссенем и Дортмундом.* — По данным 1954 года, население Ирландии составляло 3 миллиона человек.

Стр. 371. *Кэтлин, дочь Холиэна* — персонаж ирландских легенд, бедная, старая женщина. В одноименной пьесе ирландского поэта Уильяма Батлера Йейтса (1865—1939), благодаря которой это имя и стало нарицательным, воплощена как символ прекрасной, но порабощенной Ирландии.

Стр. 372. *Остров Святых* — средневековое название Ирландии, подчеркивающее важную роль ирландской церкви в западном христианстве.

Стр. 373. *...дух фивейской аскезы...* — Древнегреческий город Фивы, разрушенный в IV веке до н. э., в эпоху раннего христианства стал местом отшельничества.

Стр. 374. *...познавал жизнь и смерть, нищету и богатство господина Каннитферстана...* — Бёлль ссылается здесь на юмористиче-

ский рассказ одного из любимых своих писателей, швейцарца Иоганна Петера Гебеля (1760—1826), «Каннитферстан» (1811). В основе сюжета — недоразумения, постигшие немецкого путешественника, который, не зная голландского языка, оказывается в Амстердаме, на все вопросы получает один ответ — «Кан нит ферстан» («Не понимаю») — и решает, что это некий господин. Рассказ лег в основу известной баллады В. А. Жуковского «Две были и еще одна».

Джойс Джеймс (1882—1941) — ирландский писатель, один из классиков литературы XX века, автор знаменитого романа «Улисс» (1922); *Йейтс*. — См. комментарий к с. 371; *Мак-Карти* — очень распространенная ирландская фамилия; *Моллой Джеймс Лайм* (1837—1909) — ирландский композитор; впрочем, Бёлль скорее имеет в виду героя романа «Моллой» (1951), ирландского писателя Сэмюэла Беккета (1906—1990), одного из основоположников абсурдизма в современной литературе; *О'Нил Юджин* (1888—1953) — американский драматург ирландского происхождения; *О'Коннор Фрэнк* (1903—1966) — ирландский поэт, прозаик и литературный критик.

Джекки Куган — имя героя фильма Чарли Чаплина «Малыш» (1921).

Стр. 375. *Нельсон* Горацио (1758—1805) — английский флотоводец, прославившийся победами над французским флотом при Абукире и Трафальгаре. Памятник Нельсону — колонна высотой около сорока метров, увенчанная фигурой адмирала, — был возведен в Дублине как символ британского могущества и вызывал неприязнь коренного населения; в 1966 году, в 50-ю годовщину восстания 1916 года, он был разрушен ирландскими патриотами.

Святой Андрей — один из двенадцати апостолов, брат Петра.

Стр. 376. *Словарь Дудена* — словарь (в данном случае — толковый) немецкого языка, названный в честь немецкого лингвиста Конрада Дудена (1829—1911), составителя первого «Полного орфографического словаря немецкого языка» (1880).

Стр. 377. *Свифт* Джонатан (1667—1745) — выдающийся английский писатель-сатирик, долгое время жил в Дублине, состоял деканом собора св. Патрика (с 1713 г.), одного из старейших соборов Дублина; *Святой Патрик* (ок. 385 — ок. 461) — основатель ирландской католической церкви и ее первый епископ. *Стелла* — миссис Эстер Джонсон (1681—1728), женщина, которую Свифт любил, но официально в браке не состоял (биографами высказывались многочисленные предположения о тайном браке, по сей день не подтвержденные), так что, называя ее женой Свифта, Бёлль намеренно пренебрегает официальными условностями. Отношения Свифта и миссис Джонсон отражены в эпистолярном произведении писателя «Дневник для Стеллы» (впервые опубликован в 1784 г.).

Стр. 379. *Стикс* — река в царстве мертвых, символ небытия (греч. м и ф.).

Стр. 380. *Мария Магдалина* — женщина из Галилеи, последовательница Христа, присутствовавшая при его кончине и погребении.

Керлинг — спортивная игра, цель которой — попасть пущенной по льду битой (диск с ручкой) в начерченную на льду мишень.

Сердце Христово — символическое изображение сердца Иисуса; культ Сердца Христова (или Святого Сердца) восходит к видениям ирландской монахини Маргариты Мэри Алакок (1647—1690); в конце XIX века он был узаконен церковью и получил широкое распространение в католических странах. «*Little Flower*» — общепринятое у англоязычных католиков обозначение «маленькой Терезы» из Лизье (см. комментарий к с. 118); *Святой Антоний*. — См. комментарий к с. 118. *Святой Франциск* — Франциск Ассизский (ок. 1181—1226), итальянский проповедник и религиозный писатель, основатель ордена францисканцев.

Фра Анджелико — Фра Джованни да Фьезоле (ок. 1400—1455), итальянский живописец раннего Возрождения.

Стр. 381. *Гитлер... ждал прихода к власти...* — Гитлер стал рейхсканцлером 30 января 1933 года.

...мне самому было тринадцать лет... — Бёлль родился 21 декабря 1917 года.

Стр. 382. *О'Кейси Шон* (1880—1964) — ирландский писатель и общественный деятель.

Стр. 383. *Фуггеры* — династия немецких финансистов и коммерсантов XV—XVII веков, наиболее известны Якоб Фуггер (1459—1525) и Антон Фуггер (1493—1560), чей портрет писал Лукас Кранах.

Свастика — древний символ, встречающийся в культуре и искусстве разных народов; имеет различные значения; в фашистской Германии использовался как государственная эмблема и как знак нацистской партии.

Стр. 384. *...на отрезке пути, равном примерно расстоянию от Кёльна до Франкфурта-на-Майне...* — То есть примерно 150 километров.

Стр. 385. *...были описаны на таком английском языке...* — Имеется в виду американизированный английский.

Стр. 388. «*В другой части Германии тоже есть Франкфурт*». — Подразумевается Франкфурт-на-Одере, город на востоке ГДР.

Стр. 395. *Кромвель* Оливер (1599—1658) — деятель английской буржуазной революции, с 1653 года, по сути, военный диктатор, сосредоточивший в своих руках всю полноту власти; жестоко подавил ирландское национально-освободительное восстание 1641—1652 годов.

Пемброк Ричард граф де Клар (ок. 1130—1176) — английский завоеватель Ирландии.

Стр. 399. *...был заключен договор, расторгнутый впоследствии английским парламентом.* — Имеется в виду «Акт об унии» 1801 года, ликвидировавший многие из автономных прав Ирландии, завоеванных в 1782—1783 годах.

Стр. 402. *Король Джон* — в русской историографической традиции Иоанн Безземельный (1167—1216), король Англии с 1199 года, с 1177 года был провозглашен своим отцом Генрихом II «королем Ирландии», подписал в 1215 году «Великую хартию вольностей».

Паписты — то есть католики.

Стр. 404. *...светилось большое сердце Иисуса...*— См. комментарий к с. 380.

Лола Монтез — танцовщица, любовница баварского короля Людвига I (правил с 1825 по 1848 г.); скандальная связь с ней послужила одним из поводов отречения короля от престола. Упоминание ее имени, вероятно, связано с фильмом «Лола Монтез» немецкого режиссера М. Офюльса (1902—1957), вышедшего на экраны в 1955 году.

Развалины времен восстания...— Имеется в виду национально-освободительное восстание 1916 года.

Стр. 407. *Блэйт Энн* (р. 1928) — американская киноактриса, советским зрителям знакома по фильму «Великий Карузо» (1951).

Салливан Артур (1842—1900) — популярный в конце XIX века композитор англо-ирландского происхождения, автор более двадцати оперетт.

Синг Джон Миллингтон (1871—1909) — ирландский драматург и поэт.

Шоу Джордж Бернард (1856—1950) — английский писатель, один из наиболее значительных драматургов своего времени, ирландец по происхождению.

Стр. 408. *Бойкот Ч.-К.*— землевладелец, с которым ирландские арендаторы в знак протеста против его несправедливости прекратили в 1880 году все отношения; его имя стало очень скоро нарицательным и постепенно превратилось в обозначение подобной формы протеста.

Фолкнер Уильям (1897—1962) — американский писатель; его роман «Легенда», вышедший в 1954 году, повествует о событиях первой мировой войны.

Стр. 410. *Ной* — герой ветхозаветного предания о всемирном потопе (Бытие, 6—8), спаситель жизни: по божественному наущению построил гигантский ковчег, взяв в него «от всякой плоти по паре».

Стр. 414. *Театр Аббатства* — первый национальный театр Ирландии, основанный в 1899 году в Дублине лидерами «Ирландского литературного Возрождения» У.-Б. Йейтсом и А. Грегори. Первоначальное название — Ирландский литературный театр. Название Театр Аббатства закрепилось с 1904 года, после переезда театра в постоянное помещение на улице Аббатства.

Стр. 415. *Вулворт* — известная торговая фирма, основанная в конце XIX века американским коммерсантом Ф. Винфилдом (1852—1919).

Стр. 416. *На третьей странице... Маленков, Булганин и Серов...*— В 1955 году советская правительственная делегация посетила Велико-

британию. В состав делегации входили председатель Совета Министров СССР Г. М. Маленков, министр обороны СССР Н. А. Булганин и председатель МГБ СССР И. А. Серов.

Стр. 417. ...путешествия в Рим, Лурд, Лизье...— Бёлль перечисляет здесь маршруты паломничества к святым местам у католиков: Лурд и Лизье — небольшие города во Франции, первый связан с жизнью св. Бернадетты (Бернадетта Субиру, 1844—1879), которой здесь в 1858 году было чудесное явление Богородицы, второй — с жизнью св. Терезы (см. комментарий к с. 118).

Катарина Лабуре (1806—1876) — католическая святая; канонизирована в 1947 году.

Стр. 418. *Непобедимая армада* — мощный военный флот, созданный Испанией в 1586—1588 годах для завоевания Англии; в результате столкновений с английским флотом в Ла-Манше и сильного шторма понес в 1588 году огромные потери, лишившись более половины кораблей.

Стр. 425. *Эрос* (Эрот) — в греч. миф. бог любви.

Стр. 426. ...и Польша еще не погибла...— В шутивно-ироническом контексте Бёлль цитирует здесь государственные гимны Польши, Великобритании, ФРГ и Франции.

Стр. 428. *О, муки Тантала!* — Тantal, сын Зевса и Плуто, своими преступлениями навлек на себя немилость богов и был наказан в подземном царстве вечными муками: стоя по горло в воде, он не мог утолить жажду (греч. миф.).

Стр. 431. ...говорит по-гэльски...— Гэльский язык — современный язык потомков древних кельтов, сохранился среди небольшой части населения Шотландии и на Гебридских островах (Великобритания).

Стр. 432. *Ли Вивьен* (1913—1967) — знаменитая английская актриса театра и кино.

Стр. 434. ...как некогда Иаков оплакивал Иосифа...— Иаков оплакивал Иосифа, думая, что тот убит своими братьями (Бытие, 37, 34; см. также комментарий к с. 84).

Стр. 436. *Сунь Ятсен* (1866—1925) — китайский революционер-демократ; *Бузони Ферруччо Бенвенуто* (1866—1924) — итальянский пианист, дирижер и композитор.

Стр. 437. *Роммель*.— См. комментарий к с. 209.

Стр. 444. *Святой Колумбан* (543—615) — ирландский монах и миссионер, религиозный писатель. *Святой Финиан* (495—579) — христианский монах и паломник; считается покровителем Ольстера.

Иннишфри (или *Иннисфри*) — остров в графстве Слиго, прославленный Йейтсом в его ранней поэме «Озерный остров Иннисфри» (1890).

Стр. 447. *Бригитта* (ум. ок. 523) — христианская монахиня, затем настоятельница женского монастыря, одна из наиболее почитаемых в Ирландии святых.

Стр. 448. *Тринити-колледж* (Колледж святой Троицы) — старейший университет Ирландии, находится в Дублине, основан в 1591 году.

Дурень Ганс — персонаж сказки братьев Grimm.

Стр. 449. *Монро* Мэрилин (1926—1962), *Треси* Спенсер (1900—1967), *Лоллобриджида* Джина (р. 1927) — звезды мирового кино.

В ДОЛИНЕ ГРОХОЧУЩИХ КОПЫТ

Впервые повесть опубликована в 1957 году в издательстве Инзель (Франкфурт-на-Майне и Лейпциг). В русском переводе — под названием «Долина грохочущих копыт» — в одноименном сборнике Г. Бёлля (М., Молодая гвардия, 1969). В названии этого рассказа (скорее даже небольшой повести) обыгрываются ветхозаветные и евангельские представления о загробном мире и Страшном суде, а его тема, пожалуй, точнее всего сформулирована самим Бёллем в «Письме молодому католику», где он говорит о пагубном для нашего времени отождествлении понятия «мораль» прежде всего с сексуальной моралью.

Стр. 465. *Кровь и агнцы*.— В этом произведении Бёлль впервые вводит в повествование важный христианский мотив жертвенности Иисуса Христа, уподобляемого пасхальному ягненку. Образ агнца становится центральным в следующем романе Бёлля — «Бильярд в половине десятого» (1959).

Стр. 466. *Святая Роза из Лимы* (1586—1617) — католическая монахиня и миссионерка, первая канонизированная святая с американского континента.

Святая Франциска Романская (1384—1440) — католическая святая, покровительница путешественников.

Стр. 470. *Ренания* (от лат. Rhenus — Рейн) — богиня Рейна, дух Рейна.

Стр. 479. «...что вы свяжете на земле, то будет связанным на небе». — Дословная евангельская цитата (Матф., 16, 19; 18, 18).

Стр. 497. *Тирпиц* Альфред фон (1849—1930) — германский адмирал, в 1897—1916 годах министр имперского морского флота, один из идеологов германского милитаризма.

РАДИОПЬЕСЫ

Живая разговорная речь — в природе повествовательного искусства Генриха Бёлля, многие произведения которого формально выстроены, «поданы» как монолог от первого лица. Именно поэтому столь органично вписался в его творчество жанр радиопьесы: необычайная естественность, как бы «изуственность» повествования просто требовала живого голоса, стилизации под безыскусный исповедальный

монолог,— кстати, именно на радио впервые прозвучали и некоторые рассказы Бёлля. В пьесах, специально написанных для радио, Бёлль, пожалуй, не вносит ничего нового в проблематику своего искусства, но существенно обогащает его формальные возможности, добиваясь редкой естественности воссоздания жизни в узких рамках драматургического диалога, где не остается места для лирических отступлений, описания, вообще для авторской речи, где «работает» только голос персонажей и воображение читателя.

Приглашение на чай к доктору Борзигу. Премьера на радио — 25.02.1955; впервые опубликована в сборнике «Рассказы, радиопьесы, статьи» в издательстве Кипенхойер унд Вич (Кёльн, 1961). На русском языке — под названием «На чашке чая у доктора Борзига» — в сборнике: Бёлль Г. Семь коротких историй. М., Искусство, 1968.

Итог. Премьера на радио — 2.12.1957; впервые опубликована в октябрьском номере журнала «Меркур», 1958. На русском языке — в сборнике: Бёлль Г. Семь коротких историй.

Час ожидания. Премьера на радио — 10.12.1957; впервые опубликована в журнале «Меркур» (1958, № 10). На русском языке первая публикация — в сборнике: Бёлль Г. Город привычных лиц. М., Молодая гвардия, 1964. Опубликован также перевод Н. Оттена и Л. Черной под названием «Пересадка» — в сборнике: Бёлль Г. Семь коротких историй.

РАССКАЗЫ. ЭССЕ

Нетрудно заметить, что в рассказах Бёлля этого периода преобладают сатирические тенденции, выраженные, впрочем, с разной степенью отчетливости — от мягкого юмора («Монолог кельнера») до карикатурного гротеска («Столичный дневник»). Построенные иногда на легком сдвиге изображаемого в сторону недостоверности («Молчание доктора Мурке», «Выбрасыватель»), сатиры Бёлля тем ярче высвечивают нравственную несостоятельность общественной жизни, ориентированной лишь на экономическое преуспеяние («Вокзал в Цимпрене»). Писатель стремится показать, как суматоха и напор предпринимательства вытесняют из жизни поэзию неотчужденного труда («Надо что-то делать»), веками складывавшийся быт, моральные устои, подменяя их обезличенным и банальным («Как в плохих романах») стандартом сугубо потребительского существования. В этом смысле чрезвычайно важны для Бёлля рассказы «Могучий отец Ундины», в котором воспевается любовь к его «малой родине» —

прирейнскому краю, и очаровательная юмореска «Незванные гости», где бескорыстное отношение к миру перерастает в озорную фантазмагорию нарушенного быта: это как бы доведенное до абсурда «чуждачество» бёллевских героев, которые, при всей своей трогательной и наивной житейской неприспособленности, стойко не желают идти «в ногу со временем».

В разделе эссе объединены публицистические выступления Генриха Бёлля 1954—1958 годов. Хотя сам писатель неоднократно подчеркивал, что вмешиваться в политику — не дело художника, с начала пятидесятых годов он все чаще противоречит этому тезису, выступая в прессе и на радио по актуальным проблемам общественной жизни. Эти выходы Бёлля на политическую арену — почти всегда вынужденные акции, когда писатель просто не может уклониться от ответственности за происходящие в стране политические события и не высказать своего к ним отношения. Важно отметить, что в выступлениях этих Бёлль никогда не солидаризируется с какой-либо партией или общественным движением, неизменно подчеркивает, что высказывает свою, сугубо личную точку зрения, апеллируя не к политическим силам, но исключительно к совести своих сограждан: недаром выступления эти очень часто формулируются как сугубо личные обращения к читателю и выдержаны в интонациях доверительной беседы.

Вкус хлеба. Рассказ датируется 1955 годом, впервые опубликован в издании сочинений Г. Бёлля в 1977 году (Кипенхойер унд Вич, Кёльн). Очевидно, является одним из черновых набросков к повести «Хлеб ранних лет». На русском языке публикуется впервые.

Молчание доктора Мурке. Опубликован в декабрьском номере журнала «Франкфуртер хэфте» за 1955 год. В русском переводе — «Иностранная литература», 1956, № 7.

Стр. 590. *Патерностер* — от «Pater noster» (лат.): начальные слова молитвы «Отче наш».

Стр. 599. *Гальвани Луиджи* (1737—1798) — итальянский анатом и физик, один из первых исследователей электричества, открыл электрические явления при сокращении мышц, назвав их «животным электричеством».

Стр. 606. *Книга Иова* — одна из наиболее известных и поэтических книг Библии, вряд ли нуждающаяся (в этом смысл шутки Бёлля) в «незначительной переработке».

Стр. 607. *Сленг* — речь социальной или профессиональной группы, вариант разговорной речи.

Стр. 611. *Штифтер* Адальберт (1805—1868) — австрийский писатель, один из любимых авторов Бёлля.

Монолог кельнера. Рассказ написан в 1955 году и тогда же прозвучал на западногерманском радио. Впервые опубликован в 1977 году, на русском языке раньше не издавался.

Незванные гости. Написан в 1954 году, тогда же передан на радио. Опубликован в 1956 году в одноименном сборнике, вышедшем в цюрихском издательстве «Ди архе». В русском переводе — журнал «Знамя», 1965, № 2. Публиковались также переводы И. Зильбермана («Непредвиденные гости». — «В мире книг», 1973, № 6) и Л. Лунгиной (в сборнике: Бёлль Г. Город привычных лиц. М., Молодая гвардия, 1964).

Надо что-то делать. Впервые опубликован в газете «Ауфвертс» (Кёльн) 15.04.1956. На русском языке — в переводе С. Фридлянд под названием «Что-то произойдет» («Иностранная литература», 1959, № 6), В. Малахова — под названием «Что-то будет сделано» («Подъем», 1969, № 4) и С. Куваева под названием «Что-то должно свершиться» («Литературная Россия», 30.04.1970), а также в переводе Е. Михелевич («Знамя», 1965, № 2), который и взят для настоящего издания.

Как в плохих романах. Опубликован в журнале «Дойче вохе» (Мюнхен) в декабрьском номере 1956 года. На русском языке — в переводе И. Каринцевой («Литературная газета», 25.09.1962).

Могучий отец Ундины. Первая публикация — во «Франкфуртер альгемайне цайтунг» от 10.01.1957. На русском языке публикуется впервые.

Стр. 626. *Ундина* — от лат. unda (волна) — в мифологии многих народов Европы водная фея, русалка. В немецкой литературной традиции этот образ связан прежде всего с повестью-сказкой писателя-романтика Фридриха де ла Мотт Фуке (1777—1843), известной у нас по поэтической переработке В. А. Жуковского.

Стр. 628. *Агриппина* (16—59) — дочь римского полководца Германика (15 г. до н. э.— 19 г. н. э.) и Агриппины-старшей (?—33), сопровождавшей своего мужа в военных походах; родилась на Рейне. Сестра римского императора Калигулы (12—41); после убийства Калигулы стала женой следующего императора, своего дяди Клавдия (10—54), которого отравила, дабы возвести на римский престол своего сына Нерона (37—68), по чьему приказу и была убита.

Стр. 629. *Брейгель* Питер (ок. 1530—1569) — знаменитый нидерландский живописец.

...не подпускать... хитроумных поклонников Гермеса... — Гермес (греч. миф.) — вестник богов, проводник душ умерших, также

повелитель снов, своим жезлом усыпляющий людей. Фразу следует истолковывать в том смысле, что с наступлением зимы Рейн еще долго сопротивляется всеобщему умиранию и сну.

Столичный дневник. Первая публикация — в газете «Ауфвертс» (Кёльн) от 15.09.1957. На русском языке — в журнале «Иностранная литература», 1959, № 6.

Стр. 635. «*Был у меня товарищ...*» — старинная народная солдатская песня, впервые издана в 1827 году в обработке поэта Людвиг Уланда и композитора Ф. Зильхера.

Стр. 636. «*На востоке встает заря для нас*» — нацистская солдатская песня.

Выбрасыватель. Впервые опубликован во «Франкфуртер альгемайне цайтунг» 24.12.1957. На русском языке — несколько публикаций в разных переводах.

Стр. 640. *Шлиффен* (Шлифен) Альфред фон (1839—1913) — немецкий генерал-фельдмаршал, один из основоположников теории «молниеносной войны».

Вокзал в Цимпрене. Опубликован в еженедельнике «Ди цайт» (Гамбург) 18.07.1958. На русском языке — в переводе С. Белокриницкой — в «Литературной России» от 3.04.1964, а затем в переводе Л. Лунгиной в сборнике «Город привычных лиц».

Воскрешение совести. Впервые опубликовано в газете «Кёльнише рундшау» 15.04.1954. В русском переводе публикуется впервые.

Стр. 659. *Лейтен* — предместье г. Бреслау (ныне Вроцлав), место одного из наиболее ожесточенных сражений Семилетней войны (1756—1763); *Ватерлоо*, *Аустерлиц* — места крупнейших сражений, связанные с военными кампаниями Наполеона 1805—1815 годов.

Освенцим — гитлеровский концлагерь на территории Польши.

Барбаросса — Фридрих I (ок. 1125—1190) — германский король и император Священной Римской империи с 1152 года. С его именем связано множество преданий, в частности, и легенда о том, что он спит в пещере горы Кифгейзер (Кифхойзер), а проснувшись, снова займет германский престол.

Штейн Эдит (1891—1942) — немецкая монахиня-кармелитка, теолог, ученица философа Гуссерля; погибла в Освенциме. Посмертно опубликовано ее исследование о Фоме Аквинском «Бытие конечное и вечное» (1950).

Стр. 660. «*Кармеле*» — разговорное наименование монастыря кармелиток в Кёльне.

Голос Вольфганга Борхерта. Впервые опубликовано в 1956 году в качестве предисловия к сборнику произведений немецкого писателя-антифашиста Вольфганга Борхерта (1921—1947), автора пьесы «Там, за дверью» (1947), рассказов и стихов антимилитаристской направленности. На русском языке первая публикация — в журнале «Иностранная литература», 1958, № 7.

Стр. 660. Шолль Ганс (1918—1943), Шолль Софи (1921—1943) — брат и сестра, руководители студенческой группы антифашистского Сопротивления «Белая роза». Казнены 22.02.1943.

Стр. 662. Айх Гюнтер (1907—1972) — западногерманский поэт. Бёльль цитирует здесь его стихотворение «Вспомни о том...» (1951).

Стр. 663. ...памфлет Джонатана Свифта... — Имеется в виду знаменитый памфлет Свифта «Скромное предложение» (1729), в котором изложен гротескный проект решения проблемы голода путем распродажи и употребления в пищу бедняцких детей.

В кунсткамере еще есть места. Впервые опубликовано в 1956 году в журнале «Акценте», № 6. В основе этого эссе — сопоставительный анализ героев двух романов: «Отныне и во веки веков» (1951) американского писателя Джеймса Джонса (1921—1977) и знаменитых «Похождений храброго солдата Швейка во время второй мировой войны» (1921—1923) чешского сатирика Ярослава Гашека (1883—1923). В этой работе Бёльль не впервые высказывает свое отношение к проблеме поэтизации войны средствами искусства. На русском языке публикуется впервые.

Стр. 665. Диллинджер Джон — известный американский гангстер времен великой экономической депрессии.

Стр. 666. Лили-Марленизм — шуточный термин, образованный от названия известной еще с 20-х гг. песни «Лили Марлен», где поэтизируется солдатская жизнь и солдатская любовь с романтическими свиданиями «под фонарем у казармы».

Памятник Йозефу Роту. Опубликовано во «Франкфуртер альгемайне цайтунг» 22.09.1956. На русском языке публикуется впервые.

Стр. 669. Рот Йозеф (1894—1939) — австрийский писатель, родился в Галиции; в своей статье Бёльль упоминает наиболее значительные его романы — «Иов» (1930) и «Марш Радецкого» (1932).

Стр. 670. Кипенхойер Густав — немецкий книгоиздатель; его первое издательство, основанное еще в 1910 году в Веймаре, ориентировалось на первоклассную художественную литературу. В 1947 году совместно с Йозефом Каспаром Вичем образовал издательство Кипенхойер унд Вич, в котором Бёльль публиковал большинство своих произведений начиная с 1953 года.

Стр. 671. Саломон (Заломон) Эрнст фон (1902—1972) — немецкий писатель (ФРГ) консервативной ориентации. Й. Рот раскритиковал его первый роман — «Вне закона» (1930). Автобиографический роман Саломона «Опросный лист» (или «Анкета») опубликован в 1951 году.

«Антихрист» — антифашистское эссе Й. Рота, опубликованное в 1934 году.

Риск писательства. Впервые прозвучало на радио 26.12.1956, опубликовано в сборнике «Рассказы, радиопьесы, статьи» (1961). На русском языке — под названием «Риск писателя» — публиковалось в «Литературной России» 17.07.1964 в переводе Г. Павлова.

День поминовения героев. Написано в 1957 г., опубликовано в журнале «Информационен» (Гамбург), 1960, № 11. На русском языке публикуется впервые.

Письмо молодому католику. Впервые опубликовано в сборнике «Христианин и гражданин сегодня и завтра» (Дюссельдорф, 1958), вызвав бурную полемику в немецких католических кругах, в процессе которой Бёльль неоднократно подвергался нападкам. На русском языке ранее не публиковалось. Эта статья — первое развернутое выступление Бёльля против лицемерной и трусливой политики, проводимой западногерманской католической церковью.

Стр. 679. ...разглагольствовал о капернаумском сотнике...— Имеется в виду эпизод евангельского предания (Матф., 8, 5—13), повествующий о некоем сотнике из Капернаума, который пришел к Иисусу просить об исцелении своего занемогшего слуги. Образ этого сотника неоднократно использовался теологами как пример безропотного и стойкого исполнения воинского долга, в подтверждение чего цитировались его слова: «Ибо я и подвластный человек; но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «пойди», и идет; и другому: «приди», и приходит».

«Народ без пространства» — один из ключевых лозунгов нацистской пропаганды, оправдывавший территориальные притязания фашистской Германии.

Стр. 680. «*Pour La Mérite*» (ф.р.) — «За заслуги» — орден, учрежденный в 1740 году прусским королем Фридрихом II; присваивался обычно за боевые заслуги; последнее награждение — в 1918 году. За годы первой мировой войны этим орденом было награждено 687 человек.

Стр. 681. ...два, нет — три царства за священника...— Скрытая ироническая цитата из Шекспира: «Коня! Коня! Все царство за коня!» — Шекспир, «Ричард III» (V, 4).

...физкультурной идеологии немецкой нации! — В оригинале — еще более отчетливый намек на так называемое «Немецкое гимнастическое движение», зародившееся в Германии в первой трети XIX века и связывавшее заботу о физическом здоровье народа с националистическими тенденциями.

Стр. 683. ...о различиях между практикующими и непрактикующими католиками... — Практикующий католик регулярно посещает церковные службы и обязательно ходит к исповеди.

Стр. 685. Блуа Леон (1846—1917) — французский писатель-католик.

Стр. 686. Плавт Тит Макций (сер. III в. до н. э.— ок. 184) — римский комедиограф-сатирик.

Стр. 687. Лихтенберг Бернхард (1875—1943) — немецкий католический священник; арестован в 1941 году за антинацистские публичные выступления; погиб во время транспортировки в концлагерь Дахау. Делл Альфред (1907—1945) — немецкий католический теолог, участник антифашистского Сопротивления, казнен по приговору так называемого чрезвычайного верховного народного суда.

Стр. 688. Гвардини Романо (1885—1968) — немецкий католический деятель, религиозный философ и писатель; Юнгер Эрнст (р. 1895) — немецкий писатель аристократически-консервативной ориентации; Ницше Фридрих (1844—1900) — немецкий философ, идейное наследие которого активно использовалось идеологами нацизма; Каросса Ханс (1878—1956) — немецкий поэт и прозаик; Мориак Франсуа (1885—1970) — французский писатель-католик. Жид Андре (1869—1951) — французский писатель. Бернанос Жорж (1888—1948) — французский писатель-католик, стоявший на умеренных, скорее консервативных политических позициях.

Стр. 689. Генеральный викариат — консультативный орган при епископе, возглавляемый генеральным викарием и призванный содействовать епископу в управлении делами епархии.

Стр. 690. ...в догме о телесном вознесении Девы Марии... — Представление о телесном вознесении Девы Марии опирается на раннехристианские апокрифы и в качестве догмы закреплено только в католицизме, причем очень поздно (в 1950 г.). Таким образом, этот пассаж у Бёлля имеет весьма острое полемическое звучание.

Святой отец — в данном случае папа римский.

Стр. 693. ...20 июля предприняли... попытку уничтожить Гитлера. — Имеется в виду заговор против Гитлера, организованный в военно-аристократических кругах Германии и закончившийся неудавшимся покушением на Гитлера.

Аденауэр Конрад (1876—1967) — западногерманский политик, председатель ХДС, канцлер ФРГ в 1949—1963 годах. Штраус Франц Йозеф (1915—1988) — западногерманский политик, председатель ХСС, занимал министерские должности в правительстве ФРГ в 1953—

1962, 1966—1969 годах, отличался крайне реакционными политическими взглядами.

Стр. 694. *Не хлебом единым жив человек...*— Библейское речение: «Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа» (Второзаконие, 8, 3).

Стр. 695. *Шверин фон Шваненфельд* Ульрих Вильгельм (1902—1944) — немецкий граф, участник антифашистского Сопротивления с 1943 года; казнен в сентябре 1944 года.

Фрайслер Роланд (1893—1945) — национал-социалистский юрист и политик, с 1942 года — президент чрезвычайного верховного народного суда, снискал печальную известность на кровавых процессах против участников антифашистского Сопротивления после 20 июля 1944 года.

Стр. 696. *...грядут тощие годы...*— Библейская аллюзия: толкуя сны фараона, Иосиф предрек ему сперва семь тучных, а вслед за тем — семь тощих лет (Бытие, 41, 1—32).

М. Рудницкий

СОДЕРЖАНИЕ

ДОМ БЕЗ ХОЗЯИНА. Роман. Перевод С. Фридлянд и Н. Португалова	7
* ХЛЕБ РАННИХ ЛЕТ. Повесть. Перевод М. Рудницкого	283
ИРЛАНДСКИЙ ДНЕВНИК. Перевод С. Фридлянд и В. Нефедьева	369
В ДОЛИНЕ ГРОХОЧУЩИХ КОПЫТ. Повесть. Перевод Л. Черной	455
РАДИОПЬЕСЫ	
Приглашение на чай к доктору Борзигу. Перевод Л. Черной и Н. Отгена	501
Итог. Перевод Л. Черной и Н. Отгена	528
Час ожидания. Перевод Н. Лунгиной	557
РАССКАЗЫ. ЭССЕ	
Незванные гости. Перевод С. Фридлянд	583
* Вкус хлеба. Перевод Е. Вильмонт	588
√ Молчание доктора Мурке. Перевод С. Фридлянд	590
* Монолог кельнера. Перевод Е. Колесова	613
Надо что-то делать. Перевод Е. Михелевич	615
* Как в плохих романах. Перевод С. Белокриницкой	620
* Могучий отец Ундины. Перевод Е. Вильмонт	626
Столичный дневник. Перевод Л. Черной	629
* Выбрасыватель. Перевод Е. Колесова	638
Вокзал в Цимпрене. Перевод С. Белокриницкой	648
* Воскрешение совести. Перевод Е. Колесова	658
Голос Вольфганга Борхерта. Перевод Л. Черной	660
* В кунсткамере еще есть места. Перевод Е. Вильмонт	664
* Памятник Йозефу Роту. Перевод С. Земляного	669
* Риск писательства. Перевод Е. Вильмонт	671
* День поминовения героев. Перевод С. Земляного	674
* Письмо молодому католику. Перевод М. Рудницкого	678
Комментарии М. Л. Рудницкого	697

Бёльль Г.

Б43 **Собрание сочинений. В 5-ти т. Т. 2. Роман; Повести; Путевой дневник; Радиопьесы; Рассказы; Эссе. 1954—1958: Пер. с нем./Редкол.: А. Карельский, Н. Павлова, И. Фрадкин; Сост. И. Фрадкина; Коммент. М. Рудницкого.— М.: Худож. лит., 1990.— 719 с.**

ISBN 5-280-01217-3 (Т. 2)

Во II том Собрания сочинений Г. Бёльля входят произведения, написанные им в 1954—1958 гг. Это роман «Дом без хозяина», повести «Хлеб ранних лет» и «В долине грохочущих копыт», «Ирландский дневник», рассказы, эссе. В эти годы Г. Бёльль все больше обращается в своем творчестве к современным проблемам ФРГ, пишет много статей, посвященных политической ситуации молодой республики.

Б 4703010600-188
028(01)-90 подписное

ББК 84.4Ф

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ

Собрание сочинений в пяти томах

Том II

Редактор И. Солодунина

Художественный редактор

Л. Калитовская

Технический редактор

В. Нефедова

Корректоры

О. Левина, Н. Пехтерева

ИБ № 5895

Сдано в набор 18.09.89. Подписано к печати 05.07.90. Формат 84 × 108^{1/32}. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 37,8. Усл. кр.-отт. 37,8.

Уч.-изд. л. 39,62. Тираж 200 000 экз. Изд. № VI-3027. Заказ № 863. Цена 6 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература».

107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Набрано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати. 113054, Москва, Валовая, 28. Отпечатано в ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградском производственно-техническом объединении «Печатный Двор» им. А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

